В. В. Розанов

В нашей смуте

Статьи 1908 г.

Письма к Э. Ф. Голлербаху

В. В. Розанов

Собрание
сочинений

В. В. Розанов

В нашей смуте

Статьи 1908 г.

Письма к Э. Ф. Голлербаху

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство «Республика»
2004

УДК I
ББК 87.3
Р64

Российская академия наук

Институт научной информации
по общественным наукам

Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина, В. Н. Дядичева,
П. П. Апрышко

Комментарии
В. Н. Дядичева, Е. А. Голлербаха

Проверка библиографии
В. Г. Сукача

Указатель имен
В. М. Персонова

Розанов В. В.

Р64 Собрание сочинений. В нашей смуте (Статьи 1908 г. Письма к Э. Ф. Голлербаху) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. – М.: Республика, 2004. – 429 с.

ISBN 5–250–01872–6

Данный том Собрания сочинений В. В. Розанова составляют его социально-политические статьи 1908 г., впервые собранные в отдельную книгу. Основные темы здесь – размышления о русской государственности, деятельности Государственной думы, о церкви, судах, о положении дел в сфере образования, национальный и семейный вопросы. Розанов ощущает этот период как «какое-то пестрое, неопределенное, неуверенное в себе, неуверенное в завтрашнем дне» время. В книгу включены также его «Письма к Э. Ф. Голлербаху».

Издание адресовано всем интересующимся русской литературой, философией, историей общественно-политической мысли в России.

ББК 87.3

ISBN 5–250–01872–6

© Издательство «Республика», 2004
© А. Н. Николюкин. Составление, 2004

Статьи 1908 года

ЕПИСКОП И СЕМИНАРИИ

Всякая вещь познается в своем конкретном выражении. Факт неподкупен. Он смотрит вам прямо в глаза и дает всего себя рассмотреть; и сколько бы вам из-за него ни подмигивала «идея», в нем якобы зарытая, – она уже не обманет вас, когда вы ее видите или слушаете ее искусительный шепот через посредство наличных фактов. Что касается «идей», то, конечно, они очень хороши сами по себе, но уж очень гибкий у них язык, и ведь достаточно небольшого усилия не то что литератору, но даже и канцелярскому труженику, чтобы представить «избранную идею» в суще-небесном виде. Ну, например, архиерей в семинариях? Вот он идет по семинарии, и юные семинаристы окружают владыку, который останавливается и произносит им слово, затем идет далее, и тут его встречают утружденные наставники, которым он также говорит другое слово, иной силы и разума, и все они его выслушивают, и у каждого из них точно вырастают крылья за плечами, ибо они видят труд свой оцененным и взвешенным, да и видят среди себя пастыря, готового каждого из них поддержать, утешить, вознаградить. Такова «идея», и, без сомнения, обыкновенные русские миряне даже и представить не могут в иной форме отношений епископа местного града к семинарии местного же града, – к семинаристам и преподавателям их. А представляя так эту идею, вероятно, многие из них давно уже думали, гораздо раньше нынешнего года: «Да отчего архиерей не входит в семинарию или входит крайне редко? Он должен бы быть постоянно окружен молоденькими семинаристами, будущими священниками, т. е. будущими помощниками его по пасению паствы и сослужителями на «божественной литургии».

Эту естественную и обыкновенную мысль мирян выражает или, скорее, «подмазывается» к ней учебная политика нашего духовного ведомства. «Непосредственное наблюдение, – указывает учебный комитет при Святейшем Синоде, – со стороны епископа за жизнью духовной школы и *руководствование воспитателей и учащих* в этой школе особенно необходимы в переживаемое ныне тяжелое время. Существенно важно, чтобы епископы смотрели на духовную школу как на *свою школу* и пользовались по отношению к ней всею полнотою принадлежащей им *по существующим узаконениям власти*, как относительно закрытия всей школы и отдельных классов в случае возникших беспорядков, так и относительно временного *устранения от должности служащих лиц* в случае важных проступков и неблагоприятного влияния их на воспитанников». Если принять во внимание, до чего неуловимы, а поэтому и растяжимы такие понятия, как «неблагоприятное влияние», и до чего невозможно епископу самому быть свидетелем случая «не-

благоприятного влияния», а следовательно, ему во всем придется положиться и полагаться на то, что ему вкладывается в ухо близкими людьми, то нетрудно предвидеть, что последствием этих синодских слов будет развитие в каждой семинарии и около каждой семинарии необозримого наушничества, самой мрачной клеветы, тем более пылкой и страстной, что она будет бить на «смещение с должности» одного лица или лиц, а следовательно, и на «открытие вакансии» для других кандидатов, часто людей, не особенно ушедших в науке, не особенно опытных и в педагогике, но зато смиренных, послушных и податливых. Не развивая подробностей, мы предоставляем читателям самим догадаться, какое поистине ужасное положение может создаться для преподавателей и воспитателей семинарий из этих слов Синода! Подобным образом *действовать* еще можно, ибо такт все смягчает, упорядочивает и облагораживает. Но решительно невозможно этого высказывать вслух, как общий принцип, и высказывать в повелительном тоне, в законодательном акте. Можно представить себе, какие чувства и поползновения пробудит он в той душной, темной атмосфере, которая обычно окружает архиерея на епархии, окружает монаха и *по обетам* затворника, да и *в действительности* затворника, на посту почти духовно-губернаторском, с обширною деятельностью и с полнейшей распорядительностью. Тут постараются «ближние», постараются ключари кафедральных соборов, члены духовных консисторий, секретарь ее, постараются многочисленные родственники тех епископов, которые пошли в монашество из вдовых священников.

В самом конце синодского «определения», последним аккордом в нем, звучит призыв: «Епископы должны принимать деятельное участие в выборе всех вообще служащих во вверенных им семинариях и училищах лиц в тех случаях, когда им известны кандидаты на открывающиеся в сих заведениях вакансии преподавателей и воспитателей, доставляя своевременно, по открытии вакансий, свои отзывы об этих кандидатах учебному комитету при Святейшем Синоде».

Язык донельзя запутан, точно он старается что-то скрыть: нельзя понять, представляют ли архиереи в учебный комитет отзывы о лицах, им лично *в епархии известных,* как о кандидатах на открывающиеся вакансии, и учебный комитет на основании этих отзывов будет только санкционировать архиерейский выбор; в таком случае получило бы подтверждение, что мы сказали о родственниках и «ближних людях», «своих», губернских и епархиальных; или они дают отзывы о назначаемых от учебного комитета лицах, так сказать, наблюдая их деятельность на месте, в осуществлении. Но, конечно, кому нужно – разберутся в этой словесной путанице и вытащат из нее каждый кому что требуется или кто что в силах. Будущее покажет, и, без сомнения, очень скоро, что «духовный мир», как, впрочем, и всякий, напоминает собою некий «духовный пруд», где население делится не столько на такие-то и такие-то чины и саны, сколько попросту на щук и налимов и где, как опять же всюду, одни тщетно пытаются убежать и скрыться, а другие неукоснительно и зорко за ними следуют…

СВЯТИЛИЩЕ ВААЛА И АСТАРТЫ

I

– Послушайте, вы, как поклонник Ваала и Астарты…

– Я поклонник Ваала?! Скромный петербургский обыватель, иногда по ночам рассматривающий древние монеты…

– Хитрите больше… На них-то вы ночью и высматриваете Вакхов и Афродит, которые ведь то же, что Ваал и Астарта. Так не хотите ли, в качестве их поклонника…

– Ничего не хочу…

– Ну, какой упорный или недогадливый. Вы столько занимаетесь разводом и столько посвятили статей детям, особенно «незаконнорожденным»… Вообще у вас склонность к детям и незаконности. Знаете ли вы, что дети вообще и уж особенно «незаконные» – это и есть фрукт Ваала и Астарты, или, как сказано в Писании, – «зачатые от похоти мужския и похоти женския»… Не кобеньтесь, батенька… «Назвался груздем – полезай в кузов». Уж кто за детей да против закона – тот послуживает Ваалу и Астарте, которые суть не что иное, как олицетворения осужденных Св. Писанием похотей… Древние их иконы и древние имена. Ну а существо дела остается новеньким и до сих пор, – новым и свежим, как зеленый убор лесов и полей, с каждым годом возобновляемый. А тут еще и пристрастие якобы к «древнему искусству»… Все свидетельства против вас…

– Но, если вы говорите, вся природа празднует весною Ваалу и Астарте, то не могу же я, петербургский публицист, запретить цветам расцветать и коровам давать приплод? Значит, уж это такая «икона», повторением которой служит весь мир, – и сколько вы ее ни замазывайте углем и ни раскалывайте топором, она, матушка, все останется. Все останется и все ей поклонятся. Поклонится полевой колокольчик. Поклонится телка. Поклонились наши батюшка с матушкой. Поклоняемся мы… Ну, и в то же время по воскресеньям забегаем к обедне. Широк человек. Достоевский хотел его «сузить бы», да не удалось. Широк человек и широко небо над ним. Посмотрите, как горят звезды – уж не любовью ли?

Звезды в самом деле горели, как бывает только в очень морозные вечера.

– Ну а изречения эти «о похоти мужския и похоти женския», славянским шрифтом набранные… Широк человек, очень широк. И любвеобилен, и мудр. Каждым дыханием груди своей человек отрицает эти слова, отвергает их, смеется над ними: но уж до того добр, до того добр, что говорит: «Что же, слова все-таки написаны, и в старой книжке. Почтем книжку, как нумизматы старую монету. Цена ей отошла, а археологический интерес жив. Не выбрасывать же из библиотек книг старой печати. Пусть остается. Не пошевелим старинки. Ну а жить будем…»

– По Ваалу и Астарте?

– Да ведь сами же сказали, что это есть только нарицание Природы? Я – природа. И, как «природный», хочу жить по… Ваалу и Астарте, то бишь «по

батюшке с матушкой» и «по полевым колокольчикам». Так вы меня хотели туда-то повезти? Что-то показать?

... Сани были поданы. И по морозной декабрьской пыли, навстречу мчавшихся лихачей, среди визга, звонков и свистков конок, моторов и вагонов нового трамвая, со вспыхивающими зелеными огоньками над ними (как красиво!) мы помчались на Васильевский остров.

– Брр... Как холодно! Настоящие «рождественские морозы», какие я помню в детстве. Таких красивых морозов, какие бывали тогда, в детстве, и вот теперь эту зиму, я и не запомню...

Смотрю и думаю:

– Сколько жизни, движения, бытия... Эта *цивилизация* не вторая ли *природа*? Сколько человек тратит сил на то, чтобы обмануть себя или обмануть кого-то другого... В самом деле, живет «по Ваалу и Астарте», а думает по старой славянской книжке. И не то чтобы думает, а притворяется, что думает. Это, как, бывало, мы студентами в бане: встретишься со знакомым, и, поднимая ладонь к горлу, говоришь: «Извините, что я без галстука». Половина нашей литературы ушла на такие «извинения». Половина законов тоже написана «в извинение»... Ну, как лишний цветок на цивилизации, пусть живут и эти «извинения». А по существу-то, как пора бы закричать:

– О, какое счастье, что мы еще *сильны*! Что мы можем творить, что нам хочется творить! Сила жизни, сила бытия, красота того, что мы вот просто «есть» и вот что «все – *есть*»... Боже, как страшна могила, как не нужна она, противна она. Читатель, кому она не противна? Умереть, зачем, к чему? Умереть... ну, и умру: придет смерть – умру, но пока жив – абсолютно о ней не думаю, не хочу думать, противно думать, как о картежном проигрыше. Пусть и «проиграю»: но что за чепуха всю жизнь думать о том, что когда-то «проиграю», и стонать, и плакать, и томиться, что «проиграю». Придет «проигрыш» – проиграю: но пока не проиграл, для чего же я буду думать о проигрыше, так сказать, обращая в «проигрыш» и его плачевную психологию всю жизнь мою, которая есть труд, успех, добродетель, ум и проч., и проч., а отнюдь не проигрыш. Ласточка склевала бабочку: так неужели же бабочке целое бы лето сидеть под листом и дрожа думать: «В августе месяце меня склюет птица». Только человек такой чепухой занимается. День смерти или, точнее, ночь смерти (почему-то всегда умирают в ночные часы) – раз, единица, одна ночь: но ведь живу-то я, думаю, тружусь, пишу, и как хорошо, как счастливо, как полно десять тысяч ночей и дней! Десять тысяч ночей и одна ночь: какое сравнение! Благословен Господь наш, и не боюсь я смерти.

Какая неблагодарность к Богу и отсутствие *чувства Бога* простроить религию на могилах и «в могильном стиле», пройдя мимо всего, что Бог даровал нам как положительное благо, как определенное бесспорное добро! Вот мы живем, думаем, трудимся: так отчего же не «поклониться» труду, мысли, целой цивилизации «в Боге»; не сказать: «Боже, какое *богатство* Ты даровал нам». Да, богатство, а не бедность. Своими «могилами» и «могиль-

ным духом» мы будто стонем: «Боже, благодарю Тебя, что Ты дал нам *нищенскую суму*». Какое кощунство и издевательство! Бог и нищенство, религия и какая-то молитва «калек и убогих». Почему? И как мы не ждем, что с неба послышится укоряющий и карающий голос: «Я сотворил тебя не калекою, не хромым, не слепым, не параличным: к чему же ты молишься Мне, человек, как калека, и даже за то, что Я будто бы создал тебя как калеку. Посмотри, какие цветы Я создал; какие поля, леса, – животных, шумящих в лесу. Не иначе создал Я и тебя. И поклонись Мне здоровьем своим, и за то, что ты здоров, а не болезнью и за болезнь».

Действительно, мы живем в полном религиозном извращении.

* * *

С шумного Невского сани свернули на Дворцовый мост. Вот и тишь и молчание Васильевского острова. Почему он всегда, и днем, зимою и летом, так молчалив и тих? Ученая часть Петербурга, голова Петербурга, с бесшумно текущей в нем мыслью. Сани наконец остановились невдалеке от биржи. Мы вошли в горевшее огнями здание, тихое, безмолвное… Не более как через час мы двинулись в осмотр. Это был Гинекологический институт…

Действительно, святилище Ваала и Астарты: оно все посвящено рождению, родам, рождающей женщине. Тому всему, чего «гнушаться» велит старая славянская книга. Здесь никто не гнушается. «Богохульно» выкинули 3½ миллиона, чтобы помочь роженице, чтобы исцелить родовые пути женщины. «Неуместно есть глаголати о сем»… Но здесь «глаголют» и делают, весело, бодро, открыто… Совсем открыто поклонились Ваалу и Астарте, «безбожники».

На цыпочках, с понятной робостью новичка, впервые осматривающего то, чего он никогда не видал, – я следовал за «сивым» (с сильной проседью) ученым, в полувоенной тужурке, и юным студентом медицинской академии, кажется, родственником этого ученого. Мы переходили из коридора в коридор и из этажа в этаж, и казалось, нигде не кончатся эти коридоры бесконечного здания. Спутники мои, очевидно привычные здесь жители или посетители, не заглушали шага: и, однако, шаги их были так же беззвучны, как и мои «на цыпочках». Нагнувшись, я провел рукою по полу:

– Что такое? Ни – камень, ни – железо, ни – дерево.

– Особый состав линолеума. Днем и ночью здесь постоянное движение. Но оно не должно беспокоить спящих, засыпающих, выздоравливающих, оперированных утром…

Действительно, то обгоняя нас, то навстречу нам двигались многочисленные мужские и женские фигуры в знакомых глазу белых фартуках и капотах. Здание заснуло или засыпало. Шел 10-й час ночи. Но служебный его персонал не спал. В некоторых «отделениях» шла работа. И, по самому призванию и существу своему, оно ни в какой час и ни в какую минуту не может заснуть все.

Это – древнейшее, уже отпраздновавшее столетнюю годовщину, учреждение в России, посвященное все и исключительно практике и теории, любви и мудрости ухода за появлением новой жизни на земле. Сколько здесь собрано! Самое трогательное и лучшее, что сюда приезжают из глухой провинции, отовсюду из России, подучиваться уже практикующие врачи. Мне случилось встретить земского врача из Вятской губернии. Им читаются систематические курсы лекций; в громадной практике Гинекологического института они наблюдают редкие и трудные случаи, какие в провинции им выпали бы «впервые» и поставили бы их в тупик. Так ли они слушают, эти уже практикующие врачи, как слушают лекции молоденькие студенты, еще никогда не «затруднявшиеся», не знавшие растерянности и испуга у одра больного, который кричит и требует помощи, и помощь есть в науке, да нет ее у молоденького врача, в свое время, вместо лекций акушерства, почитывавшего «Русское Богатство»...

– Не могу родить. Врач, помогите...

– Ах, не могу. Это тот случай положения «плечиком», о котором что-то толковал профессор, но я тогда дочитывал о «Прогрессе в истории» Михайловского, и вот теперь не помню, что нужно делать, когда ребенок уперся «плечиком»...

Не будем винить. И *все мы так же поступали* на других факультетах. Но на медицинском это осязательнее, преступнее... Только *после университета* понимаешь, что тех четырех, пяти лет, какие проводятся в нем, нельзя ничем и уже нельзя *никогда* возместить. Что мы недополучили в университете, чего преступно там *не взяли*, хотя там оно подавалось нам, – этого на всю нашу долгую жизнь будет недополучать от нас общество! В медицине это так явно:

– Страдаю, умираю! Врач, помогите...

– Не могу. Я тогда читал Михайловского...

Студент должен быть монахом! Да, монахом учености, науки, мировой и всеобщечеловеческой подмоги. Ни одного романа нельзя читать, пока учишься, ни одной политической книжки. Голо. Пустыня. И в пустыне одна яркая точка, единственная – читающий с кафедры профессор. Вот уж когда бы, где бы произносить: «Всякое ныне *житейское* отложим попечение»... У нас его совсем не там и не тогда поют, – «для украшения»...

Но это все сознается так поздно, вот когда «стукаешься лбом об стену» в практике... Вот отчего «повторительные университетские курсы» для практикантов – это и есть единственная настоящая, живая, работающая часть университетов, довольно-таки погуливающих в лице своих слушателей *до практики*.

* * *

В поздний час вечера нельзя никого беспокоить: и ученый, показывавший нам здание, заходил только в те многочисленные его отделения, помещения, кабинеты, залы, где изготовляется все нужное для живых и где нет

живых. И глаз устал видеть, и внимание следить за всеми теми бесчисленными приспособлениями, усовершенствованиями, наконец, совершенно новыми и впервые здесь примененными орудиями помощи человеку… у меня только осталось в уме название «лекало». – «Что такое *лекало?* – переспросил я. – Изготовление впервые по рисункам какого-нибудь предмета, т. е. первоначальной, первой формы, по которой фабрика или мастерская льет и будет лить уже шаблоны». Как пример этого в моей памяти удержалась форма парового отопления. Как известно, пар идет по трубам, которые в отопленной комнате превращаются в форму гармоники, дабы больше количество воздуха соприкасалось с возможно большею поверхностью паровой трубы. Складочки этой гармоники часты, ну, и сделаны из обыкновенного металла, железа или чугуна. Здесь металл был весь белый, глазированный, как в лучшей кухонной посуде, с целью сделать заметным малейшее пятнышко на нем, всякую царапину, а складки «гармоники» имели полуовальную, удобнейшую для обтирания форму, и лежали не часто, как всегда и везде мы видим, на таких, хотя и небольших, расстояниях одна от другой, чтобы обтирающая рука и тряпка везде могла свободно двигаться. Цель – устранение пыли и грязи, предупреждение их. Чтобы договорить об отоплении и вентиляции, которые затем я осматривал подробно днем, скажу, что самый воздух в здании не есть, так сказать, «случайно попавшийся», как он набирается через окна, форточки и поры стен всюду в жилых помещениях, но особо заготовленный, согретый, очищенный и увлажненный. В самом низу здания, в его, так сказать, машинном отделении, мне был показан, во-первых, кабинет, откуда наблюдающий постоянно следит через аппараты особой конструкции за всеми элементами атмосферы во всех отдельных частях здания, – за температурою, сухостью или влажностью, за чистотою или испорченностью (примесь углерода). Как именно это устроено, я не могу сказать, хотя мне и объяснялось. Это – целая наука, и могу передать только, что сюда в кабинет, в особые приборчики-показатели, сообщающиеся с отдельными частями здания, автоматически передается все о воздухе, что нужно знать. Это что-то аналогичное манометрам, телефонам и электрическим звонкам, какая-то смесь их и комбинация... Из кабинета этого, где все наблюдается, идет распорядитель-проволока, по которой даются приказания в камеры заготовления воздуха: усилить или ослабить согревание там-то (наверху, в разных этажах и коридорах, вообще в отдельных замкнутых помещениях здания), усилить вентиляцию в другом помещении, увлажнить в третьем. Теперь о заготовлении воздуха: весь он, для всего здания, набирается из сада, откуда через окна-отверстия входит в подвалы, с системою труб водопровода в каждом. Конечно, в стены, потолок и пол этих якобы подвалов не входит ни земли, ни кирпича и вообще ничего, что могло бы родить нечистое от себя, грязь, пыль, сор и пр. Это просто резервуары-комнаты, только очень низко помещенные. Смотря на них в профиль, видишь, что в них постоянно и всюду идет дождь, но не сверху, а снизу: в водопроводные трубы вставлены веера-пульверизаторы, которые поднимают вверх этот

дождь мельчайших брызг, забирающих в себя всякую возможную пыль и в то же время увлажняющих воздух. Он отсюда выходит таким, каким бывает летом в саду после дождя, т. е. наилучшим для дыхания, легким, влажным, абсолютно чистым. И отсюда выходит в согреватель. Это коридор с горячими цилиндрами. Хотя здесь подвальное помещение, погреб, но нигде и вверху не дышится так легко, приятно, как в этом рождателе воздуха для всего института... Хочется, однако, указать, чтобы было сюда прибавлено, для полного сходства с воздухом после дождя, – озонирование его.

– Ну, ваш строитель здания – удивительный машинист, фокусник-изобретатель...

– Лучший оператор в России... Но он вылазил сам по всем этим подвалам, везде указал и везде придумал что-нибудь новое к прежде существовавшим шаблонам. Правда, и в операциях он больше всего техник. Придумал лампочку на лоб оперирующего: сам оперирует и в то же время сам светит себе, не отнимая руку. Просто и превосходно. В этих вещах он патетичен: и больной на операционном столе для него – только поле наблюдений, опытов, науки и новизны... Особенно новизны. Он не вздыхает и не охает около ножа и крови: а вот как мастерски провести разрез, или проникнуть глазом и ножом в закрытые дотоле области тела, органов – тут в нем пробуждается лирик. Да, я думаю, и для больного это лучше: ему нужны не вздыхания, а наука...

– Храм Ваала и Астарты! Жестоко, кроваво и умно. И в конце концов – все для жизни, чтобы удлинить жизнь, чтобы поддержать, где она прерывалась, и, в конце концов, хотя частично победить смерть! Существо Ваала и Астарты, конечно!..

II

Мы продолжали осмотр «Повивально-гинекологического института для бедных». Читатель да не удивится: прибавка «для бедных» почему-то введена в самый титул, в самое название института. Это так смешно и так режет глаз противоположностью с действительностью, как это может бывать только у нас, где постоянно чудят и притворяются около каждого дела. Показывавший сказал мне:

– «Для бедных» введено было в последний новейший устав Института. Осматривать его приезжали ученые из-за границы, и без преувеличения можно сказать, что по усовершенствованию всех сторон дела – это не одно из первых, но первое учреждение в Европе, созданное для гинекологической помощи и для науки гинекологии. В то же время, по чтению лекций для приезжающих сюда из провинции врачей, это есть отдел университета. Все закруглено, самостоятельно и, конечно, – это есть высшая наука: чего не могут для больного сделать здесь, того не смогут сделать для него нигде в России и, кажется, в Европе; и что неизвестно здесь в области науки – неизвестно и нигде. Все это очевидно, и этого даже никто не оспаривает. Но

вместо того чтобы любить и ценить свое хорошее, гордиться им, – мы обычно его начинаем портить по самым мелким и всего чаще личным побуждениям. Были сделаны все усилия, чтобы если не в деле, то в титуле испортить прекрасное учреждение. В титуле, ну и в руководящих «правилах». Это есть Гинекологический институт, по существу – высшее ученое и учебное заведение, и это до такой степени очевидно, что название стало почти народным; другого имени он не имеет ни в обществе, ни в печати. Но в уставе 1904 г. введено совершенно безграмотное сочетание слов: «гинекологический» и «повивальный», – как будто повивальное искусство занимается не одними женщинами, а иногда и мужчинами, и вся эта французско-нижегородская кашица сдобрена еще каким-то христолюбиво-милосердным маслицем в виде прибавки к названию: «для бедных». К чему тут «для бедных»?.. Наука не знает ни «бедных», ни «богатых», и родовые пути «бедных» и «не бедных» совершенно одинаковы. Великолепное учреждение нужно было кому-то унизить: и вместо того чтобы сказать, что Россия имеет право гордиться им перед цивилизованнейшими странами, смиренно было заявлено, что Россия обзавелась одною лишнею «родильнею», назначение которой – обслуживать бесприютных рожениц…

Он засмеялся:

– Тогда как вы видите, что это такое.

Мы вошли в пустой номер, ожидавший платного больного… Показывались подробности, все имевшие одну цель: чистоту… Кстати, я должен заметить, что во всем здании, где я ни проходил, не исключая и общих палат с выздоравливающими больными и, наконец, таких «отделений», где вот на моих глазах начинались роды перед стоящею толпою акушерок, я не слышал так называемого «больничного запаха», какой-то смеси улетучивающихся масел из пластырей, карболки, йодоформа и всякой медицинской кухни. Не пахло абсолютно ничем, и этого я никогда не встречал не только ни в одной больнице, где обыкновенно воздух «промозгл» лекарствами, но не встречал ни в какой частной квартире, где есть больной. Везде пахнет рецептом, везде этот преследующий вас запах, нашептывающий: «тут что-то случилось», «здесь не как везде», «везде живут, а здесь болеют и умирают». В Гинекологическом институте, напротив, было как «везде»: как в гимназии, в университете, в концертном зале; как бы никто здесь ни хворал и все было в высшей степени нормально, здорово! Это, я думаю, тонкая сторона дела, итог всех итогов.

Открыв электричество, опаздывавший доктор, энергично повернувшись, как бы ища, с чего начать, снял вешалку для полотенца возле умывальника: она была прикреплена, одним нажимом, к какой-то пуговице, и сама представляла прямую палочку из лучшей полированной стали.

– Чтобы обтереть ее и то, что под нею, нужна только одна минута. И здесь нет ни углубления, ни щели, где могла бы задержаться пыль или ускользнуть от обтирающей, хотя бы невнимательно, руки. Это не может не быть чисто, даже в руках нечистоплотного.

Подойдя к кровати, великолепной, бронзовой, бесшумно двигавшейся на обтянутых резиною колесиках, он расстегнул пуговицы матраца: я увидел, что внутри он весь был разделен на треугольно-призматические помещения, откуда чистейшая пушистая шерсть (так приятна на ощупь!) вынималась без всякого труда из каждого порознь отделения. При малейшей нечистоте, при всяком «казусе» с больною, внутренность матраца могла быть тотчас осмотрена, нечистые части его вынуты и отданы в дезинфекционное отделение института, заменяясь свежими. Принимая во внимание большую дороговизну чистой шерсти, конечно, можно было ожидать, что, в случаях небольшой испорченности, при всяком другом устройстве матраца дело обошлось бы русским «ничего, обойдется» в целях сберечь копейку институтского бюджета. О подобных больнично-казенных сбережениях передает в своих посмертных «Записках» Н. И. Пирогов. Здесь этого мотива не может быть: все нечистое устраняется без всякого труда и восстановление чистоты не стоит ничего.

– Ну, ваш строитель рассчитал и русскую лень, и русские «авось» и «как-нибудь»... Однако я сделал замечание о вероятной чрезвычайной дороговизне этих кроватей. Подобных я не видал ни в очень богатых частных домах, ни в петербургских магазинах этих предметов.

– Все дорогое – дешево, – ответил он мне. – Это кровать вечная. Она стоит 80 руб. (приблизительно), и нельзя придумать времени, когда ее пришлось бы заменить, ломать, выбрасывать хотя бы в частях. Все придумано так, что изобретению поставлен предел. Вековая вещь, не требующая «ремонта», в вековом институте конечно, в итоге, обойдется для казны неизмеримо дешевле, чем кровати временные и с «починками». Вы знаете наши казенные «починки»?..

Он засмеялся:

– Всякая такая вещь «с починкою» образует дыру в казначействе, дыру большую или маленькую, смотря по громоздкости вещи, куда непрерывно и целый век будут утекать деньги. Русские люди чрезвычайно любят делать новенькие вещи «с починками»: и делают их не для себя, а для казны...

Он показывал дальше:

– Стол белый и мог бы быть принят по молочному цвету за мраморный. Но это молочное стекло: и опять – вечно, и опять нет пылинки, которая на нем или около него могла бы куда-нибудь спрятаться. Он весь и моментально разбирается, и части его обтираются порознь. Здесь нет «нижнего» и «внутреннего», как в домашней мебели. Как у оперируемой женщины, здесь все внутреннее сделано внешним, доступно осмотру и очищению.

Шкафы для белья и вещей пациентки – от Мельцера, т. е. самого дорогого мебельного мастера в Петербурге, у которого заказывают только миллионеры. Я качал головой. Он возразил:

– Гинекологический институт – миллионер. Почему он должен быть беднее купца, фабриканта, дворянина? Гинекологический институт – собственность России, а Россия не беднее же своих подданных, и уже из гордо-

сти должна иметь все лучшее. Гинекологический институт и есть миллионер-собственник.

Я все качал головой.

– Шкафы эти, на простоту и изящество которых вы любуетесь, теперь невозможно достать за ту цену, за какую они были куплены. Директор наш воспользовался кризисом на фабрике, связавшимся с забастовочным временем: Мельцер поставил их гораздо дешевле, чем они стоят на самом деле и чем он взял бы во всякое другое время, только чтобы занять рабочих большим заказом и не распускать часть их.

Но я задумался над мыслью: «Россия должна иметь все лучшее...» Во-первых, это, конечно, *так*, если уже предположить Россию в цвете, в силе. Строитель института, очевидно, и увлекался мыслью делать все так, как если бы Россия была уже в «цвете и силе...» Но на поверку, конечно, этого нет. Россия бедна, темна, в ней тысяча вещей не доделаны или вовсе не сделаны и, напр., в деревнях и селах бедные бабы мрут в родах без помощи даже примитивного акушерства. Все это так, и строителя института можно бы упрекнуть в роскоши и лишних тратах, если б не одна задерживающая мысль. Где-нибудь в *одном пункте* России для каждой категории вещей и дел должен быть дан *идеал*... Культура вводится в страну не столько через доводы науки, которые не имеют образности и осязательности, а потому не могут быть увлекательны и не могут увлечь, – сколько путем «наглядного», путем примера, образца... Осязательное, действительное увлекает тем, что оно «уже есть», что кто-то это *сделал*, кто-то этого *достигнул*, вот – *результат* этого. Когда я потом в отчетах и «Истории» института просмотрел скалу (наглядное изображение в красках) септических заболеваний с начала XIX века и до текущего года, просмотрел затем количество произведенных операций, количество слушателей-врачей в институте, – я был поражен огромностью его работы и тем гигантским шагом, какой он сделал в последние годы. Конечно, это работа – не для Петербурга; это – работа для России, и, кажется, еще бы немного – и деятельность его могла бы быть работою и для Европы. Мне передавали об одной больной, которой все светила науки советовали не производить трудной операции в чрезвычайно запущенной болезни. «Она умрет под ножом (во время операции), и не слушайте никакого врача, кто бы он ни был, кто стал бы советовать ей операцию», – было сказано ее родным. Сказано это было профессорами, авторитетами, – которые знают же науку и ее средства. Однако в Институте, благодаря именно изумительным предупреждающим его средствам, помогающим, поддерживающим силы и жизнь, – операция была произведена благополучно и больная, вместо того чтобы лежать в могиле, теперь «гуляет» (выражение врачей о выздоровевших; они так хорошо и аппетитно говорят это «гуляет»). Жизнь одного человека, даже одного, чего-нибудь стоит! Дело в том, что именно в операциях, именно в гинекологии болеющие иногда проходят, можно сказать, в миллиметровом расстоянии около смерти. Чуть-чуть «недостало» сил у больного, средств у медицины, быстроты в производстве операции, пролилось несколько лиш-

них капель крови, – и больная умирает немедленно вслед за операциею, от упадка сил, от ослабления сердца и проч. Здесь «можно» и «нельзя» (произвести операцию) зависит часто не только от искусства оперирующего и не от уровня «вообще науки», а от богатства средств, которыми располагает данное заведение. «Нельзя везде»; но в *одном пункте* России должно быть собрано все, при наличности чего было бы «возможно все, что возможно для науки *в ее идеальном представительстве*»... Гинекология, наука о болезнях женского организма, наука о помощи больной женщине, *матери и жене,* – явно слишком важна, чтобы действительно не отсчитать на пункт высшего знания здесь, высшего искусства здесь... ну столько, столько стоит хоть один броненосец из утонувших в Цусимском проливе! Тут Мельцер и роскошь шкафов или кроватей – только лишний штрих в широком и благородном письме; это – лишний взмах крыла у смелой птицы, которая действительно полетела далеко *и верно*, и которую просто глупо и преступно было бы задерживать придирками, мелочами, остановками в ее даровитом полете. При постройке института явно много было участия воображения, мечты: но мечты *даровитой* и *для России полезной.* Вот в чем дело, и вот секрет, с точки зрения которого здесь нужно судить все. Будто бы у нас не уходят уж не то что три миллиона, а десятки миллионов ну хоть на пенсии таким сановникам и старым генералам, которые теперь только играют в винт, и сделали бы истинное благодеяние отечеству, если бы тоже все играли в винт и никогда не поступали на службу горькому отечеству... Но здоровье жен и матерей целой России: можно вымостить целую дорожку золотом, только бы вела она к «лучше» здесь, к поддержке жизни и здоровья. Мы *обязаны,* Россия *обязана* все сделать для своих матерей и жен болеющих: и уж не грех будет поклясться в этом Ваалом и Астартою...

Заговорив о «миллиметровой поддержке» жизни во время операции, которая нередко решает ее исход или самую решимость предпринять ее, я должен упомянуть здесь об изумительном кабинете методов физического лечения, который устроен здесь... Невозможно передать всего, что здесь я видел: нужна бы (и полезна была бы) отдельная книга, описывающая здешние приспособления... Упомяну только два. К груди моей был приложен эластический шар: и в ту же секунду, без боли и страдания, я почувствовал, что вся моя толща груди, нервы, жилы, мускулы, ребра, легкое, сердце и спинной хребет задрожали сильной, но нисколько не неприятною дрожью. Точно кто-то все внутреннее содержание мое начал трясти: точно все во мне, каждый орган порознь, трясся. На вопрос «что это», мне ответили, что это аппарат для лечения или укрепления сердечной мышцы, т. е. в случаях, когда слабо сердце. Вот вам и «поддержка на миллиметр», – в случае надобности. Другое – ванна: все знают целебность *прибоя* воды. В купальнях, взявшись за край, купающиеся нередко сильными движениями груди взад и вперед устраивают волну, удар воды о грудь; плыть «против волн» в море – каждый знает, как приятно и, верно, полезно. Ну, конечно, «гинекологические женщины» в своем расслаблении и немощи этого не могут: мне была показана

ванна, где через особое действие механизмов, под дном ее устроенных, вода с силой вышибается вверх, и в то же время в самой ванне является как бы «водоворот» двух встречных течений. Словом, в маленьком бассейне получается «живая вода», так и этак, нужным медицинским способом, бьющая в ослабленные части организма. Все это было хитро, умно. Я только пожалел: «Да отчего же *сейчас* все эти аппараты не действуют? Отчего кабинет *не занят*?» По Петербургу, я думаю, сейчас сотни больных, которым «до зарезу» эти аппараты нужны, могли бы помочь: но ни они болящим не известны, не «демонстрированы», что ли, и больные не умеют о них спросить, а врачи, лечащие в Петербурге, или толком не знают о них, или не имеют к ним достаточно свободного и широкого доступа. Говорю как профан и невежда, как возможный «больной»: тут чего-то недостает в популяризации, в широкости, в открытости. «Есть жар-птица, да далеко она спрятана». Я думаю, медицинские силы Петербурга и, может быть, России недостаточно *общатся, взаимодействуют*. Тут нужен общий «взгляд сверху», тут нужна организация и организующий *авторитет*.

– Малая операционная – специально для родового периода.

– Еще малая операционная – для небольших операций, не связанных с родами.

– Большая операционная.

Это была целая зала. При всех без исключения операциях присутствуют зрители – врачи-ученики.

Мы вошли в одну из операционных комнат. Дверь ее не растворяется, а раздвигается, подобно тому как это устраивается в стеклянных книжных шкафах.

– Это для чего? – спросил я.

– Чтобы, когда кто входит, не происходило движения воздуха, какое образуется от распахивающейся двери. Это движение могло бы поднять пыль с полу...

– Пыль? Но ведь здесь нет пылинки…

– Все же пол не так чист, как воздух. Все относительно. К оперируемой больной не должно прикасаться и «относительного».

Сдвинув дверь, «демонстрировавший» ученый повернул какую-то ручку. Раздался оглушительный визг где-то вверху, в углу под потолком: и в то же время мельчайшая водяная пыль наполнила комнату. Она начала осаживаться на лицо, руки, платье…

– Что такое?

– Это русский способ очищения воздуха. Мельчайшая пыль, мельчайшая нечистота и сорность, какая есть или может быть в воздухе, прилипает к частицам воды, везде носящимся, и вместе с ними падает на пол… Воздух делается *промыт*. Столб водяной пыли, стоящий над каждым вершком пола, осаживаясь на этот вершок, захватывает с собою абсолютно все, что в нем содержалось помимо кислорода и азота, помимо чистейшего газа, каким мы дышим.

– Как же говорят, что русские изобрели только самовары? Это важнее самовара. Это совсем умно и так просто!

– Самовары и, позвольте прибавить, – *баню* изобрели русские как *народ*, *племя*. Но как *ученые* они уже многое изобрели и кроме самовара. Например, вот это изобретение.

Он снял электрическую лампочку, очевидно, очень сильного освещения. Она вделана в обруч, который надевается на голову, и таким образом лампочка горит во лбу… От нее идет шнурок к кнопке в стене, к проводу электрической энергии. Глаз и лампочка так близки, что *куда* смотрит оператор, *туда* светит и свет. Область операции, оперируемые точки никак не могут очутиться затененными, чтобы их что-нибудь «застило», как может произойти случайно при всяком другом положении источника света.

Я надел на себя лампочку «для примера». Действительно, удобно. Руки свободны, забота свободна и сосредоточивается на том, на чем нужно. А свет льет так, как если бы он исходил из самого глаза.

– Придумка директора института. Просто и удобно. Теперь введено всюду в Европе, как и его освещение внутренней полости живота.

– Как? Что?

– По свойствам женских болезней и женского устройства, некоторые осмотры и операции приходилось производить, так сказать, осязательно, «втемную». От этого у гинекологов бывает в высшей степени развито осязание, так сказать, зрение пальцами. Вы замечали это? – Это я знал. – Наш директор придумал введение электрического источника света внутрь как женских органов, так равно кишечника. Представьте опухоль, раковое образование в прямой кишке. Тут если палец исследующего врача на дюйм не достал до опухоли, то он вынужден строить свои заключения на косвенных показателях, которые никогда не могут быть абсолютны. Аппарат освещающий вводится в кишку, и врач *видит* то, о чем он прежде только «заключал». Но и далее, самая операция: ее иногда приходилось производить впотьмах, на ощупь, – в случаях, когда орган не может быть совершенно обнажен, выведен на свет. Достигнув освещения изнутри, оператор видит оперируемую сферу через просвечивающие ткани полости живота и женских органов и действует ножом гораздо точнее и увереннее. Опять это имеет значение не только в смысле увеличения процента «благоприятных исходов», но и в смысле расширения сферы того, «на что можно решиться», «к чему можно приступить»…

Я не спросил «демонстрирующего», что же делается после того, как водная пыль вместе с грязною пылью осела на пол. Явно, пол должен быть вымыт: иначе, быстро обсохнув во время операции, он сделает грязную пыль снова свободною и летающею. Для полного очищения воздух должен бы промываться два раза, разделенные между собою мытьем или обтиранием пола. Далее, достигают ли своей цели белые капоты и халаты оператора, ассистентов его и многочисленных учеников-зрителей? Все же ноги – в сапогах, а на сапогах вакса, лак, подошвы сапог далеки от идеала чистоты и при-

носят в операционную комнату ту самую грязь, которую удаляет промывка. Суконное платье под халатами и непроверенное в свежести своей белье содержат, без сомнения, тучи микробов. Наконец, волосы мужчин, и особенно куафюра присутствующих фельдшериц и учениц? Ведь было бы так просто всю шевелюру присутствующих (и мужчин) забирать под тонкие эластичные колпаки, наподобие поварских, из тонкой гуттаперчи, хорошо продезинфицированной. Что касается суконного платья, то час операции так жуток и всецело владеет вниманием присутствующих, да и медики, как и наука их, вообще настолько серьезны и «без церемоний», что, мне думается, возможно было бы в одежде ограничиться единственно капотами и халатами, не имея под ними и не имея на ногах ничего. Самое же тело дезинфицировалось бы уже без труда посредством ванны, с сильной прибавкою карболки или сулемы, не приняв которой тут же рядом никто не был бы в праве входить в операционную во время производства операции. Все это мне представляется простым и целесообразным, – и уж не врачам церемониться, затрудняться и стесняться, когда что-нибудь может способствовать задаче, к которой они так упорно стремятся и которая в самом деле так важна.

ЮРИДИЧЕСКИЙ И НРАВСТВЕННЫЙ АВТОРИТЕТ ЦЕРКВИ

Не только теперешнее положение церкви, но и всегдашнее положение церкви требует особой осторожности и дальновидности ее решений. С одной стороны, несомненно, она является как бы зерном охранительных традиций в стране; является им как в силу чрезвычайной длительности своего существования, ее, так сказать, исконности, так и потому еще, что по самому существу своему она стоит вне злоб дня, всего менее являясь политическою силою или организациею, и уж, конечно, всего менее – политическою партиею. Итак, основной консервативный характер церкви ясен. Но каков этот консервативный характер? Пушкин, ответивший Чаадаеву на его известное «Философическое письмо», что он «радуется тому, что – русский», «ни за что в свете не хотел бы иметь другую историю, нежели какую нам послал Бог», выразил идеальнейшим образом суть русского и вместе всякого консерватизма. Это есть просто теплая связанность человека с действительностью и особенно с прошлым своей страны, которая дала ему его ум, его сердце, всю его душу, дала ему речь, дала нравы и весь быт, которыми он живет. Это даровое имущество, которое получает человек с рождением, получает за то, что просто родился, наприм., русским. Нужно иметь величайшую наглость или быть совершенно тупоумным, чтобы не оценить этого великого дарового дара и не восчувствовать за него глубочайшей благодарности к стране. Мы, русские, должны все благодарить Бога за то, что – «русские», что говорим языком Пушкина и Тургенева, думаем и судим «русскою

душою» и живем, хорошо ли, плохо ли, но своею собственною оригинальною жизнью, нимало не похожею на французскую или на немецкую жизнь, и, как уверяют художники нашего слова, жизнью более теплою, согревающею и живописною. Но о качествах можно и не спорить, остановившись просто на том факте, что каждый из нас лично получает даром богатство форм труда, мысли, всех житейских отношений, над которым лично ему не нужно нисколько думать, работать и заботиться. Связанность с этою действительностью, связанность кровная, нравственная, минутами возвышающаяся до лиризма, и образует консерватизм. Однако есть ли консерватизм что-нибудь жесткое и застойное? Многие консерватизм отождествляют с застоем, но это совсем неправильно. Кто хочет застой, тот ищет вреда своей родине: ибо как организм портится и умирает от застоя крови, и даже машина, если она стоит, тоже ржавеет и портится, так никакая решительно цивилизация и никакая жизнь народная не может, иначе как ненадолго и всегда ко вреду для себя, остановиться. Так же точно никакой нет связи между консерватизмом и жесткостью, грубостью. Напротив: как невольно дети привязываются сильнее к ласковой матери, так и для всякого человека, кровно любящего отечество, в лучшие его минуты отечество это рисуется ласковым и великодушным. Именно таким образом Россия всегда рисовалась славянофилам – лучшим выразителям и носителям нашего консерватизма и патриотизма.

Состав Синода на эту сессию образовался из лиц, которые все заявили себя ранее крайне враждебными так называемому освободительному движению. История уже почти произнесла суд над ним, и очень мало найдется теперь голов в России, которые бы решились защищать и оправдывать те возмутительные факты, в которых оно выразилось. Но есть дебош и есть свобода, есть наглое попрание чужих прав, и справедливое, уравновешенное отношение к правам всех. Теперешний состав Синода является именно только сессиею его, т. е. чем-то очень кратковременным; и даже если те же лица без перемен будут созваны в следующую сессию и следующие сессии, то по естественной недолговечности человека это все-таки останется только кратким мигом в истории церкви. Это надо иметь в виду теперешним членам Синода, которые не могут не знать, что все смотрят на них как на особенно строгих, т. е. свободных от внешнего влияния, выразителей беспримесного церковного учения. Решения этих членов, именно от того что они заявили себя ревностными «стоятелями церкви», немедленно же отождествятся с лицом и сердцем церкви. Очень скоро заговорят и, главное, всегда будут говорить потом: «Церковь в решениях своих более или менее согласовалась с нуждами и указаниями государства, иногда с требованиями государства, и каков ее собственный, чистый взгляд на вещи, об этом было довольно трудно судить, однако же случилось один раз, когда церковь получила возможность сказать свое слово полно и от души, не сообразуясь ни с чем внешним. Она сама была авторитетом и для нее ничто, кроме Евангелия, не было авторитетом. И вот каковы были ее мнения, ее свободные, не сдавленные решения», – и сошлются на решения сессии 1908 года.

В виду этого будущего суждения, строгим блюстителям православия нужно быть особенно осторожными и дальновидными. Этой предусмотрительности, к сожалению, мы не находим в первом же шаге, которым теперешний состав Синода открыл свою деятельность. Совет Министров препроводил в Синод законопроекты, вносимые в Государственную Думу, которые касаются внешнего положения верующих как православного вероисповедания, так и других вероисповеданий и особенно сектантов. Это так называемые законы свободы религиозной совести, давным-давно осуществленные во всем цивилизованном мире, причем в таких странах, как Англия, где эти законы особенно давни и особенно устойчивы, от них не произошло ни малейшего колебания церковного авторитета и любви населения к своей церкви. С некоторой убавкой почти то же можно повторить о Германии. Если противоположные явления поколебенности церковного авторитета и утраты народной любви к церкви мы наблюдаем в Италии и Франции, то не нужно забывать, что именно эти страны были долгие века классическими странами всяческого религиозного гонения и притеснения. Народные чувства к церкви, конечно, слагаются не годами и даже не десятилетиями, а именно веками. В России всегда было предположение, очень деятельно поддерживаемое славянофилами и во главе их А. С. Хомяковым, что сама по себе православная церковь никого не гонит, что притеснение враждебно самому принципу ее жизни, всему ее духу, и что если какие-нибудь стеснения веры были или остаются в России, то они идут от светской власти, не по разуму усердствующей в малопонятной для нее области церковно-религиозных отношений. Нужно заметить, что духовная печать, светила богословской науки в высшей степени поддерживали эту точку зрения, вся выгода которой для церкви очевидна. Она пассивно позволяла себя охранять, пользуясь всеми удобствами подобного охранения и в то же время как будто не принимая никакого деятельного участия в этом охранении. Но вот в светском государстве произошли важные перемены. Рядом обстоятельств оно вынуждено было уступить вековым настояниям русского образованного общества, и во главе его многолетней горячей пропаганде славянофилов, и даровать стране так называемую свободу вероисповедания. Два года Россия уже эмпирически пользуется ею и, исключая некоторых эксцессов польско-католического изуверства на почве проповеди «единоспасительной церкви», это вообще не повело за собою никаких осязательных перемен в религиозном состоянии России. Россия как была, так и осталась в массе и подробностях православною без малейшего колебания, без малейшего дрожания. Зато мы имели утешение видеть, что старообрядчество, которое в прошлом перенесло чрезвычайно много оскорбительного и, наконец, прямо мучительного в отношении себя, теперь вздохнуло свободно и открыто выполняет свои любезные сердцу старые обряды, никому решительно не мешающие и никого решительно не соблазняющие.

5 января в «Церковных Ведомостях», официальном органе Св. Синода, напечатаны ответные решения Св. Синода по поводу законопроектов, вне-

сенных в него из Совета Министров касательно нормировки религиозно-церковных отношений, насколько они касаются совести единичных верующих людей.

Св. Синод резко высказался против начал веротерпимости, заявив, что, как высшая духовная власть, он настаивает на сохранении всех преимуществ, какими прежде пользовалась православная церковь в России, и притом только она одна, в деле распространения своих убеждений и в принятии всяких мероприятий, направленных к обереганию верующих душ от князя тьмы; настаивает, далее, на введении некоего подобия цензуры в отношении печатных произведений, театральных зрелищ и даже устно произносимых речей, поскольку они могут коснуться «духовности», и, наконец, предлагает особенно сурово карать лиц, снимающих с себя духовный сан, проектируя не только воспретить им занятие какой-либо должности в той губернии, где они прежде священствовали, но и самое проживательство в ней. Если принять во внимание, что проведение в жизнь закона всегда бывает жестче и колючее, чем изложение его на бумаге, то нельзя не прийти к мысли, что в общем Синод проектирует, что называется, ежовые рукавицы в делах веры: дело не новое, но о котором всегда предполагалось, что их носит только государство, а не надевает на государство церковь, имеющая главою И. Христа и руководимая Св. Духом. Для православных верующих такое убеждение было бы слишком печально, и нужно теперь же предупредить, что подобные решения нисколько не выражают действительный и вековечный дух православной церкви, в котором понимал же что-нибудь Хомяков, а выражают только страстный и партийных дух, до известной степени князя тьмы, который временно обуял некоторыми и притом немногими духовными особами, которые, как известно из житий святых, не свободны и не защищены от соблазнов и искушений врага человеческого рода. Мы особенно должны прийти к этому заключению, потому что в изложении принципиальных взглядов этих духовных особ ни слова не произнесено о моральных способах поддержать авторитет церкви: о достойном поведении пастырей церкви, о нравственном воздействии на население путем примера и убеждающего слова, о любящем и правдивом отношении духовных лиц и духовной власти к самим сектантам, к старообрядцам, к иноверцам и вообще к заблуждающимся. Между тем о необходимости этого морального действия неоднократно говорилось духовенству с высоты Престола еще незадолго до Японской войны, между прочим, по поводу назначения духовенству жалованья. Жалованье-то оно получило, но с тех пор ничего не было слышно ни об усилении сердечного проповедования, ни о личном подвиге в духовенстве, ни о заботах его по части хотя бы искоренения или ослабления народного пьянства, народной лжи, весьма распространенной народной лживости в делах, в словах, в отношениях, напр. торговых и рабочих. О всем этом старалась крупная и мелкая литература, для которой ежовых рукавиц, наряду с прочими верующими и неверующими, пожелал св. Синод, и нисколько об этом не старалось духовенство, о престиже которого, притом совершенно

внешнем престиже, он столько заботится. Нельзя не вспомнить слов И. Христа, обращенных к Марфе: «Марфа, ты заботишься о многом и забыла о том, что единственно служит на потребу».

Нравственное поведение духовенства, полезная работа его для народа, осязательная, очевидная, доказуемая, – вот единственно, чем вековечно обеспечится пастырский авторитет в стране, и население обеспечится так надежно, так незыблемо, что под него не подкопается ни литература и вообще никакой князь тьмы, притом не в символическом значении, а в настоящем подлинном.

ОБЕР-ПРОКУРАТУРА СИНОДА И ВОПРОС О ПРИХОДЕ

Со времени выхода в отставку покойного Победоносцева у нас как будто нет обер-прокурора Синода. По крайней мере, ни г. Оболенский, ни г. Извольский ничем не заявляют своего существования и весьма напоминают того прикинувшегося мертвым человека, в какового, по народным рассказам, должен превратиться живой человек, повстречавший в лесу медведя, чтобы не быть им съеденным. После всевластной фигуры мы имели и, кажется, имеем безвластные фигуры, после человека огромного ума и образования мы имеем людей, о теоретических качествах которых приходится сказать, как отмечают на бирже: «Тихо». Между тем эта тонкая должность причиняет такой же ущерб стране и церкви, когда представитель ее зарывается во всевластии, как это было с приснопамятным Протасовым и отчасти было при Победоносцеве, как и в том случае, когда она вовсе бездействует. Не нужно ни того, ни другого. Обер-прокурор, по выражению «Духовного регламента», есть «око царево» возле церкви, или общее, «око государственное», око народных и общественных интересов, нужд, потребностей. Совершенно верно и подтверждается всею историею, что у многомиллионного народа может быть бездна таких духовных, нравственных, просветительных нужд, к каким иерархия церковная очень и очень может отнестись небрежно, невнимательно. Ведь эта иерархия, сплошь состоящая из старцев-монахов, никогда почти не выходящих из келий-дворцов, прежде всего не имеет возможности фактически знать духовное, физическое и бытовое положение народа, да даже и положение низшего духовенства, в особенности сельского. При таком невольном неведении она может совершенно невольно же наделать бездну ошибок в управлении, предупредить которые есть прямая обязанность обер-прокурора, и в целях подобного предупреждения и создана эта должность. Власть эта, если устранить из нее самовластие, может быть чрезвычайно благотворна: не вмешиваясь нисколько собственно в ритуальную, сакраментальную сторону жизни церкви, обер-прокуроры денно и нощно должны напоминать ей или, конкретнее, ее престарелым иерархам, о стомиллионном верующем народе, таком горячем в молитве, та-

ком кротком, таком послушном церкви... В церкви есть много сторон, где кроме сакраментальной, священнослужительной части есть и важная часть мирских, народных интересов. Таково все так называемое «семейное право», завязанное в узел церковного венчания; такова вся область приходской жизни. Государство, конечно, не может ничего изменить (и ему нет нужды что-нибудь менять) в ритуале венчания. Но если это венчание духовенство начнет обставлять очень затруднительными для населения формальностями или непосильными денежными поборами в городах и по селам, государство вправе вмешаться. Если церковь или, конкретнее, иерархия не смогла установить развода без непосильных денежных поборов и всем явных лжесвидетелей, то опять же государство может авторитетно вмешаться в это дело и не только преобразовать процессуальные формы развода, но и начать совершать всю юридическую и фактическую сторону его само, оставив «отцам» только его сакраментальную сторону, т. е. подпись на бумаге о том, что «брак таких-то расторгнут». Кто очень жестко стелет постель или покрывает ее нечистою простынею, тот никак не может заставить спать на ней. Эта аксиома, совершенно непререкаемая в частном быту, имеет применение и в широких общественных отношениях и даже в отношениях государства и церкви.

В известном ответном послании восточных патриархов римскому папе, в середине минувшего века, совершенно точно было определено, что «в православии церковь образует не одна иерархия духовная, но самое *тело народное,* которое одно есть непререкаемый хранитель и блюститель веры и ее чистоты». Оттенок выражения «тело народное» до того выразил действительно дух восточного исповедания в отличие от западного, римского, от исповедания папского, что выражение это бесчисленное число раз повторено было в русских духовных сочинениях. Но выражение это сильно не только против папы, но и против самой русской иерархии, если бы она выказала несоответствующие притязания, оно сильно не только против Рима, но и против Петербурга. «Тело народное» простирается от «хладных финских скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая», – и об этом никак не следует забывать никому и нигде, и об этом не должно быть забвения и на Сенатской площади, где, соединенные аркою, стоят Сенат и Синод перед монументом Петра Великого.

О всем этом должен в нужную минуту напомнить обер-прокурор Синода.

Вопрос о приходе составляет томительную заботу всей России, и, несмотря на все томления, он не подвигался вперед. Препятствие к разрешению его, очевидно, лежит в нежелании уступить что-нибудь населению, прихожанам из прав и преимуществ, не столько принадлежащих, сколько захваченных клиром, священническим классом и над ним стоящею монашескою иерархиею. Старообрядцы, можно сказать, «душу свою полагали» и «лишались самой жизни» за верность церковным «преданиям» и за соблюдение каждой буквы «святоотеческих» книг, и, однако, они установили у себя полную и красивую форму приходской жизни, очевидно не найдя никакого препятствия к этому ни в «писаниях», ни «в преданиях» отцов и учителей

церкви, и в частности древней русской церкви. Все это так ясно, что никто не может усомниться в том, что отнятие прав у прихожан и погашение приходской жизни есть «предание» собственно синодального периода русской церкви, когда обер-прокуроры, отняв – и частью несправедливо – власть у монашеской иерархии и вообще у клира, в компенсацию за утрату этих преимуществ вознаградили их расширением прав в местной церковной жизни, погасив приход и передав права его архиереям, консистории, благочинным и настоятелям-иереям. Ничего тут «канонического» и «святоотеческого» нет, а есть совершенно ясная тенденция «не упустить своего», и, обернувшись в сторону прихожан, т. е. целой России, сказать радетелям церковной общины: «Что с возу упало, то и пропало».

Во всей России отзовется печально известие, что в предсоборном присутствии по отношению к приходу возобладало мнение г. Бередникова, профессора канонического права в Казанской духовной академии, согласно коему в приходе остается все, как было! Руководителем приходской деятельности будет священник, а самая деятельность прихода будет поставлена под контроль епархиального начальства, т. е. консистории и архиерея. Этим все сказано и все исчерпывается. Останется бумажная переписка о делах прихода, отчетные книги, бухгалтерия приходов и расходов «прихода», да «право» прихожанина или прихожанки пройтись с церковным блюдом во время богослужения, чтобы получить пятаки и гривенники, которые запишутся в «приходскую книгу». Отведав всего этого невкусного кушанья, прихожане «отвалят» от храма, предоставив все это вершить архиерею, консистории, благочинному и настоятелю, – «что и требовалось доказать», как говорится в геометриях в заключение доказанных теорем. Клиру «требуется доказать», что все и прежде было исправно, что поправлять ничего не требуется в церковной жизни и, во всяком случае, что сами миряне, сами прихожане «во всем доверяются начальству, и сами не проявляют никакой жизни, никакого воздействия и вообще никакого действия». Проф. Бередников и с ним «весь освященный собор» русского духовенства будут торжествовать.

Кто такой проф. Бередников? Он известен по многолетней придирчивой и мелочной полемике с проф. канонического же права в Московском университете г. Суворовым, – автором лучших учебных руководств по этой науке в русской ученой литературе и преемником знаменитого канониста А. Павлова. Суворов стоит на точке зрения прав государственных, г. Бередников отстаивает чисто клерикальную точку зрения, или, попросту, «свой сословный интерес», «свою сословную власть». Это проведено по всему курсу преподавания у одного и по всему курсу преподавания у другого, – как равно и в книгах обоих. «Возобладала» в предсоборном присутствии «своя точка зрения», как этого и можно было ожидать, ибо там собрались «свои люди», – при малом допущении посторонних, не клириков. Заключение предсоборного присутствия ныне поступило на рассмотрение Синода. Принимая во внимание теперешний состав его, нельзя сомневаться, что он примет точку зрения, столь отвечающую его высоким притязаниям.

Нужно обер-прокурору пробудиться от летаргии и напомнить на Сенатской площади о великом «теле народном как хранителе сокровищ веры», о чем всему миру возвестили восточные патриархи и что через полвека совершенно забыто в Петербурге.

О СУДЕБНЫХ ПРИКАЗАХ

Умы русские, не без ожесточающих мотивов сердца, до того вошли в шаблон двоякой оценки каждой мысли и каждого предложения, – оценки либеральной или оценки консервативной, – что решительно теряются в каждом случае, когда приходится судить о деле и не консервативном, и не либеральном, а просто *нужном*. Эта растерянность и неуменье здраво посмотреть на дело встретили один из не ярких, но жизненно очень важных законопроектов министерства юстиции, внесенный в Г. Думу и ныне рассматриваемый в одной из ее подкомиссий. Это проект о так называемых судебных приказах. Он послужил в Москве предметом особого доклада прис. повер. Шубинского, ныне члена Г. Думы, председательствующего в названной подкомиссии. Г. Шубинский высказался о нем отрицательно, но во время последующих прений ему были сказаны со стороны некоторых лиц судебной практики веские возражения, не нашедшие у него ответа. Дело вкратце заключается в следующем.

В настоящее время мелкие проступки в области общественного благоустройства, дисциплины и подчинения существующим правилам, наконец, в сфере оскорбления личности, публичной нравственности и проч., и проч. проходят через полицейское дознание и составление знаменитого «протокола, где следует», а затем поступают на разбор мирового судьи, причем последний гласно и устно, т. е. якобы «право и скоро», переразбирает и передоследует все дело, уже расследованное полициею, у себя в камере. Для совершенно «правой» юстиции, которая, однако, через это очень много утрачивает в своей «скорости», он вызывает к себе в камеру, ко дню разбирательства, всех свидетелей казуса с обвиняемым; вызывает и в том случае, когда обвиняемый ничуть не отрицает своего проступка, заключающегося часто в простом, халатном всероссийском отношении к правилам обывательского спокойствия и тишины, или прав и уверенности всякой личности по выходе из своего дома не быть ничем оскорбленным или обиженным на улице. Это обыкновенный уличный сор и гам, какого не оберешься по нашим городам, следующим Владимирову завету: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти», и еще русскому присловью: «Ндраву моему не препятствуй». Известно, что Россия, с одной стороны, была всегда самою несвободною страною вследствие необыкновенного множества «правил» для ее обывателей, и, с другой стороны, она была самою свободною страною, потому что никакие правила в ней не исполнялись, о чем даже ходит и поговорка по

улицам: «Для чего же и правило, как не для того, чтобы его обходить». С этими милыми, но для кое-кого накладистыми нравами и народной мудростью возятся мировые судьи, налагая мелкие штрафы после знаменитого протокола и вот «гласного и публичного» разбирательства. Гласность обеспечивает от взятия взятки, а публичность гарантирует драчуна, пьяницу или дебошира от того, чтобы его невинность не была угнетена. Все это довольно архаично, ибо судьи Гоголя давно лежат в могиле, да и после афоризма великой Екатерины, что «лучше простить десять виновных, нежели наказать одного невинного», прошло довольно много времени, и мы решительно задыхаемся по улицам от «невинно угнетаемых» хулиганов. Мировые судьи завалены невероятным количеством таких дел рублевого содержания, и каждое из этих дел в рубль ценою, совершенно явных и признанных самим обвиненным, подымает на ноги множество свидетелей казуса, обязанных десять раз повторить перед мировым судьею и госпожою публикою одно и то же показание, что такой-то пьяный Иван ползал на четвереньках в такое-то воскресенье по улице и, неистово ругаясь, хватал за подолы проходящих женщин, пока вот не попал в протокол. Десять свидетелей одного и того же показуют истину, довольно несложную и, главное, никем не отрицаемую, и каждый из них теряет половину дня, теряет драгоценное рабочее утро, т. е. что-то гораздо более дорогое, чем иногда тот рубль-три-пять-десять рублей, что представляет собою стоимость и смысл самого дела или, пожалуй, безделья: *продукт* безделья русского и дебоша уличного. Проект судебных приказов и имеет в виду упростить и ускорить это дело, не тревожить мирных и ни в чем не повинных обывателей, попавших в несчастное положение свидетелей и очевидцев происшествия, и, не боясь более теней «мертвых душ», довериться в мелких делах мировой юстиции беспристрастию, – проверяемому, однако, самим подсудимым, – полицейского засвидетельствования факта, и также беспристрастию, житейскому благоразумию и судебной опытности судьи, который без разбирательства у себя в камере пишет судебный приказ о таком-то взыскании, небольшом штрафе или непродолжительном аресте виновного. Все это – при том непременном условии, чтобы под протоколом стояла подпись самого обвиняемого, что он не отрицает изложенного в нем факта и что не возражает против самого изложения. В противном случае, т. е. если налицо имеется отрицание или хотя бы немотивированный протест обвиняемого, – дело идет на обычное камерное разбирательство с вызовом свидетелей, гласностью и проч. В ожидании такого протеста, конечно, сама полиция будет щепетильнее составлять свои протоколы и постарается избегнуть в изложении всего, о чем виновный даже в понятном раздражении мог бы сказать «нет». Все это дело чрезвычайно просто и ясно, и нет в нем ни либеральной, ни консервативной стороны, только нужда. Нужда наших засоренных и дебоширных улиц и всяческого домового, хозяйского, ремесленного, лавочного и проч. безобразия и непутевости. Эта ускоренная юстиция все же судебно опытных людей, притом поставленных свободно в отношении к полиции и администрации, достаточно га-

рантирует от угнетения невинности и обещает очень много именно своею простотою и ясностью защите ни в чем не повинных обывателей от угнетающего их хулиганства и безудержа житейских нравов. Нельзя не обратить внимания на то, что введение этих судебных приказов отняло бы один из крупных мотивов «продления» у нас всевозможных усиленных степеней полицейского охранения городов, на необходимость которого ссылаются, указывая на медленность теперешней юстиции, на буйство и зверство нравов, на незащищенность от них мирного гражданства. Те, которые возражают против этого законопроекта, возмущаясь самым словом «приказ», играют в руку вовсе не либерализму, а уличному безобразию, крайне отяготительному для гражданства, и, кроме того, эти оппоненты и критики передают права приказа и наложения наказания без судебного разбирательства из рук мирового судьи, т. е. все-таки гражданина и «нашего брата», в руки полицейского пристава при повышенной охране городов и местностей, который если и «брат» какому-нибудь московскому присяжному поверенному, то ни в каком случае не свой брат остальным русским горожанам. Sapienti sat*. И все это дело до того простое и арифметически ясное, что хочется ожидать, что Гос. Дума взглянет на него без предрассуждения и даст России кое-какой мелочный покой и – главное – оставит в покое свидетелей, где они совершенно не нужны. Всякий знает, что эта потеря времени на хождение в суд не по своему делу составляет предмет страха для той деловой части населения, у которой «время – деньги», и они бегут от «свидетельства» и «очевидности» с такою поспешностью, как бы от натуральной оспы. Бегут: и часто не помогают на улице, во дворе, в дому в таких случаях обиды и оскорбления одного лица другим, когда их помощь могла бы быть драгоценна и в некоторых случаях даже могла бы предупредить большое несчастие. Законопроект этот истинно рассудителен и, не будучи громким и рекламным, содержит больше обещаний в себе, чем иные громоздкие и яркие фразы, предположения и прожекты, каких много в обществе, в канцеляриях и в самой Думе…

ОТВЕТ НА АНКЕТУ «РЕЛИГИЯ И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Освободительное движение разделило духовенство: одна часть его, с византийским монашеством во главе, осталась при прежней мысли, что Христос пришел на землю для утверждения консервативных начал жизни, а другая часть стала робко заявлять, что Христос приходил вовсе не для этого. Народ тоже большими глыбами начал отваливаться от церкви. И

---

* Умному достаточно *(лат.)*.

можно предвидеть, что лет через десять в России начнется сильнейшее религиозное движение, плодом которого, лет через пятьдесят, будет создание новой церкви. Однако эта церковь, оригинально русская, не примкнет ни к протестантству Лютера, ни к католицизму. Скорее она возьмет элементами своего построения мотивы разнообразного русского сектантства. Но именно – как мотивы, как подспорье – не более. Вероятно, в ней появится музыка, лучшее орудие для выражения религиозных вдохновений; она сблизится с природою; она проникнута будет общественным, общинным духом. Иерархия в ней будет слаба; монашества совсем не будет. Когда возникнет это религиозное движение, когда начнется русская реформация (без тени подобия германской и английской), тогда и освободительное русское движение получит для себя настоящие крылья и настоящие ноги. Точнее, в пробудившейся народной массе, – оно получит упор для своих ног. Вот почему в настоящее время и в ближайшие годы религиозная работа русского общества важнее политической работы; она важнее даже в чисто политическом отношении. Ибо, не торопясь с «успехами», не срывая недозрелого плода, – она глубже продвигает заступ в грудь земли, в грудь почвы. Оно готовит лучший налив плода. Если вожди политического и социального обновления поймут это, они должны соединиться с вождями религиозного обновления в России, что последние давно сделали, всею душою слившись с идеями социального и политического обновления, хотя в этой светской области они и не техники. К сожалению, наши политики и социологи – Милюковы, Пешехоновы, Мякотины – крайне грубы и даже не восприимчивы к религиозным веяниям. Они думают, что они этим сильны. Но они этим слабы. Через это они слабы даже в политическом отношении, ибо не могут произнести никакого слова, которое взбудоражило бы и подняло народ, как в былое время его подымало слово Аввакума, братьев Денисовых, Колычева, Чадаева и других.

Мы, мистики, верим, что Бог все спасет и что Он даст вовремя разум и нашим политикам и экономистам, которые, как вы это видите, сейчас «повисли в воздухе»...

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УРОКИ В Г. ДУМЕ

То, что до Думы у нас волновало как мнение, раздражало как мнение, то в Г. Думе получило всю солидность и тяжеловесность факта, который *ушибает*. И как умные матери не пугаются и не предупреждают детей от падения и легкого ушиба об пол, так приходится и нам смотреть с некоторою надеждою на те *ушибы,* которые наносятся в Г. Думе и переносятся в Думе, ибо они лучше всяких слов, лучше всяких рассуждений и теорий могут научить русских людей кое-чему такому, чему они, к сожалению, не были научены ранее.

Когда лидер кадетской партии, взойдя на думскую кафедру, один раз и другой раз увидел спины выходящих из зала депутатов, что лишало его кворума, т. е. сделало невозможным и ненужным произнесение речи, содержание которой не было еще известно, то жуткое ощущение, им, без сомнения, пережитое в эти минуты, могло самым *делом* научить его тому, что переживали сотни и тысячи русских сердец, русских умов, и нередко лучших русских умов и сердец, когда европействующие русские интеллигенты вот скоро полвека кричали о всяком голосе в литературе и в печати, неприязненном для них: «не слушать его», «не разговаривать с ним», «не давать самого отзвука ему по всей линии журналов и газет, какие в наших руках». Это не имело для себя столь определенной формулы, но делалось все именно по этой беспощадной формуле. Целые полвека наши кадеты до кадетов, т. е. наши космополиты, бесцеремонно оборачивали спины, не слушали и не давали слушать всякий раз, когда подымался ясный русский голос, и только русский, когда говорила русская речь, не осложняя себя призвуками французской, немецкой, английской речи. Целый ряд даровитейших русских писателей, сошедших в могилу в невыразимой горечи, можно сказать, так и не получили себе кворума в русской литературе и в русском обществе, затоптанные еще *до выслушания* заправилами толстой и тонкой журналистики и разных газетных листков. Такова была судьба Н. Я. Данилевского, «Россия и Европа» которого печаталась в «Заре»: она двадцать лет не получала себе читателей, и получила их только после смерти автора. Наконец, такова была судьба целой славянофильской школы. Русским в России, русской мысли в России не было хода, не было признания: и молодой русский, выступая на литературное поприще, должен был или примкнуть к либералам, к кадетам до кадетов; или, если в нем горело русское сердце и он не мог этого сделать, он должен был приготовиться умереть, умереть литературно, не получив никогда ни признания, ни оценки, ни даже просто читателей, т. е. самой знаемости, известности. Чтобы быть русским не по имени, а по существу, требовалось быть героем. «Боже, у нас есть *русская партия!*» – воскликнул тридцать лет назад Достоевский, ужаснувшись этому положению вещей, этому строю русской интеллигенции. «Русские» составляли какую-то группу гонимых и презираемых людей. Это было в гражданстве, это было в службе, но всего более это было в литературе. С восклицанием Достоевского нужно поставить рядом насмешку кавказского героя Ермолова, говорившего, что для успехов служебного движения русским надо проситься, чтобы их переименовали в немцев, т. е., отбросив русские, дали им немецкие фамилии. Конечно, ничего подобного ни в одной стране и ни в какой эпохе не было!

Но все это мучило, раздражало, а не *било*. Появилась Дума, и факт стал *бить* нас. Первая и вторая Думы по инерции продолжали то движение, которое полвека заправляло всем в России: движение космополитическое, безнародное и, если уж брать сильные термины, жидовско-немецкое. Первая и вторая Думы ничего не выразили нового и оригинального сравнительно с

тем, что всегда стоном стояло в русской космополитической печати, но чего по цензурным условиям она не могла сказать громко, но все же говорила намеками, обиняками, «рабьим языком», по выражению Щедрина. В Думе это было сказано, как говорится, на всю улицу разными Аладьиными, Аникиными, Родичевыми, Ледницкими, Зурабовыми и Рамишвили. Посыпался гнилой горох на русскую голову, – посыпался затхлыми старыми словами, чего не замечали ораторы, но что было, собственно, очевидно для русских людей, знавших и размышлявших о ходе русской литературы. Этот бессмысленный гам больно ударил по России: ударил тем, что он дал вместо дела – фразы, вместо конституции – свалку и вместо парламента в европейском смысле – какую-то русскую говорильню, которая была противна уже и в литературных ожиданиях. Около больной, истощенной, изнеможенной России сыпались журнальные статьи, маленькие и большие фельетоны, только не печатаемые, а устно произносимые. Ну и, конечно, Россия от них не выздоровела.

И вот появилась третья Дума. На злобный натиск она дала решительный отпор. И если первую Думу звали Думою «народного гнева», – хотя что, собственно, «народного» в ней было? – то отчего о третьей Думе не сказать, что она является отмстительницею поруганных народных чувств? В ней те же крайности, что и в первых двух Думах. Для государственного строительства России эксцессы этой Думы так же бесполезны, как и радикальные эксцессы канувших в Лету Дум, хотя и позволительно надеяться, что со второго года своей деятельности она настоящим образом возьмется за настоящее государственное тягло. Ну, а до этого вожделенного момента она все-таки даст поучительные моральные уроки вообще русской интеллигенции в ее преобладающем космополитическом составе. Корабль России, столько лет кренивший все влево, могуче дрогнув, стал выпрямляться и накреняться вправо. Не нужно желать, чтобы этот крен вправо зашел слишком далеко: но, что делать – в бурю, как в бурю, и в качку, как в качку. Прямой ход корабля, конечно, желателен всем. Для России он необходим и мучительно нужен. Но этот прямой ход не дается без горьких испытаний. Кадеты теперь на самих себе чувствуют торжество победителей, увы, не своей партии, а еще столь недавно презираемых ими врагов своих. В их опыте учится вся интеллигенция. Вся она теперь имеет повод глубоко вздохнуть о том гонении, какому столько лет, столько десятилетий подвергала все настоящее русское, все хорошее русское. Прямой ход корабля может быть последствием убеждения, которое стало бы убеждением всех партий, что не следует забываться ни в каком торжестве, что есть границы для победителей, есть нравственные заповеди для победы: это – не быть глухим и слепым к побежденному, всегда слушать его голос, который именно у поверженного переходит иногда в слезы. К этому нужно быть всегда внимательным; и вообще в настоящей свободной стране должны говорить все голоса и все мнения, не только без страха за последствия, но и находя своих слушателей, везде имея свой кворум.

Желательно, чтобы и кадетский лидер, «многое позабыв, кое-чему научился». Пусть его слушает Дума: но пусть он говорит в Думе, отбросив сквернейшие интеллигентские замашки, интеллигентские приемы, отвратительный высокомерный тон, отвратительное самоуслаждение. Все это не русские чувства; все это – плохие чувства плохого профессора, провожаемого плохими аплодисментами. Это недорого стоит в университете и совершенно ничего не стоит в Г. Думе.

ЕЩЕ О ТЕРПИМОСТИ В ПЕЧАТИ И ПОЛИТИКЕ

Если бы своевременно статьи Аксаковых, Хомякова, Данилевского, Кон. Леонтьева, Страхова, Рачинского читались с тем вниманием, с тем распространением или просто спокойствием, с каким читались статьи Михайловского, Лесевича, Добролюбова, Писарева и всех больших и малых русских «социологов», – судьба русского общества была бы совсем другая. Бесспорно, мы не имели бы студенческих обструкций и всей великой смуты университетов. Мы имели бы парламент и конституцию, а не «говорильню» и опять же смуту, контрабандно прячущуюся под флагом «конституционализма». Мы не слышали бы и Россия не читала печальных речей Рамишвили и Зурабянца, и г. Милюков не ездил бы на гастроли в Америку показывать свои усы, свою шевелюру и весьма посредственное красноречие. Всей этой галиматьи не было бы, будь мы национально здоровы; и мы были бы национально здоровы, если бы вот уже полвека не образовалось в нашей печати заговора молчания против русского направления мысли, против русского духа речи. Молчания – или мелкого издевательства, попросту зубоскальства, украшающего улицу и представляющего весьма печальное зрелище в литературе. Вокруг русского и славянофильского направления у нас всегда стоял балаган. Все 50 лет это было только невежеством, которое мы комментировали. Но г. К. Арсеньев в «Слове» возражает нам и говорит, что такого факта не было.

Говорит и сам же подтверждает его. Несмотря на ясные наши слова, приглашавшие Г. Думу слушать г. Милюкова, несмотря на то, что мы вразумительною речью приглашали к бесстрастному выслушиванию всех сторон и в парламенте, и в литературе, г. К. Арсеньев неблагородно *инсинуирует,* будто мы привели историко-литературные примеры нетерпимости не в иных каких видах, как для того, чтобы «оправдать приемы, равносильные зажиманию рта». Вот подобными благородными приемами полемики и была прогнана если не с арены русской литературы вообще, то с арены литературы живой, читаемой и действующей вся славянофильская и вообще вся русская школа. Вокруг нее стоял балаган насмешек и, что еще хуже, злобная клевета в предательстве народных интересов, в сервилизме власти, подкуп-

ности и вообще корысти. Об этом кричали на всю Россию. Ну, и трудно было найти читателей для журналов и книг, авторы и издатели которых были объявлены чуть не взяточниками. Этот старый метод повторяет и г. Арсеньев, повторяет по старой сорокалетней привычке либерального писателя. Назвав нас мимоходом за статью в пользу терпимости к слову «апологетами насилия», он пишет: «На самом деле, для формулы, придуманной апологетами насилия, в русской литературе никогда не было места. Никогда не прекращалась открытая и прямая, – конечно, в пределах *возможного* (курс. автора, намекающий на цензуру) – борьба с мнениями, присвоившими себе монополию патриотизма. Чем больше выдавался своим талантом или своим влиянием тот или другой представитель этих мнений, – тем чаще направлялись против него удары космополитов». Да, «удары» и «борьба», но в чем они состояли? В том, что Катков продал себя правительству за казенные объявления, что И. С. Аксаков – дурачок или в этом роде, Достоевский – кликуша, Данилевский, автор «России и Европы», – есть невежда в науке, невежда и даже вор, потихоньку стащивший теории какого-то германского ученого. Таковы были перлы полемики, естественно образовавшей обструкцию около названных писателей, которая была совершенно равнозначна с выходом из депутатского зала правых партий, когда поднялся на думскую кафедру г. Милюков. Только эти правые *сами* вышли, а публицистическая или «направленская» критика, полемика, публицистика полуобманно, полунасильственно *уводила* читателей от перечисленных писателей. Разница большая и не в пользу «космополитов», оправдать которых взялся г. К. Арсеньев. «Полемикой с Катковым, – опровергает он нас, – наполнялись, в течение двух десятилетий, столбцы газет и страницы журналов. Не оставались незамеченными и сочинения таких теоретиков консерватизма, как Н. Н. Страхов: его «Борьба с Западом», его статьи о Тургеневе и Л. Толстом обращали на себя внимание не одних только друзей и приверженцев автора. Что касается, наконец, до самой книги Н. Я. Данилевского, то позднее ее распространение объясняется, по справедливому замечанию Вл. Серг. Соловьева, совпадением ее основных мыслей с общественным настроением, получившим значительную силу во второй половине восьмидесятых годов. И кто же, притом, всего больше способствовал ознакомлению широкой публики со взглядами Н. Я. Данилевского? Главный его оппонент – Вл. С. Соловьев, высокоталантливые статьи которого, опровергая выводы автора «России и Европы», возбуждали интерес к обеим сторонам спорного вопроса».

Так пишет историю былых полемик завсегдатай «Вестн. Европы», очень хорошо знающий, что все, что он пишет, есть ложь. Ограничимся примером. Книга Данилевского была «замолчана» критикою во все время жизни ее автора, т. е. около *двадцати лет*. Но с начала царствования Александра III, лично обратившего внимание на это наукообразное изложение славянофильства, она получила, в изданиях Н. Н. Страхова, ход. Практическая политика этого Государя могла опираться и, может быть, действительно опиралась на тезисы автора «России и Европы». По крайней мере, Государь этот

не болел тем «европеизмом», на который, как на патологическое явление русской духовной и общественной жизни, указывал Данилевский. Во всяком случае, книга получила успех не благодаря Вл. Серг. Соловьеву и не путем «оспаривания» «спорных сторон ее» на страницах «Вестн. Евр.». Совсем дело было иначе. И вот когда она нашла, наконец, читателей, на страницах «Вестн. Европы» появилась лживая инсинуация под заглавием: «Немецкий подлинник и русский список», имевшая разъяснить российской публике, что Данилевский не только глупец, неспособный ничего сам придумать, обосновать и развить, но что он, кроме того, и плагиатор, стащивший свою теорийку у германского ученого, издавшего какую-то брошюрку за 20 лет до выхода «России и Европы»!..

Полемика против людей русского направления велась не в идейном направлении, а в политическом. Сам г. К. Арсеньев проговаривается, что полемика начиналась только тогда, когда известные русские взгляды получали «силу». Вот по причине этой «силы» велась двадцать лет и полемика против Каткова или, точнее, велась травля на Каткова, сводившаяся к намекам на «арендованную газету» и «казенные объявления» в ней. Само собою разумеется, что эта полемика не имела никакого литературного значения и таковым значением нисколько не задавалась. Она имела целью убить политическую *силу* и не церемонилась в средствах, как в сражениях не церемонятся солдаты. Но это солдатское, а не литературное отношение к себе каково было чувствовать философам, мыслителям и если публицистам, то самой чистой воды и безупречной нравственности, каковыми были Аксаковы, Гиляров-Платонов, Страхов, Данилевский. О Каткове мы не говорим, потому что он сам знал страстные увлечения и не щадил кличек и марающих обвинений. Получал их и давал их. Мы говорим о теоретиках русского направления, о славянофильстве. Оно всегда было похоже на Архимеда, чертившего «круги свои», когда вошли в город римские воины. И что сделали эти воины с ним, то, увы, делали наши «космополиты» с людьми русского направления.

Всего этого не поправишь. Все это можно только оплакать. И постыдно, когда о всей этой минувшей истории говорится языком адвоката-софиста.

ДУХОВНО-ЦЕРКОВНЫЕ ДЕЛА В ИХ «НОВОМ КУРСЕ»

Наше духовное ведомство, представляющее довольно пеструю смесь из лиц, носящих клобук, и из лиц, носящих шляпу, из одевающихся в монашескую мантию и из одевающихся во фрак темно-зеленого сукна со светлыми пуговицами, уже смущало верующее сердце И. С. Аксакова и Н. П. Гилярова-Платонова. И один в «Руси», а другой в «Современных Известиях», – двух лучших московских газетах восьмидесятых годов прошлого века, – много выплакали горя по поводу «духа» и бездушности, «дел» и безделья, забот и

беззаботности этого ведомства. Все здесь очень высоко в идеале, в притязаниях и в титулах, но практика не отвечает высоким ожиданиям, связанным с этими титулами. Покойный Аксаков писал, вспоминая слова ветхозаветного пророка, «о мерзости запустения, водворившейся на месте святе». Его славянофильской душе, воспитанной на высоких славянофильских представлениях о христианстве, о православной церкви, претила та мелочность синодально-чиновнического «делопроизводства», в какую от века она была погружена, претила косность и черствость митроносных сановников и вечная ссылка «на святые каноны» и «авторитет отцов церкви», когда живым и сущим «отцам» хотелось закрепостить и отстоять какую-нибудь старую и всем очевидную неправду или остановить для всех очевидное и нужное живое новое дело. Осталось навеки памятным, что, например, в пору освобождения крестьян, этого величайшего христианского акта XIX века, духовные сановники не положили на чашу колеблющихся весов ни одной лепты в пользу народную. А митрополит Филарет с текстами в руках доказывал, что рабское состояние есть естественное состояние некоторых классов населения и что его одобряли сами апостолы, призывавшие каждого, и в том числе рабов, «оставаться в том состоянии, в каком они находятся»...

Высочайший идеал, величайшее пожелание русского народа заключаются в том, чтобы управители духовного ведомства приняли в руководство для себя единственно только учение Христово, приложили к церковной и народной жизни единственно заветы Евангелия, оставив в стороне ту смесь духовных и государственных заветов, какие к нам перешли из Византии X века, из Византии разлагавшейся и умиравшей. В этом желании единодушно сливаются русские простолюдины и русские образованные люди...

К сожалению, голос этот никогда не доходил до «верхов» духовного ведомства. Как известно, в своих новейших постановлениях о свободе религиозной совести Синод сделал ссылки на «Журналы комитета министров», на «Устав духовных консисторий», «Устав о предупреждении и пресечении преступлений», «Устав о воинской повинности», на «Уголовное уложение» и даже на устав строительный, устав гражданского судопроизводства, – но ни разу, ни в одном месте он не сделал ссылки на учение Христа и апостолов...

Для всякого понятно, что сделать ссылки на «уставы» и составить экстракт из статей этих уставов мог и столоначальник какого угодно министерства, а вовсе не духовного ведомства, и для этого не нужно было ни постригаться в монахи, ни изучать Св. Писание и объяснения к нему в духовных семинариях и академиях. К чему же тогда ведут и на что годятся семинарии, академии и тяжелые монашеские обеты, если они не дают ничего, кроме того, что может исправно дать всякий коллежский асессор?

Русский народ привык ожидать от пастырей церкви духовного света, евангельского руководства; во всяком случае, он любит церковь свою и привязан к ней потому, что видит в ней небесное учение, а не земное, что ожидает увидеть от нее такое, чего он не найдет ни у каких чиновников, ни в каком министерстве. Вот это «новое» в церкви, вот это «другое», чего он не

найдет нигде на земле, кроме ее одной, и составляет причину и единственное основание того восторга к церкви и тех мук за нее, которые выносил русский народ. Не в чиновнический же дух и не в чиновническое делопроизводство и не в чиновнические справки с уставами разных министерств он «крестился и облекся», и не это ему обещалось, когда он младенцем одеваем был в белую рубашечку и на него надевался крест на розовой или голубенькой ленточке…

Разделение государства, царства земных несовершенных дел, от благодатного царства церкви, которая не знает или не должна бы знать земных ограниченностей, земных узких суждений, – это есть непременный идеал русского народа.

С идеалом этим совершенно расходится та практика, на путь которой вступило духовное ведомство в своем «новом курсе»… Например, это отношение, которое обнаружило оно относительно своих же священников, снимающих сан. Представим вдового священника, который, оставшись с двумя или тремя малолетними детьми, не может сохранить вдовства и, ради воспитания детей, должен дать им вторую мать. Уже жестоко и то, что ему не допускается вступить во второй брак. Но насколько же суровее представляется новейшее требование Синода, чтобы таковому несчастному священнику, невольно снимающему с себя сан ради детей, воспрещено было не только занимать какую-либо казенную должность в своей епархии, т. е. в своей *губернии*, но даже и *жительствовать в ней*!!! Где же он найдет труд, заработок, если не в прежнем месте, где *его знают*, где он знает *условия труда* и где *освоился* жить?!! Не значит ли это гнать человека, и без того в несчастии, сироту и одинокого? А если принять во внимание, что большинство уездных и сельских священников живут в своих домиках, то не значит ли это выгонять несчастного из-под родного крова, гнать его *из родной губернии* и гнать на вероятный *голод и нужду*?! Наконец, если священник снимает сан с себя потому, что он не нашел удовлетворения в своей пастырской деятельности, до последних мелочей руководимой епархиальным и синодским начальством, – а это очень может случиться и по высокой нравственности священника, не мирящейся с чиновническими шаблонами и приемами консисторского и синодального управления, – то за что же опять-таки гнать его, мстить ему, и в этой мести доходить до изгнания из своей губернии, чего даже в голову не приходило ни одному министерству, никакому ведомству? Можно ли представить себе министерство народного просвещения или судебное ведомство, которое предписывало бы полицейским властям не допускать жительства в данной губернии бывшего учителя гимназии или судебного пристава, подавшего в отставку?.. Нельзя себе представить! Каким же образом именем Христовым и авторитетом Евангелия прикрывается эта беспощадность: ибо предполагается, что духовное ведомство, что духовная власть все делает по учению Христову; да она и высказывает свои решения с авторитетом такой силы и властности, как бы слова: «Христос есть глава Церкви», – были истиною не вообще, а и при данном решении, в данном

«определении св. синода»?.. Все это не может не отозваться глубоко расстраивающим образом на религиозно-нравственных понятиях народа... Каждый крестьянин может подумать: «Для чего же гонятся, даже до издыхания, семейные русские священники, имевшие несчастие в молодости овдоветь? Где их вина, чтобы за нее не давать людям ни места, ни прокормления, – буквально доводя до издыхания»... И где же исполнение слов хоть Ветхого Завета: «Не обидь сироту, не обессуди вдовицу»...Ведь если «вдовицу», то, конечно, и «вдовца», ибо это одно и то же?!

До чего обездолены русские священники! До чего они бесправны, до чего они без голоса, без представительства и защиты!..

В «Строительном уставе» и т. под. документах Синод не мог найти слов, защищающих все угнетенное и гонимое за веру, не мог найти и руководства к тому, как *надо относиться к немощам человеческим* (допустим – «немощам», хотя с решительностью это отвергаем о вдовых священниках). Но если бы он заглянул в книгу, *переплет которой* непрестанно созерцают заседающие в Синоде, то он мог бы найти там главу XIII «Послания к Коринфянам» ап. Павла, где апостол языков научал верующих: «Любовь *долготерпит, милосердствует*, не завидует; любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, *не раздражается*, не мыслит зла, *все покрывает любовь*, *верит всему*, всего надеется, *все переносит*»...

В МИНИСТЕРСТВЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Речь министра народного просвещения к чинам подчиненного ему ведомства не содержит пышных обещаний, к каким мы привыкли от быстро сменявшихся глав этого министерства при вступлении их на высокоответственный пост. Но в таких пышных обещаниях и нет и поистине не было надобности. «Поменьше слов, побольше дела» – это давно должно бы служить в этом совершенно расстроенном министерстве девизом всех сверху донизу, администрирующих, учащих и всех учащихся. Совершенно невозможно требовать деловитости, сдержанности, дисциплины и прилежания от юнцов между 13 и 17 годами, когда этих качеств не обнаруживают седовласые директора гимназий, члены окружного и министерского управления и, наконец, ближайшие советники и сотрудники министра. Дезорганизация министерства шла у нас не снизу, а сверху. Высшие чины ведомства почувствовали себя растерянными и не скрыли своей растерянности ввиду трудных, но, однако же, исполнимых задач своих. И естественно, что этой растерянностью воспользовались как те люди, со стороны которых было выгодно поднимать муть и смуту в молодых умах, так и те лица в самом министерстве, в управляющем и учащем слое его, которым вообще предпочтительнее было служить среди смуты, когда рамки закона и ответственности расширя-

ются, слабеют, когда безделье и дело уравниваются. Тогда в министерстве наступила полная расслабленность, ликвидация всех дел и задач, кроме жалованья и штатов, и какое-то странное и громкое признание начальствующих и воспитывающих, что они ничего не умеют и ничего не могут. Подобно мертвому телу, министерство народного просвещения пухло, лопалось, трещало на всю Россию от напора таких элементов, которые с ученьем и образованием ничего общего не имели, которые всем этим игнорировали, все это презирали и все топтали самым бесцеремонным образом. К величайшему несчастию и полному недоумению, в чинах министерства нисколько не чувствовалась вся униженность этого положения, столь очевидного со стороны. Все представлялось зависевшим «от внешних причин», а не от их бездарности, от «общего положения государства», а не от того, что они вот полвека не умеют ни учить, ни воспитывать, ни даже составить связно и хорошо программы училищ.

Пресловутые «собирания комиссий» и «съездов», о чем упоминает в своей речи г. Шварц, едва ли не были одним из самых ярких показателей того, что чины министерства сами не видели перед собою простых задач своих и перед лицом общества все постарались переложить на плечи этих многоголовых, безличных и довольно безответственных комиссий, которые, поговорив и посудив, естественно, разошлись, а министерство столь же «естественно» сдало многочисленные протоколы этих комиссий в исторический архив своего существования. В настоящее время совершенно очевидно, что самое избрание этих комиссий и съездов было со стороны министерства отодвиганием от себя, отодвиганием в неопределенное будущее задач преобразования и улучшения, которое оно решительно не знало, как выполнить. Здесь сказалось все бессилие и вся бездарность нашей правящей бюрократии. Едва от бюрократов потребовали живого и нового дела, они беспомощно ответили: «Мы ничего не можем, мы ничего не умеем».

Результаты комиссий и съездов, как это упоминает в своей речи г. Шварц, лежат беспомощно и недвижимо в архивах министерства.

Отовсюду доходят известия, что воспитанники – и, между прочим, студенты высших учебных заведений – так усердно взялись за ученье, как этого не было не только в течение пяти последних лет, но не было и задолго ранее. Пора безделья и шума, очевидно, до такой степени всем опротивела, она легла таким слезным бременем на плечи родителей учеников, что сами ученики, очевидно, оживились к некоему лучшему самосознанию. Всякое увлечение имеет свою реакцию: и можно рассчитывать и надеяться, что реакция в сторону науки и академизма будет так же длительна, обширна и глубока, как было сильно увлечение в сторону разговоров и политики. Школа, несомненно, перед выздоровлением. И дай Бог, чтобы г. Шварц оказался около нее искусным, осторожным и твердым медиком.

О БЛИЖАЙШЕЙ РАБОТЕ УЧЕБНОГО ВЕДОМСТВА

«Русские Ведомости», разбирая вступительную речь нового министра народного просвещения, в общем находят ее удовлетворительною, или, точнее сказать, лишенною тех дурных сторон, каких почему-то газета ожидала от этой речи; но орган московских профессоров недоволен тем, что в речи мало «направления» и что вследствие отсутствия его программа министра и будущая деятельность министерства остаются для общества неясными. Так как, однако, министр ясно сказал, что после собирания материалов, которым были заняты – путем комиссий и съездов – его предшественники, наступило время воспользоваться этими материалами и перейти к положительному творчеству, то педагогическая программа министерства нисколько не остается неясною. И «Русск. Вед.» могут сетовать только на то, что речь г. Шварца не проникнута тем душком, какого было много и у г. Кауфмана, и у г. Герасимова, но более, чем у них обоих, было его у гр. Ивана Толстого, который оказался потом совсем «левым графом». Газета и боялась черносотенных выступлений в речи нового министра, о чем определенно говорит; и успокоилась, не найдя их, но успокоилась не совсем, потому что не нашла в речи и прогрессивных выступлений. Удивительно, что газета не обернулась назад и не связала воедино двух этих фактов: того факта, что министерство народного просвещения последние годы шире всех других раздуло свои паруса и мчалось впереди остальных к «товарищам», и того другого факта, что оно «материалами» не воспользовалось, учителей оставило по-прежнему голодать, младших профессоров – тоже, а учеников оставило при одном «направлении» без всякого учения, Бог весть за что собирая с них плату. «Экзаменов не надо», «задаванья на дом уроков также не надо», «отметок за ученье – строго не надо». Ученики совершенно блаженствовали при таком облегченном преподавании, и только родители их потихоньку плакали, недоумевая, кому же нужны будут и в какое дело пойдут эти балбесы «с направлением». Министерство не воспользовалось материалами оттого, что оно само было только «при направлении», но без всякой у себя и в себе педагогической мысли, педагогической идеи; да, наконец, и без какого-нибудь уважения к себе, к своему министерскому достоинству, которое непременно отразилось бы поднятием материального уровня заморенных и затруженных учителей.

В словах нового министра «молодежь наша должна снова начать хорошо учиться; нам *следует ужаснуться надвигающегося мрака невежества* и снова уверовать в единую спасительную силу – в неустанный упорный труд» и содержится единственная лучшая программа министерства, которая поднимет уровень не только министерский, но и культурный уровень России, если слова эти не прозвенят пустым звуком петербургской речи, а разольются по всей России и везде войдут в плоть и кровь, от сельских училищ до столичных университетов. Слова, конечно, можно произнести и так и

этак; но характер нового министра и его прошлая служба, наконец, отсутствие душка и обещаний в его речи – все показывает, что он, как честный работник, возьмется за трудную работу.

Остановимся на ближайших, яснейших этапах этой работы, для подготовления которых едва ли нужны были и съезды, и комиссии, и едва ли нужно рыться и перерываться в заготовленных материалах. Для этого нужно энергичное движение лично самого министра.

1) Изменение, в повышательном направлении, окладов жалованья и пенсий всему учащему и воспитывающему персоналу министерства. Так как это невозможно без истребования новых кредитов и так как отпуск их зависит от Г. Думы, то можно догадываться, что министр и имел в виду поставить это дело, как говорится, в первую голову, в тех словах своей речи, где он сослался на «всегда благожелательное отношение к ведомству просвещения и к деятелям науки Государя Императора» и указал на «содействие Г. Думы и Г. Совета». Если мы не ошибаемся, то дай Бог. С этого надо начать. Прежние министры откладывали это дело не потому, чтобы они не знали, что на вопрос о жалованье учителей смотрит вся Россия, а оттого, что дело это *от них лично* требовало законодательной инициативы, *личных* хлопот, усилий, личной защиты и оправдания предложений. Это уже не сводилось к «переписке министерств», к «предложению вопросов комиссии», не сводилось к деятельности *товарища* министра. И убоясь *лично* выступать, министры убегали, как от волка в лесу, от этого мучительного вопроса о жалованье. Они убегали, а учителя голодали, т. е. жили впроголодь, но уже впроголодь без аллегорий и преувеличений, а буквально и точно. В печати был даже передан случай с полузаморенной сельской учительницей, которая умерла от легкого и пустого заболевания потому, что оно пало на организм, целыми месяцами державшийся на булке и чае и лишенный обеда и ужина.

Отсюда проистекли такие безобразные явления, как даванье частных уроков начинающими профессорами; как чтение лекций одним и тем же профессором в нескольких, иногда во многих учебных высших заведениях; как стремление учителей гимназии набирать непосильное число уроков, причем, естественно, самое преподавание делается вялым, раздраженным, отношение к ученикам становится невнимательным, а самое даванье урока переходит из активного растолкования задаваемого урока в пассивное выслушивание ответов учеников по заданным накануне урокам. Учение, преподавание – все становится тускло; гимназия хиреет, сохнет, шатается; все сводится к вывеске, на которой написано: «Губернская гимназия», к кирпичному толстому зданию, к штатам служащих, без всякого дела и пользы, без всякой культурной работы учебного заведения для города, для уезда и губернии, для страны. И в корне – такая простая вещь, как заморенные трудом и бедностью учителя.

Если несутся упреки на общества конок, что они держат заморенных лошадей, то совершенно позорно, когда аналогичный упрек напрашивается на мысль при взгляде на министерство народного просвещения.

Снять пятно нищеты со своего министерства – пусть это будет первым шагом г. Шварца.

Он очень уместно упомянул и об «ученых». Нищенски обставлены у нас не одна учебная, но и ученая часть. Года четыре назад в отчете московского Публичного и Румянцевского музея печаталось, что за недостатком помещения в его библиотеке вновь поступающие книги складываются на лестницах, а когда один ученый англичанин, посетивший Петербург, ознакомился с суммою, отпускаемою на приобретение новых книг в Публичной библиотеке, то сказал, что сумма эта равняется тому, что Британский музей затрачивает на одни переплеты приобретаемых книг. Оба эти примера поучительны. Россия совершенно не участвовала в великих научных экспедициях, раскрывших образованному миру остатки угасших цивилизаций Востока, Египта, Ассирии и Финикии. И все это опять потому, что, как говорят малороссы, «грошей нема». А на заднем фоне всего этого опять лежит тот грустный служебный факт, что наши министры народного просвещения очень любили украшать себя графскими и баронскими титулами, но ленивы или робки были доложить куда следует о том, что следует. И служили они тихо и гладко, не беспокоя Государя и государство, не столько как министры, как сановники государства, сколько как звездоносные директора департаментов.

На других этапах министерского трудового пути мы остановимся потом.

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СМУТЕ

Ни для кого не составляет тайны, что с самого начала образования союза русского народа начала подвергаться усиленным нападениям личность петербургского митрополита Антония, первенствующего члена Синода. Обвиняющие и грязнящие статьи появились первоначально в газете г. Дубровина, а затем, менее дерзко, но более «кусательно», начали действовать, прячась за спины других, лица в монашеской рясе и которые, по положению, ожидались бы быть его сотрудниками. Конечно, можно быть по должности сотрудником и резко расходиться во взглядах с «первенствующим» членом коллегиального учреждения, но это нужно делать открыто, с поднятым забралом. Впрочем, правила рыцарской этики не обязательны для монахов. У них есть своя этика.

Митрополит Антоний, конечно, не представляет из себя яркой фигуры. О нем очень мало знают в России. О нем не передается из уст в уста рассказов. Это есть официальная фигура «скромного поведения», – и это есть не только факт, но и программа, т. е. входит в личные и сознательные усилия митрополита. В то время как кругом его все кипит желанием переступить «личные рамки» и выйти на широкое поприще исторической работы и исто-

рической видности, – главное, видности, – митрополит петербургский упорно удерживается от подобного шага и ведет себя, сознательно и упорно, так, как если бы в последние годы ничего значащего не произошло. И даже если он и вынуждается сказать иногда «слово» в отношении современных событий, то он его произносит так, чтобы иметь вид колокола, в который кто-то что-то позвонил, но не звякнул он *сам*. Отсутствие «самости» могло бы вытечь из крайней тусклости личности, но в митрополите Антонии это не так. Совершенно тусклая личность дала бы вовлечь себя в события, бестолково замешалась бы в них и, не справясь с ними, не ответив им гармонично и не победив их, погибла бы. Словом, тусклость очень и очень совместима с суетливостью, с мелким интриганством. Попробуйте вывести митрополита Антония из сознательно бездеятельного положения, и он обнаружит в себе *личность*. Он ее обнаружит через то, что вам никак не удастся вытолкнуть его из той сознательно упорной недвижности, в какой его наблюдают и на которую, собственно, и негодует как союз русского народа, так и «свои люди», т. е. люди черной рясы и монашеского клобука.

Как смотреть на эту недвижность? Где ее разгадка? В чем корень этой программы?

Нужно обратить внимание на два обстоятельства.

Во-первых, митрополит Антоний очень образован, – не преувеличенно, но он, без сомнения, в этом отношении «первенствует» среди заседающих в Синоде лиц не только «по положению», но по существу. И образование его не исключительно келейное, хотя ничем и не нарушает духа и строя кельи. Он и здесь не имеет в себе острых, выпуклых и режущих углов. «Ничего не видно», но «все как следует». Эпоха Победоносцева заключилась поразительным упадком у нас духовно-иерархических сил, духовно-иерархических талантов. Сам Победоносцев, как известно, был чрезвычайно талантлив, умен и внутренно свободен. Но, – необъяснимо почему, – вокруг него все замертвилось, все потускнело в его «ведомстве». «Прекратились, – говоря языком св. писания, – всякие дары», и моральные, и, наконец, умственные. Не только таких фигур, как митрополит Филарет московский, стало не видно и даже как-то их нельзя себе представить на теперешнем фоне церкви, но вымерли за старостью и не заменились никем новым, равным, и такие лица, как Никанор одесский или даже Амвросий харьковский. Прекратились дары не только сердца и ума, но, наконец, и обыкновенного церковного витийства; потускнели самые шаблоны, если позволительно так выразиться. Но впереди всего этого чрезвычайно упал уровень обыкновенной образованности, школьной, учебной, книжной. Так вот и следует о митрополите Антонии сказать, что этот уровень общей образованности в нем менее упал, чем в других лицах монашествующего, управляющего делами церкви, класса...

Второе, что нужно принять во внимание, это то, что он есть служебная фигура, выдвинутая на свой пост рукою того же Победоносцева, или, во всяком случае, не в резком противоречии с его волею. И главное, – что он много лет *сотрудничал* с Победоносцевым, т. е. *шел за ним*, как при Кон-

стантине Петровиче, вообще, никто не шел «впереди его», кроме Государя, коему он служил, а все в службе «следовали за ним поодаль»... Это положение, эта привычка «следовать вслед» вырабатывает уже волей-неволей известную психику, постоянную робость, постоянную нерешительность; создает постоянный испуг: «вдруг очутишься впереди всех и обратишь на себя внимание всех». Привычки этой вовсе нет в третьих, четвертых, пятых фигурах, которые рвутся вперед и стараются быть замеченными... «начальством», а не народом, не историею. Этот страх особенный, исключительный, вырабатывается только во *второй* фигуре, сейчас за первою... Такою второю фигурою много лет стоял митрополит Антоний, – «вслед за Победоносцевым»...

Если принять два эти обстоятельства во внимание, то нетрудно войти в психику той скромности, из которой не то чтобы не умеет, но сознательно не хочет выйти митрополит Антоний. Прежде всего, он страшно привык к этой скромности, к ней предрасположились все его душевные способности. Но вслед за этим наступает и ясное суждение очень образованного и не келейно только образованного человека. Митрополит Антоний знает и не скрывает, не замаскировывает своих обыкновенных сил. Между тем мы переживаем и пережили время необыкновенное, – о чем митрополит Антоний, несмотря на свое молчание и как бы неимение ни о чем своего мнения, знает очень хорошо. Что могут сделать обыкновенные силы среди необыкновенных обстоятельств? Остаться в покое. Употребить все усилия, чтобы не выйти из той ячейки, небольшой и твердой, к труду в которой они были первоначально призваны, к труду в которой они уже приноровились. Митрополит Антоний это и делает.

Все очень хорошо видят, что церковно-иерархические лица, принявшие в смуте более энергичное участие, не покрыли себя славою. Ни Гермогена эпохи 1613 года, ни Филиппа Московского или Сергия Радонежского, ни даже митрополита Филарета шестидесятых годов XIX века не вышло... Мне приходилось перечитывать «Дневники» кн. Мещерского, этого консервативнейшего в России публициста, за пору поднятия в общественном внимании иеремон. Илиодора и прот. Восторгова: кроме шуток, пародий и анекдотов о них он ничего не писал. А уж он ловил всякую «воду» на свое консервативное колесо; он хвалил, отмечал и выдвигал всякое явление, каждое лицо, так или иначе боровшееся со смутою. Таким образом, на оценку этого консервативнейшего писателя, все усилия Восторгова и Илиодора только еще увеличивали смуту, брожение, хаос в нашем обществе и населении, не проливая на волны расходившегося моря, так сказать, ни одной капли умягчающего масла. Самим им, без сомнения, казалась роль их велика и значительна. Какому же оратору не кажется своя речь прекрасною, а глядя на море окружающих голов, иногда просто зевак, – какой оратор не сознает себя «силою»?! Но слушатели слушателям бывают рознь. Есть толпа и толпа. Мы не говорим своего мнения, но, ссылаясь на авторитет Мещерского, поседевшего за 40 лет в «борьбе с революционными течениями», отмечаем тот факт, что он

не придавал никакого значения и не видел никакой силы в речах и деятельности Илиодора и Восторгова... Это был лишний шум, лишняя возня; лишний эпизод в смуте, и эпизод комический...

Дело в том, что в обоих этих лицах была крикливость, скрипучесть; был задор и была дерзость; была резкость речей и выходок в меру свободы слова, свыше дарованной... *но и только*. Это еще не талант и никакая сила таланта. В огромных поднявшихся событиях, в событиях огромного напора – это было просто ничего. Ну, кто обратит внимание на крик и выходку, когда столько людей умирает, и так умирает... Зеваки, конечно, сбегутся и на выходку. Но сбегутся... и разбегутся. Самый союз русского народа в многозначительной своей силе поднялся не от Восторговых и не от Илиодоров, которые только *примкнули* к нему... Примкнули, но ничего в нем не сказали, ничего ему не сказали. Просто у них не было ума для этого, не было *творчества,* исторического, поэтического, всяческого. Они были крикуны, но они никого не умилили, не растрогали: в чисто русском и древнерусском духе и направлении они не произнесли ни одного хватающего за сердце слова и не сказали ни одной ясной, великой формулы. На одно не было сердца, на другое не было ума. А кричать – кто же не кричал в смуту. Можно сказать, «звонил весь город», и «колокола» Восторгова и Илиодора, совершенно сливаясь с общим звоном, ничего в нем не прибавили.

Ничего *нового* в этих лицах не было: вот причина их бессилия. И совершенно ясно, что они и зазвонили-то так резко по причине именно необразованности, которая не дала им оглянуться на себя, сознать свои силы, т. е. свое бессилие.

Митрополит Антоний остался в своей скромной роли по причине большей своей образованности, совмещенной с обыкновенными, скромными силами.

Как я уже сказал, – и с чем все согласятся, – к концу режима Победоносцева все уже *угасло*, не угасало, а именно *угасло* в нашем церковном строе, в личном составе и высшей, и средней иерархии. Ничто не пылало, не горело. Не манило, не обещало. И митрополит Антоний не вспыхнул искусственным и ложным блеском.

Таково внешнее и, так сказать, пассивное объяснение его недвижности. Нам хочется прибавить, что занятое им положение не только отвечает всему строю его внутренних предрасположений, но и в высшей степени соответствует теперешнему положению церкви.

В самом деле, перенесем мысленно на его место епископа волынского Антония, или Никона вологодского, или человека с темпераментом и шумом Илиодора, или о. Восторгова, – в России началась бы реформация. Конечно, не в германских формах и вообще не имеющая ничего общего с западноевропейским реформационным движением, но, по существу, в этом же смысле ломки старого и сотворения чего-то нового. Чего – никто не скажет.

Вглядимся в условия. Шумная и ярая личность на месте «первенствующего члена Синода» сейчас собрала бы сюда внимание общественное и за-

тем народное. Пока все здесь тихо, бесшумно и от этого – *не видно*. Не смотрят и *не видят*. Но появление здесь личности, желающей выдвинуться на передний фасад истории, обратило бы сюда и телескопы, и микроскопы. Оно вызвало бы необыкновенный гам прессы – по теперешним условиям, уже неудержимый, незаглушимый – и быстрое появление множества *испытующих,* критических книг серьезных ученых, академических профессоров, историков церкви и знатоков канонического права. В книгах бы излагалось, а пресса бы кричала. О чем? Это-то и смутно.

Она кричала бы обо всем, что «нашли». Между тем это «найденное» и уже теперь опубликованное, по поводу только сборов к церковному собору, чревато последствиями.

Я позволю себе здесь процитировать несколько мест из статьи Н. Гринякина, одного из деятельнейших чиновников духовного ведомства и постоянного сотрудника «Миссионерского Обозрения», журнала, обязательного к выписке во все епархии. Озаглавлена она двойным заглавием: «По общим вопросам веры и церковной жизни. О действенности церковного канона», помещена же была в декабрьской книжке журнала за 1906 год, когда только что было созвано предсоборное присутствие.

«Хотя и страшным, но неминучим вопросом для предстоящего собора русской церкви должен явиться обходимый ныне «страха ради» вопрос о действенности церковных канонов. Страшным он является оттого, что апостольские правила, вошедшие краеугольным камнем в канон православной церкви, ограждены от изменения своего и от отмены своей анафемой. Они должны «пребывать», по 2-му правилу 6-го вселенского собора, «тверды и ненарушимы»: «никому да не будет позволено, – определили св. отцы 6-го вселенского собора, – вышеозначенные правила изменяти или отменяти»... «И аще кто обличен будет, яко некое правило из вышереченных покусился изменити или превратити, таковой да будет повинен против того правила понести епитимию, какую оно определяет». «Кто не так мыслит и делает, думает и проповедует, как определено в этом правиле, подлежит анафеме» (Зонара). Седьмой вселенский собор правилом 1-м подтвердил это постановление 6-го вселенского собора. Таким образом, канон неприкосновенен».

«Неприкосновенен», а между тем уже нарушен, разрушен или полуразрушен, и не нами, не в наше время, а отцами нашими, еще в греческой церкви... Уже тысячу лет назад толкователи священных правил, сверяя их с живою, в их время, наличностью церкви, замечали, что им не известно, как «упразднилось или переменилось многое творимое прежде» по правилам. «И в настоящее время, – замечает г. Гринякин, – трудно сказать, каких из канонических правил осталось больше, – действующих или, по выражению «Кормчей», «забвенных и отнюдь преставших». «Считаем нужным оговориться, – замечает этот консервативный писатель, – что мы отнюдь не имеем в виду «православных», протестантски настроенных, а равно и наших «отцов обновленцев» также в виду не имеем. Не о них мы говорим. Мы говорим о тех, которые жаждут авторитетного соборного слова о действен-

ности «Книги правил» именно потому, что они, эти жаждущие, церковно настроены. Один из них смущен в своей совести из-за канонов, явно «преставших», но *не объявленных церковью за таковые.* Другой к таким «отнюдь преставшим» канонам, за отсутствием у нас церковной дисциплины, прибавляет, по своему усмотрению, и другие. Третий мучится вопросом о праве церкви устроять свою жизнь согласно месту и времени. Четвертый скорбит по поводу отступнических упреков, что мы самовольно не «последуем» своим церковным законам, и т. д. И надо заметить, что все это волнует теперь не одну православную паству, но и очень многих пастырей. Это самое обстоятельство заставляет думать, что *страшный вопрос* для нашего поместного собора *о канонах будет неминуем».*

Остановимся на минуту. Автор-консерватор ставит в иронические кавычки «православных», протестантски настроенных, и не менее иронически относится к «отцам обновленцам», т. е. к той группе «32-х священников», которые подали митрополиту Антонию известную «записку», настаивающую на необходимости «вернуть церковь к древнеканоническому строю», под чем разумелась отмена обер-прокуратуры, Синода и др. новшества. Но над чем же он иронизирует, когда его собственная статья является также «протестантски настроенною», ибо ведет к пересмотру церковных правил, «*преставших* быти», но о чем церковь *громко своего слова не произнесла.* Говоря, что «страшный этот вопрос» *неминуемо* поднимется на русском соборе, он и подготовляет почву, подготовляет умы верующих, с которыми так единомыслен, к тому, что, наконец, *церковью будет громко выговорено то, о чем она тысячу лет из страха молчала:* что ее канонический строй уже разрушен, что воссоздать его нет возможности и что из самых попыток его воссоздать проистекло бы неизмеримое зло и вышло бы еще большее, вероятно, разрушение всего церковного строя.

Я продолжу изложение статьи г. Гринякина из «Миссионерского Обозрения» – «О действенности церковного канона».

Говоря о сомнениях и недоумении, поднявшихся не только в православной пастве, но и в самих пасущих иереях, он продолжает:

«Обратите, в самом деле, внимание на положение вещей. Наша церковная жизнь всколыхнулась теперь до своих последних глубин. Поднятые вопросы касаются не только мелких деталей нашего церковного устроения, но и, так сказать, самых «китов», на которых держалась церковно-православная жизнь – святособорных и святоотеческих правил. Возбуждаются такие «китовые» вопросы и в богословской печати, обсуждаются они на разных епархиальных «соборах» и «собориках», занимают они внимание и наших архипастырей. В объяснении это почти не нуждается. Новая жизнь встретилась со старым укладом. *Первая требует признания ее прав, второй молчаливо указывает на анафемы, ограждающие его неприкосновенность.* И оба правы».

«Оба правы», – говорит г. Гринякин, иронизирующий над «соборами» и «соборицами», т. е. над епархиальными собраниями духовенства, бывшими в 1906 – 1907 гг. в виду предстоящего собора.

– Хочу жить! – говорит действительность.

– Проклинаю! – гремит из древности «Книга правил».

– И оба правы, – резюмирует современный канонист-миссионер.

Как же «правы»? Как это случилось? В чем суть дела?

«С одной стороны, втискивать, – продолжает миссионер-консерватор, – современную жизнь церковной паствы по всем мелочам в каноническую форму, *смерянную по условиям жизни тысячелетней старины*, все равно что пытаться запрудить Неву щепкой. Ну как, в самом деле, верующего человека предать анафеме за то, что он обратился за врачебной помощью к еврею, – к доктору ли, в аптеку ли, – или помылся с ним в бане? А между тем этого требует правило 6-го вселенского собора, и преслушники его, если то будут клирики, извергаются из сана, а если миряне, то отлучаются от церковного общения. Мало того, в толковании на это правило, Аристиппа и нашей славянской *Кормчей*, между прочим, пишется, что такому же наказанию подвергаются христиане, которые «сообщаются с евреями иным каким образом», «инако како присвояся с ними», так что если я, например, отдам еврею в починку свои часы или куплю у него шапку, то, пожалуй, тоже должен подлежать церковному наказанию».

Явно, г. Гринякин сам улыбается всему этому, а с ним улыбается и «Миссионерское Обозрение», а с последним и весь наш официальный церковный строй, к которому принадлежат и писатель, и редактор журнала, где он пишет. Но слово не выговорено. Улыбка есть, а слова нет. «Слово произнести страшно», – пишет г. Гринякин в первых строках статьи. Но почему же «страшна» истина для церкви? Как это случилось в веках, во временах, что церковь, наименованная апостолом «столпом и утверждением истины», дошла до того, что сама начала бояться «истины»?

Для всякого читателя со стороны, для г. Гринякина, для «Миссионерского Обозрения», для вех совершенно ясно, что дело заключается не в живой жизни, которая изменялась и двигалась, понеже Бог велел всему «раститися и множитися»: индивидуумам это повелел, и их сцеплению – жизни, быту, цивилизации, всему. *Рост* всей мировой истории определен, предуказан и освящен в творческом Божеском благословении «раститься, множиться»... «Нельзя запрудить Неву щепкой», – говорит Гринякин; а мы продолжим: «не для чего освещаться сальной свечкой, когда есть стеариновая, есть керосин и электричество», «не для чего читать по пергаментным свиткам и по рукописям, когда есть печать», и все в том же роде. Все росло. Все двинулось. Все *исполнило* Божеское: «раститеся, множитеся». Вот это-то Божеское слово не было принято во внимание на вселенских соборах, на которые ссылается г. Гринякин, и они постановили *вечные правила*, уже самою *вечностью* своею направленные против роста, против жизни, против Божеской заповеди «раститься, множиться». Постановили это, да еще поставили под

«анафему» рост, жизнь, изменение. Совершенно явно, и на церковном соборе придется громко выговорить, что ни на «анафему» эту, ни на «вечные правила» отцы соборов вселенских благословения Божия не имели, что «вечность» повеления принадлежит только Богу, как Отцу всей небесной и земной твари, а слово Божие *заключено уже* в св. писании, и *прибавлять к нему* своих слов, своих повелений никто не может и никогда не мог. *Кто* бы это ни был – поступающий так становится на место Божие, уравнивает слово свое, *человеческое*, с Божиим.

Как это не сознать? Ведь это ясно как день.

Но это ясное как день есть уже реформация. Реформация ни в чем ином и не заключалась, как *в возвращении к слову Божию*; в проверке всей действительности – церкви, всего, так сказать, ее наличного имущества, текстом *единственно* книг Ветхого завета и Нового завета.

Но как, как все это произошло? «Неизвестно, когда это перестало быть живым, действующим правилом», – записано уже в пергаментных свитках тысячелетней древности. Нева текла, щепка отметалась. Правила «переставали» быть *без отметки об этом,* без *своевременной отметки*. Это как жилец: выехал из квартиры, а *в участке это не отмечено.* Нельзя же жильца возвращать назад потому, что полиция видела, как он отъезжал, а в книгах своих об отъезде не отметила. Очевидно, жилец ни в чем не виноват. Очевидно, и в каноническом вопросе вина лежит на тех, кто не «отмечал» своевременно, громко не выговаривал, что «правило отныне перестает действовать». И для собора русской церкви это «страшно» только оттого, что он будет вынужден *первый* произнесть об этом громко. А вынужден он будет потому, естественно, что соберется для «возвращения церкви к древнему каноническому строю», что составляет всеобщую программу, всеобщее пожелание; между тем из «канонов» половина уже тысячу лет не действует, без отметки о том, *когда, кем и силою какого авторитета они были отменены.*

Церковь, по существу, останется в том виде, в каком есть. Но *на словах*, именно *чтобы остаться в том виде, как есть*, она вынуждена будет отменить половину канонических правил. Отменить не по существу, ибо они давно угасли, но как об этом не было «отметки», то «страшное слово» будет как бы совмещением в пространство одного года, вот пока длится первый собор, всех событий в церкви, всех перемен в ней, какие происходили на растяжении тысячи лет. Это как в финансах: стоимость рубля падала и падала; она давно равнялась 90 коп., 80 коп., 75 коп., 65 коп. Но объявить рубль в стоимость не ста копеек, а 65 копеек – это *девальвация.* Явно, что в каноническом вопросе первый же собор русской церкви и станет перед задачею такой *девальвации.* Но отчего же не «отмечалось» своевременно о живых фактах, о действительных событиях живой растущей церкви? Г-н Гринякин берет эпиграфом в своей *реформационной, протестантствующей* статье следующие слова из 12-го правила 6-го вселенского собора, хороня под этот «святоотеческий» эпиграф свою протестантскую мысль, протестантские стремления: *«Сие* же глаголем, – выразились отцы вселенского собора, – не

ко отложению или превращению апостольского законоположения, но *прилагая попечение о спасении и о преуспеянии людей на лучшее»*...

Святая забота!

Явно, что оговорку эту отцы собора вынуждены были сделать, чтобы отразить упрек себя в *отмене* прежнего и уже отжившего свое время, уже начавшего вредить правила. Явно, что без такой отмены не появилось бы оговорки. Отменили же они, очевидно, подчиняясь напору текущих нужд. Но что же они сделали? В оправдание свое от темных упреков непонимающей толпы, которой было так же много в Византии, как ее много есть в Руси, они произнесли формулу, в которой соединены две истины, совершенно не имеющие между собою ничего общего, и соединили их как *что-то одно*:

– Мы это глаголем не ко отложению или превращению апостольского законоположения.

«Мы прилагаем попечение о спасении и о преуспеянии людей на лучшее». Да это совсем разное дело! Одно – *буква, слово*, «непреложность» в словесном изложении. Другое – живая нужда, спасение людей! Подчиняясь второй, отцы собора, очевидно, *нарушили* букву. Без этого оговорки бы не было. И следовало бы написать:

«Прилагая попечение о спасении и о преуспеянии людей, мы отложили и превратили законоположение, яко человеческое, понеже всему человеческому наступает конец. Как и нынешнему нашему правилу наступит конец же, когда вместо спасения и улучшения оно начнет вредить, и тогда во благовремении отложится».

Вот и все! И все это по Спасителю и его великому слову: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Суббота была даже божественным установлением, непосредственно божественным, и все же «ради спасения человека», даже единичного, – больного, расслабленного, слепого, – ее закон «отлагается». Не паче ли боли одного человека боль целого народа? И если божеское учреждение, суббота, была Спасителем отложена ради боли одного человека, то по его примеру и слову отцы 6-го вселенского собора могли, конечно, «отложить» законоположение апостольское ради боли народа, и сказать это прямо и ясно. В тот *первый* раз это не было бы «страшно». Но это прямое и ясное изречение не было произнесено; а не было *сразу* же произнесено, когда встретилась нужда, то и потом не произносилось тысячу лет. И вот мы встали перед «страшным словом».

Митрополит Антоний не хочет его произносить. Он «пережидает дни»... «Пусть кто-нибудь другой, а не я»... «Пусть не в мое время».

И если бы «трезвоны» нашего времени, все эти Восторговы и Илиодоры сколько-нибудь понимали положение дела, состояние церкви, если бы они были консерваторами «не по глотке», а «по разуму», – они низко-низко поклонились бы митрополиту Антонию, который своей нерешительностью, уклончивостью и, наконец, тем, что он просто обыкновенный человек, чего и не скрывает, что не маскирует, и сдерживает наступление реформации.

Ибо если уже гг. Гринякин и Скворцов реформационны, то кто же православный без кавычек? А они написали и поместили статью, в которой содержится все дело Лютера.

Пусть они в этом не дают себе отчета. Ведь это все равно, с «отчетом» или без «отчета» произойдет реформация. Дело, конечно, в деле, а не в словах. Гринякин говорит, что «девальвация» произойдет, что «девальвацией» начнется собор.

А девальвация – реформация.

И она начнется сейчас же, как только на месте митрополита Антония очутится личность поострее, порешительнее…

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ВЕДОМСТВА

Как мало требует особенных справок и работы подготовительных комиссий повышение содержания учителям и воспитателям, так не нуждается в кропотливом подготовлении и некоторая выправка учебных программ. В полной их переработке нет нужды уже потому, что не без разума же установились основные шаблоны преподавания при реформе гимназий в 1870 – 1871 году, а, самое главное, для умственного развития и умственной дисциплины учащихся не так важен вопрос о том, *что* преподается, как вопрос о том, *как* оно преподается. Как и во всяком искусстве, как во всякой обработке и, между прочим, в обработке душевных сил человека, юноши, отрока – важнее всего вопрос о методе, вопрос о качественной стороне преподавания, а не о том, какой именно предмет преподается и в каком объеме. Между тем, как это ни странно, вопрос – «от каких пор до каких пор» проходит предмет, т. е, в сущности, знаменитое дьячковское задавание уроков «от сих до сих», составлял всю душу или, вернее, все бездушие министерской работы над программами учебных заведений и выбора самых предметов преподавания. Все было сведено к количеству материала, без вопроса о качестве его усвоения. Точнее, и в самое качество входила только «твердость знания». Это направление министерства и направление ученого комитета при нем привели всю Россию, все русское юношество к той мертвой зубрячке учебников, какая никак не могла воодушевить юношество любовью к науке, привить ему вдохновение к знанию. «Упорный труд», о котором упоминает в своей речи новый министр народного просвещения, может быть трудом каторжника ученика, трудом выколоченным, подневольным, вымученным, – чему долгий и самый плачевный пример мы имели в долгом министерстве гр. Д. А. Толстого. Не дай Бог России увидеть повторение этого примера и избави Бог г. Шварца ступить на этот горький «испытанный» путь: все министерство его не даст тогда плода. Есть другая форма «упорного труда», которая рождается из вдохновения, из увлечения преподаванием и предме-

том. Наше министерство всегда бегало и даже пугалось упоминания об этой форме трудолюбия учеников, потому что оно было всегда бездарно и бездеятельно, как министерство, как организация, а для такого одушевления нужно иметь талант самому министерству, ему надо перейти от канцелярской и департаментской рутины к живому наставничеству, живому воспитанию, к благоговейному собственному отношению к науке и ученым. Настоящий момент особенно удобен для разработки и установки этого истинного «трудолюбия». Многолетний период «забастовочного ученья» выделил во всех университетах «академическую группу» студентов, а известно, что дух и «душок» университетов незримыми путями доходит и до гимназий, определяет и там «дух» и строй. Вот этим и следует воспользоваться. Министерству не следует входить в учебное дело, в распущенное и дезорганизованное учебное дело, какою-то новою бьющею палкою, наводящею «строгость»; вовсе нет, отнюдь нет. Ему следует, как великой культурной силе и как мудрости старых, дать простой перевес этим самостоятельно и, следовательно, сильно возникшим «академическим течениям», культу науки, уважению к занятости наукою. «Строгость», и острая, твердая, должна быть направлена только против всяческих обстоятельств, всяческих течений, которые мешали «академизму» появляться и выражаться свободно, безопасно, спокойно, беспечально. Наконец, что касается средних учебных заведений, министерству следует с большим прилежанием выправить учебные программы. Давно отмечено было, что в некоторых случаях ознакомление с формами древних языков, например, со строем таких и иных придаточных предложений, предшествовало знакомству учеников со строем этих предложений на уроках русского языка. Об этом говорили, об этом писали. И министерство осталось глухо. Оно «не выучило своего урока», как самый ленивый, упрямый и беспечный ученик. Предоставляем всякому решить, чем являлась «строгость» со стороны этого министерства, еще в пору Толстого – Делянова, которое, не ударяя само палец о палец для выправки дела, требовало необыкновенного «прилежания» и исполнительности от учеников.

Далее министерству предстоит произвести кропотливую и мелочную, но необходимую работу по согласованию учебных часов, отпускаемых на прохождение данного курса, точнее сказать, данного учебника, с силами учеников данного возраста. Широковещательные «объяснительные записки» к программам министерства следуют за точными перечнями почти параграфов, глав и вообще рубрик учебника, которые неукоснительно должны быть пройдены и обыкновенно просто переписываются в экзаменационную программу. Это есть нечто безусловное для учителя и ученика. И так как в министерстве никогда не был произведен, с карандашом в руке, точный расчет по страницам учебника и по встречающимся на них, напр., собственным именам и годам, сколько именно приходится в среднем усвоить ученику к годовому уроку, за вычетом пасхальных и рождественских каникул, экзаменационного и репетиционного времени и наших обильных «праздников», то учителям и пришлось втискивать, если позволительно так выразиться, боль-

ший объем содержания, учебной материи, в меньший объем времени, числа уроков. Уроков меньше, чем сколько указано учебника; и так как ни учебника укоротить нельзя, ни уроков прибавить нельзя, то учителям и приходилось жертвовать «повторением» пройденного, о котором педагогика имеет древний афоризм-аксиому, что «repetitio est mater studiorum», т. е. что «повторение есть мать всякого основательного изучения». Все изучение предметов в гимназиях сделалось «неосновательным» оттого, что едва хватало у учителей времени проходить предмет даже при задавании все «вперед» и «вперед», без оглядки назад, без припоминания прежнего. Преподавание вынуждено было бросить, как балласт, «принципы» объяснительных записок, как совершенно несогласованные с исчисленными в программах же рубриками, и превратиться в торопливую скачку «карьером» по теоремам геометрии, по рассказам Св. Писания, по странам географии и по высям истории, производя в душах и умах учеников такую толчею всего этого, которую можно сравнить только с недостроенною и вечно рассыпавшеюся Вавилонскою башнею. Сведения вечно рассыпались в уме учеников, и они переходили из гимназий в университет с такими жалкими обрывками знаний и вместе с таким отвращением к науке и к учебным занятиям, о которых вспомнить печально и позорно. Происходило это от той простой причины, что ученики не помнили ничего из пройденного и не помнили они по той еще более основательной и совершенно невинной причине, что всякую часть предмета они проходили гадко, небрежно, торопливо, наскоро, без «repetitio – mater studiorum» и без всякой вдумчивости, на которую не было простора и времени ни у учеников, ни у учителя. Нельзя не заметить, что самый «академизм» мог развиться у нас не только в отпор «политикам», но он развился и благодаря тому, что вследствие временной как бы приостановки ученья везде являлся простор времени, которым даровитые учителя и ученики и воспользовались для оглядки на себя и для более глубокого взгляда на предметы преподавания. В пору Толстого и Делянова, т. е. самой ускоренной «скачки» по предметам, «академического течения» не могло бы возникнуть ни в каком случае, ни по каким поводам, ни по каким мотивам.

В гимназиях наших скверно учатся, скверно все проходится, и это – не четыре года, а тридцать пять лет. И не столько в силу лености учеников, которая есть, но которая исправима, сколько от того, что вся организация учебного дела поставлена несносно, – и это зависело единственно от министерства, от центральных петербургских его органов, точнее – от деятельности ученого комитета министерства народного просвещения, который может быть и состоял из очень «ученых» членов и председателя, но членов поистине «не просвещенных» и уж особенно совершенно неосведомленных о том, что́ делается под его ферулу во всей России. Он не устроил, внимательно и скрупулезно, того, что в министерстве народного просвещения аналогично «расписанию поездов» в другом министерстве – путей сообщения. Гимназические и вообще учебные «поезды» пускались с невероятной скоростью, с требованием «поспеть» и без расчета сил паровозов с числом про-

ходимых верст, равным образом без запаса дров, воды и угля. От этого они не только не приходили «очень скоро» куда ехали, но и вовсе не доезжали до своего места, трясли пассажиров и ломали им кости. В педагогическом мире это слишком знакомые всем вещи, известные под именем «малого процента оканчивающих», множества «исключенных» и «неуспевающих», а особенно – повальное и черное невежество безусых юнцов, являющихся каждый год на первый курс наших 8 университетов. «По программе» все это какие-то всеобъемлющие аристотелики, всему учившиеся и учившиеся в громадном количестве, с огромным «упорством» учебной системы и своим; а на деле это – мальчики-Митрофанушки, если взять русские сравнения, а неопытно-дикие Анахарсисы, ничего не видавшие и всему дивящиеся, если взять сравнения древние.

ИСТОЧНИК РАССЛАБЛЕННОГО УЧЕНИЯ

В России ученье везде слабо и постоянно слабо – вот общая практическая аксиома, которую можно поставить наряду с некоторыми возвышенными теоретическими аксиомами педагогики. Большая озабоченность об увеличении числа школ должна бы у нас иметь впереди себя другую заботу: как сделать ученье энергичным, старательным и успешным в тех школах, какие есть.

Мало у нас школ народных, первоначальных; очень недостаточно реального, технического, прикладного обучения. Но средних школ с общеобразовательными задачами и программами мало пропорционально населению только в столицах и других центрах, а в небольших городах и особенно в уездных городах их столько, что не хватает учеников заполнить все число имеющихся вакансий. Это обычное явление. Если тем не менее в обществе и в печати постоянно говорится об увеличении именно *числа* школ, то это от того, что эта сторона дела представляется наиболее легкою и наименее к чему-нибудь лично обязывающею. «Увеличить число школ» – это требовательное обращение к государству, к министерству; переложенное на более ясные слова, оно значит: «взыщите с народа больше денег и постройте ему еще школ: ученье свет, а неученье тьма». Всякий говорящий так имеет счастливое положение господина, который только приказывает, и ему самому не нужно даже почесаться, чтобы приказание было исполнено. Приказав, он заявил себя образованным человеком, а если приказание не будет исполнено, то он будет «скорбеть, как гражданин», – положение тоже очень удобное. Всякий другой поворот вопроса более труден потому, что исполнение его зависит уже не только от министерства и состояния казны, но требует соучастия всего общества, требует энергии и заботы в каждой семье, во всяком дому.

Повторяем, школ не так мало: в каждом губернском городе одна или две гимназии, одно реальное училище, одна семинария, нередко кадетский корпус. Это для мальчиков. Для девочек – женская гимназия, одна или две, а

часто женский институт. Учиться есть где. Но вот беда: во всех этих учебных заведениях ученье идет вяло со стороны учеников, преподавание ведется бесталанно со стороны учителей. В общем, мальчики и девочки невежественны. Начальство и родители, глядя на это сверху, решают: одни, что «у нас все плохо и правительство ничего не умеет», а другие, что «Россия некультурная страна, и что же можно поделать, когда у нас еще сами родители необразованны».

Между тем даже «необразованные родители» радуются не нарадуются, когда их дитя хорошо учится. Нет, если кто больше всех об этом плачет, а следовательно, и относится к вопросу о школе все-таки наиболее культурно, хотя бы сердечно-культурно, то это родители. Менее всего можно их винить, ибо единственное, что семья в силах сделать, что она умеет делать, это наблюсти, чтобы «дитя сидело и училось». Это сторона прилежности выполнена семьею. Нужно обратить внимание только на то, какая масса средств тратится в России на репетиторство, до какой степени репетиторство сделалось всюду обширным промыслом и сколько в отдельности сил семьи уходит на выбор, неудачи и всю вообще возню с репетиторами, чтобы согласиться, что семья вытягивается из всех сил, чтобы удовлетворять требованиям гимназии и сделать ученье своего ребенка интенсивным, успешным. Да это так понятно: ведь от этого зависит все его будущее. Ведь не окончивший курса ученик есть несчастье для себя и вечная обуза для семьи. Итак, самым порядком вещей, самою природою вещей семья относится и не может не относиться наиболее культурно, т. е. наиболее хорошо и внимательно, в школе, к ученью.

Где же секрет дела?

Секрет дела лежит не в каких-нибудь очень широких взглядах на ученье, не в возвышенных теориях, а в самой простой вещи: в правилах перехода учеников из класса в класс. Так как они регулированы министерством, то вина скверного ученья во всей России и лежит всецело и исключительно на нем одном, на какой-то поразительной его неопытности, верхоглядстве, незнании низов дела.

Эти правила перехода очень легки в младших классах, начиная с первого, и очень трудны в старших классах. Видна система и какая-то странная целесообразность: в первом, втором и третьем классах не затруднять, облегчать переход, не задерживать мальчиков на второй повторительный год. «Слабенькие дети не вынесут твердого ученья» – это нянюшкино вздыханье сделалось министерскою аксиомою. И только начиная с 15–16 лет, с IV класса, гимназия становится перед учениками, «уже сознательными и ответственными», во весь рост своих требований.

Что же происходит? Происходит возмутительная педагогическая ловушка. Иначе и назвать нельзя.

Чтобы объяснить все дело, достаточно остановиться на параллелях.

Представьте, что новобранцам в армии в первый год службы, пока они еще «как мужички», позволено было бы и пьянствовать, и не выходить иногда

на ученье, и не повиноваться изредка команде. «Еще не привыкли; как деревня». В результате этого первого года распущенности была бы развращенность всей армии, совершенная бесполезность службы и во второй, и в третий, и в четвертый годы ее.

Представьте, что молодым чиновникам, только что определившимся на службу, тоже не предъявлялось бы строгих требований, пока не привыкли, эдак годик-два. Результатом была бы полная анархия всего чиновничества.

Но именно это сделано министерством народного просвещения. «Сперва полегче, потом потруднее»; первые три года можно переводить из класса в класс без экзаменов, – так, с небольшими письменными испытаниями по некоторым предметам. Переводятся с неполным годовым баллом по второстепенным предметам. Очень много второстепенного. Второстепенными, не главными предметами оказывается половина, даже больше половины.

Ученик привыкает. За три года нельзя не привыкнуть, что это все второстепенные предметы и что можно переходить из класса в класс, имея неполный балл. Возраст мальчика от десяти до тринадцати-четырнадцати лет мягок, как воск, и отпечатывает на себе все, что на нем отпечатывает начальство.

Что же оно отпечатывает? Что это неважные, второстепенные предметы; что для того, чтобы успевать, т. е. переходить из класса в класс, для этого не нужно иметь даже полного балла, можно и «удовлетворительно». Можно учиться «неудовлетворительно» и хорошо переходить. И это не на словах, а на деле. Ученик каждую весну воочию видит, что его переводят, хотя спросите его самого, его добросовестную детскую душу, что же он и они знают, и он нам ответит, что они и... они ничего не знают, ничего не помнят, ничего не понимают из пройденного и преподаваемого. «Мы ничего не знаем» – это такой всеобщий ответ учеников о своем ученье, он до того привычен для уха родителей, он до того общеизвестен в обществе, что удивительно, что министерство, точно где-то на луне существующее, о нем не знает. И почему все тридцать семь лет не спросило себя: да отчего же они ничего не знают?

Ответ заключается в правилах перехода: да для чего же и знать больше, чем требуют?

Вдруг на 15-м году гимназия ремизит своих учеников. Буквально, как в картах, где подсиживают. При переходе из IV в V класс для ученика неожиданно открывается, что все предметы суть главные, из которых требуется полный балл, и, что ужасно, – требуется знание на полный балл не за последние месяцы, даже не за четвертый класс, а за все четыре года, когда он учился и ему было позволено учиться на неполный балл! Это педагогическое предательство невозможно ни с чем сравнить. Оно происходит на глазах у всех, постоянно. О нем крушатся семьи, судьба детей. А как оно произошло, – невозможно понять иначе, как действительно усвоением со стороны министерства нянюшкиного причитанья: «Дитя до четырнадцати лет еще неразумно, – с него чего же требовать».

И смешно, и жалко бывает видеть, как родители требуют на дому от ученика-малолетки усидчивого ученья, как учителя у него требуют на уроке

хорошего знания заданного, как ревизоры на ревизиях раздражаются, что ученики ничего не знают, когда министерство, из Петербурга, им всем задало одну задачу: строго ничего не требовать до экзамена из четвертого класса в пятый, переводить при неполном балле и вовсе без экзаменов, при письменных испытаниях из диктанта, из решения задач и так называемого extemporale*. Если принять во внимание, что это безумное (или коварное?) облегчение заведено было в железное министерство гр. Д. А. Толстого, то растеряешься понять его.

Ученики «ничего не знают» в I, II и III классах, когда по древним и новым языкам проходится вся этимология, т. е. все *формы* языков, труднейшие для памяти, и когда в памяти же должен быть заложен основной запас слов. По математике в эти годы проходятся дроби, их сокращения и преобразования и вообще все основные комбинации с числами и величинами. Ничего не зная из этого и, во всяком случае, очень мало понимая в этом, что представляет собою ученик в старших классах? Разбитую барку, изуродованную вещь, педагогическую калеку, который держится остальные годы на подсказыванье, списыванье и проч., столь же развитых у нас, как и репетиторство, педагогических жемчужинах.

«УПОКОЕННЫЕ» И ПРЕДПОЛОЖЕННЫЕ К «УПОКОЕНИЮ» ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИЕРАРХИ

Когда, недели две тому назад, я впервые услышал мелькнувшую в воздухе весть:

– Слышали, епископ Антонин уволен на покой? –

то я не мог несколько дней уснуть. И теперь я еще не умею справиться со своим сном. Все мне мерещится его громадная фигура, совершенно не в меру других «человеческих образов», точно он происходил от каких-то еще допотопных людей... Фигура не только высокая, но и пропорционально широкая в плечах. И такие же руки, и такие же ноги. Но он был не толст, а при прощупывании через рясу и руки, и бока, и грудь давали впечатление худобы. И смуглый-смуглый. И весь зарос волосами. Говорил на «о». Малоросс, но походил скорее на грека или на болгарина.

И этого гиганта свалил с корня не вихорь, не буря, а вот их тихонькое, благочестивое, келейное: «Мы вас, владыко, благословляем *на покой*».

На «покой»... *Заживо* умереть... Может быть, я бы спокойнее спал, если бы лет пять назад, разговаривая с преосвященным Антонином о том о сем, я как-то не спросил его:

---

* Учебные упражнения по переводу продиктованного текста на латинский или греческий язык *(лат.)*.

– Владыко, да что такое значит – увольнение «на покой» архиереев? Вот, я знаю, бывший наш нижегородский архиерей Хрисанф был уволен «на покой». Между тем он был первым светилом богословской науки в свое время, написал единственную на русском языке возможную к чтению «Историю религий древнего мира»… Я по ней учился, ею зачитывался. Такой ум. Такая ученость… Нельзя представить себе, чтобы церковь не дорожила таким человеком, и поэтому я думал тогда, что просто он состарился, ослабел, ему стало трудно заниматься епархиальными делами, и вот, так как он был ученый, то его и послали «на покой», для ученой и созерцательной жизни, вдаль от «суеты мирской» и смятения городов. Это как бы обсерватория вне города для астронома: сиди, читай и пиши. Но как будто это другое? И как будто есть тут оттенок наказания, взыскания?

Он быстро обернулся:

– «На покой»? *Легче* умереть…

И как он был в речах не длинен, обрывист, то больше и не развивал свою мысль. Потом только, в разговоре, он иллюстрировал ее примерами.

И вот теперь это «хуже, чем умереть» постигло этого гиганта, совсем еще молодого, которому едва ли есть сорок лет, хотя на лицо он и выглядит гораздо старше. Мне особенно не спалось и не спится оттого, что он, когда зашла речь об «упокоении», высказал тогда такое отвращение, испуг, страх к нему… Видно, что это – сословный, классовый страх, но прошедший особенно остро по этому человеку вследствие исключительных его физических сил и непрестанного умственного возбуждения. Он – как кипящая лава. И вдруг эту лаву бросить в холодную воду.

– Ступай, лава, на дно океан-реки. И скроет она тебя. И никто тебя не увидит, не услышит до страшного суда, когда дно моря обнажится, и вскроются все в нем утонувшие.

Да, «утонуть» – вот настоящее сравнение. «Уволенный на покой» – это «утопленник», но он десять, пятнадцать, двадцать лет «захлебывается», булькает, шевелит руками, бьется ногами, с полным, однако, сознанием, что берега нет нигде, что ухватиться не за что, плыть некуда, да и доплывешь, – оттолкнут.

Что значит «отставка» для мирянина? «Опала» для государственного деятеля? Обоим открыт весь мир. Только «не видеть начальника», что даже и приятно для большинства служащих. С ними их средства к жизни, пенсия, родство, друзья. И главное, самое главное – *подвижность*, т. е. *жизнь* же, только *перемененная, другая.*

У архиерея какие же «друзья»? В епархии ведь были только подчиненные. Бывшие академические товарищи, «архиереи» же, – за пределами своей епархии, далеко, невидимые, с похолодевшими связями. Съездов архиерейских нет, и между собою архиереи видятся, только если случится заседать вместе в Синоде. Но это для кого-то когда-то настанет. Архиерей живет и умирает в полном одиночестве. У него даже нет и «иноческой братии» вокруг, как у рядового, обыкновенного монаха. Только «служба», т. е. конси-

сторские дела и «делопроизводства», – вот жесткие, сухие травы, одни растущие в этой пустыне. Об «общении архиереев» тот же преосвященный Антонин однажды рассказал мне с горечью:

– Раз два архиерея встретились на ревизии: один ревизовал свою епархию и доехал до края ее, где протекала речка, а другой в это же время был на другом берегу речки, составлявшем уже его епархию. Архиереи, узнав о близости друг к другу, обрадовались. Им захотелось свидеться, но этого нельзя без разрешения Синода. Тогда они вышли, каждый со своей стороны, на берег речки и поклонились друг другу. Говорить нельзя, голоса не слышно. Переплыть на лодке, не разрешившись у Синода, нельзя. Так они покланялись и разошлись.

Он рассказал это как «бывшее». Но, может быть, это классовый, сословный «рассказ»? Характерен и он. Характерен и многозначителен. «Рассказывают» о том, что всегда бывает, чего не может не быть.

Что же остается, родство? Но оно полузабыто. Да и «родство» смотрит на далекого, потерявшего с ним живую связь архиерея под одним углом: или постоянного дохода, или случайных подарков и протекции. Здесь потеряно главное: *равенство* отношений, близость, интимность.

И вот из этой «пустыни» вырываются даже и тернии: «дела» епархии, т. е. какие-то все-таки *отношения* к людям, возможность *разговора* с ними, хотя бы делового, о делах службы и епархии. Теперь уже на ней ничего не растет. И жаркая пустыня дышит одним раскаленным зноем своим, задыхается в этом внутреннем зное. И ни капли росы.

Таков архиерей «на покое».

К одиночеству прибавьте бедность, унижение.

Об этой стороне дела мне рассказывал преосвящ. Антонин:

– При Победоносцеве был возбужден в Синоде вопрос о назначении «увольняемым на покой» архиереям пенсии, чего не лишается ни один служащий, как бы мал ни был его чин, какова бы ни была его служба. Ведь архиерей «служил» же, и он служил не только церкви, но и государству, разрешая дела семейные, например, по разводу, по ревизии метрических книг. Но Победоносцев отказал, сославшись просто: «Ну, для чего *монаху* пенсия? Он должен *молиться*»...

Вот и все. И *убил* дело. Как? Для чего? Это – целая философия. В «Кратком очерке истории церкви», написанном Победоносцевым, история возвышения в церкви монашества изложена таким образом: «Первоначально на высокую должность епископскую были призываемы и монахи, *и не* монахи. Но императоры греческие, видя высокие дары духа у монахов, и что они особенно ревностны к интересам и благосостоянию церкви, начали призывать на епископское служение сперва *преимущественно* монахов, а потом *только* монахов. И так это сделалось обычаем, который утвердился везде на Востоке». В этой формуле слова об «особенной ревности к *благосостоянию церкви*» не следует ли заменить другими для некоторых и даже для многих случаев: «Монахи были *особенно удобны* на службе церкви, ибо, не имея

родства и дружбы в миру, *среди молящегося народа*, естественно, в самой службе церкви они *согласовались с единственным лицом*, с которым имели связь, с лицом греческого *императора*». Так Комнены и Палеологи похоронили постепенно завет апостола: «Епископ должен быть единыя жены *муж*»... Отсюда проистекла двоякая выгода. Призыв *только* монахов на епископскую службу был обычаем, и естественно, ввиду слов апостола, не мог стать законом. Но обычай *есть* и завтра может *не быть*: *поддержание* «обычая» было в воле Палеологов и Комненов. Монахи, видя, что они *одни* или вначале *преимущественно* призываются на высшее церковное служение, и что это зависит только от воли императоров, не могли не начать служить этой воле *с особенною преданностью,* чтобы удержать за собою привилегию, ни на чем не основанную. Конечно, это было приятно для государства и государя, но не могло не сознаваться, как особенно приятная сторона дела, то, что этот «преданный человек», одиночка-монах, глубочайше беззащитен, что он «сыт тем, чем его накормят», и при малейшем сопротивлении может быть лишен решительно всего, может быть ввергнут в «темницу и оковы» без всякой осязательности и видимости, без возможности даже ропота вслух:

– Вы монах? Дали обет *смирения*? И *смиряйтесь*!

– Вы *постник*? Для чего же вам стол, яства?! *Хлеб и вода* – это вам «по обету иноческому»...

– Вы говорите: это – *тюрьма*? Нет, это – *келья*. Каменные стены, высокое маленькое окно – это все-таки *каменная келья*, тогда как святые угодники, на путь которых вы вступили «по обету», жили в деревянных кельях, жили в земляных пещерах. Было холодно, сыро. Сырее, чем у вас. И не роптали. Молитесь и вы.

– Святые Антоний и Феодосий Печерские, св. Серафим Саровский не расходовали и десяти рублей в месяц на себя: для чего же Антонину, когда он пойдет «на покой», иметь больше?!

– Монах есть монах. Обречен безмолвию, молитве. Он – с Богом, и для чего ему человеки? Кружка с водой и ломоть хлеба – его достояние, которое *сам избрал он как монах.*

Вот невероятное, несбыточное удобство иметь «монаха» на высоком посту «епископском», которое и привело, как выразился Победоносцев в своей «Краткой истории церкви», к тому, что греческие императоры «начали преимущественно призывать на епископские кафедры монахов», хотя на это закона и не было. И, конечно, особенно удобно, что «закона не было». «Все от нашей *милости*». «Все от *ихней* милости», – глухо повторяли монахи, с дрожью страха представляя будущую возможную «келью». «Все от *ихней* милости»... Или – *не*милости».

В Византии все это сложилось в каменный обычай. И когда русские в X веке приняли христианство, – они приняли собственно не его *в отвлеченном идеале*, а приняли в конкретном образе «греческую церковь», как она стояла, как она устроилась к X веку. Но с разницею не в нашу пользу. Там это была

«традиция», «вариант», который мог подлежать и пересмотру, а у нас это явилось *от рождения*, как *изначальный* «святой канон». Не у нас он установился, *нашему пересмотру и не подлежит.* Вот почему все века и до нашего дня русская церковь гораздо консервативнее, уставнее, строже и недвижнее, чем церковь греческая, чем византийско-сирийские «поместные» церкви.

В Щукинском музее, в Москве, есть два великолепных портрета знаменитого русского иерарха митрополита Платона, любимца Екатерины II. Портреты сделаны в разных возрастах: на одном иерарх списан еще очень молодым, с благородными идеалистическими чертами лица. Другой портрет списан позже, но еще далеко до старости. Но очевидно, он списан в пору силы и славы: иерарх самоуверенно, самонадеянно оперся на что-то рукою и весь выпятился вперед, не лицом, а грудью. Эта грудь до того уставлена орденами и перепутана вся лентами, как мы это видаем только на портретах «генералиссимуса» Суворова…

Ну, так если «монаху не нужно ничего, кроме кружки с водою и ломтя хлеба», то для чего же ему эти ордена?

Ему, одинокому, безродному, бездружественному, которому «только молиться»?..

Но пустыня особенно жарка тому, кто до нее испытал все сладости питий и яств. Захлебнуться, утонуть не так страшно чернорабочему, бурлаку, как князю, взятому прямо из чертога с позолотой, с коврами, взятому от друзей, льстецов.

Монахи, пока они у власти, пользуются всевозможными «милостями», богатством. Они живут во дворце. Все перед ними склоняется, т. е. склоняется народ, вот этот простой, серый, верующий люд. Дабы постоянный образ той «кельи», какая им останется «на покое», в случае непослушания и даже легкой «неугодности», грозил им страшнее, грозил как черная могила, как яма.

Преосвященный Антонин мне рассказал однажды, что у Победоносцева была мысль уволить «на покой» митрополита киевского Платона, который был строптив в Синоде, «не слушался». Старцу было уже за семьдесят лет. Конечно, «только бы умереть». Но задыхание в пустыне-тюрьме-келье страшно, если даже оно и будет всего несколько месяцев. «Может быть, я через час умру, но не душите меня в этот час». Митрополит явился к Государю Александру III. Он просил его, такой уже старец. Добрый Государь принял его милостиво и, будто бы, сказал:

– Я попрошу Константина Петровича взять назад его ходатайство о вашем увольнении. Но и вы, владыко, помните, что ему трудно, на нем столько дел, и церковных, и государственных…

Он говорил о Победоносцеве, чтобы митрополит не «затруднял» его сопротивлением. Митрополит остался, и, вероятно, уже больше не противодействовал церковной политике Константина Петровича.

И если так заболел, застрадал семидесятилетний киевский старец, которому едва ли и при увольнении предстояла бы «тесная келья», который до увольнения получал, по должности митрополита, около семидесяти тысяч

годового дохода (главная часть митрополичьего дохода от местных лавр, Троице-Сергиевой в Москве, Александро-Невской в Петербурге, Киево-Печерской в Киеве), то что должен испытывать едва сорокалетний Антонин, до такой степени кипящий силами, но который беден и которому предстоит буквально «келья» и хлеб с водою, с небольшими прибавками?!

Эта мысль мне не давала покоя.

И то сказать: духовенство точно потеряло «последний дух». Когда в Синоде зашевелилась было мысль о назначении пенсий «увольняемым» архиереям, то руководило им желание, чтобы архиереи были мужественнее в своем служении, не так робели и перед секретарями консистории, как известно, зависящими только от обер-прокурора Синода, а не от самого Синода, и мужественнее, самостоятельнее выражали бы свою мысль в случаях вызова их в Синод. Это – целая программа, это огромный шаг к подъему достоинства церкви, совершенно смятой обер-прокурорами. Для этого можно бы постараться, можно бы *посложнее* мотивировать свою мысль и перед Победоносцевым, и перед Государем. Можно бы указать, что если «монаху», т. е. архиерею «на покое», нужно только молиться и, что «зачем для этого пенсия», то ведь зачем «монаху» и ордена, и дворец-квартира, и многотысячные доходы «на служении»? Что ведь *человек*-то в монахе один, «служит» он или «на покое». Что этот «человек» одинаково *болеет*, к одинаковому *привык*. Увольняемых «на покой» архиереев немного, как и вообще это «случай», когда человек «в опале». Тут важен страх, и программа церкви лежала в том, чтобы победить страх, вернуть себе мужество. Можно бы постараться, и, предвидя «отказ» Победоносцева, столь естественный и ожидаемый, неужели русское архиерейство, неужели Синод и его члены в той доле действий своих, где они не поставлены под контроль обер-прокурора, не могли *приватным образом* устроить как бы кассу помощи «отходящим на покой архиереям», отчисляя в нее часть доходов и епископских, и лаврских, и особенно митрополичьих? Не так давно издана была брошюрка, где исчислялись доходы белого и черного духовенства: оказывается, что московский митрополит получает около сорока тысяч руб. в год, киевский – около семидесяти тысяч, петербургский – около ста тысяч. Куда это «монаху»... В виду же великой задачи церкви, очевидно, ярко сознаваемой, что значило из «толиких» сумм отчислять долю «упокоенным» архиереям?.. Даже бедняки, коллежские регистраторы, отчисляют в «похоронные кассы», себе на «будущие похороны», и отчисления каждого коллежского регистратора всякий год, пока он жив, идут на «товарищеские похороны» других «регистраторов»... Подобное же, для всей России, устроено русскими писателями, журналистами – «касса взаимопомощи русских литераторов». «Как несчастие у одного, – все помогают»; это – интеллигентная форма народной поговорки: «С *миру* по нитке – бедному рубаха». Но вот «мира»-то, общины, дружества и не оказалось между русскими архиереями. Не оказалось этого «последнего духа»; и все, на что они оказались способны, – это рассказывать друг другу на ухо горько-иронические анекдоты о житье-бытье архиерейском. Немного. Бессильно.

ВЕКОВЫЕ ПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВА

Опять все заговорили, все заговорило о народном пьянстве. Кроме множества статей в газетах и журналах, получаешь пригласительные билеты на собрания разных общественных деятелей и профессоров, где обсуждается этот же вопрос, эта же тема. Как в сильном организме, заболевшем в одном месте, кровь усиленным током приливает к месту болезни и исцеляет ее, так духовные очи всей России обратились на вековое, тысячелетнее зло народное, несчастие народное. И не верится, и невозможно, чтобы это не было в конце концов целительно. Так или иначе, но хотя в частях и хотя через несколько лет пьянство будет побеждено, ограничено, сломлено. Это чувствуется. На это можно надеяться.

Слишком оно ненавидимо всем трезвым в России.

Слишком оно противно всему здравомысленному, всему здоровому, всему трудящемуся люду. Во главе всего – слишком оно ненавистно, пройдя как бы огнем по телу, русской рабочей женщине, крестьянке, мещанке, жене ремесленника, купца. Все они видят разор денег от проклятого зелья, распад хозяйства, бесприютность и неприбранность детей. Последнее происходит от того, что жена половину своего времени убивает на возню с пьяным мужем, на истории с ним, – и ей невозможно отдать все свои заботы детям, как следовало бы. Каким бичом в семейном быту является пьянство, можно видеть из расспросов в народе о всяком сватающемся к дочери. Первый вопрос: «Не пьет ли?» Повторяю – это первый вопрос: т. е. во всеобщем народном сознании трезвость мужа и будущего отца представляется первым требованием, самой насущной вещью, при отсутствии которой все прочие возможные добродетели идут насмарку: не считается ум, не считается доброта, не считаются христианские чувства и проч. и проч. и проч. «Ничего не надо», – если он пьян; а если он трезв, то, очевидно, все доброе в нем если и не предполагается в осуществлении, то предполагается как возможное к культивированию, росту, возделыванию, воспитанию.

Невозможно, чтобы народ, так горько сознавший несчастие пьянства, так глубоко его оценивший, в конце концов не избавился от него. В победу русского народа над пьянством я верю.

Я не компетентен в изыскании технических средств борьбы с пьянством: всех этих мелких распоряжений власти административной и судебной, предоставлении прав одним, отнятие или ограничение прав у других. Очевидно, с этого именно должно начаться дело. И, например, право крестьянской общины не разрешать у себя винной лавки есть такое элементарное и святое ее право, о каком дик самый спор. Возмутительно, что этого права до сих пор она не имела, и оно, конечно, немедленно должно быть дано селу и деревне, всего лучше – дано прямо декретом Думы, одобренным остальными частями нового законодательного механизма. Наконец, зло пьянства уже побеждено в некоторых уголках культурного мира теми и иными системами борьбы с ним, и нам остается хорошо изучить их и перенять. Думе следует

санкционировать, т. е. дать юридическую правоспособность, отдельным группам населения, отдельным территориям отечества, например волости, уезду и проч., применить у себя ту или иную систему борьбы с пьянством по приговору волостного схода или уездного земского собрания, вне зависимости от общегосударственных мероприятий. Последние всегда бывают мешкотны, всегда бывают с проволочками, с перепискою и отписками; и, затем, неповоротливое государственное дело уже самым своим формализмом погашает энергию народную, отбивает «охотку». А секрет борьбы с пьянством, победы над зеленым змием явно лежит в подъеме народной энергии, во вдохновении народном, в народной охотке. Вот отчего значило бы в начале же погубить все это дело, если бы все его вздумали передать в руки одного государства. Работа государства никогда не бывает и не может быть молекулярной, по мелочам проникающею в *быт;* а все явления алкоголизма суть типично молекулярные явления, бытовые, мелочно-житейские, хотя, в конце концов, они и складываются в огромную народную картину.

Пьянство, или, напротив, трезвость – это *тон* народной жизни; с одной стороны, оно вытекает из этого тона, а с другой стороны, оно создает этот тон. Ну, а *тон жизни* – это такой инструмент, на котором не умеет играть государство. Вот отчего оно будет наиболее мудрым, если в данном вопросе поступится своим престижем и доверится движению автономно-народному, автономно-общественному, движению, наконец, личному, т. е. просто частному почину групп населения и даже отдельных лиц.

В практической области я могу сделать только одно замечание, не выдуманное мною, но какое мне приходилось постоянно слыхать даже от совершенно неопытных (учащихся) лиц, между прочим, от гимназистов и студентов. Когда, бывало, заходил вопрос о народном пьянстве, – еще до винной монополии и когда говорилось, что акцизная система явно покровительствует ему или не допускает настоящей борьбы с ним потому, что государство имеет главный доход свой от водки, то эти юнцы патетически говорили: «Неужели же государство собирало бы меньше денег с трезвого и трудолюбивого населения, чем с пьяного и бездельничающего?»

Признаюсь, этот решительный ответ всегда казался мне непобедимым. Ну, какой доход от пьяницы, а следовательно, в обобщении, – и от пьянства? Явно, что эта мнимая доходность основана только на том, что графа доходов резко разграничена от графы расходов. Государство – большой дом, большое хозяйство. И как нелепо думать, будто дом может быть богат при пьющем хозяине, так глупо думать, будто казна может обогатиться от народного пьянства. Мысль эта просто основывается на том, что графа доходов считает себя растяжимою и сократимою и боится сокращения от умаления винного дохода; напротив, графу расходов она считает несократимою, положенною в штатах чиновничества и в ассигнованиях на сооружения, армию и флот. Между тем потребитель водки есть явно плохой потребитель всех других товаров и вместе он есть инвалид-работник; да сверх того лично или в потомстве своем он даст кандидатов в тюрьму, в сумасшедший дом и в

больницу. Вот сколько статей расхода, который раскладывается между земскою казною и государственною казною. Министры финансов просто не хотят обратить внимание на то, что сокращение винного дохода сопровождалось бы ростом дохода от торговли и промышленности. Трезвая страна – богаче пьяной; в богатой стране – богаче казначейство. Вот и все.

Но техника борьбы с пьянством не моя сфера. Доброму, благородному порыву борьбы с пьянством мне хотелось бы помочь, и мне кажется, я могу помочь с другой стороны – принципиальной. Ведь всякое явление, и крупное и мелочное, имеет в себе физику и метафизику. Физика – ближайшая обстановка дела и ближайшие поводы его; метафизика – это то отдаленное зерно, из которого зародилось, невесть когда, то или иное длинное, вековое, мучительное всеобщее явление.

ВОПРОСЫ ЦЕРКВИ В Г. ДУМЕ

Всего одним голосом в думской комиссии по церковным делам дан перевес взгляду, что пропаганда религиозных мыслей, религиозных течений, религиозных общин допустима не только среди инославных, о чем тоже был вопрос, но и среди православных, но затем комиссия в следующем своем заседании перерешила вопрос и высказалась против допущения иноверческой пропаганды среди православного населения. Иными словами, комиссия стала на точку зрения, которую так пламенно оспаривал еще А. С. Хомяков в половине минувшего века и не менее пламенно оспаривал и оплакивал ее в конце того же века Вл. С. Соловьев. Оба эти мыслителя, как равно огромное число других русских религиозных мыслителей меньшей величины и значительности, указывали на то, что для русского духовенства нет повода проснуться, нет побуждения начать работать, и для самой богословской науки в России нет никакой нужды сложиться в наукообразную, законченную и защищенную систему, если церковь, ее истина и ее целость оберегаются не сердцем и мыслью духовенства, а министерством внутренних дел, начиная от генерал-губернаторов, озабоченных блюдением в своих генерал-губернаторствах «чистой веры и доброй нравственности», и кончая сельскими стражниками и урядниками, озабоченными приблизительно тем же. Конечно, все это соблюдалось нередко в очень аляповатых формах, когда урядник принимал за «нарушение общественной тишины и спокойствия» и «за пропаганду вредных учений» такие случаи, когда крестьяне собирались в избе и слушали чтение Евангелия, собирались иногда оттого, что от своего батюшки, занятого хозяйством, требами и иногда худшими слабостями, они долгие годы не слышали ни вразумительного, ни вообще какого-нибудь слова об И. Христе и об Евангелии. При таких заботах полиции духовенству оставалось только дремать; при этой богословской старательности земских начальников и урядников отцам иереям и диаконам осталось только, собира-

ясь поочередно у которого-нибудь из «своих», перебрасываться по вечерам в картишки, возложив «вся прочая» на волю Божию и ревность к церкви г. губернатора. Известно, что сельское духовенство гораздо усерднее выписывает и читает «Ниву» и даже юмористические журналы, чем свои богословские журналы, и что рассказы Лейкина и романы Всеволода Соловьева гораздо более читаются в его среде, нежели труды Иннокентия, Филарета или «Богословская Энциклопедия» в редакции Лопухина-Глубоковского. О трудах более давних, как митрополита Евгения, митрополита Платона или еще Стефана Яворского и Феофана Прокоповича и упоминать нечего. Сельское и уездное духовенство, отчасти губернское и, может быть, столичное, не имеет никакого понятия и даже никакого интереса к русской истории и к истории родной русской церкви. В этом отношении даже у светских людей оказывается больше заинтересованности, осведомленности и, наконец, горячности, чем у духовенства. И это оттого, что светские люди, сталкиваясь в обществе с представителями разных религиозных течений и читая заграничную печать, живут, так сказать, постоянно в мире богословских столкновений, споров, полемики. Живут в этом мире и, естественно, возбуждаются им к творчеству. Служилое же духовенство наше, столь рачительно оберегаемое, мало-помалу превратилось в неслужилое, – как и армия из «боевой» превращается в «парадную», если война не только не предвидится, но и отодвинута бесконечно далеко, когда войны заведомо «не будет» и она «невозможна», ну хотя бы от побежденности всех сущих и возможных врагов. Но внутри России, где только простирается власть и дозор министерства внутренних дел, «враги православия» однажды и навсегда и притом все были безусловно побеждены: естественно, что церковь наша, конкретно представляемая черным и белым духовенством, превратилась сама собою и незаметно только в «парадную церковь», составляющую, так сказать, только парадное украшение великой Русской Державы, великой русской мощи. В этом ее сущность за последние два века, в этом весь ее аттестат и послужной список, с самыми малыми добавлениями. И дивные слова, что «глава ее есть Христос», звучат в воздухе, но уже вызывают у слушающих только улыбку.

Духовенство, если бы оно сознавало это положение, если бы в нем бился пульс святости, должно бы первое восстать против этого печального и постыдного отношения к себе как к какому-то больному или слабоумному сословию, которое не в силах ничего само защитить, само побороть, само отстоять. Ему давно бы пора не только заговорить, но и закричать, что оно не умирающий старец, оберегаемый Сипягиным – Плеве – Победоносцевым, а полный зрелости муж, во всеоружии знания четырех академий, во всеоружии пыла и убежденности 70 000 священников и 200 епископов… Что истины Христовы и евангельские так лучезарны сами по себе, православное учение до такой степени само в себе убедительно, что отстоять такие твердыни, такие непобедимые крепости даже может и слабый, и тем более это может цветущее силами, разумом и просвещением духовенство русское.

Но не слышно этого… Наша восточная леность, наша азиатская косность победила все и, кажется, сыграла роль тех «врат адовых», о которых Христос изрек, что они «не победят Его церкви». А вот они взяли да и подкрались сзади, подкрались не с молниями и грозами, как ожидалось, а в тихом сне, в простой человеческой сонливости, и вошли внутрь ограды церковной, и, начав брызгать всюду мертвою водою, «победили церковь Христову».

– Возложим печаль свою на Господа и на Конст. Петр. Победоносцева…

Ну и понятно, что тут осталось от церкви, от Евангелия, от христианства. И «толкать» нечего: все само валится.

Это «само валится» выразилось в множестве русских сект, которые растут, как грибы в дождливую пору. Урядники разгоняют сектантов, а они все роятся, все множатся и, кажется, на месте каждого административно высланного родится по крайней мере десять новых таких же. Где причина? Не в грибе причина, а в дожде причина. Уже тот факт, что не священник борется с сектантом, а полиция, и не слово Божие побеждает его, а веревка, поселяет в непосредственной, доброй и наивной массе народа убеждение, что это «что-то не так», что «дело так не делается» и истина так не защищается. К сектанту, гонимому за свою веру и страдающему, прислушиваются, а к батюшкиному слову, хотя он и проповедует «лучезарную истину», но все знают, что по вечерам он перекидывается в картишки, становятся равнодушны. Вот где сила пропаганды и того, что секты и сектанты растут как грибы. Они выросли не теперь, едва ли они будут расти быстро и в будущем (скорее – наоборот): они выросли давно уже, выросли в чрезвычайном обилии и с необычайной быстротою в эпоху, когда о «свободе пропаганды» никто не смел и заикаться, когда закона о свободном переходе из православия в иноверие никто не ожидал иначе как в очень отдаленном будущем. В конце концов и *практически* следует сказать, что «пропаганда среди православных» не только всегда *была* и сейчас *есть* факт, но она непременно и всеконечно всегда и будет, пока на земле существует хотя одна вера, одна церковь, одна секта не православная. Это – в существе вещей, в существе религиозных убеждений: и комиссии в Г. Думе, как и затем самой Думе при обсуждении нужно иметь в виду единственно уместность и неуместность, нравственную и религиозную позволительность или недопустимость *кары, наказания,* притом государственного, физического наказания, за это вечно сущее «распространение своих религиозных убеждений», именуемое «пропагандою», какая на самом деле имеет более тихое существо – высказывания вслух религиозных своих убеждений, высказывания их в печати, в слове, дома и на улице, и уже естественно проистекающего отсюда другого явления: заражения среды этим новым словом.

НУЖНО СДЕЛАТЬ «ЛИЧИКО»

Мне приходилось и печатно и устно много раз спрашивать, отчего на иконах св. Владимира и св. Константина Великого равноапостольного лица их пишутся не так, как изображены на отчеканенных в их княжение и царствование монетах, а какие-то совсем другие, незнаемые и конечно никогда не бывшие – «не подлинные». Никто из священников и светских лиц не мог мне этого объяснить, пока один образованный иконописец не рассказал, что попытку изобразить Константина Великого *в подлинном виде* сделал знаменитый Васнецов, когда расписывал Владимирский собор в Киеве. Но когда проект Васнецова был представлен киевскому митрополиту, то он изрек: «Надо приделать *браду* и *длинные власы*». Как известно, Константин Великий, как равно все римляне того времени, его отец Констанций Хлор, его соперники: Максенций и Лициний, его сыны: Константин, Констанций, Крисп – все были коротко стриженые и бритые. Бород и усов тогда вовсе не носили, волос не отпускали.

Но нужно сделать не лицо действительного человека, а «личико для поклонения».

Меня многие спрашивают, и устно и письменно, для чего в новом законопроекте о разводе сохранена «проформа» увещания разводящихся супругов священником, – до такой степени неприятная и томительная, кажется, и для самого священника и во всяком случае для разводящихся супругов, которые начинают развод уж не без достаточно сильных мотивов, в чем бы они ни заключались. Что тут значат слова третьего, когда между двумя совершились такие дела и очевидно произнесены были ранее такие слова, после которых они чувствуют нестерпимым оставаться вместе? Есть оскорбления несмываемые, есть слова незабываемые; как разочарования – после обмана, лжи, жестокости, оскорбления – незалечимые. Что же тут значат слова, увещание?

Комический характер «увещания», как известно, описан картинно Л. Н. Толстым в «Анне Карениной». Все его помнят. Прибавлять нечего.

Для чего же это нужно? Кому?

Так меня спрашивают. И я не могу отвечать лучше, не могу себе объяснить лучше, как приравняв все дело к иконописи св. Константина Великого.

– Нужно сделать «личико»... Так будет все иметь «более благочестивый вид». Увещание, правда, никому не нужно, но оно в высшей степени морально нужно, сакраментально нужно самой церкви, т. е. конкретно духовенству и духовной иерархии. Без увещания какой же все имело бы вид? Неблагообразный, как стриженная и толстая голова Константна Великого на монетах. Брали взятки в консисториях, выслушивали заготовленных самою консисторией лжесвидетелей, т. е. не официально, не документально заготовленных, а всегда «готовых под рукою» у консисторских «заседателей»: в былые годы «волочили дела» по 10 лет, и, измотав душу у разводившихся, давали наконец развод, когда он и не нужен более, под старость лет.

Ибо развод всегда нужен для того, чтобы вступить в новый брак: без этого супруги и без развода могут жить и обыкновенно живут по разным городам. Словом, все дело было ужасно жестоко и денежно. «Лица» никакого не было, и даже можно сказать, что была «рожа». «Рожа» сребролюбия и жестокости. Как же с нею остаться, остаться в истории? Как с нею показаться перед людьми, выйти в свет? Невозможно. И вот к лжесвидетельству и взяточничеству было приделано «увещание». Это как «бородка» у римского цезаря, который испек живою в раскаленной бане свою жену, Фаусту, велел отрубить голову у своего сына, Криспа, приревновав его к жене своей, и приказал удавить своего тестя, добродушного Максимилиана Геркулия.

– Так будет лучше, при бородке, – поправил Васнецова и Прахова киевский владыка.

– Так будет лучше, с «трехмесячным увещанием от иерея». А то без этого что же останется? Что мы только брали взятки, мучили и выслушивали ложные присяги. Теперь же, при увещании, и мы будем иметь вид, что всегда пеклись о брачующихся, никогда не оставляли их милосердием своим, заботились, старались и словом полное наше сердце отдавали страждущим…

Поэтому, мне кажется, не надо спорить против увещания. Пусть останется хоть «бородка».

КАКОВ РАЗВОД, ТАКОВ И БРАК

В Государственную Думу внесен г. министром юстиции законопроект о разводе. И теперь своевременно напомнить все то, что в последние годы говорилось у нас о разводе, и вообще потревожить эту старушку канонического права и вместе светского законодательства – «теорию развода». На первый раз мне хотелось бы развить перед читателями теорему, формулированную мною в заголовке этой статьи: каков развод, таков и брак (quale est divortium, tale est matrimonium). Начну с иллюстраций.

Висят в столовой часы. Доска циферблата треснула, – это все-таки часы. Разбилось стекло футляра, – все-таки это часы. Сняли стрелки, стерли римские цифры на циферблате, но маятник методично постукивает, – мы имеем перед собою поврежденные, но все еще часы. Их существо не затронуто. Я вынимаю из механизма одно колесико, – часы остановились. Итак, механизм есть существо часов, потому что порча его уничтожает часы как временемер.

Горит лампа. Разбиваю ее подножку, так что приходится ее держать в руках. Но она горит. Снимаю стекло. Она коптит, но кое-как светит. Обламываем регулятор светильни. Огонь будет недвижим, но все-таки он будет. Но вот в лампе нет керосина или фитиля. Теперь ее нельзя даже зажечь. Соотношение керосина и фитиля и образует лампу, ибо их отсутствие или порча уничтожает то, для чего лампа, – освещение.

Я читаю стихотворения Пушкина и потом стихотворения Хераскова. Вычитаю из впечатления от Пушкина впечатление от Хераскова. В остатке получается прелесть, грация, воображение, чувство. Тогда я говорю, что эти качества образуют поэзию, потому что их отсутствие уничтожает поэзию.

Я читаю наставительные рассуждения о том, что не нужно грабить и не следует убивать. Затем читаю только две строки: «не крадь», «не убивай». Разница между повелением и пожеланием составляет закон, ибо где нет повелительности, нет и закона.

Вообще, от чего перестает вещь существовать, то и есть существо вещи.

Если от этой общей аксиомы мы обратимся к браку, мы будем поражены глубокой путаницей законодательства и общих мнений около него.

Точнее сказать – путаницею около него канонического права, т. е. духовенства, церкви, ибо церковь и духовенство устанавливали основное обстоятельство, разрушающее брак, к которому государство только робко и с большою медленностью прибавляло свои *новые поводы* расторжения брака, скорее только допускаемые, только терпимые церковью, нежели охотно и искренно признаваемые ею.

Само собою, и здесь аксиома выдерживается: от чего перестает быть брак, то и есть существо брака. «Qualis causa divortii, talis essentia matrimonii» («какова причина развода, такова сущность брака»).

Но церковь установила, что единственною и вместе достаточною причиною расторжения брака служит «застигнутость на месте преступления», которого не нужно называть.

Отсюда все мы вправе думать, что церковь именует браком только этот акт, которого нельзя назвать.

Подобно тому как мраморный футляр часов лучше деревянного, серебряные стрелки лучше медных, и все это лучшее желательно, но, однако, сущности часов не составляет, таким же точно образом около брака закон может ставить множество pia desideria*, но раз он сам не считает отсутствие их поводами к разводу, – значит, он не считает их и сущностью брака, его жизненно важными точками.

Например, закон пытается говорить или моралисты морализуют около закона, что «брак есть нравственный союз любви и единения». Тогда закон должен бы требовать, а моралисты рекомендовать, чтобы:

1) брак расторгался, когда в нем нет любви и согласия;

2) когда по какой-либо причине супруги сами разъединились;

3) когда они ссорятся.

Нет? Закон об этом молчит? Моралисты этому противятся? Ну, тогда, *по их же определению*, брак есть только и единственно половое общение, безыдеальное, холодное, равнодушное. Это есть «союз тел», без всякого вопроса «о душе», без всякого интереса «к душе»…

---

* благие пожелания *(лат.)*.

Заметим, что если бы закон выдерживал то определение брака, какое, *очевидно, содержится в основном его поводе к разводу,* тогда, конечно, не существовало бы ни так называемых «любовничеств» (сожительство по любви, а следовательно, и в физической верности), ни внебрачно рожденных детей. Это – contradictio in adjecto, противоречие между определением и названием вещи.

Противоречие это вытекло из того, что со времени возникновения в IV веке после Р.Х. церковного венчания определение брака раздвоилось:

а) сущность брака есть половое общение;

б) сущность брака есть церковное венчание.

Без второго брак *не начинается,* а по нарушении верности в первом брак *расторгается.* Обе точки зрения существуют в законе, хотя для каждого совершенно очевидно, что нет вещи, которая держалась бы на *двух сущностях,* имела бы два *ядра* своих существенных свойств. Одно из двух: или это есть «церковное таинство», «церемониал» церкви, – и тогда зачем тут «сожитие»? Оно не *непременно*! Или оно есть *сожитие,* – и тогда церемониал *второстепенен.* Церковь, начав с определения брака как чисто физического полового акта (что удержалось в «поводах к разводу»), кончила тем, что «сущностью» его стала именовать самый церемониал. И, по крайней мере, в нашей церкви и теперь «сожития» в браке вовсе не требуется: брак *действителен* и без его *исполнения, брак есть церемония венчания.*

Если бы страна или народ захотели возвысить брак, то доказанная теорема даст для этого средства.

Чем проще и грубее причина развода (quale divortium), тем грубее и низменнее брак (tale matrimonium). У нас это самая низкая и самая грубая причина: от того и брак неодухотворен, неизящен, плоск.

Введите в поводы к разводу отсутствие нравственной связи между супругами, и вы получите matrimonium morale, *духовно-нравственный союз.*

Введите в причины развода отсутствие любви, и вы получите matrimonium fidele, *верное супружество.*

Словом, как, вычтя из качеств стихов Пушкина качества стихов Хераскова, вы получаете поэзию, а, напротив, не произведя этого вычитания, определите поэзию просто как *ритмические и рифмованные строки на какую-нибудь тему,* так и в браке: если вы перестанете «вычитать» из сожития разные пороки через развод, то *все их и получите в сумме брака, в итоге matrimonii.*

Чем разнообразнее и многочисленнее условия развода, помещенные в законе, тем в нравах общества и народа повышеннее и повышеннее становится брачная жизнь. Через развод мы его одухотворяем, поэтизируем; к верности прибавляем нравственность, прибавляем любовь, содружество, скромность, бережливость и проч. и доводим его до высочайшего идеала.

Causae divortii, поводы к разводу, есть дар в колыбель брака. Теперь там ничего не лежит, кроме грубейшего факта: с таким даром он и бродит ни-

щим. Он стал смешон и презираем. В нем есть ссоры, злоба, измена (без доказательств). Его все избегают (мало и с трудом женятся), и только хороший куш соблазняет «женихов» на тяжкую операцию «вступления» в сие неизвестное…

Положим же в эту колыбель как можно более роскошные дары, задатки: послушание жены, вежливое обращение с нею мужа, жизнь непременно вместе, уважение жены к родителям мужа и мужа к родителям жены, заботу о детях и, словом, все благое, что придумает ум; и как в известном механизме в одну щелочку вложишь монету, а из другой выскакивает конфета, так и в браке при обилии и утонченности причин развода вдруг выступят на месте тусклого и серого теперешнего цвета самые роскошные и разнообразные цвета. Муж не будет «рыкать» на тещу, как существует это позорное явление у нас; муж не станет проводить ночи в клубе за картами, когда жена томится, усталая, около детей; жена не будет модничать и разорять нарядами мужа; об измене и речи быть не может.

Муж и жена станут друг около друга осторожны. Помните, какие изящные нравы выработали дуэли за невежливость? Потому что невежливость стала опасна. При обилии причин развода и дурные нравы в семье станут опасны. И станут люди приходить в ум. Сперва это будет скучно, тяжело, томительно, как и всякое воспитание. Но скоро все увидят, что дисциплина над собою приятнее распущенности себя, что чистый воздух слаще промозглого. И все задышат легко и благословят сперва тяжелую перемену.

Вот что значит теорема: tale matrimonium, quale divortium.

О РЕЧИ И ПИСЬМЕ г. ВЛАД. ЛЬВОВА

Депутат г. Влад. Львов построил блистательный силлогизм:

– Церковь не подлежит вмешательству государства.

– Но обер-прокурор Синода есть часть государственности, «взявшая господство над церковью».

– И посему, пока есть обер-прокурор около церкви, она подлежит контролю государства, и в том числе финансовому контролю Г. Думы.

Силлогизм этот имеет под собою скрытый тезис, душу-тезис:

– Ликвидируйтесь, г. обер-прокурор Синода.

Мысль старая, славянофильская:

– Церковь должна быть поставлена независимо от государства.

Но знает ли г. Влад. Львов две строчки, в которых тоже можно выразить всю *историю* церкви:

– Пришли *монахи* и задавили церковь.

Ответом на которую – у нас в России – и явилась строчка:

– Пришли *чиновники* и задавили монахов.

Вот положение, из которого пусть найдет выход г. Влад. Львов.

Отвалите от «гроба» или от «темницы» – как угодно вам формулировать положение церкви – чиновников: и вы попадаете в худшее положение: монахи возрастут в значении, досягнут настоящего папства, к чему есть тенденция и теперь; и от священников останутся одни только, можно сказать, камилавки и сапоги: живая душа белого духовенства, относительно свободная душа, относительно близкая к народу душа, будет съедена без остатка, – съедена школою монашескою, съедена дисциплиною монашескою, съедена администрациею монашескою.

В России настанет папство: ибо папство есть вечный идеал монашества; папа – это монах, который достиг всего, чего он желал.

Конечно, это не улыбается нисколько России. Обер-прокуратура Синода есть несимпатичная власть, есть неприятная власть. Но что же делать? Ее нужно бы выразить как-нибудь иначе, иначе организовать. У нас нет таланта создавать *красивые* власти, которые ласкали бы глаз и вызывали всеобщую симпатию, всеобщее сочувствие. Среди этих некрасивых русских властей обер-прокуратура Синода особенно колет глаз. На фоне омофоров и митр, среди кадильного дыма, на фоне золотых риз на иконах и вообще всего великолепия церковного фигура дельца-чиновника кажется сущим безобразием. Зачем он *тут*, когда все тут – *небесное*?

... Да, все «небесное»... Ну, а *доходы*? *власть*? Подчинение и господствование? Все это в церкви есть. Как с этим управиться? *Кто* с этим управится? Удалите обер-прокурора, как это г. Влад. Львов ставит условием *неревизуемости* церкви: и не ревизуемые монахи возьмут себе все; возьмут власть, и прежде всего деньги. Очень хорошо известно, что получает черное духовенство, «отрекшееся от мира», и что получает белое, на котором лежит вся работа церковная. Белое духовенство суть рабы, поденщики в церкви, – в такое положение они поставлены. Черное – «носители идеала». Ну, а за идеал – и денежки.

Нет, все это дело черно и непоправимо. Под спайкой якобы единого Православия на самом деле существуют *две церкви*, белая и черная, олицетворяемые в белом и черном духовенстве: *смертельно одна другой враждебные!* Поговорите со священником: он ненавидит монахов гораздо сильнее, чем светских «грешных людей»; поговорите с монахом: он тоже не чужд светских обыкновенных людей, с любовью говорит о народе; но – всемерно презирает «попов». Поп для него – недоделка чего-то; то же, что униат для истого католика. «Ни – то, ни – се».

Две церкви: белая, черная. В них все разные идеалы, разный и именно враждебный один другому дух. Что в том, что символ у них един, едины обряды, законы. «Не буква живит, но *дух*». Вот *дух*-то и разный в них; а при разном духе – и все остальное разное, враждебное, прикрываемое единством символа и обрядов, как некиим общим саваном или общим академизмом, отвлеченностью.

Почему обер-прокурору не быть при церкви? Он обеден не служит, треб не совершает. Не крестит, не исповедует. Он *считает* деньги, *распределяет*

деньги, *управляет* «делами», *переписывается* с властями. Все это ведь не «таинство» же, и вовсе не надо надевать ризы, чтобы исполнять эти простые, *светские* функции. Обер-прокурор есть эконом и в своем роде «управляющий домом» церкви, ничуть не вмешивающийся в ее литургийную часть, в ее богослужебную часть. Конечно, Г. Дума может контролировать денежную часть, заправляемую обер-прокурором, как и без обер-прокурора. Г. Дума и вообще светская власть всегда и *извечно* может и должна контролировать денежную сторону церкви, т. е., конкретно, манипуляции *духовенства около денег*, пожертвованных неопределенно «на церковь»... В былине даже сказано об Алеше *Поповиче*:

У Алеши глаза *завидущие,*
У Алеши руки *загребущие*...

Ну, если сразу же, даже в былинное время, это так бросилось в глаза народу, то, очевидно, контроль тут всегда уместен. Сказано: «и не введи их *во искушение*». Контроль обер-прокурора около Алеш Поповичей и около обер-прокурора – Г. Думы и предупреждает «впаденье во искушение». Самое святое дело. И кто бы его ни исполнил – все хорошо.

Вот простой ответ на *отвлеченные* и, признаюсь, какие-то детские взывания г. Влад. Львова и других о «восстановлении канонического строя церкви», что, кстати, невозможно и потому, что каноны противоречат одни другим, и даже до «анафематствования». Причем не отменены ни те, которые анафематствуют, ни те, которых анафематствуют. Это – азбука канонического права. Неужели ее не знает г. Влад. Львов?

«Канонический строй церкви» невозможен: это утопия. Троньте это дело, и вы сейчас получите реформацию. Ибо прежде всего сейчас придется кассировать вселенские соборы, на которых по темноте того времени и незнанию истории писались приговоры, противоречащие один другому; приказывалось под страхом отлучения от церкви повиноваться книгам, которые потом оказались апокрифами и не дозволялись к переизданию. И прочее в том роде.

Церковь есть просто – сущее. Драгоценное, древнее. И чему привык поклоняться народ. Так все и оставьте в этом виде. Пусть Нестеров рисует богомольцев Руси. Пусть старушка говорит «аминь», когда на заутрени в пустой церкви случайно отлучился дьячок и некому сказать «аминя» на возглас диакона. Пусть философы философствуют о вере. Широка матушка-Русь. И не для чего ей узиться.

В этой широкой Руси, около дивных богомольцев Нестерова, есть и обер-прокурор синодального управления, блюдущий интересы населения, защищающий белое духовенство от монахов, пообчищающий вообще очень запущенных монахов, которые ни чесаться не любят, ни переменять белья. На Афоне все это даже запрещено. Ну, – что же: причесаться нечесаному следует. Никакой «ереси» обер-прокурор не вводит, никакого еретичества нет в его должности. Мощи пусть благоухают; но ведь и мощи бывают истинные и *ложные* – и вот за этим надо присмотреть; около мощей собираются копеечки-

миллионы: и вот за этим тоже надо доглядеть. *Самому* народу это некогда: он пашет. Обер-прокурор есть *специалист* в этом деле, знающий бухгалтерское и канцелярское дело: и нужно ли доказывать, что никакого греха в нем нет?

Но что следует контролировать, – *при* обер-прокуроре или все равно и *без* обер-прокурора, – денежные суммы, текущие в церковь *из народа*, об этом не может быть двух *честных* мнений. Духовенство, будь оно подальновиднее, да будь и элементарно подобросовестнее, само призвало бы чинов государственного контроля на ревизию своих сумм: дабы не было о нем, как есть теперь, укоризненных шепотов, – не было их еще со времени, когда слагались и пелись былины:

У Алеши руки *загребущие*...

Что, конечно, букве «канонов» «не противоречит», но само по себе *грешно*.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ В ГИМНАЗИЯХ

Задачи, перед которыми поставлено министерство народного просвещения в настоящий момент, – трудны, настоятельны и деликатны. Безусловно, необходимо выйти из той анархии, в которую привело нашу школу, высшую и среднюю, «освободительное движение», и столь же безусловно нужно избежать жесткости, бездушия и формализма, которые предшествовали этой анархии и до некоторой степени, по закону контраста, также вызвали ее. Нужен средний золотой путь. Министерскому кораблю нужно пройти между Сциллой петербургского чиновнического абсолютизма и между Харибдой местного и личного самоволия, фантазии, злоупотреблений и свойственной русским распущенности и ничегонеделанья. Есть все признаки, что г. Шварц чувствует эту задачу не только со стороны ее настоятельности, но и в особенности со стороны ее деликатности. Можно сказать, что чем осторожнее будет проведено все это дело теперь, тем менее оно потребует дополнительной работы потом и в особенности вредных и опасных отступлений назад. Не дай этого Бог! Именно порывы взад и вперед, которые производились как эксперимент над нашими злосчастными учениками и над не более их счастливою русскою семьею, в лице родителей учеников, и породили главным образом сумбур и хаос, какие мы наблюдаем сейчас.

Однако нельзя не заметить, что уроки осторожности в школьном деле, вытекающие из пережитых испытаний, должны в равной мере быть соблюдены как министерством, так и русской семьею и обществом. Оно также должно серьезно оглянуться на царящую анархию и пожелать энергичного выхода из нее для счастья собственных детей, которых, конечно, не безделье и не кой-какое ученье научит нужному в будущем труду, ответственности и борьбе с препятствиями.

Вопрос о восстановлении в средних учебных заведениях экзаменов есть один из крупных, если не самый крупный, этапов в восстановлении нормального порядка вещей в расшатанной школе. Экзамен – это испытание и проверка; и достаточно помнить эту сущность дела, чтобы оставить всякие пререкания против него. Только злостное, преднамеренное и заранее обдуманное решение вовсе не исполнять или худо исполнить какое-нибудь дело может привести к желанию избежать его контроля, т. е. в педагогической сфере – экзамена. Мы не до такой степени пессимистически смотрим на состояние у нас учебных заведений, чтобы не верить вполне, что есть некоторое число среди них, где классное преподавание в течение года поставлено так высоко и все вообще дело ведется с такой внутренней нравственной ответственностью, что для них экзамены явятся лишь внешней нужной формальностью. Итак, мы не хотим обидеть весь учительский персонал в России, – и потому признаем это. Но без сомнения, все родители восстали бы против нас, если бы мы сказали, что все в России учебные заведения суть именно таковы. Горькая истина состоит в том, что таких прекрасных учебных заведений крайне немного в России, а громадное большинство их, увы, нуждается в контроле, и именно в контроле фактическом, формальном, документальном, каковым и является экзамен.

«Вестник Европы», далекий от всяких мыслей о введении в нашей школе суровых порядков, в только что вышедшей апрельской книжке, однако, также соглашается с пользою восстановления экзаменов в гимназиях, говоря, что учительский персонал почти всюду так еще слаб у нас, что невозможно положиться на полную удовлетворительность классной работы его на уроках в течение года. В самом деле, экзамен есть не только проверка ученика и учеников, но также это есть проверка учителя и вообще учительского персонала целого учебного заведения. И это очень хорошо знают сами учителя, знает это каждый учитель, годовую работу которого именно во время экзаменов рассматривают его товарищи по должности и директор учебного заведения. Экзамен так же смущает и тревожит учителя, как и учеников его. И, вероятно, родители учеников решительно ничего не имеют против того, чтобы учителя преподавали в гимназиях с некоторою мыслью о своей ответственности в конце года. Они только против того, чтобы эта ответственность, смущение и тревога передавались и далее – на учеников, на детей их. Но это уже такая очевидная *личная* слабость, с которою считаться не приходится. Совершенно явно, что все, и учителя и ученики, должны заниматься хорошо, и именно ответственно хорошо. Ибо они трудятся, учатся и учат не *для себя,* а для отечества, для народа, для целого общества, для государства.

«Вестник Европы» останавливается на другой, очевидно, полезной стороне экзаменов, на быстром и *цельном* обзоре учениками всего пройденного в течение года. Можно сказать, что *цельность* пройденного только и представляется ученикам во время экзаменов, и нужно ли объяснять, до какой степени умственно образователен этот цельный обзор, до какой степени он необходим. Это все равно, как озирать всю карту России после того, как

изучены все уезды и губернии. Этот цельный обзор дает не только то, что содержится в кусочках курса, проходимых по дням и неделям, но и дает положительно нечто новое, именно этот смысл и многозначительность всего предмета, его ценность. Ученики лучше входят в смысл всего учения, более заинтересовываются им; более входят в его наукообразность. На этой последней стороне экзаменов, в смысле новизны им сообщаемого, не останавливается «Вестн. Евр.», но она очевидно есть и она, пожалуй, главное. Он говорит только о *повторительной* силе экзаменов, о необходимости припомнить, и энергично припомнить все пройденное. Мы также говорили в свое время, что «repetitio est mater studiorum», «повторение есть мать учения» и что это хотя отвлеченно и повторяется в русской педагогике, но практически совершенно из нее выкинуто. И выкинуто самою организациею дела. К сожалению, и экзамены наши получили во времена «строгостей» толстовско-деляновской эпохи такой антипедагогический, нелепый характер, что не проявляли ни одной из своих благотворных сторон и приводили к результатам прискорбным и даже частью позорным. Эта сторона их требует внимательного рассмотрения, и мы к ней еще вернемся.

ГДЕ СКРЫТО ЗЛО СТАРЫХ ЭКЗАМЕНОВ

Министерство народного просвещения и его новый руководитель должны будут обратить самое серьезное внимание на ту тревогу, которая разлилась в обществе по поводу восстановления экзаменов в средних учебных заведениях, ибо эта тревога совершенно основательна в том отношении, что она есть результат только припоминания родителями теперешних учеников и учениц того, что они сами переживали, когда были учениками и ученицами в 70-х, 80-х и 90-х годах истекшего века. Министерство должно понять, что ничего подобного оно теперь не вправе восстановлять, и, может быть, оно догадается, что ничего подобного его не допустят восстановить: потому что при свободе печати и при наличности Г. Думы те безобразия и ужасы, какие творились в гимназиях по почину гр. Д. А. Толстого, вызовут такой вопль негодования и презрения, перед которым при теперешних обстоятельствах совершенно не может выстоять никакой министр и никакое министерство. Чтобы не искать многих аргументов этого, достаточно выбрать один. Министерство само констатировало, что почти во всех гимназиях того времени существовало *выкрадывание* тем, со взломом замка или без оного, т. е. что в гимназиях, среди «созревших» питомцев развилось и укрепилось... мазурничество. Можно поставить точку и не прибавлять ничего. Классическая гимназия толстовско-катковского стиля, свободно выросшая во всю величину своих замыслов, при отсутствии критики, при «приказанном» молчании печати, общества и семьи, начала давать... хулиганов... Не прибавляем к этому ничего.

Если мы спросим себя, если министерство спросит себя, да каким же образом это могло стать, и если не гимназия, то сама-то семья неужели же не могла выработать ничего лучшего, то придется ответить на это, что, конечно, состав учеников и тогда был не хуже теперешнего и не хуже всегдашнего: но это несчастное юношество, замученное в восемь лет нелепо поставленного учения и подведенное под драконов меч таких «испытаний», которых не только оно, но и никто в свете не мог *честно* выдержать, – невольно и фатально прибегло сперва к системе обманов, уловок, а в конце и к прямой краже, с подкупом сторожей и проч. Не юношество само было склонно к обману; такой нравственной нелепости не было. Но учебная система ставила учеников в положение непременного обмана: вот эта административно-педагогическая нелепость была. Само собою разумеется, что ни о каком собственно «постановлении правил об испытаниях» не может быть речи, ибо ведь «восстановить» придется тот нравственный ужас, о каком мы сказали и который общеизвестен в России. Напротив, может идти речь, и мы желаем, чтобы пошла речь о совершенно новой организации экзаменов как о новом, творческом деле министерства. Если Толстой смог, сумел ввести худые экзамены, организовав до последней мелочи эту худую их сторону, к худому направленную, то совершенно непонятно, почему бы г. Шварц не мог и не сумел ввести хорошие экзамены, так же подробно их организовав в хорошую сторону.

Худая сторона прежних экзаменов заключалась в том, что их *честно* никто не мог бы выдержать, что они были невозможны, *неисполнимы* по задаче своей. Эта нелепость, впервые введенная Толстым и совершенно непостижимая по своей мотивировке, заключалась в четырехгодичных, двухгодичных и восьмигодичных испытаниях, которым подвергались за весь восьмилетний курс ученики *только* в четвертом, в шестом и в восьмом классах. Почему *именно* в этих классах, а не в третьем, не во втором, не в пятом и проч., – никому не понятно. Отчего экзамены не производились ежегодно, ежеклассно, как было бы естественно и как было до сих пор, – непонятно же. Можно было бы ввести и, может быть, полезно будет ввести испытания не по годам, а по законченным большим отделам каждой науки: но в таком случае они никак не придутся на четвертый, шестой и восьмой классы, а распределятся по всему восьмилетнему курсу. В таком случае будет полный экзамен, например, из всего курса алгебры в седьмом классе гимназии; из всей тригонометрии – в восьмом, причем в этом восьмом классе уже не будут экзаменоваться ни из алгебры, ни из арифметики; могут быть экзамены из этимологии латинского языка в IV классе и из синтаксиса того же языка в шестом классе; но на пятый класс упадет полный экзамен из этимологии греческого языка. По раздробленности и замкнутости классных курсов Закона Божия, географии и истории – по этим предметам могут быть ежегодные, т. е. очень легкие, экзамены. Экзамен вообще тем легче, чем он производится из меньшей части курса, т. е. чем по данному предмету он производится чаще, чем, следовательно, самих экзаменов больше. Экзамены по ис-

тории, географии и Закону Божию сделаются совершенно легкими и сохранят всю силу цельного припоминания, если они будут ежегодны. С другой стороны, экзамен, напр., из всей алгебры или из всей этимологии греческого языка будет, конечно, очень труден; но на приготовление к нему должен быть дан, и может быть дан, очень большой срок, напр. до десяти дней к одному экзамену, что станет возможным, ибо всех-то экзаменов в пятом или в седьмом классе будет не более трех или четырех. Это – одна организация экзаменов. Другая и наиболее простая – это обычные ежегодные экзамены. Весь яд старых экзаменов лежал именно в их многогодичности, причем даже по таким несложным предметам, как Закон Божий, география и история, ученики все равно шли на экзамен с лихорадочною и повышенною температурою, а выдерживали их совершенно случайно и нечаянно: так как ни через какие усилия, даже не спав ночью и зубря от зари до зари, ученики, и худшие и лучшие, никак не могли «вызубрить» три книжки компактного фактического содержания в духе «календаря сведений» за три или за два дня приготовления! В три дня даже нельзя прочитать три книжки, положим Ветхого Завета, Нового Завета и катехизиса: между тем на экзамене приходилось и надо ответить наизусть что-нибудь из этих книжек, очень *точное,* с именами, с хронологией, с текстами. Не удивительно, если на таких экзаменах обманывали не только ученики, но и учителя, напр. прибегая к этому упрощенному способу батюшек – *самим* за ученика и вперед ученика говорить руководящие слова, факты и мысли «счастливого» или «несчастного» билета. Это было что-то вроде полусуфлерства экзаменаторов или их личного «творчества» на экзаменах. Но что делать: экзамен висел «драконовым мечом» не на одних учениках, но и на учителях, не более их счастливых.

Экзамен, повторяем, был *неисполним* не только для слабых, но и для самых сильных, самых прилежных и самых способных учеников. И на нем обманывали не одни ученики, но и сами учителя, прибегая к самым унизительным уловкам, для того чтобы спасти своих учеников из «петли», из совершенно невозможного положения ответить перед двумя или тремя экзаменаторами, при торжественной обстановке, то, чего *нельзя* ответить, то, чего они *не знают,* то, чего они *не могут* знать. Если бы А. И. Георгиевского, который при Толстом был закулисным организатором всей учебной системы в качестве председателя ученого комитета министерства народного просвещения, заставить самого держать экзамен по установленным им правилам, ну хоть из Закона Божия в VIII классе, – он, конечно, безнадежно бы провалился, даже получив лишний день для приготовления сравнительно с учениками! Экзамен был ни для кого непосилен. Министерство, если оно заключает в себе некую историческую совесть, должно вечно оплакивать эту позорную страницу своей деятельности, тянувшуюся от 70 до 89 года прошлого века, когда оно поставило в такую муку и в такой позор вынужденного обмана детей всей России, о каких ей теперь, в качестве уже родителей, страшно вспомнить! И самое это припоминание отдает каким-то кошмаром.

Г. Шварц обязан предупредить «возобновление» такой прелести. И предупредить очень точными и очень быстрыми разъяснениями. Ибо провинция очень исполнительна, очень чутка к «новым тенденциям» начальства: и в то время как в Петербурге только собираются «подтянуть вожжи» в школе, по губерниям и уездам, могут начать действовать такие «бичи и скорпионы», о каких здесь и представления не имеют. Министерство должно сотворить заново экзамены, а отнюдь не «возобновлять» их, что было бы педагогически преступно и исторически безумно.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Известно смутившее всю Россию распоряжение духовной власти, запретившее сельским священникам принятие на себя каких бы то ни было обязанностей и несение каких бы то ни было должностей по учреждениям мелкого сельского кредита. В основание запрещения было приведено какое-то каноническое правило, брезгливо приказывавшее священнослужителям сторониться от корысти и всего прямо или косвенно с нею связанного, – сторониться от денег. Между тем все православные постоянно смущаются звоном денег во время литургии: хождение с тарелками для сборов почему-то производится в самый торжественный момент ее, когда поют «Тебе поем, Тебе благодарим». Говорят, что для того так устроено, что в это время «все уже пришли в храм», и ни один лишний гривенник не минует тарелки. Не пора ли положить этому конец, перенеся сбор денег на менее торжественный момент церковной службы, красота которой и умиление молящихся положительно нарушаются и оскверняются этой слишком «житейской заботой»? Сама церковь за минуту поет: «Всякое ныне житейское *отложим попечение»,* – и тут же подставляет сама молящимся блюдце с серебром и медью. Кажется, это заведено церковными старостами и подстаростами (ктиторами и подктиторами); робкие священники не останавливают этого безобразия, и тут нужно вмешательство более высокого авторитета, с более властным словом. Строки эти мы вынуждены написать как выражение некоей коллективной просьбы, обращенной к нам молившимися в Митрофаниевской кладбищенской церкви при отпевании Ф. И. Булгакова. После сбора денег с тарелками староста или его помощник у денежного ящика стал так громко и звонко считать их, что для близко к ящику стоящих совершенно заглушилось прекрасное и трогательное пение в этот момент хора певчих. Мы полагаем, – и в этом передаем коллективную просьбу молившихся, – что митрополит с.-петербургский совершенно может издать соответствующее распоряжение по приходам, которое однажды и навсегда остановило бы эту порчу церковного благолепия.

ПЕРЕСМОТР УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ КАК УСЛОВИЕ ЭКЗАМЕНОВ

В методах управления можно заметить следующую разницу, отражающую разность в характере управляющих людей: слабохарактерный человек всегда старается подтянуть других и подтянуть на мелочах. Знаменитые начальнические «разносы», которыми прославилось русское управление на всех его ступенях и стадиях, есть выражение не силы, а дряблости. Дряблый начальник на всех кричит и всех подтягивает, не замечая, что все дела в его управлении идут плохо от того, что он сам ничего не делает и не умеет делать и что никому решительно его крики не внушают авторитета. Авторитетность есть какое-то врожденное качество, не принуждающее к повиновению, а внушающее повиновение. Он присущ силе, и сила эта сказывается не в нервных окриках, а во всем ходе административной машины, которая в руках авторитетного человека вдруг начинает отчетливо и методично выполнять свое назначение. Он полон требовательности к себе самому, и его личная, неутомимая и талантливая работа как бы подает тон всему учреждению, как хор получает себе тон в камертоне регента.

Несмотря на крайне печальную и до известной степени постыдную память, какою история школьного дела в России связана с именем гр. Д. А. Толстого, нельзя тем не менее не признать, что это был последний *настоящий* министр просвещения в России. После него на этом посту появлялись какие-то случайные люди, которых иногда хочется назвать авантюристами. В личности гр. Д. А. Толстого нужно уметь разбиться. Печальные последствия, вытекшие из его деятельности, имели источником своим то, что это был только администратор, и превосходный администратор, но отнюдь не педагог. Он не только не был талантливым педагогом, но не имел о педагогическом деле никакого живого представления. Не имел даже живого представления об учениках и учителях, не любя подвижности и личного общения, будучи человеком замкнутым, кабинетным. Все свои вдохновения в направлении классической системы он получил от московских классиков публицистов, Каткова и Леонтьева, но сам он, как известно, не знал греческого языка и, став министром, начал брать уроки греческой этимологии у известного проф. Коссовича. Представлял интересное зрелище в чисто русском вкусе этот министр, который запретил с двойкою по греческому языку переводить гимназистов из четвертого класса в пятый и который, несомненно, сам не получил бы даже и двойки, а получил бы единицу на самом этом экзамене. Будучи так мало компетентен в вводимой им классической системе, он доверил подробности ее введения и организацию учебных занятий одному из заурядчейших петербургских чиновников, но человеку непреклонной воли, А. И. Георгиевскому, бесцветному профессору всеобщей истории одного из южнорусских университетов. Попади это дело в руки таких педагогов, как Н. И. Пирогов или бывший попечитель казанского учебного округа Шестаков, или в руки таких ученых, как Тихонравов, – и училищное

дело в России было бы спасено и не понесло бы того болезненного крушения, какому подверглось, можно сказать, все министерство просвещения в первые годы текущего века. А. И. Георгиевский с усердием донского битюга протащил на себе весь воз педагогики 70-х годов, все предусмотрев до мелочей, на все дав правило, все снабдив инструкцией – «к неукоснительному исполнению». Он превосходно распланировал весь учебный материал, но только забыл в конце этой планировки сделать коротенький расчет числа страниц в учебниках, числа собственных имен на каждой странице и привести это в соответствие с числом уроков каждого предмета в году. Если бы он сделал скрупулезную, но необходимую работу, он увидел бы, что число страниц, имен и новых слов, предлежащих к усвоению *памятью,* не вмещается в число отведенных годовых часов иначе, чем путем полного выброса даже малейшего повторения. Ученики все шли вперед и вперед, с каждым уроком; только при этом условии учитель мог выполнить «неукоснительную» программу. С тем вместе в первом, втором и третьем классах гимназии не было устных экзаменов; были только три письменных экзамена по древним языкам и арифметике. Можно представить, при этом отсутствии повторений и экзаменов, груды полузабытого материала в головах учеников! В сущности, все было полузабыто! Но что значит «полузабытая» этимология, полузабытые спряжения и слова в языках, или в географии – имена и местности, а в катехизисе – тексты?

Все это такая *точная* вещь, которая требует *полной* памяти или ее вовсе *нет.* Если кто-нибудь «полузабыл» греческое или латинское слово, «полузабыл» такое-то наклонение такой-то группы глаголов, «полузабыл» такой-то год события или такое-то имя города, то ведь это значит только, что он их *вовсе не знает!* Вот эти несчастные «вовсе не знающие» ученики и тянулись к экзаменационному столику четвертого класса, а затем шестого и восьмого класса, с лихорадкою, с бессонными глазами, с измученными душами, и, увы... готовые к обману всеми средствами, если бы он только удался, если бы был возможен! Ибо больше нечего было делать. Спасти мог только случай, удача, или – обман. Так заведено было дело при гр. Д. А. Толстом и при трудолюбивом его помощнике, покойном председателе ученого комитета министерства народного просвещения.

Они дали организацию гимназиям.

Ее нужно было реорганизовать. Нужно было перестроить, перекроить или скроить заново программы преподавания. Иначе сгруппировать весь материал и, главным образом, привести его в соответствие с учебными часами и дав место повторению пройденного, притом неоднократному. Но уже таких работников, как А. И. Георгиевский, и таких авторитетных министров, как гр. Д. А. Толстой, в министерстве не находилось. Министерство созывало шумные комиссии, съезды профессоров и директоров учебных заведений, оно у всех спрашивало «их мнения», по-видимому, не имея никакого «своего мнения», – и, собрав томы печатного материала и всевозможных «отзывов» и «мнений», ни на йоту не улучшило положение учебного дела,

ни на йоту не сделало его более исполнимым и усвояемым, ибо ни одной соломинки не переделало и не переложило в гибельной работе А. И. Георгиевского. Говорили много, но не сделали ничего. Все сделал А. И. Георгиевский. Но он все сделал в высшей степени несуразно, а А. Д. Толстой в высшей степени властно «приказал» эту несуразность исполнить. Вот в каком положении находится дело сейчас. Оно находится в высшей степени в бестолковом положении, изнуряющем и обескураживающем и учителей гимназий, и учеников гимназий. Министерство, всех «понукая», решительно ничего не делает само, и есть основание опасаться, что оно и не умеет что-нибудь сделать. Оно в высшей степени склонно требовать, и не может или не хочет создать условий, чтобы эти его требования были исполнимы. «Возобновление экзаменов» без переработки *самим министерством программ* преподавания ставит в прежнее безвыходное положение учеников и учителей; и кто знает подробности учебного дела, для того совершенно ясно, что министерство просто было нравственно не в праве предписывать «восстановление экзаменов», *предварительно не переработав* совсем заново так называемых «учебных планов гимназий и прогимназий министерства народного просвещения» – этого основного законодательного руководства для всего нашего учебного мира.

Что значит «держать экзамен» из таких учебных данных, которые по форме и содержанию подобны таблице умножения или какой-нибудь статье «Энциклопедического Словаря», которые были пройдены три года назад, которые через год после того или за два года до экзамена стали «полузабытыми», но отчета в которых вдруг требуют на четвертый год! Это совершенно ни для кого непонятно, и, мы уверены, этого совершенно не понимает, т. е. не понимает возможности этого, и сам г. Шварц.

Это есть просто недоразумение! И в этом-то недоразумении забьются с этого года дети и юноши от 10 до 18 лет по всей России!

ОДИН ИЗ УПОКОЕННЫХ АРХИЕРЕЕВ

Мне хочется посвятить несколько строк одному из лиц, подвергшихся белой мести в наши смутные дни. Это уволенный «на покой» епископ нарвский, викарий петербургского митрополита, – преосвященный Антонин.

Епископ Антонин вовсе не «заурядный архиерей», как о нем писали мелочные петербургские журналисты. Это – один из ученейших русских иерархов. Он, между прочим, восстановил или «репродуктировал» еврейский текст книги пророка Варуха. Книга эта в еврейском подлиннике давно исчезла, около начала появления христианства. От нее не осталось ни одной рукописи, никакого следа, ни отрывка, ничего. Между тем она не только была, о чем сохранилось свидетельство древних писателей, но сохранились переводы этой книги с еврейского языка на различные наречия Древней Сирии,

Аравии и Египта. Переводы сохранились, а оригинал исчез: и епископ Антонин решился по этим переводам восстановить, как она звучала и читалась по-древнееврейски. Для этого надо было не только превосходно знать дух и формы древнееврейского языка, но и изучить все те языки, числом около восьми, труднейших и древнейших, на которые была переведена книга Варуха, – и переводы эти сохранились. Плодом совокупной работы над всеми этими переводами, причем надо было работать над каждым переведенным словом и угадывать то еврейское слово, которое имел перед глазами своими переводчик-араб, переводчик-сириец, переводчик-египтянин, переводчик-грек, – явилась громадная «репродукция» епископа Антонина, книга около тысячи страниц, где не только дан еврейский текст утерянного пророка, но и доказана основательность каждого слова, каждого оборота речи, сверками и параллелями с другими местами древнееврейских текстов. Какого это требовало труда и каких знаний – об этом может каждый легко догадаться, несколько подумавши.

И вся эта бездна учености и знаний погребена ныне… И автор «Пророка Варуха» отныне будет из окна своей кельи смотреть, как несутся курицы на монастырском дворе.

Что-то удивительное и пошлое…

Когда настала пора «белой мести», – епископ Антонин, который ничего решительно в *нынешние времена* не предпринимал, не делал, не нововводил, был, как рассказывают, призван обер-прокурором, г. Извольским, к себе. Судить его за *нынешнее* – нечего было, не было повода. А *о прежнем* можно спросить: отчего же его не судили *тогда*? Но «административная расправа» не знает справок с законом и не нуждается в «мотивах»: все эти церемонии уместны в открытом публичном, гласном суде, которым не судят архиереев, не судят «духовных» вообще. Духовные сами выработали для себя, или согласились о себе – на суд «отеческий», келейный, с глазу на глаз, где отсутствуют эти ничтожные «гражданские гарантии» и «научно-юридическая *обстоятельность*», презренные мелочи внешнего человеческого суда. Вообще, как посмотреть на все дело русского духовенства, то придешь к мысли, что это духовенство само себя съело. Само себя скушало – и только: враждою к науке и просвещению, враждою к гражданскому развитию, противопоставлением себя обществу, цивилизации, всему светскому. Теперь оно варится в своем темном соку; и воплей его никто не слышит, некому услышать. Высокая стена окружает его: и этою стеною ранее оно отгораживалось от общества, а теперь эта же стена отгораживает общество от него. И нет через нее ни проходов, ни перелазов.

Епископ Антонин имеет все особенности ученого: практическую неопытность, житейскую ненаходчивость; отсутствие изворотливости и самых элементарных приемов борьбы и сопротивления. Рассказывают, что синодальный обер-прокурор предложил ему просто подписать прошение, от его, епископа Антонина, имени, составленное, в коем опальный епископ *сам* будто бы *просит* «уволить его на покой». Так обычно поступают с мелкими пья-

ненькими чиновниками, да и то пользуясь минутою, когда он бывает нетрезв: это самая удобная и тихая форма отделаться от человека, который стал неприятен на службе, – или вообще «неприятен», кому должен быть «приятен». «Сам просится… И мы только исполнили доброе его желание: а что это так, то вот и *документ*». Что прием этот применим с мелкими и именно пьющими чиновниками – это я знаю; а что он вообще, как *правило,* применяется и к «увольняемым на покой» архиереям – этого я не знаю. Но передавали, что с еп. Антонином было именно так, и я не рассказываю читателям ничего, кроме молвы, однако идущей от людей, служащих «при самом этом деле». Будто бы, рассказывали далее, епископ так растерялся, неожиданно увидев бумагу, может быть, растерялся именно оттого, что это есть последняя, крайняя мера наказания, «гроб», что… взял перо и подписал. Это как у Кольцова сказано: «Не сломила его буря, а срезала соломинка». По-видимому, все рассчитано было именно на «ученую недогадливость» действительно ученого епископа: на то, что он именно «подпишет», не разговаривая, когда предложат. Ибо он мог и *не подписать*. «Келейный суд» тогда перешел бы в нечто более официальное, без «церемоний» нельзя было бы обойтись; пришлось бы выискивать пункты «ответов», которые могли бы стать неудобными. И вообще, все дело могло бы получить крайне неудобный и жесткий вид, колючий и для «ежовых рукавиц», хватающих епископа… Одно дело – «*сам* попросил уволиться», и другое: «епископа уволили и *заточили в монастырь*»…

Без боли я не могу думать об этой голове гиганта, срезанной действительно соломинкою. Живо помню его художественные рассказы, как он, кажется на второй или на третий год после своего наречения во «епископа нарвского», ездил ознакомиться со своею епархиею. «Мне эта коляска и в Петербурге надоела. И говорю я бывшим со мною: пусть лошади идут одни, а мы пойдем в ближнее село пешком. Да из этого села – в другое. Так и пошли, до ночевки. Народ толпой валил за мною, и я на ходу и разговаривал с ними. Вот часовенька заколоченная. «Отчего, – говорю, – заколочена?» – «Служить, – говорят, – некому – поп далеко». А часовенька эта – одно место церковное в деревушке, далекой от села, где церковь, и из народа когда-то кто пойдет к обедне в село. «Дайте, – говорю, – ключи». Часовеньку отперли, и я им тут прочел молитву и благословил крестом народ». Много епископ рассказывал и о грубости и первобытности населения: напр., о том, он был позван к одному старосте церковному в гости, что случилось в день ангела супруги этого старосты, а через несколько дней к нему принесли от имени этого старосты счет магазинов за все купленное на этот день по части кушаний и питий с тою ссылкою, что это было все взято из лавок для приема епископа Антонина. Еп. Антонин недоумевал, как ему поступить: жалованье викария – небольшое, и платить – значило потратить около половины месячного содержания; во-вторых, ни о каком угощении не просил хозяина, и явно было, что тот хотел, соединив женины именины с приемом епископа, отпраздновать именины на архиерейский счет. Но, с другой стороны, положение петербургского викария

настолько официально и торжественно, что «оспаривать правильность счета» или денежной претензии – неприлично для епископа. Рассказ этот был в присутствии еще двух епископов, и епископ Антонин недоумевающе спрашивал, как бы они поступили, как следовало бы ему поступить. Но из самого озорства купца-мироеда ясно, что и в недолгое время «пешего путешествия» нарвского епископа люди, даже совсем грубые и необразованные, рассмотрели «ученую неловкость и ненаходчивость» владыки и воспользовались ею в другой сфере так же, как позднее воспользовалась ею в своей сфере церковная бюрократия. Из других характерных рассказов еп. Антонина я помню следующий, из самого начала его архиерейства: он был приглашен, в один из весенних месяцев, отслужить всенощную накануне церковного праздника, в один из храмов на Васильевском острове. Я могу ошибаться, всенощную ли он служил, или обедню. Но вот пришло время сказать слово. «Видя, что церковь переполнена и что народа явно осталось много за дверями храма, я вспомнил свой киевский обычай – совершать церковные службы на открытом воздухе, и сказал: «Братие, изыдем – дабы слово было слышно и тем, кто жаждет его и не может услышать». И вышел из храма, остановился – и начал слово. Народу видимо-невидимо, и все накопляется больше. Раскрылись балконы на соседних домах и люди высыпали и туда. А в воздухе – теплынь. А деревья цветут и напояют воздух ароматом. Я говорил, и долго говорил. Кажется, хорошо говорил, с одушевлением. Отец (митрополит Антоний) пожурил меня за это: «У нас – обычаи петербургские, – и ваши киевские могут не понравиться».

Епископ Антонин очень любил митрополита Антония и в разговорах называл его «отцом». В свою очередь митрополит Антоний тоже, по-видимому, очень любил своего викария, всячески оберегал его и особенно боялся его выступлений в «слове».

– Хотелось мне произнести слово в Исаакиевском соборе. Но отец не пустил. Сказал: «Нет». Я и просидел дома. А так хотелось.

Эти слова я неоднократно слышал от него. Нужно было произойти чрезвычайным обстоятельствам, если митр. Антоний расстался со своим даровитым, оригинальным викарием. Нельзя и представить себе, чтобы это произошло без крайней боли…

Епископ Антонин во многом был нов; он был полон *личного* начала, *личного* одушевления, и это составляло огромную новизну в среде тех, кого мы привыкли видеть на том месте, на той чреде служб, на которой он стоял. Вместе с тем, чего не знают люди, не видавшие его, он был человек глубоко своего стиля, своего сана. Это даже доходило у него до недостатка, до упрека. Он был «слишком архиерей», – и при всей своей образованности и учености – архиерей именно старого, дореформационного «иконописания». Напр., весь Петербург, все горделивое петербургское духовенство было взволновано и оскорблено, что – кажется, в первый же год своего епископства – он однажды поставил на колени в алтаре сослужавшего ему священника за произнесение отменно бездарной проповеди, сказанной в «очередь» и не представленной ему на просмотр. Конечно, это было слишком, конечно, тут

он подлежит упреку, как и за следующие слова, сказанные им раз о священнике Гр. Сп. Петрове. В ту пору только начинались гонения на Петрова, и гонения начались из среды своей же братии, священников. Одна женщина, очень уважавшая Петрова, спросила епископа Антонина:

– За что духовенство так не любит свящ. Петрова?

Редко еп. Антонин сразу отвечал на какой-нибудь вопрос. И в этот раз, откинувшись в кресло, он долго блуждал глазами по потолку и, как бы обращаясь к потолку, сказал:

– Если бы от меня зависело, я бы его повесил.

Все были изумлены.

– Церковь, в историческом развитии, одевается известными красками, приобретает особенный характер, свою стать, свое особенное выражение. Это не канон и не закон, но это живая стилизация всей совокупности того, что есть в ней. Начать изменять эту «стать» гораздо хуже и опаснее, чем нарушить какой-нибудь определенный закон, в чем мы все бываем повинны и что простительно слабому человеку. Петров делает именно это. И вот отчего я так сказал о нем.

Мой портрет не был бы точен, если бы я не сказал, что этот даровитый епископ, кроме того, что был очень самовластен, – был и очень славолюбив, в хороших, ученых оттенках. Мелочности, беганья и «забеганья» в нем не было. Тщеславия нисколько не было. Он был страшно прост. Разумен, радушен. Но, разумеется, если бы молвой о нем зашумел Петербург, и тем более – зашумела Россия, он был бы высоко счастлив. Часто я думывал, что, кроме осторожности, всего достает у этого *исторического* человека. Докончу: в отзыве о свящ. Петрове, именем которого в ту пору шумела Россия, – входила и доля завидования. О всем должна быть сказана полная правда: и пусть этот штрих ляжет на лицо мною глубоко любимого и чтимого иерарха.

Многие, я сейчас слышу, поговаривают:

– Нет, отчего? Епископ Антонин еще не «конченный человек», как о нем судить. Теперь не такие времена, и он еще выплывет. Времена переменчивы…

Дай бог. Я одно скажу, что из такого множества тусклых фигур, каких я видал и знаю в духовенстве, это есть почти единственная яркая *личная* фигура. В нем нет того сияния тихой праведности, того священнического благочестия, какое я так люблю в замечательном нашем современнике, новгородском священнике Ал. П. Устьинском. Конечно, это лучше, это выше. Но хорошо и эти темные грозы, которые гуляют на смуглом лице, в насупленных бровях и то ласковом, то грозном взоре еп. Антонина. Есть тихий «ангел Иеговы» – как учит нас Библия; и совсем другое – ревнующий Илья, «порубающий пророков Ваала».

Договорю об отзыве еп. Антонина о свящ. Петрове. Оставляя, может, дурные мотивы этого отзыва, нельзя, однако, не заметить: насколько же в нем больше ума, чем во всех тех безмозглых попреках, какие в ту пору сыпались из духовной печати на свящ. Петрова; сыпались, как гнилые яйца из продырявленного лукошка. А ведь и там старались. Но ничего не вышло, не

сумели, не смогли. Между тем этот в одном слове, не придумываемом долго, какую силищу вывоpотил. Я до сих пор не сумею справиться с мыслью этого слова. И, может быть, только одно и можно возразить:

– Владыко, но ведь, может быть, *стиль*-то скверен…

И это уже «реформация», реформа, «Бог знает что!»... Антонин, очевидно, имел в виду «то, что есть» и объяснил, как и почему судит и осуждает священника Петрова «то, что есть», «церковь, какова она есть». Это – другое дело; и с этой точки зрения еп. Антонин неуязвим. *Суть* дела, конечно, в том, что свящ. Петров – сознательно или бессознательно, вольно или невольно – *менял стиль* священника, священства и, значит, – *всего*. Ибо в центре церкви стоит, конечно, «священник», только он, и просто он, от коего и зависит все, зависит весь *дух* церкви, весь *смысл* ее, весь *аромат* или, напротив, захудалая *пахучесть* ее. Вдруг это меняется, трансформируется без протестов, без шума, без «разлома», но видимо и осязаемо на всю Россию. Конечно, это – потоп, потопление старых вещей «драгоценной древности» или «обветшалой старины», смотря по вкусу, пристрастию и выбору филологии.

Но уже из краткого афоризма его о свящ. Петрове можно видеть, насколько он выше стоял своего сословия. В Религиозно-философских собраниях 1902–1903 гг. его очень любили за эту стильность его, за превосходный, глубокий ум и за прекрасный дух товарищества, дружбы, какой выказывал этот «архимандрит» (в то время) и цензор, – между прочим, и цензор протоколов этих собраний. Они печатались тогда в «Новом Пути», и, лишь благодаря ему, прошли, в эпоху Плеве и Победоносцева, в нетронутом, полном виде, с изменением чуть-чуть отдельных выражений. Одну статью там – «Церковь прежде почивших и церковь живых» – он «одобрил к печатанию» вопреки прямому распоряжению Победоносцева, ему лично, как цензору, сказанному. Победоносцев очень не любил этого «сумасшедшего (по смелости) монаха», и он, в свою очередь, не любил Победоносцева и презирал, как невежду и наглеца в церковных вопросах, его «товарища». А после известных слов, напечатанных им в петербургской газете «Слово», в пору освободительного движения, что «церковь прикована к руке обер-прокурора и влечется им в цепях, как апостол Павел, прикованный к руке римского центуриона», – его невзлюбила, конечно, вся обер-прокуратура, все преемственно обер-прокуроры синода. До естественного «конца дела», о каком мы здесь рассказываем.

О степени его религиозности, веры и проч. я ничего не умею сказать, как в этом отношении невозможно ничего сказать, мне кажется, и обо всех архиереях, которые суть «схемы», «саны», а не люди. Он был «стильный архиерей» – вот все, что было выпукло видно в нем, что говорило в каждом его слове и поступке. Южанин родом, он был «греческого письма» человек, византиец. Хотя, взирая на его совершенно необыкновенный рост, я иногда смиренно говаривал ему:

– Вам бы, владыко, быть в воинстве Дмитрия Донского, как Пересвет и Ослябя. «И одеша латы поверх схимы, взявши меч, понеслись монахи; и

сшибошася с татарове. И падоша все четыре мертвыми». А то вам в Петербурге тесно, да и в квартире «епископа нарвского» мало *воздуха*.

Он улыбался, не говоря ни «да», ни «нет». Квартира «епископа нарвского» (медная дощечка с этой надписью на двери не меняется при смене *имен* на должности) была вся завешана портретами митрополитов петербургских, начиная с XVIII века. «Се – Гавриил, се – Платон, се – Исидор». Но еп. Антонин убрал ее цветами: когда к нему ни войдешь, в переднем углу, где стоял в киоте богатый образ Божией Матери и теплилась лампада, стояли в воде всегда свежие, пышные, великолепные цветы. Может быть, «киевский обычай»... При лавре, где он жил, как известно, есть великолепный, огромный сад. Едва ли кто им пользуется, но Антонин приказывал келейнику ежедневно утром приносить ему свежие цветы.

...Итак, о религиозности и благочестии я не знаю: но что он горячо любил, по-южному любил, – то это умственную работу, и большею частью в приемах «Пересвета и Осляби»... Он не шел, а рвался в религиозно-философские собрания и чрезвычайно тосковал, когда они были в 1903 г. насильственно закрыты. В 1906 г. он просился туда, но «отец не благословил»... Времена менялись: и не горько ли сознать, что в 1906 г. они уже были, в церковном отношении, мрачнее и удушливее, чем при Плеве и Победоносцеве. Заговорили Илиодор и Восторгов, началась «белая месть»...

...«Мир праху твоему, – характерный, стильный человек»... Но я не верю, чтобы любимый многими владыко был уже «поверженный прах». История, как телега, едет: и колеса ее быстрее оборачиваются ныне, чем прежде. Судьбу же человеческую один пленный фараон, запряженный в колесницу победителя, обернувшись и рассматривая колесо, сравнил с его спицами: «Ниже – выше, вверх – вниз». Будем верить, буду верить, что для еп. Антонина еще послышится голос из-под земли: «вверх»... Ныне, рассказывают, огорченный, убитый, растерянный, растерзанный, он затворился и никого не хочет видеть. Я не видел его, по крайней мере, года полтора. Как уместно было бы коллективное заявление ему сочувствия, от интеллигентных групп (он так любил их), от литературного фонда, от членов или от правления кассы взаимопомощи литераторов, от московских литераторов или ученых, от петербуржцев. Неужели никто не услышит, никто не соберется? На всякий случай – адрес его: «Сергиева пустынь», близ Петербурга.

ИСКУПЛЯЮЩИЕ СТРАДАНИЯ

Россия встречает Св. Пасху сегодня с большим углублением сердца, чем когда-нибудь, и с большим самосознанием, чем другие народы. Она на самой себе, на горьком опыте познала великую реальную истину, скрытую в существе праздника, – о соотношении между страданием и воскресением. Таких тяжелых лет, как последние четыре года, кажется, и не переживала

Россия. Все у ней изломано внутри, все болит снаружи. Унижение международное, разочарование в боевой подготовленности военных сил, гибель массы людей, множества молодых благородных жизней, потеря территории, междусословная борьба внутри, борьба русского центра с окраинами, неудача первых шагов парламентаризма – все ломало и мяло существо русского человека, и душа русская стонала давно неиспытанным стенанием. Мы пережили такую «страстную седмицу», какая немногим выпадала на долю, – и в таком скоплении на протяжении столь краткого времени этих несчастий, может быть, не вынесли б многие западные народы. Но уже Пушкин сравнил историю России с отношением тягучей и крепкой стали к тяжелому молоту:

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Под влиянием неслыханных несчастий, позора внешнего и еще более позора внутреннего, те частицы, на которые начала было внутренно расползаться Русь, неудержимо сблизились и сковались в массу, о единстве которой никто раньше не смел предполагать. Русь бесспорно находится на пути не только к заживанию, но, может быть, и к воскресению. Еще не смеем надеяться, но есть много этого признаков.

Национальное чувство поднялось так высоко, как оно никогда не поднималось, окраинным притязаниям дается столь суровый отпор, какого они никогда не получали, и даже авторы, еще недавно составлявшие за границей полуреволюционные «Освобождения», теперь предлагают заняться программою «Великой России». Разрозненные члены явно разбитой революции везде «показывают пятки», и впервые за целый век анархические и революционные порывы не находят в массе и простого, и образованного населения никакого сочувствия, отклика, поддержки. Можно сказать: еще есть кулики, но уже нет болота. Оно высушено, проветрено путем свободных реформ, путем главным образом дарованной конституции, которая дала свободный выход горьким гражданским чувствам, прежде обязанным хорониться. Это-то горькие чувства и разъедали всю почву и подготовляли приют для революционной психологии. Дума сыграла громадную роль громоотвода: несмотря на все попытки повернуть ее на службу революции, это не удалось, и она сыграла ту естественную роль, какую играет конституция в странах всего мира: предупреждения революционных вспышек, расслабления революционного жара. Если в первое время и можно было сомневаться относительно значения Г. Думы, то теперь совершенно выяснилось, что рост ее, развитие ее деятельности, устойчивости, производительности будет идти параллельно угасанию революции, производя это угасание гораздо могущественнее, чем это могли бы сделать сто департаментов полиции.

Был пожар внутри здания, без пламени снаружи; сгорая все внутри, оно представляло ужасное зрелище. Но сняли крышу, дали доступ воздуху, и хотя пламя на минуту взвилось высоко кверху, его скоро залили, и весь пожар прекратился.

Теперь уже совершенно ясно, что революция ничему больше не угрожает и что она «на исходе»; а с ее окончательным прекращением не будет более причин задерживать самых широких внутренних преобразований на пути дальнейшего развития гражданского равноправия, призыва всех классов к деятельному самоуправлению, к обеспечению всех видов свободы, и личной свободы в особенности. Доделать еще нужно много.

Но не в подробностях дело. Дело в целом. И заключается оно в том, что вся Россия и все русские люди, пройдя горнилом невыразимых испытаний, выходят из него серьезнее, чем были, вступая в него. Трагические переживания пройдены, в главной своей части, и мы, бесспорно, вступаем в полосу светлого праздника. Под натиском революции Россия остановилась, отстав на десятилетия в преобразовательной работе. Несомненно, что с освобождением государственных сил от этой все поглощавшей заботы они будут приложены в других точках политического и национального существования. «Угасла революция: да здравствует гражданственность!» – вот единый лозунг, в котором сольется и уже сливается сейчас Россия.

Это – великая надежда! Великая заря нового! Мы живем в ее лучах сейчас, еще не ярких, еще начальных. Но все равно – они показались. После скольких лет мучительной неизвестности, мучительной темноты будущего мы встречаем Св. Пасху с душою более спокойной, где есть вопросы и недоумения, но нет неразрешимых вопросов и недоумений. Переспросите кругом, и вы увидите, что состояние уверенности и покоя есть всеобщее. Это – неоценимое благо. И мы можем сегодня, христосуясь и пожимая руки друг друга, совсем другим тоном сказать: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» – чем говорили это четыре весны подряд.

Конечно, небо над нами далеко еще не лазурно, но все очищается на нем, и это до того для всех видно, что никто уже об этом не спорит. С этой мыслью на душе все мы сегодня разговеемся веселее, чем прежде… Христос воскресе!

ЭКЗАМЕНЫ – КАК СОРЕВНОВАНИЕ, А НЕ КАК ИСПЫТАНИЕ

Почти вся печать раздражилась нашим указанием, что гр. Д. А. Толстой был последним значительным министром народного просвещения и что вместе с тем он был вовсе не педагогом, – и пришла в недоумение от этого сопоставления. Между тем тут ничего неясного и противоречивого нет. Гр. Толстой был человеком огромного характера, огромной силы давления – и, конечно, это есть первенствующее качество во всяком министре. Чем же Ришелье, Кольбер и Бисмарк отличались от печальных неизвестностей, носивших тоже звание «министров», как не этою силою давления на все окружающее? Министерство народного просвещения всегда у нас было «на тре-

тьих ролях», всегда всем служило и часто подслуживалось, а в денежном отношении на его долю выбрасывались гроши, которые оставались от других жирных смет. В правительственном совете голос министра народного просвещения всегда был самым незначащим. И вдруг на этом посту является фигура, которая на всю вторую половину царствования императора Александра II сумела слить со своею волею, со своими взглядами всю внутреннюю политику государства. «Режим Толстого» был режимом России, и не Россия диктовала ему режим, а он диктовал режим России. Вытекало это удивительное явление, – удивительное особенно у нас, в России, где все и всегда почти отличалось бесхарактерностью и вялостью, – из железной воли министра, его неутомимой деятельности, притом не утопавшей в мелочности, из взглядов ясных, хотя, может быть, не очень дельных. Но эти первенствующие качества государственного человека нисколько, к прискорбию, не осложнялись педагогическим даром, даром педагогической прозорливости и педагогической умелости. Он совершенно доверился педагогическим вдохновениям Каткова, который тоже был великим публицистом, что не одно и то же, что великий педагог; а технику дела, исполнение «предначертаний» предоставил А. И. Георгиевскому, человеку бездарному, упорному, трудолюбивому и страдавшему каким-то ожесточением против людей вообще и против русских ученых и образованных людей в особенности. Может быть, последнее вытекало из его неблестящей ученой карьеры. Впечатления молодости приносят свой плод в зрелом и в старом возрасте. Этот мизантроп в роли устроителя учебного гнезда для детей всей России наклал в гнездо не мягкого пуху, а терновых колючек, наклал в него шиповника, кирпича, полил все уксусом своей печальной души, и как все это он устроил – так все это и осталось до сих пор не переделанным и не обновленным, а только полуразрушенным. Сперва повиновались; потом перестали повиноваться. Но и повиновались, и перестали повиноваться одному и тому же – беспримерной по антипедагогичности системе. Делянов все оставил в том положении, в каком нашел, да А. И. Георгиевский и при нем был правою рукою, и если не творил ничего вновь, ибо все было уже «сотворено», то держал попрежнему все в своей железной руке; а последующие министры менялись так быстро и были часто столь малосведущи в учебном деле, что ничего не успели или не умели сделать. Все осталось по-прежнему: но только без повиновения. Теперь, по-видимому, настало время повиновения. Мы хорошо сознаем, как это необходимо. Без повиновения нет государственности, нет государства. Но именно в печальнейшем министерстве народного просвещения «повиноваться» приходится былому уродству, которое ничем не заменено, ни в чем не улучшено. Птенцам учебного ведомства придется лечь на колючки А. И. Георгиевского, и совершенно неизвестно, как пойдет эта процедура.

Ведомство – как ведомство, и министерство – как министерство. Организация управления учебными заведениями в России имеет свои приемы техники, приемы работы, способы проведения в жизнь всякого «предначер-

тания» – те же, какие имеет и каждое министерство. Очевидно, необходимо, чтобы эта машинная сторона министерства работала, и отлично работала на пользу духа его в целях единственно педагогической души его. В министерстве Толстого совершилось обратное: машина задавила дух, и даже до такой степени, что он «вылетел» из тела министерства.

В последующие годы, вместо того чтобы возродить дух и привести машину в гармонию с ним, начали досадливо ломать и портить машину. Это – совершенно не то, что надо было делать. Сумеет ли г. Шварц сделать то, что нужно: исправив опять машину, привести ее в подчиненное отношение к просветительному духу, к всемирно признанным и всемирно плодотворным началам педагогики – это неизвестно, и пока этого ни из чего не видно. Нужно ожидать деятельнейшей работы внутри самого министерства по переработке программ, вышедших из-под руки А. И. Георгиевского или под его деспотическим «наблюдением», нужно переработать или, вернее, создать заново и правила испытаний. Проще всего и быстрее всего можно сделать, введя ежегодные и ежеклассные экзамены, с переэкзаменовкою сейчас же после них, а не осенью. Через это сохранится для здоровья детей целительная сила лета, потому что, допусти переэкзаменовки в августе, и огромный процент наших учеников непременно начнет «недоучиваться» к июню, рассчитывая на август, и смысл летнего отдыха пропадет. Переэкзаменовка может быть только в июне, как поправка к *случайной* неудаче на экзамене, а не как средство «догнать» товарищей, «доделать» курс и проч. Все это антипедагогично и должно быть выброшено. Затем, чтобы сделать экзамен сколько-нибудь возможным, нужно предоставить преподавателям право помещать в программы испытаний только существенные части курсов, – те части, без знания которых было бы совершенно невозможно дальнейшее понимание предмета в следующем классе. Это все – наскоро, теперь же. Но в общем следовало бы изменить самый дух экзаменов, превратив их из унизительного «испытания» в благородную форму соревнования, состязания, соперничества. Как ни трудны «конкурсные» испытания в высших технических учебных заведениях, на них никогда не было слышно жалоб, над ними никогда не было насмешек, не было озлобленных воспоминаний о них. Отчего? Оттого, что в них не содержится унижения лица испытуемого, что это – не контроль и проверка, не «ревизия» учеников, а состязание в способностях и в подготовленности. Оно свободно, открыто и благородно. Оно обставлено добросовестно. Для выдержания его дана полная возможность каждому немалоспособному. Все это создало уважение к этим конкурсным испытаниям. В гимназиях, очевидно, неприменима и не нужна их форма; но принцип их, как именно соревнования друг с другом, – вполне применим. Как это сделать – это вопрос той министерской техники, той машинной выделки, которая должна же быть к чему-нибудь способна и что-нибудь уметь. Заметим, что в министерство Уварова, когда школы имели в себе много светлых оттенков, экзамены производились до некоторой степени публично, т. е. в присутствии родителей. Мы не защитники этого, однако нельзя не заметить, что это устраняло возможность того чрезвычайно распро-

страненного у нас зла, которое заключается в «придирках» на экзамене, в сведении здесь счетов с «неприятною личностью ученика» и т. п. Если даже проявлений этого и немного, то нельзя не взвесить всего зла подобных проявлений, и что действительно роковая минута экзамена отдавала судьбу ученика всецело в руки экзаменатора, который может же быть и злым или несправедливым человеком. Конечно, этого не предполагается; но всякому «предполагается» противолежит могучее «есть». Вообще здесь нужно думать и думать, работать и работать. Пусть ученики работают, но родители их имеют все причины желать и требовать, чтобы министерство работало и само, работало над собою, над своими уставами и правилами. Если впрягаться в государственную телегу – то уже всем впрягаться, а не одним мальчикам и девочкам.

ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТНЫХ ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЙ

Только в последние годы в русской педагогике утвердился теоретически и начал проводиться практически принцип индивидуализации, сообразно которому учитель и школа должны относить свое воздействие не к человеку вообще, а к лицу, к индивидуальности ученика, питомца. Через это была поставлена граница схематизму в педагогике, безгранично царившему ранее; был если не отвергнут, то поколеблен в авторитете казенный шаблон. Перестали указывать на недостатки казенных учебных заведений, начали указывать на недостаток самой казенности, казенного духа как некоторого общего шаблона, применяемого одинаково везде и постоянно, около Белого и Черного моря, на границе с Германией и с Китаем. Стали указывать на педагогическое бессилие этой казенности, которая не в силах овладеть личностью ученика, потому что с первого же шага, при первой же встрече она эту личность отвергает, с одной стороны, и внушает ей отвращение к себе – с другой стороны. Нужно заметить, что старый и знаменитый вопрос педагогики об отношении ученика и училища, об отношении семьи и школы, в сущности, и сводился весь к этому принципу индивидуализации, к вопросу о лице в школе. И пока не была высказана эта новая формула, что школа имеет дело не с учеником вообще, а с определенным лицом, эти вечные вопросы школьной жизни оставались в смутности и без разрешения.

Принцип индивидуализации сыграл подспудно свою роль в педагогических бурях последних лет. Как и все новое, он был разрушителен в отношении старой системы, старых шаблонов. Он сжигал везде рутину и шаблонность. Не нужно скрывать, что он имел и уродливые проявления, уродливые преувеличения. Принцип индивидуализации – один из педагогических принципов, а не единственный принцип, и он сам не имеет права на уважение, если не относится равно уважительно к другим принципам школы – напр. к принципу порядка, единства, дисциплины и т. п., без которых

вообще не может существовать никакое коллективное дело, не может происходить общее, классное, школьное обучение. Можно быть Гамлетом: но когда Гамлет проходит военную службу – он должен маршировать, как все. Вот маленькая иллюстрация того, как относится частное к общему, как должна относиться личность к шаблону. Шаблон должен получить свои границы, и тесные границы, но в этих границах он должен сохранить всю свою твердость, неподатливость. Наполеон и Веллингтон носили сапоги «по шаблону», и попытка их носить обувь *не* «по шаблону» вызвала бы смех окружающих и неудобство для них самих. Вот еще маленькая иллюстрация этого важного принципа.

Тем не менее индивидуализация остается и навсегда останется душою настоящей, плодотворной педагогики; педагогики как живой и творческой области, где есть или может быть своя поэзия и мудрость. Без индивидуализации есть только тело школы, а не душа школы. Обращаясь к этому драгоценному принципу, мы не можем не связать мысль о нем с только что отпраздновавшими первое 50-летие своего существования женскими гимназиями и не указать на особые заслуги в проведении его, в особенности частными женскими гимназиями.

Женское образование всегда было поставлено у нас несколько свободнее, чем мужское, – и от отсутствия связи его с привилегиями государственной службы, и оттого, что оно очень долго было «законченным» уже в гимназиях, т. е. не продолжалось далее, не подготовляло только к дальнейшему, как мужские гимназии. Поэтому оно не было под такою ответственностью и могло сосредоточиться в самом себе, сосредоточиться на том, что *ему нужно,* а не *чего от него требуют.* Это было в высшей степени благоприятным педагогическим моментом. Все внутренние отношения сложились здесь несколько теплее, а в приемах обучения и воспитания проявилась кое-где инициатива, творчество. В силу самой возможности этого, почти устраненной из мужских гимназий суровым их режимом и неустанным контролем окружного начальства, начали открываться частные женские гимназии, подробная история которых, не только официальная, но и бытовая, составила бы одну из лучших страниц учебного дела в России.

Революционная буря, очень задевшая и учебные заведения, почти не тронула, т. е. почему-то не имела силы тронуть и увлечь, частные учебные женские заведения: ни о каких забастовках, приостановлении занятий, как и о шумных скандальных выходках всего состава учащихся или больших масс в этом составе здесь не было слухов. Учащий и воспитывающий персонал напряг все силы своего зоркого внимания и мягким воздействием сумел предупредить жесткие неприятности. На это ни инициативы, ни такта не нашлось в казенных гимназиях, где обучение на значительное время почти везде приостановилось или было изуродовано. Это очень надо отметить как залог возможности и впредь оставить эти гимназии без тесного контроля, оставить их в том индивидуальном сложении, какое в них проявилось в зависимости от их учредителей и учредительниц. Вот это-то индивидуальное

сложение самих гимназий и нужно признать драгоценною в них историческою чертою. Увы, абсолютной нормы в педагогике мы не знаем, и никто не знает! Здесь есть не идеал, а идеалы. Она, подобно искусству, движется «школами» и увлечениями, движется именно индивидуальными начинаниями и, в конце концов, отцом всего живого – *опытом.* Опыт невозможен без этих индивидуальных начинаний, и пресловутый «казенный опыт» есть прежде всего страшно бедный опыт, нищенский опыт: ибо чему же можно научиться, что можно почерпнуть, напр., из «опыта» уваровской и толстовской гимназий, у которых, во-первых, всего два шаблона, а во-вторых, совершенно были разные люди, их применявшие, и совершенно переменился учебный материал, к которому они применялись, переменился сословный состав учеников! Конечно, ничего нельзя почерпнуть из такого псевдоопыта, хотя у нас и писались тогда глубокомысленные статьи на эту безнадежную тему. Таковы были составившие целый том статьи гр. П. Капниста, бывшего московского попечителя, в «Вестнике Европы». Очевидно, чтобы чему-нибудь научиться, здесь нужен опыт одновременный, над одним материалом, в одну и ту же культурную эпоху производимый. Нужно личное одушевление отдельных даровитых педагогов своею самостоятельною мыслью, своею самостоятельною методой, может быть, и неверной, может быть, односторонней, но уже оттого не могущей принести вредных результатов, что она проводится в жизнь даровитою рукою, да и находится под контролем семьи, которая не обязана отдавать детей в эту именно школу, и, следовательно, явно неудачная инициатива может сопровождаться полным отсутствием учеников в подобной школе. Между тем от численности учеников зависит материальный успех, материальная возможность школы. Этим положены пределы частной инициативы, в силу которой она всегда будет осторожною, осмотрительною, всегда станет взвешивать будущие шансы. И в этом еще лежит основание вполне ей довериться.

Частные женские гимназии, напр. в Петербурге, решительно поднялись над казенным средним шаблоном. Это очевидно уже из того, что, несмотря на удвоенную дороговизну обучения в них, они переполнены. Но, оставляя качества преподавания и воспитания в стороне, мы обратим внимание на общий дух этих гимназий, на основную постановку в них всего дела. Если, например, взять три наиболее популярных петербургских гимназии, то мы увидим, что строгий и несколько формальный дух одной совершенно как бы отрицает собою чисто семейный дух другой, и на обе эти гимназии не походит третья гимназия, с сильным развитием физической стороны дела по образцу английских школ, с соединением в себе обоих полов. Между тем все три гимназии имеют одну программу, готовят к тому же, действуют в одной среде. Ясно, как велико преимущество для Петербурга иметь не один шаблон школы, а эти три: ибо для разбалованной или нервозной ученицы явно полезно встретиться с суровой требовательностью, тихие и сдержанные ученицы счастливее вырастут в гимназии с семейным складом, и, наконец, совершенно особый род недостатков исправляется школою третьего типа.

Можно пожелать дальнейшего дробления этих шаблонов, большого и большего приноровления отдельных школ к категориям ученических характеров, детских натур, которых не бесконечное разнообразие, но все же очень большое разнообразие, и не для чего подавлять его и сводить к безличной униформности. Где бездарность – там и безличность, и наоборот; старый казенный шаблон, борясь с личностью в ученике, сам того не замечая, везде боролся с даровитостью учеников, везде давил и гнал эту даровитость. Это *было,* и этого никак нельзя забыть в истории нашего просвещения.

К хорошим мыслям, сказанным по поводу 50-летия наших мариинских женских гимназий, – этих первых всесловных женских учебных заведений, – следует прибавить и это особое слово о частных женских училищах, где с благодарностью сливается и поощрение, и надежда.

ДВА ОБЫСКА В ОДИН ДЕНЬ

В газете «Речь» г. Богучарский занимательно рассказывает, как с ним неделикатно обошлись на станции Белоостров жандармы и таможенные досмотрщики, как говорится, – «за жандарма», т. е. которые сверх всего прочего исполняют и жандармские обязанности, роются у пассажиров в карманах, читают вытащенные оттуда записные книжки и т. п. А в столбце рядом я не без ужаса увидал, как подобную же процедуру совершает надо мною самим некий Леонид Галич, почему-то раздражившийся за Минского. Сделаю оговорку: конечно, я должен был знать, что Минский крещен, и знал, но чистосердечно забыл об этом, когда писал статью и допустил остроту, которой фактически не должен был делать. Но г. Галич, роясь в моих карманах, уверяет, что я должен был знать о крещености Минского от *«лично знакомой В. В. Розанову* г-жи Безродной». В первый раз слышу такое имя. Далее г. Галич пишет, что я кроме ненависти к Спинозе, Лютеру, Гусу и Джиордано Бруно ненавижу и «яркий героизм русской женщины», причем (в скобках) делает ссылку: «Сравни статью его «Женщины в революции». Но я никогда такой статьи не писал. По этим двум решительным и прямым выдумкам читатель уже может оценить и следующие слова из дальнейшего протокола обыска, который Галич и редактор «Речи» почему-то принимают за литературу: «Вспоминается мне нововременский журналист, который в октябре 1905 года настойчиво стучался в газету, выходившую за подписью Минского. Стучавший каялся в былой своей реакционности. Давал обеты быть вперед чистым. Каялся, что уверовал в социализм. Но левые, особенно крайние, отличаются большой подозрительностью. Внезапно обращенному журналисту был предложен продолжительный искус, разумеется, при непременном условии отказаться от участия в «Нов. Вр.». Марксисты поступили, как церковь, налагающая епитимью на разводок. Семь лет кайся и замаливай старый грех, а там уж выходи замуж… Но я понимаю, что отвергнутые искания не могут не раздуть жажды мести».

Так объясняет он происхождение моей статьи против Минского. Не знаю, умно ли мстить в 1908 году за то, что было в 1905 году, но думаю, что предполагать возможность 3-летнего откладывания мести, когда она возможна для журналиста каждый день, совсем не умно. На самом деле история, вероятно, рассказанная г. Галичем со слов апокрифической г-жи Безродной, если только не выдуманная в бреду белой горячки, происходила следующим образом. Минский еще задолго до разрешения и выхода газеты в разговорах сообщал мне, что у него скоро «будет своя газета, в которой я, конечно, буду участвовать», на что я ответил, что это далеко не «конечно» и что я могу давать ему статьи только спорадически и случайно, на такие темы и такого содержания, которые не могут пройти в «Новом Времени». Это тот почти стереотипный ответ, который я давал при подобных же не столько «переговорах», сколько болтовне о моем участии в разных газетах, предполагавшихся к выходу, например, давал его проф. С. Н. Булгакову (член 2-й Г. Думы). Затем, из членов редакции газеты г. Минского я никого в глаза не видал и в самой редакции ни разу не был. Насколько эти точные факты отвечают картине, нарисованной г. Галичем, представляю судить г. Галичу. Что касается вообще марксистов и крайних левых, то, не разделяя отнюдь их программы, т. е. ничего не надеясь от нее, по ее страшной *неполноте* сравнительно с запросами жизни и человеческой души, я в высшей степени расположен уважать самих марксистов и «около марксистов», как, например, бывших «трудовиков» 1-й Думы, и хотя теперь революция прошла и все «в реакции», я стою на той самой точке зрения, какую выразил в «Ослабнувшем фетише», и сохраняю все человеческие симпатии к людям, проигравшим свою партию; но только считаю их наивными, считаю русскими радикальными мальчиками, вечно жгущими пальцы об огонь. Таков был мой взгляд задолго до 1905 года и, судя по его постоянству и продолжительности, я с ним, вероятно, и умру. «Милые люди, но уж очень просты». Я хотел бы жить с ними, но чтобы вечно спорить и отчасти смеяться над ними. Впрочем, все это я думаю издали, так как кроме гг. Струве и Булгакова, бывших марксистов, и г. Жилкина, *лично* никого из них не знаю, но очень прислушиваюсь ко всему, что о них говорят, в особенности что о них рассказывают (факты). Г. Минский, конечно, всегда был «крашеным» марксистом, как попадаются в торговле крашеные лошади. Перехожу к дальнейшему. Внимательно его статей против Мережковского я не читал, но, пробегая глазами куски текста, читал *определенно в них те строки,* где он говорит, что Мережковский, поднимая религиозные темы, например о Христе и Антихристе, только поддерживает суеверия. Эти строки я читал и против этих строк написал. Здесь, говоря, будто я идейно оболгал Минского, г. Галич определенно лжет. Что касается настоящего мотива моего нападения на Минского, то он действительно личный, но заключается в следующем. Мне было передано о следующем, как говорится, «прискорбном случае»: Мережковский читал в Париже какую-то лекцию, читал при большом собрании публики, русской и французской, и с большим успехом. Можно представить себе блаженство успева-

ющего лектора. «Всякому дай Бог»... Вдруг является вечно «крашеный» Минский и, не споря с лектором, раскрывает один из многочисленных трудов Мережковского и, сохраняя все адвокатское спокойствие, читает перед публикою диаметрально противоположные взгляды того же Мережковского, что-то о «православии и самодержавии» в духе Достоевского. Это писалось Мережковским в 1903 г., и вся обстановка и ход лекции были таковы, что решительно не позволяли дать публике тех разъяснений личного и литературного характера, которые можно дать в месяц, в неделю, дать в ряде статей на страницах журналов и газет, но невозможно дать в душном зале, когда все собираются домой. Минский, конечно, это знал, и предательски зарезал человека (и многолетнего друга) в обстановке, в которой он не мог защищаться. Публика посмеялась, а убитый Мережковский печально поплелся домой. Так мне было передано одним заезжим русским, и случай этот произвел во мне то самое впечатление, какое он вообще может оставить во всех людях, кроме «крашеных».

Этот определенный повод и заставил меня рассказать, как Минский, теперь объявляющий церковно-религиозные вопросы «суеверием», сам читал перед высокопоставленным иерархом русской церкви доклад об истине учения церкви, которая, с одной стороны, признает монашеское состояние высшим призванием человека, а с другой стороны, называет брак «святым», называет его «церковным таинством». Это он читал против Мережковского и меня, говоривших, что тут церковь двоится и где-то не искренна. Все это так известно, и известно многим, что совершенно удивительно, как может г. Галич, не стоявший близко к Религиозно-философским собраниям, печатать гласно: «Этого не было, это неправда». Нет, это слишком правда, нимало ни от кого не скрывавшаяся и имеющая за себя и личные свидетельства, и печатные документы (статьи и отчеты). Но, по-видимому, есть люди «крашеные» и есть заступники «крашеного». Не было бы цыган, не было бы и лошадей таких. Договорю о Мережковском и Минском: никому и в голову не придет, кто знает лично Мережковского, чтобы он сколько-нибудь *перед собою* был не искренен в диаметрально противоположных взглядах, высказанных в 1903 г. в Петербурге и в 1907 г. в Париже: «быль молодцу не в укор», – можно сказать о всяком писателе, как говорят о парнях в деревне. Мы не боги, абсолютной истины не знаем; оттого колеблемся, утверждаем и отрицаем. Кроме Бога, был, как известно, «неизменяем» только Михайловский, проходивший всю жизнь «в одном сюртуке» (его предсмертная похвала). Эта «божественная» неизменность в людях не весьма симпатична, ибо нам что-то шепчет на ухо, что «не меняющие своих убеждений» люди просто не имеют никаких «убеждений», а поступают «по программке», или поют, чирикают и прочее, «как нужно в данный момент». Увы, этот «всю жизнь носившийся один сюртук» морально губит Михайловского, о чем он и не подозревал; хотя, конечно, можно носить всю жизнь только тот сюртук, который сразу очень умно сшит. Михайловский и был очень умным человеком. Но это не то и даже не главное, что ожидается от настоящего писателя.

Как поступил с Мережковским Минский в Париже, без всякого *литературного* повода, так я поступил с Минским в Петербурге, – уже по поводу этого его публичного поступка, то есть прочитал тоже документ из «прежнего вероисповедания» Минского. Вот и все. Это так просто. И я думаю, если г. Галич имеет долю той совестности, какой все-таки не лишены жандармы и таможенные досмотрщики, он покраснеет за свою статью. Он, между прочим, называет меня «заласканным писателем» (какой отвратительный, кокоточный жаргон). Боюсь, не «ласкал» ли меня и Галич: в таком случае я должен оговориться, что «ласки» некоторых господ чрезвычайно марают.

СИЛУЭТЫ ТРЕТЬЕЙ ДУМЫ

Наконец, я опять в Таврическом дворце… Для будущего историка наших дней и лет нелишне будет знать, что, для того чтобы попасть на заседание русского «парламента», нужны такие особенные протекции и знакомства, такое стечение благоприятных обстоятельств или, наконец, такие большие личные усилия, физические и духовные, что вот, например, я, человек, знающий мириаду журналистов и сам довольно старый писатель, просил, молил, требовал «билета на вход» в политическое святилище – и только на днях получил то, о чем просил с сентября!

Заглянув на оборотную сторону билета – «именного и без права передачи», – я увидел, что нужно захватить и паспорт с собою: «в случае сомнения о *личности* предъявляющего билет», – причем ничего не сказано о поводах к такому «сомнению», – «он не допускается», без всяких возражений, оговорок и смягчений! Вообще, тон правил суровый. В доброе старое время, еще до конституции, я, бывало, куда ни отправлюсь, всегда кроме паспорта захватываю с собою и номер «Гражданина» кн. Мещерского: в случае, будут обыскивать, – найдут и отпустят. Теперь, после конституции, я «Гражданина» больше не захватываю. Но сегодня по дороге, ездя до парламента за разными делами, купил на Невском за 20 копеек у выкрикивавшего продавца-мальчика «Альбом в память освободительного движения в России в 1904–1906 гг.». 96 портретов современных общественных деятелей, писателей, профессоров, литераторов, композиторов и проч., издание А. Г. Вагнера. Издание довольно безграмотное, уже по отделению «писателей» от «литераторов», но, увидав недурные портреты своих знакомых: Г. С. Петрова и Д. С. Мережковского, – купил. И вот, отправляясь в Таврический дворец, все недоумевал, – не переложить ли этот альбом из кармана пальто во внутренний карман пиджака. В пиджак, конечно, не будут заглядывать «без повода», а о пальто могут полюбопытствовать и без повода. И вот, думаю, как бы не вышло «последствий» в случае желания вторично посетить парламент, хотя «Альбом» и не запрещенная вещь. Не запрещена, но, все-таки… Ах, эти «все-таки» и многоточие: сколько их наставила теперь жизнь!

Все пишу для будущего историка. Все надо запомнить. Все интересно. Без подробностей жизнь – не жизнь…

Разумеется, опоздал: какой же русский не опаздывает. Мне казалось, что открытые заседания Государственной Думы начинаются с 2 часов; где-то как будто я об этом читал. Оказывается, заседание идет уже с 11 часов. Это действительно «работоспособно»: в петербургские департаменты и канцелярии к 11 часам дня собираются только писаря, помощники столоначальников собираются к 11½, столоначальники – к 12 часам дня, а начальники отделений приходят не ранее как к 1 часу и даже к 2 часам; директор же департамента «появляется» не ранее 2 часов, да и то именно «появляется» и потом куда-то, вероятно, «в комиссию» исчезает. Может, – в «комиссию», а может, – и по более приятным надобностям. Не спрашивать же начальство, куда оно «уходит» и отчего «приходит».

Я все сбиваюсь на старый, доконституционный лад. Но теперь у нас – конституция, и я гордо подъезжал к Таврическому дворцу. Кстати, замечу опять для историка: ни в этом году, ни в предыдущие годы я совершенно не видел почему-то *идущих* в Таврический дворец, а все – едущие. Потому ли, что он находится далеко от центров города, или по торжественности: «спешим в *парламент*», но только все едут. И я даже в тех случаях, когда предпочел бы идти пешком (а жил на той же Шпалерной улице, где стоит и дворец), бывало, «выезжая в парламент», всегда сажусь на извозчика. «Нельзя, все так делают».

Как известно, дворец охраняется особенно внутри, но отчасти и снаружи, Но, в противоположность прежним годам, как пустынно вокруг него! Нечего и не от чего охранять: никто, кроме меня, не ехал, не шел; никаких людей перед дворцом, как бывало.

Показал билет при проезде в ворота, показал вторично на крыльце. Вошел. Перерыв прений. И я опять в буфете, этой маленькой душной комнате, где не только «запрещается курить», как и вообще у нас везде, где курят, но и действительно здесь никто не курит, потому что закури десять папирос, и уже будет совершенно нечем дышать. Ну, и опять чуть-чуть тепленькие пирожки, с говядиной и постные, и жиденький кофе с цикорием и жидким, почти снятым молоком вместо сливок, которые ведь так дешевы. Нужно же устроить такой буфет! «А, захотел конституцию посмотреть, – пей снятое молоко! Помни, что сливками тебя кормили прежние городничие, за которых ты злостно не хотел Бога молить».

Но, ей-ей, я с удовольствием «Бога молил» и за прежних городничих… И вообще, в конституции я нисколько не виноват. А так хотелось бы сливочек.

Зазвенел звонок, – я хотел сказать: электрическая сигнализация, это долгое, минут 12 длящееся без перерыва дребезжание мелких звонков, кажется, раздающееся по всему зданию. Ибо когда отворяется дверь, слышишь, что и оттуда несутся звонки, как они звонят и здесь. Это –призыв в зал депутатов. Я поспешно допил кофе и прошел на хоры. Здесь, под самым потолком зала, устроено несколько рядов стульев. Что-нибудь видно с двух первых рядов.

К счастью, благодаря недостатку освещения, здесь все устраивается «по-домашнему»: «места» не очень соблюдаются, и, при готовности «пострадать ногами», вы можете протесниться до 2-го ряда стульев и отсюда, стоя, можете видеть весь зал.

Кто-то уже говорил плавным, тягучим голосом, – видимо, старательно подбирая аргументы, группируя и освещая факты. Приводил статистические данные. Вообще ораторская кафедра чрезвычайно старалась, напрягая ум и голос, чтобы убедить слушателей, заставить их сказать ценное «да» или «нет» в ценном законодательном вопросе... Речь, очевидно, приготовлена, и в ней оратор обдумал все детали. И вот теперь, в минуты, когда он говорит, он весь полон собою, своим внутренним волнением, едва ли что замечая вокруг... А это «вокруг» так печально: зал почти пуст, едва-едва бредут немногие члены к своим местам, задерживаясь по дороге и склоняясь у того депутата, у другого депутата, чтобы перекинуться словом... Наконец, вот добрался до своего места и, лениво позевав по сторонам, раскрыл огромный лист газеты и погрузился в чтение, – кто «Нов. Вр.», кто «Kraj», кто мелкого бисера арабской или турецкой печати. Впрочем, мусульмане, как я замечал и в первых двух Думах, еще из более внимательных слушателей, как и очень усердные «сидельцы» в думском зале, редко отлучающиеся.

Лишь при величайшем напряжении слуха из речи можно уловить коечто, но далеко не целое. В акустическом отношении зал отвратителен, да он и так велик, что можно расслышать слова, произносимые только громовым, «концертным» голосом. Естественно, таких немного. «Гремел» Аладьин, проф. Кузьмин-Караваев, Винавер; слышен был высокий фальцет Алексинского. А вообще... пропадает почти все, по крайней мере, для хоров, но, я думаю, в значительной степени и для самих депутатсв, и этим, может быть, следует объяснить «газеты».

Как все переменилось в зрелище, в слухе.

Сперва о последнем. Слушая и не слыша (почти) речь вдумчивого оратора, я думал, что как бы хороша она ни была в построении и в силе доказательств, она все же не может сравниться с обстоятельною статьею в «Вестн. Европы», с обстоятельною статьею *на ту же тему* проф. Озерова. В смысле *ума* устная речь всегда уступит печатной. Это уже заложено в существе дела. В чем же секрет Думы и, в конце концов, парламентаризма? Вопрос этот – тот же самый, какой и мы, студенты и профессора Московского университета, задавали себе о нужде или ненужности *слушания* лекций, когда, во-первых, все то же прочтешь в *литографированных* лекциях, а, главное, во-вторых, прочтешь это же и даже лучшее в печатных книгах и особенно в *немецких*. По-видимому, *слушать* нечего было, и студенты даже самого прилежного историко-филологического факультета только с начала Великого поста начинали в сколько-нибудь сносном числе приходить на лекции. До поста же едва ли наведывались в университет. Это было в 1878–1882 годах. Но вот прошло 25 лет с тех пор, и университет – не литографированные лекции, а именно университет – стоит весь и целый передо мною. Ни одна

черта не потерялась, не забылась, и, кажется, все эти черты именно теперь, под старость лет, необычайно выросли. Да и не только под старость лет: всю мою жизнь, все эти 25 лет я, собственно, питался, внутренно и молча, не говоря и даже почти не благодаря, именно университетом, а не какими-нибудь читаемыми тогда или потом книгами, лекциями и проч.; питался им как *живым безотчетным обаянием,* как *громадной коллективной личностью*... Между тем *тогда*, в пору самого учения, это не сознавалось, и я так же небрежно, как и все прочие, посещал лекции. Профессора Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, Н. И. Стороженко, В. О. Ключевский, В. И. Герье, и даже Н. А. Попов, Г. А. Иванов et alii minores*, включая до теперешнего министра просвещения г. Шварца, – все вошли в память незабываемо и стоят в ней положительным или отрицательным знаком. Я думаю – то же и в Думе. Дума – политический университет. Уловить ее значение, читая *печатные* о ней отчеты, читая даже стенографированные речи, так же невозможно, как невозможно понять *смысл* университета, если взглянуть и читать только мертвые литографированные лекции профессоров. Тут не только «многого недостает», тут просто ничего нет. Суть университета и, конечно, Государственной Думы состоит в каком-то *намагничивании* людей друг около друга, в этом специфическом «архее», «духе», – как говорили во времена алхимии, – который зарождается только в толпе, но собранной одною мыслью, одним интересом, одною заботою. В университете это «общее» – наука, здесь – государственность, политика, пожалуй, – публицистика высшего полета и уже ответственная. Масса в 600 человек, съехавшихся со всех концов России, представляющих все ее народности, все говоры, все веры, и собравшаяся с намерением и ответственностью *поднять* ее, – не может не быть чрезвычайно значительна, каков бы ни был ее состав, и даже независимо от того, есть в ней таланты или нет талантов. Таланты придут, таланты «наживутся»: важно, чтобы было условие их проявления, их нарождения. И вот оно налицо. Суть Думы в том, что она *есть*. И только здесь, в Петербурге, в самом Таврическом дворце оцениваешь дальновидный завет крестьян: «*Берегите* Думу»... Действительно: была бы она, а все остальное придет. Как был бы университет, а уж Тихонравовы и Буслаевы будут. В самом деле, можно представить себе, можно спросить себя: что такое были бы, что представляли бы из себя Буслаев и Тихонравов, или Герье, без университета? И представить невозможно. Просто – ненужное и неинтересное явление «лишних людей» из беллетристики Тургенева.

С этой точки зрения и депутаты, почитывающие газеты, и неслышность и даже неслушаемость произносимой речи оратора – уже не раздражают. Понимаешь, что не в этом суть. Понимаешь, что устроилось *великое политическое училище* России, которое уже не закроется, которому вечно быть, от которого отныне так или иначе будет течь вся политическая жизнь страны, будет зависеть вся политическая судьба России. Понимаешь, наконец,

---

* и прочие меньшие *(лат.)*.

что это многогранно, неуловимо, всеобъемлюще отразится и на всех неполитических областях, на нравах, на складе общества, на литературе и проч. Таким образом, чтобы иметь реальное сравнение под рукою, можно сказать, что созыв первой Думы был таким же моментом нашей истории, каким в истории просвещения России было появление Ломоносова и основание Московского университета.

Электричество, магнетизм... Но, в таком случае, уж не Бог весть как важна умность или неумность которой-нибудь речи. Не в уме дело, хотя и он важен. Важен подъем духа, настроение, готовность. Важен темный, смутный элемент Думы, «запасы» духа ее; все то, чем она будет жить «завтра», а не чем она живет «сегодня»... И вот, думая об этих «запасах духа», я и перехожу к зрелищу.

Оно совсем не то, как в первой и во второй Думе. Прежде всего, оно убраннее, наряднее. Это сразу бросается в глаза. Этих испитых лиц, обдерганных пиджаков, угрожающих взоров нет. Как нет и нервных, горячо-темпераментных речей. В Думе значительно все тише, и вообще она тиха, очень тиха. Это бросается в глаза, как первое и общее впечатление. Прежде, можно сказать, в воздухе постоянно стоял «инцидент»: его ждали или боялись; о нем вспоминали, как о «вчерашнем». Теперь его никто не ждет и смотрят на него как на «случай», на который оглянулся – и прошел далее. В прежних речах говорил *характер,* в нынешних – ум; не очень большой ум, но ум в смысле обдуманности, мотивированности.

Речи... Ну, что особенного могут сказать речи? Они могли говорить новое и *неожиданное* в пору начинания парламентской жизни в Европе, когда печатания почти не существовало, когда газет не было, журналов не было. Но теперь, когда, можно сказать, вся страна дышит словом, когда поутру с почтой получаешь в руки такую охапку слов – консервативных, либеральных, умеренных, крайних, философских, декадентских, благоразумных и безумных, всех оттенков и всевозможной окраски, – что можно ожидать услышать *нового* по мысли или по фактам от оратора, взошедшего на думскую кафедру? Ничего решительно! И, я думаю, от этого почитывают газеты. *Новое* и *неожиданное,* иногда *прекрасное* и *сильное*, может содержаться в жесте, в дрожании голоса, в интонации, в ударе тона. Аладьин всегда был нов, и когда спокойной своей походкой, такой железной в этом спокойствии, он подходил к кафедре, то все оставляли свои газеты. Хотя решительно никто не ждал новой *мысли* от Аладьина. Дело не в мысли. Мыслей в книгах много. Дело в том, что в Думе возможно иногда и бывало иногда повелительное движение, – вдруг эта атмосфера повелительности, разлившаяся по залу под мановением жеста, тона. В Думе возможно «стихосложение», а теперь все говорят прозой, слишком прозой. В «запасе возможностей» ее содержатся плач, восторг, порыв, умиление, гроза. Но теперь все только рассуждают, и вот отчего «почитывают газеты».

Но речи, – я все-таки мог расслышать, – методичнее, историчнее и вообще более похожи на обделанную газетную статью. И говорящие – совсем

другие... Из прежних я никого не вижу, и только бросился мне в глаза епископ Евлогий.

Он занимает в первом ряду мест крайнее правое. К нему многие подходят неизменно с прикладыванием к руке; многие целуют руку и у сидящих рядом с ним двух толстых священников. Личность епископа Евлогия теперь историческая. Он борется за Холмщину, и, признаюсь, насколько там обижены русские или теснится православие католичеством, – деятельность эта достойна всякой похвалы. Но не могу скрыть от себя, что борцом за то же дело я хотел бы видеть совсем другое лицо, – ну, епископа Митрофана, наконец, о. Восторгова и вообще кого угодно, но не епископа Евлогия. Дело в том, что всякий раз, когда я вижу его до того приятное, до того нежное, чисто девичье лицо, без единой мужской, мужественной, грубоватой черточки, я неизменно думаю: «Какая ошибка, что он православный. Это был бы идеальный католический патер!»

Такого сладкого лица я никогда не видал у русских, у православных. У нас есть лица чрезвычайно приятные, чрезвычайно красивые; пример – епископ Сергий, ректор Петербургской духовной академии. Но у епископа Евлогия какая-то житейская красивость, нужная людям. Я бы сказал: политическая красивость. Может быть, впрочем, такой и необходим на месте: там иезуиты, ну, а епископ Евлогий, очевидно, перекусит двух иезуитов и позавтракает третьим. Если, к этому, он обладает – как очевидно – энергией, натиском и смелостью, то, конечно, он незаменимый боец православия. Я не люблю слащавости в мужчине, и это единственное (может быть, пустое), почему мне не нравится его лицо.

Успех и торжество так и написаны на этом лице. Невозможно даже вообразить его смущенным, раздосадованным, озадаченным, как нельзя представить его себе обиженным, оскорбленным, негодующим. Он всегда и всех победил и принимает поздравления с победой: именно эта мина, но очень умная, без тени фатовства, даже без оттенка мелочного самолюбия, виднеется на нем. Он «принимает поздравления» с действительною победою и за серьезные услуги. От этого внутреннего душевного состояния, так естественно счастливого, он не столько говорит с другими, подходит к депутатам, сколько, собственно, ласкается около них. И все около него ласкается, и все с ним ласкаются. Вероятно, всем приятно с ним говорить, его видеть; и он чувствует, что это всем приятно, и от этого не может еще не вырастать в себе: «Пусть у других будут неудачи, но у меня всегда будет удача», – говорит его улыбающееся умное лицо.

Зал вообще производит превосходное впечатление лицами и фигурами. Правда, они несколько сонны, и хотелось бы побольше энергии, но какие бороды! У некоторых так и лежат бобром. При хорошем росте, широких плечах, при элегантном пиджаке, – что теперь не редкость, – все это составляет зрелище, как-то умиротворяющее глаз. Думаешь: «А ну ее – политику! Политика всегда останется, а такая борода не всегда и не у всякого вырастет. И это до некоторой степени есть исторический документ, как еще хорошо

жили, росли и холились русские даже в 1908 году, когда уже… прошла Цусима и совершилось что-то вроде революции!»

И все солидно. Солидность даже в крестьянах, немногих, очень немногих. Много священников, но совсем другого вида, чем в прежних Думах.

Ну, однако, не четыре же часа на них смотреть. Я пошел домой. Около ворот фигура с красным околышем проговорила другой:

– Скучное нынче заседание. О чем? Многие идут.

Вот не думал в ком встретить сочувствие конституции! А поди же. «И они обязаны их делать интересными. Публика собирается. А они так скучно ведут его, что публика остается недовольной и расходится до конца. Это – непорядок и в некотором роде неблагонамеренность».

ПЕСТРЫЕ ТЕМЫ

<I>

Все наше время – какое-то пестрое, неопределенное, неуверенное в себе, неуверенное в завтрашнем дне. Время без знамени и без барабана. Призывных звуков не слышно, лозунгов нет. Движение есть, и даже его очень много, но оно все ушло куда-то внутрь, совершается глухо. Говорят, это «культурная работа». Может быть. Все похоже на то, как встретились два сильных течения, из которых ни одно не может одолеть другого. Воду вертит, она идет винтом. Такие места называют в деревнях «омутом», и в них часто тонут купающиеся мальчики, неосторожно заплывшие в них. В сильном омуте пойдет ко дну и взрослый. Не сравнить ли и наши дни с омутом? Кажется, можно.

За чайным столом бывшего «трудовика» собралось несколько человек – из литературы, общества и политики.

Заговорили о теме дня – порнографической литературе. О ней все говорят, везде пишут. Ею озабочены все. Но я заметил, что ни у кого эта озабоченность так не велика, как у политиков, т. е. у людей, так или иначе, делом или словом, прямо или косвенно примыкающих к Государственной Думе. В самом деле, для *чистых литераторов* порнография есть только загрязнение прекрасной, дорогой им области. Под этою грязью или около этой грязи могут существовать совершенно чистые явления, – существовать, жить, развиваться самостоятельно. Но для политика как *общественного* деятеля такое *общественное направление* есть гибель всего. Барков был современник Пушкина и не помешал быть Пушкину. Но никак нельзя сказать, чтобы Питты, чтобы Веллингтон и Блюхер, чтобы Оливер Кромвель могли жить в эпоху маркиза де Сада. Тут есть несовместимое. Великая политика и великие политические деятели всегда суть отражение эпохи, могуче-напряженной к реальному действованию. Какое же «реальное действование» может быть у общества, жадно ухватившегося за женскую юбку?

– Позор! Позор! Русское общество в этом увлечении порнографическим чтением и писанием переживает еще неслыханный позор!

– И какое падение, и как оно неожиданно! Два-три года назад этого нельзя было предчувствовать, никто не поверил бы возможности этого явления. Как-то я любовался перед витриною одного художественного магазина на несколько картин более, чем следовало бы, «классического содержания»: перед морем, под голубым небом, на лугу и скамьях сидело и лежало несколько гречанок или римлянок не совсем одетых и отчасти даже совсем раздетых. Известно, греки и римляне. Однако картина была художественно исполнена, и ничего соблазнительного не было или было чуть-чуть. Вдруг я услышал резкий голос:

– Ну, пойдем! Все это…

Говоривший произнес несколько нецензурное слово, выражавшее крайнее презрение, последнюю степень негодования. Он назвал гречанок и римлянок именем последних тварей; нет хуже и вместе тоньше. Он, собственно, не осудил самих гречанок, но это выставление полунагих тел перед уличною толпою он назвал отвратительным именем самого подлого ремесла, самого гнусного торга. Я обернулся.

И до сих пор я не могу забыть прекрасного лица на могучей почти фигуре юноши, разразившегося негодованием. Шли два студента, рыженький, среднего роста, и вот этот другой, темный шатен. Рыженький остановился перед витриной; но шатен, только взглянув на выставку, с резким восклицанием, которого я не привожу, пошел и повел его прочь дальше. Он был хорош, как св. Себастиан католических образов.

Это было приблизительно в пору первой Думы. Повторяю, я не забыл его лица. И вот я и представить не могу себе, каким же образом этот юноша… взял в руки и начал читать Каменского и Арцыбашева…

– Без сомнения, и не читает. А вот тот рыженький, заглядывавший на гречанок, верно, зачитывается. Наша порнография, будучи грязна сама по себе, грязна и ничтожна внутри себя, ничем не стесняется и мажет сальною тряпкою своего воображения и благородную Грецию, и могучий Рим. Появились и везде продаются книжки «Проституция в древности и у нас». Между тем к «нам» совсем не для чего приплетать «древность».

В Спарте и по маленьким городкам Греции девушки и женщины оттого ходили полунагими, а на состязаниях боролись между собой и с юношами совсем нагими, что у них вовсе не было соблазна, т. е. они и сами не соблазнялись, *не возбуждались* наготою, и никого ею не возбуждали. Вообразите состязание, происходящее на глазах народа: каждое движение должно быть метко, удачно, *целесообразно*; одна *ошибка* – и состязающийся побежден. Совершенно явно, что эти состязавшиеся юноши и девушки до того уходили в борьбу, что ни одной секунды им не было времени бросить *любопытствующий* или *алчный* взгляд на наготу окружающих. В этом все и дело. Позор не в наготе, а в глазе. Обнаженность древних есть только показатель величайшего их целомудрия, такого целомудрия, какого мы и вообразить не можем, какому нам поверить трудно. Теперь мы до шеи закрыты в современный костюм, но скверна заключается в том, что мы под одеждою *мыс-*

ленно воображаем себе нагую фигуру, что в мозгу своем, для всех невидимо и потому незапретимо, мы раздеваем всех женщин, всех, не пропуская никого, не стесняясь уважительностью, близостью, дружбою, родством раздеваемого лица. Таким образом, отрава течет в мозгу, течет без критики и без цензуры, без русла, без берегов. И вот этот безбрежный цинизм вдруг вылился в литературу. У нас всегда было «нецензурная» душа, «нецензурная» в этом специальном смысле, и почти является уже второстепенным вопросом, что появилась эта «нецензурная» литература тоже в специальном смысле, с «Тайнами жизни» и «Саниным» во главе…

– Говорят, она уже сбывает. В книжных магазинах приказчики говорят, что знойный полдень ее прошел и спрос не так силен. Хотя еще силен, даже очень…

– Этого спроса и не может хватить больше, чем на два и самое большее на три года. Во-первых, явится пресыщение, утомление. А во-вторых, ничего нового! Ну, проституция «в древности», ну, проституция «у нас». Но ведь и там, и здесь это все одно и то же, пьеса «в одном действии», с 5–6 его вариантами, т. е. «одно действие» в «шести явлениях». Согласитесь, что никто не будет долго смотреть подобную пьесу, и даже ни для кого это невозможно, каждый заснет на ней по притупленности глаза, по решительной скуке души. Куприн вот переделал «Песнь песней» Соломона, но, во-первых, эта безрассудная переделка, или, точнее, «пересказ своими словами» и своими добавлениями, только поставила около превосходной вещи вещь посредственную, не аттестующую автора; а главное, – для чего это нужно? Второй, третьей и десятой «Песни песней» около первой не нужно по недосягаемому совершенству этой первой, по такому совершенству, что песнь о чувственной любви, о чувственной влюбленности, с описанием всей сладости ласк, введена в текст «*Священного* Писания» и положена на аналое в христианских даже храмах. Но, затем, и у самого Соломона сюжет ведь до того прост, несложен, что его нет никаких средств продвинуть дальше, никакой нет возможности около этого цельного храма с одним куполом устроить еще «приделы». Чувственное наслаждение просто и ясно, необыкновенно сильно. Но, знаете ли, оно сильно для того, кто его *ощущает*, и ни для кого другого! Чувственность должна *переживаться*, и вправе переживаться, но она не должна *пересказываться*, ибо в пересказе ее просто нет, ничего нет, кроме иллюзорного и поверхностного щекотания нервов. Нельзя представить людей, до такой степени несчастных или поставленных в такие несчастные условия, чтобы это им не было доступно в *действительности*, и вот отчего порнографическая литература совершенно не нужна, и вековечно не нужна, и никогда не может установиться…

– Однако она всегда была, и даже «вековечно», – вставил кто-то иронически.

– Ошибка. Она вековечно пыталась «воссоздаться», *появлялась*, но *существовала* она всегда только миг. Просто она не находила читателей. Она не нужна. Появится маркиз де Сад. И умрет. Как и все книжки этого содержания, выкинутые теперь на рынок, умрут через три года. Кому нужно это

холодное, отвратительное, застывшее сало; это объедки вчерашнего ужина. Но ведь вы понимаете, что по самому существу дела не чем иным, как этим вчера съеденным ужином, съеденным кем-то чужим, третьим, не может быть всякая порнографическая книжка. Ну, был маркиз де Сад и *наслаждался*. Допустим, наслаждался, хотя мне, по крайней мере, со здоровыми вкусами, это и непонятно даже в нем, даже тогда, даже в жизни. Но скажите, пожалуйста, что же получает от этого *десадовского* наслаждения юноша теперь, через 150 лет? При малейшей эстетике он также не станет читать книжонок де Сада, как откажется подбирать кусочки жира, картофеля и говядины на грязной тарелке после вчерашнего ужина. Читают эту литературу самые невзыскательные господа, без всякого литературного образования, без всякого эстетического развития, без всякого даже общечеловеческого развития. Приказчики, модистки, прачки. Теперь грамотных много во всяком ремесле. И разве-разве самые захудалые из студентов и гимназистов. Гораздо интереснее, *кто пишет* эти книжки…

– Кузмин, Арцыбашев, Анатоль Каменский…

– Из них жаль одного Арцыбашева. Это был писатель с обещаниями. Его «Смерть Ланде», его «В утреннем рассвете» – прелестные рассказы, с грустью в тоне, с изящной живописью. Каким образом после «Смерти Ланде» можно было написать «Санина» – уму непостижимо. Это все равно, как ел человек суп, щи, кашу – и вдруг захотел овса. Овса, какой дают лошадям. Его Санин – просто лошадь, притом без милой грации, какая была у Фру-Фру... Помните скаковую лошадь Вронского в «Анне Карениной»? Санин – это битюг, везущий тяжелую кладь. Весь он тяжеловесен, грузен, без нервов и только с мясом. Но знаете что…

– Ну?

– И в прелестных своих ранних рассказах Арцыбашев был ужасно однообразен, однотонен, без выдумки, без изобретения. Все одно и то же, все прекрасный юноша, умирающий от чахотки, хороший товарищ своих товарищей, кончающий гимназист или начинающий студент. Это ужасно бедно. Он брал силуэты мальчиков и прелестно их рисовал, но даже не вдумывался в их душевное содержание, в возможные, даже и у мальчика, житейские столкновения и драмы. Бедность, унижение, смерть родных, двуличие товарища, смысл читаемых книг, удачи и неудачи учения, удачи и неудачи начинаемой карьеры, хотя бы в форме репетиторства, – мало ли что? У Арцыбашева все это пройдено мимо, и даны именно *силуэты* без слов, схемы ухваток, самых общих тем и общих разговоров. У него везде дано *товарищество*, и не более, ничего, кроме *юной дружбы!* Оставаться «писателем» при этом запасе тем и наблюдений довольно мудрено. И он выбросился в «Санина», как корабль, под которым нет воды.

– А другие?..

– Договорю об Арцыбашеве. Мне его одного жаль. «Санин» его, очевидно, есть нелепая выдумка, просто нелепая фантазия автора, который никогда и ничего подобного не видал в действительности, как он и вообще,

кажется, не видал жизни. Я встречал его на литературных вечерах у Вяч. И. Иванова и покойной Зиновьевой-Аннибал, по мужу Ивановой. Это совершенно еще юноша, с маленьким пушком на подбородке, тогда бедно одетый, неуклюжий и угрюмый. Где он видал «размах чувственности»? Он прожил бедную жизнь одиночки, где-нибудь в студенческой квартире, и все, что мог видеть по этой части, это крошечные кутежи слабосильных заморышей из гимназии, которые «развертывались» на три, на пять рублей, страшась дойти до десяти рублей. Согласитесь, что сюжет не из обширных. Его «Санин» – то же, что сновидение араба, умирающего в песке пустыни, которому брезжатся оазисы с пальмами и ключевой водой. На вечерах у Вяч. И. Иванова тогда философски разбирался вопрос о поле, об «эросе», о значении и происхождении чувственных страстей... И едва ли «Санин» не был навеян этими разговорами. Рыбак, долго сидевший без улова, наконец нашел себе рыбку. Это, собственно, лучшее объяснение, при котором мы могли бы еще ожидать от Арцыбашева чего-нибудь со временем. Чужая, и притом отвлеченная, тема, фантастически разработанная и совершенно нелепо вставленная в русские условия, ей вовсе не соответствующие.

– Отчего «не соответствующие»?

– Отчего? Прочитайте о русской и об южной любви у Майкова. Это очень хорошо и очень верно, хотя, может быть, и не очень к славе русских. Русская любовь вздыхающая, слезливая и сантиментальная. Мне как-то писала русская эмигрантка из Франции: «Здешние молодые люди, – из богатых, – иногда думают подражать французам и тоже подымают крылья. Но у них это не выходит и все сводится к старой русской теме: «Как дошла *ты до жизни такой?»* Начал человек кентавром, а кончил покаянным псалмом. Француженок это очень удивляет, и они не любят русских». Так мне писала одна русская женщина, с насмешкой, но и с явным сочувствием к русским. «Так-то лучше», – безмолвно договаривала она. В русских другое солнце, чем в южанах. Наше солнышко бледное, холодное, задумчивое. И сами мы не люди огненных страстей, а вот этой длинной задумчивости. Может быть, это не всегда хорошо. Но это так. Ну, какая страсть в его «Эросе»? Это какое-то археологическое исследование о страсти в древнем мире, написанное человеком, всегда любившим свою законную супругу. И Афанасьев написал три тома «О русском мифическом творчестве», оставаясь статским советником.

– Не ошибаетесь ли вы? О вечерах у Ивановых рассказывали очень много пикантного.

– Рассказывали, сплетничали, шушукались, как в праздном обществе праздные люди. Но здесь под дымом не было никакого огня. Зиновьева-Аннибал, правда, надевала греческий хитон, но просто потому, что это ей действительно нравилось и что это было ее домашнее платье, которое она носила и без гостей. Они были люди экзотические не по темпераменту, а по случайно сложившейся биографии. Оба – русские из русских, но всю жизнь провели за границей. И на родине продолжали немного чудить, как немного чудят все русские, живущие за границей. Русь потому любит «заграницу»,

что там она выходит из обычной домашней обстановки и вместе, естественно, не чувствует себя особенно связанною нравами, которые ей чужды, которые не суть нравы родины, *данное,* первоначальное, *требуемое*. Без нравов родины и без нравов «заграницы» там каждый живет по своему нраву, и вот эта свобода и манит русских. Затем Ивановы вернулись домой; естественно, что и в Петербурге, проведя столько лет за границей, они уже продолжали жить «по своему нраву». И вот все и полное объяснение греческого хитона. Они оба с головой ушли в литературу, в литературные предприятия, в литературные замыслы, в удачи и неудачи литературные. Я не видал четы супругов, более преданных друг другу и более слитых единством занятий и общностью вкусов. Поистине «что Бог сочетал, – человек да не разлучает», и «муж и жена – одно тело», самый классический пример православного супружества. Ну, а *для литературы* он занимался греческим «Эросом», а она посвятила один рассказ лесбийской любви.

– Это «Тридцать три урода»?

– «Тридцать три урода». Поверьте, этого рассказа не написала бы женщина, у которой под «дымом» был бы и «огонек». Но Зиновьева-Аннибал безгрешно чадила, не чувствуя себя ни малейше заинтересованной в теме. Это была редко добрая, редко ясная, редко ласковая женщина. У меня до сих пор стоит в представлении эта страшная картина, как ее отпевали черные монахи в Александро-Невской лавре. Убитый стоял около гроба ее муж. Было много литераторов, их литературных друзей. И она, Зиновьева-Аннибал, в гробу. Несчастная и погибла случайно. Они поехали на лето за границу, где оставались их дети, уже большие подростки. Их не брали на родину, потому что не хотели переменять школы в самой середине учения; притом около них был друг их семьи, вполне заменивший для детей мать. Последний год перед смертью она прихварывала, переходя из простуды в простуду. И вот, не совсем еще оправившись, она сделала длинную прогулку верхом и заехала в деревеньку, о которой она и все знали, что там свирепствует сильнейшая скарлатина. Это был такой же детский поступок, как и летняя почти одежда, в какой она щеголяла в Петербурге в октябре и в ноябре. Она схватила скарлатину и умерла, как неосторожный ребенок. Смерть ее была похожа на ее жизнь, и что она умерла от типичной детской болезни, – это так символично... Не помню женщины, столь глубоко невинной, как этот автор «Тридцати трех уродов» – рассказа, который цензура арестовала при его выходе «за безнравственность», и арестовала в разгар освободительного движения! Значит, хорош! Но она так же мало виновна или «соучастна» в теме этого рассказа, как Вячеслав Иванов несколько не платил тех «римских податей», превосходную монографию о которых он написал знаменитому Моммзену, у которого слушал в Берлине лекции. Моммзен сразу же оценил труд, привлек к себе талантливого ученика и вообразил, что он будет заниматься римскою историей. Но русский есть русский, и Вячеслав Иванов предпочел заниматься декадентством. Вот история, которую я знаю.

– А так много говорили и об их вечерах, и о них самих, и об этом служении Эросу…

– Русские суть русские. Почему же им не поклоняться Эросу? Объявлена была свобода переходить из православия куда угодно. Так не переходить же им в магометанство или католичество, как вообразило себе начальство. «Шагай дальше»… И Ивановы перешли к «этоническим» богам Эллады. Не то чтобы это было очень серьезно. Но это настолько серьезно, как вообще бывает у русских. Теперь больше таланта, чем ума, и больше «шири», чем угрозы…

– Но мы заговорили о порнографии?..

– Поверьте, она года через три-два кончится. Прометет это время, и прометет не бесследно. И след будет хороший, и если чего я опасаюсь, так вот этого излишне «хорошего следа». Всякий сильный «перегиб» имеет последствием столь же энергичный «разгиб»… Вот его-то я и боюсь. Вы везде видите шумное негодование общества на вторжение порнографии. Года через три фамилию Кузмина будет так же неловко произнести в гостиной, как и название известной французской болезни, и бедному придется хлопотать о перемене фамилии. Все это так, и все неважно. Важно то, что порнография легла поперек желательным и уже начавшимся было законодательным преобразованиям семьи. Например, она решительно помешает преобразованию развода, помешает дальнейшим шагам к уравнению брачных и внебрачных детей. Помешает вообще установлению свободной семьи в свободном обществе, – краеугольному камню всего. В этой области законодательство всегда было крайне тупо, крайне косно, наконец, и более всего, – крайне пугливо. Оно воспользуется ропотом общества на порнографию и, подменив одно слово другим, скажет: «Видите, как само общество негодует на *распущенность* нравов. Может ли закон уступать перед требованиями *безнравственности*, перед животными позывами *безнравственных людей?* Ваш *Санин* захотел бы «менять жен» и пр., и пр. Нет, *мы* хотим, и *закон* должен защитить от подобных господ *невинных, неопытных* девушек. Нет развода!» Юриспруденция всегда груба, юриспруденция никогда не вникнет в предмет с тою тонкостью и вниманием, как это делает литература. Она никогда не увидит, она никогда не захочет взглянуть на то, что теперешний брак и в частности теперешние правила о разводе не ставят никакого препятствия Саниным. Можно привести доказательство и конкретное, и отвлеченное. Конкретное заключается в том, что тип Дон Жуана возник в самой католической из стран, в Испании, т. е. там, где развод совершенно не допускается и где о гражданском браке или о свободной семье и помина нет. А отвлеченно… Да ведь совершенно ясно, что раз мужчина *до венчания* не несет на себе *по закону* никаких последствий от сближения с девушкою, как равно он никогда и никаких последствий не несет *по закону* же от сближения с замужними женщинами, то каждый мужчина, если он обладает ловкостью, и обращается в «Санина»... Самый законный путь. Гораздо раньше Арцыбашева русское семейное право, семейное законодательство показало эту до-

рожку. И только благодаря скромности русских девушек, верности русских женщин, да и вообще только благодаря нашим тихим нравам, это «позволение» закона не переходило в действие. Но всякому мужу, как равно всякому отцу взрослой дочери, которому судьба привела столкнуться с Саниным, привелось и в консистории, и в гражданском суде выслушать, что Санины ненаказуемы, что «обесчещенной» девушке негде искать защиты и что муж-«рогоносец» не имеет никаких прав жаловаться, если только он не застал Санина на месте преступления, имея при себе трех свидетелей... Конечно, Санину не обязательно быть до того глупым, чтобы устраивать свидания с чужой женой «при свидетелях». А без свидетелей муж хотя бы и знал, что его жена знакома с Саниным и даже с целою дюжиной Саниных, – это все равно: ни духовный суд церкви, ни гражданский суд государства его смущать не будут. Но, повторяю, Фемида слепа, хотя все это очевидно; однако та же Фемида с криками, что она защищает «нравственность», откажется дать какие-нибудь облегчения развода и сошлется на роман Арцыбашева, сказав, что «она покровительствовать этому не намерена». Вот чего я боюсь. Порнография льет воду на колесо фарисейства, ханжества, сердечной жесткости и фальши.

Все выслушали молча горячую эту речь. Кто-то проговорил:

– Да, *один* Санин потешился, а *тысяча* русских баб по деревням будет из-за него пить прежнюю горькую чашу жизни. Колотит такую муж; она жалуется, просит себе вида на отдельное жительство или развода. Ей ответят или о ней подумают:

– Что же, ты к Санину просишься?

– Верно, ей к Санину захотелось...

Мысль эта не приходила в голову петербургским литераторам. А Фемида никогда не снимет повязки с глаз...

<II>

Спор между гг. Чуковским, Жаботинским и Таном о евреях и отношении их к русской культуре, в частности о роли их в русской литературе, вызвал внимание во всей печати. И, несомненно, это одна из вспышек того спора, который не замрет с этими спорщиками.

Имя Гейне одно горит яркою звездою на европейском литературном небе, и звезда эта не боится близости никакого солнца, она не меркнет в лучах Шекспира, Шиллера, Байрона, Данте. В Гейне есть *своя* и незаменимая прелесть, и вот это-то *свое* в нем и обеспечивает ему незаглушенность и вечность. Это какой-то Соломон в молодости или Соломон, который отказался бы от старости и мудрости, сказав, что он не хочет идти дальше «Песни песней» и не хочет ее переживать. Он есть вечно юный паж, грациозный, шаловливый, насмешливый и вместе серьезно богомольный около двух вечных идеалов, которым всегда поклонялось человечество – женской красоты и поэзии «an und für sich», «в самой себе». По этому своему поклонению,

такому изящному и такому внутреннему, он не перестанет никогда быть родным всему человечеству.

Десять томиков Гейне – последний отдел великого «Священного Писания» евреев. Гейне оттого и для русских есть как бы русский, что он есть полный еврей, без усилия слиться с кем-нибудь.

Но Гейне – один. И около него в литературе не горит ни одно имя, сколько-нибудь с ним равное. Его друг и недруг Бёрне представляет собою уже обыкновенную публицистическую величину. Он был честен, ярок. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Соком нервов моих пишу я свои сочинения». Но кто же из нас не пишет их соком нервов? Иначе и нечем писать: не сапогами же. Бёрне обыкновенен как человек. Все меры благородства и пафоса не заменят того, что бывает в человеке, как какая-то необъяснимая сила и прелесть не заменят таланта, гения. У Гейне он был. Но, кроме него, ни у кого еще из евреев в европейской литературе его не было.

Спор, поднявшийся, однако, движется не по этой орбите. Если бы мы говорили о Гейне и величинах, равных или подобных ему, мы говорили бы только о поэзии. Но, кроме поэзии, есть и литература. Поэзия, напр., французов слаба, суха, черства, но тем не менее они имеют *великую литературу*. В поэзии они уступают даже полякам, ибо у них нет Мицкевича и даже близких к нему *непосредственных, природных* лириков и эпиков. Но их литература превосходит почти все европейские литературы. Литература есть, главным образом, не поэзия, но *отражение* всей образованности, т. е. всей совокупности идей, эмоций, увлечений и разочарований страны, какие она переживает в волнующейся своей истории, и выражает все это в *слове*. Из истории французской литературы нельзя исключить Литтре, хотя он не написал ни одной строчки стихотворения и не вымыслил ни одной фабулы, как из истории английской литературы нельзя исключить Джонсона, хотя он всю жизнь сочинял свой знаменитый словарь. В нашу литературу В. И. Даль вошел не своими незначительными повестями, но «Толковым словарем живого великорусского языка», этим огромным памятником трудолюбия, любви и понимания. Если мы возьмем в этом объеме *литературу*, то непонятно, почему в ней не могут играть значительной роли евреи, как настаивали на этом Чуковский и Жаботинский. В. И. Даль был по роду датчанином и по вере лютеранином, но он так привязался к России и русским, что под конец жизни перешел в православие. Не многим известно, что один еврей, именно – покойный Шейн, сделал нечто напоминающее труд и подвиг Даля: он целую жизнь свою положил на собирание обрядовых песен русского народа и на их объяснение. Другой еврей, Левитан, создал русский пейзаж, т. е. он с такою глубиною, с такою поэтичностью воспринял краски и тоны русской сельской и деревенской природы, русского поля, речки, перелесья, как это не удавалось самим русским. Имя Шейна мало известно, но, конечно, заслуга человека оценивается не по приобретенной известности, а по любви и по таланту, какие внес он в свой труд. Время оценки Шейна настанет. Но Левитан уже оценен и признан теперь. Его заслуга перед русским художествен-

ным *самосознанием* никогда не будет вычеркнута из истории. Вернемся от этих указаний к общей идее. Литература есть выражение не какой-нибудь народности, а отражение культуры *страны*. Конечно, преобладающая народность этой страны выразится в ней преобладающим образом, но не без соучастия решительно всех других народов, даже очень маленьких, какие входят в население этой страны. Голоса их всех необходимы и только увеличивают гармонию, не нарушая ее строя. Ведь хор не может состоять из одних басов, или из одних дискантов, или из одних теноров. Это было бы безобразие. В литературу Франции входит не одна литература франков и их потомков, но и душа, и чувство кельтов на французском языке; в английскую литературу огромным заливом влилась литература шотландцев на английском языке. Вся идеалистическая философия Англии есть по происхождению философия шотландская; но шотландцы совсем другого корня люди, чем англосаксы, другой крови. Литература русская чрезвычайно обеднела бы, если бы не только *была*, но даже если бы она выразила *тенденцию* остаться исключительно литературой *великорусскою*. Это было бы какое-то духовное плюшкинство, духовное самооскопление. Это было бы утратой, пожалуй, самой драгоценной русской черты: шири, великодушия, гостеприимства. Русские вдруг заперлись бы, как скупой хозяин-скопидом, от всех на замок. Богатства наши истлели бы, как у Плюшкина; поистине, мы уподобились бы евангельской смоковнице, которая не принесла плода и была за это проклята и посохла.

И неужели когда-нибудь хватит у русских духа оттолкнуть от себя заунывные песни белорусов, такие печальные, такие нам родные? А с белорусами связана и Литва, а с Литвою – и еврей Западного края, совершенно неотделимая фигура на фоне западной русской жизни. Мицкевич был польский патриот, без всяких юдофильских тенденций, но правдою поэтического воссоздания он почувствовал невозможность, воспроизводя Литву, обойти фигуру еврея в Литве, и он создал приснопамятный образ еврея-цимбалиста («Пан Тадеуш»). Не забудем, что евреи везде вошли гостями, во Францию, в Германию, в Англию и в Италию, но в бывшей Польше и Литве и в некоторых местах Закавказья они суть аборигены, пришедшие гораздо раньше русских и живущие не разрозненно, а сплошною массой, туземною массой. Это большая разница. Можно избыть гостей или не общиться с гостями, но не общиться с частью своего населения, притом старого, или, как существуют проекты, объявить их, ни с того ни с сего, «иностранцами», напр., иностранцами, «начиная с 1910 года», – это значит написать бумажку, ничего не значащую. Бумажка будет мучительна для лиц, но от нее не дрогнет население, или, пожалуй, оно застонет новым стоном, но все-таки оно никуда не уберется, ибо, прежде всего, ему некуда убраться, и сделается только враждебным или индифферентным к родине.

Что сделалось с добрым Жаботинским, – я не знаю. Лет семь тому назад я его встретил за границей. Худенький молоденький еврей, почти мальчик, он был тогда типичным русским интеллигентным евреем, подсмеивавшим-

ся над некоторыми древлееврейскими заветами, составляющими неудобство в быту, в жизни. Его повергало в негодование талмудическое запрещение «варить козленка в молоке его матери». «Помилуйте, из-за этого, – говорил он, – мы не можем, я не могу есть котлеты в масле. Котлета из мяса, положим, телячьего, а масло из молока коровы, может быть, его матери: по этому глупому основанию у нас котлеты пекутся, а не жарятся на масле, и это черт знает какая гадость, которой я, конечно, не стану есть, предпочитая христианские или вообще европейские кушанья. Да и многих других удовольствий мы лишены из-за талмудических суеверий». И он мне сообщил кое-какие интимности. А на развалинах Колизея в глубокую ночь он упоенно читал из Лермонтова:

Ликует буйный Рим, торжественно гремит…

Таким образом, последующей метаморфозы никак нельзя было предсказать в нем. Говоря именами, он родился Таном и был Таном лет до 24–26. Весь ушел в русские интересы, русский дух, русскую интеллигентность. Но под беззаботной и частью легкомысленной наружностью в нем жило, очевидно, впечатлительное сердце. Его потрясли погромы. За это время я его не видел, но мне передавали, что года три после того, как я его впервые встретил в Риме, он был уже вовсе не тот человек: облекшись в длинный сюртук еврейского покроя, приняв всю талмудическую наружность, он даже отказывался говорить с русскими по-русски, предлагая выбрать другой «безразличный язык», бредил древним величием Израиля и, прерывая грубо и жестко все темы, говорил, что никто из евреев не вправе ни о чем думать и ничем заниматься, пока льется или грозит пролиться еврейская кровь. Таким образом, мы здесь имеем впечатление, подействовавшее подобно ушибу. И никакого рассуждения. Жаботинский весь ушел в сионистскую мечту, не замечая, что это – именно мечта, притом литературная, да еще подражательная, подобная «пангерманизму» немцев и «панславизму» старых славянофилов. Тут ничего нет оригинального и еврейского, ни одного слова. Никакой нет еврейской мысли. «Миссию Израиля», если уж ее нужно признать (а она есть, и ее признать нужно), выполняют гораздо лучше, и притом в более древнем смысле, в более священном смысле, такие евреи, как Левитан и Шейн или как Тан, написавший прекрасные и трогательные слова, что «Гаршин для него есть совершенно *свой, родной* писатель, без любви к произведениям которого он себя представить не может», чем такие господа, как Жаботинский, которые представляют что-то похожее из Погодина в еврействе. Они забыли *первое* же слово, сказанное Свыше *первому* еврею: «О семени твоем благословятся *все народы*». Это выслушал Авраам, как последствие завета своего с Богом, ибо, избрав для завета одного человека, Он через него одного соединялся и с прочими людьми, нимало их не отторгнув от Себя, соединялся вот через это «семя Авраама», т. е. «потомство Авраама», ибо везде в Библии «семя» обозначает потомство. С того времени, с самого того момента и начинается вхождение евреев в «другие народы», так что уже правнук первого еврея переходит в Египет, куда затем переходит и все

главное потомство Авраама; но и в Египте оно не остается навсегда, а переходит в Ханаан, в землю финикиян, затем возвращается, как «плененное», в Вавилон, опять ворочается, но частично, в Ханаан, а главною массою рассеивается по всему персидскому и греко-сирийско-египетскому миру, затем по римскому миру и, наконец, переходит в среднюю и восточную Европу, переходит и к нам. Вот картина, до такой степени простая и так упорно повторяющаяся, что нет возможности, с одной стороны, не признать в ней «перста», как говорит наш народ, т. е. не признать «указания Свыше», а с другой стороны, очевидно, эта странствующая и рассеянная миссия гармонирует и с характером народа. Ведь обыкновенно Проведение и действует через естественные силы природы, а в истории оно проявляется и может проявиться только через характеры народов, через их индивидуальные и почти зоологические отличия, через все то, что мы называем «физиономией народа» или его «национальною обособленностью». Национальная обособленность евреев есть их универсализм: римлянин всегда думал по-римски, грек – по-гречески; но уже Иосифа Флавия, этого, до известной степени, Карамзина еврейства, написавшего первую их историю, сами же евреи называют ренегатом-римлянином, – до такой степени он усвоил и слился с римскою культурою, с римским духом, смотря на все специально-еврейское, как Жаботинский до своего озлобления. Посмотрите: станут ли татары Казани и Крыма так замешиваться в русскую литературу, с такою старательностью писать по-русски, издавать для русских книги и, словом, так отзывчиво и полно отражать русскую культуру, как евреи? Ни татары, ни поляки, ни литовцы, ни финны или шведы, ни немцы этого не делали и не делают. Исключения есть, но личные, редкие, не массою. А евреи, пройдя гимназию и университет, массою принимают участие во всех мельчайших подробностях русской жизни, как врачи, как юристы, и не везде успевая, часто влача нищенское существование, т. е. не по одной выгоде, а по действительной слепленности с русскими, прилепленности к русской жизни. Неужели же еврей-оператор, служа где-нибудь в клинике и оперируя приходящую русскую бедноту, оперируя по должности и бесплатно, «преследует еврейскую идею», а не делает просто хорошее дело для русских и от всей души? Оставим нелепую идею «вечного жида», выдуманную посредственным французским романистом, и, во-первых, поверим слову Библии о «благословении всех народов через потомство» Авраама, а, во-вторых, поверим осязательной действительности, какая лежит перед нами. Неужели еврей Антокольский, лепя Иоанна Грозного или Ермака, преследовал «еврейскую идею»? Или он хотел «отбить заработок» у русских скульпторов? Нужно хоть сколько-нибудь знать, просто *увидеть* и *поговорить* с трогательным нашим скульптором г. Гинзбургом, чтобы понять, неужели в этом кротком и благородном существе может зародиться какая-нибудь мысль кого-нибудь обидеть, обидеть какого-нибудь русского. В его мастерскую, в академии художеств в Петербурге, ежедневно прибегают чумазые ребятенки, дети академических сторожей, и они у него «свои», они лучшие гости почему-то вечно грустного художника. И чтобы

он их обидел? Пожелал им или «детям их» зла, кому-нибудь, когда-нибудь? А *сам* Гинзбург видал обиды, – и увы! – обиды от русских: его долго не впускали в академию «как еврея»! Но все простил молчаливый и безобидный художник, такой маленький, такой худенький, такой гениальный. Оставим, однако, иллюстрации и обратимся к идее. Всех обмануло то, что с древности и по строжайшему их закону евреи не *смешиваются* с другими народами, т. е. имеют право брака только со своими. Это породило у других народов фантастику во вкусе Эжена Сю, что евреи оттого с другими народами не вступают в семейные связи, что они состоят в тайном заговоре, в инстинктивном заговоре против всех других народов, и помышляют о всех их *истреблении* и об исключительном господстве *одних их* на земле. Нельзя представить более человекоубийственной идеи, т. е. идеи, способной вызвать большее озлобление против евреев всех народов, конечно, более сильных, чем они, и толкнуть эти другие народы, по крайней мере, к частичным попыткам *предварительно* самих евреев истребить, передушить. Если я жду от кого гибели, притом *наверной*, и в то же время сильнее своего предположенного погубителя, – я из инстинкта самосохранения постараюсь его убить. Когда и кем была подсказана эта сатанинская идея – неизвестно, но нельзя исчислить того множества книжонок, брошюрок, отдельных статеек в журналах и газетах, которые повторяют из года в год и изо дня в день эту ужасную мысль, что евреи образуют тайный или, вернее, инстинктивный, в крови и нервах лежащий союз, направленный против существования, против *жизни* всех нееврев. Между тем ничего нет проще закона их несмешиваемости, в том виде, как он вошел в их религиозную культуру. Раз уже в законе их, к религии их *первым* словом сказано о *рассеянии*, о «других народах», в которые они вселятся, и всем народам предсказано «благословение о них», т. е. *от* них, то, очевидно, надо было сохранить в целости и именно *несмешанности, нерастворенности* этот как бы золотой песок, с их, еврейской, точки зрения золотой, с точки зрения их религии, их Авраама и Самого Иеговы, дабы до скончания мира было чем и кем «золотиться» или «благословляться» всем прочим народам. Продолжим аналогию, и мы получим силлогизм, ясный и убедительный, как «дважды два»: золото тоже «ни с чем не смешивается», но разве же оно всему вредит? Обособленность существования не означает ни вредности, ни злоумышления; она означает только крайнюю важность несмешивающегося. Евреи, по крайней мере в простонародье, – талмудисты и видят в себе эту «крайнюю важность», не скрывают этой своей мысли, утверждают ее, к явному, слишком явному вреду и риску для себя. Но для других народов это – милая уверенность, могущая вызвать улыбку и, в сущности, никому не оскорбительная и уже, во всяком случае, никому не вредящая. Православный наш люд тоже считает православие «единственной настоящей верой» и нимало от этого не покушается ни на мусульманство, ни на сектантов. Мирен со всеми. Пушкин считал себя высшим поэтом, но разве от этого он злоумышлял против Жуковского или Языкова? «Считанье» это вообще никому не вредит, а, будучи иллюзией крайне

осчастливливающею, оно скорее вызывает в человеке расположение ко всем, доброту ко всем. Миллионер всем будет дарить что-нибудь, а скупец или считающий себя накануне разорения никому ничего не даст. Истина очевидная. И «счастливая идея» может быть, действительно, внушена евреям Свыше, внедрена в их инстинкты, перешла в их кровь, чтобы они были расположеннее к другим народам, ласковее с ними, входили влюбчивее в их культуру, в их идеи, во все необозримые мелочи их быта и жизни, что, действительно, и совершилось. Отрицать, что Испания «благословилась о семени Авраама» в пору испано-арабской культуры, когда евреи своим трудом и образованием обогатили, оживили и осчастливили весь этот край, всю страну, – этого никто не сделает, против этого восстанут все историки. Испания цвела еврейством и евреями – это истина очевидная, общеизвестная. Но только в том фазисе испанской истории евреи и не были гонимы: в истории остальных стран Европы они прививались, но не удерживались, срываясь под ужасной мыслью, что они «против всех в заговоре». Поэтому здесь можно говорить не о счастье гармонии, а только о попытках. Что же, разве философия европейская не «благословилась» о Спинозе, политическая экономия европейская не «благословилась» о Давиде Рикардо, или европейская музыка – о Мейербере и других? Нужно читать скромную и прекрасную жизнь Рикардо, чтобы быть тронутым ею, пожалуй, даже больше, чем известною жизнью Спинозы. Еврей и нехристианин, он до того тянулся к европейской культуре, что «свои» отреклись от него, возненавидели его, возненавидели «свои» Погодины и Жаботинские. В то же время он отличался таким личным характером, что Д.-С. Милль и все первенствующие умы Англии не просто приняли его в свой круг, но полюбили его, привязались к нему. Так прожил он жизнь, не меняя своей веры, в отчуждении от своих, близкий с чужими. Вот пример «миссии» еврейства, которая очевидна. Миссия эта заключается в том, единственно для одних евреев она заключается в том, чтобы, нося свободно в себе свой собственный образ, жить именно среди чужих, *не рядом* со своими, всегда и везде «в рассеянии». Положение меланхолическое. Но что делать, – оно нужно другим. Бог же печется о мире, а не о человеке и даже не об одном народе. И вечная еврейская как бы «отторгнутость», ранняя и всегдашняя потеря ими своей родины – это-то и есть подлинная и *родная* история Израиля. «В изгнании» они, в «голусе» – это они «на родине», «в руке Божией», в «своем»… и как соберутся в Иерусалим, – вдруг очутятся «на чужбине», выпадут из руки Божией, станут не на «свой путь». В рассеянии их призвание, в рассеянии их спасение.

<III>

Славянские гости уехали из Петербурга. Жаль, что они не посетили Москвы, и жаль историческим сожалением. Москва всегда стояла впереди Петербурга в вопросах славянского сближения, в вопросах всеславянской культуры. Братья Иван и Петр Киреевские, семейство Елагиных, А.С.Хомяков, плеяда Аксаковых и, наконец, классическая фигура старика Погодина – все

это такие столбы славянского объединения и движения вперед, равных которым не выдвигал Петербург. Петербургские славянофилы были учеными славистами, грамматиками, филологами и историками, без живой связи с волнующейся политикой, без широко народного в себе чувства, без универсальности в мысли. Таков был филолог Гильфердинг, идеалист и вместе безвредный компилятор около покойного Хомякова. Даже такие петербургские славянофилы, как Н. Я. Данилевский и Н. Н. Страхов, все же были только книжными теоретиками славянофильства и не входили *сами* в непосредственное и личное общение с представителями западного и южного славянства, не говоря уже о народных массах западного и южного славянства. Совершенно не таковы были Погодин и Аксаков, с их поездками в славянские земли, с их энергично ведшеюся перепискою с западными и южными деятелями славянского возрождения. Достаточно перечитать изданную покойным профессором Московского университета Н. А. Поповым переписку Погодина со славянскими учеными и деятелями, особенно с чешскими, чтобы увидеть, что в его домике, на Девичьем поле, сходились все живые нити славянского вопроса, и из домика этого расходились живые и возбуждающие нити по всему славянскому миру. Всего этого не следовало забывать. И депутатам от славянства следовало приехать и в Москву.

Но практический век имеет свою жесткость. Уверенные, что в Петербурге все сделано и для Москвы, представители уехали в Варшаву, где нужно многое сделать. Пожелаем им успеха и доброго пути. И без мотивов мелочного самолюбия подумаем старою московскою думою обо всем этом славянском движении.

Оно называется «возрождением». И, конечно, славянский вопрос в основе своей есть вопрос о возрождении славянского мира, или вопрос об общеславянском пробуждении. Это смотря по тому, смотрим ли мы на него с политической, внешней стороны или со стороны внутренней и культурной.

Славянство в лице Польши, Богемии, Болгарии, Сербии и других менее значительных стран имело свои проявления и княжеские династии, свою политику и свои войны. И все это угасло в кровавом пару косовской и белогорской битв, под навалившимся на них камнем туретчины и неметчины. В этом политическом смысле славянский вопрос есть вопрос о «возрождении», которое для южных славян уже настало, а перед западными оно стоит в виде колеблющегося неверного ожидания. Около таких могуществ, как германский мир, всякий вершок движения вперед труднее, чем верста движения среди слабой, одряхлевшей туретчины.

И здесь, на Западе, среди громад Германии и Австрии, вблизости с Италиею и Франциею, славянский вопрос еще долго будет оставаться в стадии пробуждения. Остановимся на последнем.

Политическая или «возрождающаяся» сторона славянского дела находится, как говорят духовные, «в руце Божией». Она нисколько не зависит от чувств «современного общества» или от усилий отдельных лиц, а зависит от благоприятного расположения шашек на всемирной шахматной доске да

от мужества, величины и вооружения армий. Сто славянских съездов тут ничему не помогут, но дело может двинуться вперед при тех или иных комбинациях с политическим наследством или оттого, у кого лучше будут телескопические прицелы при пушках. Тут все, что мы можем, – не торопиться, ждать и быть готовыми. И это больше принадлежит государству, чем обществу.

Напротив, в «пробуждающейся» стороне славянского дела в пассивном положении остается государство, а общество выдвигается вперед. Оно все может, государство ничего не может. Здесь все делают частные лица, кружки, съезды, даже переписка. Здесь всякий трудится свободно и самостоятельно. Но все эти свободные и самостоятельные дела, и огромные, и крошечные, при всем разнообразии их мотивов и даже разрозненных целей, сливаются в одно великое дело – *национального славянского пробуждения.*

Пробудиться – что скромнее и меньше, чем возродиться. Возрождение говорит о великом прошлом, о святых воспоминаниях, о таких золотых страницах истории, которые современники не могут читать без слез. Возрождаются великие культуры. Возрождение можно сравнить со вторичною переработкою рудника или со вторичным перепахиванием поля, давшего когда-то богатый урожай. То и другое делается в надежде, что еще много сокровищ в металле или зерне осталось в старой почве. Надежды эти, однако, редко осуществляются в линии их *прямого ожидания.* История знала два великих возрождения, это – XV и XVI века, когда в Италии, Германии, Франции и Англии начали «возрождать» классическую древность, и более короткое по времени и результатам «возрождение» средневековых чувств, понятий, воображения, вкусов, которое настало после наполеоновских войн, главным образом в Германии, но отчасти и везде. Это знаменитый «романтизм» XIX века, романтизм в поэзии, в жизни, в мечтах, в убеждении, романтизм, простершийся даже на философию (Шеллинг) и науку (изучение средневековых памятников). Это второе «возрождение» продержалось всего несколько десятилетий, и его смыла в 1848 году вторая волна революции, явно недоконченной в 1789–1794 годах. Со второю революцией пришел позитивизм, пришел экономический вопрос, который и сбросил под лавку Шлегелей и шеллинго-гегельянскую метафизику. Призраки исчезли, действительность осталась. Действительность заявила свои права. Начальная сторона всякого «возрождения» заключается в том, что оно имеет дело с выработанною уже горною породою или со старым полем, которое когда-то пахали. Всякое «возрождение», как бы оно пылко ни было вначале и каким бы «обновляющим» ни казалось современникам и участникам, на самом деле есть «старье» в самом порицательном и уничижительном значении. Оно до такой степени есть «старье», что *прямых своих задач, горячо желаемой цели* не достигает не только в больших размерах, но и ни в каких. Ну, какие же Сократы, Платоны, Аристиды, Периклы и Сципионы были Петрарка, Эразм или Рейхлин, которые стояли почтительно на запятках карет своих покровителей и сочиняли стихи и прозу менее самостоятельно, колоритно и парадно, чем сред-

невековые миннезингеры и трубадуры. В обоих «возрождениях» интересно и значаще было не то, что они «возрождали» и, конечно, не смогли возродить, а они *сами*, эти люди, совершенно новые и непохожие ни на эллинов или римлян, ни на средневековых католиков, а только *на самих себя*, на итальянцев XV и германцев XIX века. Петрарка интересен вовсе не в отношении Виргилия, а в отношении *самого себя*; интересна его жизнь, прекрасна его личность, трогательны его письма, его влюбленность, удачи и неудачи в жизненном странствии. И, как ученые и литераторы XV и XIX веков, они сложили прекраснейшую главу новой европейской литературы, главу совершенно новую и свежую, не читанную никем, совершенно не бывалую в Греции и Риме, и вот она поучительна, воспитательна, навеки значаща. Но ни Виргилий, ни Сципион тут ни при чем. Искали в руде *опять золота* же, но его не нашли. Нашли совсем другое – драгоценные камни, бериллы, топазы, изумруд. Вот сравнение, и оно говорит все и оканчивает тему.

Прямых результатов *никакое* «возрождение» никогда не имеет. Оно имеет только побочные, *непредвиденные* последствия.

Иное с «пробуждением». В нищенстве своем, в убогом виде оно богато надеждами. Оно пашет вновь. Оно *угадывает* руду, и начинает копать поле, обыкновенное поле крестьянина, но если попало куда следует, оно откроет руду и обогатит себя и других, обогатит страну и потомков.

Культурное «пробуждение» славянства зиждется на предположении, что славянский мир потенциально содержит в себе не меньшие сокровища, чем какие в веке VIII–IX–X–XIII содержал в себе германский и кельтический мир, чем какие содержал в себе за пять, за шесть веков до Рождества Христова мир эллино-латинский. Из тех родилось и развивалось великое. Может быть, равное родится из нас. Будем усиливаться родить; будем *помогать* славянству родить. Тут и акушерка, и родильница – в одном лице. Пожалуй, образованные классы, все эти «славянофилы» и «панслависты» принимают на себя роль акушерки и хотят помочь «родить» славянским народам.

А рождаемое – культура, цивилизация. Отдаленная и исчерпывающая задача всего славянского «вопроса», всего славянского «дела», всего славянского «движения» заключается в создании славянской цивилизации.

Ее мы никогда не имели. В этом направлении мы всегда были *приткнуты* к чужим цивилизациям; мы ели из чужого корыта, не свой хлеб; пили из чужого ведра, не у своего водопоя. Вот простые, физиологические термины нашего культурного положения. Сказав эту очевидную истину, едва ли для кого оспоримую, мы, во-первых, устраняем из «славянского вопроса» все то ненавидение и отчасти человеконенавидение, какое он ошибочно и совершенно не нужно содержал в себе. Какое ненавидение за чужой хлеб! Нас кормили сто лет, двести, а с Византиею и больше. Как же можно быть за это неблагодарными и не поклониться в землю «чужому хлебцу», такому сытенькому, да, признаться, и такому вкусному. И, к тому, нас кормили и не попрекали. Тут не только физическая благодарность, но и моральная, самая горячая, самая искренняя.

Под этим углом зрения в «славянофильство» не входит никакой *вражды* к западной цивилизации, никакого с нею *антагонизма*, никакого в отношении ее *высокомерия* или *презрения*. Это был смертный грех старого славянофильства, притом совершенно искусственный, деланный и, может быть, только от этого не приведший всего «славянского дела» к смерти, хотя его изморивший, доведший это дело до паралича, смерти *подобного*. Все старые славянофилы, все, имена кого мы назвали, даже не исключая и Погодина, зачитывавшегося в молодости, т. е. когда он уже был *славянофилом*, Шиллером, все они были не только образованнейшими людьми своего времени, но и горячо любили и втайне благоговейно чтили западную цивилизацию. Да и как было иначе, когда они ею жили, в ее формах мыслили, ее языком говорили и писали? Хомяков писал как *европейский публицист,* как европейский образованный богослов, нимало не подражая и не походя на Сильвестра, автора «Домостроя», или на Симеона Полоцкого в его силлабических стихотворениях! Ив. Киреевский издаваемый им журнал назвал «Европейцем». Соловьев основательно упрекал Страхова, что в его «Борьбе с Западом» никакой «борьбы» не содержится, ибо она вся, вся эта книжка и вообще вся литературная, философская и критическая деятельность почтенного славянофила, или «якобы славянофила», вращается в типичных европейских понятиях и опирается на требования европейского просвещения, на данные европейской же жизни и философии. На это возразить было нечего. Но Соловьев сказал афоризм, ничего из него не развив; бросил едкий укор, не заметив, что подошел к целому открытию. Само собою разумеется, – «что едим, тем и живы», и от Киреевского и Хомякова до Страхова и Данилевского мы все суть европейцы, и только европейцы, и никакого славянофильства «в натуре» у нас нет и ни в ком не было. Что съели, то и лежит в брюхе; а что лежит в брюхе, – перейдет в кости. Однако эта истина нисколько не отвергает возможности и законности славянофильства как *идеи*, как *программы,* как *борьбы* и *усилий*. «Прежде ели чужой хлеб, в будущем хотим есть свой». Вот и весь разговор. И спор кончен о «возможности» и «желательности». Перенесемся в политику, и мы увидим, до чего это так. Ведь и «социалистического государства» или «социалистического общества» никогда не было, а социализм есть, да и не только есть, а образует могущественную в Европе партию, не чета нашему голому доселе славянофильству. Маркс, Лассаль, Прудон или Бакунин были точь-в-точь такими же «буржуа», как и Шульце-Делич. Да и как же иначе, раз они были в «капиталистическом строе»? Они издавали книги на «капиталистических основаниях», покупали мясо и хлеб сообразно «спросу и предложению» и ничуть не отказывались от денег, например, платимых редакторами газет, и от них не отказывался Прудон, возгласивший и *веровавший*, что «деньги – это вид грабительства». Точно так все было, как у Страхова в «*борьбе* с Западом», которую он поднял, требуя направо и налево от своих противников уважения к тезисам гегелевской философии, признания биологических взглядов Кювье и защищая величие и вечную красоту Гёте. Как же иначе? Как иначе поступить с деньгами, Гёте и философией? Ели – благодарим; но можем и кончить.

Прудон кончил с деньгами *в пол*, создав идейно совершенно новую систему экономических отношений, и в частности денежных, условно-одинаковых, ценностей. Так же точно славянофилы не потому были славянофилами, что они перестали быть европейцами; они *были* европейцами и, главное, никак не могли, не имели сил и ни малейшей возможности перестать быть таковыми, и *только таковыми*, до тех пор, пока в наличности, в наличном пользовании каждого из них была *единственно* европейская, т. е. эллино-латино-германо-кельтическая, цивилизация, при зачаточном состоянии славянских племен, при младенческом их росте, при полной незрелости всего славянского. Но чтобы это исключало возможность и желательность славянского роста, – этого, конечно, не было!

Младенец еще не родился. Следует ли прогнать акушерку? Конечно, надо звать ее, удержать, пригласить и попа, чтобы окрестить новорожденного. Вот и весь «славянский вопрос». И не о чем было спорить Герцену и Белинскому с Константином Аксаковым и Хомяковым.

Имена эти кстати попали под перо. Если, с одной стороны, Киреевский и Хомяков были *всецело* европейцами, и *только* ими, то, с другой стороны, с равным правом можно сказать, что Герцен и Белинский были столь же пламенными *славянофилами* и для торжества идеи этой, для победы всего «славянского дела» сделали, пожалуй, даже больше, чем Константин Аксаков или Киреевский. Чем? Как? Да тем, что они были *русские литераторы*, что они положили на *создание* русской литературы и на выработку *лица* русского писателя, нравственного и идейного лица, нимало не похожего на личность германского или французского писателя и журналиста, больше таланта, больше жара, чем и К. Аксаков, и Ив. Киреевский. Таких, как Киреевский, и у французов много. Мало ли с его усердием читали и увлекались Григорием Турским и провансальской поэзией. А германских исследователей, публицистов и патриотов в том роде, как Константин Аксаков, столько, что хоть пруди ими пруд. Но Белинский один, и *такую, как он, личность* вы не подберете ни при каких усилиях ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии. Таким образом, «личность русского писателя», – как с этим всякий согласится, – Белинский выработал в такой степени, как никто другой. Недаром Тургенев захотел лечь в могилу рядом с ним. Ну а «личность писателя страны» – это такой краеугольный камень в цивилизации, значение коего не увидит только слепой. И выходит, что Белинский трудился для «славянофильской идеи» гораздо больше, чем сами славянофилы. По крайней мере, успешнее и больше сделал.

Так, Петрарка, конечно, был итальянцем, а не римлянином. И возрождал не классическую древность, а входил прекрасным звеном в цепь явлений и фактов, сумма коих именуется «итальянскою литературою» и «итальянскою культурою». Мы называем рядом имена: «Данте, Петрарка, Боккачио»; итальянцы сладко соединяют эти имена, хотя один пел средневековый ад, третий осмеивал и ад, и рай средневековья, а второй воображал, что «все итальянское уже прошло, и настанет завтра все *римское*». Римского не пришло, а итальянского увеличилось.

Так было с Хомяковым и Белинским, и уже теперь произносят иногда, что «сороковые годы *русской образованности* украсились такими именами, как историк Грановский, богослов Хомяков, критик Белинский и публицист Герцен». А ссоры их, – до чего они умерли! До чего неинтересны, *не живы* их темы! А *значение* их живо и сейчас, и даже на расстоянии оно стало больше, чем в то время!

Это как в математике: решенные мелом на доске задачи стираются, а *метод* их, обнаруженный в решениях, остается. Всякий человек в жизни своей решает задачу; но когда жизнь прошла, задача решена удачно или неудачно, то *могила* есть не единственное, что от всего этого осталось. В небе зажглась новая звездочка – бессмертная часть труда человеческого. Она будет вечно светить земле примером своим, мыслью своею, опытом своим, *итогом* своим. Итоги же ценности Белинского и Хомякова уравниваются. И спор, горячий на земле, не продолжается на небе.

Между тем безрассудною и *ненужною* враждою своею к западной цивилизации, упреками ей, укорами ей, *презрением* к ней славянофилы возмутили против себя все благородные, бескорыстные элементы русского общества, которые до очевидности ясно видели, что такое западная цивилизация, до какой степени она превосходит наше «русское *ничто*», как она возвышенна, духовна и плодоносна. Она возмутила Белинского, Герцена, Грановского не умственным возмущением, а нравственным возмущением. «Есть чужой хлеб и плевать в лицо тому, чей хлеб»... Да и действительно, это – свинство, и оно лежит пятном на старом славянофильстве. Но полная истина заключается в том, что это презрение было деланным и наружным, «для дела», «для программы», о которой ошибочно думали, что она невыполнима другими путями иначе, как отталкиванием от европейской цивилизации, презрением к ней. Но *внутри* эти люди горели совершенно таким же энтузиазмом к Европе и ее просвещению, к ее науке и ее искусству, к поэзии ее и гражданственности, как и самые пламенные западники, как Грановский и Белинский. И скажи они прямо внутреннюю истину свою: «Великий этот хлеб, хлеб Европы, – святой, питательный. Только им мы и были сыты, только им мы и были живы. Но Бог велел каждому человеку *самому* трудиться на земле. Отныне мы берем плуг и в поте лица нашего, в поте лица русского будем распахивать наше русское поле», – и вся плеяда западничества протянула бы им руку: «И мы с вами».

Как иногда от небольшой умственной ошибки проистекает много нравственного, житейского зла, сколько свар, сколько злобы…

<IV>

Договорим о славянофильстве.

Пытаясь сделать славянское движение «возрождением», они слили его с археологическими изысканиями и невольно окрасили свою мысль и программу своей партии консерватизмом. Со времени возникновения славяно-

фильства всякий консерватизм на Руси *идейно* стал заимствовать у них все свои аргументы, искать в мировоззрении их опору для себя. Лично и конкретно это выразилось, в 80-х годах XIX века, в отношениях Каткова к И. С. Аксакову и «Московских Ведомостей» к «Руси». Катков не симпатизировал Аксакову и хотел бы обойтись с Россиею и русским обществом круче, чем это вытекало из мягкой натуры Аксакова. Известно, что в ночь смерти И. С. Аксакова, когда разнеслась весть о его кончине, и весть эта была принесена и в кабинет М. Н. Каткова, он вынул из типографской машины убийственную презрением статью против него, которая должна была появиться назавтра. Он все время только «терпел» Аксакова, и лично, и литературно, и терпел довольно нетерпеливо. Но для чего? Почему он сразу и уже давно не вступал в борьбу против него? Да оттого, что это значило бы восстать против всякого *идеального обоснования* консерватизма, которому служил Катков, и вдруг обнаружить, что тут в зерне дела лежит аракчеевщина-клеймихелевщина, а не благочестивые Симеон Полоцкий и поп Сильвестр. Оправдания перед Россией не было бы. Славянофильство, таким образом, сшило удобный, *приветливый* мундир, который охотно начал надевать на себя русский консерватизм; оно сработало духовный панцирь, от которого отскакивали язвительные стрелы прогрессистов и свободолюбцев. Предоставляя Аксакову восхищаться земским собором Московской Руси, Катков и Победоносцев извлекали из этого восхищения ту лучшую себе наживу, что «конституции, значит, не нужно России, – она и невозможна, и вредна *для нас*». «Мы будем жить *самобытными порядками»,* – идеальничал Аксаков, идеальничали Хомяков и Самарин. «Да, да, никаких *европейских порядков* нам не надо», – говорили государственные мужи толстовского пошиба, занося над Россиею немецко-русский «Knep», «кнут». Вас. Ос. Ключевский, на лекциях русской истории в Московском университете, производил русский «кнут» не от какого-то татарского слова, как делали ранее филологи, а от немецкого «Knep». Эта связь славянофильства с консерватизмом и погубила его. Россия до такой степени была отсталою страною, ей так нужно было движение вперед, просвещение, свобода, обеспечение гражданской личности, что решительно всякий консерватизм в *тогдашних условиях* был чистым ядом. Славянофильство, которое вдруг дало в руки консерваторов такое прекрасное оружие, окрасило какою-то мечтою и романтизмом их грубые, бесчеловечные и сухо эгоистические приемы, «мероприятия», всю практику, все вожделения, сделалось *ненавистно* всему русскому обществу, которое стало видеть в нем, и совершенно основательно, злейшего врага русского просвещения, русского освобождения, русской гражданственности. Всего «хорошего русского»...

И между тем *лично* славянофилы все были свободолюбивы. Это слишком хорошо известно. Хомяков, все Аксаковы, Юрий Самарин – это были ее лучшие русские граждане, настоящие «Минины и Пожарские», не хуже, не меньше. Россия, можно сказать, не рождала лучших сынов, чем эти просвещенные, патриотические люди, которые в душе своей, в уме своем соедини-

ли верхушки европейского и русского просвещения. Все это так, все это бесспорно. А в тени этой кроны нежился «Кнер», «кнут». Аксаков, Хомяков, подпекаемые цензурой, которая их кусала за пятки, пытались выкрикнуть против этого кнута что-нибудь, но выходило сипло, глухо, бессильно, фальшиво в тоне. Ведь это была «старорусская основа», процветавшая и в княжеский период русской истории, и в московский. Всегда пороли. И даже Сильвестр в «Домострое», даже этот величайший *идеалист* старорусской жизни, советовал «постегать не очень плеточкой», если жена перечит мужу. Как это «постегать немного плеточкой»? До каких пор, сколько? И не Сильвестр же будет стоять цензором-защитником около «постегиваемых» супруг. Само собою разумеется, что «идеальный» совет Сильвестра, данный в XVII веке и на этот XVII, и (в идее) на все последующие века, для *всей* Руси, на практике развернулся в озверевших мужей, которые учили «благоверных» поленом и чем попало. «И-и, миленький, чем меня не били, только печкой не били». Печку нельзя взять в руки и ударить ею жену, мать и женщину. Ну, а «что можно было взять в руки», видною *подвижною* вещью били их всех и везде. Кроме счастливых исключений.

А в Японии вот их не бьют. Головнин, проживший три года в японском плену, еще до усвоения страною европейской образованности, рассказывает, что *побитая женщина* и *побитый ребенок* – явления неизвестные в Японии.

Славянофильство всегда было бессильно, даже всегда не имело твердого голоса, а какой-то надтреснутый и фальшивый, в двух направлениях: в направлении «старорусского» зверства и молодого русского радикализма, именуемого в то время «нигилизмом». Против первого оно не имело силы оттого, что это было «все-таки *свое, русское*», а против второго потому, что он был *свободолюбив* и *демократичен*, а они были искренними свободолюбцами и народниками. Положение трагическое. Славянофильство всегда было литературно бесцветно и немощно, оттого, что куда бы они ни двинулись, вправо или влево, они вступали в противоречие с которым-нибудь из священнейших своих убеждений. Влево двинутся – это против «народностей», не «исторично»; вправо – это против «свободы» и «просвещения».

Их высмеивали. И действительно, внутри трагическое, их положение было снаружи комичным.

Их ненавидели: они бронировали русский консерватизм.

За ними не следовали: из относительной, но большой тьмы они звали в совершенную темень; из почти рабства они звали в полное рабство.

Это печальное положение и печальная программа ничуть не скрашивались их милым характером. Что кому до него? От этого характера было хорошо их друзьям, их знакомым, их прислуге. Нужно было, чтобы *России, русским* было хорошо, а от малейшего успеха славянофильства им становилось все хуже и хуже. Годы от 1881 до 1894, когда теории Н. Я. Данилевского, изложенные в его «России и Европе», стали почти программою русского правительства, были самыми тяжелыми для народа и общества: это были те годы, когда о голоде, поразившем огромное пространство России, нельзя

было печатно говорить, нельзя было назвать его; позволялось говорить только о «недороде», явление мягкое, говорившее о чем-то «не очень», о чем-то не страшном, не пугающем, когда люди *в XIX веке, в цивилизованном государстве, в Европе, в христианстве умирали оттого, что им нечего есть!*

Даже страшно произнести! А это – *было!* И о таком-то «бывшем», о такой *наличности* нельзя было заговорить вслух! Это в пору торжества идей Данилевского и Аксакова, когда в правительстве стояли лица из их личных друзей и почитателей (Победоносцев – друг Аксакова и Достоевского).

Можно ли представить друзей Салтыкова, Глеба Успенского, Михайловского, которые в годину народного голода заставили бы цензурою молчать о голоде, называя его «только недородом».

И общество ринулось за Салтыковым, за Успенским, за Михайловским... «Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше».

* * *

Славянофилы сделали умственную ошибку, и от этого программа их была гораздо ниже их личности. В чем заключалась эта ошибка?

Нужно было звать Россию к *пробуждению*, а не к *возрождению*. По смерти Лермонтова в черновых его бумагах был найден клочок, на котором было написано: «Россия вся *в будущем*», и эта единственная строчка была обведена кругом, в рамку. Очевидно, поэт об этом думал, очевидно, это не было сболтнувшимся словом. Между тем он написал «Купца Калашникова», лучшую из наших эпических поэм, и он же написал стихотворение:

Люблю отчизну я, но странною любовью,

смысл которого, впрочем, заключается в том, что не бранные успехи России, не ее политическая мощь привлекают поэта, а... этнографические картины, вид деревни с подвыпившими мужичками! Мотив, данный всему Глебу Успенскому, всему Некрасову, всему этнографическо-радикальному движению 60-х и 70-х годов XIX века. Вот как далеко *вперед* заглянул Лермонтов. Он совершенно сливается с этими будущими движениями русской литературы и общественности, которые «заказали путь» к старому, к прежнему, к древнему, которые всем своим смыслом на протяжении десятилетий слились со смыслом обведенной чертою строчки Лермонтова: «Россия вся *в будущем*». Что же это значило в устах поэта, который изваял могучий образ Грозного в «Песне о купце Калашникове», который знал о фигуре Пимена в «Борисе Годунове», читал и зачитывался «Полтавою» и проч.? Что это значило? Да ведь хорошо было *писать стихи* о Грозном, а каково было *с ним жить*? Одно – иллюзия творчества, и совсем другое – действительность! А славянофилы призывали к действительности, они пытались воскресить прошлое в настоящем! Не нужно обманываться поэзией, которая лучшие свои строки и лучшие картины находит в страшном, находит среди ужасного, которое нельзя же возводить в программу! Несравненно описание в «Войне и мире» аустерлицкой битвы. Помните этот конец ее, где русские солдаты, обозы, генералы, адъютанты, уже не разбирая чинов и должностей, столпились на мосту в невыра-

зимой давке, «а ядра, все нагнетая воздух, через равные промежутки времени ложились одно за другим в эту гущу»?..

– Пошел на лед, пошел! Чего забоялся, пошел! – закричали стоявшие в середине, куда падали ядра, крайним.

Спрыгнули на лед. Пошли. Лед проломился.

Хорошо описано, а каково это было пережить, даже минуту-две пережить?

Лермонтов хорошо понимал, что поэтических картин было много в русском прошлом, но это прошлое не было нравственною книгою. *Этнография* – вот все, на чем он остановился уж *с любовью*, *любуясь*.

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы…

И прочее.

Россия – страна великих обещаний и, вместе, очень тяжелых снов. Ну, какие у нас золотые грезы о прошлом? Давит, как кошмар. Это сплошной плач и ужас. Вот только что на днях появилась брошюрка – исследование «по неизданным документам» о суде и «деле» Артемия Волынского, патриота времени Анны Иоанновны. Оказывается, Бирон разгневался на него не потому, что этот кабинет-министр спорил с ним в правительстве по поводу Курляндии и русско-польских отношений, как передают об том учебники, а потому, что, видя немецкое засилие при русском Дворе, Волынский тайно препятствовал браку сына Бирона с принцессою Анною Леопольдовною, что открывало бы потомству Бирона русский путь к царскому престолу. И то, как «препятствовал» этому Волынский? Не более, чем выразив радость принцессе Анне Леопольдовне по поводу того, что из двух предложенных к ее выбору женихов, молодого Бирона и принца Ульриха-Антона, она остановилась на последнем, а при взгляде на первого заплакала. И вот Бирон объявляет Анне Иоанновне, что «при Дворе быть *ему* или Волынскому»… Кровь леденеет при дальнейшем изложении. Как, попав в зубчатые колеса машины полою платья, человек втягивается в нее медленно и смалывается в куски, так погиб несчастный Волынский… Какие-то люди были тогда ужасные: медленные, неуклюжие, неумолимые. Машина… Начальник тайного розыска объявляет кабинет-министру, что императрица велела ему «не приезжать ко Двору». Поняв, что это значит, Волынский поехал во дворец Бирона, но Бирон не вышел к нему, хотя он два часа ожидал его милости. Начался суд… Даже не понятно, о чем, почему? Волынский был обвинен в умысле и словах, обнаруживших, что он, Волынский, желает взойти на всероссийский престол!! Даже не дали труда придумать что-нибудь правдоподобное, вероятное. «Все равно, – хочется кушать». Напрасно Волынский говорил, что никто от него таких слов не слыхал и ничего подобного он в душе не имел: его присудили посадить на кол живьем. «Но по всегдашнему милосердию своему, монархиня, прочтя постановление суда, решила, что такая

смерть слишком люта, и смягчила приговор: виновному, вырезав язык, отрубить правую руку и голову». И вот, описывается, как в Петропавловской крепости ему вырезали язык, и, завязав рот полотенцем, дабы удержать кровь, наполнившую рот, вывезли на Мытнинскую площадь – ту, где мы все столько раз проходим и там теперь играют дети, – взвели его на эшафот и в торжественной обстановке, прочтя приговор, отрубили сперва правую руку и потом голову!

О, как счастливее людей коровы! Даже те, что ведут на убой…

И вот вызывает к себе начальника тайной канцелярии бывший кабинет-министр и просит, чтобы «на нем» (по его смерти) императрица не оставила милостью его сына и двух дочерей, – все в возрасте 15 и 17 лет. Напрасная надежда: уж *эти*-то в чем же были повинны? Их немедленно по его казни вывезли в глухие, отдаленнейшие места Сибири; девочек постригли в монашество в безвестных монастырях, а юношу отдали в солдаты «бессрочно», с тем чтобы служба проходилась им только в том городке Сибири.

Интересно прошлое, в 7 строчек, льстивое уведомление, какое начальник тайной канцелярии послал Бирону после постановления суда: «Завтра утром, в 9 часов, на Мытнинской площади имеет быть произведена экзекуция над бывшим кабинет-министром Артемием Волынским. Вашей светлости всепокорный слуга и раб Андрей Ушаков».

Прочитав, я не мог два дня забыться: все мне мерещился вырезанный язык, наполненный кровью рот и это полотенце… Верно, кровь просачивалась, и были пятна. Люди смотрели. Указ читали…

Дальше, дальше от этого! Боже, только бы забыть! Какими молитвами это замолишь? Какие молитвы *нужны* после этого?! О, как бесстыден кажется после этой *деловой* брошюры летописец Пимен в «Борисе Годунове», который, кончив страницу летописания, говорит о том, что все это и подобное надо читать «с миром и прощением»… Мне кажется, Пушкин, написавший эту знаменитую сцену и слова о «прощении» потомства и безгневном чтении летописцев, приблизился вдруг к Ушакову в его льстивом письме к Бирону. «Вашей светлости всепокорный слуга»… Пушкин только прибавил: «слуга и богомолец». Страшно это сказать про светлого Пушкина, а дело неволит. Живописец М. В. Нестеров, все рисующий «Пименов», сказал мне раз, что «Борис» – любимейшее его произведение в русской литературе, а это место его он не может читать без слез. Как обманчивы иллюзии!

Можно ли забыть Волынского? Никогда! А когда так, – не нужны нам «Пимены».

Они не нужны нам, потому что все мы «сердцем хладные скопцы», как сказал Пушкин же в другом месте. Сказал и забыл…

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Поет ли дева за холмом
……
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Не нужно нам этого! Мы люди и хотим ужасаться и плакать ужасом человеческим и слезами человеческими.

Никакие «Полтавские битвы» не искупят Артемия Волынского, и вообще его ничто не искупит, нельзя его искупить. Бывают единичные преступления, но там патология уродливости или чрезмерный злой нрав *одного*: здесь же мы имеем не случай и не вспышку, не единоличное помешательство. Нет, мы имеем систему, порядок и закон, мы имеем правильный суд, «по всей форме», и имеем судей и зрителей. Кто был зрителями? Вся Россия, и Пушкин… Пушкин и Карамзин. Даже наше время примешалось к «равнодушному зрителю», потому что ведь никому-то, никому не пришло на ум хотя бы поставить на Мытнинской площади памятник-могилу, памятник-эшафот, памятник-крест; ну, что-нибудь и как-нибудь, невинно убиенному и притом за всю Русь, за всех русских убиенному. Ибо он пострадал за русские интересы, за престол русский, к которому подкрадывался выскочка.

И забыли. Только вот нельзя сказать – «и плюнули». Э, все равно… Действительно забыли и прошли мимо и танцуем.

Что же тут трястись над летописями и вздыхать и прочее, – как приглашали славянофилы? Можно только если читать, как делается в годовой церковной службе с Евангелием, выбирая одни «зачала». Вот был Рюрик – слава; победил Димитрий Донской Мамая – слава; охотился Владимир Мономах на туров – поэтично и слава! И Петр, и «сии величественные Иоанны» – ну, конечно, слава, слава до задыхания, до одышки, до хрипоты. Но побегали днем, покричали «ура», легли в постель, закрыли глаза… и приходит Артемий Волынский, с полотенцем на рте, по которому красные пятна.

– Ему язык вырезали! О, что в том, что при Полтаве победили: живому человеку язык вырезали…

И все, от гимназиста до мужика, все, в ком *свежо чувство*, шарахнутся прочь! «О, закройте эти летописи, не надо! Не надо! Бежим!»

Славянофилы слишком переучились. Они были до излишества образованны, знали по три, по четыре иностранных языка, читали все литературы, всякие книги. Образовалась масса пересекающихся впечатлений, где всякое чувство глохло, тускло. Непосредственности в них не было. Народ – непосредственнее. Ему нельзя не быть свежим: он должен сотворить историю. Народ здоров и не пресыщен ученостью, никогда не будет пресыщен. И он не заслушивается родной истории, ни из чего не видно, чтобы заслушивался ею. Спроса ведь на эти книжки нет, и никогда не было: как мало дошло до нас списков летописей! По два, по три экземпляра! То есть их не читали!

Русские дети в школах тоже не увлекаются русской историей… Что поделаешь, – и как тут быть славянофильству?

«Россия вся *в будущем*». Вот это «будущее» любят и гимназисты, и мужики. Сколько о нем мечтаний; кажется, ни у одного народа нет стольких мечтаний, связанных с «будущим», с «возможным», с «должным». К концу XIX века это так нахлынуло, что половина политики русской ушла на «борьбу с мечтательностью».

* * *

Возьмем церковь, ее положение, ее учение, дух. Славянофилы, с точки зрения «возрождения», естественно, должны были обратиться к первоисточнику всего, к Византии. «Возродить Византию после Петербурга или в Петербурге же» – вот краткая формула *всего* в них. Аксаков, когда звал «домой» Россию в 1881 году, то он звал ее не в Москву, как казалось всем и казалось ему самому; Москва – только перепутье, промежуточная станция. Он, конечно, звал в Византию, захватив на перепутье и Москву с собою; туда, где около Влахерны и Феодора Студита сидели другие и уже настоящие «Иоанны и Константины», из которых один, победивши болгар, всем пленным, т. е. взятым в плен частям разбитого войска, приказал выколоть глаза, отобрав только косых и кривоглазых. Этим косым и кривоглазым он повелел вести ослепленных домой, на родину. Вот уж это по-настоящему было «царствовать на страх врагам»…

И, закрыв летопись, опять хочется сказать: «Бежим! Не надо!»

Некуда нам, русским, приткнуться, а есть у нас для «притыкания» одно – это будущее.

При участии и содействии двух братьев Киреевских, Ивана и Петра, в Оптиной пустыне, знаменитой уже в то время, образовалась целая как бы комиссия перевода греческих аскетических писателей на русский язык. Одна за другой начали появляться те книги, которые до настоящего времени составляют «духовное млеко» *всех* наших монастырей, всего монашества. Тогда-то были переведены Иоанн Лествичник и знаменитое «Добротолюбие»… Пока у Чернышева моста в Петербурге в 1902 и 1903 годах не было сказано и *доказано,* что все это – не нужно, вредно, ошибочно, не в светском, а *в религиозном отношении*; не нужна и ошибочна не только Москва, в этой части ее идеалов, но и Византия, которая в религиозном отношении сама походила на тех кривых болгар, которые вели ослепленных ею своих соотечественников. Византия взяла из Евангелия только несколько крупинок, тех печальных строк, которые были сказаны у Распятия и вблизи с Распятием; и пропустила мимо ушей все, что сказано и утверждено в Евангелии же, и сказано больше! Она прошла мимо самого *воплощения* Сына Божия, т. е. того факта, что пришествием Христа на землю *освящалась* и *оправдывалась* вся плоть человеческая, т. е. телесное, физическое, кровное, костное его начало! Византия разорвала Вифлеем на клоки, затоптала это место Евангелия, оставив из него одну Голгофу и указав на эту Голгофу человечеству. И в этом опять она сделала ошибку: ибо Христос взошел на Голгофу не из добровольного желания, не по хотению Своему, не оттого, что природа «божественного» и природа «страдальческого» совпадают, а по необходимости и невольности – ради избавления человечества от греха, проклятия и смерти. Цель достигнута – средство отпадает. Или Византия не верила, что цель достигнута, что человечество избавлено от уз своих, и смерть Спасителя была подлинно *искупительна*? Страшно сказать, но Византия действительно этому не верила, прямо она отвергнула все христианство, все «Христово тело».

Она все Христово поняла тяжело, поняла и истолковала как *новую тяжесть*, возложенную на человечество, на землю, на выю бедных рабов земли. Христос *облегчил* – она отяжелила! Христос *развязал узы* – она вновь надела их! Разве же не «узы» монастырь с его затворами, высокими зубчатыми стенами, с его уставом? И разве не сказал Христос *прямо*: «Я пришел проповедать пленным *освобождение*, заключенным в узы – изведение из них: *лето Господнее и благоприятное*». Вот это-то «лето благоприятное» Византия и затоптала, вырвала его из Евангелия, заместив мраком и печалью. Явно, дело Христово искажено. Оно искажено не «пороками» монашества, не слабостями дурных монахов, как это всегда говорилось и думалось, а самыми его *добродетелями,* высокими в монашестве лицами, духом, идеалами. Как наибольший «воин» есть тот, который победил, т. е. умертвил наибольшее число врагов, так самый совершенный монах – он-то далее всех и отступил от света Христова, погрузив все в ночь и сам нося на себе эту ночную, черную одежду как явное показание тайного существа. Самим им этого не видно, как не может человек увидать своего затылка. Чтение, все правила, вся практика жизни, весь авторитет древних, тысячелетних отцов убеждает их в истине своего подвига; как *такому* не поверить? Поверили бы и все, но слово Божие, как слово света, рассекает эту тьму, повергая в осколки тысячелетнюю храмину Византии, которая и погибла под ударами турок не по порокам императоров, не по слабости войска, но понесла небесную кару за преступления учения своего, духа своего, смысла своего – против небесного света.

Христос облегчил человеков: она отяжелила! И с нею было поступлено, как с евреями, отведенными в вавилонский плен.

Спрашивается, что же тут «возрождать», как можно «возрождать»?

Своею мыслью о «возрождении» славянофилы ставили «точку» всякому *существенному* движению вперед России, допуская только частные поправки, небольшие переделки, – главным образом по части «личной добродетели», что очень согласовалось и с уставом Феодора Студита. Они ставили доску, ставили заслон перед тем «будущим», которое составляло мечту русских людей, – в чем бы это «будущее» ни состояло. Не «такого» или «иного» будущего они не хотели; они не хотели его *всякого;* они хотели прошлого. В этом и была могила славянофильства. Общество перешагнуло через них и пошло дальше.

Но, как мы говорим, сущность славяно*фильства*, как славяно*любия*, не в этом и состоит. Не в археологии, не в возрождении. Она состоит в любви к *славянам* как племени. Любовь же ищет человеку лучшего. Кто любимого облекает в старые одежды, в ветошный наряд? Так поступают с нелюбимым, с безумным или по безумию. Мудрый же одевает дорогого человека в новый роскошный наряд: вот чего ждет славянство от России, о чем нужно подумать России.

Это – прекрасная даль, которая нас манит. Куда нас звал еще Белинский и звали все смертельные враги славянофилов, в то же время сами славяно-

филы. Они только боролись против программы «возрождения» и отстаивали другую программу – «пробуждения».

Это «пробуждение» и есть шитье новой одежды для дорогого существа: для славянских братьев и для нас самих, в которых славяне видят старшего и более сильного, но едва ли более счастливого брата. Грусти много и там и здесь…

<V>

…Два дня я вчитываюсь в то, что было сказано, в Государственной Думе по поводу сметы морского министерства, и в частности тех 12 миллионов, которые испрашивались на постройку четырех новых броненосцев. Каждый скажет: «Два дня, когда газетный лист *пробегается* в час»… Да, но я давно устал и давно перестал «пробегать» печатные страницы, предпочитая этому вовсе не читать их. Конечно, пишется так много, и куда же все это прочесть. Но выпадают дни и попадаются страницы, которые *нужно* прочесть, и уж тогда ползешь по строчкам, ощупывая пульс в каждой из них, вглядываясь, если можно так выразиться, в глаза каждой строчке. Знаете ли вы, что, читая очень внимательно, можно воссоздать для себя звук говорящего голоса, и в неподписанной статье, по этому звуку, можно распознать и автора, если в то же время знаешь его живую, устную речь. До такой степени в *слоге*, в *стиле* переливается полная душа во всей ее живой вибрации.

А тут, в этих прениях, приходилось еще так много обдумать, связать. И два дня протекли в упорной мысли над двумя думскими днями.

Первый раз за три года, как у нас существует парламент, я почувствовал себя *конституционно удовлетворенным*, и, думаю, потому, что два эти дня были, в сущности, *первыми конституционными днями* у нас. Проистекло это не от *впечатления* речей, которое не могло быть особенно сильным, а от *сопоставления* речей, и того результата для всей страны, какой получился от этого сопоставления. Как «речь прокурора» и «речь защитника» ничего особенного не представляют собою, и выше их стоит «присяжный суд», который рассматривает и решает дело, выслушивая обе стороны, так точно *суть* парламентаризма и конституционализма далеко не исчерпывается звоном депутатского зала, не исчерпывается *речами* там, как бы они ни были красноречивы и значительны. Суть парламентаризма «во всей совокупности чего-то», что устанавливается и начинает править страною, исходя из этого зала, из этих комиссий, кабинетов, – «всего», что объединяется названием и фигурою Таврического дворца. Дело не в искрах, а в пересечении их; дело в узоре *взаимно-скрещенных* речей; дело во впечатлении от живых физиономий, из которых одни пришли сюда из толщи народной, другие «явились для дачи разъяснений» из бюрократических верхов. Дело в *итоге* и в *нравственных оттенках* этого итога, которые в некоторых случаях и в некотором положении приобретают такую силу, которой не может сопротивляться никакой каприз, произвол и проч. Этот моральный итог и начинает вправлять страну в рельсы, правильные, твердые, постоянные.

Недостаток нашего парламента заключается в его литературности. Недостаток простительный и слишком объяснимый, ибо Дума и все, с нею связанное, явились плодом, в конце концов, «литературных веяний». Не молчи русская литература целый век о парламенте, – за невозможностью говорить и в то же время при завязанном рте, – не думай она о нем и только о нем, со всею силой маниакальной сосредоточенности, – его бы и не явилось. Просто не пришло бы на ум *именно его дать*, когда пришла трудная и растерянная минута. На прямую сущность *рабочей* забастовки и был бы дан *прямой ответ* в виде нового фабричного законодательства, и проч. Но был дан ответ *косвенный*, от ясного и очевидного для всех положения вещей, что самая забастовка была лишь формою, видом, под которым таился другой мотив, литературно-общественный мотив вековой протяженности. От этого мотива своего Дума получила свое выражение, свою физиономию. Она была чисто литературною физиономиею. От выбора первого председателя первой Думы, этих знаменательных 3 часов пополудни, когда около решетки Таврического дворца вдруг все физиономии расцветились, и из уст в уста передавались слова: «Ну, кого? Муромцева?», «Конечно, Муромцева», – от этого дня и часа все полилось в Таврическом дворце, как лилось десятки лет со страниц «Отечественных Записок», «Русского Богатства», «Вестника Европы», «Дела» и проч. *Нового* по существу ничего не было и – увы! – не было ничего в сущности конституционного и парламентского. Ибо конституция и журнал – это совсем разные вещи!

Дума должна *государствовать*, а не *литераторствовать,* а между тем собранные литераторы и читатели литераторов ничего еще решительно не могли и не умели делать, как *устно* излагать то, что они написали бы, или излагать и перелагать то, что они вычитали. Впечатление получалось шумное, но слабое; дела никакого не получалось. Памятные дни первой и второй Дум, когда говорил свою первую или свою заключительную речь Церетели, или когда поднимался на кафедру Алексинский и начинал точно капать серной кислотой по бюрократии, – все это были, однако, известные страницы *литературы*... Парламентаризма никак не выходило, конституционализма никакого не было. Все было давно известно по *темам*, по *тону* из публицистики Михайловского, Мякотина, Пешехонова, Слонимского, К.К. Арсеньева, из «Освобождения» П. Б. Струве, из статей П. Лаврова, Герцена, Бакунина, Плеханова. Ничего *кроме* этого, ничего переступающего *за грань* этого. Наконец, шумные и скандальные дни, когда встречали военного прокурора Павлова или когда произносил свои угрозы Аладьин, – все это были эпизоды из полемики покойного «Современника». Шум против бюрократии, все это было так старо!

Нужно было *государствовать*, а государствовать не умели и отчасти к этому даже не было вкуса. Вошедшие в первую и вторую Думы люди – или «пролетарии», или интеллигенты – были слишком частными для этого людьми. Государственность представляла для них только предмет полемики; вся их предыдущая жизнь ушла на то, чтобы показать и показывать, как част-

ный человек, частное лицо страдает от государства и государственности. В сущности, это было вековым предметом нашей литературы. Они все были невольно и неудержимо противогосударственники или безгосударственники; были «анархистами» в том благородном и изящном виде, в том тихом виде, в каком был «анархистом» знаменитый Элизе Реклю, первый географ своего времени. Ну, что общего между географиею и анархиею? Называть себя «анархистом» и всю жизнь заниматься географиею, – и значило бы быть только ученым, для которого весь мир представляется в виде вечной иллюзии без войн или где «не надо войны», без полиции или где «не надо полиции», без суда и с отрицанием суда, ибо против кого же злоумыслит такой ученый или на кого он пойдет жаловаться? Вершины умственного и нравственного развития человечества всегда были этою тихою, бескровною анархиею, где соединялись Гёте и Спиноза, Д.-С. Милль и Рикардо, где были наши Станкевич и Грановский. Что им, мирным людям, государство, государственность? «Вредное, несносное, мешающее». Так члены первой и второй Дум, сливки русской умственной жизни за век, смотрели на жесткое правительство, с которым они встретились в думском зале. Полетели стрелы с одной стороны, которые зазвенели о латы, о броню с другой; как впечатлительны были с одной стороны, так *невпечатлительны* с другой! Ну, что прокурору Павлову Герцен или Белинский: он привык читать «дела» и «делопроизводство», читать «дознания» и «свидетельские показания», и до литературы ему просто не было никакого дела.

Одни не имели вкуса государствовать, другие не имели вкуса литераторствовать. И разошлись. Разошлись как масло и вода, которым нельзя быть в одном горшке. Так произошел «роспуск» двух Дум. Кому-то, маслу или воде, надо было выплеснуться из горшка. Выплеснули интеллигенцию.

Интеллигенция пережила мучительные, острые дни. Мука доходила до горла, до слез. Можно было во всем отчаяться. Да и действительно, положение было отчаянное: интеллигенция целый век ждала, требовала (скрытно) «права участвовать в государственных делах». Наконец каким-то чудом с неба право было получено. Вдруг оказалось, что интеллигенция не может государствовать, может только полемизировать, уязвлять, смеяться и проч., и проч. Но ведь это, конечно, не значит «принимать участие в государственных делах».

Тут оказала бесценные услуги «гибкая партия», господствовавшая в 1-й и во 2-й Думе, но там явившаяся с литературными претензиями, с литературными программами и литературною критикою правительства, – и ничего не сделавшая в смысле «государствования», в направлении к «государствованию». Она тогда, и особенно при открытии 2-й Думы и во все время существования ее, приняла на себя бесчисленные плевки на эту свою «гибкость». Достаточно вспомнить выходку Алексинского и жесткую тактику трудовиков. Но «век живи, век терпи». Кто хочет жить, должен уметь терпеть. Подошел момент, когда эта оплеванная «гибкость» спасла, в сущности, дело интеллигенции в ее направлении к «государствованию». Пришла

больная, страдальческая минута. Интеллигенция была выплеснута из горшка «с маслом и водою». Предстояло или умереть, или приспособиться. Все «левее кадетов» гордо отошло в сторону, пошло «куда-то» от государствования. Но «гибкая партия» приспособилась и сползла опять в горшок, из которого вместе с остальными ее также выкинули.

Третья Дума есть патетически направленная против первых двух, т. е. это есть Дума антилитературная. Так она и пошла в Таврический дворец, – с насмешкою к своим предшественницам, с мстительным чувством в отношении начатков их дел. Будущий историк отметит и подчеркнет все эти возгласы с места депутатов, где они перекидывались язвительными прозвищами с левыми скамьями, с остатками литературы в Думе. Все это характерно. Все это важно. Но «гибкая партия» дальновидно предвидела, что «само дело сделает много», т. е. что эти же люди, столь «законопослушные» *в принципе*, когда столкнутся *на практике* с нашей администрацией воочию, с нашими «порядками» или, лучше сказать беспорядком, то во многом *переработаются*. И у зубра не одни копыта, есть и рога. И вошли они в Таврический дворец копытными, а могут выйти и рогатыми. Здесь литература совершенно точно рассчитала, что наш «старый порядок» или «старый беспорядок» вообще есть вещь, не переносимая ни для какого обоняния; что он оскорбителен для всякого *свежего чувства*, в том числе и для свежего, чистого, идейного патриотизма и даже консерватизма. Он просто циничен. Ну, а цинизма никакая душа не переносит.

Когда, в ответ на критику морского министерства, премьер-министр заговорил: «Ведь для всех очевидно, что отрицательное отношение большинства Государственной Думы *не имеет основанием какие-нибудь противогосударственные побуждения*; этим отказом большинство Думы хотело бы дать *толчок морскому ведомству*, хотело бы раз навсегда *положить предел злоупотреблениям*, поставить точку под главой о Цусиме, для того чтобы начать новую главу, страницы которой должны быть страницами *честного, упорного труда*, страницами о воссоздании *морской славы России*», – и за этим последовали возгласы с мест: «Верно!» и аплодисменты, то это было совершенно ново в истории нашего парламентаризма, с одной стороны, и в истории нашей государственности – с другой. Упала капля тех чувств, того взаимного сочувствия и понимания, без которых вообще невозможно никакое *общее дело*, а парламентаризм и конституционализм есть, несомненно, «общее дело», и им только и может быть или его вовсе не будет. Но значение тона этих слов идет дальше: правительство, в лице своего главы, уступило обществу, – ибо палата депутатов есть кристаллизованное, оформленное общество, – в его именно *государствовании*, а не перед его литературными или говорливыми талантами. Последнее случалось и раньше, как в эпоху сербской войны при Александре II, как в самом начале царствования Александра I. Тогда правительство, по тем или иным причинам, *слабело*, переставало само «государствовать», и выпущенный или полувыпущенный руль предоставляло давлению «литературных веяний». Тут именно *слабело* пра-

вительство, но общество ничего не приобретало. Оно оставалось тем же собранием частных лиц, которым на минуту жилось легче. Общество наше благословляет эти исторические минуты, благословляет их довольно наивно, забывая, что развязанный раб есть все-таки раб, потому что *на него есть документ*. Возглас Каткова в 1881 году «Встаньте, господа, – *правительство возвращается*!» был очень точен в том смысле, что в эти эпохи ослабления правительство действительно как бы *уходило,* оставляя общество жить по-своему, но нимало *не принимая в себя общества*, не принимая его в свое *государствование*. От начала и до конца для всякого члена общества, желавшего вступить в *государствование*, было непременным условием: *отречься от общества*. Он отрекался, символом чего была даже внешность: он снимал частное платье и одевался в *мундир*. Мундир – это ливрея государственности; только в нем можно было «служить». Служба и частное платье, свободное платье, гражданское или обывательское были несовместимы. Таким образом, государство и общество у нас не помогали одно другому, не служили друг другу: это были антагонисты, которые только воевали друг с другом. Положение нелепое, явно чудовищное, гибельное для обеих сторон, для всей России гибельное.

П. А. Столыпин получает свое историческое значение не от каких-нибудь умственных преимуществ, а исключительно от преимуществ своего *характера*. В нем нет того, о чем вздыхают русские патриотической складки вот уже 25 лет: «Боже, дай нам ¼ Бисмарка! Дай мужа железного, жестокого, который всех бы надул, и надул в нашу пользу». Таков вздох и мольба С. Ф. Шарапова и «всех, иже с ним», а таких у нас немало. Все эти патриоты похожи на проторговавшихся купцов, которые вечно вздыхают о недостатке хитрости, чему приписывают все свои несчастия. Несчастия России также приписываются ими недостатку в русском правительстве цинизма, алчности, хитрости, свирепости или свирепого эгоизма, – словом, «¼ Бисмарка». В П. А. Столыпине нет не только «¼ Бисмарка», но и никакой его дроби: скорее эта дробь, и большая, была в С. Ю. Витте. И кто помнит, как его встречали и провожали после 17 октября, какой стон стоял в печати от «Витте и Дурново», тот сразу поймет, что, действительно, человек нашего времени, человек, который «удался» бы в наше время, должен стоять как можно дальше не только от «¼ Бисмарка», но и от всей его гигантской, но *безжалостной* и *лукавой* фигуры. Забыли старое, хоть и наивное определение славянофилов, что «русский народ есть *народ этический*». Но в самом деле, русские так много вынесли на своей спине, что *настоящего государственного человека* закала Цезаря, Петра или Бисмарка они решительно не в силах были бы вынести. «Дерет по нервам».

П. А. Столыпин не обнаружил никаких великих государственных способностей; да это и не нужно, не «ко времени». В наше смутное и мутное время гораздо важнее ясность характера, даже не сложность характера, ибо всякая «сложность» невольно запутывает. Невозможно не видеть, что он фигурою своею и всеми своими действиями *уясняет эпоху*. Отсутствие боль-

ших государственных способностей требуется самым нашим временем, основная задача которого лежит в *смешении* государственности и общественности. В возмещение «¼ Бисмарка» П. А. Столыпин, будучи председателем совета министров, носит штатский сюртук; и это очень важно, что из тех немногих портретов его (это тоже важно, что «немногих») он нигде не снят хотя бы с каким-нибудь кантиком около воротника, хотя бы где-нибудь торчащею светлою пуговицею. Этого всем русским ставшего ненавистным вида нет у него, и все чувствуют, что это не подделка, а натура. Мне приходилось слышать от очень близкого к нему человека, знающего его с детства, об одной черте характера ли его, судьбы ли его, которая очень много объясняет в нем. Когда он оканчивал гимназию, то с ним случилась затяжная и тяжелая болезнь: что-то вроде воспаления надкостницы в левой руке. Между тем подходили экзамены, их надо было держать, а вместе с тем лечение болезни потребовало и операции. Ни одного, ни другого нельзя было откладывать, – и он подвергся операции и вместе с тем продолжал держать экзамен. Связи и положение отца его, корпусного командира, позволяли бы выхлопотать отложить экзамен. Но скромный сын не пожелал вводить в хлопоты отца и вообще пользоваться его положением для своих маленьких ученических дел. Однако операция не помогла: воспаление было хроническим. И потом, перейдя в высшее учебное заведение (кажется, Московский университет), он несколько раз еще подвергался операциям, не прерывая занятий. «Таким образом, еще мальчиком он до такой степени закалил себя в терпении и *стойкости*, в исполнении того, что *нужно*, что есть *долг*, каковы бы ни были его личные обстоятельства, что это сделалось его второю натурою. Он всю жизнь проболел, – и боли, запугивание, страх не суть средства отклонить его с избранного пути». Так заключил свою речь говоривший. Я думаю, это многое объясняет. Это объясняет и его памятную фразу, сказанную кому-то из служащих чуть ли не на другой день после взрыва на Аптекарском острове, где едва не погиб он со своей семьей: «Ни одного дня остановки в *либеральных преобразованиях* не будет». Это похоже на «держать экзамен» после операции. Просто это была натура. И когда это не фраза, – а значит, это была не фраза, – это прекрасно.

Ясным и твердым своим характером, характером в то же время не жестким, не оскорбляющим, он стал среди мутных волн времени, – и все эти волны стали осаживать из себя муть, очищаться, становиться более прозрачными. Вот и все, что он сделал, – главное, что нужно было сделать. Несмотря на чрезвычайную жесткость и даже жестокость некоторых черт нашего времени, никто не решится приписать ему лично происхождение и в особенности длительность этих черт. Будущий историк разберется в подробностях, но общее мнение всего общества не обвиняет его в жестоком. Всеобщее мнение, наконец, утвердило за ним штатский сюртук в сонме мундиров. Повторяем, только будущий историк сумеет разобраться во всех мелочах нашего времени, но общество инстинктивно чувствует, да и имеет право чувствовать, это по речам его в Государственной Думе, что все же ее главным хранителем «наверху» является он. А для всякого понятно, что это есть

главная задача времени, за выполнение которой история с избытком простит ему недостаток «¼ Бисмарка». Последнее просто теперь не нужно. Задача России – сохраниться, а не расшириться.

Третья Дума патриотична и консервативна. Может быть, это и немного, но это много значит для того, чтобы спустить в море первую и самую тяжелую гущу грязи, которою оброс наш «старый порядок». Известно, что процесс очищения Авгиевых конюшен – один из подвигов Геркулеса – заключался в двух приемах: сперва он разломал одну стену конюшни, и уже затем провел сюда поток смывающей воды. «Провести поток смывающей воды» могут лучше космополиты и либералы, но чтобы «сломать стену», для этого удобнее быть консерваторами и патриотами. Как П. А. Столыпин оговорился, – их никто не сможет обвинить в противогосударственности. То есть из этого обвинения нельзя сделать *повода* для отказа, для сопротивления. Когда очищающей, реорганизующей, ломающей работы требуют консерваторы и патриоты, тогда перед требованием этим неодолимо склоняется все: оно по силе действия равняется чему-то подобному «всеобщей политической забастовке», ибо присоединение сюда голосов космополитствующих и либералов уже разумеется само собою. Кто же против? 10–15 чиновников, какие верховодят «ведомством» и уже заранее обернуты в бумажку с надписью: «Это люди, не любящие своего отечества», «Это люди, не берегущие России».

В таком положении и очутились представители морского ведомства 23 и 24 мая, – ведомства, поставленного особо и независимо, так как глава его не входит в состав кабинета и, следовательно, не имеет прямой связи с Государственной Думой и, уж тем более, прямой перед нею ответственности. И вот, пред лицом представителей народа и всей образованной, всей читающей России, наконец, всей читающей Европы, вышел товарищ министра адмирал Бострем и с видом гимназиста 1-го класса заявил, что, конечно, выдать военные секреты иностранцам нельзя частному человеку или чиновнику военного и морского министерств, так как это есть государственная измена, наказываемая пожизненною каторгой, если не виселицею, но когда это делается, во-первых, не тайно, а открыто, не частным, а официальным путем и с ведома и по распоряжению министра, то каким же образом министр-то может быть ответствен, наказан или виновен?! Все это он прочел по бумажке, составленной от лица министерства, т. е. как взгляд министерства, и бесспорно прочитанной и одобренной министром адмиралом Диковым. В газетах было передано («Нов. Вр.» № 11566), что в кулуарах бывший министр, адмирал Бирилев, при котором все это произошло, тоже очень горячился и недоумевал, что тут незаконного? Тем более что секреты были переданы заводу Виккерса не в военное, а в мирное время, а в статьях закона говорится о военном времени. Таким образом, два подряд морских министра, призванных реорганизовать и поставить на ноги флот, – оба выразили непонимание, какой произойдет вред для России в случае войны, если неприятельские корабли будут иметь ту непробиваемую палубную броню, не портящиеся от выстрелов пушки и снаряды с несрывающимися в

дуле поясами, какие придумали русские ученые и которые составляли тайное, никому ранее неизвестное преимущество нашего флота? Может ли перевести Горация ученик, не знакомый с латинским алфавитом? Если два министра не понимали даже того, что понятно каждому юнге во флоте, понятно каждому кадету морского корпуса, то, спрашивается, что вообще они могли понимать и могут понимать? Ничего. Картина бюрократии нашей развернулась так широко и так разительно, она развернулась перед таким неисчислимым множеством зрителей, перед всей Европой, перед всем светом, что ничего подобного, конечно, никогда не бывало во всемирной истории. Можно представить себе мудрого министра финансов, который, принимая во внимание, что, конечно, выделка частным способом кредитных бумажек наказуется Сибирью, но выделка их казенным способом есть официально установленная вещь, взял бы да и начал печатать кредитки у себя в спальне, но на казенной машинке, сам он и все его домочадцы, непрерывно, *по его, министра, разрешению*... Ведь «разрешение министра» это и есть законная санкция. И какая же «подделка ассигнаций», если их не «подделывает», а просто «выделывает» сам министр?

Со всех сторон развели руками. Два министра этого не понимают. Ну, как же нам с такими «понимающими» министрами было выиграть японскую войну? Нельзя, как нельзя перевести Горация, не зная латинского алфавита. Вся история России за XIX век осветилась. Как и можно было предполагать, мы имели дело не столько со «злоупотреблениями» или со «злоупотреблениями» *во-вторых*; а *во-первых,* мы имели дело с таким младенческим «непониманием», что, можно сказать, Россию только Бог сберег, а не люди берегли.

Высококонституционным моментом и было противопоставление этого младенчества с тою зрелостью ума, о которой председатель совета министров выразился как о «беспощадной логике» блестящих речей целого ряда ораторов. Тут слово «блестящий» хотелось бы убрать. Ну, какой особый «блеск» был хотя бы в речи А. И. Гучкова? Была просто серьезность и одушевление высоким чувством к отечеству. А о чувстве этом бюрократы и верившие бюрократам всегда полагали, что оно присуще только им, а «штатские» его не имеют. Но важно, что премьер-министр упомянул «о целом ряде ораторов». Действительно, кроме Челышева, приписавшего расстройство флота чарке водки, выдаваемой матросам, никто не спустился на уровень понимания или, лучше, непонимания адмирала Бострема. Челышев не стал с ним плечом к плечу. «Вот так полководец!» – закричали с мест владельцу саратовских бань. Но над ним не поднимались, как «полководцы», и устроители морского ведомства, наивно передавшие иностранцам военно-технические секреты русских кораблей и пушек. В эти два дня для всех стало очевидно, что, кроме курьезных исключений, весь уровень, целый уровень народного представительства неизмеримо умственно развитее, чем уровень бюрократии, и даже, в худшем случае, – не менее его патриотично и *государственно* настроен. В сущности, это и есть *весь мотив* конституции и парламента. Еще 15 лет назад Победоносцев громко (в «Московском сбор-

нике») назвал конституцию «великою ложью века сего», уверил, что она подводит к рулю государственному невежд, верхоглядов, прощелыг, людей без знания и доброй нравственности. Этими уверениями в памятном заседании министров, собранных под председательством только что восшедшего тогда на престол Императора Александра III, ничуть не предубежденного *в то время* против конституции, он подействовал и на него. На всю жизнь он внушил Государю предубеждение против этого способа правления как *гнилого*, морально *негодного* и государственно *ненужного*. Россия склонилась под этим решением. Что было больше делать? Где были доказательства противного, и откуда их взять, когда не было самой конституции?

Но 23 и 24 мая был на это обвинение дан ответ. Не в сонмах бюрократии, а в темных рядах скромно одетых обывателей лежит и настоящий здравый смысл и горит высокое и бескорыстное одушевление к чести и пользам отечества.

Вот и все, что требовалось доказать. Задача была проста, и для многих решение ее не представляло вопроса. Но не было убедительности *для всех*. Нужно было, чтобы что-нибудь дало возможность убедиться *всем*, и чтобы спор был долее невозможен. Бог, пекущийся о русской земле, собрал в эти два дня такие разительные доказательства, Он заставил произнестись таким необычайным, почти чудесным суждениям («предательство интересов страны, когда его делает министр, невинно»), что чашка весов, на которую положена была «конституция», твердо пошла книзу, как хорошая, ценная тяжесть, а та чашка, на которую положены имена: «бюрократия», «личное усмотрение», «безответственный произвол», вскинулась вверх как пустая, никакой ценности не несущая на себе чаша.

И вот почему мне хочется назвать эти дни первыми конституционными днями, днями конституционного оправдания. Это было Ватерлоо бюрократизма, или, по-нашему и лучше, – ее Цусима. В эти дни Дума *государствовала*.

<VI>

Настали трудные дни для нашей учащейся молодежи, настали трудные дни для русских семей. Мне пишет один из русских священников: «Последний циркуляр министра народного просвещения о недопущении в университеты семинаристов, окончивших полный курс семинарии, без предварительного экзамена по математике и физике, является крупным и очень чувствительным для нас, попов, ударом. Что же, наши поповские дети уже и в люди никуда не годятся? И при чем тут физика и математика, если, положим, человек собирается поступить на филологический, юридический или медицинский факультет? Существует у нас законодательная Дума, но вне думского рассмотрения министры издают у нас самовольно разные законы».

Привожу, не меняя слов, отрывок из частного письма одного из самых уважаемых в России священников, человека просвещенного, широкой и пос-

ледовательной мысли. В письме, конечно, есть неточность, но приходится даже порадоваться ей, так как она открывает возможность некоего печатного «запроса». Министерство народного просвещения могло бы ответить священнику и, может быть, отцу взрослых сыновей, что оно «никакого закона не издало», а лишь «потребовало циркуляром» того-то и того-то. Но для обывателя очень мало утешения в том, что бумага, в которой требование изложено, называется «циркуляром». Хотя кажется несомненным, если бы это самое требование прошло через Государственную Думу, то оно и называлось бы «законом». Таким образом, возможный ответ министерства отцу и священнику был бы следующий: «Мы не проводим через *законодательные учреждения* нового правила. Как же вы их называете *законом*? И указываете, что мы его не могли провести без Думы. Могли *именно потому,* что не проводили через Думу, и, следовательно, это не закон, а просто *мы так хотим*». Не умею ничего на это ответить. Такая трудная филология. В самом деле, «закон» или не «закон»? Раз он не прошел в формальном порядке всякого законодательного акта, то явно, что это не «закон». Но, с другой стороны, его содержание, вводящее что-то новое, распространяется на всю империю, и это есть типичный закон, закон в более строгом и точном смысле, нежели, напр., ассигнование 1 или 1½ тысячи рублей на открытие дополнительного класса в таком-то училище, каковые «законы» во множестве внесены тем же министерством в Государственную Думу. Перемена в *единичной* школе, – перемена, не *нарушающая форм* государственных актов в подобных же случаях, – это, казалось бы, совершенно можно предоставить на благоусмотрение самого министерства и вообще всех министерств, как не задевающее *сути* управления страною, духа управления ею; напротив, всякий акт власти, *распространяющийся на всю империю и вводящий что-нибудь новое,* – это, кажется, и есть суть закона и законодательства и не должно бы проходить без санкции Думы. Но это обывательская точка зрения, точка зрения обыкновенного здравого смысла, которому все равно, «законом» или «правилом» именуется новая трудность для обывателя. А может быть, на юридических факультетах учат об этом иначе? Не знаю. Во всяком случае, Думе следовало бы остановиться на мысли, что такое «закон» и *не* «закон», и какие иногда важные вещи могут быть введены циркуляром или проведены, минуя Думу, в циркуляре.

Обращаясь к существу дела, нельзя не обратить внимания на следующее. Министерство народного просвещения, если бы оно было повнимательнее, знало бы очень хорошо, что *в гимназиях* поповский сын, учащийся худо, – почти неизвестное явление, а между студентами университета никто не отличается такою усидчивостью в занятиях, такою деловитостью и начитанностью, как поступившие в университет из семинарий. Это явление тянется уже много лет, много десятилетий, и удивительно, каким образом то, о чем все знают, остается неизвестным только министерству народного просвещения, хотя это ближе всего его касается. Нужно удивляться тому огромному числу серьезных медиков, серьезных чиновников, серьезных филоло-

гов и историков, какое дано России духовным сословием. Стоит вспомнить красу русской истории, русской исторической кафедры в университете – В. О. Ключевского, чтобы сразу постигнуть всю легковесность и необдуманность новейшего министерского циркуляра. Для нас, слушателей Московского университета в 80-х годах прошлого века, семинарская фигура и семинарская речь Ключевского куда больше говорили, куда обаятельнее действовали на нас, чем высокая и сухая, какая-то не сгибающаяся фигура одного профессора-классика, с немецкою фамилией, который ухитрился нам читать знаменитую речь Демосфена «О венке», останавливаясь исключительно только на одних аористах у великого оратора, и это показалось всем до такой степени неинтересным и исторически не нужным, что мы решительно не в силах были его слушать долее пяти лекций и затем, как по уговору, перестали посещать его лекции. Кажется, этот бездарный профессор пошел потом далеко по службе и, может быть, тоже теперь сочиняет какие-нибудь циркуляры... Не могу еще забыть его защиты докторской или магистерской диссертации; взобравшись своей несгибающейся фигурой на эстраду – обычное место диссертантов, – он на все вопросы Ф. Е. Корша и Фортунатова стоял молча и ничего не отвечал. Даже странно было и немного смешно. Бедняге, однако, дали «магистришка» или «докторишка», так как этого нельзя назвать больше и лучше при таком конфузе. Мне кажется, помня тогдашнюю свою экзаменационную муку, он сам уже на всю жизнь, как педагог, сделался снисходителен к экзаменующимся. Так бы ожидалось естественно. Но тупость человеческая бывает иногда невероятна, и, кто знает, этот жалкий магистрант не сделался ли потом экзаменационной грозой?

Строгости учения пошли повсюду. И, как правильно было отмечено где-то в печати, они пошли *именно теперь* не вовремя. Именно последний год учебные занятия пошли везде превосходно. Молодежь, по естественной реакции учебной «разрухи», которая пронеслась над Россией и держала школу года три под собою, воспрянула духом и взялась за книгу с прилежанием, дотоле невиданным. Об этом слухи отовсюду шли. Следовало предоставить этому выпрямлению школы встать в полный рост, не нудя его, не подхлестывая его. Но у нас нигде и ни в каких областях нет мудрых садовников, которые умели бы *помогать* росту, *поливать* всходы. Нам не нравится все, что растет само собою... Как «само собою»? «Само собою, без *нас*»? И сколько раз мудрое начальство, выполов всходы, начинало насаждать то самое, что выпололо, но уже насаждать мертвыми корнями, командуя: «Всходи! Расти!»

В итоге, однако, надо дать совет: приноровиться, напрячься. Как ни несправедливо и ни нелепо стеснение, которому подвергнуты семинаристы, они должны наддать труда, преодолеть новые трудности и в случаях, когда не имеют призвания к священническому служению, идти в университет, сдав «дополнительную» скуку.

Учебных новостей вообще много. В прошлом году высшие женские курсы в Петербурге, в лице директора Фаусека и остальных членов правления,

подверглись в печати резким укорам за то, что постановили «правило», тоже никем не санкционированное и пришедшее «автономно» им в голову, – никого не принимать на курсы, кроме медалисток гимназий и шифристок институтов, а бедных епархиалок, т. е. тоже поповских дочек, вовсе и ни в каких случаях не принимать, как бы они ни кончили курс и каковы бы ни были сами по способностям и рвению к занятиям! Правило вздорное, одно из тех мертвых правил формального характера, по которому Ломоносову, крестьянскому любознательному парню, никогда бы не поступить в московское Заиконоспасское училище, и Россия не имела бы в помощь себе его труда и гения. Право, ради двух фигур Ломоносова и Белинского, не справившихся с учебными формальностями, у нас следовало бы при всех университетах и курсах учредить хоть два «жребия» их имени, по которым принимали бы туда раз в году и одно лицо, вне всяких форм, с очевидными признаками даровитости и по засвидетельствовании особых усилий попасть в университет. Эти признаки всегда может проверить коллегия профессоров или может определить их ректор, как это смог сделать Феофан Прокопович относительно Ломоносова. «И хотя бы все стали гнать тебя из училища, – *я* твой защитник», – сказал проницательный архиепископ холмогорскому парню. Времена были самоуправные, и на этот раз самоуправство помогло и спасло гения. Г. Фаусек и правление высших женских курсов приняли во внимание критику, и в нынешнем году в правилах о приеме на курсы включены и епархиалки, и гимназистки без медали и шифра. Прием будет совершаться по конкурсу, но это уже нормальное требование, которое преодолеют таланты.

Занимаются, в самом деле, теперь так, как лет 20–30 назад, в пору толстовских строгостей, об этом и понятия не имели. Между прочим, интенсивности занятий и глубокой *сознательности* в них много способствовали *конкурсные* испытания, по которым принимаются в слушатели всех высших специальных заведений, – а их очень много, – и вот эти *дополнительные* испытания, какие требуются для семинаристов, реалистов и для девушек при поступлении на все виды курсов и в женский медицинский институт. Те и другие испытания сбросили *шаблон,* как нечто недостаточное и беспомощное; сбросили «троечку», «удовлетворительно», на каковых отметках экзаменатора мы все, бывало, ехали, как на всероссийской кляче. Теперь «хорошо», «четыре» уже вызывает слезы у девиц и растерянность; годится только «пять», «отлично». Но чтобы в испытательной комиссии, перед совершенно новыми экзаменаторами, а не перед 8-летним «старым», «*своим* учителем» получить это «пять» и даже «четыре», нужно действительно отлично знать и *понимать* предмет. «Знать и понимать *предмет*» – это вовсе не то, что вытащить «счастливый билет» старых времен… На этих «счастливых билетах» основывались иногда отличные пометки об «окончании курса гимназии» такими лицами, которые о данном предмете имели самое спутанное, сбивчивое представление, об *основаниях* предмета, о *связи частей* в нем – никакого представления, никакого понятия. Таков был

старый, казенный шаблон. Теперь все переменилось. На «счастливый билет» рассчитывать невозможно, и к экзаменационному столу можно выйти, зная только весь предмет, и зная его знанием твердым, уверенным. Вся психика подготовления глубоко изменилась. Незаметно возникли, кажется, еще не отмеченные печатью и, конечно, нигде не зарегистрированные *подготовительные* училища и *подготовители-учителя* отдельных предметов, берущие по рублю, по два в час, берущие их с бедноты… Можно сравнить то вялое, пассивное, «неохочее» сидение на уроках гимназистов и гимназисток да большею частью и студентов на лекциях, с этим рвущимся вниманием, с выпрашивающею любознательностью, с какою молодые люди и девушки 22–23 лет сидят за этими подготовительными уроками «за свой кровный рубль». Тут каждый урок должен «заработать свой рубль-два». Такими подготовителями-учителями и членами-основателями коллективных подготовительных курсов становятся только мастера своего дела и в смысле знания, и в смысле педагогического таланта, навыка. Опять – они не имеют ничего общего с вялыми, сонными гимназическими учителями, «дослуживающими до пенсии». Вся работа здесь другая. Она другая и сверху, и снизу. Предмет изучается, знания ученика, подготовка его к «конкурсному испытанию» рассматриваются «так и этак, и на свет», как худая шинель Акакия Акакиевича, которую портной взялся починить. Это не есть тот рассмотр «по счастливому билету», какой производился на былых «испытаниях зрелости», которые на самом деле были «сплавом недоброкачественной зелени», и каковой экзамен проводится вообще в казенных гимназиях.

* * *

Мне этот год случилось видеть близко или, точнее, слушать через стенку такие подготовления и к переходным, и к конкурсным экзаменам. Из переходных я слушал подготовление по римской и греческой истории на женских курсах. Нужно было знать не только лекции, но и «проштудировать» вспомогательные пособия, указанные в году профессорами. Последние – все переводные с немецкого. До чего это грустно, что мы, русские, не заготовили своих книжек даже того немудреного содержания, где содержались бы, как говорится, «шаблоны» наук. Вина этого всецело лежит на профессуре наших 8 университетов. Производительная профессорская работа в России глубоко ничтожна. Профессора все дожидаются, не удастся ли им «открыть Америки», и так как «Америка» не приходит, – всего была, матушка, одна, да и ту открыли, – то наши чопорные ученые и сложили на животики ручки, изредка просматривая и «одобряя» коллективные студенческие переводы, какие им приносятся благоговейными слушателями, переводы обыкновенно весьма плохие и иногда невозможные. У нас нет *изложений науки* без «открытий» и «новых взглядов», а того, что *общеустановлено.* До такой степени нет этого, что, для того чтобы узнать *обстоятельно* ход Пелопоннесской войны, нужно отыскивать старый перевод Вебера, сделанный Чернышевским в ссылке, а чтобы прочесть что-нибудь о скульптуре у греков, о

трагедии у них же, нужно ходить в публичную библиотеку и рыться в трудах Любкера или Куглера, старых солдатенковских изданий и т. п. И вот я слушаю с затаенным удовольствием, как девушка лет 23, сопровождает восклицательным удивлением чтение знаменитой анкирской надписи: она оценила дух, краткость, скромность и достоинство латинской прозы. Надпись эту, где Август-старец делает обзор своего правления, открыл Моммзен на камне в окрестностях древнего разрушенного города Анкиры, в Малой Азии. Август так скромен в ней, как если бы это писал частный человек о своем участии в общих делах отечества, – участии если и с руководительным значением, то лишь насколько то было угодно сенату и римскому народу. Все было скромно; а какая сила таилась под этою скромностью!

Между другими «заданными» темами слушаю я о римских *муниципиях* и думаю: как худо мы устроились с *нашими* русскими «муниципиями»! До чего уроки истории, обязанные быть известными ученицам в 24 года, как будто никогда не были известны нашим государственным мужам в 64 и в 54 года! Чтобы читатель понял смуту, поднявшуюся у меня в уме, я объясню ему, что «муниципиями» назывались покоренные римлянами или вошедшие в союз с Римом и затем в подданство Риму страны Галлии и Германии – теперешней Франции, Австрии, Баварии и других земель по Рейну, Дунаю и Эльбе. Все эти страны они устроили на так называемом «муниципальном праве», из которого, по одной из гипотез историков, и развился весь средневековый строй феодализма, с его «феодами» – обширными владениями частных лиц, с «городскими общинами», или «коммунами», одною из каковых был Париж, римская «Лютеция», и которые, конечно, ничего общего не имели с коммунами современных коммунистов; наконец, с «вольными городами», как Гамбург, Бремен, Любек и другие члены ганзейского союза. Развился из «римских муниципий» целый мир феодализма, разнообразный, сложный и, кажется, довольно красивый. Римская образованность ни на кого не налегала, никому не навязывала себя, но в 500 лет римского владычества она просочилась всюду, просочилась сама собою, так что древнейшие германские «правды», аналогичные «Русской правде» Ярослава Мудрого, все были уже написаны на латинском языке, со вставками в него германских терминов и отдельных слов. Таковы были все «Leges barbarorum», «Правды» или «Законы варваров», между которыми известнейшая – Lex Salica, «Салический закон» франков и Древней Франции. «Варварский» мир переработался в средневековый, уже далеко не варварский, имея перед глазами своими «вечный Рим» с его законами, учреждениями, организацией и письменностью. Рим действовал на него простотою и ясностью учреждений, действовал утилитарно и практически; не мог не действовать изяществом быта и впечатлением великих поэтов. Во всяком случае, во взаимных отношениях метрополии к завоеванным странам мы не наблюдаем муки и злобы, не видим презрения с верхней стороны и злобы – с нижней… Римлянам не приходило и на ум школьно и всячески распространять «латинскую словесность» на Дунае и Рейне или вводить «культ Юпитера Капитолийского»

в той же Лютеции или в древнем Кёльне, «Colonia» (Рима). Принимали – хорошо, не принимали – римляне не печалились. Не то чтобы по внешности, но и *внутри* у римлян не было никакой тоски о том, почему от Эбро до Дуная люди не говорят языком Горация и Виргилия, отчего не пишут латинским алфавитом своих вывесок над тавернами и почитают других богов, другими обрядами, чем какими римляне Марса, Меркурия и Весту. Рим был в высшей степени универсален, всеобъемлющ; но как-то у него это выходило «само собою», почти наивно, как наивны все великие подземные силы. И весь мир, не только европейский, но и азиатский, «романизовался» без слез, зубовного скрежета и проклятий.

Этого не было. Была благодарность. И имя «вечный Рим», «Roma aeterna» осталось словесным памятником тех высоких чувств, святых ощущений, с какими народы Востока и Запада смотрели на это железное могущество. В нем не было ни слащавости, ни сентиментальности. Ни в «братцы», ни в «братчики» они никому не навязывались. Управление было деловое, утилитарное. Каждая муниципия содержала себя, без приплат от Рима; собирала сама подати и часть их отправляла, итоговою суммою, в Рим – это за охрану, за стоявшее везде римское войско. Это войско, эта охрана только и связывала «муниципии» с Римом; в прочем они были свободны и самостоятельны, даже чеканили везде свою монету, только с портретом римского императора, и совершенно самостоятельно устраивали свое управление. Рим не вникал в обиход муниципальной жизни; просто этого в голову ему не приходило. Все было здраво, ясно, широко, везде свобода и зависимость сплелись пропорционально, не затягивая никого в мертвую петлю, не душа нигде быт, язык, нравы улицы и домашнюю жизнь.

Как это не похоже на теперешние времена! Как сейчас особенно напоминают об этом печальные, содрогающие известия, идущие с Кавказа! Грузия, изнеможенная борьбою с мусульманскою Турцией, особенно с диким, разбойничьим племенем курдов, отдалась во власть и защиту России. Единоверная нам Грузия, где св. Нина за триста лет до нашего Владимира святого проповедала христианство с крестом, сплетенным из виноградных лоз. Как это трогательно, как древне, старо! Грузины, красивейший народ на земном шаре, – кроткое племя, без торговых инстинктов, как у армян, и в вечном соперничестве с этими армянами. В соперничестве с ними, мелком, преимущественно денежном и торгово-промышленном, они искали всегда поддержки у русских и вообще жались к русским. Политически это было глубоко бессильное племя, а культурно это было глубоко привлекательное племя. Они с любовью начали изучать русских поэтов и многое уже перевели на свой грузинский язык. Все слагалось, все цвета складывались в самую красивую, мягкую, не злобную картину вечного мирного содружества русских и грузин, русского могущественного государства и нашей грузинской «муниципии».

Но «quod licet Jovi, non licet bovi», – что «идет» Юпитеру, не «удается» быку.

Поднялись мелочные вопросы, которые и *сути*-то в себе никакой не имеют.

Зачем, например, грузинские иконы пишутся не теми «русыми» и «белокурыми» красками, как пишет их светлорусая Москва? Там иконы все «брюнетные», все святые черноволосые и чернобородые. Правда, ведь *древнейшие* святые все были южанами, и, вероятно, были действительно темнокожие и черноволосые. В Петербурге, в греческой церкви, все святые на иконах имеют этот темный и черный пошиб. «Местный оттенок», в который никогда не вмешался бы римлянин. Но он мировым глазом глядел на мир. У петербургского чиновничества глаз узенький, чухонский, и мировой свет не проникает в узкий разрез его век. Мне привелось слышать последние годы, в объяснение желания грузин иметь у себя «аутокефальную церковь», не зависимую от петербургского Синода, что русские давно уже настаивают на водворении везде в грузинской иконописи великорусских пошибов. Есть также оттенки, напр., в украшении глав венцами, вероятно, применительно к форме древнегрузинских царских венцов, как *мы* тоже все примешивали к своим. Есть у нас *старообрядчество*. Не оно в полноте своей, но *тенденции* его проявились и у грузин, имеющих у себя церковь с VII века. Каждому мила своя старина, безотчетно, наивно. Им – удвоенно, ибо только в церковной старине они еще видят след былой и страдальческой своей истории.

И вот стали приходить из Грузии сперва «неприятные» известия, затем тревожные, пока не принеслась ужасная весть, которая потрясла всю Россию и которая не может не повлиять самым ужасным образом на всю будущую судьбу Грузии. Экзарх Никон, человек справедливый и прямой, человек лично достойный, погиб жертвою на алтаре, который вовсе не требовал себе кровавых жертв. Его прямота и личные качества уже ничего не могли поправить в раздражении, возникшем на почве *национальной* вражды там, где ей не было никакого места по разности и дальности населения, по их единоверию, по грузинской бесполитичности.

Поистине, «благословенный» был край; но человек его разблагословил.

<VII>

Да, Государственная Дума теперь совсем иная, нежели при первых и особенно при вторых выборах. Она иная и в составе депутатов, и даже в посетителях-слушателях, которые тоже обозначают немалое, именно – тот слой населения, который главным образом интересуется и следит за прениями. Разница трех Дум менее заметна днем, в силу вечно тусклого петербургского света, при котором подробности и мелкие черточки лиц и костюмов скрадываются; но она совершенно ярка на вечерних заседаниях, когда электрический свет фасонирует каждую мелочь. Когда 6 июня, в 10 часов вечера, я вошел в «ложу председателя совета министров», в публике именуемую просто «столыпинскою ложею», – это не та, где он сидит, а просто это левые верхние хоры, Бог весть почему носящие свое торжественное имя, – я уви-

дел, что вошел в какой-то большой парадный дом, очень добрый, очень мягкий, куда, в силу этой его мягкости, пропущено несколько батюшек и даже, кажется, впущен кто-то из простонародья. Я говорю о впечатлении из депутатского зала. Но и кругом это гостиная, а не сарай. Никто не толкает вас локтями, не нагибается над спиной вашей, так что приходится наклонить голову, никто вам не наступает на ноги и говорит: «Извините». Все это – на правых хорах, в первой и особенно второй Думе, среди студенческих тужурок, очевидных курсисток и косовороток подмастерьев, кое-где разреженных меланхолическим сюртуком отставного чиновника. Так было, но не так есть. Теперь все учтиво, чуть-чуть даже утонченно. Этот господин с красивою проседью так изящно стоит, и *врожденно* изящно, что можно фотографировать. Где-то как будто я его видел, – в кабинете директора департамента, говорившего по-товарищески с директором, или в ложе итальянской оперы, или, может быть, я видел не его, а его младшего брата, так на него похожего, на лаун-теннисе. Впечатление – что-то среднее между этими местами. И эти дамы, не молоденькие, как всегда бывало в первой и второй Думе, а спокойного замужнего возраста, со склонением к пожилым годам, – как все это ново, до чего это все – другое. Двойные лорнеты у глаз, воздушные летние костюмы, глубокое спокойствие поз и внимания, – самое внимание теперь умственное, а не сердечное, не волнующееся, – да, это совсем, совсем не то.

Я стал слушать. И в первый и единственный раз был удовлетворен.

– Кто говорит, – извините за беспокойство?

– Анреп.

Как хорошо. Вот что *нужно* для Государственной Думы, которая убеждает и убеждается, которая рассуждает и размышляет. Как это лучше и *нужнее* раскатистых громов Родичева, нервных, бьющих, оскорбляющих, обижающих; лучше язвительной *мелкой* речи Алексинского, растерянной на подробности, лучше стука Аладьина, когда он стучал по головам министров и сановников точно какою-то гладкою и тяжелою, без сучьев и налитой свинцом, короткою своей палкой. Зачем все это, оскорбительное, мучительное? Дума – не битва, а совет. А может быть, однако, и битва?.. Не знаю. Но я унесся впечатлением и был очарован.

Каждое слово слышно. О, какое мучение, напр., просидеть в Думе *четыре* часа и не услышать *ни одного слова.* А это бывало. Оратор жестикулирует на кафедре, видно, в чем-то убеждает, что-то горячее свое говорит, какой-то запас впечатлений, принесенных из провинции, но, как в «живой фотографии», видишь только его фигуру, жесты, и около них какое-то шипенье ли, шелест ли, какой-то сор звуков, кашу бормотанья, глухую, сиплую, *абсолютно* ни для чего не нужную. Иногда оратор стукнет кулаком по кафедре: значит, – горячо! А голоса не слышно. Точно прошипела невзорвавшаяся ракета. Ничего нет: ни совета, ни битвы, ничего, нет самого парламента, который все-таки есть в своем имени и смысле «говорильня». «Говорильня», значит, говори, а он шипит, кряхтит, как потухающий самовар. Ко-

нечно, настоящая *сущность* парламента – в комиссиях, там его душа, и депутатский зал есть только небольшое к ним «прилагательное». Но, все-таки... В депутатском зале уже всходи на кафедру кто может сказать urbi et orbi, городу и стране, не иначе. Год на пятый, на десятый это сознается, и шипящих ораторов не будет. Пока мы переживаем неопытные времена.

Не только внятно каждое слово, т. е. вся мысль, с подлежащими, сказуемыми, но ухо слышит и осязает весь рисунок речи, мельчайшие интонации доброго, мягкого, умного слова общественного деятеля. Я видел г. Анрепа впервые, ничего о нем не знаю и передаю только о впечатлении от речи, которое, естественно, расплылось в представление полного человека. Так всегда бывает, и это невольно в слушателе. Я сказал: «Слушаешь *слово*...» Недостаток всех речей, решительно всех, какие я слышал в Думе, заключается в том, что это были именно «речи», т. е. что-то нарочное, преднамеренное, что не всегда же льется у человека, и вот не можешь представить себе, как же он говорит, разговаривает, беседует и, в особенности, разговаривает *сам с собою*. Без представления этого, без *знания* об этом неясна вся душа человека и неизвестна вся его жизнь. Ну, Родичев говорит. Хорошо говорит. Можно и лучше, но и это хорошо. *Дальше* что же? Что из *этого?* Дальше ничего. Речь есть что-то законченное в себе и *умершее в себе*. Родичев имеет талант произносить отличные речи, но из этого ничего не следует ни для России, ни для меня. Пусть и произносит, а я буду жить или Россия будет жить «как Бог на душу положит». Это не связуемо с *жизнью*, как и вообще ораторский талант есть некоторая и большая ценность в самом себе, но лежащая о бок с действительностью, *возле* нее, ее, наконец, украшающая собою, как и всякое искусство, но на нее не действующая, как рычаг. Поэтому всякая речь хороша только в меру того, насколько она не похожа на речь. Это и было у г. Анрепа: это не «оратор» говорил «с кафедры», хотя такова и была физическая обстановка дела, а просто это вышел седоватый, многоопытный, очень добрый человек сказать, что он думает о вопросе, у всех наболевшем, и думает не столько головой, сколько делом всей жизни, опытом своей жизни. Слову соответствовала и фигура. Думский зал, под колоритом слова, точно преобразился в широко раздвинутую гостиную «у себя дома», где гости расселись по сторонам и впереди, а хозяин, очень разгоряченный, встал, даже встал, и говорит окружающим о всем, что он видел и знает.

А видел он и узнал он множество горячих, отзывчивых русских людей, беззаветно преданных делу просвещения, делу «учебы» во всех ее формах, делу книги тоже во всех ее формах, но которым злой рок сильно и упорно вставлял палки в колеса и все тормозил, ничему не позволял двигаться. Просто «не позволял», и все тут, а органом «непозволения» всегда было министерство народного просвещения. Анреп, бывший попечитель округа, и много сообщал из своих учебных, между прочим, экзаменационных впечатлений. Вот ученик гимназии греко-персидские войны помнит, помнит в *эпизодах* этой войны, а об Отечественной войне 1812 года хотя он тоже слыхал, но знает ее без всяких эпизодов, просто как о *событии*, которое только *было*.

Это – русский мальчик в России. «Хорошо ли это, господа, национально ли?» Или профессор, тихий ученый, без всяких тенденций, в 25-летнюю годовщину освобождения крестьян читает, вопреки циркуляру, конфиденциально разосланному накануне, слушателям университета «об этом великом дне России, об этом самом великом акте Благословенного Государя, в котором содержалась такая огромная будущность для всей нашей земли; и что же: он был за это смещен с должности, и министерство просвещения не вступилось за своего ученого, за служащего у него человека, хотя, впрочем, оно и исправило ошибку потом, дав через год этому профессору кафедру в другом университете. Но прямо вступиться за этого безобидного ученого, очень известного во всей России, оно не вступилось. Господа, это патриотично ли? Соответствуют ли это и такие дела народной гордости, которую завещал нам хранить Карамзин?»

Все очень обыкновенно. Спрашиваю себя: отчего же я так очарован, просто мне приятно теперь быть в этом зале и слушать, и почему вот эта незамечательная речь мне нравится гораздо более замечательных речей Петражицкого, Набокова и других, какие слушал я в первой Думе? Даю себе ответ и нахожу, что происходит это не от какого-нибудь удовлетворения ума, а оттого, что *мне самому* лучше, стало отчего-то спокойнее на душе, яснее, тише. Говорит добрый человек, говорит ласковый человек о всем дорогом деле. Вот и только. Как немного, и как много. Я перекинулся глазом к министерской ложе, где на первом месте в черном сюртуке, полубоком к депутатам и полулицом к кафедре оратора, сидел министр народного просвещения и слушал ту же речь, мне так нравившуюся, с очевидным отталкивающим чувством, как бы это был не Анреп, а лягушка. Боже, да что же тут отталкивающего в этой речи, и почему, в самом деле, русским мальчикам не знать подробнее *нашей* Отечественной войны, чем «отечественную войну» другого, греческого, народа, бывшую за 2500 лет до нас? Или зачем, в самом деле, лишать кафедры, т. е. *с семьею лишать средств жизни,* профессора русского права, который в годовщину освобождения крестьян читает об освобождении крестьян? За что же тут сердиться, и вообще откуда эти сердитые взгляды, сердитые повороты и вся эта какая-то мучительная мировая сердитость, которую, Боже, и я вижу столько лет вокруг, и вот третьего года видел ее тоже в несердитых речах Петражицкого? И впечатление от речи Анрепа у меня оформилось в моральный отдых, которому так радуешься, в самом деле, устав и изломавшись среди сердитых лиц и сердитых отношений, всего, всегда!

Да, шаблон. Самые обыкновенные все истины, и не мне этому учиться. Да и никто в зале не поучался, но все, в том числе и левые, слушали эту ясную речь этого *ясного человека* с тем же очевидным удовольствием, как и я, никто не читая пренебрежительно газету, как случается часто в Думе, не разговаривая между собою, тоже из невнимания к оратору. Все внимали, – а чему? По *мысли* и слушать нечего. Но и для меня, и для зрителей-слушателей депутатского зала был прямо *нов* и *неожидан* человек, с сединами и

заслуженный, говоривший с такою любовью о просвещении и просвещенных русских людях. Снова я перекинулся глазами к г. Шварцу. Нет, не нравится. *Ему* не нравится. Но отчего, отчего? Как все это мучительно.

После речи был объявлен перерыв. Красивые фигуры задвигались, стал возможен разговор после учтивого извинения.

– Но это все так известно, – сказал я, встав и ни к кому не обращаясь.

– Что известно?

– Да все, что говорил Анреп, известно каждому гимназисту, и это есть во всякой газетной статье. Не может не сделаться всем известным и «общим убеждением» то, о чем трубит сто газетных голосов в пяти, десяти, ста тысячах листов каждый день, и так круглые 365 дней в году, и потом опять 365, и затем еще 365... Вода точит камень: не может газета не обтачивать все умы и сердца. Так. Но речь мне и самому понравилась чрезвычайно. Во-первых, это не с чужого голоса и не вычитанное. Это вовсе не взгляды, почерпнутые из книг или полученного образования и направления, а это говорила натура доброго русского человека. Разница большая с «начитанным», и знаете...

– Заметили, как слушали левые? Ни одного движения неудовольствия, когда он говорил о том, что в России школа должна быть национально-русскою школою. А ведь это параграф октябризма.

– Да, левые слушали. Значит, они нисколько не против национализма, когда он разумен и добр. Они только отрицают и возмущаются, когда национализм хочет кого-нибудь кусать. Они против этого, и это не говорит о той злости, какую им приписывают.

Оставим их. Возвращаясь к Анрепу, действительно нельзя не заметить, что вопрос образования в России вовсе не есть вопрос какой-нибудь мудрости, какая-то Архимедова шарада, а есть вопрос просто *доброй натуры.* Не умственный вопрос, а волевой. Ну, нет доброй воли, – тогда вы что же поделаете с тем, что недобрая воля не хочет просвещения? Сто Сократов не могли бы убедить Каина не убивать Авеля. Ну, вот этот Анреп, по словам его, столько видевший добрых усилий русских людей на дело просвещения, так любовавшийся этим усилиям и, очевидно, способный с ними гармонировать, идти рука об руку к великой и благой задаче, – отчего он, все-таки... Да он, кажется, даже в отставке, т. е. *отставлен, отодвинут.* Почему отодвинут, а не придвинут? «Отчего», «отчего»?.. Тысячи «отчего», – и гвоздь и забит под ними, под этими «отчего», а не забит в недостатке мудрости и философии.

Я вышел, продолжая размышлять, в соседнюю комнату, которую не решаюсь назвать «буфетом», потому что такая публика не «буфетничает». И в самом деле, только немногие здесь прохлаждались чаем, и ничего другого. За столиком, куря сигару, сидит какая-то голая голова, т. е. без волос, хоть и молодая. Что-то знакомое и незнакомое. «Да неужели?.. Но ведь это так далеко, и от депутатского зала пройти сюда нужно десять, ну, пять минут времени, а зал распущен только две минуты назад». Какие странные глаза: ни у

кого не видал, а они нравятся или, во всяком случае, обращают внимание. Темные, но не черные, должно быть, темно-карие, немного навыкат, или, точнее, как бы вышедшие вперед из, должно быть, плоских впадин, они бьют вас взглядом, как дули, как маленькие бомбочки-шашки, что были употребительны в японскую войну. Но и все-таки его не узнаю, потому что он не вертится, как там, а спокойно сидит. Шепотом спрашиваю:

– Пуришкевич?

Шепотом отвечают:

– Пуришкевич.

– Неужели он? Почему же не вертится?

– Он. А не вертится, – не пришла минута.

Позднее на хорах пересмеивались:

– Все ругают, а все смотрят. Останавливаются, потихоньку следят. «Каков он, Пуришкевич»...

– Всероссийская величина, известность. Разве афиняне не говорили несколько дней о собаке, которой Алкивиад отрубил хвост, а он и отрубил для того, чтобы говорили, и одна эта собака и попала в историю, тогда как сколько верных собак, погибших за хозяина, осталось без памяти. Клио, как и Фемида, часто входит с завязанными глазами. Вы, однако, обратили внимание на его глаза?

– Обратил. По тому, собственно, поводу, что когда доктора подозревают у крошечных детей тяжелое мозговое страдание, еще ясно не выраженное, то всегда обращают внимание на то, не выпучены ли глаза. И этот депутат с выпученными глазами возбуждает во мне и политическое, и медицинское беспокойство.

Я рассмеялся и прошел опять в зал.

Кворума почти нет в этот день, а такой интересный день. Вообще пустота думского зала дает такой контраст с заседаниями второй и третьей Думы, когда пустовавших сидений вовсе не было. «Барская Дума, а баре всегда были с ленцой» – это невольно думается. Но впечатление дня так хорошо, что не гонишься за числом депутатов, удовлетворенный их качеством. Таких связных «сказываний», какие мне пришлось выслушать в этот вечер, я не слыхал ни во второй, ни в третьей Думе. Там были «речи»...

Какое, однако, огромное явление эта Дума. Не побывав в ней, нельзя этого оценить, почувствовать. Какой иронией *над собою* звучали слова г. Коковцева: «У нас, слава Богу, нет парламента», сказанные перед людьми, *частными русскими людьми, обывателями,* перед которыми он, министр, вынужден был давать некоторый отчет и объяснение. Какие же прежде были «отчеты» и «объяснения»?.. «Не хочу связываться» – вот и все былое «объяснение» не по адресу обывателей, которых налицо перед министром никогда и не стояло, а по адресу, напр., печати, которая начинала волноваться около какого-нибудь общественного дела. Если шум начинал быть велик и, упаси Бог, если в нем принимали участие и газеты, читаемые «в сферах», то следовала краткая записочка, положим, министра народного просвещения или

обер-прокурора Синода к министру внутренних дел, а последний пересылал эту записочку к главноуправляющему по делам печати, – и делу наступал конец. Вчера шумели, а сегодня было тихо как в Божий день. Как будто такого-то «дела» и не бывало никогда, и не поднималось оно, и людей около него не было, и страдальцев не было. Ничего. Выбило градом. Была нива, пошел град, и выбило ниву. А теперь… Как не похоже, и как бессилен г. Коковцев со своими уверениями, или неуверенными, или по недоразумению…

Я говорю: значение Думы сознается только в Думе. Например, когда и кто у нас видел министров? Проезжая только в каретах, да и ездили-то редко, не выезжая никогда в провинцию, они были совершенно неведомыми фигурами, и Тимашев, Валуев, графы Толстой и Лорис-Меликов уже при жизни были «легендами», т. е. тем, о чем все рассказывают, но чего никто не видел. Не было физического их представления, физического к ним отношения. Какие-то «духи», все наполняющие собою в России, но которых Россия никогда не видела. «Домовые», без злого оттенка, но с волшебным оттенком. Мы так с этим сжились, *так этому подчинились,* что уже никто этим не волновался у нас, а между тем можно ли представить себе, чтобы Афины и афиняне никогда не видели своего Перикла, Рим и римляне не видели Катона, Англия – Гладстона и Америка – Рузвельта?

Как все теперь переменилось. Вот сидит г. Шварц в ложе, как все, т. е. просто на кресле определенного ряда, который, как и все ряды, ни золочен, ни серебрен. Где-то меж стенографисток, секретарей Думы, депутатов и, дальше, каких-то чиновников. «Ничего себе» или «ничего особенного». Последнее – во всяком случае. Уставшая стенографистка, сменившись в очереди, торопливо переходит к двери перед его креслом, не оглядываясь в его сторону и вообще не делая никакого внимания «его стороне». То ли это, что бывало, когда проходил… нет, не проходил, а шествовал министр.

Теперь все стало так обыкновенно… Русское правительство стало обыкновенным. Какая перемена! Что-то невероятное. Ведь еще всего в 1903 году это, казалось, *никогда не наступит,* совсем никогда, до конца нашей истории, или что будет перемена разве-разве к самому кончику ее, когда уже и не нужно больше, когда могила. И вдруг…

Государю Императору угодно, чтобы министры впредь являлись перед выборными от населения и давали перед ними отчет в своем управлении, насколько и в чем эти выборные захотят. Давали отчет, стоя…

Вот и все. Вот и вся наша русская «конституция». Но ведь она неизмерима… И просто в факте, что министры хотят или не хотят, вольно или невольно, а *должны* выйти в Думу и перед обывателями, «обывателишками» разъяснить и *оправдать* свои действия по управлению, – это такая перемена, которую г. Коковцеву никак не обнять мыслью. Факт неизмерим, и для полного уяснения его нужна мысль неизмеримая…

Для этого, прежде всего, нужно было быть русским *обывателем* и перестрадать все обывательское страдальчество. Но г. Коковцев, вероятно, прежде тоже «шествовавший по ковру» до кареты, был только министром или

«еще немного – и министром», вообще *около* министра, *до*-министра, а обывателем он не был. Ну, тогда что же можно понять в русском существовании, а с ним и в русской «конституции», которая да будет благословенна?

Послышался предательский звонок, и я пошел в зал депутатов.

<VIII>

Наука и политика

На кафедре я увидел тщедушного интеллигента, с небольшой бородой, молодого и, во всяком случае, еще не пожилого. Нервная, какая-то *усиливающаяся* его фигура являла контраст с абсолютно спокойною фигурою предыдущего оратора, г. Анрепа. «Ну, опять эта интеллигенция, со словами и без дела», – подумал я, и к досаде примешалась еще и другая досада: голоса не было слышно, т. е. он шел, звук долетал, какой-то слабый и глухой, но не только всей речи, а даже и отдельных в ней слов нельзя было разобрать.

– Все как у интеллигенции. Верно, профессор, иссушивший себя над книгами.

Я встал и собрался уже уходить. Но не спешил. А между тем усиливавшийся оратор, верно, дошел до очень горячей мысли, и голос его стал подниматься, очень медленно, но все подымался. И я наконец стал расслушивать и отдельные слова. До конца речи эти слова так и не слились в сплошную массу звукового материала, мысль которого отчетливо бы читалась. Но все же выплывали значительные островки этого звукового материала, и совершенно ясно можно было судить о том, что говорил и что хотел доказать оратор.

Говорил Замысловский.

Он говорил, что школа саморазрушилась. «Я не хочу доказывать, что министерство народного просвещения хорошо; не хочу сказать, что оно даже удовлетворительно. Допускаю, что оно именно так плохо, как о нем здесь говорил предшествующий оратор. Это значит, что мы имели очень дурную постройку, из плохого материала, из дерева, и притом плохой конструкции. Так? Ведь так, господа (он обращался к левым)? Ничего решительно другого не хотели доказать ораторы, обрушившиеся на политику нашего правительства в деле просвещения. Но…»

Голос его чрезвычайно поднялся, и он поднес руку к груди, как бы зовя и требуя, чтобы она не выдала его и в этот решительный момент родила нужный звук.

«… есть дом – и это одно, и есть поджигатель – это другое. Когда мы стоим перед сгоревшим домом, то для нас главный вопрос заключается не в том, *как* и *из чего* он был построен, а в том, кто *подложил огонь* под это дурное здание и уничтожил его. Подожгли его, – он обращается к левым, – революционеры, революция. Школа, которую оплакивали с этой кафедры мои предшественники, уничтожена, разрушена вождями освободительного движения и всею вообще смутою».

Г-н Шварц, который был наполовину обернут к ораторской кафедре, пока говорил Анреп, теперь повернулся совсем к ней и не проронил ни одного слова. Очевидно, он не только соглашался с речью, – он искал в ней подтверждений и доказательств тому, что сам думал.

Что же они оба думали, и Замысловский и Шварц?

– В школе занимаются политикою, а не наукою. Политика разрушила науку. Храм ее превратился в лабораторию революционного оружия.

Таков их тезис. Верен ли он? По глубокому молчанию левых скамей во все время речи г. Замысловского видно, что даже они не в силах были, и притом внутренно, опровергнуть его аргументацию и приняли ее как некоторый ходячий тезис, как общее мнение.

Однако так ли оно основательно, как все думают?

Первая Дума и вообще партия кадетов, заполнившая ту первую Думу, была, во всяком случае, не против освободительного движения и, по общему мнению и собственным лозунгам, даже вела его, но всеми признано в то же время, что состав первой Думы, как и вообще кадеты, дал русскому парламенту цвет русской интеллигенции, т. е. наиболее образованных, книжных людей, наиболее ученых людей. Вспомним только имена руководителя кадетов г. Милюкова и члена Думы М. М. Ковалевского. Можно ли же утверждать, что «книжность» их есть только некоторая видимость, что они только носили в руках книги и показывали их публике, а на самом деле *не читали их*. Юмористическое предположение. Конечно, они читали и изучали книги, великое множество книг, на немецком, английском, французском языках; не романов и стихов, а книг утомительного, тяжелого содержания, с цифрами, статистикой, с летописным материалом. М. М. Ковалевский знает земельный строй средневековой Англии так, как его не знают сами англичане или знают его только чрезвычайно немногие англичане, ради чего он и был позван в кембриджский, кажется, университет читать самим англичанам лекции об Англии же, об ее старинном праве и старинном землеустройстве. Это даром не дается, и ни Сыромятникова из «России», ни Меньшикова из «Нов. Вр.», ни Пуришкевича из Думы, трех радетелей чистой науки в университетах, англичане не позовут к себе читать им лекции о чем-нибудь. Ковалевский всю жизнь учился и всю жизнь занимался политикой, потому что у него две головы в объеме одной головы, потому что он умен, даровит и *разносторонен*. Разносторонность, многосторонность не означают поверхностности. Нисколько. Бородин был химик и музыкант. Кант, кроме философских трактатов, писал глубочайшие рассуждения и о механике, о физике. Лейбниц был величайшим философом XVII века, будучи и величайшим математиком всех веков, ибо ему принадлежит открытие дифференциального исчисления. Аристотель написал и трактат «О душе», и «Политику», и занимался естественной историей животных, как специалист, как ученый. Что как идет и шло это дело во всем мире, так идет оно и у русских, – можно видеть по «Энциклопедическому словарю», изданному Брокгаузом и Эфроном. Как известно, немецкая его основа составляет не более $^1/_2$ или $^1/_3$ нео-

бозримого научного материала, вложенного во множество его томов; все остальное есть труд русских составителей, сотрудников. «Словарь» этот можно назвать коллективным трудом русской интеллигенции. До того материал его необозрим и разнообразен, а число лиц, вложивших туда свои статьи, численно велико. Но – увы! – «Словарь» этот, как известно, имеет политическую или, вернее, литературно-политическую окраску, притом не в духе Каткова или Аксакова, а в духе Милюкова и М. М. Ковалевского. «Словарь», как принято выражаться, «с начинкой», притом, бесспорно, «освободительной». Беды этой никак нельзя скрыть, и беда эта рассказывает нам о том, что все русские ученые и даже просто очень образованные люди всегда занимались или, по крайней мере, близко интересовались и политикой. Теперь можно ли представить себе, чтобы славянофилы, если их взять всех, и живых, и усопших, и даже если присоединить к ним всю «правую» часть Государственной Думы и почитателей этой «правой» части, могли коллективными усилиями не порассуждать «вообще о науке», что очень легко и учености не требует, а определенно и об определенных предметах написать хотя ¼ тех статей, какие написала в «Словаре» Брокгауза коллективная русская интеллигенция, сплошь либеральная и политически-либеральная? Лавры ученого не идут к голой голове Пуришкевича, и вообще нечего русским консерваторам ухватываться за тоги Аристотеля, Платона, Декарта, Лейбница, Ньютона, Пастёра. Они все – клубисты, но отнюдь не академисты; говоруны, а не люди кабинета, библиотеки и лаборатории. Если спросить, кто ученее, Милюков ли, вождь кадетов и один из редакторов неприятной «Речи», или тоже «профессор» и бывший редактор «Русского Обозрения» г. Александров, то, вероятно, последний сам бы сказал: «Не сравнивайте меня, я – неуч». Это сравнение можно провести по всем рангам, по всем профессиям, по всем званиям, и везде трудолюбие, начитанность, книжность, именно «академизм» окажутся соединенными с «политикой», притом неизменно освободительного направления, а консерватизм окажется совершенно чуждым науке и только псевдоакадемичным, только хватающимся за тогу учености, одетую *на чужие плечи,* на плечи *не-консервативные.*

Так кто же и *как* зажег и сжег школу? Не те же, во всяком случае, кто и в школе, и после школы так много учились, читали, изучали, по-немецки, по-английски, и стали нашими лучшими профессорами, пронесшими знамя русской науки и за границу.

Мне очень хотелось бы, чтобы эта мысль моя, которую никак невозможно оспорить, стала известна Замысловскому. Он показался мне очень искренен, очень правдоискателен, и он просто должен взять назад свой тезис ввиду такой очевидности. Либералы и радикалы школы не разрушали. Они были самыми *занимающимися,* самыми *успевающими* в школе. Но они к школьным занятиям прибавляли *и политику,* прибавляли еще на школьной скамье, по живости своей, по отзывчивости своей, по разносторонности, как плод *даровитости.*

Вот и все.

Но и затем вся речь его, как будто юридически правая, права именно бедною юридическою правотою, о которой сказано, что она создала лозунг: «Pereat mundus et fiat justitia» («*Пусть погибнет мир,* но торжествует справедливость»). Это не полный суд. Это жестокий суд. Нужно ли прибавлять, что это и нехристианский суд. Христос всегда останавливал и, наконец, опрокидывал *книжников* и *законников,* то есть вот этих юристов Ветхого завета и израильского народа? Нужно ли указывать, что самая поговорка юристов «pereat mundus et fiat justitia» существом и даже формою своею напоминает фарисейский принцип «субботу *нарушать* нельзя и ради *спасения человека*». Нужно ли доказывать, что если бы и во время Севастополя, и во время Цусимы и Мукдена ученики наших школ выдерживали свою академическую «субботу», т. е. сидели бы над Кюнером и Ходобаем, над алгеброй Малинина и Буренина и, наконец, над литографированными курсами своих профессоров, не отводя от них глаз, то мера способностей русского племени показалась бы всему свету весьма невысокой, а русские обыватели и до сих пор переписывали бы канцелярские бумаги «их превосходительств» и уже никак не собрались бы в Думе. Самый тот факт, что вся Россия теперь слушает Замысловского, обязан происхождением своим тому, что уже много лет русская учащаяся молодежь... *не только* училась...

Да и вообще «призыв к исполнению своих обязанностей», что стоит заднею мыслью за всею этою критикою русских учеников всех школ и всех возрастов, не имеет абсолютной в себе правильности, а только относительную. «Акакий Акакиевич да переписывает свои бумаги» – вот конкретная формула, к которой сводятся эти теоретические пожелания. Они только с виду моральны; точнее – они юридичны и в то же время имморальны. Стань все на точку зрения «исполнения своих обязанностей», и скорбный образ Акакия Акакиевича, такой грустный, превращается в некоторый хилиазм, в «тысячелетнее царство» исполнения своих обязанностей. Самые «обязанности» эти, если мы вернемся к образу Акакия Акакиевича, суть нечто внешне ему навязанное и нисколько не проистекающее из его человеческой природы. Мы все *рабы* страшной системы отношений, не из нас вышедшей, но нам *явленной,* как нечто бывшее до нашего рождения. Конечно, кристалл складывается и стоит тысячу лет в той расщелине горной породы, где лежал раствор, из которого он выделился. Но, к грусти всех консерваторов, животные *бегают.* Так Бог устроил, что животное *отбегает* от того, что ему не нравится, и *подбегает* к тому, что нравится. Это дает картину беспокойного движения по всей земной поверхности, но уж что делать? И сколько бы юристы ни волновались, зоологи не перестанут считать царство животных выше царства минералов. Можно спросить г. Замысловского: куда он все рвется со своими *общими идеями,* рвется с *консерватизмом* своим, коему его не обучали ни с кафедры римского права, ни с кафедры уголовного или гражданского права и вообще ни на одной из тех научных дисциплин, которые в пору его учебных лет он обязан был усваивать. *Общих идей* и этого консерватизма он набрался *откуда-то со стороны,* вне рубрик учения, да и вне обязан-

ностей службы. Сперва, как судебный следователь, затем, как товарищ прокурора, он должен был разбирать разные судебные дела. Его дело – суд. «Политику» разберут действительные статские советники других ведомств, а не судебного. Если он сошлется, что он слишком широк для своей специальной службы, что он достаточно даровит, подвижен и деятелен, чтобы совместить в себе *два интереса,* то мы не поверим ему, как он не поверил профессорам и студентам.

Дело в том, что стул Акакия Акакиевича мы любим подставлять другим, но никто не хочет *сам* на него садиться. И эта жестокая несправедливость, summa injuria, – она все время звучала в жесткой, судящей речи г. Замысловского.

СУДЕБНЫЕ БОЛЯЧКИ

Народ наш живет и жил обычным правом, общество жило и отчасти живет литературными, гостиными и клубными впечатлениями. Кто же живет у нас законами? Преступники и судьи, тюрьма и здания судебных учреждений.

Только на этой крошечной территории, на этом крошечном островке среди необозримого океана русской жизни, вопрос о законе и законности есть острый вопрос, на котором сосредоточено внимание всех. Только здесь слышно или неслышно постоянно присутствует тяжба двух сторон о том, что законно и что незаконно, как необходимо применить закон и как его нельзя применить. Все остальные русские живут так называемою обывательскою жизнью, которая сложена из традиции и давления общего мнения. Даже наша администрация, даже наше бесчисленное чиновничество – и оно живет «усмотрением начальства», сообразуясь в действиях своих не «с присягою», которая является только мундиром на чиновнике, надеваемым в именины начальства, а отнюдь не тою ежедневною тужуркою, в которой он служит. «У нас есть больше, чем конституция, – провозгласил когда-то фразеолог Катков, – у нас есть присяга на верность». Никто не подсказал знаменитому публицисту, что, как и многие конституции, это наша «русская присяжная конституция» существует только на бумаге и не идет дальше и глубже того «присяжного листа», на котором собираются подписи присягнувших. На самом деле мелкий чиновник, который вздумал бы, следуя присяге, стать поперек тех хищений, которыми у нас прославились некоторые ведомства, был бы немедленно выброшен из службы «за неблагонадежность», «строптивость» или, вернее всего, под самым невинным предлогом «нерадивости по службе», в чем компетентно, и безотчетно компетентно, одно его начальство. Таким образом, все у нас живут традициями, «установленными приемами жизни», чем угодно, но не законом и законностью. И в стране существует *правосознательное население* как хранитель законов, как оберегатель их, возводящий все дела, мнения, все общественные течения к высшей санкции – *законности.*

Это состояние, которое нельзя не назвать печальным и диким, с которым может быть покончено только в очень медленном и трудном процессе жизни, имеет множество для себя причин, отчетливое сознание которых должно быть положено в фундамент того, что можно было бы назвать юридическим оздоровлением населения.

Несовершенство законов – это первое.

Грубость их отношения к жизни, путаница от множественности законов, которым подчинено одно и то же явление, невразумительность текста их, в котором иногда и юрист-то разбирается с трудом, а обывательскому разуму и совсем с ним не справиться, и, наконец, то, что можно было бы назвать, несмотря на странность, недобросовестью самого закона, который топит слабого и выводит сильного из одной и той же житейской трясины, – вот язвы самого законодательства, мешающие установиться в стране уважению к суду как охранителю законов, как мстителю за попранный закон. Только с открытия Г. Думы закон явится у нас как результат спора о нем, как результат тяжбы о его тексте и исправлении, – тяжбы открытой и смелой со всех сторон. Но что такое были прежние законы и что такое вообще русский закон? Это есть более или менее замаскированное повеление; повеление, проведенное через разные инстанции, но в зерне своем именно оно. Не сомневаемся в благой воле повелевающего или повелевавших; но совершенно невозможно оспорить, что эта воля никогда не была всевидящею, никогда не была усматривающею в будущем все последствия. Она никогда не могла предусмотреть злоупотреблений собою, извращений себя на практике, обходов себя в той же практике. В «Войне и мире» рассказывается, как честный и мужественный офицер, не понимавший, что такое воровство, не допускавший, чтобы солдат был не накормлен, из-за этих высоких качеств гражданина и воина «юридически» гибнет, обвиненный и засуженный ворами и плутами интендантства. И когда в последнем отчаянии он, как-то пробившись к государю, взывает к его милосердию и правосудию, то государь, будучи верховным охранителем законов отечества, отвечает ему громко, чтобы все окружающие услышали: «Не могу ничего сделать для вас, и не могу потому, что *закон выше меня*». Эту классическую фразу императора Александра I в сущности повторяли, но в коллективном применении, и представители судебного ведомства в 1-й Г. Думе: «Закон, пока не отменен, – действует, хотя бы он и был закон мучительный и даже несправедливый». Конечно, иначе мыслить нельзя. Но невозможно и обвинять тех давальцев взяток в прежние времена, которые, можно сказать, «отдавали кошелек, чтобы сохранить жизнь» в этом печальном законодательстве; нельзя даже очень винить и бравших взятки: ибо все-таки, хоть за деньги, они «отпускали душу на покаяние», т. е. приподнимали шлагбаум перед «телегою жизни», вместо того чтобы хлопать по голове этим шлагбаумом ни в чем не повинных мирных обывателей, которым надо же как-нибудь проехать «дальше». Это все-таки лучше неукоснительного «тащи и не пущай», каковым термином охарактеризовал русский писатель русский закон «в действии».

Отсюда следующее бытовое, историческое явление: всеобщая нелюбимость у нас начальников-формалистов, т. е. которые неукоснительно и, увы, *безжалостно* «поступают по закону», и любовь и долгая благочестивая память русских к таким редким начальникам, редким администраторам, которые, иногда шумя, крича, бранясь, тем не менее щадили людей, которые, будучи «самодурами», т. е. не справлявшимися с законом людьми, в то же время были *лично* бескорыстны, деятельны, жалостливы и справедливы. Поправки *личностью* закона – это всем известная у нас, у русских, вещь: между тем ведь очевидно, что должно бы быть наоборот, должен бы закон исправлять личность!

Сколько разоренных, погибших людей, людей часто очень хороших, прекрасных граждан и прекрасных членов общества, погибнувших «на основании закона»! Еще гораздо больше таких, которые погублены злыми людьми «не вопреки закону», т. е. которые в житейской борьбе с злыми людьми не могли опереться ни на какой закон. Жестокая поговорка «На то и щука в море, чтобы карась не дремал» показывает, что вся наша гражданская жизнь представляет собою такую законодательную тину, в которой очень удобно живется сильным и бессовестным людям и в которой трудно жить, часто невозможно жить людям безобидным и бессильным, людям, что называется, «немудреным», но которые имеют же право на существование в мирном и благородном обществе, ибо сами они решительно никого не обижают, не чинят никому никакого зла. Некоторые области законодательства, как, например, семейного, брачного, таковы, что в них шевельнуться нельзя без взятки: в своем чистом виде, строго применяемый, закон задушил бы всякую возможность, отнял бы возможность счастливой жизни у тысяч людей, оставил бы в несчастном положении другие десятки тысяч людей.

Это грубое, очевидно, несовершенство законов создало в населении то, что к блюстителю законов, суду, существует не столько уважение, сколько борьба с ним. Все более или менее, явно или скрыто, с судом борются. Знаменитое народное воззрение на «осужденных» как на «несчастных», и копеечки и булки, подаваемые этим «несчастненьким», свидетельствуют об отсутствии в народе всякого нравственного уважения как к законам, так и к суду, их защищаемому и по ним поступающему.

До какой степени при таком положении, в такой обстановке тягостна роль судьи и суда, и говорить нечего. Они судят как бы под ножом, не стальным, а вот этим совестливым, который режет иногда больнее стального. Строгий судья у нас – страдальческое, трагическое лицо. Строгий судья плодит «несчастных»: и что ужасно и чему он решительно не может помочь, ибо закон зависит не от него, он только применяет закон, так это то, что он действительно часто плодит невинно-несчастных, он отпускает на свободу злодея, злодеяние которого видит, но оно неуловимо для отсутствующего или неправильного закона, и «присуждает к взысканию» невинного, который по неопытности или неосторожности попал в паутину законодательства, которое местами представляется сотканным не мудрецом, а пауком.

АКАДЕМИЧНОСТЬ НАШЕГО СУДА

Прения в Г. Думе, сопровождавшие обсуждение бюджета министерства юстиции, провели перед страною ряд таких картин, взглянув на которые страна должна подумать, что в ней правосудие, так сказать, намечено только пунктиром, как обозначаются на картах проектированные железные дороги, а толстою чертою проведена везде бессудность: это наша наличная действительность. Такие зрелища, как забивание до смерти воров по деревням, причем забивающими являются лучшие мужики, трезвые и хозяйственные, ужасны не только въявь, но непереносимы даже для слуха, непереносимы в чтении. Что так поступала деревня с конокрадами, это давно известно; но депутат Замысловский, ссылаясь на данные судебных дел, указал, что подобная хроника деревенской жизни не ограничивается одним конокрадством. И, между тем, «подает копеечку несчастненьким» арестантам этот самый народ, который является равнодушным зрителем при подобных забиваниях! Как это понять, как согласить между собою? Законодательство наше слишком отвлеченно. Оно меряет преступления и проступки какою-то книжною отвлеченною величиною, прикидывает к проступкам и преступлениям какую-то несуществующую «абсолютную мерку», сидящую в голове единственно у профессоров-юристов, и по этой мерке отмеривает и «воздаяние», суд, наказание.

Между тем один и тот же проступок или преступление являются совершенно разными в разной обстановке, в среде разных людей, в деревне или в городе. Например, известно, что нет кухарки, которая не «обсчитывала» бы, т. е. не обкрадывала бы, господ на несколько рублей в месяц, что в год составит более ста рублей. Это какая-то выгода промысла, процент с профессии, о которой господа так же хорошо знают, как и прислуга, но так как это делается в среде зажиточного класса, то оно рассматривается и, главное, чувствуется как некоторое неудобство жизни, с которым все мирятся без излишнего волнения. Но перенесите это воровство на сто, на полтораста рублей в год в деревню, где воруют не от тысяч, а от копеек и рублей, где каждый рубль заработан тяжелым потом и где ворующим является не трудящееся лицо, каким бывает кухарка, а лодырь, праздно живущий, отбившийся от работы и от семьи, и вы получите нестерпимую боль жертвы и нестерпимую ярость населения. Проступок – один, а ощущение его – другое. Вред от проступка, личность преступника – все совершенно иное! Обратно возьмите «преступления против чести», «оскорбления личности»: в городе это приводит к дуэли, т. е. к риску жизнью, иногда к жертвованию жизнью; в деревне это ни к чему не приводит, кроме легкой потасовки, грубого ответа, а то и к веселому воспоминанию.

Вернемся к нанесению имущественного ущерба. Можно бы вспомнить знаменитые «двенадцать таблиц» римского народа, в ту пору еще исключительно земледельческого, трудового народа, в котором самые мелкие кражи наказывались точь-в-точь как они наказываются в русских деревнях, т. е.

смертью. Но в Риме это совершалось по суду и формально, на основании беспощадного писаного закона, у нас совершается скопом, в остервенении, людьми трезвыми и хозяйственными, но происходит это не только к негодованию общества, но и вопреки закону, который рассматривает мелкое воровство как вообще мелкий проступок, с легкою отсидкою за него, с последующим возвращением вора в среду обокраденных и, конечно, с возобновлением и иногда усилением легкого и прибыльного промысла. Явно, что ни римский народ не был жесток, ни русский – тем более. У нас это происходит оттого, что закон посмотрел на вора городским взглядом, примерил к нему ощущение зажиточного человека и простил мелкого воришку по христианскому милосердию или по либеральному великодушию, – в данном применении эти мотивы совпадают. Под влиянием наказания, не столько пугающего, сколько заманивающего, в населении образовались милые поговорки, вроде «плохо не клади, вора в грех не вводи», «что с возу упало, то пропало». Поговорки эти показывают, что уже давно в населении утвердился некоторый если не воровской, то вороватый дух и что он поселился у нас если не как хозяин, то как милый гость, как почти симпатичное существо. Известно, что «зайцам», едущим по железной дороге без билета, покровительствует население всего вагона: «Полезай под лавку, – контроль идет», «вылезай из-под лавки, контроль прошел», – эти выражения в вагонах слыхал всякий, и не бывало, кажется, случая, чтобы они кого-нибудь возмутили, оскорбили или удивили. Так все привыкли, так это обыкновенно, а обыкновенным стало оттого, что ни в начале, ни в середине, ни в конце это никому не казалось странным, хотя это и есть явное обкрадывание железной дороги. «Ну, что, – рассуждает всякий, – если бедняк украдет на рубль у миллионера! Ведь дорога – миллионер, а под лавкою едет босяк». Мы ничего не сказали бы, если бы этих босяков открыто даром возили, или если бы им в складчину покупала билет сердобольная вагонная публика: но всякий норовит быть сердобольным не на свой, а на чужой счет, и это также создает атмосферу той мелкой плутоватости, смешанной с либеральным ханжеством, той уклончивости, того лукавства, которые решительно создают у нас воздух, которым дышит русская улица, дышит русский задний двор и вообще все у нас, кроме парадной двери, с швейцаром с булавою, и парадных гостиных, где разговаривают дамы и кавалеры, «приятные во всех отношениях» или в некоторых отношениях, как заметил Гоголь. И вот эта мелкая плутоватость налезает на деревню, где мужик с лошадью-кормилицей ведет первобытную борозду, у которого жена недомогает после родов, ребятишки болят «нутром», и у самого тоже ломит поясницу, да уж он терпит и вырабатывает день за днем десятый и одиннадцатый рубль подати. И вот дотянул, выработал, можно бы нести в казначейство на уплату государством хотя бы жалованья гг. чиновникам; да в ту пору заболтался на их деревне соседский сын, и он вместе с тряпкою, в которую деловитый мужик завернул свои десять рублей, стибрил их у него из-за образа, и теперь прогуливает их на чаепитье, пряниках и водке с гулящею бабенкой, посмеиваясь над мужиком и его ба-

бой и ребятами. Гг. чиновники, которым он вырабатывал жалованье, получат его из другого источника; профессора юриспруденции тоже получат свое жалованье, столовые и квартирные. Все получат свое. Но мужик должен будет вторично выработать эти десять рублей, потому что пока он не получит «квиток», т. е. квитанции из казначейства, о внесении подати, до тех пор к нему не перестанет приставать исправник и грозить продать у него последнюю корову. И он их выработает. И вот эта мука вторичной работы человека уж бесконечно усталого, человека с чистой совестью перед Богом и людьми, который никогда ничего ни у кого не украл и всю жизнь только работал и работал, – и перейдет в то остервенение, с которым и он нанесет удар «заведомому деревенскому вору», или махнет рукой и равнодушно отвернется при молве, что «вечор вора забили до смерти». Отвернется и повторит присловье, созданное тем же народом, который подает копеечки «несчастненьким»: «Поделом вору и *мука*». Мукою отвечает на воровство негодяя *замученный* человек.

Явно, что и гг. чиновники, и гг. профессора юриспруденции должны бы принять к сердцу все нарушения собственности в деревенском трудовом, полунищенском укладе жизни, как утроенно болезненные сравнительно с нарушением собственности в городском быту, и предупредить остервенение народное действительно строгим взысканием за эти проступки, которые в деревне вырастают в преступления, суть преступления. Во всяком случае на законе и на суде лежит строжайшая обязанность избавлять и очищать деревню от таких воришек-лодырей, предупреждать возможность рецидивов, не обращать преступника в пенсионера деревенской общины, которой самой есть нечего. Так или иначе, приемами администрации или суда, и, конечно бы, лучше суда, ибо суд есть бесстрастность, – оплаченные жалованьем чиновники и судьи, законодатели и Г. Дума обязаны «убрать с глаз долой» эту нечисть деревенского обихода: и тогда, само собою разумеется, прекратится это линчевание на русский лад, это безобразие и ужас нравов, где все звереют, где потерян образ человеческий.

Суд есть совесть народная, воплощенная в государстве. Государство в судебных учреждениях, в законах, в наказании и возмездии не имеет права отступать от воззрений народных на совесть, на правду, на порок и безобразие. Здесь государство должно быть не сентиментально, а ответственно. Оно очень строго взыскивает, и особенно взыскивало, за преступления против себя, уравнивая здесь действительно только «проступки» с «преступлениями» и даже со «страшными преступлениями». Вспомним, как пострадал Достоевский только за то, что «бывал» на собраниях петрашевцев, – бывал, не принимая никакого в них участия, и уже во всяком случае не «покушаясь на государственную безопасность». Вспомним, как наказуется оскорбление чиновника, дерзость ему «во время исправления служебных обязанностей». Так государство оберегает *себя*. Но народ политики не знает, хотя по правде на нем-то и держится вся политика. Этот гигант-младенец знает только труд и хлеб, живет с утра до ночи, от весны до зимы и от зимы до весны в стихии

труда, хлеба и *собственности*, не выглядывая никуда из нее, как крот не выглядывает никогда из-под земли, под которою ползает. Для него самый смысл государства сливается с обеспечением его труда и его собственности, ибо он только и чувствует государство этою стороною его. И государство обязано смотреть на обеспечение мужицкой работы, мужицкого каравая хлеба, всякого мужицкого рубля с тою взыскательностью и неумолимостью, как оно смотрит в своем городском укладе, городским и даже столичным своим глазом на «посягания на государственную безопасность», даже словесную и мнимую, даже когда она выражалась, бывало, в мальчишеской болтовне.

Суд государственный должен быть в то же время судом народным, т. е. сообразованным, с воззрениями народа на правду и неправду, на порок и только «слабость», на большое и трудное в ощущении, и на легкое и переносимое в ощущении. Без этого суд никогда не получит нравственной народной санкции, без этого народ не перестанет считать преступников только «несчастными», что уже есть, по существу и в идее, полное отрицание и суда и закона, есть некоторая правовая и даже нравственная анархия. Народ должен восстать из нее, освободиться от нее: ибо эта анархия, конечно, есть ужас, есть вечный подсудный хаос и постоянная угроза хаосом.

УРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ

Единственно, на что может опереться надежда России, это на государственное чувство Г. Думы. Не на одно народное ее чувство, не на национальное чувство только, ибо все эти термины иногда смутны, гибки и допускают подтасовки, а на не допускающее никаких подтасовок и совершенно определенное начало государственности и государственного чувства и самосознания. Нации растут, а государство складывается. Государство есть продукт человеческой работы, есть сознательное, целесообразное строительство, и каждое поколение людей, например, и наше поколение, стоит на известном уровне от фундамента и кладет свой ряд кирпича выше и выше, дальше и дальше. Мы должны любить эту свою постройку и беречь ее, по крайней мере, как муравьи берегут свою кучу, или, – чтобы взять сравнение поизящнее, – как пчелы любят и хранят свой улей. К великому несчастью, народное представительство явилось у нас слишком запоздалым, и общество наше, не участвовавшее ни в каких государственных делах, не выработало в себе и никаких государственных инстинктов. Общество наше воспитывалось, так сказать, под единодержавным властительством литературы, текущей печати; а печать эта, воюя с цензурою, злобясь на министров, наконец, смешивая наличного министра и штат его чиновников с правительством, с государством и государственностью, восстановляло общество против го-

сударственности вообще. Общество, отвыкнув от всяких политических инстинктов, разбилось на кружки, клубы, с картами и сплетнями, с остроумием и потугами на остроумие, с злословием, злорадством, особенно в направлении всего, что выходило за его местную кружковщину, т. е., прежде всего, в направлении государственности. Нужно ли указывать читателю, что в теперешних, совершенно новых условиях государственного существования России, перед громадою предстоящего нам строительства, политическая печать Петербурга и Москвы содержит в себе очень мало политического и продолжает беззубое хихиканье клубных старичков, кружковые остроты, сплетни, подзадориванье, злословие и пересуды, – и воображает, что это-то и есть блистательная политика. Социал-демократы 2-й Думы объявляли urbi et orbi*, что теперешнее правительство России есть правительство крепостной и дворянской России, с которым они пришли бороться. Так это или не так в отношении правительства – не будем теперь спорить; но следует настойчиво подчеркнуть, что борьба со старым режимом ведется старым клубным способом пересудов и сплетен и что крепостная дворянская Россия, со всеми ее милыми нравами и приемами, крепко свила себе гнездо в нашей якобы очень либеральной печати. Это именно борьба и работа не государственная, а клубная и гостинная.

Первая и вторая Думы обманули эти государственные надежды. Несмотря на свой эпитет «государственная», обе Думы были смертельно враждебны «государственному» началу, – до такой степени враждебны, что могущественная фракция 2-й Думы не постеснилась политикою заговоров против государства, а остальные ее члены не решились отдать в руки суда подобных законодателей. Состав 3-й Думы совсем иной, но в трудных и новых чувствах нужно воспитаться. Это целая политическая культура, которой нам ужасно недостает. Правая часть членов 3-й Думы крепко стоит исключительно на тех трех «китах», на которых, по формуле гр. Уварова, покоилась старая Россия. Но уже у Каткова эта формула не играла особенной роли; она дает много для мечты, она воплощает политический романтизм, но мало дает для здравой, трезвой политики. Это не компас и не руль. Петр Великий, создатель новой России, не нашелся бы, что делать с этими принципами, и, по крайней мере, с двумя из них обходился очень бесцеремонно, а Петр не только был, но и остается вождем практической России, движущейся вперед, строящей и строящейся.

Нельзя не признать, что видные члены правительства, и особенно глава кабинета, выступая перед Думою, до некоторой степени вводит ее членов, до Думы бывших просто членами общества, в это государственное созерцание, государственное самосознание. И нельзя не пожелать, чтобы подобные выступления делались чаще. Такая речь, как П. А. Столыпина по финляндскому запросу, есть хороший урок серьезной политики и для Думы, и для всей России. Полная достоинства и государственной гордости, с вереницею

---

* городу и миру *(лат.)*.

сконцентрированных фактов в руках, с озиранием на прошлое России, она освещает историческое наше строительство и поднимает сердце граждан. Безобразия, допущенные русскою властью в Финляндии, конечно, не мыслимы были бы в Пруссии и вообще не мыслимы ни в каком культурном государстве; это какая-то картина умиравшей Польши XVIII века, где все разваливалось, где всякий тащил у государства что мог, или это картина Франции времен последних Людовиков и m-me Помпадур, где вместо железных администраторов всем управляли и все направляли напудренные пшюты, женщины и их любовники. Наши либеральные администраторы вовсе не суть герои à la Лафайет, как они мнят себя, а герои именно во вкусе Помпадур, чего они никак не предвидят. Самое появление их на высоких постах можно объяснить только крайнею разрыхленностью вообще нашей государственности, растаявшей под дуновением не столько теплых, сколько прелых дуновений из того же будто бы либерального общества и либеральной печати. Всему этому пора положить конец, – и Дума вправе властно напомнить, что этому нужно положить конец. В этом отношении нельзя не приветствовать и прекрасную речь г. Гололобова. В 1-й и во 2-й Думе мы не слыхали речей, направленных таким образом и проникнутых этим государственным самосознанием. Инородцы и окраины, прислушиваясь к ним, должны почувствовать, что они – покровительствуемые части России, а никак не господа в России.

ПЛАЧ О «НЕДОСТОЙНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ» РОССИИ

«Слово» читает нам лекцию по философии и государственному праву, но так как это не настоящие профессора, то и лекция, конечно, произносится с чужих слов. «Для России национальный вопрос есть вопрос не о существовании, *а о достойном существовании.* Так писал знаменитый философ и публицист наш Вл. Соловьев. Эти же слова его с полным правом можно применить и к нашей государственности». И затем следуют жалобы по трафарету. «К несчастью, Россия как страна не участвует в своем историческом строительстве. Даже и сейчас, когда у нас есть третья Г. Дума, страна в сколько-нибудь широких пределах не допущена к этому строительству»…

Бедные, все-то их не «допустили», когда они решительно сами никуда не шли… Есть поговорка народная, что под лежачий камень и вода не течет. И хотя с таким камнем, конечно, нельзя сравнивать Россию и русских, но с ним очень можно сравнить наш расслабленный, старческий либерализм, который дальше фразеологии никуда не идет и больше фразеологии ничего не обещает из себя дать. Разберемся в «достойном существовании», каким, конечно, уже обладают заправилы «Слова», оплакивающие недостойное существование своего отечества. Сказанная лет тринадцать назад Вл. С. Со-

ловьевым в полемике со славянофилами и Данилевским, мысль эта не блистала новизною уже и в то время. В самом деле, кто же не задавался когда-нибудь задачею о достойном существовании, и можно ли представить такого ненормального субъекта или партию таких ненормальных господ, которые взяли бы да и сказали: «Будем существовать недостойно». Конечно, ничего подобного не было с сотворения мира, и, вероятно, даже Грозный, в кровавой расправе с боярами, полагал, что он достойно существует, а уже о деятельности своей нисколько, конечно, не сомневался, что она ведет Россию к достойному существованию, т. е. действовал по рецепту Соловьева, принадлежащему к числу тех общих истин, которые содержат и все и ничего, и истинны и вместе ложны. Трудность не в том, чтобы следовать этому бессодержательному совету, а в ответе на вопрос Пилата: «Что есть истина», каковым ответом едва ли обладал и Соловьев, как им не обладали славянофилы, и вообще никто им не обладает. Все люди полагают себя «достойно существующими», но существуют разно, потому что с начала мира люди не могли согласиться о том, что такое «достойное существование»; и из-за этого происходили не только войны, но революции, реформации, из-за этого существуют решительно все партии. Космополитическое брюзжание в момент опасности отечества нам представляется крайне «*не*достойным существованием», но вот подите, убедите в этом публицистов «Слова» и «Речи». Перейдем к политике, к государственности, из-за спора о которой «Слово» и вспомнило изречение 13-летней давности, бывшее банальным уже в свое время. Здесь трудность разрешения вопроса о том, какое же именно существование «достойно», к счастью, чрезвычайно упрощается, и громоздкий, тяжеловесный снаряд государственности не мог бы и существовать, будь дело здесь так же запутано и неразрешимо, как в вопросах философии или даже в душевной жизни каждого. «Достойное существование» для государства просто потому, что оно просто само: это – *справедливое* существование, это – *спокойное* существование, это – *независимое* существование и, наконец, – возможно комфортное существование в смысле суммы удобств и вообще хороших вещей, предоставленных в распоряжение каждого, т. е. сработанных государством и отданных им в пользование народа, населения, общества. Все эти цели особой выспренностью не отличаются, но они очень существенны, и население ждет от государства именно этого, и ропщет и жалуется, когда этого нет. Высшие культурные государства Европы, как Германия и Англия, именно к этому и стремятся, этого и достигли, и по удаче их в этих простых делах они и получили наименование «культурных», т. е. «достойных» в высшей степени. Мы, конечно, того же желаем и нашему отечеству. Это – справедливый и *скорый* суд, одно из непременных удобств страны; прекращение смуты; преуспеяние всего материального состояния страны, начиная с дорог и финансов, находящихся в руках государства, и кончая благосостоянием, зажиточностью или по крайней мере не нищетою всего трудящегося населения. Но во главе всего этого и до известной степени впереди этого мы считаем свободу и независимость государ-

ства, или, что то же, – родины, ибо это есть условие всех прочих благ. Государство, которое перестало независимо существовать, – о финансах такого государства уже не приходится говорить. Их просто нет. Нет независимости государства – и тогда нет *его* самого; оно просто умерло, как умирает отдельный человек. Кажется, само «Слово», запутавшееся во фразеологии Соловьева, не нашлось бы придумать, каким образом обсуждать «достоинства» в существовании и вообще все прочие «добродетели» такого переставшего быть государства. Впрочем, философы при напряжении ума могут говорить даже и «ни о чем». Но что обеспечивает независимость государства? Сила, хорошая вооруженность, а внутри – патриотизм. Закованное в железо и с хорошо бьющимся сердцем – оно непобедимо. Вот отчего высокое международное положение России и скорейшее восстановление ее военного могущества для нас есть не третьестепенная забота, стоящая вне рубрики качеств «достойного существования», а есть самое достойнейшее из качеств, первенствующее между всеми. Кажется, это не только так для нас, но и для Германии, для Англии; вспомним испуг французов, даже самых радикальных, когда в 70-х годах минувшего века Германия вдруг повела вопрос об *этой части,* о внешней, международной части «достойного существования» своей западной соседки. Вспомним глубокую тоску южнославянских патриотов, отнюдь не бывших консерваторами, о недостатке у стран их этой же части «достойного» или уж не знаем как – может быть, «недостойного» существования – политической независимости. Есть только единственная страна, в которой несчастным образом завелась обширная куча людей, именующих себя иноземным словом – «интеллигенция», для которой вопросы международного положения отечества, вопросы вооружения страны суть отрицательные вопросы, вызывающие одно глумление, один свист, непонятную злобу. Выучившись за спиной серого солдата, который обеспечил ей комфорт учения, образования, комфорт гражданской и обывательской жизни, – она, эта интеллигенция, потом пинает его в спину, как ненужное и, наконец, ненавистное существо, не соображая даже того, что лишь твердое и *вечное* стояние этого доблестного солдата на часах у родины обеспечивает продолжение учения детям и внукам ее самой; обеспечивает учение по-своему, по-русскому, а не по-немецкому или по-польскому; и, чтобы договорить все, – учение «по-либеральному», а не в строгостях прусской муштровки. Но уже Крылов рассказал басню о том, что свинья никогда не подымет головы и не увидит сучьев того дуба, с которого сваливаются к ее ногам лакомые желуди. От мира, от спокойствия и главным образом от *силы* страны мы все вкушаем; а наевшись, хихикаем сытно о том, что эта страна ужасно как «недостойно существует», все занимаясь солдатами да кораблями, все заготовляя пушки да проводя железные дороги, тогда как могла бы «достойно существовать» без всяких хлопот, трат и забот, просто и либерально существуя, и пережевывая в 1908 году жвачку, заготовленную в период крайней политической реакции, но которая решительно не могла же не прокиснуть и не выдохнуться за целый век жеванья *без всякой перемены.*

НЕПОПРАВИМО ЗАТХЛОЕ ВЕДОМСТВО

I

Несмотря на все переутомление и печати, и читателей, и даже, кажется, слушателей и заинтересованных или, лучше сказать, обвиняемых лиц, приходится снова и снова возвращаться к нашему учебному ведомству. Каждый его шаг задевает каждую городскую семью; каждое распоряжение отдается резонансом не в близком будущем, а сегодня же, в сотнях и тысячах грудей. А между тем эти шаги так неверны, шатки и часто даже вовсе попятны.

Как-то очень подошли друг к другу одновременные сообщения – о московском Румянцевском музее, о новых не «правилах», а каких-то «дополнительных правилах» касательно приемных испытаний при поступлении в Женский медицинский институт и, кстати, еще рассказ о полураздавленном трамваем господине, которого зачем-то сперва оставили долго лежать на улице, потом рассматривали на мостовой и заразили грязью, потом потащили на извозчике в Петропавловскую больницу, там не сделали вовремя операцию и затем сделали ее не в полном виде, и он умер, к ужасу матери и негодованию друзей, но, кажется, при полном равнодушии гг. врачей с их пресловутой «врачебной этикой», которая Бог ее знает что значит. Все родные картины, которыми мы не надышимся. Так бы пора широко открыть двери и форточки и проветрить страну. Все ведь это – тьма, умственная, нравственная, учебно-педагогическая, профессиональная. Везде русские «недоделки», а то и полное «неделание», не философское и не в одной Ясной Поляне, а гражданское и по всей Руси. И вот в самом центре этой тьмы-тьмущей недоделанных дел стоит, увы, не конь, а жалкая кляча, которую сколько ни хлещут, сколько на нее ни кричат со всех сторон, она только водит хвостом и мотает головой, но никуда не поспешает. Бессильная эта кляча – это вся наша училищная система, от которой в последнем анализе все зависит; она держит в своих руках живую воду и мертвую воду, которою напояет всю Россию, по своему выбору подставляя одну воду или другую.

Рассказ Москвича передал, и очень вовремя, в слух всей России то, о чем лет восемь назад подробно плакался годовой «Отчет о состоянии московского Румянцевского и Публичного музея». Мы тогда же дали краткую отметку об этом «Отчете», обращая чье следует внимание на дело, но, конечно, никто никакого внимания не обратил. Ведь это не обещает никому «негласных доходов», как и никому никакой карьеры. А любят у нас только эти две вещи. Румянцевский музей, воздвигнутый «на благое просвещение», – как значится на мраморной доске в его читальном зале, ничего не стоил казне и, в частности, министерству народного просвещения, которые его только «приняли», только имели труд «принять». Пожертвования Румянцева, Норова и многих, многих других собрали одну из прекраснейших в Европе библиотек, которая поистине украшает Москву, а по способу происхождения своего, – из пожертвований, из энтузиазма к просвещению, – де-

лает честь России. Неужели при нашем полуторамиллиардном бюджете, при пятисоттысячных, а если верить слухам, и миллионных затратах на яхты для каких-то мифических «служебных поездок», а в сущности для приятных прогулок, при разъездах высоких чинов всех ведомств на «шести и двенадцати лошадях» по делам службы, когда везде есть для этого железные дороги, и вообще неужели при наших безумных и расточительных тратах на пустяки, на вздорные вещи нельзя было г. министру просвещения войти с всеподданнейшим докладом об этом благородном русском учреждении и, рассказав вкратце его историю и сущность, попросить грошей на то, чтобы, по крайней мере, хорошо принять, хорошо поместить и широко утилизировать этот даровой дар русского великодушия, русского ума, русского энтузиазма к «благому просвещению»? Душа меркнет при мысли, что никого не нашлось для этого, никого в целом ряду министров просвещения, которые, кажется, это «благое просвещение» считали самым плевым делом в России, самым ненужным делом для России. История нашего неделания, история нашей косности и лени – это какой-то кошмар. Точно привидение со страшной рожей, с чудовищными движениями или, лучше сказать, с чудовищной недвижностью. Дали дар «просвещению», а «просвещение» бросило дар в грязь. Не нашлось комнат для помещения книг, – и вновь поступающие книги, как значилось восемь лет назад в «Отчете», стали *складывать на лестницах,* а как теперь передает г. «Москвич», *ценные издания* переносятся *в подвалы!* Некуда деть и, право, хоть бы сжечь это обременительное богатство, как поступили арабы с Александрийской библиотекой! До того это надоедает, наравне с Публичной библиотекой в Петербурге, министрам просвещения, которые и с «ближайшими-то задачами» не справятся, которых ведь какая тьма, и все «текущие»! «Текущие», «истекшие» и намеревающиеся «потечь» дела целый век относились к возне с «неблагонамеренностью» сельских учительниц, которые были неблагонамеренны больше всего оттого, что были голодны, и с «вредным направлением общества», которое «вредно» направилось просто оттого, что министры ничего не делали хотя бы для «благого просвещения». Общество задыхалось в тьме и волновалось; задыхалось в безделье, в общегосударственной бездеятельности и тоже волновалось; и вот это-то волнение, столь закономерное и ясное в источнике, принималось за доказательство вреда просвещения и за рискованность приступить к какому-нибудь делу, деловитости, что-нибудь предпринять, двинуться вперед. Все сперлось с обеих сторон в какой-то темный угол, где кто-то кого-то душил, кто-то чем-то был напуган, и все это происходило единственно от недостатка очевидного света там, где люди обязаны же были рассмотреть друг друга и понять, кто что говорит.

Никогда наши министры просвещения не имели этого светлого, широкого, радующегося взгляда на просвещение, на ученость, на книжность, на библиотечность, на музейность, на всю эту великолепную и старинную арматуру, в которой со времен Птолемея Филадельфа всегда появлялась человеческая любопытствующая и ищущая мысль. Скорее военное и морское

министерства отличались этим духом, воздвигнув и Соляной городок, этот наш первый народный университет, и послав от себя и на свои средства целый ряд научных экспедиций. Министерство народного просвещения, кажется, еще ни одной ученой экспедиции никуда не отправило, и, кажется, оно вовсе не догадывается, что есть связь между наукою и учебным делом, между оживленностью науки и оживленностью всей сети училищ. А между тем без оживления здесь, наверху, все останется мертво и внизу; все останется затхло, черство, именно непросвещенно. Наши министры народного просвещения никогда не встретили приветливо ни одного учебного и даже просветительного начинания, зарождавшегося самостоятельно в обществе или у отдельных энтузиастов. Не говоря о настоящем внутреннем сочувствии, которого хотелось бы и ожидалось бы здесь видеть, – не хватало простого даже такта. К своим замечательным ученым, вроде Менделеева, они относились так небрежно и высокомерно, словно это были люди, чем-то лично их оскорбившие. Кажется, оскорбление заслугой «не по штату», достоинством не «по мундиру». Общество их чтило, и чем выше было почитание общества, тем сильнее старалось их унизить министерство, для чего-то становившееся с ними в нелепое соперническое отношение. К гоголевскому афоризму: «Не по чину берешь», т. е. берешь взятки выше, чем какой носишь чин, кажется, нужно прибавить гораздо более печальный афоризм: «Не по штату служишь», т. е. служишь больше, усерднее, талантливее, чем сколько служат чиновники определенного невысокого штата. В самом деле, по настоящему периодический закон химических элементов следовало бы открыть если не самому министру просвещения, то хоть уж заслуженным членам Академии Наук, давно сущим в чине тайного советника: и вдруг его открывает простой профессор университета, даже не старый! Путаница в табели о рангах и несносная обида начальству.

II

Обратимся к текущим фактам. Вся Россия приветствовала и приветствует глубоко женское образовательное движение, и почти исключительно частными пожертвованиями были собраны большие суммы, необходимые для Высших женских курсов в Петербурге и почти во всех университетских городах. Не иначе шло дело и создания Медицинского Женского института. Это был так же дар на «благое просвещение» русских людей, как и Румянцевский музеум; только этот дар был положен на «исцеление и оздоровление» болеющих русских людей, т. е. он был положен как-то практичнее, ближе к жизни. Отвергнуть, что учащаяся женская молодежь ответила и отвечает горячо на эти ожидания общества увидеть от женщин медицинскую помощь народу, этого никто не сможет. Всякому, кто состоит не в штатах министерства просвещения, а кто непосредственно живет в обществе и осязательно видит занятия молодых людей, несомненно, что студентки занимаются куда старательнее студентов, что пропуски лекций, прогул их, отлынивание от

клинической работы и проделки на экзаменах здесь не встречаются или составляют редкое исключение, объясняемое исключительным семейным или домашним положением. Все это совершенно объяснимо между прочим и из того, что образ жизни молодых девушек, конечно, вовсе не тот, каким, к несчастию, живет большинство мужской молодежи. Здесь есть не только прилежание, но и энтузиазм, – может быть, объясняемый неопытностью, наивностью, незнанием жизни и ее суровой практики, но он во всяком случае есть, он виден обществу, и уж «благому просвещению» следовало бы его поддержать, а не обливать холодною водою. Но решительно не нашлось ни одного слова привета этому молодому движению со стороны министров народного просвещения, которым ведь так легко было бы овладеть всем движением, поправить его возможные кривизны и опасные дорожки именно через этот путь настоящего сочувствия, крепкой помощи, всегдашней поддержки. Сотни и тысячи девушек можно было бы кинуть и в науку, и в практику, кинуть в деревню, к народу, – умным, вовремя сказанным словам, или каким-нибудь научным предприятием, или практическим поручением, вверенным институту. Ничего не было, однако, сделано и никакого слова не было сказано. Кисли, кисли, и, наконец, вот выходят какие-то правила или полуправила, или «дополнительные правила» о том, что уже сдавшие экзамены по латинскому языку должны вторично их сдать, или что сданные весною недействительны, а будут действительны сданные осенью. Что-то до того мелочно, до того серо и никому не интересно, что, прочитав правила, сейчас их забываешь, и если нет текста под рукою через несколько часов, то совершенно не можешь припомнить и их смысла. Верно, его не было, или был смысл только грамматический, а не житейский.

И опять этот несчастный латинский язык, без которого не умеет жить Россия. Разве не знали латинского языка те операторы Петропавловской больницы, которые не доделали операцию привезенному больному, или тот другой оператор, который недавно по неведению отрезал несколько аршин кишки у больной женщины, приняв кишку за что-то другое? Тут не латинский язык, а бессовестность (конечно, при соблюденной «врачебной этике»): именно то, чем не запаслись, или, лучше сказать, чем не растлились слушательницы института.

Упускаю то, что не могло всех не поразить: введение нового предмета в круг испытания – латинского языка – делается в то время, когда *испытания в институте уже производятся.* Через год после того, как экзамен был выдержан, успело многое забыться по части мелочных грамматических правил. Каким же образом теперь, *без подготовления,* ученицы будут держать этот вторичный экзамен? Всякий знает, что подготовление должно *непосредственно* предшествовать экзамену, что тут много значит *свежесть* памяти! Будь объявлено об этом заранее, они бы подготовились! Возможно ли требовать так поздно?! Есть масса бедных учениц, заплативших последние родительские гроши за подготовление к экзаменам по математике, физике и другим предметам. Если они не выдержат из внезапного латинского языка, –

за какую вину министерство несвоевременным своим распоряжением ввело их в напрасные расходы? С деньгами, и особенно с деньгами неимущих, нужно обходиться бережно.

Но оставляем эти мелочи в стороне. Нам хочется поговорить о принципиальной стороне дела.

Как легко было одушевить их к усиленным научным занятиям и, уж если так приспичило, даже к латинскому языку: но одушевить иначе, не этим канцелярским распоряжением и суконным слогом, обращенным к учреждению, которое во всяком случае досталось министерству без его хлопот, без его забот, а буквально пожертвовано обществом «на благое просвещение». Кажется, что всякое распоряжение должно бы быть здесь особенно осторожно и не делаться так свысока. И, главное, самое распоряжение высказано совершенно отвлеченно: об огромной старательности приготовления к вступительным экзаменам в этот институт, с его серьезной программой и серьезными обязанностями, могли бы засвидетельствовать министерству те преподаватели в Петербурге, у которых берут приготовительные уроки желающие вступить в этот институт. Оно бы узнало с удовольствием, а может быть и с раздражением, что эти подготовления совсем не таковы, как былые приготовления, к былым «испытаниям зрелости» в министерских гимназиях, когда ученики не столько надеялись на занятия, сколько на подделанный ключ к ящику, где хранились пресловутые казенные «темы». Можно подозревать, что современные славные операторы испытывались из латинского языка именно с помощью этого «ключа». Нельзя не заметить, что г. Шварц был директором гимназии и профессором греческого языка в Московском университете в самый разгар работы «ключей», и что, оглянувшись на это печальное прошлое казенного классицизма, он мог бы и не быть столь формально сух и «ни за что неуступчив» в своих новейших требованиях.

Все это мы говорим не к ослаблению занятий и требовательности на экзаменах, которым скорее желаем возрастать и возрастать. Медицина слишком серьезная вещь, чтобы не быть здесь требовательным. Здесь что не доскажется у экзаменационного столика профессору, то доскажется такими печальными последствиями у постели больного, что не дай Бог. Но все это не касательно латинского языка, и все это – при переходных и особенно при выпускных экзаменах, а не вступительных. Однако и ослабления последних мы тоже не желали бы, но не по части же латинского языка, который тут вовсе ни при чем. Не в этом все дело, а в тоне, который делает музыку. Министерству народного просвещения и, в частности, министрам народного просвещения давно надо переменить *тон,* каким говорится о просвещении, каким обращаются к просвещающим и просвещающимся, к профессорам, к учителям гимназий и училищ, к учащимся. Надо не приказывать, а одушевлять; надо вести, предводительствовать, а не гнать; надо говорить тоном благородных традиций от Птолемея Филадельфа до Кольбера, заложившего ядро Национальной библиотеки во Франции, до нашей Екатерины и первых дней Александра I, когда по мановению сверху множество русских людей

понесли свое достояние на «благое просвещение». Человечеству так присуще любить его, наука есть такая благородная и самовлекущая область, что поистине здесь нужен самый небольшой толчок, нужно просто отсутствие косности и грубости в «приемлющих» и говорящих, чтобы все бросилось служить этому делу, служить книге, школе, лекции, музею, библиотеке. Никто не поверит, что наши казенные учреждения, притом даже из знаменитых, пользуются *даровым приватным* трудом учителей гимназий, ничем не оплачивая, напр., годовую работу, по нескольку часов в сутки производимую из энтузиазма к науке, по части разбора, приведения в порядок и описания казенных научных сокровищ! Миллионное учреждение недодает платы, *ничего* не дает за определенную усидчивую работу на его пользу, из любви к науке производимую!! Я не скажу имен, потому что благородные труженики будут смущены и могут быть даже испуганы подозрением, что они жаловались: ибо они никогда не жаловались, и попавшие ко мне сведения попали случайным и кружным путем, из рассказов *третьих,* нисколько не заинтересованных лиц. Пусть это и останется все в тьме, но я прошу читателей поверить моему самому серьезному уверению. Не один Румянцевский музей, но и Публичная библиотека, и ученые учреждения, особенно ученые общества при университетах, – все это у нас существует немножко по способу бедных сельских учительниц, недоедающих и холодающих: только пропорционально масштабу. Даже, взглянув на это дело и *зная его подробности,* зная, что все *трудящееся и существующее для науки* у нас нищенски оплачивается и нищенски содержится, недоумеваешь: *кому* же идут жирные куски? Ибо – с позволения сказать – в «прорве» каждого министерства все же тонут многие миллионы, и кто-то потихоньку много и хорошо ест. Последнего я не знаю, но я не могу не заключать об этом по решительно плохой еде всего *ученого* люда в России: всех, кто истинно трудится натурою на прекрасное «благое просвещение», – трудится умом, талантами, знаниями, бессонными ночами. Слава Богу, такие еще есть: иначе совсем темно и грустно было бы на нашей Руси.

РОСТ СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА

Среди будней мелких дел и сильных удач и неудач, в каковых выражается всякая история, всегда высоко выделяются, редкие к сожалению, дни славянского единения. В них мы всегда имеем успех – и это одна из причин той радости, какую испытывают все участники, зрители, деятели и просто посторонние люди в подобные дни. Здесь нет неуспеха, нет проигрыша, нет ущерба, какой возможен или соприсутствует во всяком другом политическом и культурном деле. Всякий славянин, увеличивающий собою съезд, всякая речь, произносимая в одном или другом месте, перед одними или другими слушателями, – все это, и большое и малое, и более талантливое и менее

талантливое, прибавляет кое-что на ту чашу весов, где положено «славянское богатство» и тянется или перетягивается с богатством германским, французским, объединенно – с европейским. Пока наша чаша высоко поднята вверх, мы слабы, страшно слабы в сравнении с огромною нас перевесившею чашею соединенного европейского мира. Но в то время как он не растет более, пережив пору молодости и возмужалости, – славянский мир, последний и самый молодой на Восточном континенте, в каждом новом дне получает новую прибавку к своему весу. А в силу молодости, недоделанности, незрелости его, – здесь всякое дело, всякая личность, всякое усилие и начинание приносят явный, ощутимый плод. Дни же подобных нынешнему съездов, когда все славянское дело сваривается в одну массу, когда начинают соединяться разрубленные члены огромного славянского тела, – суть дни огромного прибавления нашего веса на международных и политических, и культурных весах.

Как мы можем этому не радоваться? Как может не принять участия в этой радости каждый славянин, каждый русский?

Съезды эти по самому существу дела не могут не иметь еще и того идеализма, который проистекает из естественного отношения всего, что чувствуется и что говорится на них – к будущему. А будущее не имеет того сора, тех занозин на себе, тех болей и оскорблений, какие, увы, несет в себе всякое настоящее. Съезды эти по существу дела мечтательны, а мечта чище действительности. Мечтательны они не в смысле иллюзорности, неисполнимости – напротив, в этом смысле они крайне реальны, – а в том смысле, что предмет их еще не настал, что все здесь пока находится в фазе чаяния, желаний, надежд. Съезды эти, конечно, имеют объединительную силу, огромную объединительную силу, ибо ни на чем так хорошо и чисто не сливаются люди, как на мечте и надежде.

Вопросы, поднимаемые на этих съездах, по необходимости остаются в пределах большой отвлеченности. Но это не ущерб делу: они тем выше, тем одухотвореннее, тем культурнее. Славянский мир, его теперешние устои, его возможное грядущее – все это содержит в себе чрезвычайно много трудных и интересных проблем, далеких от разрешенности. О всем этом написаны книги, но не мешает обменяться и живым словом. В живом слове, в живом личном общении вопросы эти теряют книжную бескровность и окрашиваются совсем другими цветами, о чем часто и не подозревают авторы книг, люди кабинетные. Таков весь живой и мучительный русско-польский вопрос, вопрос до некоторой степени православно-католический. Здесь отвлеченным спором и отвлеченною примиренностью ничего не поделаешь: здесь многое нужно пережить, увидеть, ощупать. Все это дается или ко всему этому даются подступы на славянских съездах. Они незаменимы в смысле личного общения множества представителей самых различных славянских народностей, самого образа, самого лика которых не знают другие народности в конкретных чертах. Живые особенности характера, теоретические и практические свойства ума – все это может

служить новым материалом для наблюдения и наблюдательности на общеславянских съездах.

Печать и общество наше без различия партий должно бы живо откликнуться на эти съезды. Так много в них хорошего и обещающего, так много положительного. К сожалению, среди партий наших есть такие, для которых неприемлемо решительно все, что хоть в какой-нибудь доле не имеет нигилистического привкуса. Как хорошее кахетинское вино должно пахнуть бурдюком, т. е. шкурой буйвола, в которой его первоначально перевозят, – так, по мнению этой несчастной части русских, всякий съезд есть не съезд и всякое общение есть не общение, если на нем не произносятся прокламационные речи, уязвляющие тех bêtes noires*, образом коих измучено их бедное воображение. И хотя славянские съезды суть молодые, идеалистические съезды, отдаленное намерение которых заключается в сохранении и защите всякой крохи славянской народности, куда бы она ни была заброшена историею и как бы ни была угнетена политикою, однако при всем благородстве этих целей в некоторой части русских они возбуждают брюзжание или явное желание замять их значительность. Но именно в текущие дни эти партии обретаются «не в авантаже», как говаривал Петр Великий, – и брюзжание их поневоле выходит глухо.

Для всего здорового русского не может быть этих вопросов и сомнений. Славянское единство, гармонизация различных тонов, голосов и красок, какие есть в славянском мире, что составляет ближайшую цель и ближайший результат подобных съездов, – это такая положительная вещь, такое положительное благо, которому не может не сочувствовать ни один добрый и разумный человек, если только он не одержим какою-нибудь специфическою и злою идеею. С каждым таким съездом мы становимся умнее, просвещеннее и сильнее: кажется, тут нечего отрицать.

В новых условиях гражданской жизни в России общеславянская идея получила себе великую помощь, – как это справедливо было отмечено на съезде. Все вопросы междуславянской тактики, в частности, русско-польских отношений, чрезвычайно смягчились от этого. Теперь уже не может раздаться в этой линии таких горьких жалоб, злых упреков, а выслушивающим упреки не придется потупленно молчать. Все это было и все это прошло. Коренному русскому народу дышится легче: и всякой народности, какая бы ни попала в черту русской государственности, будет легко дышать: или, по крайней мере, условия дыхания будут в значительной степени в руках самих дышащих и зависеть от их отношения к русской народности и к русскому государству. Это совсем другое положение, чем было прежде. Нет былой ужасной пассивной мертвенности, где все было безнадежно и могло доводить патриотов маленьких народностей до отчаяния.

---

* страшилища, жупелы *(фр.)*.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СЛАВЯНСКОГО СБЛИЖЕНИЯ

Постановка всеславянского сближения на деловую почву взаимного торгового обмена и передачи культурных навыков земельного хозяйства нашим крестьянам содержит в себе самые богатые обещания. Слабостью славянского сближения было всегда то, что это было исключительно идейное сближение, литературное, книжное, словесное. Оно могло обнять только образованные классы, но не могло задеть народа. Между тем очевидно, что только то одно, что охватывает собою и народную массу, может получить настоящую историческую значительность. Оговорившись, что наша благодарность к этим литературным начинателям, Коллару, Шафарику, Ганке, Палацкому, Аксаковым, Киреевским, Хомякову, Погодину, Гильфердингу и другим тем безмернее, что их благородные усилия наконец привели и к материальному, к вещественному сближению славян между собою, – перейдем к этому последнему. Основание Славянского банка, наподобие Deutsche Bank, с аналогичными функциями и целями, конечно, двинуло бы славянское дело в России и русское дело среди славян так мощно и реально, как этого не в силах сделать никакие речи, книги и съезды. Время наше слишком деловое, а лично для всякого оно есть слишком трудное время, чтобы можно было рассчитывать на сухой идеализм участвующих сторон и массы лиц, без прибавки чего-нибудь более существенного. Говорим это не в упрек живущему поколению, а с сознанием, что ему трудно и что не нужно испытывать и излишне натягивать ничьи силы. Расчет на чужой идеализм всегда есть проявление эгоизма в том, кто так рассчитывает. Отбросив фразы, скажем ту очевидную истину, что все славянские отношения станут легче и сделаются гораздо обильнее, неизмеримо обильнее, как только они станут выгодны. Это – рычаг, который еще никогда не обманывал. Приложить его к действительному междуплеменному общению с обширными политическими и культурными перспективами в будущем значит могущественно приблизить к себе эти перспективы, сделать заинтересованными в них сотни тысяч и миллионы людей, городские и сельские массы.

Дай Бог всему этому осуществиться.

Деловое сближение есть в то же время и культурное. С помощью выставок славяне будут сближаться между собою практическими сторонами ума, будут сближаться художественным и вкусовым способом, а это захватывает добрую половину культуры вообще. Торжество славянского вкуса, славянского чувства красоты и соперничество его с германским и галло-кельтическими тенденциями в этой области есть не только великая славяно-русская задача, но она много обещает и для всемирного культурного развития. Теперь везде господствует декадентский стиль, какой-то международно-безличный, – стиль личных вывертов и кривляний. Утомленная давними и однообразными традициями классицизма и готики, Европа кинулась на эти декадентские выверты, просто ощутив в них новизну и возможность отдох-

нуть от давно приевшегося. Славянское народное искусство в его мягкой прелести и простоте может сыграть свою огромную роль. И здесь славянское общение может принести неизмеримую пользу тем, что через него славяне первоначально дополнят друг друга, научатся один у другого, и затем с отборным, лучшим и выверенным пойдут на состязание перед всемирной оценкой. Искусство же – это не одна архитектура, не одно художество: это – мастерство красиво жить, мастерство красивого быта. Оно разливается на подробности и частности всего житейского обихода, и так же, как в красках или бронзе, может выразиться в покрое платья, в фасоне мебели и домашней утвари, в убранстве комнат, окон, в узоре ковра и мебели. Работа, ремесло здесь сливается с художеством; здесь может проявиться и индивидуальный гений, и это может дать заработок кустарничающему селу или уезду.

Обещания всего этого безграничны, практическая польза – неизмерима. Дай Бог всему этому двинуться энергичным шагом вперед.

ПАРТИИ ДУРНОГО ТОНА

Есть неопределенное и очень сильное выражение, пожалуй, самое сильное в отрицательном смысле, – «дурной тон», «человек дурного тона», «люди дурного тона». Не составляя никакого юридического понятия и не содержа никакого судебного обвинения, термин этот, будучи приложен к кому-нибудь, говорит о совершенной непорядочности того, к кому он приложен, вследствие чего людям тяжело водиться с ним и они всячески желают уклониться от общения с ним. Прилагается он к людям судебно неуязвимым, формально неуязвимым. Но известно, что под суд попадают иногда люди невинные и неопытные, по случаю и несчастию. Вот отчего с обвиненным по суду человеком общество не всегда прерывает общение. Судебное обвинение не всегда нравственно марает. Но «люди дурного тона» безусловно и во всех вызывают к себе отвращение как люди, которые все марают собою, к чему ни прикоснутся. Оттого как мимо грязи проходят подобравшись, так и мимо таких людей невозможно проходить, не принимая всех гигиенических мер.

Мы в свое время отдавали должное крайним левым партиям в Г. Думе, отмечая их наивность и недостаток в них образовательного ценза, но указывая на искупающую чистоту характеров. Так мы говорили о трудовиках в первой Думе и по поводу речей Церетели и о социал-демократах. Мы были уверены, что этот юный студент, кажется, из недоучившихся, говорит от всей души, и хоть и говорит наивный вздор, не зная России и русской истории и вообще не зная ни о чем, что происходит во вселенной, и только начитанный в социал-демократических брошюрках. Говоря и определяя так, мы откидываем деловое значение его речей и вообще левых речей в Г. Думе, не трогая нисколько нравственного достоинства говорившего. И это было не только внешним отношением, но и внутренним.

Но и для крайних настала ночь. Она настала не в том, что они политически разбиты и разбежались по своим норам, не в том, что их речей никто в Думе не слушает, и там же они получают себе те резкие и прямые заявления, ответы и клички, какие, бывало, сыпали сами и тогда не находили возражений. Нет, не в этом их падение. Политически разбитые партии нередко возвращались с торжеством, и общество поворачивалось к ним с вниманием и уважением, если в то же время в годины отвергнутости они умели сохранить в себе нравственное достоинство. Но для наших крайних, кажется, не настанет второго утра. За время краткого торжества своего они выказали не одно политическое убожество, с чем можно было бы еще мириться, но и такие душевные качества, которые решительно непереносимы для всякого свежего ощущения. Что показали они кроме беспредельной зависти неимущих к имущим, кроме всяческого недоброжелательства всего расстроенного и беспорядочного ко всему устроенному и упорядоченному? Это зовется «русской анархией», которая не имеет ничего общего с «анархиею» таких людей, как Э. Реклю и кн. Кропоткин, а родственное разве анархии Вяземской лавры. Мы говорим это не без данных, потому что те «экспроприации», какие были совершены в ломбардах, винных лавках и, наконец, в мелочных лавочках, показали всей России и Европе, под каким углом надо рассматривать наших максималистов. В революции не Русь, искалеченная и несчастная, вставала на ноги. Это были лихие люди, отбившиеся от отца с матерью, которые в годину несчастья родного дома бросились на него, чтобы растащить его по бревну, а что останется – сжечь. Стоит вспомнить радость об «иллюминациях» и недвусмысленный призыв жечь далее, жечь больше; достаточно вспомнить лозунг: «Берите вклады из сберегательных касс и требуйте золотом», с очевидным расчетом разорить государственную казну, да кстати миллионы беднейших вкладчиков, – все тружеников, живущих личным трудом, – и для всякого станет очевидным, что люди эти налетели на Россию не в целях спасения, а в целях все пустить на ветер, на слом и разор. Теперь, когда палка больно ударила по этим господам, они пошли в «культурную работу» и дорабатывают ее в «лигах любви», «лови момент» и «огарков». Никто не оспорит, что это те же инстинкты, те же люди, те же поползновения, то же общее, одно движение. Начали с пожара. Потом пограбили. Кончают соблазном и развращением гимназисток.

Эти господа, втершись в Г. Думу и под защитою «неприкосновенности депутата» начавшие государственно-уголовный заговор, т. е. самое депутатство свое обратившие в ложь, обман и личину, показали, что они так же мало церемонятся и с всемирною порядочностью, требующею «не лги», как мало церемонились и с всемирным законом собственности: «не кради, не разбойничай». Мы здесь менее имеем в виду самый заговор, чем ложь, к которой *осмелились* прибегнуть депутаты. Ибо по существу вещей депутат есть лицо, исключающее всякую мысль об обмане, о лжи. Тогда что же от него останется и что вообще останется от Думы, от парламента, конституционализма? Сор, копоть, негодяйство. Этот случай принятия на себя депу-

татства как *личины* внес позор не политический, *а нравственный* в первый же шаг молодого русского конституционализма. Это невозможно забыть. Левым нашим не простят этого не консерваторы и националисты, а именно друзья русской свободы: ибо «не лги» – это космополитическая заповедь и условие вообще порядочных отношений в целом мире.

Весь этот дурной тон так и дохнул на печать из «Современного Слова» по поводу двух последних речей в Г. Думе г. Гучкова. Газетка и ябедничает, и трусит, и льстит. Целует ручку и за спиною ругает. Газетке нет дела ни до флота, ни до армии, ни до России. Осуществляя «классовую борьбу», она видит в солдатах только «взятых в плен» на три года пролетариев, в матросах – переодетых из блуз в куртки пролетариев же, и в самом русском народе – пролетариев и пролетариев. Упуская все, что этот думский оратор сказал об армии, все, о чем болит и не может не болеть всякая русская душа, упуская угрозу миллиардных расходов, которые и нужно сделать и нельзя сделать, и всю эту безвыходность положения России, – «классовая газетка» только визжит от удовольствия, что оратор «уязвил», не замечая невыразимого своего убожества, невыразимой смрадности всего этого тона, от которого на версту разит лакейской. Ну, господа, разъясните же «закулисную сторону» смелости г. Гучкова, если вы что-нибудь о ней знаете или слышали? Ему никак не могут дать ордена или дать высокого назначения, так как критика его коснулась того, откуда дается все это? Так, может быть, за будущую смелость ему обещал авансом пэрство английский король? Не скромничайте, друзья, поделитесь вашими сведениями.

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС В Г. ДУМЕ, В МИНИСТЕРСТВЕ И В ЖИЗНИ

I

Несколько заседаний Г. Думы, посвященных бюджету министерства народного просвещения, снова напомнили обществу некоторые первоначальные истины, о которых оно никогда не должно было забывать, и вместе с тем собрали мысль его около вопросов, часто горячо у нас оспариваемых. Должна ли школа быть национальною или общечеловеческою? Вопрос этот до сих пор не решен у нас ни жизнью, ни теоретиками, потому что до сих пор жалкая история нашего просвещения не решила даже грубейшего вопроса просто о *хорошей* школе, и, наконец, даже вопроса о самой насущности, о наличности школы. Контингент непринимаемых ежегодно за теснотою помещений слушателей и слушательниц высших учебных заведений, особенно – технических, наконец, *конкурсные* испытания, введенные даже при поступлении в 1-й класс обыкновенных гимназий, все это показывает, что ученье наше проходит не фазис классических или реальных споров, клас-

сических или реальных тенденций, а просто фазис квартирного вопроса, кирпичного вопроса, т. е. в конце концов – рублевого вопроса. Как бедный жилец, не имея где голову преклонить, переходит из улицы в улицу и иногда иронически задается думою, как был бы он счастлив, будучи собственником тех или иных роскошных палаццо, мимо которых бредет, так у нас в пору Каткова и его яростных противников поднималась до облаков пыль из-за того, быть ли у нас гуманитарной школе или прикладной и практической. Мы были так наивны или, вернее, нам было позволено остаться настолько наивными, что мы начали даже, по поводу наших несуществующих или полусуществующих училищ, припоминать гигантские образы Гёте и Бэкона Веруланского, гамлетовски недоумевая, чем нам быть, что выбрать для последования, Гёте или Бэкона? На самом же деле перед нами, в переносном смысле, стоял вопрос о том, сморкаться ли нам в платок или двумя пальцами. В чаду споров писались пышные философские и эстетические статьи на эту гамлетовскую тему, была переведена в семидесятых годах даже специальная книжка: «Бэкон Веруламский и *реальная философия*», имевшая помочь тенденциям реального просвещения; и все это было очень удобно для жесткого министерства просвещения тех дней, так как мы, конечно, не унизились до вопроса о том, *где* же, в каких *зданиях,* в которой *квартире* мы будем упражняться в подражании Гёте или Бэкону? Это был бы пренеприятный и даже опасный вопрос для министерства, молчаливо давно решившего, что ни в каком случае не должно быть велико *число* школ. Число школ не должно было быть велико, ибо тогда в них полезли бы знаменитые «кухаркины дети», и, чего доброго, Россия могла бы остаться без поваров, конюхов и лакеев, и тогда как же бы стали обходиться руководители и вдохновители министерства? Эта мысль, наполовину порочная и наполовину совершенно глупая, доминировала в нашем министерстве лет тридцать. Даже до сих пор, может быть, не для всех ясно, что при *всяком* числе школ и кухарок, и конюхов, и лакеев останется до избытка много для всевозможных потребностей, а контингент высокообразованных и тонко развитых людей до ужаса ограничен в самой природе, в самой структуре человеческих способностей. Не могущих учиться или успешно учиться, увы, всегда до грусти много, *заботиться* об этом нечего: и для министерства единственная натуральная забота должна была и должна всегда заключаться в том, как бы хотя единому мальчику или девочке, желающим учиться, талантливым к учению, не было отказано где-нибудь на пространстве всей России в способах отлично, легко и культурно учиться. Под «легко» мы разумеем, конечно, не облегченность учения, а материальную, денежную легкость ученья в стране, вот эту квартирную и всяческую физическую, экономическую его легкость. Один культурный работник, настоящий, хороший культурный работник, вознаградит сторицею страну за бесплатное или малоплатное обучение сотни своих товарищей в бесплатной или дешевой школе, гимназии, университете. Не нам доказывать это, – не нам, у которых на самой заре училищ появился Ломоносов. Но мы не берем такой исключительной меры и указы-

ваем, что прекрасный врач, тонкий инженер или механик, отличный учитель гимназии или честный профессор университета уже вполне дают эту уплату сторицею. Вот отчего не проигрывают, а выигрывают, материально выигрывают страны, где, как в Швеции, обучение близко к бесплатному, и не только низшее, но и среднее и высшее. Плата имеет более педагогическое значение, как напоминание и ученику, и семье его, что, учась в школе, мальчик приобретает некоторую ценность, некоторую стоимость, что-то дорогое, о чем и он, и семья его должны думать и заботиться, должны относиться к этому культурно, деятельно, духовно, а не спустя рукава, не механически. «Даровой хлеб изо рта валится, а дорогого хлеба крошечки подбираются». Вот в этих и никаких других целях еще должна быть или может быть удерживаема плата за учение. Без этой цели, т. е. в среде населения уже давно культурного, уже традиционно культурного, обучение низшее, среднее и высшее, заведуемое совместно и дружелюбно государством, обширными общественными организациями и церковью или священниками, должно бы даваться совершенно бесплатно всем и каждому, по всей стране, всюду: как бесплатно всем дается литургия, богослужение, таинства церкви, святая вода, даются проезжие дороги и вообще элементарные и необходимые условия нравственного и физического существования. Как нет в России не похороненного церковью человека, будь он последний бедняк, так в России не должно бы быть не выученных мальчика и девочки, какого бы звания и откуда бы они ни происходили, какого бы они ни были племени и веры. И если государство с двухмиллиардным бюджетом не останавливается перед многомиллионными затратами на подготовку флота, который будет биться один, два, три дня, если оно тратит и признает нужным тратить, охотно тратит средства на армию, т. е. на то, чтобы страна была не рухлядью, а твердынею, то совершенно естественно ожидать и желать, чтобы она ассигновала огромные средства на то, чтобы стать духовно вооруженною страною, умственно мощною страною. Это есть основа и армий и флотов, т. е. ученье в тех и иных видах есть общий фундамент, на котором все это стоит, и все это только тогда не шатается, не расседается, не крушится, когда тверд фундамент, когда тверда предварительная настилка. А эта настилка армий и флотов, и другая настилка чиновничества, сановников, всевозможных практических деятелей жизни, – она дается в возрасте от 10 до 12 лет, дается школьному поколению страны, многомиллионному. Как в городе нет вопроса об ассенизации, ибо это условие здоровья жителей, нет вопроса о водопроводе, ибо это есть вопрос кухни и умыванья, так не может быть вопроса об обучении со стороны его *обилия* и *легкодоступности,* со стороны *числа* школ, ибо духовное здоровье страны есть вещь не менее безотлагательная, чем здоровье физическое. О холере не рассуждают, а ее лечат, о дифтерите и скарлатине не спорят, а с ними борются, оспу прививают тоже без диспутов; так нужно и так предстоит нам сводить на «нет» каждый уголок темноты, невежества, неведения, незнания, неосведомленности. Сводить их должны учитель, родители, священник, общества – все, решительно все. Но первым

и впереди других, раз уже это существует, должно, конечно, идти министерство народного просвещения. Это его гордость, это его флаг. Зачем же флаг, если нет судна, или оно идет задним ходом?

Простые вопросы, а как они для многих не ясны!

Численность школ, всевозможное их *разнообразие, доступность* их для всех – эта сторона дела должна быть совершенно отделена от вопроса о направлении школ, о реальном или классическом их характере, наконец, от вопроса об их здоровье или так называемом «благополучии воспитания». Для многих не ясно, что это надо отделять. Многие *честнейшие* люди думают: «Воспитание болезненно, из воспитанников выходят уроды: не надо школ и не надо их *много*». Нет, повторяю, все дело запутается и, наконец, оно просто будет ненаучно поставлено, нерационально поставлено, если мы совершенно не разделим этих вопросов, и, говоря образно, тему о *числе* школ не поставим совсем под другую команду, под другого командира, чем чему о направлениях, о здоровье и проч. Школ *всегда* должно быть много, в революцию и мирное время, в реформацию или при покоящемся состоянии церкви, в смуту, в расцвет отечества, – всегда, всегда. Школа учит. Вопрос о числе школ нужно считать неприличным, подобно вопросу, можно ли ходить нагишом. Нужно быть всем одетыми. Первоначальная, девственная душа человека, неопытная, младенческая, такая божественная в своих инстинктах, стремлениях, неясных предчувствиях и томлениях, – эта душа должна быть одета в знания, это ее приличие, иначе невозможно на исходе второй тысячи лет культуры. Должно быть зазубрено во всякой избушке, как старое «Отче наш», что душа божественна и знания божественны, без определений, без условий, – что, какие, как. Как мы можем спорить о религиях, но только безрассудный может усомниться в том, что есть Бог, и этот вопрос совершенно есть другой, чем о религиях: так о *направлениях* знания может быть спор, а что знанию приличествует *быть,* т. е. что школа должна быть *везде* и для *каждого,* об этом никакого вопроса не может быть.

Повторяем: как это ясно! Но сколько споров около этого, и честнейших иногда людей.

II

«Школа развращена; и плодить школы то же, что плодить дифтерит».

Я слушал речь депутата Замысловского 6 июня в Г. Думе; видел фигуру министра, г. Шварца, – обернутую в его сторону и так внимательно слушающую. Мне кажется, г. Шварц учился, и хорошо учился, из этой речи. Угадываю психологию внимания, выраженную в фигурах говорившего и внимавшего, – психологию, которую нельзя доказать, но она осязательно передается, когда смотришь на обоих. Г-н Шварц, видимо, обижен, хорошею благородною обидою, и тем, как он был встречен в Г. Думе, и тем, что о нем говорила печать по поводу его выступления. Человек – не бронзовый, т. е. не он только, а мы, все люди, сделаны не из бронзы – и крушения нам мучи-

тельны. И вот мне показалось, что, слушая речь Замысловского, г. Шварц, как честный гражданин, думал: «Вот! вот! Я только не умел сказать, он говорит лучше меня; но я думал и думаю то же самое»...

Речь депутата Замысловского, говорившего вначале и довольно долго так тихо, что слова пропадали в огромном зале, мне очень понравилась. Точнее, мне понравился сам человек. «Сперва поп, а потом обедня». Не имея очевидно большого голоса, со слабой грудью, он, однако, разгорался и разгорался, и тогда речь его стала совершенно ясна. Он говорил с глубочайшим убеждением, передавал факты, рассказывал события, обращаясь (это замечательно) более к левым, чем к правым и даже центру. И хотя речь его вся была направлена против левых, и, во всяком случае, направление говорившего не оставляло о себе сомнений, весь зал слушал его с глубоким вниманием и, мне показалось, уважением. «Кому больно – больно, кому сладко – сладко. Что же делать. Человек *не сочиняет*». Ну, так ведь вот эта речь Замысловского и есть «школа» в ее первоначальной мысли – дать *знания:* и как охотно и притом *все* в ней учились, и Шварц, и левые!

«Поп» мне все-таки понравился больше «обедни». Г-н Замысловский, как я тут же справился, – товарищ прокурора виленской судебной палаты, избранный от русского населения губернии. Лучшее в ней, в речи, и есть эта ее убежденность; ну и, конечно, факты все точны. Но прокурор – это всегда *одна сторона,* и уж какова профессия – таково и призвание, и вдохновение, и талант. Прокурор – *обвиняет,* и Замысловский – обвинял. О, это была не программа, и оттого и произошла вся внушительность речи, что тут не было ничего «нарочно», никакого «мне захотелось». Говорил человек с болью о больном, старом для него деле: говорил, как *иначе* не мог говорить, хотя бы из него жилы вытянуть. Это большое достоинство, чрезмерное. Для *человека* – это все. Но для *дела* – это не все, и даже не начало. В обвинительном наклоне речи Замысловского все же сказалась его *натура,* ну – та натура, по коей он избрал себе профессией судебное поприще. Что такое суд? Вечное *очищение* страны. Очищение ее от гадости, сору, мерзости, какие в нее попадают, какие в ней образуются от трения частей, от работы организма; образуются в «утробушке» Матери – Жизни. Великая задача, святая. Без нее нельзя жить. Без суда, без прокурора страна задохнется в собственных «нечистотах». Все это так. Но велик и организм. Велика и тоже своеобразно свята и эта «Матушка-Утроба», без которой тоже ничему не жить, в том числе даже и прокурорам. И судить ее, взрезывать ее – этого нельзя. Мне кажется, тема суждений г. Замысловского неизмеримо была шире, так сказать, врожденного его призвания «очищать» и «прогонять», или «судить» и «обвинять»: и он просто не умел, чистосердечно не умел ни постигнуть, ни отнестись, ни произнести суждение обо всей этой уйме чего-то чудовищного, огромного, местами страшного и порочного, но ведь местами и умилительного, – об этом никто не спорит – что́ протащилось по улицам и пажитям России за эти последние годы! Не забуду я бабушку, почти 80-летнюю, которая бежала по улице, когда ее внука с «тузом» на спине вели в кандалах:

юноша прелестно учился, кончил военную школу, первым кончил, как и везде во всем был первым. Мать – женщина старых убеждений, самого консервативного склада, – не по мозговым убеждениям, а по вкусам, по всей жизни. Вся жизнь была – геройское воспитание детей, при пенсии в 90 рублей. Сын не был ни радикалом, ни тем менее революционером, но высказал несколько «либеральных» суждений в среде, где и либерализма не допускается, и он – в «преступлении»! Может быть, при опросе, и грубом опросе, юноша самонадеянный (в нем эта самонадеянность была от даровитости) не отрекся от «либерализма», а чем-нибудь неосторожно мотивировал либерализм – и голубчику за эти его «мотивы» пришпилили туз на спину и отправили куда следует. Мать стояла по-прежнему «за вековые заветы», мать тверда как камень: а старушка-бабушка точно с ума сошла по внуку и твердит: «Теперь и я революционерка». Теперь я кидаю этот пример. Их множество, подобных, где печальное, страшное, нелепое, преступное *с обеих сторон* сцепилось в неразвязуемый узел; и сказать о нем «это только веревка удавленника» – невозможно.

Не хочу быть адвокатом, как Замысловский был прокурором. Я думаю, есть точка зрения высшая – истории и Промысла Божеского, по которым мы должны признать сумму действительности чем-то неисповедимым, о чем пока нет окончательных суждений. Такова вся наша «революция», или, по ее былому характеру, «якобы революция», где осудить *столько же* можно и так же право, как можно и столь же право и защитить. Замысловский совершенно чистосердечно и глубоко *справедливо* произнес первую часть этого двойного дела. Но я скажу только, что это – не *все,* и на этом кончу, чтобы перейти к школе.

III

– Но школа развращена, – и развратили ее революционеры. Они изгнали из нее науку и привили политику. Революционерам помогал весь педагогический состав, учителя, профессора. Так говорил депутат Замысловский. Так говорят и пишут многие. Конечно, для каждого наиболее убедителен опыт собственной жизни. Все по нему судят. И я поделюсь своим.

«Школа развращена». Ну, конечно. Про себя, например, скажу: от первого курса университета и до сих пор я без перерывов был верующим в Бога; дома у родителей – верующим. Но с третьего класса гимназии и до «аттестата зрелости» я был не только не верующим, был атеистом, – но и каким-то змеенышем-атеистом, с радостью, с злорадством всякому кощунству. Ну, что бы для меня стоило совершить «черную мессу»? – Ровно ничего! Старушки в укромных уголках храма, куда нас сперва «водили по начальству», а затем мы захаживали сами, – не останавливали только, а волнуясь шептали, почти окрикали меня: потому что как я зайду в храм, так непременно потихоньку, но для соседей иногда видно, сделаю какую-нибудь гадость. Такое стояло в душе. Почему? А черт его знает. В воздухе стояло.

Никто меня этому не учил, директор был строгий (любитель церковного пения), учителя – строгие, книжек специальных не читал, да и не было тогда. Словом, я сам не знаю никаких причин для этого. Умею только придумать общую причину, что все вокруг было очень скучно, учителя были довольно противные, директор совершенно противен, учиться было скучно и т. д. Но, Господи, это везде в России, и какая же это «причина»?!! Но я чистосердечно должен сказать, – сказать это г. Замысловскому, Анрепу, всем, всем – и правым, и октябристам, сказать г. Шварцу, что школа, так называемое «училище», «учителя» и «начальство», персонал учащих и воспитывающих, никаким своим либерализмом или попустительством не были виноваты в этом душевном безобразии моем и нашем (все были таковы), в нашей злости против всех и вся, в безбожье и уж, конечно, полной антигосударственности, до революции, до анархии. Можно так сказать, что мы были и у нас все росли революционерами раньше, чем почти услышали слово «революция», – что мы после аттестата зрелости революционили, как утка умеет плавать родясь. «Море несет» – вот и только. «Утробушка» у России такая – вот и все. Никаких определенных, конкретных, указуемых, личных причин. Ни одного имени не могу обвинить, кто бы «вел» и «проповедовал». Я сам всем «проповедовал» и если не «вел», то науськивал. А откуда сам узнал – черт его знает. Просто с ранних лет был зол и раздражен, раздражен на то, что «скучно»: и «революция» была выходом из «скуки», была новым и «еще неслыханным» (главное достоинство) и, кажется, неосуществимым, т. е. «нового» и «событий» на тысячу лет! А что эта *бесконечная жажда* новизны и «интересного» направилась в злую сторону, разрушительную, для начальства оскорбительную (непременно), то оттого, что, правда, мы никого не любили, кроме своего товарищества, т. е. в конце концов оттого, что вокруг правда все было холодно, ледянисто, формально. Я *хорошо* знаю, что нас никто, учеников, не жалел; знаю это и помню до сих пор об этом по выгону товарищей, частью прелестных, – что я по близости на скамье уже *отлично* знаю. Так, спрашивается, почему же бы стали мы жалеть начальство? Они не жалели нас, мальчиков: почему нам жалеть их, бородатых? Корове легче, чем теленку, собаке легче, чем щенку; когда щенков давят, какой же вопрос о том, *можно* ли давить взрослых?

«Ну их всех к черту» – вот и вся наша русская революция, в эмбрионе своем, в зародыше своем.

Вот почему я со всем волнением, к какому способен, обращаюсь к г. Шварцу, бывшему нашему наставнику по Московскому университету, – чистосердечно и *обдуманно* говоря, и если смею – советуя, – что все «меры строгости», какими он думает поправить конечно испорченное, конечно расшатанное, конечно безобразное министерство, и вообще всю разрушенную школу, – эти меры никаких не будут иметь последствий, кроме подъема революции и «камня на камне не оставим» по адресу и министерства, и школы. Не меры его, в доброжелательность которых я верю, которых мне не хочется упрекать, «стары», как говорили в Думе; не в этом дело. Но весь этот поток,

все это море «либерализма» ли, «революции» ли, не умею определить и выразить, но *в корне* своем поток злобы, отвращения, скуки, какой-то таинственной бессодержательности жизни – он до того давен у нас, до того могуществен, до того всеобъемлющ, что с ним решительно никому не справиться. Это как «сырость страны»: подите, поправьте ее. Можно поправить каналами, инженерством, 10-летиями работы и *заботы.* Но г. Шварц захотел «осушить страну» печками?!! Напрасная работа!

«Осушать страну» в смысле «либерализма» и прочее начал, напр., О. Ф. Миллер, о котором сказывают, что как он начнет читать лекцию, так заплачет. Добрый был старичок, может, и не мудреный, но «глаза на мокром месте» были. Я уже сказал, что наши наставники не умели плакать, никогда и ни о чем, – и с этого-то, сколько я постигаю дело, и началось у нас, да и началось, кажется, везде в России. Никто не умел плакать. Злобы сколько хотите, формы – какой хотите. Всего есть. Всем «преизбыточествуем». А слез нет. Ни у кого и ни о чем. Начался цинизм, и я думаю, что страна наша, беспримерно циничная в истории, и есть первоначальный зародыш того молодого, почти детского, как было у нас, зарождения неопределенных по очертаниям и выражению чувств сперва *апатии,* скуки ко всему, и затем – бурного усилия разрушить, тоже с крайне неопределенным очерком разрушения. Просто мы, дети, *не были привязаны ни к чему:* и это и есть главная революция и даже вся революция! Кто в это вдумается, тот согласится.

А начать «привязываться», – о, Боже, да ведь это целая *культура,* которую и можно определить как систему «привязанностей», «любвей», что ли, уж приходится сказать неудобное слово. Культура и есть «что́ мы любим», рост этого, усложнение этого. Новое полюбил – к новому «привязался», стала лишняя ниточка, держащая нас на земле и делающая для нас землю дорогою. «Землю дорогою»... Вот, чтобы стала для нас «земля дорога» – в этом вопросе и лежит все, узел всех вопросов, исцеление всех революций. Без этого, без «дорогой земли» под ногами – революция останется как некоторая перманентная сущность; так, кажется, говорят философы, когда хотят указать, что «есть то, чему нельзя не быть».

IV

В жизни мы избыли или многие из нас избыли революцию, потому что в жизни мы нашли привязанности, встретили привязывающее. *Школа ведь отделяет от жизни* – это всегда нужно помнить; со школою «прощай, батюшка, прощай, матушка», которых видишь только за чаем, торопясь учить уроки. Со школою постылеет родной дом, – просто он становится мало знаком, неизвестен. Родители, братья, сестры только мелькают вдали, на горизонте. «Некогда и взглянуть». Ежечасно, в сердце, в воображении, в *заботе,* в *страхе* – фигура учителя и фигуры учителей. По-настоящему, тогда они и должны бы *возместить* все, *вознаградить* все собою. Как столько взять и ничего не дать! Но они только *требуют.* «Такова природа учителя». Знаю.

Знаем. Знали. Но ведь и родители требуют, даже наказывают, в доброе старое время даже и розгочкой. Но они нам остались *милы,* по какой-то неуловимой черте в себе, даже во время самой розгочки, – ну, например, потому, что не «присутствовали» при экзекуции, а вместе с нами, наказываемыми, кричали и чуть что не плакали. Вот эту слезу или возможность слезы мы в них и уловили, и по ней все им и простили, все дети и всем родителям. Как и всем товарищам, от которых получали «тумаки».

Ибо все были «милы» и все было «милое».

В школе ничего «милого» не было. И вот причина, чему все так удивляются, что школа сделалась у нас «очагом революции». Это – самое сырое место в стране. Главная впадина ее низины и болотистости.

Вот и все. Так просто.

Но «любить», «привязываться»… как это трудно! Ведь этого не выдумаешь, сочинить этого нельзя. Подделка этого будет так же отвратительна, как обезьяна в отношении человека. Нужно *настоящее*... Еще труднее вопрос: культура есть сумма настоящих ценностей, настоящих и объективно дорогих вещей, какие накопились в истории. А где их взять? А много ли их у нас? Без риторики, без преувеличений, не «по заказу»? Вопрос о *русской школе* развивается в вопрос о *русской культуре:* а это такой трудный вопрос…

Вот что, однако же, проницаемо через все трудности: в России есть что-то *теплое.* Мы бы ее не любили, мы бы ее окончательно покинули, а мы, напротив, безгранично к ней в ее «натуральности» привязаны, потому что в быту, в жизни, в народе нашем, в летописных наших памятниках, в оборотах речи там, в нашем, например, Пушкине, во всем *лучшем* нашем, от великих вещей до малых, – мы везде чувствуем эту живую теплоту, безотчетную, милую, привлекательную. Г-н Анреп заговорил и очень хорошо говорил 6 июня о «русской национальной школе»… Указав на *теплоту* как главное русское сокровище, ради которого мы никогда не покинем своей России, я должен сказать, что школа есть единственное место, решительно единственное, где совершенно нет этой нашей русской теплоты, и в этом смысле она есть школа не только безнациональная, но и *противо*национальная. Отсюда замеченное наблюдение: «Пройти школу, *хорошо* пройти ее – значит перестать быть русским». Отсюда, между другими подробностями, объясняется нелюбовь к нашим думским «кадетам», собственно, за то, что они «какие-то нерусские». И я должен сказать свой единственный упрек г. Милюкову, что хотя он и написал «Очерки *русской* культуры», где все очень умно и верно и *точно,* но где нет никакого запаха этой культуры, что он, вождь кадетов – действительно точно не русский человек. И это фатально и, мне кажется, даже безвинно: это должны понять правые партии в Думе. Только люди исключительно громадного ума, или, вернее, не ума, а гения, *натуры,* могли, пройдя *отлично* школу, остаться вместе с тем русскими людьми. Ими остались Ломоносов и Менделеев, им остался Пушкин, впрочем, учившийся, к счастью, «немного, чему-нибудь и как-нибудь», и всего набравшийся потом, своим умом и через чтение. Но школа наша действительно

вытравляет все русское, и *не противодействием* своим, а тем, что она – шаблон, воляпюк, что она сочинена, выдумана и сколочена чиновниками. Опять скажу грустную истину, что г. Шварц, хотя он, кажется, и принадлежит к правым партиям, тем не менее, как «шаблон строгого министра», едва ли не будет иметь на школу этого тоже *противо*национального действия. И снова повторяю, что тут чрезвычайно много фатального, рокового, независимого от личности, и с чем личности чрезвычайно трудно бороться.

Мы должны плакать общими слезами и мы должны простить вины во все стороны. Это, кажется, самое краткое и самое справедливое.

Самой-то главной нашей гордости, – о чем тоже очень хорошо говорил г. Анреп, – вот этой нашей милой русской теплоты и нет в школе, и она отталкивает ученика в первый же час, в первый день, как он привезен родителями к стенам гимназии и входит, еще веселенький новым своим мундиром, на первый урок в первый класс. Отсюда пойдет форма и «воляпюк», учение незнаемых вещей для незнаемых целей, учение предметов, сочиненных чиновниками министерства, по программам, сочиненным чиновниками, без единственного убеждения в их нужности для чего-нибудь, кроме как для «окончания курса», – этой пенсии ученика. Они и учатся для этого «окончания курса», все это знают, родители, ученики, сами учителя, не замечая этой чудовищности, что человек восемь лет должен трудиться, только глядя вперед на бумажку через восемь лет, как чиновник на пенсионную книжку, – и не испытывая ни интереса, ни этой вот «привязанности» ни к чему в каждый порознь год, месяц, неделю, день! Но *культура* – организм привязанностей: вот объяснение, что ученики наших школ по мере учения все *дичают,* как это все замечают, поражаясь их грубостью, нецивилизованностью, мертвенностью и глухотою в них благородных и изящных сторон. Семейное отпадает, *забывается,* а новое, не содержа «привязывающего», будучи все только для аттестата, не будучи тепло нашим русским теплом, – все это так бескультурно!

«Сведений много, а дикарь дикарем» – вот впечатление от ученика нашей русской школы, от гимназиста, студента, – и чем дальше, тем хуже. Ведь многие думают, что наши профессора представляют что-то еще слабейшее сравнительно со студентами; и не без некоторого умственного, не без некоторого *культурного* основания студенты взяли в университете верх над профессорами. Они все-таки меньше учились и за границей не были: преимущество в России большое. Слова мои похожи на иронию, но сколько в них правды.

Это и есть текст той формулы, которая стоит во всех умах: *учение извращено.* Еще бы, – если «чем больше учатся, тем хуже»! Но ведь это так, это все видят. О существе этого дела нет споров, и только никто в этом существе не хочет разобраться. Любовь – это культура; любить, уважать, ценить – это быть культурным. Но у нас «чем дольше учатся, тем все больше ненавидят»: явно, тем более все теряют культуру, тем сильнее дичают. Похоже на инквизиторов, которые были «чем святее, тем больше сожгли на кострах», т. е., по-нашему-то и *по-настоящему,* тем глубже погрузились в ад. Это действительно – *извращение.* Оно было пережито церковью, оно переживается нами в школе.

V

Что же, однако, делать и где исцеление? Мне говорил один большой художник и крупный русский ум, что уже много лет не читает ни журналов, ни книг, – *кроме Пушкина;* и из Пушкина преимущественно «Бориса Годунова», любя в нем все мелочи, все подробности. «Когда свободное время, я сажусь один, открою его, прочту что-нибудь уже в который раз, – и, верите ли, иногда слезы прошибают». А ему около 50 лет. И много другого он говорил, но это, как черта *самовоспитания,* поразило меня более всего. Другой, тоже весьма умный русский человек, когда у него сорвалась с языка обмолвка «Pouczkiniana», пояснил: «Под именем этим я разумею все, что относится до Пушкина, но во главе, конечно, все, что осталось от Пушкина. Этим можно жить. Пушкин есть целая культура, и можно всю жизнь знать и любить одного только Пушкина, не обращая на прочее внимания или обращая мельком – и будешь образован, изящен, умен сколько вообще нужно и совершенно достаточно русскому человеку». Я беру эти два отзыва как пример *глубокой привязанности,* во-первых, и глубокого *сосредоточения души* на чем-нибудь одном. И договариваю: вот это или такое отношение к вещам, лицам, явлениям – без определения их, без «партий» и «злобы дня» – это и есть культура и ее начало. А *насаждает культуру* каждый, кто изяществом лица своего, духа своего, жизни своей, кто трудом своим, страданием своим, терпением своим, кто хозяйством своим, должностью своею – от мелочной лавочки до университета, от зеленной торговли до профессуры – сделался центром уважительных чувств группы людей, серьезного труда группы людей, серьезных отношений группы людей.

Вспомним Гончарову и впечатление, сделанное ею на Пушкина: Гончарова была источником культуры.

Вспомним «Живые мощи», описанные Тургеневым: эта паралличная женщина, без жалоб лежавшая много лет на одном боку, была источником культуры для округи.

Может быть, я не православный или не очень православный, но хождение русского народа к Св. Местам для меня есть целая культура, изящная и благородная. Раз мне рассказывает баба на дороге: «Ч-к, миленький, какие бывают сердитые люди. Моя родственница, старуха, собралась в Соловки: то, веришь ли, у всех прощенья попросила, лошади в ноги поклонилась, а с невесткой не попрощались». Выслушать такой кусочек быта – как прочитать страницу Пушкина. Что старуха попросила прощения и у лошади, какая это *культура!* А то, что она до того озлобилась на невестку, – какая это черта русской семейной *дикости!*

* * *

Что же, однако, делать в применении к училищам, университету, всему необозримому учебному вопросу в России? В тех окриках, которые в эту сторону несутся, – даже признания их в половине основательными, – нельзя не узнать нашей старой злобы, нашего вечного ко всему отвращения, вы-

искиванья предлогов, чтобы «что-нибудь обругать», и, в последнем анализе – нашей дикости и революции. «Утробушка» России, пропитанная ядовитыми птомаинами, является антинациональною, антиисторическою даже в тех случаях, когда мы являемся, по-видимому, защитниками национализма и истории. Мы поистине переживаем извращенный период истории, потеряв руль и компас и перестав понимать, куда идем, откуда уходим. Суть борьбы с революцией, конечно, состоит в пробуждении уважения, уважений; университет наш не велик, все-таки – «кое-что»; слава его, труды его профессоров – кое-что сравнительно с тем, чем могли бы и *обязаны* быть. Так. И все-таки настоящее культурное дело – промолчав о «нет» университета, указать на это «кое-что», привязаться к этому «кое-чему», начать любить, растить; проповедывать эту любовь, уважение. Погодин в отношениях к университету, к «древностям российским», которые он так скупо и вместе так неутомимо собирал, в сумме отношений его ко всей полноте действительности, где он ничто не оставил без участия, без произнесенной или заготовленной речи, без письма своего или отметки в «Дневнике» своем – вот пример культурного человека. Да, он, – а не Милюков, со своей действительно странной поездкой в Америку. Еще больший пример культуры и культурной работы дает покойный Барсуков, 20 лет жизни ухлопавший на то, чтобы разобраться в необозримых записках Погодина и, воссоздав их, пополнив их – дать русскому читающему обществу полную картину русской культурной и общественной жизни за ¾ XIX века, т. е. за самый блестящий и широкий его период. Кстати, маленькие упреки: а что сделала Академия Наук в ответ на этот труд? Приветствовала его, поощряла его, помогла автору, одно время, если не ошибаюсь, хотевшему прервать его за недостатком средств для издания? А похлопотал ли министр просвещения рекомендовать дарить эту книгу «за успехи и прилежание» гимназистам старших классов? Ведь что же для них воспитательнее, как знать в *документах,* в *памятниках* слова того времени, историю умственной и художественной жизни России в наиболее культурный ее период. Но… что они тычут в *невежество университетов:* университет – еще «кое-что» и *старается* во всяком случае больше Академии Наук, которая напичкала себе в «члены» старых генералов и пронырливых немцев, обойдя Менделеева. Невозможно достойно оплакать той вещи, что наши министры просвещения всегда были одними из самых темных, непросвещенных людей в России и что наша Академия Наук есть какое-то место, через посредство которого люди и без того счастливые положением, славою, отличиями – увенчиваются еще и лаврами, идущими от Аристотеля, Декарта, Ньютона, великих и святых имен человечества. *Доля* академиков, конечно, учена; но около этой доли увиваются люди, которые вообще или ничтожно мало сделали для науки, и во всяком случае бесспорно меньше, чем множество профессоров университета, теперь так хулимых.

Все же и теперь между светилами университета есть В. О. Ключевский; были Н. С. Тихонравов, Н. И. Стороженко, В. И. Герье, Ф. И. Буслаев. Назы-

ваю факультет и науки, мне более известные. Университет дал нам Кавелина и Чичерина. Без его действия необъяснима и была бы невозможна блестящая полоса 40-х годов, и в литературном, и в общественном отношении. Ради этих седин и ради этих могил могли бы пощадить университет. Или для чего уж останавливаться русскому цыганству, пусть заносят руку и на русскую литературу. «Наплевать на Пушкина» – разве это уже не было сказано? Чего русским останавливаться? «Вали дальше»...

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДУХОВЕНСТВА

Прения в Г. Думе о денежном пособии «городскому и сельскому духовенству» вызывают некоторые замечания. И в речи обер-прокурора Синода, и в речи еп. Митрофана испрашивание этого пособия мотивировалось яркими картинами нищеты *сельского* духовенства, которое в некоторых местностях имущественно почти не поднимается над положением крестьян, и священники так же пашут землю, как и простые мужики. Все это так, хотя нужно оговориться, что духовенство действительно нищенствует: там, где число домов, т. е. величина прихода, очень мало и где сами крестьяне имеют нищенский надел земли. Таким образом, вовсе не «городское и сельское духовенство» нуждается в пособии, а, во-первых, *только одно сельское*: между тем городское духовенство поставлено даже впереди сельского, и никакого нет сомнения, что сумму, *законодательно* ассигнованную и *городскому* и сельскому духовенству, оно энергично потребует к разделу с собою, взяв из него, может быть, даже большую пропорционально долю себе, так как и в законе оно поставлено впереди. Выходит, что яркая картина нищенского положения сельского духовенства послужит мотивом для увеличения содержания городского духовенства, которое везде достаточно обеспечено, а в больших уездных городах, в губернских городах и особенно в обеих столицах обеспечено несравненно лучше, чем не только учителя семинарий и гимназий, но даже чем и профессора университетов. Многочисленный штат многочисленного кладбищенского священства не только зажиточен, но и богат, как и причты всех соборных храмов.

Далее, в духовном сословии нужно обратить крайне серьезное внимание на положение диаконов и особенно псаломщиков, а между тем во всех прениях о вспомоществовании упоминается почти исключительно об одних священниках. Священник не только получает большее отчисление при исполнении треб, где участвуют и диакон, и псаломщик, но некоторые требы он исполняет один. Такова исповедь. Между тем диаконы и псаломщики имеют ту же степень того же духовного образования, как священник, и на них-то главным образом и лежит то школьное обучение в селах, которое во время прений в Г. Думе было обще и неопределенно приписано «духовенству», почти подразумеваемо – священникам. Ибо при слове «духовенство»

первым встает в уме и соображении фигура священника. Повторяем и настаиваем, что диаконы и псаломщики несут чрезвычайно большую работу в церкви, особенно учебную работу, и что они-то всегда до сих пор были особенно обделены и, кажется, будут по традиции обделены и при предстоящем распределении пособия. Между тем роль их, будучи гораздо меньше в сакраментальном отношении, чрезвычайно велика в народном отношении. Они стоят ближе к народу, чем священник, а псаломщик даже и совсем стоит в рядах народа, стоя в то же время в рядах церковных служителей. Поддержать их крайне необходимо.

Отмена платы за метрические выписки, что составляет определенный труд псаломщиков и существенную часть их годового дохода, должна, безусловно, сопровождаться вознаграждением их из другого источника и в другой форме. Нужно заметить, что плата за эти выписки – около рубля за выписку, – ввиду редкости их для каждой семьи, обременительна только для очень немногих, для последних низин населения. Стоимость выписки для плательщика увеличивается почти вдвое гербовою маркою, прилагаемою к ней: и может быть, было бы проще отменить гербовое обложение подобных выписей, оставив только плату трудящемуся псаломщику, бóльшую в городе, мéньшую в селе и совсем крошечную, в 10 к., в 15 к., для деревни. Так как ни одна семья не может нуждаться более чем в одной, в двух таких выписках в год, то этот расход уже совсем невелик.

Плата за венчание, осложняемая обыкновенно мелочными придирками всякого рода, делающимися в целях повысить ее, переходит нередко в прямое вымогательство, которое в случаях недоброго нрава священника переходит в вымогательство жестокое. Было очень приятно услышать от обер-прокурора Синода слова о том, что «Святейший Синод, высшее церковное управление, во всяком случае, всегда принимало меры против несправедливых поборов – строго карало и карает отдельные случаи вымогательств»; но эта благая весть ниже синодального управления не распространилась, и о ней ничего неизвестно в населении. Да и что назвать «вымогательством», когда норма за требы не определена нигде в законе и правилах, а растяжимость придирок к венчанию совершенно зависит от «усмотрения» венчающего, и они составляют предмет устного «разговора наедине». Известно и писалось много о том, что, напр., столичное духовенство совершенно не венчает пришлых на заработки сюда крестьян, говоря, что оглашение венчающихся должно происходить на месте их постоянного жительства, но какие меры для облегчения этого трудного случая воспоследовали со стороны высшего церковного управления, об этом совершенно неизвестно.

К причтовым местным, храмовым доходам присосалось чрезвычайно много не церковных элементов: их облепили со всех сторон «благотворители». Благотворительность давно у нас сделалась почетным нищенством, – не сирот и бездомных, но вот этих благодетелей-филантропов, выпрашивающих у всех и везде для сирот, и живущих недурно сами «около сирот». Они просунули свои кружки и тарелки в молящуюся массу, в храм: здесь

молящиеся, не имея ни времени посмотреть, на что собирается, а в массе и безграмотные, кладут «вообще» на все подставляемое, во все подставляемое, на тарелки и в кружки, воображая, что все это, *в церкви* собираемое, и идет *на церковь*, т. е. *на храм* –во-первых, на *службу и служащих* – во-вторых. Если бы эти деньги и шли на то, на что они мысленно кладутся молящимися, т. е. если бы «высшее церковное управление» убрало сборы во время церковных служб на всякие *неместные* нужды, на *нехрамовые* и *непричтовые* нужды, вопроса о необеспеченности даже и сельского духовенства не существовало бы. Но высшее духовенство, иерархи, местные архиереи и сам Св. Синод преклоняют ухо к льстивым взываниям благотворителей. На все это обер-прокурор Синода мог бы обратить очень серьезное внимание.

И вообще, читая его речь в Г. Думе, думалось о некоторой слепоте людей, одного его, или целого «ведомства», которые, сидя среди миллионов и миллионов, текущих вокруг них, к ним и частью мимо их по их слепоте, пришли просить еще миллионов в очень трудную пору государства. Между тем как им стоило бы правильно сберечь и, еще важнее, правильнее *распределить* то, что имеется, и все были бы довольны и удовлетворены.

РАЗОЧАРОВАННОЕ НАЧАЛЬСТВО

У нас есть два начальства – нелюбимое, в мундирах, и очень любимое, без мундиров. Начальство без мундиров, пожалуй, еще гораздо строже, чем в мундирах. Тургенев в «Дыме», очерчивая нашу революционную эмиграцию, первый показал типы грубых и властных генералов от революции и их обхождение с подчиненными, или, точнее, с добровольно и подобострастно подчинившимися им рядовыми революционерами. Все помнят знаменитого Губарева. Радикальная журналистика того времени невероятно обозлилась за это на Тургенева, назвала роман его «клеветническим» и дала молодежи лозунг «отвернуться» от бичующего автора. Но на самом деле никакого и бичеванья не было: Тургенев сказал только о том, что он видел, что он наблюдал за границею. Что он ничего от себя не прибавлял к виденному, это показала литература наших дней, литература послереволюционного периода, когда «генералы» разбитых войск начали ругательски ругать подчиненных за «проигранную кампанию»; и не только подчиненных, но, наконец, и весь русский народ... Новейшие образы этого революционно-генеральского разноса будут приведены ниже, а предварительно мы укажем на беспримерно скучный, беспримерно бесталанный рассказ «В темную ночь» некоего г. Дерепталя, печатавшийся в одном из радикальных наших журналов неизменно на первом месте. В рассказе излагается, как торжественный протокол, но только с диалогами и под вымышленными именами, организация убийства Сипягина, причем трусливый автор, описав мельчайшие подробности, известные из газет, подготовления этого убийства, во-первых, направ-

ляет его не на министра внутренних дел, а на какого-то старого генерала, и, наконец, делает так, что убийца не выстрелил, а только проехался к генералу в блестящем военном мундире и дал ему прочитать какую-то бумагу. Таковы чрезвычайные средства, к каким прибегнул г. Деренталь, чтобы только провести драгоценное повествование сквозь условия теперешних обстоятельств печатного слова. Очевидно, и он, и редакция сочли необыкновенно важным проведение в печати этого бездарнейшего повествования ввиду того, что в нем очерчиваются события и лица толикой славы. Но, Боже, до чего эти Люциферы революции похожи на придирчивого департаментского столоначальника! Под именем Василия Петровича выведен организатор убийства, организатор вообще «боевой борьбы» с правительством, снабжающий револьверами рабочих и распоряжающийся обучением их стрельбе. Под этим псевдонимом нельзя не узнать бежавшего с каторги и недавно умершего за границею революционера-конспиратора с громким именем. И если он правильно очерчен в журнале, то какая же это презренная, грубая и пошлая личность! На слова одного из подчиненных: «постараюсь», он отвечает, как Цезарь или Наполеон: «Странные вы все люди: сколько времени я все бьюсь с вами, и ничего не выходит. Как же это можно говорить – «постараюсь»: это значит несерьезно относиться к принятым на себя обязанностям. Здесь нужно только или «да», или «нет», а все другие слова не имеют никакого значения. Мы должны быть точны, как часовой механизм: самый маленький винтик должен иметь свое место и знать, какая у него существует обязанность… Я не могу доверять часам, в которых, например, колеса не вертятся туда, куда нужно, а только лишь *стараются* вертеться!.. Я должен знать наверное, исполняются мои приказания или нет?.. Иначе я не могу рассчитывать и комбинировать мои планы». Вот какой Кромвель из подворотни! К этому Кромвелю так и валятся студенты и рабочие в руки, умоляя, чтобы он им дозволил умереть за его великие «планы», заключающиеся в подстреливанье генералов. В одной из конспиративных квартир он принимает «начальников» боевых дружин. Между ними – рабочий Михайло, с которого Василий Петрович спрашивает еженедельные отчеты о проценте попаданий при учебной стрельбе и о числе расходуемых в этой стрельбе патронов, – подробность, заимствованная из гарнизонного обихода. И нужно видеть, с каким лакейским восторгом умница Деренталь дает сведения этих гарнизонных отчетов о стрельбе и начальнические разносы за неаккуратность! Вот из приемного кабинета Василия Петровича выскакивает «красный и растрепанный» Михайло, с восклицанием, обращенным к другим дожидающимся приема начальникам боевых дружин: «Ну, братцы вы мои, вот так баня!.. Я вам скажу… отродясь еще этак не парился. Прощайте, голубчики! На улицу бегу. Отдышаться надобно… Грозен батюшка Василий Петрович!.. Больно уж грозен, да зато и милостив! Уф, хоть купаться, так впору…» Этот, можно сказать, восторг лакейских чувств сыграл большую роль в нашей революции: разные «Василии Петровичи» постоянно находили готовых целовать у них ручки студентов, курсисток и рабочих, которые вымаливали у

них дозволения «отличиться перед начальством» с бомбою или револьвером в руке… Вспомнишь поляков, бросившихся вплавь через Неман на глазах Наполеона и тонувших на глазах властителя, равнодушно смотревшего на них, – как эта сцена описана в «Войне и мире» гр. Толстого.

Один из таких-то маленьких «Васильев Петровичей», некий Мишель Энгельгардт, в одной газетке разнес как-то весь русский народ. «Народ, русский народ показал себя в этом покушении на революцию не Ильей Муромцем, и не сильным Самсоном, – как о нем гадали в революционные дни, – а всего только Поприщиным, который вообразил себя Фердинандом VII, королем испанским, и давай чертить. Начальство опешило, а там, видя, что Поприщин только Поприщин, собралось с духом: «Я тебе покажу, какой ты испанский король». И показали. Народ оказался фефелой, не сумевшей осуществить даже программы кн. С. Трубецкого или покойного Гейдена. Усилия лиц и энергия партий разбились о бессилие, дряблость и мелкоту народа, масс, большинства нации».

Не слыхали ли, кто такой этот Мишель Энгельгардт? Г. Струве в «Русской Мысли» сообщал, что он во время первой Думы ругал в печати кадетов дворянами и звал интеллигенцию к немедленному осуществлению социализма, каковой призыв г. Струве называет заведомым шарлатанством. Это и похоже, что Мишель и не политик, и не журналист, а просто шарлатан, обивающийся около политики и журналистики. Слова, как «фефела», «Поприщин» и проч., как и всякие вообще слова, ему ровно ничего не значат: ведь это все не свои слова, а понадерганные из Гоголя, из Щедрина и проч. Словарь велик, и такой, с позволения сказать, журналист может быть всю жизнь богат и сыт, работая со словарем гоголевских и щедринских словечек… Филология небольшая, и таланта не требуется никакого!

Чем же провинился перед командирами народ-фефела, т. е. сбившиеся с пути рабочие и крестьяне? Командовали забастовку – они делали забастовку. Переносили голод с женами и детьми, чего не испытывали петербургские Мишели-командиры. Призывали вооруженное восстание – они делали и вооруженное восстание. Все делали, все исполняли. Примеров неповиновения, кажется, не было. Ни разу не осмелились не послушаться приказа Василия Петровича. Но все провалилось. Отчего? Да оттого, что подняли-то все дело именно Поприщины, вообразившие себя Фердинандом VII. Ну, разве не Фердинанд VII, этот описанный в рассказе конспиратор, делающий смотр своим войскам?..

А русский народ пострадал оттого, что не рассмотрел этих Поприщиных вовремя и кое-где пошел за ними, как оруженосец за рыцарем. Теперь рыцарь печального образа снял взятые напрокат доспехи, а оруженосец вернулся в деревню пахать землю. Вот краткая история затихшей революции.

Есть ограниченные маленькие умы, которые при всяком положении чувствуют себя счастливыми, есть врожденные именинники, которые и в день, когда они биты, ведут себя как в день своего ангела. Такое забавное зрелище изображают собою кадеты все время третьей Думы; и таким забавным тоном говорит все время их орган «Речь», руководимая в политическом отделе пресловутым Милюковым. Довелось же несчастной партии выбрать себе в вожди не орла, а индейского петуха, тяжелого, увесистого, неумного, но который вечно топырится перед собою и перед другими. Уж, казалось бы, куда кадетскому умнику учить других, когда в минувшие два года он ухитрился кадетскую партию вывалить из золотой кареты в грязь. Но г. Милюков или его орган все не покидают этого поучающего тона и читают лекции об итогах третьей Думы, забыв вспомнить, до чего прискорбны итоги двух первых Дум, когда индейский петух выступал в надменной роли настоящего орла и водил за нос свою партию, водил ее вплоть до Выборга. «Тактика октябристов, – вещает «Речь», – грешила неверной оценкой сил, основываясь на неправильной перспективе важного и неважного, достижимого и недостижимого»... Ну, а как насчет «достижимого» и насчет «оценки сил» прохаживалась сама кадетская партия? Не считала ли она все крепости уже взятыми, только еще подвозя свои осадные орудия? Не она ли думала, что за отлетевших в Выборг соколов подымется весь русский народ, все деревни и села? Но полуеврейская газета осмеливается поучать даже насчет народных низов. Кому же и не знать так народный дух, как американцу-Милюкову и русскому патриоту из Вильны, Гессену. «Октябристская фракция уступала там, где не следовало, и была неуступчива там, где неуступчивость не могла повлечь за собой никаких практических последствий. Ее расчет на популярность внизу на почве ложно понятого патриотизма был так же ошибочен, как и ее расчет на уступчивость сверху pour les beaux yeux* того же официального патриотизма. Это была азартная игра, ставка была поставлена на неверную карту и должна считаться проигранной. В единственном пункте, где октябристская игра была сознательна и намеренна, она провалилась; и если не вся игра еще потеряна, то только потому, что октябристская тактика удалась, насколько она была пассивной и стихийной: тактикой покорности и простого существования изо дня в день. Не будем, однако, слишком строго порицать ответственных вождей за их первую неудачу, продукт их детской резвости»... И т. д., и т. д.

Подумаешь, какие политические орлы, которым все удавалось, которые все взяли, все сумели предвидеть и все трудности сумели обойти! Бедные побитые Расплюевы, лежа в грязи, плюют в глаза своим политическим противникам за то, что те не ведут себя Кречинскими. Характерен весь тон упреков, неказиста вся психология спора. Октябристы будто бы искали попу-

* ради прекрасных глаз *(фр.)*.

лярности внизу и рассчитывали выиграть на верху «pour les beaux yeux ложно понятого патриотизма». Газетка никак не может допустить, что может быть настоящее чувство патриотизма, а не личина патриотизма для «выигрыша» того или другого, для «популярности» среди одних и других. Газетка вообще уверена, что не существует никаких натуральных ощущений, натуральных отношений к вещам, что нет никаких искренних чувств. До чего этот противный тон и эти предположения отвечают духу и существу той партии, которая сделалась гадка всей России именно тем, что в ней ничего натурального не было, никакой правды не было, что она постоянно лгала «для момента», называя, напр., одних и тех же людей, одну и ту же фракцию в Думе то «друзьями слева», то «ослами слева», и нисколько не краснея при этой любопытной замене эпитетов. Мы не колеблясь предсказываем, что, может быть, левые фракции еще будут если не играть роль в будущих судьбах русского парламентаризма, то, по крайней мере, время от времени выслушиваться в парламенте с уважением; но что этого уважения, как ушей своих, не видать изолгавшейся кадетской партии, которая и в двух первых Думах и в третьей Думе совершенно откровенно выворотила свое нутро, и всех стошнило от этого нутра. Эти «политики чистой воды» показали, что в них ничего кроме честолюбия и властолюбия не содержится, что это те же всевластные и самоупоенные бюрократы, но только одетые в пиджак, а не в мундир. Под их аграрною программою, которую они пассивно приняли от «левых ослов», не вложив в нее ничего оригинального от себя, – не содержалось ни малейшей любви к крестьянству, ни малейшей заботы о народе; да и вообще это была та «фальшивая карта», которую кадетский игрок эффектно бросил на стол, зная хорошо про себя, что она будет «убита», и ни малейше не смущаясь этим результатом, потому что «что же им Гекуба»! Не для крестьянского же благополучия кадеты вошли в Таврический дворец: они вошли туда для собственного благополучия. Портфели министров для глав партии и должности директоров департаментов для вторых лиц ее – таковы были подспудные вожделения. Никакого настоящего патриотизма и никакого горячего интереса к России не было у этой партии, половина которой состояла из инородцев. Партия эта прямо шла к разложению России, все поставив на карту ради личного куша, ради личных прожорливых инстинктов. Никто так не повредил русскому конституционализму, как она, на первом же шагу обмакнув его в грязь, отняв у него тот идеализм, который так необходим всякому новому движению именно в первую пору его существования. Этот вред никак не мог быть возмещен тою умелостью в парламентской технике, тем знанием ее приемов и манер, которым напыженно обучал первую Думу ее председатель, г. Муромцев, и ее закулисный диктатор, г. Милюков. Умелость пришла бы потом неопытному учреждению; да и вообще эти практические умения вырабатываются сами собою в будничной практике. Но ничто не заменит высокого порыва бескорыстного одушевления, одушевления не личными и не партийными интересами, а высоким благом отечества. Кадеты ушли в такую партийную мелочность, что сами члены этой партии не

постигали тех «петель», какие делали руководившие ими зайцы, и только слепо повиновались железной дисциплине, принудившей их слепо произносить партийные «да» и партийные «нет». Но хитрые «петли» эти ни к чему не привели, кроме Выборга, тюрьмы, разгона двух Дум и закона 3 июня. Казалось бы, эти провалы партии, которые вследствие руководящего положения ее были провалами если не России, то русского конституционализма, должны были заставить партию скромно сесть на свой стул, приучиться к некоторой дозе молчания и к внимательному выслушиванию чужих голосов; но мудрость, наступающая для человека, никогда не может наступить для индейских петухов. Во всяком положении они будут важно выступать, кудахтать на всю улицу и распускать нелепый хвост. Во всяком случае, г. Милюков никогда ничему не научится.

ИТОГИ ДВУХ ПАРТИЙ

Первые две Думы у нас были Думы *пугающие,* – и поистине нужно назвать «детскою резвостью» ту психологию, с которою Набоковы, Винаверы и Аладьины вместе со спрятанным у них за ширмами Милюковым тешились тем, что они испугают правительство и правительство от них убежит. Правительство, как известно, не убежало, и тогда обратный страх появился в глазах этих думских пугал. Но они в самом деле не только буквально пугали правительство, заявляя с думской трибуны, что только она, эта Дума, сдерживает пожар всей России, – кровавый и огненный пожар, – но и более мирные речи ораторов, программы «фракций», напр. аграрная, были более эффектные, чем деловые, и эффект был рассчитан именно на впечатление испуга и, может быть, на удивление Европы. Как Милюков побежал в Америку произносить свою знаменитую речь, в которой американцы не услышали ничего, кроме того, что они могли прочитать и на столбцах бездарной «Речи», – так точно момент роспуска первой Думы застал некоторых депутатов, с хвастуном Аладьиным во главе, поехавшими в Англию побираться за какими-то лаврами. Вообще «деланье глазок» Европе и, обратно, желание увидеть «глазки» со стороны Европы входило немаловажною частью в программу либеральных и радикальных фракций, заполонивших первые две Думы. И это продолжается даже до наших дней, когда в Париже увенчивают венком бюст Муромцева, и об этом приятно извещают друг друга «Речь» и «Русские Ведомости», забывающие добавить, что лавровый венок парижан мог найти для себя лучшее помещение. Одною из самых важных заслуг третьей Думы нужно признать то, что она слезла с этого несчастного коня, оставила роль пугала; и что вообще она имеет более в виду Россию, нежели правительство России. Тогда как первые две Думы решительно имели в виду не Россию, а только ее правительство, пресловутый «старый режим», и считали себя призванными не помочь России, не исцелить Россию, а только побо-

роть или, по крайней мере, уязвить правительство. Обе эти Думы были, по существу своему, воздушными, эфемерными явлениями, и не нужно видеть случая, а нечто органическое и необходимое в том, что они разлетелись как призрак, лопнули, как мыльный пузырь. Они пришли пошуметь. И, совершив шум, разошлись.

Обе Думы так себя и именовали: Дума «народного гнева», Дума «народной мести». Спрашивается, что созидательного можно построить на гневе и мести? По существу своему, это разрушительные чувства, а не творческие чувства. Только теперь, на некотором расстоянии, можно видеть, сколько было исторического разума в их роспуске. Не совершись он, мы и до сих пор слушали бы сотрясения воздуха Набоковыми, Винаверами и Алексинскими, те сотрясения, которые не только не содержат в себе никакого результата, но и совершаются вовсе не для результата, а в целях эффекта и по мотивам тщеславия. Мы получали самый плачевный вид «говорильни», в той форме ее, какую предсказывали злейшие враги конституции. Вот отчего, при всех неизбежных недостатках, нельзя не отдать октябристам той общей чести, что они спасли дело и будущность новой России. Вот отчего не видит лишенная политического чутья «Речь», для которой нет выше услады, как уязвить правительство, и которая не видит политики вне этих уязвлений. Право, если бы каким-нибудь чудом можно было на несколько часов изъять из умов кадетов «правительство», то эти умы потеряли бы тотчас всякую и программу, да и вообще всякое содержание. Они растерялись бы и не знали, что делать. «Правительство» есть та почва, за которую единственно цепляется якорь их болтовни, и без него кадетский корабль погиб бы так же, как судно без якоря, без компаса, без руля и парусов. «Правительство» есть вечная тема и единственная тема этой пустоголовой партии, которой до внутреннего положения России нет дела, и в конце концов России до нее тоже нет дела.

«Речь» ставит в упрек октябристам некоторую пассивность их и отсутствие громких дел или, точнее, громких вещаний. Но это есть задача исторического времени, это вытекает из положения политического момента. Посадив дерево, не трясут его и не требуют от него плода. Народное представительство, очевидно, вновь посаженное дерево, еще хилое, еще слабое, еще не утвердившееся корнями ни в сознании и чувствах народа, ни в привычках векового правительственного механизма. Вместо нахального крика об «ответственности министров» и прямого требования отставки всего кабинета, с каковым выступил по поручению Думы Набоков, после прочтения министерской декларации г. Горемыкиным, – третья Дума взялась самым делом приучать министров к чувству ответственности перед народным представительством; ответственности, которая заключается отнюдь не в одной только угрозе служебною отставкою. Министры тоже люди идеи, а не люди «20 числа»: и те испытания совести, какому, например, было подвергнуто морское министерство при обсуждении его бюджета, слишком тягостны, чтобы не употребить всех усилий избежать вторично подобного испытания. Можно сказать, что как вся Россия у нас государственно формируется, толь-

ко формируется, так точно и само правительство находится в процессе этого же формирования. И этому делу тоже нужно дать созреть и укрепиться. Фракция октябристов совершенно правильно решила уклониться от всяких резких столкновений, которые совершенно ненужно и вредно трясли бы почву, в которой все дело это укрепляется. Повторяем, фракция эта имеет свои недостатки, но только не кадетам, с их личным самолюбием, их жалким кривляньем напоказ улице, критиковать их. Октябристы своею осторожностью и «пассивностью» охранили от краха новый государственный строй России.

НА ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

Лето давно наступило, хотя на дворе и стоят осенние дни, и Дума, полуразъехавшаяся несколькими неделями ранее, готовится к окончательному разъезду. *Первая сессия кончилась благополучно, и те же представители народные соберутся осенью на вторую сессию* – вот главное, самое главное, что мы имеем в наличности сейчас, как итог первого образца правильной парламентской деятельности.

«*Берегите* Думу», – с этим заветом послали крестьяне своих представителей во вторую Думу. В переводе это значило: «Будьте *осторожны; уступите*, где нужно». Дни совершились. Левые группы, пылая своим личным идеализмом, глухо вняли народному голосу, и Дума была распущена. Завет крестьянства депутатам выполнила третья Дума. Вот ее историческая заслуга.

Здесь мы должны если не освободиться от личных вкусов, что не всегда бывает возможно, то встать разумом выше личных вкусов, личных пристрастий, личных предположений. Все мы, кто пишем, суть русские интеллигенты, и две первые Думы, характерно выразившие русскую интеллигенцию, нам милее третьей Думы, в которую пришли люди из классов, менее мятущихся, менее взволнованных, гораздо более устойчивых и спокойных. Нам этот покой раздражает нервы, а устойчивость кажется нам и совсем не нужной. Мы рождены для движения, для горения. Но это «мы», и нас таких всего несколько десятков, много-много несколько сот тысяч человек в России. Мы – не Россия. Россия – громадное тесто, где мы бродим как дрожжи. Разум требует, чтобы мы поняли, что законы существования теста совершенно другие, нежели дрожжей, и та самая свобода, которой мы для себя требуем, мы ее должны дать и другим элементам России, дать любовно, своеохотно. Первая и вторая Думы нам милее. Но известно, что не «по хорошу мил, а по милу хорош». Третья Дума, очевидно, нужнее России. И нужнее уже одним тем, что она устояла, что осенью она соберется на вторую сессию.

«Мила, да не хороша», «хоть и не мила, а хороша» – этими двумя тезисами можно выразить отношение к трем Думам.

Третий роспуск Думы мог сделаться роковым для самого парламентаризма в России. Мы не говорим, что он непременно сделался бы роковым, – будущего и возможного никто не знает. Но самый смелый человек не захочет сказать, что этот третий роспуск ни в каком случае не сделался бы роковым. Все было смутно. Правильное течение жизни, во всяком случае, было бы нарушено. Таким образом, или полное упразднение конституционализма, или такое изуродование его, что осталось бы только его жалкое имя, почти наверное бы наступили. Рады мы или не рады, но мы должны сознать, что пока, – и еще на долгое время, на добрый десяток лет, – жизнь и существование конституционализма в России зависят от того, насколько он нравится. Что делать, – это так. Две первые Думы этого совершенно не сознавали, и отсутствие этого-то сознания и было основною причиною их ранней гибели, их неудачи.

Нужно, чтобы она временно, на некоторое число лет, ни для кого не была особенно неудобна, жестка или, тем более, мучительна. Деревцо молоденькое, не укрепившееся корнями, и зачем вызывать руки, которые протянулись бы к ней с усилием вырвать? Кто может с твердым, непоколебимым расчетом сказать, что сила, стремящаяся удержать конституцию, не окажется слабее силы, желающей ее вырвать? Как мы относимся к своему, родному? Мы ни за что не рискнем им, преувеличим свою слабость и преувеличим неприятную силу и не подвергнем родное сокровище риску, толкнув его в сомнительную и даже *почти* верную в смысле победы коллизию. Для родного мы не допустим «почти», мы потребуем «безусловно верного». Вот этой-то нервной, родной бережливости в отношении конституции и не было даже у кадетов, не говоря о левых фракциях. Все допустили «почти» и все проиграли на этом «почти», оказавшемся иллюзионным.

Но тут, кроме присутствия или недостатка зрелого суждения, сыграла роль свою и *натура вещей*. Как бы левые фракции ни усиливались быть «корректными»,они делали бы только мину корректности, а натуральная их некорректность все равно прорвалась бы. Парламент есть настолько массивная, открытая и ясная вещь, что в нем вообще «все тайное делается явным»: схитрит один член фракции, прорвется другой, условятся все молчать о чем-нибудь, но кто-нибудь один, увлеченный трибуною, раздраженный неосторожными словами члена противной партии, заговорит об этом, о чем все условились молчать. В парламенте вообще нельзя притворяться, скрытничать, и один из недостатков или одна из ошибок кадетской фракции заключается в ее пресловутой «тактике» и «дисциплине», которая в преувеличенных чертах не совместима с существом парламентаризма, который есть сила прямая и честная, которая выражает народное «я хочу». Договорим же о натуре вещей. Левые фракции и кадеты, как выразители разных течений нашей интеллигенции и интеллигентности, просто *не были, действительно не были* ни государственны, ни народны. Они имели в себе прекрасные нервные и духовные качества, но *людьми земли* они не были. Тут вся судьба нашей интеллигенции, роковая, необходимая судьба. Как немецкий протес-

тантизм в отношении католичества, так русская интеллигенция в отношении *народности,* начиная с Петра и в отношении *государственности* начиная со 2-й четверти XIX века всегда находилась в положении протеста, ропота, недовольства. Переделать этого невозможно, как невозможно переделать *былой* истории. «Что было, то было». Мы – культурные протестанты. Войдя такими под своды Таврического дворца, мы и сюда внесли протест же. Только протест, один протест. Без вдохновения к делу. «Дума оказалась неработоспособной».

Опять это существо вещей, натура вещей. Когда наша интеллигенция интересовалась делом, интересовалась армией, как родным делом? «Чужие все сюжеты» это. Как же было Думе, собравшейся, собственно, от интеллигенции, выразившей интеллигенцию, – как ей было чинить флот, укреплять армию? А это была *первая тема* возрождавшегося государства после японской войны. И флот, и армия, насколько о них упоминалось в первой и во второй Думах, – а о них почти и не упоминалось, – служили предметом сарказма и вражды; давали только повод, придирку к критике, к осуждению государства и государственности. Интеллигенция пела старую свою песню, вековую песню, потому что не научилась никакой другой. Некрасов хорошо сказал:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

Надо перестроить все арфы. Так скоро новая музыка не делается.

А старая музыка была, очевидно, не приспособлена к государственному строительству. «Молодым людям» пришлось подать в отставку.

Выступили октябристы, люди более пожилого возраста. В самом деле, в отношении к кадетам и левым нельзя их лучше определить, чем через эту фазу возраста. Мне говорил один англичанин, корреспондент лондонской газеты, о второй Думе: «Такой массы *простолюдинов* нет ни в одном европейском парламенте; русский парламент по составу *выбранных* депутатов самый *демократический* изо всех существующих». Он это передавал без порицания, немного любуясь на этот факт. Можно было заметить, что он полюбил и привязался к России, ко всему новому и молодому в ней. Но он не заметил того, что еще более било в глаза и в первой, и особенно во второй Думах, чрезвычайную *молодость* депутатов, из которых многие только-только достигли гражданской зрелости. Однако, говоря о более «пожилом возрасте» октябристов, я разумею не физический возраст, хотя и он не исключен из моей мысли, входит в нее, – я разумею, главным образом, фазу душевого развития и, до известной степени, врожденную. М. М. Ковалевский – с значительными сединами профессор; однако он *молод* душою и никогда ею не состарится. Он молод этой подвижностью, бегучестью мысли, готовностью к переменам, передвижению и проч. Он – вечный турист, даже когда и сидит на месте. Напротив, Ю. Н. Милютин, видный из петербургских октябристов, кажется, «сидит дома» и в то время, когда он путешествует. Кажется, что это не он путешествует, а его дом, старый отцовский и дедовский дом, стал на рельсы и куда-то поехал, и

вот так как Юрий Николаевич сидит в нем, то и вышло, что он «путешествует». Говорю все это описательно, чтобы показать, что можно родиться октябристом, не очень молодым, устойчивым, спокойным человеком, человеком очень образованным, но с условием, чтобы образование не преобладало над такими факторами жизни, как благосостояние, покой, упорядоченность и всяческий житейский и душевный комфорт.

Вот еще, в самом деле, определение. Октябристы суть люди пожилого возраста и бытового комфорта. Последнее тоже может быть не «в наличности», а в вожделении, в желании, в предмете стремлений, и, до известной степени, это тоже может быть врожденным. Бедняк, нищий может быть человеком комфорта, а богач может быть «интеллигентом». В истории нашей общественности таким богачом-интеллигентом был известный Лизогуб; литературным примером его может служить Нехлюдов в «Воскресении» гр. Л. Н. Толстого. Бедняков, людей комфорта, так много, что и указывать невозможно. Это все люди, с юности сколачивающие копейку, те другие люди, которым Бог дал такой талант, что они сразу же начинают «хорошо проходить службу».

Но, во всяком случае, государственность, как некоторая «служба служб», именно в таких-то людях и нуждается. Они «идут» к ней, а она «идет» к ним. Есть гармония, есть соответствие. И опять же государственность, самая задача которой есть выработка для всей нации некоторого общего «комфорта», как благополучия, благосостояния, удобств и проч., и проч., сама тянет к себе и положительно нуждается для себя в людях «комфорта» по инстинкту, по призванию, по положению.

Здесь мы не можем не обратить внимания на идеи, высказанные этою зимою П. Б. Струве. Человеку этому вообще суждено высказывать идеи завтрашнего дня. Рассеянный журналист, «интеллигент из интеллигентов», полурусский, полунемец, он начал в пору Плеве журнал «Освобождение», строго конституционный, отнюдь не радикальный, а, побыв членом Думы и увидав левых *в действии*, пришел к мысли о «великой России», к мыслям о необходимости могущественной государственности. Незадолго до роспуска 2-й Думы, однако, когда этого роспуска еще не предвиделось, он говорил как-то мне, что «вся работа в Думе *остановилась и невозможна ни сегодня, на завтра, никогда*. Поляки, – не по убеждению, а из досады на правительство Столыпина, – соединились с левыми и разбивают всякое осмысленное, целесообразное голосование. Летом, в междудумье, они хлопотали получить себе приватно и сепаратно какие-то школьные правила, нужные в сепаратистских целях, и обещали за это правительству поддержку своих голосов в будущей Думе. Но на это предложение, клонившееся к автономии польской школы, совет министров не пошел. И в отместку, совершенно без внимания к общеимперским нуждам, они испортили дело парламента и сделали его просто невозможным, – невозможным ни в каком смысле, невозможным в самом механизме. Но это, – добавлял разъяренно, – черт знает что такое: вся работа России, самая неотложная преобразовательная работа, остановилась

от нежелания одной инородческой окраины». Передаю почти буквально его слова, не влагая ни одной своей мысли, как и не критикуя его взгляд. Струве, во всяком случае, – человек безусловно честный, прямой и искренний и «интеллигент» такой чистой воды, что больше не бывает. Из этого его политического опыта, пожалуй, и вытекла идея о «великой России». В ней он сделал шаг необыкновенно трудный именно для интеллигента: признание начала *государственности.* Кадет 2-й Думы, страстно боровшийся с «левыми» на предвыборных собраниях, к концу этой 2-й Думы он стал перерабатываться почти в октябриста. А между тем это вовсе еще не человек «комфорта» и «пожилой психологии». Но он теоретически предвосхитил завтрашний день интеллигенции. Вся интеллигенция стоит пред задачею или «учуять носом» нужды государства и неодолимые, вечные, хотя, может быть, и несимпатичные требования государственности, или отойти в сторону от государственного строительства, от государственного переорганизования, – каковое, очевидно, предлежит близкому будущему, да оно уже и наступило, – как элемент, вовсе не способный ни к этому, ни к иному, вообще ни к какому строительству.

Рудины – какие же они строители? Какие строители Раскольниковы? А между этими двумя прямыми укладывается почти вся русская интеллигенция. Все герои русской литературы, все героическое в русской литературе только протестовало. Но это не пафос зиждительства. Вот отчего неодолимо и роковым образом *чистая* интеллигенция, журнализм и книжность отодвигаются на второй план, в задние ряды, по мере того как конституционализм оформливается, укрепляется и зреет.

* * *

Он зреет, и я не нахожу лучших признаков этого, чем на страницах «Гражданина», издаваемого известным кн. Мещерским. «Гражданин» двадцать лет служил и служит оплотом всего, что было в нашем старом режиме страстно-упорного во вражде к новым началам жизни. Любовь к старому порядку – это сама «натура» княжеской газеты, натура неподдельная, патетическая, очень часто талантливая. И вот просто тот факт, что депутаты Думы по окончании первой сессии разъедутся на отдых и после него мирно соберутся на вторую сессию, это выводит кн. Мещерского и его многочисленных сотрудников из себя. «Ничего не стряслось», «ничего не провалилось» во *враждебном* им принципе конституционализма. Это и есть величайшее для них зло, самое великое несчастье, о каком они могли подумать. В саркастическом, насмешливом рассказе здесь передается разговор ночью между, приблизительно, сотрудником князя Мещерского и сытым депутатом 3-й Думы, уезжающим из Петербурга в купе 1-го класса. Что публика 3-го класса и большею частью 2-го была конституционна, – об этом несчастии «Гражданин» всегда знал. Но публика 1-го класса всегда читала «Гражданин», а депутатов своих посылала не в Таврический дворец, а на знаменитые «среды» князя Мещерского, на эти «черные сре-

ды», о которых в пору Сипягина и Плеве говорилось на ухо, что там за неделю, за месяц вперед обсуждались «имеющие наступить» события и мероприятия, и обыкновенно «события» всегда и наступали так, как там обсуждалось, а «мероприятия» непременно даже наступали. «Средам» этим наступил естественный конец, как только «события» русские стали идти в открытую, и идти не иначе, как по обсуждении их в Таврическом дворце. Но я передаю рассказ. Сытый депутат Думы говорит, что они теперь «утвердились», а друг князя Мещерского, не находя возражений по существу, язвит эту его сытость, комфорт купе 1-го класса и странный душевный покой, напоминающий покой чиновников и генералов. Оружие странное в устах сотрудника или сочувственника «Гражданина», которые всегда и боролись за купе *для них,* за комфорт *у них*, за душевное равновесие *свое.* Любопытно наблюдать, как капитальные люди старого порядка стали в *позицию* и приняли *тон* санкюлотов против нового порядка. Говоря образно, прежде худощавые и нищие щипали тучных господ; вдруг мы видим, что тучные господа устремляются с этими щипками на тощих и полуодетых господ. Явно, что во всей России ситуация всех вещей, положение всех классов и состояний существенно переменились, переставились. На угрозы тем и другим и, наконец, третьим роспуском Думы депутат отвечает насмешливо и дерзко:

– Распустить? Нет, non gaga... Прошло то время. Распустить легко было Аникиных и Жилкиных. Те были, и их нет. А мы никуда не спрячемся, да нам и некуда спрятаться, мы были и останемся на виду, останемся при всяких обстоятельствах и во всяком положении. Стало быть, и «распустить» нас будет не так-то легко и, до известной степени, фиктивно, на момент. Да и к кому, *помимо нас*, обратиться: ведь все другое левее и *опаснее* нас...

Тут же, уже прерывая диалог, друг Мещерского пересчитывает по пальцам скорбные пункты Манифеста 17-го октября: «Нельзя не утвердить того, что одобрено голосованием в Государственной Думе и в Государственном Совете»; а «что не одобрено этим голосованием, того никак нельзя утвердить»; «Закон, здесь прошедший, есть закон; а что здесь не прошло – никак не может стать законом». Словом, «прощай», милые среды на Спасской улице. Раздражение это пустое, но, как симптом, оно очень любопытно.

В самом деле, что тонкие всегда были за конституцию, – это довольно известно. Это известно еще с 14 декабря. Но когда на сторону конституции перешли и толстые, перешли «столпы отечества», то остается только признать совершившийся факт и перемену всех вещей в России.

Мещерский прав: конечно, в смысле *движения вперед* и *успеха* это гораздо многозначительнее всяких аграрных проектов, которые были именно *проектами*, т. е. пожеланиями, разговорами, предположениями, которых и в книгах, и в гостиных всегда было неопределенно много, и о чем злой ум сказал, что «такими предположениями вымощен ад».

Не выйду ли я из своей роли, начав рассматривать политические вопросы и в том числе вопрос обучения? Как «истинно русский человек», я питаю благочестивую веру в то, что «правительство все знает лучше нас», – под каковою верою, как под дубом мамврийским, покоится и нежится обывательское чувство: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Об инородческом вопросе меня заставил сказать несколько слов бывший попечитель рижского учебного округа г. Левшин, который – мне показалось – стал на *спокойную* и правильную точку зрения в этом вопросе. Конечно, не попечителю округа, т. е. все-таки *педагогу*, брать за шиворот народность, в которую он пришел, и требовать под такими-то и такими-то угрозами, чтобы все учили детей своих всюду на русском языке и не учили на своих туземных. *Метод* действий педагога совершенно не тот, как чиновника или сановника министерства внутренних дел, или как солдата, офицера и главнокомандующего. Насколько нам представляется противною, просто *неэстетическою*, слащавость, сантиментализм и либеральничанье в человеке *команды,* под *военным* мундиром, настолько же мне кажется неуместным и просто антихудожественным грубое и повелительное отношение, грубое и повелительное распоряжение, исходящее из уст начальника *школ*, распорядителя *школьного дела* в крае. Каждому – свое; у каждого – своя манера. Каждый только *при своей манере* и достигает наилучших успехов или вообще каких-нибудь успехов. Пусть главнокомандующий или генерал-губернатор распоряжается; но около него попечитель учебного округа не должен представлять в своей фигуре *второго* генерала, *такого* же генерала, а под его эгидою должен делать бесшумно и незаметно свое педагогическое дело, торопливо садя и садя школы, никого не оскорбляя, не задевая, не муча, в каждом местечке и во всяком единичном случае сообразуясь с особливыми обстоятельствами этого случая. Разумеется, *русскому* педагогу никакой нет нужды стараться о насаждении школ на туземных языках уже по тому одному, что каждое племя об этом *само* достаточно заботится. Русскому педагогу, и в том числе попечителю округа, есть одна забота – о насаждении собственно *русских* школ или *русского языка* в туземных школах; о внедрении все большем и большем русских начал в инородческий пласт населения. Дело это вытекает само собою из натуры вещей, и оно ни для кого не оскорбительно именно как в высшей степени *натуральное*, если к нему не присоединяется насилие. Это насилие, т. е. уже *намерение* властного человека оскорбить, обидеть, притеснить – разрушить все в педагогическом деле, в педагогических задачах. Вспомним судьбу классических гимназий у себя. Ну, что худого в эллинизме, в эллинском образовании? Все его любили, все им наслаждались. Но Катков и Толстой ввели его в оскорбительной форме: они *навязали* русским «дуракам» эллинизм, заставив, и приказательно заставив, всех долбить Кюнера. Результат получился отвратительный: все *возненавидели* классицизм, и плоды этого до сих пор не исчезли, до сих пор напояют ядом нашу страну

и школу. Перекиньте испытанное в отношении «древних языков» на практику «русского языка» – и вы поймете роль его в туземной школе. Совершенно естественно желать и надеяться, чтобы все племена, существующие в России, кроме своего туземного языка говорили и по-русски, читали по-русски и, словом, были гражданами русской образованности и русской культуры (которая *есть*). Но желать и надеяться этого, *способствовать* этому – можно; а вот *потребовать* этого, притом *сейчас* потребовать, – невозможно, не рискнув всем делом, не потеряв всю надежду на «исполнение своих желаний». Вспомним судьбу классических гимназий в России; будем всегда иметь в виду это предостережение, это несчастие своего педагогического дела. Все люди – из тех же костей, крови и мяса, и что отвратило *нас*, что заставило *нас* возненавидеть – заставит точно так же возненавидеть и немцев, поляков, латышей русский язык. Конечно, не вообще русский язык, а *школьный* русский язык. А «само собою» это сделается, т. е. русский язык, – конечно, при умном нашем соучаствовании, способствовании, – внедрится и в общество латышское, немецкое, и *в школу* немецкую, польскую, латышскую. Ведь ищут же через объявления в Риге и Либаве «русскую бонну» к немецким детям; я *лично* узнал, правда, не без удивления, что в *баронские* семьи Остзейского края ищут репетиторов *русских* студентов, чтобы преподавание шло на русском языке. Не знаю, часто ли это бывает, но бывает. Нужно ли доказывать, что подобные поиски совершаются не принудительно, не по «приказу свыше». Мы не вдумываемся в психологию инородцев, а она, как можно предполагать, далека от оптимизма. Страх «существования» у всякого чрезвычайно велик. Это великий зоологический животный страх, который подавляет высшие чувства; и с правом подавляет, ибо, ей-ей, – это слишком страшно: *как* существовать,*чем* жить – мне, моим *детям*, моей (возможной) *вдове* и проч. и проч. «Фатерланд» и «ойчизна» далеки: это или *греза* будущего, или за *пятьсот верст* «от нашего городка» и «может быть, я никогда ее не увижу». «А жить нужно *мне* и *моим детям*...» Сумма этих обстоятельств слагается в такое железное, давящее кольцо, что не будь, мне кажется, *национального оскорбления* в «приказанной школе на русском языке», они *сами* кинутся в русские школы, или потребуют, попросят преподавания на русском языке некоторых предметов в своих туземных школах. Словом, не «обрусяй» мы их при всяком случае и во что бы то ни стало, – и они непременно «обрусятся». Непременно – все, сколько в них есть людей живых, не лежебок, даровитых, предприимчивых, «с будущим». Правда, чухонцы, даже приезжающие в Петербург на масленой катать нас, ни слова не говорят по-русски, кроме «давай деньги». Но чухонцы как-то не в счет. Кроме своего «suomi», их язык, т. е. мясистый язык во рту, ни на какие слова не поворачивается, им невероятно трудно что-нибудь еще усвоить, кроме своих болот, озер, камней и «suomi», и хоть это нация упорная, добросовестная и во многих отношениях добродетельная, но до того первобытная и «чухломская», что она вообще ничему и *никогда* чужому не научится, ни русскому, ни шведскому, ни французскому. Чухонец, который заговорил бы по-французски,

удивил бы весь свет. И незнание *ими,* именно *ими,* нашего языка не должно нас оскорблять. Ибо тут не преднамерение, а *натура*; не вражда, а просто абсолютное отсутствие всемирности и всеобщности в тусклом приполярном племени. Чухонцы – не в счет. Но, кроме их, все более южные, более даровитые, более живые и освещенные солнцем нации непременно усвоят русский язык; усвоят его немцы, поляки, латыши – все, все инородцы. И без торопливости, русская речь будет слышаться всюду. Но не надо историю толкать в горб: тогда она заупрямится и остановится.

В МЕЖДУДУМЬЕ

О деятельности третьей Думы я прошу редакцию дать мне высказаться несколько иначе сравнительно с тем, что говорили о ней в нашей же газете в первую минуту после закрытия сессии.

«Magna charta libertatum» Англии нам кажется чем-то вышедшим в готовом виде, как Афина из головы Зевса Громовержца. Но так на самом деле вещей не делается и событий не происходит. У народа нашего есть одно поверье-обычай, может быть, не повсюду распространенное, но в некоторых местах практикующееся: новорожденное дитя сейчас, как оно увидело свет, дохнуло первым воздухом, кладут *под лавку, в темноту*, и там держат некоторое время, «подольше». Так мне передавали, а когда я изумился такому варварскому и жестокому обычаю, то сельская учительница, рассказывавшая мне это, объяснила, что так крестьяне делают из осторожности, по бережливости, что, *хорошо вылежавшись в темноте*, никому не видное, дитя будет *потом* здоровое расти. Удивительное поверье. Но английская конституция именно долго «вылежалась в темноте». Первые шаги ее были совершенно незаметны, – день *рождения* ее никому даже неизвестен. Когда мы ее наблюдаем, видим, она уже не крохотная, не дитя. А как родилась и как провела младенчество, – мы не знаем, *ученые* не знают. Magna charta libertatum есть плод уже вековых передвижений в обществе, в государственности: это то же, что в судьбе отдельного человека поступление в университет. Но вот эта «Великая хартия вольностей» появилась. Парламент имел прерогативы, казалось, правил страной. Между тем всего два века назад, чуть не в сорокалетнее правление министерства Вальполя, на самом деле из парламента была вынута вся живая сила, и он весь лежал мертвым, гниющим, заражающим страну трупом: хитрый министр, великий эмпирик, устроил *систему подкупов* и всегда имел голосование за себя, всегда имел его, как купленную верную вещь. Все было не явно, а тайно, хотя и знали все об этой всеобщей тайной вещи. Парламент был куплен, большинство в нем куплено; и это не такая трудная вещь для государственного кошелька и в такой богатой стране, как Англия. Вальполь правил страною неограниченно, имея *фикцию* парламента перед глазами Европы и на самом деле держа парламент у себя в кармане. Вот какие вещи делались

уже в первой половине XVIII века; между тем они кажутся совершенно невероятными и неправдоподобными для *«теперь»* Англии.

Из всего этого следует, что парламентаризм есть не *факт,* а *рост*, что это не «дали» – «взяли» старого порядка, старого уклада жизни, где «награды сыпались» и «благополучия» создавались со сказочной быстротой, а трудное, тяжелое завоевание своего положения, нового положения, укрепление в этом положении, расширение этого положения. Говоря старым подьяческим языком, парламентаризм есть «служба», а не «фавор» и «счастье». Все это познается сейчас, познается с горькими слезами. Между тем, когда в первой Думе слушалась ответная на декларацию Горемыкина речь Набокова, то казалось именно, и, пожалуй, самому Горемыкину казалось, что вот 500 человек пришли и взяли «фавор и счастье». Казалось, что это люди «в удаче», «в случае», говоря опять языком грибоедовских времен.

Нет, этого не было. И в конце концов даже хорошо, что *не было*. Ибо «фавор» все дает в час, и все отнимает в час. Нужно очнуться и сознать, что перед нами тяжелая работа, что ничего еще не началось, почти ничего; *кое-что* только есть, зернышко, дробинка. И что в таком положении всего лучше новорожденному младенцу полежать под лавочкой, в темноте. Пусть пройдут минуты, дни, переложенные в масштаб истории, – это значит: «пусть пройдут первые годы, – ну, хоть десятилетие».

Нужно, чтобы новое расположение обстоятельств слежалось, окрепло и установилось. Чтобы к нему все *привыкли*. Чтобы, просыпаясь, каждый обыватель спрашивал себя: «Ну, а что вчера было сказано в Думе», – и протянул руку за отчетами в газете. Нужно, чтобы все надежды в самом населении, в *обывательском* населении, стянулись к Думе: «Нужно об этом начать говорить в Думе». «Нужно, чтобы этого потребовала Дума». Словом, нужно, чтобы Дума сделалась *психологическим* фактом каждого *личного* существования. Вот когда все это сложится, установится, – Илья Муромец может спустить ноги с печки. А пока время ему полежать там безвидно, бесшумно. За «делами» дело не станет: был бы *тот,* кому делать «дела». Вот когда его не станет, или *если бы* не стало, – можно ахнуть. Теперь для этого никаких причин. За то, что Дума в эту сессию не приступила ни к чему крупному, ее можно только поблагодарить.

* * *

Однако настороженность, очень большая настороженность, не должна переходить в сонливость. С нами это очень может статься. Несчастие русских и несчастие русской истории заключается в том, что в ней все, даже очень шумное, очень энергичное поначалу, переходит мало-помалу сперва в «обыкновенное», потом в «неинтересное» и, наконец, прямо в *сон.* Это Восток в нас вечно засыпает, Азия вечно засыпает. В какую печальную, бедную и бледную историю перешли наши городские думы, – об этом всем известно. «Обывательское состояние» и «обывательское житие» – вот чего как огня надо бояться Государственной Думе. В этом отношении чем-то зловещим

представляется назначение членам Думы *жалованья,* т. е. введение в наш парламентаризм «20-го числа». 20-е число – это покой, сон и *смерть*. Нельзя не обратить внимания на ту чрезвычайную охоту, с какою министр финансов г. Коковцев, изрекший, что «у нас парламента, слава Богу, нет», пошел навстречу думскому постановлению об увеличении членам Думы содержания и о превращении этого содержания в постоянный оклад жалованья. Если, слава Богу, «парламент *уже есть*», то при жалованье очень и очень может случиться, что он, «не дай Бог, *исчезнет»,* оставшись в пустой фикции, в пустом имени, в пустом звоне совершенно *безопасных* речей. Шипы перестают колоться, если их завернуть в сторублевую бумажку. Мне передавал один видный член 2-й Думы следующее двойное наблюдение.

– Дума страшно поглощает человека, депутата, – говорил он. – Сколько вошло туда известных писателей, всероссийски известных. – Он назвал несколько имен. –И вот идет эта знаменитость между сиденьями депутатского зала, и таким он представляется здесь маленьким, незначащим. Отчего это происходит – я не знаю. Думаю, от величественности самого явления*: народное представительство, выборные всего народа,* – это подавляет. Ньютон, поставленный на Монблан, Гумбольдт, странствовавший среди Кордильер, – оба такие жалкие, немощные, *незаметные!* А с другой стороны, не можешь не улыбнуться внутренне и тоже не удивиться, когда какой-нибудь депутат-мужичок, вполне из «сознательных» и очень левых, еще третьего дня говоривший с кафедры очень сердитые слова, вполголоса предлагает вам, не купите ли вы у него полпуда меда, который он привез с собою в Петербург или ему прислали сюда «сродственники». Депутатство – депутатством, а жизнь – жизнью: тут он хлопочет об аграрной реформе, но это – в перспективе; а сейчас ему нужно продать пуд меда, и он ищет покупателя и ударит с ним по рукам и в том случае, если этим покупателем будет и «буржуа».

Так он говорил мне. И я тоже подивился, но потом подумал: «Жизнь – жизнью». Одни заботы у года и другие заботы у недели. Годовые заботы – они большие и красивые. Но никак не обойдешься и без недельных забот – маленьких и сорных. И вот тут уместно вспомнить и о Вальполе. М. М. Ковалевский удачно назвал вопрос об увеличении жалованья депутатам «зазорным вопросом», т. е. несчастным и постыдным; от него очень предостерегал С. Ю. Витте в Государственном Совете. Он ясно говорил о «подспудных намерениях», возможных здесь. «Почему именно теперь, в самом конце первой сессии третьей Думы, *правительство внесло* этот законопроект?» – спрашивал он настойчиво в Совете. Может быть, мысль его содержала тот упрек, что в виде солидной *прибавки* к суточным и превращения этих суточных в *жалованье* правительство «поблагодарило» депутатов за «хорошее поведение» и вместе дало им в психологию такое обстоятельство, которое невольно *смягчает* душу. «Будете хорошо себя чувствовать и будете менее сердиты». Пуд меда, продаваемый в депутатском зале, и зловещая тень Вальполя встает в душе. «Подмазывания» бывают разные, и хорошие «патриоты» даже служат молебен, получив жирное подмазыванье. Все это грязно; от всего этого «дурным» пахнет в

воздухе. Но парламентаризм тем хорош, что он *открыт* и *громок* и вследствие этого имеет свойство «самопочиняться», т. е. выздоравливать даже после всяких скверных заболеваний. *Был* Вальполь, и, однако, *нет* следов его системы, о которой рассказывают только *историки.* Ничто не мешает тем же М. М. Ковалевскому и С. Ю. Витте поставить «точку над i» во второй сессии, т. е. заговорить во всеуслышание России и Европы о том, о чем они говорили обиняками и недомолвками в торопливые дни, когда уже кончалась первая сессия. Не захотят *они* заговорить – заговорят *другие*, заговорят их друзья, которым в приватной беседе, за хорошим ужином они, не стесняясь, скажут свою полную мысль. Когда был назначен министром иностранных дел кн. Лобанов-Ростовский, в Петербурге заговорили, что тотчас по прибытии князя в Петербург гр. Витте, бывший в то время всемогущим министром финансов, стал громко высказываться, что русский министр иностранных дел не имеет соответствующего его высокому сану помещения, и будто бы, поехав к князю (вероятно, с ответным визитом), спросил его, не пожелал ли бы он поместиться в одном из пустующих в Петербурге дворцов, на покупку какового в казну министерство финансов даст средства. Князь отказался, может быть, имея в виду, что между министром иностранных дел и министром финансов не всегда будет согласие в комитете министров и вообще в высоких вопросах государственных, и желая для таких случаев сохранить больше психологической свободы. Я передаю тогдашние петербургские разговоры, как их слышал, ничего не прибавляя и не убавляя и, конечно, не ручаясь за достоверность. Но не бывает «дыма без огня» и молвы, по крайней мере, без *почвы*, без «обстановки» для нее. Во всяком случае, совершенно достоверно, что покойному Сипягину, захотевшему жить не на Мойке, где помещался его предшественник Горемыкин, а на Фонтанке, «так как тут близко церковь, в которой он привык бывать», на *отделку* квартиры его в казенном доме было «отпущено» 300 000 рублей, что будто бы вызвало высокое неудовольствие в высоких сферах. Но затем, что я знаю *лично*, так это то, что едва С. Ю. Витте был назначен министром финансов, как К. П. Победоносцев хвалил не нахвалился новым министром: он ему отпустил на церковно-приходские школы что-то около двух миллионов ежегодно. Таким образом, «подмазывания» существуют в самом разнообразном виде: одного подмазывают восковой свечкой, а другого – красивым трюмо и лепной работой по потолку. Имея в виду все это, не будем очень взыскательны к пуду меда, который старался продать мужичок-депутат. А что касается до *жалованья* депутатам, то, сохраняя свою мысль о нем как о «зазорном явлении», дополним эту мысль тем воспоминанием, что в старое время, *непарламентское* время, также «подмазывали»... Так что вопить и метаться совершенно нечего, тем более что в старом порядке это было неисцелимо, – неисцелимо уже потому, что все было глухо, темно, «между четырех глаз», и разве-разве с разговорами в Петербурге; теперь же все это исцелимо, и притом *радикально* исцелимо... Это – *новые выборы!*

«Новые выборы! Новые выборы!» Перемена *людского состава* у того же кормила законодательства. И вот все, что не доделали или плохо сделали за

пять лет своего «думанья» одни представители народные, то могут доделать или исправить в следующее пятилетие другие выборные. Великая сила парламента, его великое «опять встаю» заключается в непременной смене его состава через каждые пять лет и в том, что эти пять лет каждый состав работает под наблюдением всей нации, которая его критикует, с него мысленно взыскивает, мысленно приготовляется его или вторично опять выбрать, или забраковать на новых выборах. *Система* дополняет здесь человека, поправляет человека, тогда как прежняя система гасила и лучшего человека. Ведь никто не станет отрицать огромного ума у Победоносцева, его любви к России, наконец, огромной *внутренней свободы суждения* у него обо всех вещах и лицах. Но что из этого вышло? *Работа* его для России оказалась отрицательною, и она потому оказалась такою, что он никогда не встречал сурового отпора, резкой и открытой критики в глаза, резкого и прямого спора, который, кстати, *сам* так любил. И человек прекрасных умственных качеств превратился в какую-то размякшую рухлядь, ничего не делающую, ни на что не способную только от того, что он двадцать лет обонял одни фимиамы и испытывал сладкие со всех сторон «подмазывания». Он заснул, превратился заживо в мертвого человека, с полною уверенностью, что он «великий человек», что для России от одного существования его происходит какая-то великая польза и что ничего не нужно делать, кроме того, что уже *есть*. Это – великий сон Азии, великий сон Востока. Будем верить, что с парламентаризмом он навсегда отлетел от России. Тут всегда заведутся такие клопы и блохи, что исполин пробудится. Парламент, может быть, и не гениальная, не великая система, но при нем *беспокойно*. Может быть, для Руси это всего нужнее.

К НЕСЧАСТЬЮ С В. А. ОБНЕВСКИМ

Ужасная гибель В. А. Обневского, раздавленного паровозом Александро-Невской конки, побуждает спросить: каким образом в Петербурге допускались, допускаются и, вероятно, будут допускаться к легковому извозному промыслу *лошади пугливые*? До сих пор ни у кого, едущего на извозчике, не могло и не может быть уверенности в своей безопасности, потому что из ста случаев езды в одном или в двух лошадь всегда начинает беспокоиться при встрече с паровозом, трамваем или автомобилем или пугается свистков и визга паровозов и моторов. Между тем как в 98 случаях лошадь бежит совершенно спокойно и при догоняющем, и при встречающем паровозе или трамвае, не теряя покоя в самом близком расстоянии от рельс. Совершенно явно, что в гибели несчастного Обневского виновато отсутствие полицейского контроля над лошадьми и *испытания* лошадей *на пугливость* перед тем как быть допущенною к езде в Петербурге. Это испытание так легко, что об нем нечего и говорить; лошади должны испытываться: 1) на звук свистка, и 2) на вид идущего вагона трамвая, мотора и выпускаемого пара, 3) на случай встречи, догонки и

пересекания рельсов перед трамваем. Извозчик, не объехавший полицейского, стоящего на перекрестке двух улиц, имеет записанным свой № и штрафуется 3 руб., что является достаточно побудительною причиною, чтобы они всегда исполняли это осторожное полицейское правило, хотя от нарушения его редко что-нибудь происходит. Но, к ужасу, мы совершенно не знаем, будет ли оштрафован тот хозяин и содержатель легковых лошадей, коего лошадь была единственной виновницей ужасной смерти несчастного Обневского, т. е. был единственным виновником ее этот кулак-хозяин?! Назначь полиция штраф в 100 руб. за каждую лошадь, которая «начала бросаться и понесла» перед паровозом, – как пишется в сообщении о гибели Обневского, – и хозяева-кулаки моментально устранят всех подобных лошадей из промысла; устранят даже подозрительных по этой части. Повторяю, извозчики так уверенно говорят об одних лошадях «она *ничего не боится*», а о других «да, она *молода*» или «недавно в городе и еще *не привыкла*», с переходом в многозначительное умолчание о безопасной езде на них, что о возможности *строго* отделить одних и других лошадей не может быть и вопроса. Это вполне возможно, и только наша подлая халатность, наше подлое «*мне* все равно», «может – *обойдется*» и проч. есть источник несчастий, при чтении о которых холодеет кровь.

Хорош и машинист поезда, который «мчится далее» с попавшим под него человеком. Все это такие «родные картинки», о полном и *моментальном* уничтожении которых полиция *обязана* позаботиться. А то трафаретные штрафы в 3 руб. за «несоблюдение правил езды», – каких-то допотопных правил, – очень мало утешает петербуржцев и заставляет их ежедневно дрожать за свою жизнь.

Передам наблюдение: в Берлине и особенно в Риме с его страшно узкими и извилистыми улицами, к тому же поднимающимися и опускающимися, меня поразила совершенно спокойная ходьба пешеходов, не оглядывающихся ни назад, ни по сторонам, точно они чем-то застрахованы; упомяну о таком же покое извозчиков в отношении трамвая. Присматриваясь к езде, ходьбе и трамваям, я заметил, что *свободен в движении один пешеход:* его извозчик *объезжает*, и вообще обязанность не задавить – определенно и единственно лежит на извозчике, на которого пешеход и головы не поднимает. Напротив, трамваи, с необыкновенной быстротой скользящие по Риму, моментально задерживаются и вовсе останавливаются (на секунду), когда на рельсах замешкался извозчик. Там *больший бережет меньшего, сильный – слабого, богатый – бедного*: это единственное правило движения и езды по городу. И если в этом суть демократии, то, конечно, – я за демократию, и, вероятно, со мною согласится каждый.

1) Прохожий – спи.

2) Извозчик – берегись!

3) Трамвай – страшно берегись, штраф в сто, а при несчастии – в тысячу рублей!

И все будут сбережены.

– Черт бы их побрал…

– Кого?

– И дачников, и этих лающих собак…

– Но, если не ошибаюсь, вы сами дачник?

– Но я без собаки.

– Без собаки?

– Природа, лес, солнце. Отдохнуть бы и насладиться. Но у меня в соседстве муж с женой друг на друга не смотрят и, во избежание развода, так как он дорого стоит, завели себе собаку. Говорить не о чем, так они заведут ее и слушают.

– «Заведут собаку»… Послушайте, не отправиться ли вам на 9-ю версту?

– Сами отправляйтесь туда, если нравится. Собакой я называю это проклятое изобретение Эдисона.

– Эдисона?! Такой почтенный человек?

– Ему хорошо. Живет во дворце, соседей нет. Если и слушает свою собаку, то только когда сам заведет, и, вероятно, никогда не заводит. Это он отравил своими собаками весь свет, но, конечно, сам уклоняется от их слушания.

– Я все-таки подумываю о 9-й версте, потому что ничего не понимаю в вашей речи.

– Я не сошел с ума, но очень может быть, что сойду. Лающей собакой я называю граммофон. Прислушайтесь к звуку в металлической оправе, – потому что резонатор-труба дает металлическую окись человеческому голосу, – и вы заметите, до чего все эти «жестокие романсы» и «невероятные арии», захваченные в свою трубку проклятым Эдисоном, сводятся к «ау! ау! ау!» неистовой дворняжки. Всего и только! Ничего больше! Прежде дворники, трактиры и вообще вся «демократия» щеголяла, бывало, серебряными часами «при цепочке», а теперь эта демократия обзавелась граммофонами, и вот, поставив на дворе или в соседстве эту мерзость, решительно отравляет вам весь день, портит все ваше настроение, ибо вторгается со своими «расцелуй меня», «процелуй меня» и т. п. копеечными леденцами, когда вы грустите, печальны, размышляете, занимаетесь и, наконец, просто пьете чай и хотите смотреть на лес. Это – деспотизм демократии, которая поставила в вашу душу калоши. Я не хочу, я буду жаловаться…

– Кому?

– Я не знаю кому. Всему свету. У меня отняли мой покой, мой отдых, мою дачу. Неужели я не могу жаловаться? Я не нашел формы, но существо жалобы есть…

– Вы тогда должны жаловаться на рояль, на пенье…

– О, Боже! Да ведь это – *человеческое,* и прекрасно даже в штрихе; в мимолетном, в неумелой пробе. Поскольку она неумела, она тянется минуту. А тут несчастный муж, которому надоела жена, с 10 часов утра и до 11 ночи меняет «пластинки» в чудовищном изобретении, и на нас несутся горы

звуков, лая, визжанья, хлопков и черт знает чего! И так каждый день, потому что мои соседи по крайней мере в окончательной размолвке, окончательно не говорят друг с другом и, чтобы не драться и не ругаться, поставили между собою эту эдисоновскую собаку.

– А прежние шарманки?

– Боже мой! да это поэзия сравнительно с граммофоном! О шарманке и шарманщиках писали повести: можно ли же сочинить повесть о граммофоне и граммофонщике? Да и шарманщик опять-таки уйдет или вы его попросите уйти, а тут в соседстве интеллигентные люди, кажется, инженер с инженершей, – и как вы пошлете им сказать, чтобы они заткнули глотку своему чудищу? Эта дворничиха в кружевах воображает, что она женщина со вкусом, и раз наслаждается сама, то ей и в голову не приходит, что ее проклинают соседи со всех четырех сторон…

– Да, история. Вас заставляют слушать, чего вы не хотите. Музыка есть настроение, родит настроение: и в ваше настроение, для которого есть свои причины, вторгается чужое настроение. Действительно, для нервного человека нельзя представить ничего мучительнее и… насильственнее. Действительно, для граммофона нужно бы придумать какое-нибудь ограничение; напр., что его можно заводить только в закрытых помещениях и вообще тогда, когда его звуки не проникают в чужое помещение. Для дач следовало бы назначить по крайней мере определенные часы дня: часа два утром, часа четыре вечером. А то целый день – это действительно жестоко, и это слишком возможно. Ибо мы, русские, ни в чем не знаем меры. Можно представить себе больного, умирающего, можно представить себе жену и детей этого умирающего, к которому врываются эти «разлюбил он меня», «полюбил он меня!», «бис! бис!», «браво! браво!». Черт знает что такое. Это нужно полицеймейстера звать…

– Да и я о полицеймейстере день и ночь думаю. Но ведь у нас конституция, и о нем теперь и заикнуться невозможно. Даже черт его знает, уж и не заводит ли этот граммофон какой-нибудь отдыхающий депутат? Все может статься, и тогда он с «двойным правом», как избранный гражданин, отравляет мне существование.

– А знаете, граммофонные магазины еще не догадались: через год, через два, поверьте, выйдут пластинки с Милюковым, с Родичевым. И будут иметь успех, как с госпожою Вяльцевой. Тогда, если поселятся в соседстве два господина, один подписчик «Русских Ведомостей», другой – «Русского Знамени», то воображаю музыку.

– А вот я угощу соседа Родичевым…

Лает здоровый бульдог, лает 20 минут.

Подписчик «Русского Знамени» рассвирепел, берет пластинку Пуришкевич и заводит.

Слышится тоже 15 минут визг и мелкий лай, как у собачки, которую водят на ленте.

И всю эту прелесть слушает третий сосед! Слушает и не может не слушать, не вправе не слушать!!!

ТРУДНЫЕ ДНИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Старый вопрос об интеллигенции и народе, раньше бывший несколько академичным, последние годы налился соком и кровью. Практической печали не происходило оттого, что интеллигенция наша как бы имеет совсем другую душу, чем какою живет народ, но теперь от этого получаются и практические последствия. Они прежде всего сказываются в том, что интеллигенция, рванувшаяся было так широко, самоуверенно и до известной степени счастливо к «преобразованиям», вдруг завязла в деле, остановилась в полете, как остановились когда-то Колумбовы корабли, попав в часть океана с густыми водорослями. Остановил ее народ; остановила неохота народная, пассивность народная. Это – в массе. Отчаяние остановило и испугало негодование народное, получившее поразительное выражение в памятные красные дни после 17 октября, когда по улицам понесли красные флаги, чуть не официально признанные. События, разыгравшиеся по многим городам, от Томска до Твери и Вологды, пытались объяснить «подсказыванием полиции», но отчего это полиция, которой сто лет никто не слушался и сто лет ее не любила улица, – вдруг в одну неделю стала мила этой улице и она начала повиноваться едва слышному шепоту ее, как грому Юпитера или гласу Господа Бога? Это интеллигентное объяснение, усердно пропагандируемое, было самым печальным самоутешением. Нельзя поверить, чтобы были действительно так глупы люди, повторявшие это, писавшие об этом, кричавшие об этом в гостиных, по клубам, в газетах и всюду. Никогда полиция не может поднять руку народа, – уже потому, что полиция всегда или неприязненна, или индифферентна народу. Интеллигенция стала на очень опасный путь, закрыв глаза на самую грозную опасность, какая перед нею открылась: на то, что она – *одна,* что народ в массе вовсе не идет за нею. Если бы она не испугалась прямо посмотреть в глаза этой опасности, она пережила бы тяжелые душевные моменты, но зато избегнула бы гораздо тягчайших практических происшествий.

Мы не сторонники и никогда не были сторонниками таких организаций, как Союз русского народа и другие параллельные: им недостает образованного взгляда на положение России – того взгляда, который *требует* преобразований, требует, чтобы Россия была *преобразованною.* Это нужно для ее силы, нужно в великом международном соперничестве. Недостаточно кричать о силе России, грозить силою России. Надо ее иметь. Вот, чтобы *иметь* ее – этому никак не поможет Союз русского народа, ни сто таких союзов. Но одно дело – видеть все недостатки Союза и бессилие его, и совсем другое – понимать и оценивать мотивы того огромного течения, которое несет сюда русских людей. Это-то огромное течение, которое имеет для себя бесчисленные выражения, и остановило или сильнейшим образом задерживает преобразовательное движение России, – и задерживает не только в том смысле и направлении, какое хотели бы сообщить ему наши полулевые и левые партии, но и в настоящем национальном и государственном значении.

«Речь» в сегодняшнем нумере поместила две статейки: «Апатия ли» и «Гниение», полные этой преднамеренной или во всяком случае несчастной слепоты. В одной статье она объясняет, что в последние три года в русское сознание вошло слишком много новых «понятий», но восприняты были собственно не «понятия», а только слова, и к чему могли бы подвинуть русскую массу понятия, к тому не могут, видите ли, подвинуть слова. Очевидно, русскому народу надо перевариться от «слов» до «понятий» и довариться до той премудрости, в обладании которой так счастлива «Речь». Тогда все будет исправно, и Россия двинется вперед по программе Винаверов и Набоковых. Оставим газету в этой счастливой уверенности и перейдем к другой статье. В ней она группирует сведения о разных денежных пререканиях и отсутствии ясной отчетности, в чем провинились некоторые *управления* отделов Союза русского народа, и также утешает себя тем, что Союз неуклонно разлагается. Но ведь управления отделов Союза – это одно, а то, почему к этому Союзу текут такие массы людей, – это совсем другое. Важен не Союз, конечно, а важен, и безмерно важен, сам русский народ, на который пора оглянуться и «Речи», и интеллигенции, о котором пора подумать Винаверам и Набоковым. И тогда они поймут ложный блеск и немощь своих точеных фраз.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИИ ПЕРЕД ЕВРОПОЙ...

Печать до парламента была в России негласным парламентом. Она недвусмысленно намекала, что когда представительства в России нет, она есть ее представительство, эти свободные или, во всяком случае, говорящие не под диктант русские публицисты. Но представительство – *обязывает*. Если говоришь от имени страны, то и говори с достоинством страны. Каким же языком и тоном изъясняются эти экс-министры или эх-министры, Кутлеры и Федоровы, или Кизеветтеры, Гессены и т. п. «представители русской народности» перед лицом Европы, Финляндии, Польши и других наших окраин? Это старый язык наших «Мертвых душ» и «Горя от ума», это язык Маниловых и Загорецких. Они говорят языком Манилова, когда говорят «вообще», и они говорят языком Загорецкого, когда говорят по определенному адресу. Слащавое маниловское красноречие о всяческом человеческом счастье и человеческом преуспеянии – общий очерк их программы, которой они думают усладить Европу и Америку и о которой мы думаем, что это есть программа Манилова касательно постройки моста счастья, по одну сторону которого сидел бы Чичиков с проектируемой супругой, а по другую сторону сидел бы Манилов с наличной супругой, и обе четы вели бы беседы о будущем счастье человечества. Дальше этой маниловщины никак не могут шагнуть наши «Речи» и «Слова», не догадываясь, что тут не заключено и зерна

политической мысли, что это речь не граждан, а обывателей, которых «представительствовали» когда-то Загорецкий и Манилов. Эту «общую» программу поддерживают всевозможные «сообщения» о недостаточных студентах и страдающих курсистках, смысл которых не идет дальше того блюда, на которое по церквам собирают что-нибудь для всевозможных «убогих», «слепых» и «вдовиц». Мы не отрицаем доброты всего этого, но не понимаем, почему это политика. Разве тут выходит та поистине убогая политика, что вот «Русские Ведом.» страдают о курсистках, а правительство или «бюрократия» их обижает? Но так как обыкновенно речь идет о еде и питье «недостаточных», то, без скобок, злостные намеки газеток сводятся к тому, почему не сплошь все курсистки и студенты посажены на стипендию. Что эти стипендии отнюдь не падают в виде манны с неба, а в общем кругообороте идут из «народного бюджета», об этом газетки умалчивают.

Являясь Маниловыми в отношении курсисток, они являются Чичиковыми в отношении русской государственности. Такова политика «вообще» у нашей печати – в смысле общего духа и общего направления. Когда же происходит какое-нибудь событие, вроде речи тальмана Свинхувуда или дерзкой речи социал-демократического представителя в английском парламенте о том, что Россия есть такая страна, в которую нельзя показаться, не оскорбляя принципов гуманности, культуры и образования, – то по всей линии русской печати выскакивает целая туча Загорецких, которая начинает сейчас же целовать ручку и у тальмана, и у социал-демократа, и вообще у всякого, кто сделал России неприятность или оскорбил ее. Чья бы нахальная рука ни занеслась для пощечины России, сейчас же кидаются к этой «ручке» с поцелуями «представители печати», кричащие и клянущиеся, что они «представляют собою Россию». Так как все это довольно известно и в Финляндии, и в Англии, и всюду, то можно сказать, весь свет приглашен к нам на гастроли «рукоприкладствовать». «Оскорбляйте наше отечество, оно подло», – кричат эти Гессены, Милюковы, Федоровы и та стая приват-доцентов, какая с подписями и без подписей украшает столбцы «Русск. Вед.». Нужно только удивляться, из какой амальгамы составлена натура этих господ, являющихся в такой мере сантиментальными, когда они говорят о курсистках, и столь жестокими, когда они говорят о своем отечестве!

Из чего же составлена политика этих господ, и не правильнее ли представлять их совсем без политики? Ибо может быть, отечество их и «весь свет», но ни в каком случае Россия не есть их отечество. С тех пор как два-три русских профессора были приглашены читать лекции в заграничных университетах, все русские профессора вообразили себя «гражданами света». Желаем им успеха во «всем свете», но не желаем, чтобы они вредили в России. А когда они заявляют перед «всем светом», как они презирают эту Россию, и заявляют в качестве «представителей русской науки и образованности», то они положительно вредят России; давно пора разъяснить им это. Почему это они «выражают Россию»? Гораздо более выражает Россию всякий сапожник из рассказов Глеба Успенского или всякий натуральный са-

пожник, чем эти, с позволения сказать, «профессора», и вообще в большей своей части этот «третий элемент» в России, не имеющий в себе ничего туземного и ни с чем туземным не связанный. Они существенным образом экстерриториальны. Родина у них – профессия, заработок и тот пучок мыслей и понятий международного или «переводного» происхождения, какой наполняет их профессиональные журналы, их специальную литературу. Почему же они «представляют Россию»? Решительно ни по чему. И они не имеют права говорить английским социалистам и финляндским тальманам решительно ничего «как русские люди», «как представители России», «от лица России», а вправе ползать перед ними на четвереньках только как лично Федоров или как лично Гессен. Тогда, конечно, «благодарность от Европы» им была бы меньшая, чем теперь, когда «за границей» воображают, что перед ними ползает «русское общественное мнение». Этого унизительного положения от *настоящего русского общественного мнения* Европа никогда не получит.

К НАЧАЛУ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Шума много, раздражение большое, недовольство поднимается волной, а исцеления не видно. Мне кажется, к этому можно свести положение вещей в учебном ведомстве, особенно в высших учебных заведениях. Тороплюсь раньше всего другого, раньше всякого дела и мыслей, спросить у министерства: а что же, учителя гимназий опять забыты? В мою пору *ученичества,* в 1877 г., жены учительские потихоньку от мужей-учителей, имея на руках детей и хозяйство, подбавляли к заработку мужа по нескольку рублей в месяц белошвейным заработком. Именно они предлагали холостым учителям «найти швею» для шитья белья: но, взяв материал, шили по ночам сами и клали плату не в кошелек белошвейки, а в карман мужу, потихоньку и от него и от заказчика. Мне это известно, как брату учителя, жившему в казенной квартире, обок с несколькими учительскими семьями. Уже в 1877 г. учителя *задыхались* в нужде; холостые – *не решались* жениться, так как «честь учительская» требовала жениться на «бедной образованной девушке», и женитьба на девушке с какими-нибудь средствами всегда вызывала косые взгляды, подозрения и проч. Point d'honneur!* Корпус учителей, при недостаточной умелости учить, при страшных по этой части злоупотреблениях (очень редко), имеет и что-то идеалистическое в себе. Я знавал учителей, потихоньку шивших одежду беднейшим ученикам из жалованья, бесплатно репетировавших слабых и вместе даровитых учеников. Заглянуть бы солнышку сюда, много хорошего могло бы вырастить. Но солнышко не заглядывает. Не заглянуло и теперь.

---

* Вопрос чести *(фр.)*.

Что же жалованье учителям? Почему в Г. Думе промолчал об этом А. Н. Шварц? Отказа бы не было. Наверно. Значит, он просто не захотел вспомнить об этом? Можно ли этому не удивляться? Если в 1877 г. учителя *задыхались* от нужды и уже подумывали о мальтузианско-пролетарском «не размножаться», то как эти бедные *настоящие пролетарии* существуют теперь, я не умею ни представить себе, ни понять этого. Ведь за японскую войну и особенно после забастовок и подъема всюду заработной платы на фабриках цены на все товары поднялись на 25%, а в зависимости от этого поднялась и цена вообще всех продуктов и условий существования, мяса, провизии, квартиры. Не известно разве это на Чернышевом мосту? Неделю назад я подробно, в цифрах, выспрашивал о «получениях» сельского священника в приходе достаточном, почти хорошем, но *не* отличном однако: оказывается, около 1500 р. в год, да земля, десятин 17, да домик свой. Этой суммы обстоятельств *ни у одного учителя нет:* между тем после всех высчетов ближайший родственник священника мне сказал: «Только? Очень бедно!» – «Как бедно, – ответил я, – это – *сельский доход,* и человек *без высшего образования.* Учитель, *живя в губернском городе,* т. е. за все платя втрое и не имея своего домика и землицы, получает столько же деньгами, а некоторые, именно начинающие учителя, обычно и менее. Между тем труд учителя тяжелее труда сельского священника».

Кстати, этот родственник сельского священника сказал мне: «Они (священники) задыхаются от безделья; и огромным пустым временем, совершенно ничем не наполненным за всю неделю, объясняются пороки сельского духовенства, карты и пьянство. Читать они не привыкли и ничего не читают. Потребности в образовании, т. е. ответственности за необразование, – никакой. Остается ездить в гости к небольшому помещику или становому, и тут фатально приходят карты и вино. Дьякон обычно занимается в училище, и это спасает его нравственно». Передаю это, как слышал. Пусть подумают об этом кому должно. «Задыхаются от безделья» – это я передаю буквально. Работа только в посты и в большие праздники. Земля 17 десятин сдана крестьянам в аренду. За небольшой своей скотиной ходит работник. Дети, хозяйство – на матушке. Действительно, остается что же? «Куда-нибудь поехать»...

Между тем о пополнении средств существования священников везде говорят, настойчиво говорят, и, кажется, – это «решено». За них есть ходатай – обер-прокурор Синода. Есть священники, члены Думы. В учителях есть что-то безмолвное и беззащитное. Даже сельские учителя и «учительницы» как-то больше умеют себя защитить, больше на виду, больше вызывают о себе молвы. Учитель гимназии есть что-то почти спрятанное в погреб. Кроме учеников, его никто не видит, нигде его не видно. Как бывший учитель, объясню, что их нигде не видно потому, что у них абсолютно не остается ни малейшего времени куда-нибудь показываться. До чего у них вырвано и отнято все время, можно видеть из того, что, когда я раз, внове по приезде в город, пришел *в воскресенье с визитом* к учителю древних языков, то он,

воспользовавшись тем, что я рассматриваю какую-то книгу на столе, сказал мне: «Вас эта книга интересует? Будьте добры, посмотрите ее, а я пока прочту еще 1–2 тетрадочки» (письменные упражнения учеников). Рабочий день всех учителей *с письменными упражнениями* (математика и языки) несравненно больше 9-часового: и притом это труд страшно интенсивный, не допускающий ни минуты *рассеянности* и *забывчивости!* Рассеянный учитель в классе – невозможное явление! Рассеянно поправлять тетрадь – совершенно невозможно, как это понятно само собою. От этого на 10-й, на 12-й год учителя, позволю употребить прискорбное выражение, но очень точное и действительное, «чумеют», теряют как-то человека в себе, лицо в себе; становятся «столбом», чем-то тупым, немым, глухим, невпечатлительным, глубоко молчаливым. Это не сатира, это – горе. Что это далеко от сатиры, я скажу, как – даже на предмете без тетрадок (самая проклятая часть учительства) – к этому 13-му году службы я тоже начал «чуметь», т. е. сделался до того равнодушным к ученикам, к преподаванию, к гимназии и уже, конечно, ко всему человечеству, ко всей цивилизации, как… пациент перед заболеванием, может быть, перед сумасшествием! Почему это так, до подробностей должно выходить *так,* – это можно бы объяснить в книге. Скажу только, что профессура сравнительно с учительством – это такая легкая, счастливая вещь, такая просторная и широкая вещь, что и сравнить нельзя. Один плавает в море, другой – в луже: а душа у них, даже в смысле сведений, почти та же, а в смысле живости, интересов, влечений – совершенно одна.

И этим «углекопам» цивилизации, трудящимся тоже под землей и без света, никто не хочет помочь. А сами они особенностями своего дела, этим постоянным давлением на мозг крошечных тусклых впечатленьиц, калейдоскопически вращающихся 10–15–20–25 лет (уроки задаваемые и спрашиваемые), приведены к состоянию какого-то полупаралича и не могут ни сказать о себе, ни закричать, ни кому-либо пожаловаться. Еще прибавьте сюда железную дисциплину. Есть всеобщая мысль: «Он учитель и должен подавать *пример ученикам»,* т. е., разумеется, пример покорности, послушания, безропотности, небунтарства (в итоге и общем очерке). Эти правила особенно примерного поведения не лежат даже на священнике, который подает пример все-таки взрослым и самостоятельным людям, и от этого *самочувствие* его гораздо шире и свободнее. В учителе есть что-то низкорослое и детское: так все ожидают. Большое дитя, подающее пример малым, ученик самого первого сорта, служащий образцом ученикам второго сорта. Этого *грима* на себе, не вытекающего нисколько *из существа его как человека,* – учитель не смеет сорвать с себя даже во сне. Какой же он учитель, если он просто человек! Весь мундир рассыплется. От этих условий и каких-то общих ожиданий жизнь учителя, быт учителя и, наконец, даже самая психика учителя полны такого стеснения, отсутствия своей подвижности, своего лица, какого-либо простора и собственного движения, как этого нет ни в одной профессии, нет у священника, у офицера, у члена суда, у врача, у инженера. Какое разнообразие деятельности у каждого из перечисленных лиц! Вещи

новые, люди новые! Священник в каждом исповедании видит новую душу человека! У учителя – никогда нового! Все те же моря Европы, все те же латинские спряжения! Все та же маленькая психика учеников, до которой он должен *приседать.* Оцените одно это *приседание* души, чтобы быть понятным ученикам и понять их, а $^{9}/_{10}$ жизни учителя проходят в общении с учениками, т. е. $^{9}/_{10}$ жизни он бывает присевши. С взрослыми почти нет общения, круг всего взрослого, интересы всего взрослого – не круг его интересов и *должности.* Если вы оцените это и примете во внимание, что эта одна профессия до того поглощена трудом, что учитель никогда даже не показывается в обществе, что выражения: учитель в театре, учитель на балу, учитель в клубе, учитель на концерте суть звуки, к которым не привыкло ухо, потому что этого *не слышно* и потому что этого *не бывает,* то вы измерите, какое жалкое, расшибленное существо скрыто под синим вицмундиром со Станиславом 3-й и 2-й степени, с Анной 3-й и 2-й степени (дальше не идет).

Их винят, что они дурны. Да, они дурны. Я сам как учитель был плохой, т. е. тупой и злой. Но я же заболевал, и, в сущности, все учителя суть заболевающие больные, незаметные хроники, только не доживающие до бурного периода у каждого своей болезни. Они дурны от несчастия. От безмерной тяжести своей профессии и неблагоприятности самых условий обстановки ее. Общество, которое хочет получить лучших учителей, должно лучше поставить учителей…

Но все это начинается с аза: с корма, квартиры, с возможности летом нанять дачу, поехать на Волгу. Всего этого учитель не может.

Почтальонам прибавили жалованья, судебным чиновникам, которые и раньше получали больше учителей, имея одинаковое с ними образование и не больше труда, прибавили тоже. Только одних учителей опять забыли, т. е. о них забыл и не напомнил Г. Думе г. Шварц.

Не знаю, кому стыдно от этого. Всей России стыдно.

«ШЕПТУНЫ» РАЗНЫХ ЯРУСОВ

Сила всегда бывает относительно благодушна. Сила уверена в себе и своем «завтра», и от этого никуда не торопится и никого не сбивает с ног. Если принять к сведению это житейское наблюдение, то нельзя не удивиться, какое бессилие живет в нашей хвастливой интеллигенции, которую никак не должно смешивать с настоящим образованным классом России, хотя и немногочисленным, но который *есть.* Иногда можно подумать, что этой интеллигенции или каждому порознь интеллигенту осталось подышать всего один день, и этот последний день он употребляет на то, чтобы облить невероятной злостью все, что останется жить после него. Интеллигенция напоминает иногда чахоточного, который хочет своими бациллами испор-

тить питье и еду здоровых людей, завтрашнему дню которых он так завидует. Она сама себя называет «страдальческою». И это злое и озлобленное страданье обессиливает всякое сочувствие.

Один из ораторов Г. Думы, где тоже много этой больной интеллигенции, сказал о «шептунах», которые не подлежат контролю и между тем оказывают влияние на власть и самые «источники» ее. Вероятно, тут разумелся контроль Г. Думы, которая в этом случае претендовала на некоторое «чтение в сердцах», по выражению приснопамятного критика, и на право подобного чтения: ибо шепот очень близок к движению мысли в душе, а слушающий шепот и подчиняющийся или не подчиняющийся ему и совершенно представляет собою просто не глухого и думающего человека. Оратор Г. Думы счел себя обиженным и ужаленным в правах тем, что ему не подаются для рассмотрения и одобрения эти шепоты и это слушание шепотов. Как само собою понятно, под этими «шепотами» разумелись не шепоты в буквальном смысле, а те домашние, гостинные и кабинетные разговоры и беседы, которые могут коснуться и житейских и государственных дел. Так как домашняя жизнь есть и у людей самого высокого государственного положения и, наконец, у самых «источников власти», как выражались газеты, то странная претензия думского оратора и тех газет, которые занялись припоминанием и пережевыванием его выражения о «шептунах», заключается ни более ни менее как во вторжении в домашнюю жизнь этих людей высокого и чрезвычайно высокого положения и в желании просто прекратить эту частную жизнь или изъять из нее обширную рубрику самых важных и горячо всех интересующих тем и разговоров.

Эта поистине низкая тема была поддержана и муссирована и октябристскими органами. «Голос Москвы» принял в ней участие, а радикальные петербургские листки начали усердно комментировать его бестактные строки и делать испуганное лицо ввиду опасности, которая не только может произойти, но уже сейчас происходит для дорогого отечества от этих «слов и словечек», которые произносятся «просто за чайным столом», «за чашкою кофе», произносятся даже не всегда прямо, а в виде побочного летучего замечания. Вот хитрые ласточки с горючим материалом, от которых может сгореть город! В демократическом воображении уже пылает Москва и горит все дорогое отечество. Хуже, чем горит, – обливается кровью. Эти строки мы не можем не назвать гнусными – до того они низки в тоне и в мотиве.

Когда их читаешь, то чувствуешь, что задыхаешься в таком мрачном удушье, которое напоминает самые темные времена аракчеевской и клейнмихелевской реакции.

Что же, не имеют около себя «шептунов» и «шепотов» думские заправилы или либеральные публицисты? За обедом и завтраком они не ведут политических разговоров с людьми, прямого и открытого отношения к политике не имеющими? А «фракционные совещания» партий предварительно всякого важного голосования? Наконец, кто осуждал криминальным или нравственным осуждением, что вся первая Дума в лице ее господствующей

партии, а следовательно, и вся Дума вообще, в ее политике, тактике и направлении дирижировалась закулисно Милюковым, который тоже «официального и открытого» положения в парламенте не занимал, а между тем в жизни его не только участвовал, но и руководил ею? Смеяться над этим смеялись, т. е. смеялись над бездарностью партии, так подчинившейся своему закулисному вождю, но о «прекращении» этого не поднимали речи. Это дело слишком внутреннее, чтобы его «уловлять». Чем же был, как не «шептуном», этот честолюбец для кадетов? И вся знаменитая «тактика» первой и второй Думы не основывалась ли именно на «шепотах», не зарождалась ли в «шепотах»? Сколько можно понять и думского оратора, говорившего с кафедры, и теперешние пересуды газет, – мысль их клонится к тому, что в политике должно быть все открыто и ясно, не должно быть ничего затаенного, закулисного, куда не проникает народный глаз, который все «должен контролировать». Это самочувствие до некоторой степени объяснимо в народном представителе, которого речи действительно вправе контролировать те, кто его выбрал. Но ведь «выбранные-то лица» этого именно и не соблюли, хоронясь и от народа во «фракционных совещаниях». Разве народ одобрил бы и даже разрешил бы социал-демократам те подземные их ходы под покровом Думы, но за стенами Думы, которые они себе позволили и которые привели к роспуску 2-й Думы? Кстати, о «шептунах»: да, социал-демократия в Думе, как и вообще крайняя левая в ней, имела все источники своей политики и тактики вовсе не в Думе и не в определенной группе населения, которая порознь выбирала отдельных депутатов, а имела пружиною для себя свою партию и главарей этой партии, находившихся за границею, и разные заграничные съезды, конгрессы и постановления. Что же газеты и думские ораторы не заикнулись об этом внедумском влиянии на Думу? Изолировать – так изолировать всех! Устранять шепоты – так нужно заткнуть рот всем. Пусть каждый думает в одиночку о государственных вопросах и подает голос свободно от лица своего. Так устраивается римский конклав перед выбором папы: и удивительно, что нелепая мысль устроить наподобие этого политическую жизнь новой России пришла на ум кому-то в нашей Г. Думе и что далее эта блестящая мысль покорила воображение публицистов. Все это было бы позорно, если бы не было так наивно.

И «шепоты» и «шептуны» были всегда, у всех, вокруг всех, везде. Это просто результат того, что у всех есть частная жизнь, домашняя жизнь, что все живут и существуют не только официально, но и интимно, и что из этой интимной жизни нельзя вырвать горячего интереса к важным предметам официальной деятельности. Начните уничтожать «шептунов», и вы кончите уничтожением книги и газеты, которые ведь тоже «навевают мысли». Цензура так цензура, зачем останавливаться? Были Плеве справа, появятся Плеве слева. Появятся и уже подкрадываются к нам такие господа слева, талантам которых позавидовали бы все сыскные отделения света. Прочь эту дьявольскую, иезуитскую духоту! «Шепоты» и всевозможные «влияния» есть и всегда останутся: но что всякая мысль при парламентском строе проходит

фазу открытого и всенародного обсуждения – это и гарантирует, притом совершенно достаточно гарантирует, от возможной вредной стороны таких «шепотов». Яд их не выходит за дверь кабинета и гостиной; не может выйти. Яд нейтрализуется при свободном обсуждении государственных предметов в Думе. Он и остается личным впечатлением, личным переживанием, личною симпатией или личною антипатиею. Все это, будучи неизбежными фактами личной жизни даже государей, могло по временам становиться действительно опасным для жизни страны, как это случилось с г-жою Крюденер в царствование Александра I. Но при открытой парламентской жизни подобные влияния не могут простереть своего действия на дела, на политику, на события. И воображать, напр., что будто бы развивается реакционное движение от разговоров за завтраком – это так глупо, что воображать это могут только чебоксарские депутаты да профессиональные лгуны, которых развелось так много в мелкой печати. Большая печать должна бы беречься и не допускать в себя этих мыслей морального «дна».

СМЕШАННЫЕ БРАКИ

Те сотни, а на пространстве России может быть и не одна тысяча лютеранок, которые почувствовали привязанность к русским чиновникам, к русским офицерам или к русским ученым, облегченно вздохнут, прочитав в статье почтенного А. А. Киреева, что «он согласен на брак с ними этих русских людей». Так можно понять хотя и не прямой смысл его статьи по поводу миссионерского съезда в Киеве. Любовь ведь приходит два-три раза в жизни; иногда только два; в редких случаях она приходит не более одного раза. И именно в тех случаях, когда она приходит только один раз в жизни, эти люди со способностью к такой исключительной и великой любви представляются чем-то почти чудесным, хочется сказать – святым. Идеальная любовь похожа на святое чувство. До того она редка. До того зрелище ее трогательно. До того плоды ее, в виде семейной жизни, в виде воспитания детей – благотворны.

Предполагаю испуг этих приблизительно нескольких сот лютеранок и лютеран, уже влюбленных в русских, когда вдруг В. М. Скворцов, г. Боголюбов и другие чиновники духовного ведомства грозно заговорили, что «нужно воспретить брак русских с еретиками, т. е. лютеранами, католиками и вообще со всеми неправославными». Что делать? Любовь уже есть. Уже завязалось это кружево неуловимых отношений, непередаваемых, невысказываемых ощущений, которые мы называем кратко «любовью» и которые не покрываются никаким словом ни на каком языке. И грезы, и цветы, и звезды... И тревоги старых родителей о будущем своих детей, этих молодых влюбленных. Мне кажется, в подобных сближениях есть столько обещаний и для религии! «Любовь все покрывает»... В любимом все нравит-

ся… И вот жених и невеста, раньше ничего определенного не думавшие – русский о лютеранстве, а немка – о православии, начинают любовно вглядываться в обряды, в учение, в культ церкви, всегда или враждебных, или индифферентных одна с другой. В этой связи, в таких связях – столько обещаний для культуры, для истории религий, для народностей! Восходит заря любви, и в лучах ее гаснет тысячелетнее разделение.

А. А. Киреев утешает: «Хоть лютеране и еретики, это – бесспорно: но в *быту* к ним вражды нет, и брак православных и лютеран можно разрешить».

Слава Богу! Нельзя не сказать – mercі!

Ну, а личики католичек затуманятся! А. А. Киреев обходит грозным молчанием вопрос о браке с католиками; и так как ксендзы с величайшей неприязнью смотрят на брак своих «овец» с православными, то статья А. А. Киреева доставит большое удовольствие этим ксендзам, бискупам, может быть, даже которому-нибудь кардиналу и, кто знает, даже св. отцу, если эта статья будет переведена в каком-нибудь клерикальном итальянском или французском журнале. Ксендзы потрут руки. Население затуманится. А ведь розы, звезды, душистые вечера – все это есть и над Вислою, над Неманом, Вилией? Мне пришлось узнать историю одной любви польки к русскому офицеру, уже не молодому, не красавцу: до чего в нем, в его добром простом характере открылось для нее точно новое небо. Любовь кончилась переходом ее в православие; и нельзя передать тех трогательных и глубоких слов, в каких она описывала в письме ко мне первую исповедь у православного священника! По этому письму я слишком могу судить, что самая возможность для католика или католички – любить русского, – а любовь эта и может зародиться и вырасти до определенных размеров только при возможности смешанных браков, – до чего она, говорю я, как бы раскрывает сокровища русского духа, русской веры, всей русской *сути* людям других культур и стран, других небес и звезд. До известной степени «смешанный брак» как наличный институт, как возможность для всякого, как доступность для каждого, – есть первое движение нации от узкого провинциализма к чему-то всемирному, всечеловеческому. Будь допущены у нас смешанные браки раньше Петра Великого, – время Петра Великого пришло бы к нам на сто лет раньше, и пришло бы без ломки, без крови. Это надо ценить, об этом надо подумать.

«Что нам за дело? Мы – *сами!* Мы – *одни!* У нас *свое царство,* с иными несмешивающееся! *Лучшее! Высшее!*» – отвечают на все эти мотивы господа, характеристику которых, основанную на *воспоминаниях,* на *виденном,* дал М. О. Меньшиков в статье о монахах и монастырях по поводу того же миссионерского съезда в Киеве. «Мы – *одни!* Мы – *лучше всех!*», «Как мы решим, так и будет, *должно быть.* Кто супротивится? Разве еретик, безбожник? Отметем всех. Извержем!»

– А девушки, а любовь? Небеса, и звезды, и цветы!

– Что еси рек безумное? Какие цветы? Есть сено, а цветов не бывает. Сено по шестидесяти копеек за пуд. Сами покупаем и дороже не платим.

Звезды, какие звезды? Дурь одна. Кто же при звездах гуляет, кроме распутниц! Благоразумная христианская девица ввечеру сидит дома, вяжет чулок, волю родительскую почитает, духовных отцов слушает; и выходит замуж не по звездам и по сену, а по воле родительской, которая в огне не горит и в воде не тонет. Сие есть христианский брак, целомудренный, тихий и не говорливый… И… долготерпеливый.

– Почему же «долготерпеливый»?

– Не всегда сходятся. Бывают случаи. Ин жена опротивеет мужу, ин муж ненавистен жене… Нужно терпеть. Ин муж имеет дерзкую руку: нужно терпеть. Нужно молиться. Нужно обращаться к Богу, чтобы подал силы переносить…

Такое терпение рекомендовать и указывать не противоречит, видите ли, религии, но паче выражает всю суть ее. Но где же сказано, что нужно терпеть счастье? Переносить счастье человеческое, радоваться счастью человеческому, способствовать этому счастью – это что-то до того не богословское, не академическое, не семинарское, что даже и в голову не вмещается. Можно простить и отпустить пьянство, ну и можно простить даже библейский грех… Враг рода человеческого силен, а человек слаб. Но чтобы вслух, но чтобы громко простить и отпустить и дозволить счастливую жизнь католички и православного, мирное рождение от них детей, мирное воспитание этих детей: чтобы это так-таки вот и сделалось перед вашими глазами, а мы бы смотрели и улыбались – да никогда! да невозможно!

Мне кажется, суровые речи на миссионерском съезде, как и речь достопочтенного А. А. Киреева, имеют душою в себе вот этот диалог о *сущности брака,* который по-мирскому, по-человеческому есть одно, а по-церковному, и притом *традиционно*-церковному, есть нечто совсем другое, чем ожидает и хочет мир, чем ожидают и хотят люди. С обыкновенной точки зрения, с точки зрения всех замужествующих и женящихся, любовь есть такое священное чувство, до того редко возникающее и исключительное, что хочется ему всячески помочь, и не приходит на ум ему препятствовать, ломать его. «Разбить счастье» – это кажется ужасным; мы всякого *светского человека,* разбивающего счастье любящих, называем «извергом». Так все люди зовут, и зовут «извергами» даже родителей молодых людей, когда они волю свою ставят поперек счастья детей. Но у богословов и по традициям богословским, как-то до непостижимости все обратно общему человеческому суждению: счастье любящих они называют «сеном», просто чем-то не только ненужным, но даже и не существующим, выдуманным, сочиненным и сочиняемым. Поэтому о «счастье любящих» никогда не поднималось самого вопроса во всем тысячелетнем церковно-богословском учении о браке. Нет этой темы, нет этого пункта. Все это тысячелетнее учение, в сущности, только сводит мужчину и женщину. На миссионерском съезде потому поднялись так *смело* эти речи о недопустимости таких-то браков «в угоду миссионеров Скворцова и Боголюбова», что ведь если в самом деле любви нет, а есть только «схождение», то отчего же в самом деле совершенно легко и твердо и

спокойно не запретить целой рубрики таких схождений, ибо останется-то ведь для всякого достаточное количество еще возможных других схождений. «Все одно»... Как только вы в зерно брака поставили это «все одно», – я с горем должен сказать: санинское, арцыбашевское «все одно». Как только вы погасили в браке лицо человеческое, – так и получили... эту свободу и счастье миссионерских рассуждений о браке. Но если мы восстаем против Арцыбашева, если гнушаемся практикою Санина, то не пора ли нам сказать и тут:

– Какое возмутительное издевательство над человеком! Как могут эти Скворцов и Боголюбов и «иже с ними» рассуждать так свободно о браке, т. е. о счастье определенных *лиц человеческих,* будто они имеют над этим счастьем какое-то право, могут дать его и не дать его, и вообще повергнуть все так и этак. Откуда это чудовищное право, и не пора ли давным-давно откинуть его, как мы откидываем всякую безнравственность.

УНИВЕРСИТЕТ И СТУДЕНЧЕСТВО

В последнее время много говорилось о вольнослушательницах в университетах. Поговорим теперь о *невольно*слушателях. Их много, до чрезвычайности. Я помню уже на своей памяти, что в 1878–1882 гг. аудитории начинали еле-еле наполняться с первой недели Великого поста. Это были уже студенты ничего себе, хорошие. На 3-й, 4-й неделе подбавлялись слушатели и плохие. Отличных слушателей, т. е. систематически следивших за *смыслом* курса, было из каждой сотни студентов человек десять. Правда, таких профессоров, как Тихонравов, Ключевский, Буслаев, слушал полный комплект. Их слушать было то же, что читать Тургенева: *уверен* – так же образовательно, воспитательно. Влекло обаяние и лица, и чтения. Тут, я думаю, художество и восприятия и выражения; но это – не труд, не наука в чернорабочем, ежедневном смысле.

Я был на историко-филологическом факультете. В лице профессуры (сколько чувствовалось) этот факультет особенно уважался как самый прилежный, «наукообразный», культурный. На прочих факультетах посещали лекции еще меньше.

Это было 26 лет назад. Теперь все ушло вперед, между прочим, и в направлении малопосещаемости лекции. Тогда еще не было практики: записавшись на лекцию и внеся плату за учение, получать урок в провинцию и уезжать в провинцию до экзамена, к экзамену приезжать, покупать литографированные лекции, выучивать их, отвечать на экзамене и, перейдя на следующий курс, опять уезжать в провинцию. О таких явлениях не было слышно. Но уже некоторые из моих учеников по гимназии учились в университете именно этим способом: смотришь, в сентябре–августе опять гуляет по городскому саду гимназист, получивший весною аттестат зрелости и поступивший в университет.

– Вы ведь в университете?
– Нет, я здесь на кондиции.
– А университет?
– Внес плату и записался.

Эти «внесшие плату и записавшиеся» – чем же являются в университете? Какою-то нумерациею и статистикою. Это – омертвелые части университета, которым он в живом и личном, в натуральном и реальном общении не нужен, и уже vice versa они ему не нужны. Я не понимаю, для чего это томление. Их томит университет, а университет томится ими. Взаимное это томление, напоминающее несчастное супружество, не излечивается ли лучше всего, и даже единственно верно – разводом? «Друзья мои, когда вы тяготитесь друг другом, зачем вам не расстаться?»

Оговорюсь кое-чем утешительным. Когда ветер понесет пыль, то она заволакивает все небо. «Пыли больше, чем земли». Земля такая маленькая под ногами, – оттого, что она лежит. Один гуляющий студент, оттого именно, что он гуляет, везде виден: в гостях, в театре, в загородном лесу, в Буффе. Кажется, видел четырех, а видел одного. Видел четырех оттого, что видел в четырех местах: ведь незнакомое лицо не узнаешь, то же или не то же. Да и запоминаешь мундир, а не лицо. Далее его знает портной, который ему ставит белую подкладку, певичка, которая нашла его «таким симпатичным», и, наконец, «все знакомые», которых именно от подвижности «ужасно много». И все сто уст, которые его знают, говорят: «студент гуляет», «студенты гуляют». Если на 5–6 тысяч студентов есть тысяча гуляющих, то распределите или, еще лучше, передвиньте эту тысячу с Невского в Буфф, из Буффа в Крестовский – и вы получите говор, что «от студентов пройти нельзя в увеселительных местах» и что «кто же остался в университете, когда в часы лекций мы видим столько гуляющих!». Между тем даже тысяча гуляющих на шесть тысяч – это меньший процент, чем сколько решительно *не занималось* в мое время. Если мы примем во внимание то, что пишет в своих «Воспоминаниях» Н. И. Пирогов о товарищах-студентах и как изобразил свои занятия и занятия многих-многих сверстников Л. Н. Толстой в «Юности», то мы придем к выводу, что огромный процент студентов, приблизительно около половины и даже более, вообще всегда не занимались. Но нам западет в ум и то, пожалуй, удивление, что около них рос Пирогов, рос Толстой, – и как один нисколько не пошатнулся в великом своем научном ходе, так второй не рассеялся, не угас, не растаял в серьезных качествах своей души, в вечно встревоженной и ищущей мысли. Но тороплюсь прибавить утешительное из нашего времени: вот эти самые последние годы, годы войны с Японией и революции, когда университет был преисполнен невероятного шума и хаоса, я знавал студентов, которые не только посещали лекции, но не пропустили ни одной лекции, не понимали, что значит и как можно пропустить лекцию. Это – раз. Во-вторых, – чего совершенно не бывало в наше время, чего мы не понимали самой возможности, – они готовились дома накануне к лекции следующего дня. Когда я спросил, «что значит готовить-

ся к лекции», то мне объяснили, что по ходу курса известно приблизительно, о чем будет читать профессор завтра; и чтобы лучше, чтобы вполне воспринять его лекцию, понять в ней все до ниточки, студент на дому по печатным книгам ознакомляется с этим отделом. Сообщаю это для читателей, зная, до чего вся Россия смущена «бездельничаньем» студентов; но для точности сообщения должен прибавить, что случаи такие единичны. Однако 26 лет назад даже и как единичных этих случаев не было.

Затем я встречал уже не единичные случаи, а множество случаев, ряд явлений, когда ученики и ученицы высших заведений занимались вообще сплошь все время, какое у них было, – когда кроме воскресного отдыха, и то вечерком, они не давали вовсе себе никакого отдыха. И как во всех случаях настоящих занятий – занимались легко, счастливо, с полным удовлетворением, не тяготясь, не жалуясь. Замечу еще, что, от лучшей ли подготовки или чего другого, теперь занимаются как-то талантливее, с лучшим результатом, чем в наше время: 25 лет назад выходили из гимназий с такою жалкою подготовкою, до того, например, не зная языков ни древних, ни новых, что даже и «старательные» ничего не могли сделать в университете. Не было средств сделать. Утешительную часть моих наблюдений, конечно, не надо принимать распространительно, но, я думаю, не надо распространять очень и отрицательных явлений.

Перейду теперь к зрительному впечатлению общества, к впечатлению массовому, итоговому. Кто же видит занимающегося студента? Кроме его товарища по комнате никто не видит. А если их занимается десять? Тоже никто не видит, ибо они никуда не показываются, они по самому существу дела становятся не видны, невидимы для общества. Такова ведь суть занятий, занятости. Общество вообще видит только шалопаев, только шалопайство, и ничего другого видеть не может, по скрытому существу всего серьезного. Не сказать, что на Невском, в увеселительных заведениях и проч. и проч. толчется, например, в Петербурге несколько тысяч студентов, – этого никто не скажет, этого никто не видел. Их везде разрозненные единицы. В общем – десятки, сотни; в итоге – немногие тысячи, я думаю – до половины, как и всегда.

Но вот еще утешительное явление. Как известно, вагнеровские представления в Петербурге очень дороги. Я не мог эту зиму достать билета. Когда я об этом толковал в небольшой компании, то молодой человек, недавно кончивший курс в университете и счастливо заполучивший билет, сказал: «Удивительно, как много на представлениях студентов! Некоторые, которых я знаю, – беднейшие. И сидят не на плохих местах, чтобы все слышать и видеть, чтобы не пропустить ничего. Они, без сомнения, заплатили последние деньги, какие были у них». Все это я пишу потому, что, как мне кажется, чрезвычайно важно знать и положительные факты.

ДЕЛАЮЩИЕ И НЕДЕЛАЮЩИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Секрет половины и более шалопайничествующего студенчества лежит в трех причинах: 1) дипломодобывание; барьер, через который надо перескочить, чтобы получить «карьеру»; 2) давление традиции; 3) привлекательность быта.

Пирогов поступил в университет, *чтобы* стать врачом и ученым и *потому что* было у него к этому призвание. К определенной цели и по определенному основанию он и шел совершенно прямым, не дрожащим, не колеблющимся путем. Просто – он поступил, начал учиться и слушать лекции, изучать ряд предметов, от одного к другому, ничего не пропуская, не уставая, радуясь каждому часу занятий. Это и есть норма. Для этого нормального и существует университет, для этого он был основан. Так должно бы быть и со всеми, во всем. Но этого нет.

Для чего поступил Толстой, судя по воспоминаниям «Юности»? Как только он поступил, так и «перестал ходить на лекции». Но тогда для чего же его отдали родители? Родители его не для «чего» отдали, а «почему» отдали: отдали потому, что «нельзя быть образованным человеком, не побывав в университете», и что «вся образованная Россия есть университетская Россия».

Это как перелет птиц: попадали листья, воздух холоднее стал: и все поднялось, все поднялись и полетели. «Куда?» – «В Африку, на юг». – «А вы?» – спрашивают множество шалопайничающих студентов. «Да так, вообще. Все же учатся. Кончают курс в гимназии и поступают в университет. И мы». – «Да вам что нужно в университете?» – «Ну, как что? Лекции, сходки, профессора, книги. Много шума и много движения. Политика и наука. Все, вся цивилизация. Все нам нужно. Мы пришли за цивилизацией в университет. Тремся около нее и золотимся. На это истратить четыре года и тысячи полторы денег – стоит. Потом будем золотыми».

Это – для богатых, со средствами. Бедный думает иначе:

– Мои родители из нищеты не выбились. Всю жизнь были в зависимости, были «униженные и оскорбленные». Могли бы быть не хуже других, но *никуда не пустили их,* потому что были они с первоначальным образованием. Теперь я достукался до аттестата зрелости, а как достукаюсь еще до университетского диплома, то будет разговор другой. И тех, кто унижал моих родителей, – я сам унижу. По крайней мере стану независим от этих подлецов. Университет – это свобода. Университет – это независимость. Университет – это дорога куда угодно, дверь во все комнаты, во все отделы цивилизации. Пройти ее *непременно* нужно, а там уж я осмотрюсь и выберу.

Чичиков ведь вечный тип – без его индивидуальных черт, а в общем очерке «пробивающегося к состоянию и силе» человека. Его надо только представлять серьезнее и трагичнее, чем это сделал Гоголь. Что такое «классовая борьба», о которой теперь говорят все, которая требует подчинения себе всех

других целей, подчинения самой цивилизации, парламентаризма, политики и проч.? Да, это Чичиковы идут «стенкою» на Чичиковых, одни Чичиковы хотят сесть на место других Чичиковых, Чичиковы еще в юности и без средств хотят занять кресла «их превосходительств» Чичиковых, ну или – вождей народных, глав партий и проч. и проч. Ведь есть места казенные, а есть и приватные. Есть место губернатора, есть место директора фабрики, есть место видного члена такой-то фракции. Суть дела в том, что везде «место», т. е. положение, сила и обеспечение. И как Чичиков «все переносил», только бы добиться своего, «выйти в люди», так теперь множество в университете сидит и ожидает диплома или упорно работает и получает диплом даже «с отличием», не имея к науке никакого интереса.

Нужно заметить, что часть этих Чичиковых превосходно работает, как и Чичиков был ведь «весьма талантливым молодым человеком». От этой части людей, как она ни неприятна и ни вредна везде, – невозможно отделаться никому, ничему. Везде она «безукоризненна»... Это есть вечное явление, что-то вечно присущее всему человеческому. Но ровно столько, сколько у нас есть на службах и везде шалопайничающих чиновников, невежественных врачей, явно бессовестных инженеров и вообще людей «никуда», – ровно столько есть в университете их «эмбрионов». Вот эта-то часть, часть бездарных Чичиковых, есть, собственно, единственная настояще-отяготительная часть состава студенчества. Хотя Толстой только «числился» в университете, но ничему не учился, – до такой степени ничему, что в биографии и сочинениях его нельзя отыскать ни одной черточки, зависимо идущей от университета, но, вероятно, никто не захотел бы оторвать его от университета. Ну, например, сто студентов «числятся» в университете, а лекции не посещают: какой вред от этого университету? Вред вот от тех, которые толкутся в университете, «заходят» на лекции; которые занимают в аудиториях место, занимают его в кабинетах, лабораториях и проч. Словом – топчут пол, портят воздух, всем мешают и ничего не делают. От плохих Чичиковых.

Конечно, не надо объяснять, что все эти плохие Чичиковы суть радикалы и «числятся» в левых партиях. «Числятся», как они везде потом и всю жизнь будут «числиться» и получать жалованье. Как в пору первого Чичикова все утверждалось на фундаменте «повиноваться начальству», так все теперь утверждается на фундаменте «не повиноваться начальству», и в четыре университетских года все Чичиковы должны заполучить это «утверждение в духе своего времени», столь же неодолимо нужное, как утверждение «в благонамеренности» было нужно для Павла Ивановича. Поэтому глуп и неудачен тот студент, который за университет не побывал в какой-нибудь «неприятной истории» – без большого риска, но неприятной, и даже очень. Например, за участие в «массовой, огромной, очень принципиальной» сходке был исключен из университета, с правом поступить через год в другой университет. Еще лучше – административная высылка на год, на два. Это – турнир нашего времени: состязание в храбрости, испытание неустрашимости. Кто его выдержал – «посвящен в рыцари». Само собою

разумеется, все смышленые – посвящаются. И это не вся причина, но значительная часть причины, что университетская жизнь так шумна и политична; «все рвутся в опасность». При этом положении как не быть «бою». Без убийств – как и на древних турнирах, но с ранами, ушибами, звонкими ударами копий, мечей и лат.

Жизнь как жизнь. Отчего ее не любить.

Все минует, все пройдет!
Что пройдет – то станет мило.

Мысль свести университет к прилежному сиденью на партах и внимательному выслушиванию лекций – навсегда будет неудачной. Нельзя забывать, что университет кроме того, что это есть наука и царство наук, – есть вместе огромный быт, традиционный быт, и вместе исторически волнующийся. «Красное», «белое», «левее», «правее» – все в нем есть. Это качает корабль, когда он идет по волнам. И пусть его качается. Только бы на мели не стоял, только бы шел. То есть только бы в громаде университета, грязной, сорной – лежали золотые зернышки. Только бы не *переставали* в нем Пирогов и Толстой. Но доказать, чтобы они в *какое-нибудь время* перестали – невозможно. Ведь в университете были и Чехов, и Гаршин. Едва ли очень были прилежны. Они были в университете не так давно, уже «в наше печальное время».

Не нужно плакать, а лучше смотреть спокойно на дело. *Весь* сор из университета нельзя убрать и, по-моему, *не нужно.* В «соре» есть тоже много хорошего. В том, что я назвал бы «богемою» студенчества, в его разгильдяйстве, лености, поразительном иногда невежестве – во всем этом, однако, есть что-то такое безвредное, милое. И Пирогов, и Толстой только и могли самовоспитаться в такой вот «богеме», какая описана в «Юности» и какую описывает Пирогов у себя «в десятом номере» (общежития), или какая передана Погодиным в первых частях его «Дневника».

Все минует, все пройдет...

КАК СМОТРИТ ГОСУДАРСТВО НА УНИВЕРСИТЕТ

Государство, «отец-кормилец» всех нас, смотрит на университет каким-то двойным взглядом, и очень старым, и очень молодым. Старый взгляд добрый, а молодой – сердитый и строгий, взыскательный. Взыскательным взглядом оно спрашивает: «Отчего вы, студенты, не сидите на партах и не учитесь, как само я *служу* и у меня все *служат*». Оно никак не может понять, что университет есть *быт* и что там только «служить» и «работать» никак не возможно. Даже Бисмарк в студенческую пору загуливал, а уж, кажется, был служивый человек. Словом, государство насколько оно молодо, взыскательно и служебно, хотело бы куда-нибудь девать, сплавить «вредный эле-

мент» в университете, т. е. элемент 1) политический и 2) ничего не делающий. Но этому чрезвычайно противится старая, даже старческая половина государства; она живет еще веяниями двадцатых и тридцатых годов XIX века, имеет те вкусы, те суеверия. Оно говорит: «Молодые люди должны учиться, молодые благородные люди все должны бескорыстно учиться бескорыстным, бесполезным, но высоким наукам. Пусть молодые люди, вдали от мира и суеты, предаются высоким занятиям: а я за это их, этих благородных людей, хотя и неопытных, как Адам и Ева, размещу в своих канцеляриях, департаментах, во всевозможных службах. Это – культура. Россия должна быть культурной».

Хотя это трудно допустить, чтобы государство имело на один и тот же предмет два диаметрально противоположных взгляда, но это именно так. Увы, мы все, русские, нерешительные люди и у нас такое же нерешительное государство. Одними департаментами, т. е. одними руками, оно сдерживает наплыв учащихся в университеты, а другими департаментами, т. е. другими руками, туда же всех гонит, манит, зазывает. И как одно, так и другое оно делает как-то «втемную», массою, не разбирая лиц, «общими правилами». Выходит давка, раздражение, бешенство. Не попадают, не допускаются к высшему образованию иногда золотые люди – именно те любознательные, талантливые люди, для которых университет, собственно, и создан; не попадают оттого, что «не подошли под такое-то правило»; и широкою толпою проходят туда... Чичиковы.

Вот освободиться от этих Чичиковых, т. е. элемента абсолютно не учебного, который только топчет полы там и портит пол, нужно всем учебным заведениям. И это так просто. Нужно отбросить оба противоположных взгляда государства на университет и остановиться на третьем, учебно-ученом. Радикализм молодежи надо понимать как фазу возраста – во-первых, и как эти бытовые «турниры», как «завоевание славы» – во-вторых, и не так об этом тревожиться. «Воспитание студентов» – совершенно не дело университета. Они – не дети, он – не нянька. Университет есть лаборатория: кто хочет заниматься – приходи и занимайся; но *и оправдывай себя из занятий.* Вот единственный «спрос» университета со студентов – учебный, ученый. У корыта стоять – так надо есть: зачем же стоят около корыта кто не ест? Тут ни обиды, ничего: но просто «отходи и давай другим место».

Все «не едящие», а только «стоящие около корыта» явно чем-то туда приманены, потому что для чего же они пришли? Они приманены музыкой. Старое государство развело эту музыку, что «без университета нельзя быть истинно образованным человеком» и что «во всяком деле образованный человек будет лучше необразованного». Казалось бы, именно России, которая вся скована и собрана, завоевана и устроена не очень «образованными» людьми, следовало стоять в стороне от этого суеверия. Даже чуть не половина русской литературы и поэзии дана не очень уж учеными людьми. Два таких лица, как Сперанский и Белинский, были – один вовсе без университетского образования, а другой – не кончивший в университете курса. Журналистика

наша тоже наполовину обошлась без университета. Все это чрезвычайно многозначительно. Явно, что ни для сложения и упрочения государства, ни для «украшения» его «образованным обществом» университет не необходим. Университет более узок в своем применении: он есть сокровищница наук, до некоторой степени «звездочет» и лаборатория для выработки людей на научно-практические профессии, как медицина, юриспруденция, педагогика и проч. Звездочет и гигиенист в обширном антропологическом смысле, в смысле универсальном – вот и все: предохранение общества и знание будущего, знание судеб. Так называемые «сливки общества», ароматистость культуры, утонченные нравы, утонченный язык – все это вырабатывается при некотором участии университета, но идет вовсе не от него. Александровское время было у нас очень утонченным, а университета было только два, и они давали каких-то затхлых учителей и весьма посредственных лекарей. Итак, всех влечь в университет, чтобы общество культурно озолотилось, одухотворилось, – прямая ошибка.

Поэтому государству нужно совершенно отделить свои службы – не специальную службу, требующую, конечно, специального образования, а общегражданскую, департаментскую, канцелярскую, губернскую, земскую и всякую – от связи с университетом; и перестать требовать от поступающих «диплома». Чичиковы сейчас отпадут от университета, как только Чичиковым он не будет оказывать особого покровительства. А отпадут Чичиковы – и университет сейчас очистится. Весь воздух в нем переменится. Все вернется к тому нормальному состоянию, какое вообще вытекает из идеи университета; «богема» еще в нем останется, ничегонеделание – будет: но будет как вольное и поэтическое явление, без гнилого в себе запаха. Не будет таких явлений, как один студент, отвечающий на экзамене за нескольких, т. е. под фамилиею нескольких студентов, которым и выдается «диплом» без всяких знаний. Это последняя степень падения университета, та степень, в которой его нужно закрыть. Тут университет умер: остались его стены и вывеска.

Нужно разорвать связь между университетом и служилою Россиею, чиновно-служилою. Университету нужно оставить чистую науку, всячески помочь ей, обставить ее не только богато, но роскошно. Министерство народного просвещения ровно ничего не делает и никогда не делало для *ученой* стороны университетов, смотря на них как на исключительно *учебные, ученические* заведения, именно на школу подготовления своих чиновников. Это пора оставить, потому что университет чиновников и не может, и не должен готовить. Задачи чиновной службы совершенно другие, чем к каким готовит университет. И было бы совершенно правильно, чтобы условием принятия к себе на службу государство ставило не «получение университетского диплома», оставаясь к диплому совершенно индифферентным, а специальное перед каждою службою испытание в технике этой службы, в приемах ее, в знании форм и направления всего отдела государственности, который обслуживает данная служба. Это разом повысит качество наших канцелярских и департаментских служб на 50 процентов, и вместе это обратит

внимание молодежи к совершенно другим работам, чем «потоптаться» 4 года в университете. С этого последнего схлынет самая мутная волна, решительно сбивающая все, что стоит прямо в университете, куда-то набок, в сторону. Искание «хлеба насущного» через университет, миссия которого вся и выражена в словах «не о хлебе едином жив бывает человек», – вот это и есть главный нерв всех болей университета. Перевяжите эту болячку, атрофируйте ее: и весь организм университета помолодеет, перестанет выделять гной и зловоние. Между прочим, политика сама собою отстанет от него, как только университет перестанет быть каким-то «общим местом», «непременным пунктом», через который перегоняется вся молодежь страны. Политика, конечно, ничего специально связанного с наукою не ищет в университете: она приходит сюда, приходит на обильную жатву просто потому, что это есть сборный пункт молодежи... Устраните же эти «сборные пункты», как таковые, – восстановите правильное отношение *самого государства* к университету как некоему монастырю науки, научных занятий, научно способных и научно устремленных людей, которых нужно окружить покоем, тишиною и всем богатством научных пособий, – и все здесь придет в норму.

ПЕРЕПУГАННЫЕ ПОЛИТИКИ

Кадеты и не менее их левая печать являют в последнее время зрелище испуганной вороны, которая тревожно каркает и прыгает назад при виде всякого куста или чучела в тряпках, представляющегося им страшной опасностью. Хочется сказать этим господам, что не надо было быть такими «храбрыми» два года назад и не надо быть до такой уж степени трусливыми сейчас. Люди эти, по-видимому, не знают середины между выкриками «наша взяла» и «все пропало». Но как один выкрик, так и другой не составляют никакой политики и даже никакого серьезного политического разговора.

«Речь» в последнем нумере, можно сказать, показывает лицо бледнее смерти, сообщая «слухи» о предстоящем или о совершившемся объединении всех реакционных фракций. Тут и остатки «звездной палаты» 1906 года, члены которой остались, хотя «палата» и исчезла, и продолжают действовать каждый особо, становясь все вместе очень страшными. Тут и «высшая бюрократия», которая стоит крепко, как никогда, и в душе «никогда не признавала и не признает совершившегося политического преобразования России», т. е. Г. Думы. Затем идут правые члены Г. Совета и объединенное дворянство. Конечно, еще далее – Союз русского народа и черная сотня. Вот сколько врагов! Маленький заяц всех бы их проглотил; но Россия от такой убыли населения спасается только тем, что он никак не осмеливается приблизиться к своей жертве. В особенности же пугают зайца не эти готовые объединиться реакционные группы общества, а лица, до некоторой степени «вне общества стоящие». «Острые моменты третьей Думы не забыты, – шепчет заяц, помертвев

от страха, своим читателям, – но эти лица решили, что ответить за эти моменты должен П. А. Столыпин, всецело виновный в них». Газета поясняет: «По всему вероятию, ему не будет предложена отставка, но может быть создано такое положение, при котором он сам уйдет». Здесь получается тот курьез, что люди, столько грызшие фигуру премьер-министра, теперь все убегают за его спину и ищут в нем единого прибежища.

Политикой это нельзя назвать, и общество давно убедилось, что у кадетов никогда политики и не было, а было одно политиканство. Плачевные результаты в виде теперешней испуганности и проигрыша всей партии, всей игры, и вытекли из этого политиканства, в котором никак не могла принять участия Россия, и даже ее сколько-нибудь обширные круги. Кадеты все конспирировали, все прятались и шептались, готовя какие-то сногсшибательные ходы партийной тактики. Так как общество не могло же ограничиться ролью немого и покорного зрителя их великолепной игры, зрителя восхищенного и ничего не понимающего, то оно естественно перешло к роли равнодушного зрителя. Кадеты потеряли страну, т. е. потеряли соучастие общества в своей игре, и в один прекрасный или, лучше сказать, в один скверный для себя день, в день выборов в третью Думу, они увидели себя почти всеми оставленными. Тут дело заключается не в законе 3 июня, или не в одном этом законе, а в том, что совершилась перемена в отношении общества к ним. И кадеты никогда не поумнеют, пока не поймут этого, пока горестно не сознают, что общество разочаровалось, и основательно разочаровалось, в них. Такое сознание могло бы повести к совершенно новому движению партии, к перестроению всех ее понятий; но мы этого, конечно, никогда не увидим. Тупые люди, – а к ним принадлежат все доктринеры, – умирают, а не умнеют.

Они были политическими интриганами, а не были политическою партиею. Серьезная политическая партия опирается на свою внутреннюю правоту перед страною, она исходит из необходимости и спасительности своей программы для страны, а не кладет на весы положения какие-то слухи, какие-то «интервью», не прислушивается к тому, что сказало такое-то лицо и что сказало другое лицо. Серьезная политическая партия отступает, а не бежит; она остается не у дел, видит свои желания неосуществимыми, но она не кричит на весь свет о том, что ее собираются высечь. И если есть настоящая правота у такой партии, то, сохранив свое достоинство, она со временем возрождается и получает влияние на ход государственных дел. Разбитость кадетов тем замечательна, что это есть окончательная разбитость и что в ней получила свой крах вообще часть русской интеллигенции, – эта книжная и теоретическая интеллигенция, оказавшаяся неспособною к творческой государственной работе.

В политике нужно мужество и спокойствие, и меньше интереса к лицам и больше интереса к делу. Наконец, народное и государственное дело нельзя делать без уважения к государству и народу. Вот по части этого уважения интеллигенция наша выказала тоже большой крах, и на него пора ей оглянуться. Прислушаясь к тону либеральной и радикальной печати, приходишь

к заключению, что зерно дела у этих будто бы «партий» заключается не столько даже в программах, сколько в непрестанном желании оскорблять и оскорблять, унижать и унижать, подозревать и подозревать, клеветовать исподтишка или, если возможно, явно. Эта постоянная озлобленность составляет весь темперамент партий. Не гнев, а именно озлобленность. С этими не столько чувствами, сколько подонками чувства нельзя быть способным ни к какому большому делу. Чем теперь поздно жаловаться или позорно пугаться «объединения всех реакционных партий», следовало в 1906 и 1907 году сохранять настоящее уважение к русскому народу, к его истории и преданиям, к его заветам и духу. Нужно было относиться с осторожностью к этой громадной величине и не дразнить ее и не мучить ее каленым железом. К чему это было делать? Чему «политическому» помогло издевательство над солдатом-мучеником, над униженным духовенством, что положительно служило и служит колоритом радикальной и либеральной печати и что было темою некоторых речей в Г. Думе если не при соучастии, то и без протеста со стороны кадетов? Чем они ответили на речь армянина Зурабяна? Молчаливым согласием! Это слишком мало и это совершенно оскорбительно было со стороны *руководящей* фракции Г. Думы: в Г. Думе, предполагается, собрались выразители народного взгляда, народной воли. А так как нет почти семьи русской, и крестьянской, и купеческой, и дворянской, и всякой, из которой кто-нибудь не служил бы в армии, то очевидно, оскорбление армии «при благосклонном сочувствии кадетов» никак не может выразить собою ни народного мнения, ни народной воли. Перебирая в уме подобные инциденты, ясно видишь, что правительству осталось сохранить уважение к русскому народу, сохранить общение с русским народом, словом – остаться *русским* правительством и перестать уважать эту партию, хотя она и была «руководящею» в Г. Думе. А она просилась к власти; просила, даже требовала, чтобы ее сделали «правительством»! Хорошо было бы правительство, не уважающее народа и армии. Вот расчеты-то за это неуважение и пришли теперь; они пришли в виде неуважения к самой этой партии, того неуважения, около которого невольно «объединяются» все не реакционные, а просто *русские* элементы. Конечно, русская пословица полуиностранным кадетам не поучение, но, перебрав Даля, они могли бы там найти изречение: «Как аукнется, так и откликнется».

ЗА КЕМ ИДТИ?

Вопрос о смешанных браках, бурно отвергнутых на киевском миссионерском съезде и взволновавший всю печать, рассмотрен апостолом Павлом в Первом послании к Коринфянам, в главе седьмой. Коринф, языческий роскошный город, только что только начал освещаться лучами Христовой веры. Церковь была здесь в зародыше. «Ересей» и «еретиков» еще не было: были

только христиане и язычники, поклонники Иисуса и Зевса... Какая разница, какая пропасть! Но любовь и тогда, как вечно, переступала через все пропасти, и перед апостолом открылось зрелище ряда семей, где муж – язычник, жена – христианка, или муж – христианин, а жена поклоняется Афродите и Адонису. Казалось бы, «разбить скрижали», как Моисей при виде идола. Но уже мягкий свет Христов пал на землю, и апостол пишет:

«Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее.

И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его.

Ибо неверующий муж освещается женою верующею, и жена неверующая освещается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы не чисты, а теперь святы.

Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь.

Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?

Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. *Так я повелеваю по всем церквам*».

Перед этим громовым словом апостола рассыплется как прах все, что было сказано на киевском миссионерском съезде. Смеет ли русское духовенство 1908 года восстать против апостола? Кто *они,* и кто *он?* Он пронес Евангелие по всем странам язычества; в значительной степени именно *апостол Павел* есть утвердитель христианства и церкви: ибо галилейское сокровище он сделал богатством всего мира, из иерусалимского ключа напоил всю землю. Но кто такие или что такое русское духовенство 1908 года? Где их подвиги, чудеса, мученичество, знаки веры и силы? Я говорю духовенству: нет у вас *знамений,* нет у вас *знаков* силы. Одни слова и претензии. Как же вы могли восстать на апостола Павла, который есть мученик, проповедник и чудотворец? Вы ссылаетесь на каноны. Свящ. Константин Аггеев свидетельствует, что «при постоянном упоминании о канонах, на съезде почти не слышалось ссылок на Евангелие», и, следовательно, в Киеве собрались не столько *христиане,* сколько *византинисты».* Так вот им слово:

Канон только постольку есть канон, насколько в сердцевине его лежит Слово Божие: а без зерна этого – он пустоцвет. Не нужен, вреден и не обязателен.

Что скажете на это? Скажете, что «каноны *не могут* противоречить Слову Божию». Но я говорю не о «могут» или «не могут», не о софистике языка человеческого, а о *том, что есть.* Если слово апостола разрешает существовать, продолжаться и, следовательно, заключаться – ибо без заключения не может быть и продолжения – бракам христиан даже с язычниками, если перед светом Христовой веры он признает допустимою существо и материю и дух такого брака, то вы, ссылаясь при *отвержении* таких браков на каноны, тем самым и утверждаете, что есть *каноны, прямо противо-*

речащие слову ап. Павла. Между кем же выбирать: между канонами или апостолом Павлом? Сказав «А», говорите и «Б»: скажите прямо русскому народу, русской державе: «Идите *за нами,* а *не* за апостолом... С 1908 г. за апостолами не надо идти, а надо идти за еп. Антонием Волынским и В. М. Скворцовым».

Нужно иметь мужество своего мужества. Отрекаться, так отрекаться. Не нужно вам апостолов – так и говорите. Слово апостола прямо как стрела, не гнется как прямая линия. И «истолковывать» в нем решительно нечего. Можно его только «перетолковывать», т. е. извращать, искажать, сводить на «нет» и «не нужно», к чему, кажется, и сводится часто семинарская и академическая наука под монашеским присмотром...

Ну а вспомнили ли в Киеве, при обсуждении *смешанных* браков и *отношения* к старообрядцам, сектантам и иноверцам, еще следующие слова также апостола Павла, относящиеся к их теме и еще более принципиальные и общие:

«Любовь *долготерпит,* милосердствует, любовь не завидует, *не превозносится,* не гордится;

Не бесчинствует, *не ищет своего* (Боже, какое слово! Вот – путь!), не раздражается, не мыслит зла; не радуется неправде, а сорадуется истине;

Все покрывает (какое слово!), *всему верит, всего надеется,* все переносит; любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (там же, глава XIII).

Боже, – вот ведь *перед каким словом,* и *ему подобными,* пало человечество и приняло Христову веру! Ведь по каким чертам *признали,* что слово Христово и апостольское есть божественное: по *признакам* такой высоты. Миллионы всечеловеческих сердец сказали: «Так, это – правда, это – Божие». А вы? А ваше?

И не припомнить ли вам слова *Откровения* Иоаннова, относящегося по «истолкованию» к далеким временам, напр. может быть в 1908 г., где он говорит поочередно разным церквам много горького, и, между прочим, следующее: «Знаю дела твои; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв... Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды; и не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг»... (глава III).

Слова эти, как молния, прорезывающие ночную тьму, осветили бы тьму и облака киевского миссионерского съезда... Но они не раздались, и слепые шли и идут, не замечая пропасти перед собою.

ПРИВИЛЕГИИ НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЫ

Школьный вопрос в России – это есть давняя хромота русской жизни. После Пирогова, после Ушинского, людей такого изумительного педагогического таланта и такой беззаветной преданности учебному делу, мы имеем,

с позволения сказать, «черт знает что» на месте школы, задерганной черною и красною политикою. О ней, конечно, нужно думать и думать, говорить и говорить, писать и писать. Пока мы не *добьемся* здесь здоровья и *нормальности,* не вернуть нам нормальности и здоровья вообще в русскую жизнь.

Перед нами лежит большая объяснительная записка бывшего попечителя рижского учебного округа Д. Н. Левшина. Детали этой записки дают вообще прекрасную канву для обсуждения спорных сторон учебного дела, или, если хотите – учебной политики. Записка эта была представлена одновременно и как изложение, *что* и *почему* делал попечитель в своем округе, и вместе как *программа* задач учебного ведомства в этом крае.

Г-н Левшин настойчиво проводил русское влияние в немецко-латышском крае, но без резкости и насилия. Там изначала существовали разные местные организации, как, например, высшие коллегии, руководимые немецким баронством, которые всеми силами противодействовали внедрению русских начал в школу. Им деятельно помогали в отдельных школах так называемые «попечительные советы» – это русское учреждение при русских мужских и женских гимназиях, – но они в немецком *крае,* в среде *немецкого общества*, естественно явились проводниками немецкой культуры. Это «проведение» сводилось к вытеснению русского преподавательского персонала и замещению его немецким, или, где нельзя, – каким угодно, только бы не русским. Г-н Левшин передает случи возмутительного бесстыдства, где, например, обязательное по закону преподавание русского языка вверялось поляку, безбожно коверкающему русский язык и, конечно, совершенно равнодушному к успехам учеников «по своему предмету». Конечно, такой случай, *когда он резок и кидается в глаза*, попечитель в силах устранить своею властью: но что вы поделаете, или что он сделает вот с такою *системою* противодействия, где закон, по-видимому, исполнен, буква его исполнена, где *неповиновения* налицо нет, а есть что-то гораздо худшее, чем всякое открытое неповиновение! Такие случаи могут выразиться очень тонко, не давая *предлога* к вмешательству власти; они могут выразиться в простой «неохоте учиться русскому языку». В простом *равнодушии* к тому, какое лицо преподает русский язык. Права попечителя здесь ограничены общерусским законом. «Только коллегиям, – жалуется он, – мы обязаны тем, что немецкий дух царствует в реальных городских училищах в Риге и Ревеле, – и меньше, но все же сильно, в городской гимназии в Риге. Все ухищрения пускаются в ход для того, чтобы туда не прошел русский преподаватель и чтобы немцев сменяли немцы. В ревельском реальном училище мне пришлось лично распорядиться и удалить преподавателя немца, дававшего в младших классах уроки русского языка. Мне удалось переместить его преподавателем немецкого языка в другое учебное заведение. В гольдингенском женском училище преподает его поляк, коверкающий его невыносимо, – но коллегия все не может подыскать другого. Вот почему при открытии новых учебных заведений я противился образованию коллегий или предоставлению права им выбирать директора. Самым лучшим аргументом в этом смысле

были указания на незначительность субсидии от города сравнительно с теми затратами, которые делает казна. Опыт относительно коллегий привел меня к убеждению, что здесь, на окраине, школа должна быть строго государственной. Только этим можно поставить ее вне влияния национальных распрей, которые в Прибалтийском крае прекратятся еще не скоро. Правда, это потребует больше денег, – придется, так сказать, выкупить ее у населения; но выигрыш от этого будет немалый. Эсто-латышское население идет на это с удовольствием потому, что оно и так большею частью – по крайней мере в маленьких городах – тратится из последнего, лишь бы только иметь школу на русском языке. Таково положение дел в Вольмаре, Вендене, Фрауэнбурге, Тукуме и Виндаве, где городское управление в руках эсто-латышского населения».

Что такое эти «коллегии» при немецко-латышских школах? Г-н Левшин говорит отдельно о них, и отдельно в другом месте о попечительских советах, т. е. собственно *благотворительных* советах при училищах, находя вредным воздействие и последних. «Коллегий» во внутренней России нет, а о праве кого бы то ни было, кроме попечителя учебного округа, назначать *директора,* например, гимназии – об этом впервые приходится внутреннему русскому человеку узнать из объяснений г. Левшина. Ничего подобного во внутренней России, и притом нигде и ни в каком виде – нет. Исключение, кажется, представляют только две немецкие гимназии в Петербурге, с правом выборного директора, назначаемого, если не ошибаюсь, немецким обществом в Петербурге. Может быть, это и есть «коллегии»? Эти две гимназии пользуются очень хорошею репутацией и *среди русских* петербуржцев, но очень может быть, что здесь немцы одушевлены особенным усердием показать себя среди русских? Русская гимназия *в Берлине* тоже, вероятно, превосходно бы работала, тогда как берлинские гимназии в Берлине не все же, вероятно, идеальны. Понятные усилия. Г-н Левшин тоном изложения везде показывает, что русские учебные заведения в немецко-латышском крае едва ли не лучше немецких, и по крайней мере эсто-латышское население, да отчасти и немецкое, отдает им предпочтение пред чисто немецкими учебными заведениями. Он приводит статистику числа учеников, и нельзя не поверить точным цифрам: в некоторых местах школы на немецком языке приходится закрывать или тратиться на них непроизводительно, ибо учеников слишком мало, тогда как рядом поставленное русское министерское училище имеет учеников достаточно. Немцы не из аристократии говорят: «Мы слишком бедны, чтобы могли допустить себе роскошь – знать только один немецкий язык».

Русский язык открывает доступ во внутреннюю Россию: а это – золотое дно для всякого даровитого работника, ремесленника, мелкого торговца, предпринимателя. Есть рынки для товаров, но есть и рынки для труда: Россия есть необозримый и неистощимый рынок для поглощения чужого труда, в том числе инородческого труда, по слабости у самих русских технического образования, технических умений и, наконец, вообще надлежащих качеств

трудоспособности. Поэтому инородцы, как и иностранцы, рвутся и всегда рвались во внутреннюю Россию, чтобы служить и работать, чтобы богатеть и подниматься в положении.

Обращаясь к «коллегиям» и видя, как хорошо в деле *подъема качеств школы* они действуют в Петербурге, можно мысленно задать вопрос, почему эта исключительная и редкая привилегия дана одним немцам, а не дана русским? Или почему она существует у немцев, когда ее нет у русских? Явно, что *может* она быть применена только в населении очень культурном и быть предоставлена не *сплошь* населению, но этим высокообразованным *единицам* его, т. е., напр., выборщиками в такую коллегию могут быть хотя бы только люди с университетским образованием. О подробностях можно условиться, важно не потерять *принципа.* Но, конечно, невозможно же думать, что немецко-латышский край уже такой рай образованности, что с какою-нибудь Митавою в Курляндии не может пойти в сравнение по культурности ни Петербург, ни Москва. Нелепо это думать, и мне кажется, если не гнаться за уравнительными и обезличивающими «всероссийскими шаблонами», то вполне возможно в некоторых российских центрах дать это право созидания «коллегий» около учебных заведений, право вообще *местного надзора* за учебными заведениями. С привилегиею выбирать от себя и директора, выбирать воспитателей и наставников. Отчего не сделать этого *опыта*, хотя бы временного и в ограниченном районе? При «всероссийском шаблоне» присылки и назначения всех учителей и директоров из центра, от канцелярии попечителя учебного округа, – бывают даже такие злоупотребления, как продажа мест за взятки, о чем темную историю в виленском округе рассказывала когда-то аксаковская «Русь», и каковую историю я знаю из своего личного служебного опыта. Всякие злоупотребления менее возможны, будь надзор за гимназиею *не из центра*, а на месте, т. е. будь при гимназии такая наблюдательная «коллегия». Вообще тут есть нерв возможного улучшения, которым воспользовался бы мудрый и, главное, *сложный, многосторонний* государственный организм, который все пробует, везде испытывает, всюду ищет помогающих себе рычагов. Но совершенно непонятно «мое милое отечество», которое эту чрезвычайную и, сознаю, *очень рискованную* привилегию кинуло во враждебный нам немецкий край, дало в руки немцам, и в то же время малейшей тени его не дало русским.

В НАШЕЙ СМУТЕ

Только тем заступом можно глубоко копнуть, который глубоко уходит в землю. Вот маленькая элементарная истина, которую следует держать в уме при обсуждении наших «нигилистических» или обновленческих дел во всех бесчисленных проявлениях и литературы, и жизни. Деяние и речи обновителей резки, неумолчны, точнее – неугомонны, и бороздят нашу Русь во всех

направлениях. Но все это похоже на тыканье вилкою земли. Вилка чистится и блестит. Истыканная земля имеет вид безобразия. Кто-то сверху смеется над всей этой процедурой. Кто-то измучен ею и активно, и пассивно. Но для проезжего дорогою даже не заметна вся эта работа. И как наша безобразная, хаотическая, мощная и таинственная земля стояла тысячу лет, и стоит сейчас, ни на капельку не облагообразившись, даже ни на капельку не переменившись. Безобразием ее не удивишь. К бессмыслице мы привыкли. К самодурству, самовластию, широкому «я» и бессовестности, и героизма – тоже не привыкать стать. Всего насмотрелись и чего дивиться сейчас. «Терпи, матушка Русь».

В организме самую важную роль играют не кости, не рука, не ноги, не ребра, а нежные, разрушающиеся от малейшего прикосновения, белесоватые, почти невидимые ниточки, которые мы называем *нервами.* Живет нерв – и весь организм жив, цветет; ампутирована нога, отрезана рука или на спине вырос безобразный горб: ничего, все живет и цветет, пока цел нерв. Но вот он, положим, «атрофировался», т. е. перестал внутренне питаться, и хотя *есть и цел,* но не живет, «по-своему» не дышит: и вся территория тела, вся система органов, где он проходит, – увядает, «предается земле», становится прах и бессмыслица. Самая ужасная глазная болезнь, в просторечии именуемая «темною водою», когда блестящий и красивый глаз, абсолютно, казалось бы, неповрежденный и действительно абсолютно целый в *собственном существе,* не видит и вековечно никогда не увидит, происходит от «атрофии глазного нерва», т. е. такого неисследимого внутреннего перерождения одного беленького волоконца за глазным яблоком, в котором что-нибудь понять могут только специалисты глазные врачи. Это приложимо и к национальному телу. Явно, что если земля наша и до сих пор «не устроена и порядку в ней нет», ни внутреннего, ни внешнего, – то это происходит от какого-то состояния ее внутренней нервной системы. Ведь земля наша вовсе не мертвенна, но точно она вся в горбах, уродливостях, наростах, точно искорежена. Как будто нервы-то у нас есть, но какие-то только растящие, а *не организующие* нервы. А господа тыкальщики родной земли, даже не понимая, что такое нервная система, и не догадываясь о роли ее, тыкают в кожу родного «чудища», покрикивая: «Поворачивайся так, поворачивайся этак», «живее поворачивайся». Чудище визжит, вертится. Но горбы не отваливаются, и вообще ничего не переменяется, потому что тыкальщики не соотносятся с нервною системою, в которой вся суть дела.

Нервы национального тела суть тайные, нежные, интимные отношения к жизни или людям каждого из нас, чаяния наши, вера наша, «убеждения» наши – как хотите назовите, имя не важно, слово не важно. Хочется назвать это *совестью,* как упреком, как укором себя к себе; и умилением, умственным очарованием, как суммою каких-то почти пластических прекрасностей, которые хочется видеть вокруг себя, ну – в быту, ну – в обществе, ну – в государстве. Красота внутренняя и внешняя. Так как человек «уже пал», то это есть только мечта, «которой никогда не быть». Ну, так вот сплетение в

душе этой боли, что «нет», и этой все-таки неодолимой, неусыпной мечты о том, что «оно нужно», – и составляет религию. Без нее страна сейчас умрет, без нее невозможно жить никакому человеку.

Если мне не болеть о душе своей, я сейчас умру. Если мне не верить, что сейчас после моей смерти станет все лучше, чем при моей жизни, я тоже умру сейчас. Без этого нельзя жить, и человек или умирает, или убивает себя. «Спивается». Это и есть религия. Трагическое начало – боль души, и счастливое начало – умиление души: вот два столба, на которых все держится. Это – нервная система нации, сложенная из интимного нерва каждого из нас.

С ней смешивают, в качестве устоя национального тела, массу его, громаду его, залежалость его. В общем и в сложности – это громада обряда, бытового, гражданственного, всякого, но в основе – обряда религиозно-церковного. Ошибка так называемого «черносотенного движения» и вообще задач Союза русского народа и, еще общее, всего консервативного течения, лежит в том, что оно смешивает и подменяет нервную систему нации, вот эти неуловимые тонкости в жизни души ее, с массою его тела, с инертностью его тела, которое определяется общим «было и есть». Привычное… «Не трогайте то, что мы привыкли видеть тысячу лет», «не мешайте жить тому, что перед нашими и всеми глазами стоит тысячу лет». Стоит и подгнило, стоит и само рушится. Ведь и нигилизм не без причины. Тыкальщики явились тоже от какой-то боли; их что-то самих тыкнуло. Нерв вечнее кости, *устойчивее,* а совесть – она и совершенно вечна, крепче мастодонтов и баобабов, вечна, как звезды, вечнее их. «Привычное» возмутило, встав вразрез с совестью, с идеалом, с возможным или мыслимым очарованием. Все сладкое, – сладкое в возможности, – стало горьким. Превращение сладких вод жизни в горькие воды жизни есть причина не только нашей, но и вообще всех революций, когда-либо начинавшихся. Но пить горькую воду и говорить «горько» – это одно, а возвратить им сладость – это совсем другое. Первое – отрицательная, разрушительная фаза революции, за нею стоит созидательная: и до того очевидно, что революционеры не умеют ее делать. Это почти объяснил Некрасов:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

Тыкальщики не только ничего не создали на месте ненавидимого, и если не разрушенного, то истыканного ими: но теперь очевидно, и по существу дела всегда было видно, что они не построят решительного ничего, что тыканьем их роль и кончена, и им просто остается умереть; а строить будут люди совершенно другой породы, положительного содержания души, с положительным идеалом, которые *могут* созидать уже просто потому, что не отравили себя на тыканье, что хотя присутствовали при нем и не остановили его, но *сами* в тыканье не приняли участия.

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

А без любви ничего нельзя. Ну ведь нужно любить первый же камень, который положишь в постройку. А тыкальщикам нечем любить, сердце их опустошено. Опустошено злобой; может быть несчастьем и злобой, – но это все равно: опустошено.

Припоминается история толстовских колоний. Судьба одной из них, основанной на Кавказе, на берегу Черного моря, лет 15 назад, не так давно была подробно описана в книге или участника колонии, или близкого «друга друзей своих», основавших эту колонию. Подробнейшие истории и если бы можно «дневники» таких колоний чрезвычайно желательны: это небывалый в истории материал опытов «новой жизни», полный интереса для философа и социолога, для всякого вообще любителя души человека и жизни человеческой. Природа была райская, люди – тоже идеальные. Философы и социологи чистой воды, каких, пожалуй, Запад и не выдвигал, – по способности глубоко, беззаветно, *жизненно* отдаваться отвлеченной идее. Что-то удивительное, эпическое, сказочное и героическое. Похоже на времена Генриха Мореплавателя, когда вся Европа бредила новыми географическими открытиями и путешествиями. Теперь все земли открыты: но русские люди вздумали путешествовать в будущее. Сняли якорь и поплыли. Отделились от старой жизни и начали строить новую. Тут ужасно важны их как бы колониальные соборы, где они стали разрешать все вопросы с «Аза», о Боге, жизни, совести, религии. Буквально – робинзонада, гораздо поучительнее и занимательнее рассказанной Де-Фоэ. В общем, как литературное явление, как всплеск жизненной волны – это необыкновенно красиво. Но… волна всплеснулась и вода опять упала в океан, который ее притянул. Люди разошлись из «райской» колонии и вошли в навозную Русь.

Припоминается поговорка: «Не красна изба углами, а красна пирогами». Вот «пирогов»-то никто не умел печь в колонии, и вся она только и занята была вымериванием, вычислением и опытными возведениями все новых и новых «углов»… холодного дома.

Любви ни в ком не было, и ни к кому. Были идеальные люди: но быть идеальным человеком и просто любить кого-нибудь, даже *мочь* любить – не одно и то же. Любовь есть факт. Любовь есть врожденная способность. Даже не добродетель, а так, *есть*. Поучительное в этой колонии следующее: почему же не десять, а двадцать, сорок лет живут друг около друга люди незатейливые; и *друг другом не скучают и не расходятся*. Немецкие колонисты, почти одиночки-колонисты, забиваются вглубь Африки: и не плачут, не томятся, а пашут, торгуют с дикарями, копят стада и имущество, и вот Майн Рид рассказывал о таких колонистах истории, конечно, менее поучительные, но как-то более картинные и свежие, чем история кавказской колонии. Философская жизнь колонии была как-то ужасно тускла, бескровна, даже бескрасочна. Мясо колонии было, а нерва в колонии не было. И она умерла, как бы от «темной воды» всего ее внутреннего существа. Слепилось – разлепилось. Ибо никогда ничего и *не жило* там, а только существовало, тащилось.

Зачем пошли опять «в Русь» колонисты? Чтобы ненавидеть и отрицать. Ну, конечно, отрицать «навоз». И вышли они из Руси по отвращению к «навозу». Но навоз – дело мудреное, из навоза хлеб родится. В колонии никакого навоза не было, но и никакого хлеба не родилось. Они и жили отрицанием. Из отрицания построили и колонию. Что же дальше? Исчез предмет отрицания, этот самый «навоз» России: и они стали умирать со скуки, как птица без крыльев, всякое животное без воздуха, и всякая постройка без опоры. Колонисты немецкие живут в Африке, потому что они ничего не отрицали и на родине. Никакого столба жизни у них не вываливалось с переселением в Африку. Но у отрицателей, с отделением от отрицаемого предмета, вывалилась единственная опора их существования: и они начали просто задыхаться, и разбежались из колонии, чтобы не задохнуться в ней совсем.

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть...

Судьба толстовских колоний, этой и всех (они все разошлись), есть судьба и всего русского нигилизма. Подпочвою его всего служит отвращение, ненависть. Не оспариваем, – основательные. Но дело в том, что это отвращение «до края» съедает все внутреннее существо человека; и он, отрицая «Русь», ходит по ней уже мертвецом и тенью, потеряв всякое самодовлеющее значение, всякую «свою способность к жизни», и являясь чем-то прилагательным в отношении существительного. Существительное – Русь, ну положим, ее скверное. Но нигилист есть только «прилагательное» в отношении этого скверного: и не соотносясь с ним, не «отрицая» его – он просто гибнет. От этого, как свидетельствует вся история нигилизма, они всегда так скучали за границей: как толстовцы в колонии. Им нужно видеть раздражителя перед глазами своими, осязать его, обонять его, всего лучше – страдать от него: чтобы сильнее отрицать, талантливее отрицать, жизненнее отрицать. Лавров звал Михайловского за границу, тот не поехал. Отчего? Такое дома раздолье! Да и что бы он там стал делать? Любить он не умел; а если бы угасла или *ослабла* ненависть, он как бы или умер или заболел. Кому болеть хочется? Михайловский остался в России. Тут – навоз на улицах, испорченная вода в водопроводе, везде городовые, ужасная цензура: раздолье полное!

Усаживайся и пиши. Нужно же птице воздух.

Кроткие толстовцы, уже тем самым, что они ушли из Руси, – выразили то общее с «кровавым» нигилизмом, что они так же жили отвращением и ненавистью. Один тыкает и кровавит, другой уходит. А если не дело, то душа – одна.

Горе, однако, в том, что Русь действительно в горбах и уродливостях, – и нигилизм и толстовство просто *не могли не возникнуть*. Но причина есть, а цель? То есть результат? Разбрестись и умереть. Ужасно. Ужасно для каждого порознь внутреннего личного сознания. Я думаю, посознательнее нигилисты переживают порой ужасную муку, от существа своего, от исторического своего положения. Но их спасает и «утешает» малая сознательность, проистекающая, кажется, из профессиональности тыканья. Ведь это так

просто, не сложно. Ругайся и ненавидь. Ненавидь и разрушай. Построить дом – как трудно, сколько надо мысли! А его же разрушить? Никакой мысли, или самая азбучная, детская.

Каким образом произошло то, что в настоящее время составляет всеобщую очевидность: что нигилизм, начавшийся с былого «развивания» товарищей, «развивания» ближайших людей, «развивания» девушек, и вообще долго ограничивавшийся и состоявший всецело только из «развивания», – через полвека существования стал и наполнился людьми наименее развитыми, сознательными, наименее одухотворенными и, так сказать, умственно безответными, невменяемыми? Начали – с развития, а кончили тем, что их самих надо бы развить: да руки опускаются, невозможно по безнадежности почвы. Откуда это? Нельзя объяснить иначе, как элементарностью разрушения, и далее, что самое существо ненавидения сводится именно к отделению, к порыву связи с прежним. Нигилизм впал в ту своего рода «кухонную латынь», которая настала вместо просвещения для всей Европы после того, как христиане, разрушив древний мир, ничего не хотели из него усваивать, ничему учиться, ничего брать. Настало варварство, христианское варварство, державшееся до Возрождения. Нигилизм, приглашающий в известной песенке «отречься от старого мира», т. е. построить какую-то «толстовскую колонию» в душе у себя, у каждого, ведет неодолимо к варварству и сам пришел к варварству, совершенно по образцу средневековья и совершенно по той же причине, как средневековье. Вот причина, что начали с «развиванья», а кончили собственной неразвитостью; как христиане начали «с любви ко всему миру», а кончили ненавиденьем всех, кроме членов своего «братства» (церкви). Кажется, с умственной стороны, в плоскости которой совершился весь нигилизм, мы должны ожидать таких же убийственных явлений в нем, какие в средневековом христианстве произошли в нравственной области, в плоскости которой оно двигалось и совершилось. «Всех ненавижу, кроме себя» – этим кончил монах; «никого не понимаю, кроме себя» – этим кончит нигилизм. Да уж и не пришел ли он к этому, не есть ли слишком много экземпляров этого явления даже сейчас?!

Отрицатели закупорились в своем отрицании. Сели в погреб. Произошло явление, подобное «благодати священства» у духовенства. В этой «благодати священства», непререкаемой, святой, волшебной христианским волшебством, духовенство уселось как в мягкой постели, и все грубело и грубело, тупело и тупело, кисло и прокисло, не освежаемое никаким ветром со стороны и не освящаемое никаким солнцем снаружи. «Своего солнца довольно»... Так кончается в истории всякое чванство. Так случилось и с нигилистическою «благодатью отрицания», за пределы которой никак не могли выглянуть нигилисты, и прокисли в этом отвратительном самодовольстве. Теперь это самая жалкая, тупая, влачащаяся часть литературы и даже журналистики. Не говоря о том, что ни разу их поле или погреб не осветил поэтический гений, что сильнее Некрасова у них никого не было, у них не являлось, – и теперь очевидно, что не явится, – ни одного просто красивого, художественного воспро-

изведения их жизни, их быта, их великих «дум» и мощных «отрицаний». Самые отрицания *теперь* как вялы, как мелки их темы. И по этой части сильнее Добролюбова у них никого не было. Добролюбов и Некрасов: но это – не апогей литературы, слишком очевидно, что это – не апогей. Так, явления *в ней,* сильные, хорошие – но и только. Голова не закружится и взор не затуманится, глядя на такую «высь». Хорошие холмы, пригорки. Но и только. Лет на семьдесят, на полтораста жизни. Но это так далеко от вековечности!

А песня Кольцова – вековечна, а стихотворение Лермонтова – вековечно, а тургеневские «Стихотворения в прозе» когда пройдут? Им вечно жить. Это «библия» в смысле «вечно читаемых книг» русского гения. Вот ни одной такой «библейской страницы» не написали отрицатели, – и даже удивительно, почему. В конце концов, мне кажется, мера души у них не была гигантская. Была большая, но гигантскою не была. Если остановиться на Герцене, самом блестящем из наших отрицателей, таком умнице, до того талантливом во всех направлениях, до того способном в философском даже смысле, таком изумительном виртуозе слова, стиля, манеры письма: то все-таки в старческих «Senilia»* Тургенева (первоначальное название «Стихотворений в прозе») или в томике стихов Полонского есть что-то более вечное и лучшее, чем в 10 томах его трудов. Сверкает, шумит его проза, но на душе не остается ничего после прочтения, кроме удивления к таланту автора. То ли это, что нужно? Разве для этого существует литература?

Все это длинное предисловие я сделал для того, чтобы упрекнуть г. Бердяева за то, что он не столько поехал, сколько воистину потащился в Париж, чтобы что-то там прочесть о религии русским отрицателям. Собрались на лекцию все «наши»... Ну, конечно, прежде всего Луначарский. Не слыхали? Напрасно. Знаменитость не меньше Прудона. Затем даже «пожаловал» сам Хрусталев-Носарь. Уж не знаю, несли ли его на руках или везли в карете на лекцию. Ну, и затем Троцкий? Тоже не слыхали? Ума палата. Все, конечно, загалдело и заревело, как только вышел Бердяев со своей «религией»... Последний очень много пишет о религии последнее время. Целые томы. Талантливый писатель, очень. Многие страницы читаешь и думаешь, как хорошо это в *философском отношении* и, вообще, как *блестяще литературно.* Но вспоминается впечатление от Герцена. Есть целая группа, *порода* писателей, мне кажется, не очень счастливая, которые, будучи виртуозами-писателями, как-то и почему-то не тревожат души, и впечатление уважения к автору дают, а перемены в читающем никакой не делают. Как начал читать, так и остался по-прежнему прочитавши. Мне кажется, будучи таким талантливым философом и писателем, г. Бердяев менее *религиозный человек,* и врожденно не имеет в себе этого дара. Он исследует религию, как Реклю исследовал все страны, не выезжая из Парижа. Цветок религии ему неизвестен: но он только прочел много ботаник, где описываются всякие душистые цветы. И он убедился в необходимости и важности для общества этого цветоч-

---

* «Старческое» *(лат.).*

ного запаха. Это результат выкладок разума. С этими выкладками он поехал в Париж «укрощать зверей». Нужно ли? Стоило ли? Сам убежден в бесценности религии, считает варварским общество без религии, считает, что общество ничего не достигает, отринув это сокровище. Хорошо: так зачем же он поехал в Париж? Что ему нужно было от людей, принципиально и навеки от нее отторгшихся? Ведь с его же точки зрения это пустоцвет: что же его призывать к чему-то и во что-то преобразовывать? Мне думается, и я хочу сделать только этот упрек г. Бердяеву, что всякое убеждение должно быть гордо, и, что называется, не должно волочиться за публикой. Это ваше сокровище? Да. – Берегите же его у себя, не тащите на выставку в Париж, и вообще знайте, что золото всегда есть золото и теряет цену только разменное на засаленные кредитные бумажки. Религия принадлежит к числу этих золотых вещей, которые лучше всего сохраняются, когда ни на что не разменниваются и даже просто не очень показываются, не очень обнаруживаются. Религия есть интимное *каждого* сокровище: и зачем исповедовать свои тайны? Вылетит – не поймаешь, выдохнешь – и не вернешь вздоха. Религия есть теплота нашего сердца от рождения до могилы: и чем меньше она тратится, тем теплее у сердца, тем больше есть, *чем* жить. Я боюсь, что от России до Парижа г. Бердяев сильно простудился, хватил озноба на лекции, не от одних свистков, но и от того, что вообще сделал ненужное дело. Нигилизм и нигилисты именно имеют ролью тыкать вилкой свое отечество. Дальше они ничего не понимают, и так и признаются, что ничего не понимают, и проклинают тех, кто хочет что-нибудь понять дальше. Для религиозной проповеди это совершенно бесплодная аудитория, врожденно бесплодная: и г. Бердяев оттого так уронил свое сокровище, что судил о нем как Реклю о всех странах. Он не плодовод в религии, а ее ученый географ. И нельзя за это не посетовать за него.

Два или три социал-демократа, присутствовавшие на лекции, притом из молоденьких, все же выразили если не сочувствие г. Бердяеву, то некоторое поползновение «это обдумать». – «Когда наши умирали на баррикадах в Москве, то они умирали не за мелочь какую-нибудь, не за частности, а за некоторый *целостный идеал*», – говорили они в ответных речах с кафедры; и вот от этого «целостного идеала» они принимали возможным протянуть нить и к «религии», о которой говорит этот чужестранец в смысле партии, т. е. г. Бердяев. Робкое заявление: но знаете, как на него ответили «наши»... Они предложили *исключить* этих юных смельчаков из «русской социал-демократической фракции в Париже», разорвать с ними связи, подвергнуть их бойкоту. Совсем «херем», которому подвергли Спинозу роттердамские талмудисты. Талмудисты, люди «благодати священства» и наши нигилисты давно сели в погреб: и не напрасная ли совершенно попытка, наконец, не *унизительная* ли попытка, став перед погребом в молящую позу, взывать: «Ваши превосходительства – выйдите, ваши преподобия, выйдите! Осчастливьте землю вашим лицезрением и позвольте нам быть если не вашими друзьями, то хоть вашими знакомыми». Фи...

К УВЕЛИЧЕНИЮ БЮДЖЕТА М-СТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Бюджет министерства народного просвещения увеличен на тринадцать миллионов. Наконец-то! Раньше министры народного просвещения точно боялись попросить себе увеличения средств, ожидая щекотливого возражения: «Зачем? Ведь вы занимаетесь *бездельем*» или «вы *ничего не умеете делать*». Так как это несколько походило на правду в отношении главных задач министерства: 1) выработать хорошего учителя, 2) воспитать и обучить детей, 3) создать расцвет наук и учености, – то министры и жались скромно в угол, довольствуясь ожиданием «что дадут». Было похоже на то, как нищенка стоит на церковной паперти «с ручкой». В «ручку» министров просвещения и клали кое-что их упитанные сотоварищи по креслу, придвигая к себе жирные куски: 1) на ремонт вагонов, 2) обмундирование плохо одетой армии или таких-то и таких-то чинов, 3) устройство новых портов для судов, конечно, иностранного плавания, так как русского плавания нет. Но дело в том, что за спиной министров «с ручкой» стояли беспризорные, невоспитанные и не обученные малыши со всей России и запутанные, заробевшие учителя гимназий... Одновременно с известием об увеличении бюджета министерства народного просвещения появилось, напр., письмо из Владивостока: группа родителей жалуется, что дети их, уже выдержавшие экзамен в гимназии, получили в числе нескольких десятков отказ в приеме за недостатком вакансий, т. е. *помещения!* Но это несчастие посетило не только Владивосток, но есть что-то вроде этой педагогической «cholera nostras»* и в Петербурге! Увы, и в Петербурге «вакансий» тоже для многих не бывает, т. е. тоже недостает помещения! Не знаем, случается ли это в Берлине или в Вене.

Увеличение бюджета на тринадцать миллионов заставляет повторить то, о чем печать не устанет говорить, пока не увидит исполненным свое настойчивое и справедливое желание. Это об улучшении положения учителей. На этот раз я позволю себе поделиться кое-чем конкретным. В связи с моими статьями об этом же предмете мне было одним сведущим человеком рассказано о положении учителей в австрийских гимназиях. Оно – и *почетнее,* и – *обеспеченнее.* Лучшее обеспечение достигается через то, что все течение службы учителя разбивается на пятилетия, и прибавка оклада жалованья за нормальное число уроков и часов (у нас – за 12 недельных уроков) повышается с каждым пятилетием, т. е. при двадцатипятилетии службы оно повышается *пять* раз. У нас такое повышение совершается только по истечении первого пятилетия, *один раз* за все 25 лет, и затем для чрезвычайно ограниченного числа учителей совершается еще одна прибавка в конце службы. Но эта вторая прибавка составляет такую особенную и исключительную милость, которая по ее крайней редкости вовсе не входит в учительские расчеты и планы при предварительном выборе этой службы и в течение этой службы. Это – находка, а – не «моя собственность». Таким образом, в Австрии возрастание

---

* нашей холеры *(лат.)*.

семьи у учителя не ведет к горю, как оно безусловно ведет к горю несчастных русских учителей: при четвертом, пятом ребенке – уже нечем прокормить жену и детей или страшно трудно прокормить, обуть, одеть. Затем, при выходе учителя в отставку, – после срока службы более длительного, чем у нас, – за ним сохраняется в виде пенсии *оклад полного жалованья,* получавшегося им перед отставкою. Это совершенно избавляет его от страха и забот во время службы о будущей своей инвалидности и необеспечении семьи. К сожалению, я не расспросил рассказчика, сохраняется ли эта пенсия, в виде полного жалованья, в случае смерти учителя *для семьи его.* Судя, однако, по ходу рассказа, – именно *так.* Затем, не маленькая вещь, – более почетная и более прочная постановка учительской службы. Учителя, более других обнаружившие способности и ревности к преподаванию, год на 15-й службы получают титул «гимназиального профессора», и это имя, сливающее их с профессорами университета, чрезвычайно ценится у скромных и добродетельных немцев, и нет причины, чтобы оно не оценилось и у нас. Тем более что в Австрии это есть не только титул. Такого «старшего учителя» или «herr Professor'а» гимназии утверждает в должности император, и его нельзя уволить от должности без доклада императору. Я был очень удивлен этим сообщением. Воображаю самочувствие такого учителя. «Во мне есть частица велений государя, потому что я могу быть уволен только приказом государя. Я служу не министерству, а Австрии». Скажете – мечта? Но, увы, не весь ли мир построен на мечте, и не захотел ли бы мир умереть со скуки, лиши его благородной мечты и мечтательности?

«У нас, – заключил мой рассказчик, – учителя ужасно унижены, и это главное зло в их положении. Этот вечный трепет перед директором гимназии, от которого учитель вполне зависит в своей службе, так как попечитель округа никогда не разговаривает с учителями, не знает их вовсе лично, а лишь *сносится о них* с директором гимназии, – это положение полной и почти рабской зависимости от начальства, не только ежедневно, но ежечасно за ним наблюдающего, делает учителя вечно встревоженным, мнительным, робким». В самом деле, у всякого есть недостатки, и есть они у учителей, у каждого. Директор их не исправляет, потому что всех недостатков исправить невозможно; но за самые маленькие, безразличные, безвредные почти недостатки директор вечно грозит учителю, или учителю кажется, что он грозит ему за них. И учитель нервничает, беспокоен. От этого, может быть, и происходит раннее и почти всеобщее заболевание или недомогание учителей. У директора есть тоже недостатки, у попечителя они тоже есть; но за этими недостатками следят из другого города – из округа или из столицы. Нет этого беспрерывного стояния за спиною виновного, или почти виновного, или мнимо виновного: и директор, и попечитель могут *спокойно* исполнять свое дело. А учитель этого не может. Все это следует обдумать: и мне кажется, следовало бы без «собираний материала» и «статистики», т. е. без откладывания дела, провести эти несколько простых мер к улучшению нравственного и материального положения учителей, которые хоть немного сравняли бы русского учителя с учителем австрийским.

ТРЕБОВАНИЯ ОСТОРОЖНОСТИ

Приходится обращаться на две стороны с призывом к сдержанности, к сообразованию поступков своих только с делом, а не с увлечениями воображения и порывами темперамента. Мы говорим о дорогой и несчастной русской школе, этом искалеченном уродце, которому никак не хотят дать поправиться. Есть много признаков, что высшая школа как будто не намерена проводить этот год так же спокойно, как предыдущие два года, и, конечно, есть много злорадующихся этому пока не оформившемуся намерению. С другой стороны, министерство просвещения, впрочем, сделавшее важную уступку в вопросе о вольнослушательницах, проявляет в других отношениях нежелательную придирчивость и мелочность. Нет сомнения, что школа наша пережила крайне ненормальную фазу своего существования, но, несомненно, что печальные последствия этого невозможно ликвидировать сразу. Здесь нужна постепенность, и лишь бы она не знала возвратов и колебаний, – все в свое время войдет в надлежащие берега. Отсутствие учения есть настолько безобразная и отвратительная вещь, отзывающаяся прежде всего на каждой порознь семье, что совершенно ясное безобразие этого явления, без сомнения, не скроется и от молодых людей обоего пола, наполняющих высшие учебные заведения. Мы хотели бы, чтобы они видели, что в какой бы то ни было мере потрясая учебное заведение, они потрясают собственное свое богатство, тратят свое благосостояние, наносят ущерб своему имени. Все в школе для них, и всякий ущерб школе есть их ущерб и ущерб их преемственным товарищам. Учение непрерывное и напряженное есть то же для них, что своевременный посев зерна для земледельца: упустишь сегодня – уже нельзя будет сделать завтра. В школе они запасаются уменьем на всю жизнь, и не запасшись этими уменьями вовремя, они будут висеть бременем на шее народа и общества десятки лет. Честное ученье – честный заработок; без честного заработка нет честного существования.

С другой стороны, мы хотели бы, чтобы министерство щадило самолюбие как учащегося юношества, так и наставников их; и мы, напр., не можем присоединить своего сочувствия вмешательству министерства, в частности, политических воззрений профессоров, в принадлежность их к политическим партиям, хотя бы и не симпатичным для нас, но политически терпимым, допущенным в государстве и по своей программе нисколько не антиправительственным, не революционным. Революционность, разумеется, исключает *честную* профессуру; и профессор социал-демократ или социал-революционер не терпим не столько по своей программе, безвредной в мирном профессоре, сколько потому, что в роли наставника юношества он нетерпим как фальшивый, притворяющийся, двуличный человек. Но есть партии, хотя бы и неприятные *теперешнему* кабинету, к составу которых профессора могут принадлежать как граждане, как избиратели и избираемые, т. е. они могут расходиться в оценке теперешнего политического положения страны с *наличным* правительством, ничего принципиального и веч-

ного в себе не содержащим. Министерство может дать почувствовать этим профессорам, что как оно не вмешивается в оттенки их политических *мнений,* так ожидает, в свою очередь, чтобы профессора не делали из своих *учащихся* слушателей – слушателей *политических,* и не обращали государственно-ученую кафедру в орудие агитации против государства и направления государственных дел. Министерство может это внушить профессорам и может этого потребовать от профессоров; и потребовать тем тверже этой профессорской деликатности, чем само будет деликатнее в отношении профессоров. Нам кажется, этот modus vivendi*, сводящийся только к требованию благородства с обеих сторон, может быть установлен без особенных напряжений. Но нельзя не заметить, что министерству, как более сильной стороне, принадлежит первый шаг в этом направлении. Государственность не требует горячности и нервов; государственность должна стоять выше мотивов мести, преследования. Государственным тактом следует сохранить то в высшей степени благоприятное настроение населения и общества, которое выражается во всеобщей жажде покоя, в отвращении к пертурбациям, в преданности национальному духу и заветам истории. Раз общество и население склонилось в эту сторону и сказало это твердо через выборы в Г. Думу, нужно избежать всего, что могло бы заставить его пожалеть о таком склонении. «От добра добра не ищут», – говорит мудрая пословица, и ее совету должны раньше внять старцы, чтобы за ними пошли и юноши.

УНИВЕРСИТЕТ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Как-то мне пришлось прочесть брошюрку-лекцию, сказанную знаменитым Карлэйлем студенчеству Эдинбургского университета. Так как я знал, что Карлэйль не был профессором и даже не проходил в юности высшей школы, то я был очень удивлен, так сказать, и письмом, и адресом. Но из предисловия к русскому переводу речи, сделанному г. Н. Горбовым, я узнал, что студенчеству английских университетов дано высокое и счастливое право – избирать по своему усмотрению «почетного ректора университета», который не несет никаких обязанностей, не получает никакого жалованья, и отношение которого к университету есть чисто духовное, идеальное. Объектом выбора может быть любимый страною писатель, или великий общественный или государственный деятель, или знаменитый ученый – все равно. Выбор абсолютно не стеснен и смысл выбора не ограничен и неопределен. В нем просто выражается любимость, уважаемость – притом идущая не по линии официальной субординации, а свободная. Мне думается, пусть изощряется вкус выборщиков: раньше чем выбрать и со-

* образ жизни *(лат.).*

гласиться о выборе, студенты должны много подумать, поспорить. Очевидно, будут оцениваться не только труды, но и личность избираемого; оцениваться со стороны собирательного своего впечатления. Но вот выбор решен: можно быть уверенным, что студенчество этого университета уже с особенным вниманием, уже не поверхностно и скользя, будет следить и дальше за деятельностью своего почетного ректора, ихнего, студенческого ректора. Избранный же приезжает в университет, приезжает в среду избравшего его студенчества и произносит речь – более или менее руководящего нравственного смысла. Карлэйль, поклонник великих характеров в истории, в речи к студентам-шотландцам перевел внимание юношества от текущих мелочных явлений политики к великим воспоминаниям шотландско-английской реформации, одновременно и воинственной, и проникнутой высшим религиозным пылом. По роману Вальтер-Скотта «Эдинбургская темница», да и по собственным комментариям Карлэйля к собранным и изданным письмам Оливера Кромвеля, мы можем судить, какие в самом деле люди сделали эту реформацию и вместе преобразование политического строя Англии. Важна и речь; но еще важнее просто этот момент, эта возможность, что один из первых людей Англии сосредоточил внимание молодежи на прекрасной и поучительной странице родной истории. Здесь мы кончаем.

Кто «дал студентам право» выбирать себе почетного ректора – в брошюре не объяснено и как-то некрасиво было бы самое объяснение. Вероятно, никто «не дал права» – ни «устав такого-то года», ни «добавление к уставу» следующего года. Это все рубрики нашей печальной истории. Вероятно, «так повелось» в Англии, сперва в котором-нибудь одном университете, потом в нескольких и, наконец, во всех. История Англии и почти весь ее общественно-политический строй строятся обычаем, и никто там не приходит и не говорит: «с этого времени позволено» или «теперь опять запрещено». Люди *хотят*; и когда они не преступно хотят – никто не вмешивается в их хотение. Между прочим, в отношении Эдинбургского университета совершенно не приходит в голову спросить: «А что же английское министерство народного просвещения, – как оно нашло эту меру и как смотрит на это явление?» Между прочим, не приходит на ум спросить об этом и потому, что ни в газетах, ни в книгах, ни в биографиях великих английских деятелей, где при чтении об их юности везде попадаются выражения «Оксфордский университет», «Кэмбриджский университет», «Глазговский университет», – выражение «английское министерство народного просвещения» нигде не попадается. Нет ни понятия этого, ни имени. Таким образом, классическая страна порядка и свобод, страна классически строгих нравов, – как-то обходится совершенно без своих Деляновых и гр. Дим. Толстых, и *как* она обходится, – это нам даже невозможно понять, нам, приученным думать и чувствовать, что всякий конь без мундштука бесится и всякий дом без специальной «охраны» разваливается. Но оставим свои воспоминания и обратимся к английским. Немногие английские университеты, – числом не бо-

лее наших, – стоят не затеняемые никакою горою, у подножия которой они стоят. Они светят на всю страну своим ярким, свободным светом; и нет английского студента, который не гордился бы университетом, в котором он учился; и нет профессора университета, который не чувствовал бы сам и не внушал бы своим слушателям, что Англия – лучшая и самая великая страна в свете, в которой хорошо жить, за которую хорошо страдать и за которую хорошо умереть.

Я, однако же, никак не хочу сказать, чтобы желал пересадки к нам этого красивого английского обычая. Говорю о выборном «почетном ректоре» из лиц, не принадлежащих к корпорации университета. Увы, если законы еще можно пересаживать из страны в страну, то обычаи вовсе нельзя пересаживать. Они вырастают, – и только на том месте, где выросли. Но и вообще я думаю, что каждая страна должна жить своим обычаем; и чужие страны должны давать нам не *примеры*, а только навевания. Навевание не стесняет моей свободы, моей энергии, моего личного творчества. Оно только указывает мне лучшее и будит благородное соревнование с этим лучшим. Это – уже другое дело и нисколько не повреждает самостоятельности и оригинальности родной истории.

Я вспомнил об английских университетах, о странной малоизвестности или неизвестности английского «министерства народного просвещения» по связи с нашим учебным делом, которое и остается и долго будет оставаться мучительным местом мысли для всего русского образованного общества. Мне кажется, что положение университета «в составе чинов министерства народного просвещения» вообще как-то ненормально, неуместительно и, как всякое неудобное, неловкое положение, оно окружено скрипом, хлопотами, перемещениями, жалобами и болью. Университетские «уставы» оттого так часто меняются у нас, что вообще невозможно создать «устава» для этого в существе неудобного, ненормального положения. Обратим внимание на следующее: университет есть всеобщий радетель у нас всего светского образования, он *дал его из себя*, ранее его *не было этого просвещения*. Это и исторически, и лично в отношении каждого лица. И попечитель учебного округа, и министр, распоряжающийся министерством, – оба суть *питомцы*, суть слушатели того же университета, которому они «ныне приказывают»; и в составе профессоров этого университета находятся их личные наставники. Конечно, это можно сказать и о гимназии, но после гимназии вышедший из нее идет «дальше», а из университета никакого «дальше» нет: он *оканчивает* собою образование, он есть вершина, далее которой вообще в стране не идут, не ходят, далее «нет хода». Это не только важно, но страшно важно в том отношении, что с университетом *убратиться* можно, можно стать к нему в братское отношение, а вот *уотечиться* ему, т. е. стать к нему в отцовское положение, никак нельзя и невозможно. Усилия будут, но выйдет смешное, и действительности не получится. Она будет страшно ненормальна, гнусна; она сбросится, как все неестественное. Все это вытекает из самой идеи, из сущности дела, которую никак нельзя обойти в «уставах». Что это так, можно видеть из той седой истории

университетов, когда отношения слагались «сами собою», т. е. вытекали прямо из идеи дела, еще не искаженной, не изнасилованной человеческой мыслью, человеческой придумкой. В ту раннюю пору авторитет пап был сейчас после божеского, и, опираясь на священство своей власти, они нередко *предписывали* королям и в случае сопротивления вступали с ними в борьбу, иногда с счастливым успехом. Но и тогда папа никогда не вмешивался в духовную жизнь университетов и, что удивительно, не связывал богословских взглядов университета. Богословие же вместе с философиею составляло тогда главную часть университетского преподавания. Напротив, университеты, например Парижский, своею волею и по собственной инициативе вдруг иногда начинали вмешиваться в такую опасную и деликатную вещь, как взаимные отношения короля и папы, духовной и светской власти. Он высказывал суждения и даже осуждения, когда их никто у него не спрашивал. Откуда это возникло? Именно из идеи, из сути университета. Было всеобщее чувство, что университет есть такое особое место, где только «знают», но притом же «все знают»; где кроме «знаний» ничего не полагается, не содержится, но зато эти «знания» здесь можно получить или можно отсюда потребовать самые полные и основательные, самые мотивированные и ясные, каких вообще нельзя ни откуда еще достать. Это был и остается до сих пор в своей идее такой же институт выработки всемирных «знаний», каким, например, является в наше время институт экспериментальной медицины по отношению к выработке и заготовлению противоболезненных сывороток и прививок. Сравнение это очень удобно. Подчинить внутреннюю работу такого института экспериментальной медицины кому-нибудь, чему-нибудь со стороны – никому даже на ум не придет. Это явно невозможно и ненормально. И оттого, от подобной же сути дела, ни короли, ни папы, несмотря на светский и духовный авторитет, не допускали никакой возможности прикоснуться к распорядку внутренней идейной жизни в университете. Продолжим аналогию. Как институт экспериментальной медицины невозможно подчинить чему-нибудь и можно только «причислить» его к какому-либо ведомству для совершения около него некоторых вещественных, материальных служб, по части оборудования его, оплаты жалованья служащим, устройства кабинетов и проч., и проч., так точно и университеты могут быть только причислены куда-нибудь. Причисленность, а не подчиненность – вот настоящая природа и настоящее имя той связи, в которой должны быть университеты по отношению к министерству народного просвещения. Возьмем теперешнее положение. Министр просвещения, г. Шварц, – один из профессоров Московского университета, и не только о нем кто-либо, но и он сам о себе не скажет, чтобы в пору своего преподавательства он был самою значительною умственною силою своего факультета. Около него в университетском совете сидели Н. С. Тихонравов, Н. И. Стороженко, В. О. Ключевский. Он не станет возражать, если скажем ту вещь, которой личными свидетелями были все его слушатели в университете: что он был средний профессор, не выдававшийся ни чтениями, ни научными трудами.

Где же, в каком другом учреждении вы отыщете коллегию в 60–80–100 и более человек, из которых каждый в сущности есть скромный человек, не потянувшийся за министерским мундиром, но *каждый же* по образованию своему, по качествам мысли есть вполне возможный министр. Припомню Кавелина, Чичерина, Градовского, припомню впереди их всех Н. И. Пирогова: это имена обширного русского и частью европейского значения, с которыми невозможно было не считаться, относясь так или иначе к месту, на котором они стояли, – к делу, которому он служили. Этого невозможно не взвешивать. И как масло всегда будет плавать поверх воды, так в составе каждого университета, безусловно каждого, есть две-три таких ярких точки, которые заливают смыслом, блеском и министра, и министерство определенных текущих дней. Ну, что значит Делянов, «граф» Делянов и «кавалер ордена» сперва Белого Орла, потом Александра Невского и, наконец, перед могилою, – Андрея Первозванного, если поставить около него «подчиненных ему чиновников» того времени – Бредихина в Москве и Менделеева в Петербурге? Ведь должны же мы принимать во внимание, должны принимать во внимание и в самом министерстве просвещения, что из двух терминов, из которых состоит его имя – «министерство» и «просвещение», – значимость принадлежит второму имени, ибо в нем содержится цель и смысл, ради которых собственно «министерство» основано и существует. Ведь если посмеиваться, что есть учебные заведения только с вывескою их, но без всякого в них *существа учения*, то также можно посмеяться и над тенденцией самого министерства сделаться каким-то самодовлеющим рядом кресел, стульев и табуретов, где сидят тайные и действительные статские советники, и, наконец, коллежские асессоры, которые все пишут неутомимо разные бумаги и не имеют никакой связи с «просвещением». Есть школы без учения: но ведь может быть и министерство без просвещения, индифферентное к нему и даже враждебное ему? Но именно такая враждебность или индифферентность одна и могла бы вынудить сказать, что Менделеев или Бредихин затмеваются в значении, когда стоят рядом с Деляновым. Для Европы, для России, для всего света и всячески, Делянов, который есть только то, *что из него сделали*, превращается в совершенно маленькую величину около этих светил науки, которых никто ничем не делал, но они сами всем сделались, – которые добровольно и от себя, не за рубль и не за орден, излили поток света в сокровищницу всемирного «просвещения» и составляют самую душу, самое золото той позолоченной вещи, которая называется «министерством».

Поэтому, когда начинается разговор и препирательство министра с советом университета, – а таковые нередки, причем комичным образом министр даже не удостаивает говорить прямо университету, а передает свои «требования» через попечителя округа, – то получается какая-то культурная неловкость, которую просто не может не почувствовать и сам министр. И можно быть уверенным, что втайне все наши министры просвещения и чувствовали эту культурную неловкость «управлять университетами», когда ими

«управлять», по существу, невозможно и некому. Это разговор и препирательство страшно молодого со страшно старым, неопытного с опытным; при правах, при внешнем праве молодого смотреть сверху вниз на старца, игнорировать его, оскорблять, быть невежливым в отношении его – какой-то нигилизм. Говоря о возрасте, мы имеем в виду не возраст членов университетского совета, возраст самого университета: ибо министр ведь приказывает не лицам совета, а самому университету, который от времен Елизаветы Петровны, Шувалова и Ломоносова до наших времен совершил необозримые труды, испытал всяческие испытания, выпил горькое, и пил сладкое, и, словом, есть именно старец. Профессора, даже и молодые, а уж особенно пожилые, конечно, говорят в совете, конечно, действуют в университете не «по душе», не «как им душа скажет», действуют и говорят по традиции, по духу и по стилю университета. И, словом, личность тут ни при чем, как «Александр Васильевич» ни при чем в «Суворове» и «Иван Давыдович» ни при чем в «министре просвещения гр. Делянове». А если относятся между собою не лица, а сущности, то каждый министр просвещения как молод перед университетом!

Да и отчего не довериться или, точнее, отчего не передоверить высшее просвещение в стране коллегии из 80–100 человек, из которых каждый есть «возможный министр просвещения», не худший, чем всякий «сущий министр»? Просто это непостижимо. Если доверяется армия в ответственный год войны, в этот страшный год, одному человеку, главнокомандующему, и никто же не держит его за фалды и не подсказывает ему решения по телеграфу, – то насколько возможнее довериться спокойному руководству 80 просвещеннейших в стране лиц в спокойное время? Коротенький опыт этого перед 17 октября и сейчас после 17 октября имел одну незамеченную в себе сторону: это был единственный случай в истории наших университетов, когда коллегия профессоров, будучи совершенно свободна от указаний из центра, из Петербурга, стала в сдерживающее, борющееся положение по отношению к студенчеству и сильнейшим в нем политическим течениям радикального характера. Но за краткостью времени это только обозначилось, только наметилось, – однако решительно и не обещая поворота. За все время жизни наших университетов это случилось в первый раз. У кого же набираются духу студенты: уж никак они не набираются его из конфиденциальных предписаний министерства, прежде всего потому, что они неизвестны, во-вторых, потому, что они глухи, без резонанса, и в-третьих, потому, что едва студенты ознакомились бы с этими конфиденциальными предписаниями, как немедленно же все стали бы делать наоборот. Этого «несчастья» не стает отвергать и само министерство. Где же исцеление? Всякого возможного «духа» студенчество набирается: 1) от профессоров, 2) из книг, 3) от товарищества и из образующихся около университета течений. Последние влияния неисследимы и неуловимы; и само министерство никогда даже не задавалось целью воздействовать на них. Ну, как ловить воздух? Он везде и всепроницаем. Остается только первое –

влияние профессоров: но в единственном случае, когда это влияние сделалось безусловно сдерживающим, когда в нем не появлялось ни одной раздражающей, потакающей, толкающей вперед на беспорядок струи, – это было время, когда были оставлены «один на один», «глаз на глаз» студенчество и профессура. «Что и требовалось доказать» – как говорится в заключении геометрических теорем.

Но мы как-то не умеем учиться из собственной истории, и у нас есть нервность, а не появляется мудрости. Опыт, сам собою и непредвиденно, невольно начавшийся, был прерван, изломан: и теперь единолично г. Шварц думает произвести то «оздоровление атмосферы университета», над которым с такими усилиями, с таким трудом и таким страшно медленным успехом работали кн. С. Н. Трубецкой, Мануйлов и целый ряд профессоров, весь или почти весь состав профессоров всех наших университетов. Конечно, это будет бессильно. Увы, «образ мыслей» и зависимо от этого «образ поведения» очень мало подлежит регулированию циркулярами; разве что «форма» поведения, которую можно насильственно надеть, как надевают арестантские халаты. Но всякие мундиры и халаты, как имеют то удобство, что они «надеваются», так имеют и то неудобство или, пожалуй, другое удобство, что они сбрасываются. Мы теперь находимся в периоде, когда его «одевают», и надевающие потирают руки от успеха: но что они будут делать, когда его будут «скидывать». Ибо уже по самой «надеваемости» всякая одежда когда-нибудь и снимается.

И наконец, вся эта мелкая, нервная и немудрая борьба как-то некрасива. Что такое это недопущение семинаристов в университеты, что такое изгнание из него вольнослушательниц? Чему это помогает, что это исцеляет? Это именно мелочно, частно, минутно, задевает сотни и тысячи лиц, измучивает их, оскорбляет их, озлобливает их и не проливает в «положение вещей» ни одной успокоительной капли. Просто – это не нужно ни государству, ни нации, ни обществу, ни народу; никому, решительно никому. Жаль оскорбленных: а в смысле «утишения» бури или волнения – это ни «да», ни «нет», и в существе дела и для существа дела – даже никому и не интересно. Оскорбленные есть: но дела – никакого дела тут нет. И оттого, что это – не принципиально, безыдейно.

И вот мы возвращаемся к примеру, с которого начали: там есть красивое в установлении, в учреждении. Кажется, с начала истории нашей и до сих пор мы никогда не задавались мыслью не строить что-нибудь красивое в общественной организации. Городили канцелярию на канцелярию, столоначальство на столоначальство. Все «по образу и подобию» Акакия Акакиевича в «Шинели» Гоголя… Ни – дальше, ни – в сторону. Когда мы думаем об университете, то нам хочется… не примера с Запада, а вот этого благородного «веяния» из Англии что ли, или откуда-нибудь, но которое продуло бы нашу канцелярскую пыль и повлекло нас к более высокому, более одухотворенному, более, наконец, художественному историческому строительству.

К ВЫРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПЕЧАТИ

Особая комиссия при министерстве юстиции, с участием представителей от министерства внутренних дел, занята выработкою законопроекта о печати, имеющего быть внесенным на обсуждение Г. Думы. Проектируемый закон должен будет заменить собою временные правила 1905 года. В состав комиссии вошел и начальник главного управления по делам печати, г. Бельгард, а председательствует в ней товарищ министра юстиции А. Ф. Гасман. Нет сомнения, что временные правила должны быть заменены законом, с тенденцией или надеждою на долгое, вековое существование, и что появление означенной комиссии вполне ожиданно. Положение печати совершенно изменено с 1905 г., хотя нельзя сказать, чтобы сама печать при этих изменившихся до неузнаваемости условиях своего существования также изменилась неузнаваемо. После бурного выброса в годину всеобщих беспорядков ряда памятных «красных» листков, брошюр и газет, имевших очень эфемерное существование по причине полного равнодушия и частью преображения публики и совершенно убогих и бессильных в себе самих, печать потом пришла по духу и форме в то же состояние, в каком находилась до 1905 г., и теперь она во всяком случае спокойнее и сдержаннее, чем в непосредственно предшествующие годы, когда действовала цензура. Если взять возбуждающий или подстрекающий тон печати, главный пункт политической подозрительности и главный мотив взглядов на нее как на силу «неблагонадежную», то в этом отношении перемена к явно лучшему – несомненна и разительна.

Мысль человеческая и слово человеческое очень мало уловимы, и все помнят и знают, что в эпоху Сипягина и Плеве не было книжки толстого журнала и не было газеты, которые в стихах и прозе, в повести и рассуждении, в приводимых сообщениях и в освещении фактов, наконец, в группировке фактов не были бы проникнуты и тайным и явным духом этого возбуждения, иные даже подстрекания. Плеве или Сипягин изображали собою пробку в вулкане, и вся сумма их действий, все нервничанье цензуры, памятное ежедневное рассылание по редакциям «приказаний» из главного управления по делам печати, и даже иногда экстренных распоряжений по телефону, передаваемых во все редакции о несообщении каких-нибудь пустяков, – все показывало, что сами эти министры смотрят на свое положение как именно затыкающей пробки, задерживающей завтрашнюю беду. Можно сказать, что самый этот дух министерского управления, беспощадный и безнадежный, вполне пессимистический, – звал беду, ибо создавал возбуждение же. Возбуждение вырастало не по годам, а по месяцам и дням, и в один и тот же день Петербург или Москва не бывали в одинаковом настроении утром и вечером. Всякий слух, всякая сплетня, из числа мириад родившихся в молчании печати, в укрывательстве «сведений», поднимали или роняли настроение литературных кругов и с ними общества. Общество жило поли-

тикою, как биржа слухами о войне и займах; жило испуганно и пугливо, как финансисты перед объявлением банкротства. И не нужно почти объяснять, что в атмосфере этого возбуждения, и такого притом безобразного и бессмысленного возбуждения, было невероятно трудно и почти невозможно управлять страною, ибо кормщикам приходилось не «держать твердо» руль, а дергать руль, и даже дергать его не одними руками, а и зубами. Слава Богу, это сумасшедшее положение вещей прошло и, кажется, навсегда прошло у нас. Никто теперь не говорит с той подавленной и сжигающей ненавистью, как говорили писатели и журналисты, включительно до мелких губернских корреспондентов, во времена Феоктистова и Адикаевского, во времена Сипягина и Соловьева; и, ни за какие сокровища ни один журнал теперь не заполучит и не возродит Щедрина. Умерло это. И слава Богу, что умерли все эти «предварительные» и «последующие цензуры», «оштрафование по усмотрению министра» и «закрытие газеты или журнала по соглашению трех министров». Бедные журналисты тех дней: каков *должен был* быть тон журналов, газет и сотрудников их под ежеминутно висевшею над головою опасностью завтра разориться и потерять сферу труда, средства заработка и существования, не говоря о чести? Сипягин и Плеве затыкали собою вулкан; но еще ужаснее, что, вися головою вниз в этом вулкане, они непрерывно шевелили уголья в нем и раздували их, все стараясь задуть.

Печать внутренне успокоилась и стала внешне успокаивать. Это так понятно во внутреннем сцеплении, что этого вполне можно было и ожидать, можно было рассчитать это. Резкая критика министров, какая возможна теперь, по-видимому, нисколько не обеспокоивает их в тех случаях, когда они не чувствуют ничего определенно худого в своих ведомствах. В общем, нельзя не сказать, что сон теперешних министров много светлее и спокойнее сна министра внутренних дел лет пять–восемь назад. Управление стало вполне возможно. Стало возможно именно «держать твердо и определенно руль», глядя на компас и сообразуясь с устойчивым течением и ветром. Вот этой-то устойчивости раньше и не было. Не было ничего устойчивого в стране, и было в наличности только упрямое желание министров вести корабль туда-то и туда-то, опираясь на личные собственные пары, которых, как известно, не хватило…

Ввиду этого неоспоримого и огромного результата нам представляется совершенно невозможным появление в будущем длительном законе о печати чего-нибудь, напоминающего прежнее недоброй памяти отношение к ней. Печать сама отлично справляется со своими недостатками, и, например, ничтожное и презренное явление порнографии в ней вызвало такой поход против себя в самой же литературе, что и без помощи казенных «мероприятий» оно угаснет само собою, умрет от холода и голода. Этого еще нет, но ведь и появилась эта печать всего один год, – и, можно сказать, уродцу некогда было захворать и умереть. Беспокоиться об истреблении подобных гадов нечего.

Предположение, возникавшее и ранее и о котором есть слух и теперь, – именно о возложении ответственности за литературные произведения на пе-

чатающие их типографии и торгующие ими книжные магазины, столь нелепо, что на нем не хочется останавливаться. Ремесленнику не обязательно быть образованным: и если у нас университеты и гимназии не могут обзавестись мудрецами, то где же таких мудрецов набраться для торговли и печатного промысла, который сделался обширною промышленностью? А отдать всю литературу под надзор заведомо темных людей, всегда денежно испуганных и во внутренних качествах литературы нисколько не заинтересованных, – значит сотворить беду, с которою примириться можно только при надежде, что ее назавтра прекратят. Подобный закон, конечно, будет эфемерен, и не для чего издавать его. Да он и не имеет никаких шансов пройти в Думе, так что комиссия совершенно напрасно трудится, если она трудится в этом направлении. Типография и магазин – машины около литературы: а какая же машина отвечает за приготовляемые на ней изделия? Эльзевиров и братьев Альдов не наберешься: они могли появиться на заре книгопечатания, когда оно было новым и высоким мастерством, а не было «торговлею и промышленностью». Возвращаться же от условий «промышленности и торговли» назад куда-то в старину – все равно что для трансатлантических пароходов вызывать непременно Колумбов. Мы надеемся, что комиссия, проектирующая новый закон, избежит этого смешного, и вообще избежит наивностей. О возможности их, однако, нужно предупредить, хотя едва ли следует их опасаться ввиду критики Г. Думы. Последняя не может забыть, что печать есть ее родной брат, истинные интересы которого должны быть ей дороги.

ПОКЛОННИКИ АУРАМАЗДЫ

– Ну, как, что вы? С нами крестная сила… Неужто еще секта? Кроме декадентов и «нового христианства», иоаннитов, и…

– И… поклонники Аурамазды.

Собеседник мой стоял ни жив ни мертв. Он упражняется приватным образом по части борьбы с сектантством.

– Нет, послушайте. Слово «Аурамазда», и меня поразившее, я услышал от священника. Читает он только что появившуюся книжку проф. Смирнова «История религий», должно быть, дошел до парсизма и этого самого зловещего «Аурамазды» и, при моем приходе к нему, приходе с благочестивым намерением поговорить о душе, прямо заговорил, и так это провинциально, на «о»:

– Они все поклонники Аурамазды. И Антоний Волынский, и Сергий Финляндский, и Никон Вологодский.

Я прямо растерялся. Но он продолжал:

– Позвольте. Вот я читаю. *Дуалистическое начало*, как нигде в мире и никогда, проведено было в *парсизме*. Материя почиталась сотворенною дьяволом, материя и все вещественное, видимое, осязаемое, обоняемое, вкуша-

емое. А дух и весь бесплотный мир почитался тварью Бога. Это парсизм. Изволите следить? Парсизм, а *не христианство*. Возник этот парсизм немного ранее христианства, века за три, за четыре, – и наполнил проповедью своею всю Среднюю Азию, до стран греческих и сирийских. Когда явилось Евангелие, то оно упало в волны этой уже воспламененной борьбы. И во множестве сект, особенно гностических, смешалось с этим парсизмом. Дуалистическое воззрение на мир, по которому одна половина его есть черная, темная, злая, и притом *коренным и необходимым образом злая, злая врожденно и природно*, – есть чистейшее учение Заратустры…

– Декадента, т. е. ницшеанца и декадента?..

– Не извольте шутить. Я говорю серьезно. Да, Заратустра ввел это учение о разделении мира на доброе и злое начала. От него древнейшие христиане хлебнули это учение, – не все, но многие сильные и пламенные натуры, – и оно к третьему веку по пришествии Спасителя определилось в форме монашества…

– Ну, все нападают на монахов. Из них столько красивых, с идеальными лицами, и совершенно «преподобных» по поведению, как это и утверждает владыка Антоний…

– Не извольте торопиться. Если бы Христос основал монашество, или даже начатки его, то монашество и появилось бы одновременно с первой христианской общиной, в первый же век христианства. Извольте заметить, что «пресвитеры» и «епископы» появились в апостольской общине, потому что Господь наш учредил наше священное сословие… Монашество появилось только в третьем веке, и епископы древней церкви монахами не были.

– Ну вот, у вас совсем новые суждения. Не хочу слушать. Этак вы и епископов пожените. Слышать не хочу.

– Продолжаю. Явно, что если монашество так долго не возникало, то, значит, никому из читающих Евангелие *триста лет в голову не приходило*, чтобы в нем были какие-нибудь намеки на возможность монашества. Ибо в *триста лет*, и при таком горячем восприятии учения Христова, каковым оно было в это время, конечно, всякое Его слово было замечено и всякий оттенок мысли продуман. Изволите согласиться?

Я согласился. Мне что! Только бы архиереев не поженили.

– Вот ведь и вы, – продолжал он, – хоть и светский человек и отстаиваете семейное начало, а втайне и несознательно тоже являетесь поклонником Аурамазды, творца светлого мира духов и всего духовного царства. Корни каждого учения очень тонки и внедряются в мысли наши, когда от имени их провозвестника мы даже открещиваемся. На имя плюем, а учению молимся. Сие непохвально. Продолжаю. Монашество внедрилось в церковь не прямым путем, через установленную Христом иерархию, пресвитеров и епископов, но оно шло народно, шло боковым путем и в боковые двери вошло и в христианство. Оно было до того ново и необычно, что когда начало крепнуть, то встречало все-таки такую борьбу в массе христианского народа и во всем священноначалии, что на одном из соборов было поставлено

правило, – каноническое правило, по сие время, как все они, не отмененное, – что если монах восхощет быть епископом, то он должен предварительно снять с себя монашеские обеты и выйти из монашества.

– Неужели есть такое «правило»? И «каноническое»?! Вот будет буря, если газетчики узнают.

– Газетчики слишком невежественны во всех сторонах церковной жизни. В греческой церкви никогда не было, и по сие время нет, епископов-*монахов*, хотя они и не семейны. Но они составляют неженатое, однако, *белое духовенство*, не принявшее обетов монашества, в число которых входит смирение и *послушание*. Епископ призван управлять и повелевать: как же сии монашеские обеты можно совместить с епископским управлением епархиею? Из монашества избираются только русские епископы, вопреки каноническому правилу, но на всем остальном Востоке епископы суть белое духовенство, и ничем, кроме как обширностью власти и особыми одеждами да непременной бессемейностью, не отличаются от вдовых священников…

– Это такие новости, что я сейчас упаду в обморок.

– Привычка много значит, и за одну жизнь человека измененное и новое правило кажется незапамятно древним. В Греции есть только один епископ-*монах*, посвятившийся в России в учебную пору. И ему *одному* дозволено было, в виде исключения, не снимать сана, но без позволения другим следовать этому примеру. О сем было рассказано ректору Московской духовной академии, который со студентами ездил лет пять назад к св. местам и проезжал с ними через Константинополь. И о сем утверждении греческого духовенства точно передано в «Богословском Вестнике», издаваемом академиею, при описании путешествия о. ректора епископа Евдокима и студентов… Возвращаясь к предмету нашей беседы, я должен сказать, что Евангелие и Иисус Христос не порождали этого мрачного воззрения на мир и природу, проводниками которого явились пришедшие в церковь в III и IV веке монахи, пришедшие с Востока, из пустынь Сирии, Египта и Греции и занесшие в церковь дух и веяние учения Заратустры. Не догму его, а дух его. А смешавшись с христианством, дух этот оформился в уставы монашеские, в правила монашеские, в быт монашеский. Высокая стена, которою они отделяются от мира, это и есть Заратустрова стена, отделяющая их от царства Аримана, а сами они поклоняются Аурамазде…

– Христу.

– Аурамазде, а Христа чтут только именем и всуе. Ибо Христос есть «Примиритель» и обещал еще праматери рода человеческого, что он снимет грех с человека, т. е. снимет не исконное и злое начало, а то случайное грехопадение, какому подвергся Адам и какому он мог не подвергнуться, если бы послушался Бога. Евангельское понятие о грехе не такое мрачное, как учение Заратустры о постоянном и вечном пребывании зла в мире. Но это заратустровское веяние на Востоке, в Азии, было до того сильно, что христиане в лице монахов совершенно подпали ему и не видят более в Христе этого обещанного «Примирителя», Который искупил, освободил человека от пер-

вородного греха и примирил его с Богом. Вот в это «примирение»-то монахи и не верят, или, точнее, *не чувствуют его*. Оттого такой сердитый голос и гневно-отрицательное отношение у епископа Антония ко всему миру, к просвещению, науке, даже к духовным собственным академиям. Это он от Заратустры взял, а Христос, Который вкушал с мытарями и грешниками, не пренебрегал никаким званием, ремеслом, должностью человека, не гнушался труда человеческого, ибо, вероятно, и помогал в отрочестве Иосифу в плотничьем ремесле его, и вошел на брак в Кане Галилейской. Ничего сего монахи не делают, и так увлекаются Аурамаздой, что уже не последуют Христу…

– Говорите другими словами, иначе я вас не буду слушать.

– Вы светский человек, – ответил он мне, – и вам не больно. Но мне как священнослужителю больно и страшно сие гибельное заблуждение, в котором люди не дают себе отчета. Я вот только что прочел книгу «От бурсы до снятия сана», одного вдового священника, который подробно рассказывает историю своего вдовства с семерыми маленькими детьми, причем передает разговоры свои о сем положении с епископом Антонием Волынским и митрополитом Антонием. Так что рассказ, очевидно, фактичен и в подробностях. Он любил свое священство, чтил звание, службу и должен был все оставить, только чтобы дать воспитательницу своим детям. К жене своей, и первой и второй, он был трогательно привязан. Во вдовстве ему очень недвусмысленно предлагала свою другую дочь его теща, т. е. предлагала в наложницы. Он удержался от блуда. Но когда он об этом всем и о своем втором браке, уже по выходе из священства, рассказал Антонию Волынскому, то тот ответил:

– Вы променяли ваш сан на бабу. Мой совет вам – оставить это приблудное житие, потому что это вам ведомство разрешило второй брак, а не церковь, и идти в монахи. Второго брака вашего я не признаю, хоть вы и повенчаны.

При этом владыка даже и не вспомнил о семерых детях. И все они так же жестоко смотрят на священнических детей, считая их не людьми. Таков ли взгляд Христа? Младенцев он поставил в пример взрослым, сказав, что никто не войдет в царство небесное, кто не уподобится младенцу. Но монахи ненавидят младенцев, и вот не хотят дать им второй матери в тех печальных случаях, когда священник еще молодым вдовеет. И хотя епископы хорошо знают, что вдовые священники редко удерживаются от греха, но в сем случае игнорируют даже нравственный вопрос и со всем мирятся, только бы не дать второй жены священнику. Явно, что и на первый-то брак они смотрят как на падение и грех и вовсе в душе отвергают таинство брака. Иначе разрешали бы второй, так как повторение благодатного таинства, конечно, только желательно, как повторяются исповедь и причащение в пору нужды и немощи. В книге это подробно разобрано, и священник, снявший из-за вдовства с себя сан, подробно разбирает все стороны этого вопроса в своей книге, совершенно не понимая расхождения теории церковного уче-

ния о браке с практикою церкви в сем случае. Но как я слышал от осведомленных лиц, второй брак не будет разрешен вдовым священникам даже и церковным собором, если он соберется: до того враждебно настроены к этому епископы. Будто бы Антоний Волынский и Сергий Финляндский заявляют даже громко, что, в случае разрешения брака вдовым священникам, они выйдут из русской церкви, а Антоний Волынский будто бы переслал некоторый капитал на Афон – на случай переселения туда, если бы такое разрешение второго брака произошло.

Я очень удивился.

– Такой горячий интерес к такому безразличному, догматически третьестепенному вопросу! Ведь это не догмат о Троице. Горячности-то я и не понимаю. Мало ли в церкви было и есть горя, нестроений… Петр отменил патриаршество, – никто не бежал. Потом Аввакума и других сожгли, – и от этого никто из епископов никуда не побежал. Потом настало безверие и разврат, появились г. Дарвин и женская эмансипация, и от этого епископы не бежали. Но достаточно было появиться на горизонте мысли, чтобы вдовцам-священникам, во внимание к страдальческому положению детей их, было разрешено вторично вступать в это церковное таинство, – чтобы раздражение епископов выразилось в готовности из-за этого разрешения совсем оставить русскую церковь. Это так странно, что, действительно, вспомнишь Аурамазду. Ведь брак же сотворен Богом, благословен Иисусом Христом. Он *первое Свое чудо* сотворил на браке: так явна была любовь Его к этому человеческому состоянию. И в самом деле, в продолжающемся сотворении детей как не видеть продолжения сотворения мира Самим Богом, как не видеть, что в нем осуществляется самый *план* сотворения Богом человека в двойном виде, – мужчины и женщины? Но раз монахи признали в материальном, в плотском начале природы коренное мировое зло, сотворение дьявола, то явно, что поддержание плотского сотворения они считают злом же, чем-то бесовским. Конечно, «таинству» тут уже не остается места, хотя оно и остается на языке и в теории. Тогда, в самом деле, придется поверить, что веяния Заратустры составляют настоящую душу, или… *вкус*, что ли, духовенства, и что не Христос-Примиритель, не учение о Троице и т.п. составляют *суть* всего, такую *суть*, из-за которой хоть бежать из России, а вот такая, по-видимому, мелочь, как второй брак священников. «Продолжается сотворение злого начала»… Но ведь тогда так понятно, что монахи пребыли равнодушны и к сожжению Аввакума, ибо у него жгли не душу, а только бренную *оболочку*, Ариманову злую тварь; да равнодушны и к пьянству, к разврату народному, – ибо что ж, ведь тут гибнет и гниет только *тело* народное – опять же злое создание Аримана. Вообще, тогда многое объясняется. Но это такая новость, что мы втайне поклоняемся Аурамазде, а Христос отставлен куда-то в сторону.

УЧЕБНОЕ ХАРАКИРИ

Российское юношество готовится положить себя жертвою на алтарь свободы. Известна мудрость Востока: японец, обиженный соседом, приходит перед окна его дома и на глазах злого и несправедливого человека распарывает себе живот ножом, что, по его мысли, должно потрясти душу злодея. Но и мы, русские, в значительной степени являемся людьми Востока, и в такой секте, как наши самосожигатели, поступаем не менее решительно и кроваво, чем японцы. Наша юность обоего пола недалеко ушла от этой мудрости Востока, решаясь в доказательство ревности своей о достигнутых привилегиях учебных заведений и учащихся в них – сойти на положение неучащихся, смешаться с веселящейся и ничего не делающей «золотою молодежью, и, словом, своим удалением из аудиторий и счастливым far niente* с мрачным видом – закрыть университет. Это «харакири» называется учебною забастовкою. Несколько тысяч бородатых, здоровых господ, и несколько тысяч зрелых девиц улягутся на спины и плечи 50- и 60-летних стариков и старух, отцов и матерей своих, и скажут: «Везите, папаши и мамаши, сами идти не можем. Начальство нас обидело, и мы больше не учимся».

Вполне возмутительно! Возмутительно и по наивности своей, и по элементарной несложности, и по этой восточной дикости. «Чтобы досадить другому, не стану учиться». Так поступают самые крошечные дети, с азбучкой в руке, и удивительно, что с такою же психикою оказываются мужи и девицы, штудирующие высшую науку. Мы согласны с тем, что министерство народного просвещения допустило ряд нетактичностей, что в вопросах и о студенческих старостах и о вольнослушательницах, и в отношении профессоров либеральных партий оно поступало так торопливо и нервно, как этого вовсе не требовалось положением вещей. Словом, мы отнюдь не сливаемся с министерством просвещения ни в его программе, ни в его практике. Нам интересно не министерство, а ученье в России, и здесь против гг. учащихся, которые не хотят учиться, мы поднимаем столь же резкий голос, как подняли бы против учителей или профессоров, которые не захотели бы учить. Мы и не против того, чтобы студенчество имело свой представительный орган, старост. Старосты эти задолго до движения в 1905–1906 г. всегда существовали в Военно-Медицинской академии и всегда признавались там равно удобными для начальства и необходимыми для студенчества: но они исполняли там чисто академические функции, и едва ли министерство народного просвещения тронуло бы этот целесообразный институт, если бы он не перешагнул в область политики. И в допущении этого шага своим старостам виновно студенчество. Не министерство его вызвало на борьбу, но оно вызвало министерство на борьбу с собою, – и этого совершенно не нужно было. Сами же по себе старосты могли бы быть оставлены для студентов, с мерами, гарантирующими их лояльность. Но это – подробности, и не о них мы сейчас говорим.

---

* ничегонеделание *(ит.)*.

Повторяем, мы не против достижения студентами разумных своих прав, мы *единственно* против выбора средств достижения, каковой выбор считаем пошлым, позорным и глупым. Своим неученьем – ничего не докажешь; ничего не заявишь. Все и всегда будут иметь повод сказать: «Это они *от лени* и *от неспособности* к ученью», – и трудно будет опровергнуть этот упрек. Трафарет забастовок есть просто уличное движение ничтожной показательной силы; это есть озорная борьба с начальством, к которой мы не чувствуем ничего кроме гадливого чувства, и то же самое должна почувствовать к ней вся Россия.

НОВЫЕ ШТАТЫ УЧИТЕЛЕЙ ГИМНАЗИИ

Спешим поделиться с читателями и со всем учительским миром большою радостью, чрезвычайною: положение учителей гимназии, материальное обеспечение их и семей их будет совершенно изменено в теперешнюю же осень, в этот 1908 год! На этих днях было сообщено в газетах, что «в министерстве народного просвещения пересматриваются штаты» учителей гимназии. Но оказалось, что эта ласточка щебечет не о той весне, которая уже *наступила.* Штаты, по приказанию министра просвещения А.Н. Шварца, уже рассмотрены в особой комиссии под председательством товарища министра г. Георгиевского, и этою комиссиею составлен законопроект о новых штатах, который вне очереди и в первую голову будет внесен на рассмотрение в Г. Думу и, вне всякого сомнения, получит без всяких дебатов и без малейшей критики ее полное и притом радостное одобрение.

На радостях, прежде всего «божественные» цифры: за 12 нормальных недельных уроков учитель получает первые три года *900 руб.* (при мне служба начиналась с *750 руб.* оклада, но немного лет назад оклад был повышен до 900 руб.); и затем, *через каждые три года службы,* этот оклад повышается на *300 руб.* Помня свою учительскую «безнадежную» службу (ничего в будущем, никакого улучшения!), я воображаю совершенно новое чувство, совершенно новое самоощущение, с каким теперь бедные учителя поедут на уроки. Можно сказать, эта *денежная* перемена совершенно изменит весь *нравственный* дух преподавания, ибо перед учениками будет стоять и сидеть не *злой учитель,* а *добрый учитель!* Ангелы – они всегда сыты, и потому никогда не злы; но человек, как только он голоден, как только у него не хватает средств существования – становится непременно зол, и с этим ничего не может поделать сама божественная мудрость, которая в тщете ставит заповеди для голодного! Я поражался, будучи учеником гимназии преемственно в Костроме, Симбирске и Нижнем, – отчего *во всех трех гимназиях* учителя были явно злы, недоброжелательны, ничего не извиняли, ни с чем не мирились, и точно им удовольствие составляло делать зло нам, ученикам. И приписал, – как и все мои товарищи приписывали, – что в учителя идут только *дурные люди,*

врожденно ни к чему не способные, ни к каким другим занятиям и должностям, а сюда идущие потому, что «учительство дает простор их злой натуре издеваться над незащищенными мальчиками». И так я думал все годы ученичества, пока сам, став учителем, через 3 – 4 года сделался *точь-в-точь* таким же угрюмым, печальным, на всех и все сердитым учителем в мундире… Конечно, жалованье тут не составляет *всего:* есть другие обстоятельства, о которых можно исписать книгу. Но, однако, жалованье и в провинции составляло многое, а в столицах и даже вообще в людных, *дорогих* городах – оно составляет или *все,* или *главное;* для семейных и особенно многодетных – это, безусловно, есть *все.* Меня уверял один петербургский священник-законоучитель, что он знал учителей гимназии, которые кроме черного хлеба и щей ничего не видят у себя на столе, что приходский священник в Петербурге получает *вчетверо* больше учителя гимназии и что почти столько же, сколько учитель гимназии в Петербурге, получает обыкновенный сельский священник, всегда имеющий, по крайней мере, свой домик. Нельзя не считать *вековым* позором министерства просвещения, что оно главную свою опору, главных своих деятелей, главное свое представительство в стране, реальную и единственно *нужно* работающую силу довело до этого положения каких-то бездомных собак «на привязи» у округа… Хороша была «педагогика» в этих условиях… Начиная с прессы и кончая ревизиями от учебного округа, учителей все «били», никогда никто о них не сказал – в прессе, обществе или «учреждениях» – ласкового слова, греющего слова, даже извиняющего слова. И винить ли, винить ли, что эта «забитая собака» кусала тех, «кто ближе» – учеников?

Этого позора нельзя вспомнить! И неужели можно верить, что всему этому пришла могила?! Слава Богу.

Сколько исписано об учителях, о гимназиях, – и все «втуне»… Вся обширная педагогическая литература существует не для учителя; ему *совершенно некогда читать.* «Вот подвалила еще кипочка тетрадей», – к этому сводится все, в этом состоит все. Дав пять уроков днем, учитель сейчас же после вечернего чая садится поправлять эти «тетрадочки», которых все подбавляется и подбавляется, и нет им конца. Обдумать *самому* завтрашний урок, подготовить материал к нему, сосредоточиться на том, о чем *рассказывать,* что *говорить,* – нельзя или великий есть *соблазн* все это «послать к черту», ибо голова – давно как чугун, душа – увяла, в изнеможении, ни к чему не способна, «висят мысли», «висят желания». Только учителя истории и Закона Божия, т. е. без «тетрадочек», что-нибудь читают, бывают в гостях и принимают гостей, вообще несколько *живут* и сохраняют человеческий образ; учителя «с тетрадочками» становятся могилою, безотзывчивою, глухою – во всяком случае, на 5-й год «существования», не жизни. В новый законопроект о штатах, оттого, конечно, что он разрабатывался в *департаменте* министерства, где нет «тетрадочек», – не вошла специальною частью забота об учителях «с тетрадочками», и пока есть время, до внесения законопроекта в Думу – следует эту часть законопроекта пополнить; именно для учителей: 1) русского языка (диктант и сочинения), 2) математики (задачи домашние), 3) языков древних и новых –

следует потребовать вознаграждения за поправление тетрадей в таком размере, чтобы число даваемых ими уроков могло быть уменьшено, сравнительно с другими преподавателями, и, во всяком случае, не заходило за 18 или 21 недельный урок. Тогда только они станут учителями «как нужно»... А то после 5 уроков днем и сидя вечером за тетрадями, да еще с недоплатою 21-го числа по лавочкам, мясной, зеленной и проч., в квартире сырой и только со щами за обедом, вечно без чтения, без всякого чтения, они *физически* не могут быть хорошими учителями...

Я начал со злого учителя перед глазами учеников, как «А» старой педагогики: новая педагогика только тогда настанет, когда ученики увидят перед собою *спокойного* учителя, и нередко доброго, ласкового, приветливого! Никаких других реформ так не надо: ибо из одной этой проистекут бесчисленные перемены, с этою одною реформою преобразится все. И воспитание будет лучше, и успехи лучше, гораздо лучше. Ибо *иначе будет даваться урок* не переутомленным учителем. Да он и приготовиться к нему, обдумать его назавтра – будет иметь возможность.

Но договорю о цифрах законопроекта. «Пенсия» – почти главное в положении учителей, ибо тут забота о том, «как они (дети и жена) будут жить после меня». Законопроект увеличивает их вдвое: пенсия учителя – 1800 руб. за 25 лет службы (норма службы в учебном ведомстве), а если учитель оставлен будет еще на пятилетие, т. е. прослужит 30 лет, то нормальная прибавка к штату, 300 руб., остается и в пенсии, и семья будет получать 2100 в год пенсии, т. е. столько, сколько *теперь* учительская семья никогда почти не получает и при жизни и работе живого мужа и отца! Это совершенно успокаивает учителя насчет «будущности семьи». И можно быть совершенно уверенным, что учителя, при этом совершенно изменяющемся положении их, все будут дослуживать до 30 лет: ибо это всего только 53 – 55 лет возраста, т. е. еще полная бодрость во всякой другой сфере! И нужно пожелать, чтобы учебное начальство не «гнало» учителя после 25 лет, чему в прежнее время было очень и очень много примеров. «Подал прошение в округ об оставлении еще на пятилетие»... – «Округ отказал». «Ты – кляча и нам более не нужен. Околевай на стороне». Да и действительно, интересно бы сосчитать, сколько учителей не дослуживают и до 25 лет. Нигде, кажется, здоровье так не хрупко, как в этой нервной системе и тревоге.

Оставляя все другие области управления в стороне, нельзя не принести за эту специальную часть искренней благодарности и г. Шварцу, и г. Георгиевскому. Если бы это самое дело лет 20 назад провел в жизнь отец последнего, когда-то всемогущий А. И. Георгиевский, председатель ученого комитета при Д. А. Толстом и при И. Д. Делянове и *настоящий* вводитель у нас классической системы образования! Мы тогда не увидели бы многого из того горького и позорного, что пережили и увидели в учебной области за последние 20 лет. Ибо учителя «все бьют», а он – «одного ученика», а за это «со всеми» расквитывается «свободный студент», которому, впрочем, и «погулять» только до служебной лямки. Как все это было отвратительно, зло и ложно!

УЖАСНЫЕ СТРАДАНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ПЕЧАТИ

Не будь «Нов. Времени» – не было бы студенческой забастовки... Так мы прочли и поняли в разъяренной статейке «Речи» под заглавием «С больной головы». Статья до того облита тою слюной «бешеной собаки», о которой вспоминает в известном стихотворении Пушкин, что через нее не пробивается ни один луч здравого смысла. Мешая в одну кучу Куропаткина и студенческих старост, кадетская газета уверяет, что мы виновны в поражении первого и в возбуждении вторых. Этому невозможно было бы поверить, если бы это не было напечатано черной типографской краской на отвратительной серой бумаге. «Новое Время», – пишут евреи в своем органе, – провоцировало японскую войну и дразнило Японию. Буквально такая же история теперь повторяется в университетском вопросе».

«Новое Время», оказывается, виновато в том, что профессора не оказали действия на студентов. Но так как из числа последних, как известно, есть много только отдаленно знакомых с русскою грамотою, то не правдоподобнее ли предположить, что они «недвусмысленное высказывание против забастовки» таких газеток, как «Речь», и некоторой части профессоров приняли за «сердечное попечение о забастовке», и, без сомнения, не ошиблись в этом. В древних республиках Греции был закон, наказывавший изгнанием тех граждан, которые в острые моменты политической жизни не становились ни на одну, ни на другую сторону. Прошедшие большой опыт политической и общественной жизни, греки времен Перикла и Алкивиада понимали опасность, как и безнравственность, этих подлинных провокаторов своего отечества и его будущей судьбы, которые виляли туда и сюда, финтили и стушевывались, когда надо было сказать ясное «да» или «нет». Вот некоторая доля наших трусливых прогрессистов и сыграла около бедной, заблудившейся молодежи роль таких древних провокаторов, которые своим мямленьем и «недвусмысленным», а в сущности вполне двусмысленным поведением и речами дали ей уверенность, что они будут сочувствовать учащимся, что бы те ни делали и как бы ни поступили. В такие острые моменты надо говорить полным голосом, а не вполголоса; надо говорить без условных предложений и вводных вставок, которые приводят волю к естественному колебанию. Но «прогрессивная печать» и «прогрессивные» химики и физики всегда говорили нашему студенчеству языком гораздо более дипломатическим, чем как говорило наше иностранное ведомство с иностранными державами. Она совершенно запутала мысль «горячей молодежи», как всегда ее называла, и ловила рыбу в мутной водице, ничем не рискуя. Отсутствием ясной, твердой, громко сказанной воли со стороны профессорской корпорации in pleno* и порознь, на площади и интимно, и объясняется вся теперешняя студенческая история. Ведь совершенно ясно, что «горячая мо-

* целиком *(лат.)*.

лодежь» вынимает каштаны голыми руками из горящей печки не для себя, а для кого-то другого... Профессора были обижены, соглашаемся, бестактно и без нужды; им понадобилась отместка, их мелочному самолюбию нужно удовлетворение. В этом, собственно, пошлом чувстве и «зарыта собака» той истории, в которой молодежь кипит не для себя, рискует не для себя, а все для той же казанской сироты, какую изображают собою «прогрессивные элементы» нашего общества, ученые и не очень ученые. Не находим ничего эстетичного в этой роли, какую приняли на себя юристы, филологи, физики и химики, у которых попросили, чтобы они не почерпали своих политических воззрений исключительно со столбцов маленькой «Речи», а жили хоть сколько-нибудь своим умом.

Мы не отвечаем ничего на ту часть статейки, где зайцы «Речи» испуганно говорят, что им кто-то чем-то грозит.

Ах, сироты, сироты! Так потерпели? И кровь, и обмороки, и слезы. В этой бешеной попытке приписать «Новому Времени» непослушание студентов профессорам «Речь» выражает полную растерянность труса перед последствием своих поступков. «Речь» ожидала, что или студенты не так уж горячо примут к сердцу ее ни «да» ни «нет», или что правительство отступит перед «могучими» забастовщиками. И когда не вышло ни одного, ни другого, храбрецы, по обыкновению, побежали под стол. Все это было бы гадко, если бы не было до такой степени смешно.

УСТАВ ДОНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Совет министров, рассмотрев выработанный в министерстве торговли и промышленности устав Донского политехнического института, не только одобрил его, но и выразил пожелание, чтобы главные принципы этого устава были приняты во внимание и введены в уставы других высших учебных заведений, в том числе и университетов. Это хороший педагогический урок министерству народного просвещения, которое, казалось, должно бы само давать *образцы* уставов учебных заведений другим ведомствам, а между тем ему указывают последовать образцам других ведомств, – до такой степени очевидно их преимущество.

В самом деле, не путаясь в гибельных подробностях, не связывая каждый шаг администрации и преподавания в новом учебном заведении, как это обычно свойственно делать министерству просвещения при создании всякой школки и полушколки, – новый устав широко и ясно, не колеблясь и решительно проводит несколько важных принципов в строе основываемого учебного заведения, здравомыслие и практичность которых сразу же бросаются в глаза. Главным из них мы считаем то, что хотелось бы назвать принципом «разделения труда» – старой известной в технике вещи, которая пе-

ренесена в педагогику. Наши профессора чем-чем только не занимаются, и эти побочные свои занятия они нередко больше любят, больше их культивируют, чем свою прямую и в сущности единственную должность – стоять на уровне науки своего времени и возможно талантливо, усердно и увлекательно передавать слушателям свою науку; нередко они ссылаются на эти побочные занятия, когда бьет в глаза их слабость по части лекций. Профессоров, которые бы все силы души отдавали чтению лекций, очень немного. И таких профессоров студенты неизменно и высоко чтут. Но большинство их, скучая наукой и научными интересами слушателей, чрезвычайно любят входить совершенно в другие области интимной и частной жизни студентов, где или не приносят никакой пользы, или даже приносят вред, или даже, если бы они и приносили крохотную пользу, она никак не возместит собою того, что студенты теряют на лекциях через такое отвлечение. Новый устав в науке. Только здесь обе стороны чисты. Нельзя этому удивляться, потому что самая цель, для которой они пришли сюда, пришли обе эти стороны, – есть наука, и только наука.

Студенты суть граждане, не только зрелые, но и предполагаемо образованные и «сознательные». И драпировка преувеличенно-ученического положения, или какого-то полувзрослого состояния, с них должна быть снята ради естественной и очевидной правды. Как граждане, они должны отвечать за все свои поступки, нисколько не массою и не в положении «студенчества вообще», а как отдельные лица. Для них не должно быть допускаемо никаких исключительных прав, какими не пользуются другие граждане; и университет – его аудитории и вообще помещения не должны пользоваться тою «экстерриториальностью», какою пользуется Ватикан в Риме, на что, в сущности, студенчество претендует, чрезвычайно основательно критикует филантропическую практику некоторых профессоров – конечно, не насчет мизерного собственного содержания, а по части «распределения сумм», собираемых из частных пожертвований разными «воспособительными» комитетами и обществами, существующими около университета. Вся эта роль принадлежит обществу, и всецело обществу. Поползновения сюда профессоров нельзя истолковать иначе, как желанием завязать со студентами те связи не научного характера, которые весьма скользки и двусмысленны. Можно рассчитывать на популярность, и можно вместо этого заслужить скрытое неуважение и подавленную злобу. Кажется, все эти чувства и отношения давно и решительно отравили атмосферу внутренней жизни университета.

Столь же отрицательно новый устав относится к роли мнимого или кажущегося надзора профессоров за нравственною жизнью студенчества, за бытовою стороною их жизни и т.п. О всем этом профессора не могут иметь никакого понятия, так как они не имеют никаких соприкосновений со студенчеством в реальной жизни, и даже из нескольких тысяч студенческого состава едва знают некоторых в лицо. Наконец, участие в суде над студентами, разумеется, в случае исключительных казусов, может только подорвать авторитет профессоров: в случае тяжелого и марающего казуса, каковые хоть

и редко, но случаются в бытовой жизни студенчества, профессор очень уронил бы себя в собственных глазах, не осудив строго, не выразив естественного и сильного негодования; и между тем связь по аудитории, естественные отношения наставника к ученикам делают в высшей степени затруднительным этот нелицеприятно-строгий суд. Вся эта сумма отношений распространяет какую-то фальшь решительно во все виды связи между профессорами и студентами, если они не касаются прямого интереса чисто захватным образом. Помещения университета могут быть открыты только для того, для чего они построены *правительством,* для лекций, а никак не для митингов и не для антиправительственных собраний, каковыми *реально* является каждая студенческая сходка, под какими бы предлогами и декорациями она ни собиралась. Узурпированное право сходок в стенах учебных заведений во всяком случае надо прекратить, и это есть первое условие успокоения университетской жизни и введения ее в нормальное русло. Студенты могут собираться «с участием посторонних лиц», или, в сущности, только сами *участвуя* в сходках этих «посторонних лиц», но где-нибудь вне и далеко от университета, и там имея дело с общегосударственными органами управления, отнюдь не как студенты, а как частные лица, как граждане. И в высшей степени желательно, чтобы сами эти общегосударственные органы управления прекратили совершенно отношения к «университету вообще», где занимаются только наукою, – имея отношение тоже к только разрозненным студентам, ушедшим в политику; но имея это отношение к ним как к гражданам, а отнюдь не как к студентам. Это всего лучше. Студенты и университет, конечно, настолько зрелы и разумны, чтобы совершенно понять, что государство до тех пор не может перестать и не перестанет заниматься университетом и учащеюся молодежью с некоторой специальной точки зрения, именно политической, надзорной, пока университет и учащаяся молодежь не выйдет из роли политического деятеля. Роль эта совершенно неестественна и не нужна. Нужно сбросить весь этот маскарад; тем более что страдательная часть его падает и на само студенчество, и особенно на его родителей.

Мы не можем не выразить также горячего пожелания, чтобы здравые принципы устава Донского политехнического института вошли в уставы всех высших учебных заведений.

СРЕДИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

Самою славянскою газетою оказываются у нас «Бирж. Ведомости». Нигде с такою горячностью не отнеслись к попираемым интересам славянства, как в органе г. Проппера.

Следует тотчас созвать Г. Думу. Она выслушает сообщение министра иностранных дел о положении России на Ближнем Востоке и в формуле перехода к

очередным делам покажет, что есть вопрос, в котором правительство, заодно с народом, может и должно дерзать.

Мы не зовем к войне. Мы только хотим мира. Но прочный мир покупается уважением соседей, их верою в невозможность безнаказанно нарушить мир.

Россия объединенная, Россия, на славянском вопросе забывшая партийные дрязги, Россия, дышащая одним чувством от Варшавы до Владивостока и изъявляющая одну волю от Архангельска до Тифлиса, – есть величина решающая и даже повелительная.

И вся Россия объединяется по призыву из «Бирж. Ведомостей». Каковы преемники Ивана Аксакова!

ЕЩЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ

Я не договорил о законопроекте министерства народного просвещения касательно обеспечения учителей гимназии. По предположению министерства, закон этот должен получить *обратную силу,* т. е. материальное положение всех пожилых и старых учителей теперь же немедленно станет лучше вдвое, и они не будут иметь повода с невыразимою скорбью смотреть на весь пройденный тяжелый путь жизни, крест жизни, и вместе с тем испытывать невольную зависть к молодым, начинающим своим товарищам и преемникам по службе. Нельзя не поблагодарить министерство за эту специальную оговорку, так как, по шаблону, «закон обратного действия не имеет». Но в данном случае соблюсти этот шаблон значило бы буквально отравить остаток жизни старых учителей, ибо всякая горечь удесятеряется зрелищем, что ее более не пьет совершенно такой же человек, в таких же условиях, так же трудящийся. Черное «за что» вырвано из сердца этих изнеможенных, старых людей. Они получат сразу всю ту прибавку, какая составится из трехлетий их службы, считая по 300 р. за трехлетие, а семьи по смерти их получат ту увеличенную пенсию в 1800 р., какой далеко не получали до сих пор и семьи умерших директоров гимназии.

Возвращаюсь к живым, к наличному составу служащих в министерстве просвещения.

Оно сделало бы не только большое, но вековой значительности дело, если бы рядом усилий поставило учителей гимназии в *нормальное положение.* До сих пор не только министерство, но и печать, и общество видели прогресс училищного просвещения единственно в увеличении *числа* школ. Было что-то похожее на так называемую «скорострельную стрельбу», введенную в армии с ружьями новейших систем. Раз я присутствовал на таком учении роты и был поражен командою капитана: *в минуту* должно быть выпущено столько-то пуль, хотя бы они и *не попали* в цель. Помню растерянность, недоумение и полное непонимание солдат: они щелкали механизмом, щелкали «втемную»,

как говорится. «Начальство приказывает, а нам что». Но *совершенно понятна* эта стрельба и поймут ее сами солдаты в момент атаки на них, когда действительно все пули попадут, потому что враг идет *стеною.* Однако ничего подобного, конечно, не может быть в педагогике! Здесь *очень худая* школа, пожалуй, вреднее *отсутствия школы.* Нет школы – ну, что же: земля не вспахана. Но земля *не испорчена.* Худая школа, худой учитель портят ученика: и это такое соображение, которое должно остановить министерство, да и печать, и общество, в погоне за числом учебных заведений, за густотою училищной «сети», которая представляется очень красивою в графическом изображении, но которая на деле, в работе изображает нечто вроде педагогического болота. Еще если бы училища ограничивались голой грамотностью и счетом, то метод «скорострельной стрельбы» применим к этим элементарным школам. Но как только школа усложняется, вырастает, так требование *качества* решительно выдвигается вперед перед соображениями о количестве. Сложная школа уже налагает *убеждения,* вырабатывает *миросозерцание,* формирует *характер:* и избави Боже, если все это начнет расти *криво.* Но составляет почти очевидную истину, что именно кроме школ грамоты все или почти все остальные наши училища дают *кривой рост* своим ученикам; что они не дают «убеждения», а убивают убеждения, не формируют миросозерцание, а только разрушают домашнее, бытовое, бывшее, старое; не воспитывают характер, а вырабатывают или, точнее, «оставляют после себя» каких-то неврастеников, ипохондриков, меланхоликов, пессимистов, мизантропов и Бог знает что. Они не создают трудного, трезвого человека. Не дают широкого образования. И почти всякий русский глубокий ум обязан этим чему угодно, но не училищу, не учителям, не программе и строю школы. Это так очевидно, что не приходится доказывать, ибо нет против этого спорщиков.

Число школ требует *средств;* и как только прибавлялось что-нибудь в средствах министерства, получалось какое-то новое ассигнование, – так оно сейчас же шло на *увеличение* школ, на увеличение густоты «школьной сети». Только этим и можно объяснить, что своих учителей, и главным образом учителей гимназий, министерство целые десятилетия оставляло на том уровне материальных средств, с которого давно ушли вперед и выше решительно все сотоварищи тех же учителей по университету. Почему-то филологи, историки и математики университета, т. е. именно пошедшие в университет из чистого *интереса к науке,* и к самой *строгой науке,* в недрах российского служилого класса вынуждены были тащиться в хвосте всех, позади юристов, медиков, техников, которые были в два, три, пять, в десять раз лучше поставлены, обеспечены и награждены государством и обществом, чем эти если и плохонькие, то все же жрецы чистой науки. Но ведь и наши адвокаты, и техники, и врачи – не «с неба звезды хватают». Плохи – все; и учителя по *образованию* и *умственной силе* не только не стоят ниже, но едва ли они стоят не выше этих своих счастливых сотоварищей по гимназии и университету, не пошедших на другие факультеты. Нельзя не сказать, что все это страшное неравенство, неравенство вчетверо и впятеро, лежит исключитель-

но на совести и ответственности министерства народного просвещения. Оно не умело поставить службу учителей; и оно, можно сказать, толкнуло всех, толкнуло само общество на неуважение к учителям, подав пример на этом положительно позорном деле.

Как это вышло, я объясню потом.

РАССЛАБЛЕННАЯ МЫСЛЬ

Издавна повелось, что в нашем отечестве, недостаточно благопоспешном и недовольно счастливом, emploi* взрослых людей занято юношеством, но зато старички выполняют emploi молодых людей и даже иногда совершенных отроков. От этого история наша получает некоторый невместительный вид, т. е. невместительный ни в какую разумную голову, и по части событий мы удивляем не только иностранцев, но даже и самих себя. Юноши наши, чем моложе, тем старше берут себе темы. В молодых годах, когда они недавно начали службу, они только критикуют ближайшее начальство; на старших курсах спокойно недовольны университетом, на средних курсах поддерживают забастовки и обструкцию, на первом курсе устраивают их и закрывают университет; в последних классах гимназии сжимают кулаки на все объединенное правительство, в средних классах бывают социалистами и решаются изменить весь экономический и социальный строй и, наконец, в четвертом и третьем классе гимназии потрясают небо и землю, низвергают Бога и смеются над адом, «а райских наград им не надо». Так распределены этажи русского демонизма: вершина спокойна, но зато фундамент трещит. Обратно этому, начиная с пятидесяти лет, русский обыватель, или, по-новому, гражданин, все молодеет, и к старости лет у него появляются почти молочные зубки. Резвость движений и мысли необыкновенны, и он старается в отрицаниях не отстать даже от ужасных третьеклассников! К сожалению, к литературному сожалению, сила годов берет свое, – и мы находим в разных «хрониках» и «обозрениях» довольно пожилых журналов, хотя очень свежий тон, но в этом тоне излагаются совершенно слабые и иногда даже кажущиеся слабоумными мысли. Говорим это по пословице «Amicus Plato, sed magis amica veritas»**.

Уже 43 года почиет уважение всех русских высокоинтеллигентных кругов на «Вестнике Европы», и что за нужда журналу, столь почтенного возраста, безукоризненной репутации и положительно заваленному лаврами, хлопотать и суетиться около такого маркого, грязного, ужасного события, как разграбление почтового поезда у ст. Безданы и обнаружение склада бомб, динамита и оружия в Петербурге. Хотя, кажется, это всеми было «замечено», но внутренний обозреватель «Вестника Европы» называет эти события «мало-

---

* должность, роль *(фр.)*.

** «Платон – друг, но истина – больший друг» *(лат.)*.

замеченными» и поправляет общественную рассеянность, говоря, что они «заслуживают самого серьезного внимания». Но «внимающий» читатель приходит в крайнее недоумение от последующих рассуждений, каковые мы не можем не назвать младенческими. Как известно, ограбление поезда сопровождалось таким ужасом, что некоторые пассивные его участники, связанные разбойниками-экспроприаторами, поседели от душевного потрясения. Но это не потрясает ни души, ни слога обозревателя, и он пишет с тем спокойствием, с каким сортировщики на почте сортируют пакеты, одни – в Калугу, другие – в Москву и т. д. «Не доказывают ли эти факты всю ошибочность системы, которой так долго и так упорно держится правительство? Не ясно ли, что ни к чему не ведут беспрестанно постановляемые и исполняемые смертные приговоры?» Не правда ли, как логично: вчера грабили, сегодня грабят, завтра будут грабить: то зачем же ловить воров? Не знаем, слишком ли это старческая или слишком младенческая логика. Но не прочесть здесь симптомы слабоумия мы не можем. «19-го числа была холера, 21-го числа будет холера. То для чего же 20-го числа принимать санитарные меры и заболевших отвозить в бараки?» Но не в этом силлогизме мы видим признак старческого слабоумия, а в том, если позволительно выразиться, императорском слоге, в той блаженной самоуверенности, с какими автор пишет и журнал помещает все эти тирады. «Если в самой столице, на глазах многочисленной и бдительной полиции, производятся обширные приготовления, раскрытие которых, вероятное, почти неизбежное, грозит участникам неминуемой гибелью, то можно ли сомневаться в том, что все попытки устрашения бьют мимо цели?» Итак, разбойники неустрашимы: для чего же устрашать их? В самом деле, для чего стараться? «Если до сих пор возможны экспроприации вроде безданской, – мудрствует хроникер, – то не пора ли признать, что никаким обострением репрессий нельзя обеспечить общественную безопасность?» Значит, не следовало и арестовывать бомб и динамита. Но куда же бы они в таком случае пошли? Может быть, на фейерверки для увеселения великодушных старцев?

Во всем событии, судя по аргументации «Вестн. Евр.», остаются несчастными совершители экспроприации, которые, вероятно, чрезвычайно боятся и высчитывают разницу между «вероятно, будем найдены» и «неизбежно будем найдены». Можно быть совершенно уверенным, что число преступлений чрезвычайно бы сократилось, если бы над каждым преступлением висело это «*неизбежно* будем найдены». Государство всеми силами старается обезопасить жителей страны, и усиливается, и тратится на то, чтобы довести дело до этого «неизбежно». Только в России преступление, злодеяние, и в том числе даже убийство, не представляется в своих страшных, потрясающих чертах, от которых содрогается душа, а люди даже в близости к этому седеют, – а кажутся какими-то невинно-молодыми забавами, за которые что же и наказывать, всех бы надо простить. Этот не криминалистический, а романический взгляд на вещи, где события нашего теперешнего быта рисуются чем-то вроде занимательных картин из жизни Фра-Диаволо, не обращал бы на себя внимания, если бы он не был так распространен. Но

нельзя не подумать, что этот благодушно романический взгляд влияет на гимназистов 6-го и 5-го класса, еще почитывающих Купера, Майн Рида и Густава Эмара и в то же время подумывающих о будущем всеобщем катаклизме состояний, положений, сословий, классов и царств. 17-летнему Прометею не представляются, по неопытности, чем-то жестоким раны и самая смерть. Ведь сам он ничего еще не испытал. А взрывы бомб на темной глухой станции ночью – красивее и потрясательнее любой сцены из Майн Рида. И вот русский Фра-Диаволо, наименовав себя Комурою, как называли разбойники своего молоденького начальника при ограблении поезда, бросается в романтическое приключение, от которого седеют взрослые люди. К сожалению, уже не могут более поседеть 80-летние старички, которые своим расслабленным тоном изложения и рассуждения создают в обществе тот гнилой воздух, где развиваются подобные миазмы.

КОНЕЦ ХАРАКИРИ

«В дни, когда по Петербургу говорили о готовящейся студенческой забастовке, мы сравнили ее с японским «наказанием противника», которое заключается в распарывании собственного живота и носит название «харакири». Теперь это харакири подходит к концу: занятия местами возобновились, в других местах возобновятся на днях. В Технологическом институте сходка студентов резко отклонила «пространную политическую мотивировку», каковую навязывала некоторая часть их в качестве мотива возвращения института к занятиям. В высших женских учебных заведениях везде большинство учащихся требуют открытия лекций. «Нет худа без добра», и последняя забастовка обещает принести некоторые положительные результаты.

По внутренней борьбе, которая чувствовалась во все время ее, по негодованию на нее огромных масс общества, сохранивших независимость мысли, и по негодованию всех серьезно учащихся, эту учебную забастовку можно сравнить со знаменитою *второй* «всероссийскою забастовкою» рабочих, которая осела в себе самой, не удалась, прервалась, не получила ни народного, ни собственного внутри рабочих одобрения, и по всем этим составным качествам своим явилась последнею забастовкою и концом вообще этих рабоче-социальных феерий. Все отвечает вкусу своего времени, и теперь никакими ласками, заманиваниями и угрозами не вызовешь рабочих на забастовку, – иначе как в отдельном заведении, на одиночной фабрике. Прошли времена и настали другие времена.

Рабочие рассмотрели, что они были орудием в руках отнюдь не рабочих сил и интересов, а русско-еврейской интеллигенции, которая сводила «свои счеты» с другими за счет рабочих, а когда дело не выгорело, обозвала голодавшую и помогавшую ей рабочую массу «фефелой» и сравнила ее с хвастунишкой Поприщиным. Все это в распространенном социал-демократи-

ческом листке прошипел злобно Михаил Энгельгардт в виде «отходной» освободительному движению. Русский трезвый народ, конечно, промолчал, но хвастунишкою Поприщиным он верно определил самую эту интеллигенцию, всех этих Михаилов Энгельгардтов, которые, нарядившись по масляничному в косоворотки, армяки и блузы, вообразили себя если уж не испанскими королями, то, по крайней мере, Бебелями, Марксами и Энгельсами. Поприщина тут было, конечно, много, и не вина медиков и сторожей, что на сумасшедшего пришлось надевать вместо короны испанского короля или фуражки Бебеля смирительную рубашку. Очень сходное впечатление с этим впечатлением рабочих не может не пережить сейчас большая часть студенчества, – и особенно те многие и многие из учащихся обоего пола, которые, чуждаясь сходок и видя, что занятия прекращены на неопределенно долгое время, собрали книжки и поехали домой, под родительский кров, на родительские хлеба, в далекую провинцию. Ведь из них множество есть ужасной бедноты, ей стоило чрезмерного напряжения собраться и приехать в Петербург; собирались последние рубли на сына, на дочь. Приехали, поучились две недели, – и, как единогласно говорят, стали учиться горячо. Всем понятно, что значит *начать* учиться: ведь ум вовлекается в интерес науки, ум уже возбужден, насторожен. Всего этого не понимают политические фефелы, которые только шляндают по коридорам университета, а не слушают лекций, наукою не занимаются. Вдруг все остановилось, замерло; книга была выбита из рук учащегося и он властно послан домой. А так как сидеть дома можно и в провинции, и там это гораздо дешевле, то именно беднейшая часть направилась туда. По-видимому, ожидалось, что правительство обнаружит панику, министр просвещения «для успокоения молодежи» или подаст в отставку, или на все согласится и вообще растеряется и начнет упрашивать «господ учащихся» милостиво приступить к занятиям, торгуясь на том и на другом. Но, увы, расчеты не оказались дальновидными: в правящих кругах давно понято, что всякая забастовка бьет себя самое, все забастовщики мудры не более японцев, заткнувших кинжал себе в кишки, и что лучшая мера против «пассивного сопротивления» есть не давать ему переходить в буйство, при этом условии забастовка сама себя съедает, сама себя ремизит и не может продолжаться долго. Она вся рассчитывает на психологический эффект, и когда эффекта не получается, то краснеет как дурак и садится на место. Все это уже испытано, и ход всякой забастовки теперь ясен наперед, т. е. ясно, что она есть неудобство для тех, против кого направлена, вред тому, кем направляется, и разрешается в мыльный пузырь с яркими картинками в его тоненьких стекловидных стенках. Так лопнул очень скоро и пузырь «всероссийской студенческой забастовки», не испугав даже столоначальника и только вынув много рублей из карманов беднейшей части студенчества. Теперь они вернутся и по русской скромности ничего не скажут: но и без слов можно догадаться о том, какая сила презрения станет стеною в учебных заведениях против всякой попытки когда-нибудь пошевельнуться в этом направлении. «Опять игра *впустую* и опять *за наш счет*»...

Есть революционный эгоизм – тот эгоизм, который не считается с чужим интересом, с постороннею нуждою, который гонит студента из аудитории и выгоняет рабочего на забастовку. Этому революционному эгоизму много удалось, и удалось собственно по деликатности русской мягкой натуры. Но это такие, можно сказать, кровавые удачи, которые не могут не сложиться в слезную неудачу: заставляя отступать и отступать перед собою русскую деликатность, грубо наступая ей на горло, этот красный эгоизм ожесточает людей и, как единственный способ самозащиты, посевает семена ответного эгоизма же. Нам нравится русское студенчество в его великодушных и незлобливых чертах, но мы думаем, что революционный нахрап в университетах будет иметь результатом исчезновение этих качеств нашего студента и придаст ему черты стойкого, сухого и деловитого западноевропейского студента. Там с подобною «забастовкою» справилось бы само студенчество, и справилось бы лучше нашей «автономии», и наших профессоров, которые, увы, и в автономии не получили вольного духа, т. е. независимой и смелой души, а остались робкими статскими и действительными статскими советниками, которые ищут себе начальства внизу, когда почему-нибудь исчезло начальство вверху. С наибольшим ущербом, если не с физическим, то нравственным, выйдут из «всероссийской студенческой забастовки» именно они. Но они, кажется, туги на ухо и подслеповаты зрением и не научаются там, где научился бы всякий.

К ОТКРЫТИЮ 2-Й СЕССИИ Г. ДУМЫ

Газеты наперерыв одна перед другою ловят сообщения и слухи, так или иначе заставляющие ожидать острых инцидентов в Г. Думе, партийных столкновений, щекотливых запросов министрам или, лучше сказать, допросов министров и т. п. «Почему «Московские Ведомости» переданы министерству внутренних дел, и кем арендуется типография Московского университета», и т. п. Нельзя не заметить, что эти запросы снизу совершенно походят на знаменитые законопроекты сверху о прачечной и оранжерее, внесенные в первую Г. Думу. И как смеялись тогда, и это было унизительно для администрации, так не могут не рассмеяться многие и теперь, и таковой запрос унизителен для достоинства *народного* представительства в стране. Но с исходом печальнее, ибо престиж министерства Горемыкина затрагивал только личность Ивана Логиновича Горемыкина, а престиж Г. Думы показывает разум всей страны. С этим нужно считаться и около этой величины надо бережно ходить.

В особенности счеты об аренде университетской типографии будут позорны теперь, когда достоинство всего русского государства поставлено в столь критическое положение махинациями Австрии и все славянство взволновано до самого дна своего. Отдельные кружки и лица, мучащиеся судьбой

московской типографии, – что мы, впрочем, считаем только одним из множества показателей нашей политической мелочности, – не замечая сами того, толкают Россию на путь разлагавшейся Польши, которая и погибла в мелочах и от мелочей, опустив все главное. Наши внутренние счеты либералов, радикалов и консерваторов отражают только презренную муть в русских головах, отражают презренную мелочность души русского обывателя, которая никак не может подняться над «ссорою Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» и над тем невыносимым обстоятельством, что кто-то кого-то обозвал «гусаком». Недалеко от этой истории, рассказанной Гоголем, отстоит большинство «сенсационных известий», приносимых нашею якобы политическою печатью, а тяжба об избиении г. Милюкова и разбор избиения этого у мирового судьи и совсем просится под перо Гоголя. Сюжет не американский, а уж очень русский.

Достоинство России, честь России, благосостояние России, упорядочение бесчисленных непорядков, которыми не кипит она, а кишит она, – вот задача *народного* разума, отраженного в народном представительстве. Довольно делиться, пора соединяться, надо оставить внутренние счеты, когда Hannibal ante portam*. Государственная Дума должна со всею полнотой понять, что враги России ничто так не учитывают в свою пользу, как то, что и в минуту опасности русские не сумеют соединиться в дружную силу, дружный отпор; что наше мелочное общество не оставит своих «интеллигентных» препирательств и пред внешнею грозою, как оно позорно препиралось внутри своих кружков в год японской войны. Настала Дума, пришел этот *народный разум;* и иностранцы с злорадством увидели, что и она не дала того *единства* знамени стране, около которого могли бы соединиться все русские люди, как на общем и бесспорном. Этот думский разлад бесспорно учитывается иностранною дипломатиею как прибавка к *ее* силе. Беззаконный захват Боснии и Герцеговины есть в гораздо большей степени насмешка над русским *народным* представительством, чем оскорбление русского министерства иностранных дел, ибо он и совершен был только в расчете, что русскому министру иностранных дел нельзя опереться ни на какое национальное чувство, «совершенно у русских отсутствующее». Нечего сказать, постарались наши космополиты, с пером в руке и с плюмажем на шляпе, аттестовать себя. «Самоопределились», – как говаривалось года два назад.

Грозные часы пришли, и Россия стоит перед великими крахами, если не выздоровеет ее голова, ее образованный класс. Этот класс усвоил себе иностранное имя «интеллигенции». Она напоминает русского портного «из Лондона и Парижа», шившего платье на мертвые души. России нужна не «интеллигенция» с ее почти классовыми интересами, почти профессиональною узостью, а нужен слой русских образованных людей, которые не напрасно носили бы и имя «образованных», не напрасно носили бы и имя «русских». Вот что нужно стране, без чего не может существовать государство,

---

* Ганнибал у ворот *(лат.)*.

что составило бы честь общества. Огромный недостаток Союза русского народа, сводящий к бессильной шумихе его деятельность, заключается в том, что на чашу весов его не положена наука, не положена образованность, а в XIX и XX веке без них шагу ступить нельзя; а кадеты свалились в ничтожество от того, что они классовым способом представительствовали классовые симпатии интеллигенции, и до такой степени были мало русскими, что с думской кафедры один из них, конечно «профессор», предложил исключить имя «Россия» из официального и, по крайней мере, из думского языка. При таких и подобных мудрецах, якобы «представительствующих» русский народ, соседи России не могли не набраться мужества. К счастью, эта муть и этот позор прошли или проходят. Уже сейчас Россия не та, что была при второй Думе, и она не только иначе представлена в Думе, но за два года мучительных, горьких испытаний она и вне Таврического дворца стала совсем другою. До некоторой степени стали умнеть даже кадеты, которые в первой Думе казались поевшими куриной слепоты. Они и с внешнего вида подались назад, а про себя, вероятно, таят очень горькие и совершенно трезвые мысли.

Движение к единству, сплочению всех русских, движение к государственности – вот пожелание, с которым встретит русское общество вторую сессию 3-й Думы. Россия несет на плечах воспоминание пережитых испытаний, но она не клонит головы перед могущими настать новыми испытаниями, и вообще никуда не бежит и не собирается бежать. Те, кто напирает на славянство, на чашу славянских весов должны положить русскую гордость. Она есть и она не спрячется от них как мышь, – на это нечего рассчитывать. В России есть неистощимое терпение, и об это терпение разбивалось в прошлом много раз даже соединенное европейское могущество. Австрия может очень ошибиться, рассчитывая на пассивное отношение русских к событиям на Ближнем Востоке. Россия может ответить ей чем-то более существенным, чем «огорчение» ее дипломатов: и если Турция не отдала Болгарии в 1877 г. без борьбы, хотя и была уже истомлена восстаниями и неурядицей, то воображать, что славянский и русский мир безмолвно преклонится перед волею венского барона, – значит похоронить в своей мысли среди мертвецов и Россию, и славянство. Но мертвые встают иногда, и тогда живые очень пугаются. Это может быть принято во внимание Веною.

Г. Дума очень внимательно выслушивает г. Извольского, и тем лучше, даже для чести русского министра иностранных дел, если он будет выслушан очень строго. Массы дают вдохновение одному, а наше министерство иностранных дел в самом деле живет давно без вдохновений, и это не к чести русского общества. Поднимется оно – и будет вправе заговорить иначе и г. Извольский перед лицом западных держав.

РЕАЛЬНЫЕ СИЛЫ И ИДЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПОЛИТИКЕ

В политике, как и во всем человеческом, силы разлагаются на два порядка – реальные, которые сейчас действуют, и идеальные, которые есть в наличности, но действие которых временно связано и может обнаружиться только потом, однако обнаружится непременно. Время безмолвия народов прошло. Поговорка, записанная в исторические учебники «Bella gerant alii, tu felix Austria nube» («Пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, заключай браки», т. е. приобретай в подданство страны и народы через удачный выход замуж принцесс и через женитьбы принцев), – есть остаток давно прошедшего, вызывающий недоумение и улыбку даже учеников. С тех пор как сложилась европейская печать, она объединила народное мнение, и мнение это выросло в огромную активную силу, которая неодолимо давит, между прочим, и на весы дипломатии и вообще международных отношений. Ныне уже нельзя зачислять и перечислять в подданство многомиллионные народы как приданое за принцессами: крепостное состояние народов кончилось, и оно кончилось как-то само собою оттого, что народы выросли и созрели, оттого, что они сознали свое достоинство. Новая эта сила не закреплена никакими актами. Она просто *есть,* и есть как громадная наличность, полная возможностей и залогов, полная невыраженных сил, которые покоятся или связаны до времени. И если время, когда политические успехи зависели от бракосочетаний, давно минуло, то мы живем в эпоху, когда предвидится и предчувствуется значительное сокращение той исключительной роли, какую в XIX веке играли ратифицированные трактаты в положении и судьбе народов.

В движении к этой бессознательной цели исторического процесса должна сыграть большую роль аннексия Боснии и Герцеговины. «Признайте совершившийся факт», – сказала Австрия, обеспеченная союзами, всем тем многочисленным сторонам, для которых эта аннексия была оскорблением. Форма аннексии, без переговоров, без соглашений с заинтересованными сторонами, а только полагаясь на оружие и союзы, содержит в себе ту долю дипломатического нигилизма, которая удивила свет. Но нигилизм всегда есть обоюдоострое оружие, и чем шире с помощью его можно захватить, тем затруднительнее крепко удержать в руках своих захваченное при опоре на эти принципы, или, вернее, на эту беспринципность.

Кто первый решился на шаг в сторону этого нигилизма, тот как бы разбавил водою чернила всех современных и будущих трактатов дипломатического международного содержания. В тревоге, которая поднялась по поводу аннексии, сказалось не только сочувствие к «аннектированным» народам, но в ней отразилось и то глубокое недоумение и растерянность, которую все почувствовали перед этим нигилизмом. Юридическое, договорное начало международных отношений значительно истончилось. Именно чернила трактатов поблекли. Реальные силы и реальные международные связи

говорят мощно, но их сила укоротилась во времени: как только перестроится отношение этих сил, так оно и проявит себя в действии, не сдерживаемое ослабевшими связями договорных отношений. Австрия надорвала Берлинский трактат и не может быть в претензии, когда кто-нибудь другой и в другое время продолжит далее эту надорванность уже в своих интересах.

«Политика не делается более между двумя министрами» – этот афоризм новой истории очень значащ даже и в том случае, если мы прочтем его в смягченном изложении: «Политика не делается *только одними* министрами». Слова г. Цемовича об «обеспечении мира в Европе и ожидании лучшего будущего для славян» в зависимости от твердо определившегося и горячо высказанного сочувствия к боснякам и герцеговинцам всей России – содержат именно уверенность в том, что «политику не делают *одни только* министры». Однако *которую* политику? Политику сегодняшнего дня делают, конечно, министры, и делают ее тем пером, которое у них в руках. Но политику *лет* и *десятилетий,* а следовательно, в конце концов и судьбу народов делает не дипломатия, а реальное нравственное отношение народов, реальная их связанность или их разъединенность, которая в залоге у себя держит и войны, и союзы.

«Против рожна не попрешь», – говорит русская поговорка, и бывает такое фатальное сложение обстоятельств, в которых всякая сила определенных и ограниченных размеров не может свободно повернуться и совершить, что ей хочется, хотя бы совершить даже нравственный долг. Апостол Петр, запертый в темницу, не мог переступить через ее порог ни раздвинуть ее стены. Политическое сложение обстоятельств держит иногда народы так же крепко, как и тюрьма. Но если живой человек не всегда может пережить свою тюрьму, то энергичный и даровитый народ долговечнее всякой тюрьмы и силен пережить ее. Босняки и герцеговинцы не слепы, чтобы не понимать положение России, как не слепы и к тому, что они сделались предметом аннексии оттого, что у них нет в Европе родных душ и родной крови, кроме сдавленной тем же соседом, который их аннексировал. Но залоги остаются: и нравственная связь России с Боснией и с Герцеговиной, не угасавшая с 1877 года, сказалась таким не переменным фактом, который переждет теперешнее соотношение политических сил в Европе.

О ПОМОЩИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИМ ШКОЛАМ

Простой и очевидный вопрос о том, нужно ли прийти на помощь учителю народной школы, получающему около 180 руб. в год, т. е. около 15 руб. в месяц, вызвал в Гос. Думе сложные и многообразные прения. Ораторы упустили из виду, что речи их будут читаться всеми этими народными учителями, десятками тысяч их, и что они вызовут в них далеко не отрадные

мысли не только о себе, но и вообще о Г. Думе и ее радении о главном труженике около народа, сельском учителе. Да, жизнь и труд этого учителя далеко не то, что жизнь и труд счастливых депутатов Думы, из которых есть некоторые, хоть и немногие, не более образованные, чем эти сельские учителя. Одни ораторствуют, а то так и сидят молча, в качестве «вольнослушателей», в дворце, другие живут и учат в курной избе. Одни – в Петербурге, другие – в занесенной снегом деревне, откуда иногда трудно и выбраться за болотами и непроезжими дорогами. Да и куда тут выбраться учителю, не имеющему ни лошади, ни саней, печальному одиночке и сироте на целую жизнь. Самый мелкий акцизный агент и самый низший полицейский чин все же обеспечены и оплачены лучше, чем он, со своим все-таки идеальным трудом и идеальным призванием. Но ораторы, из которых каждый получает в сутки почти столько, сколько он в месяц, прошли черство и глухо мимо нужды народного учителя, по разным принципиальным соображениям, которые можно назвать болтовнею на принципиальные темы.

Говорилось об «одной народной школе», забывая о неизмеримом пространстве России и о страшной разнице, так сказать, культурных горизонтов или культурных слоев в ней. Разница эта так велика, что всякая «единая» школа оказалась бы ненужною в одном месте, невозможною в других местах, вредною в третьих местах и применимою и удобною только в некоторых местах. Какая «единая школа» может быть для первобытного бурята около оз. Байкала и для «сознательного» латыша, для крестьянина Московской губернии и для казака Кубанской области, для олонецкого старообрядца и для полтавского малоросса? Ничего общего нет в ученике, нет в психике и в быте его родителей: как же может быть общею и единою школа? И что можно высказать в защиту ее, кроме арифметически-отвлеченного тезиса, что «единое – это *простое* и, следовательно, *лучшее*». Никакого «следовательно» тут нет. Жизнь – не арифметика, а органическое явление; а все органические явления сложны.

Церковно-приходские школы и школы грамоты, может быть, и созданные лет двадцать назад К. П. Победоносцевым не без задних политических намерений, давно, еще при жизни самого Победоносцева, освободились от этой тенденции, освободились силою состава учителей своих, нимало не разделявших тенденций своего основателя. Это обычное русское явление, что основывается с одними намерениями, а осуществляется совершенно в другом духе. Церковно-приходская школа есть просто народная школа, сельская школа, – с церковною окраскою в гораздо меньшей степени, чем как это есть в церковных приходских школах Англии и Германии, не говоря уже о католических странах.

Наше белое духовенство, наше сельское духовенство, как и дух наших семинарий, – весьма мало клерикальны. Это так общеизвестно, что нечего стараться доказывать. И семинарии, и сельское духовенство чрезвычайно *народны,* – и монашескому слою, как он ни старается об этом, никак не удается сообщить семинариям и белому духовенству дух замкнутого и эгоисти-

ческого класса, дух специфически-церковный, дух клерикальный. Около этого всегда шла и теперь особенно жестоко ведется борьба черным духовенством, но она безнадежна. Мужик, земледелец, деревня, поле, рожь всегда останутся более родными, более «своими» явлениями и фактами для «сельского попа», нежели веяния Афона, традиции Византии, нежели «Кормчая книга», «Устав духовных консисторий» и пышная архиерейская служба. Так он помолится и усердно помолится; полюбуется. Но это только эстетика. Дело и с ним сердце «сельского попа» все же лежит и будет лежать к деревне, к ржаному полю, к хатам мужиков, с которыми он прожил век.

Эти-то нимало не конфессиональные, нимало не клерикальные школы рассеяны теперь во всей великой Руси, и в них обучается не один миллион деревенских мальчиков и девочек. Обучается великими тружениками учителями и учительницами. Им непременно нужно прийти на помощь, так как их положение тяжелое, грустное; положение полуголодное, полухолодное и униженное. Это – праведный труд, которому стыдно и жестоко не прийти на помощь. И мы всеми силами души протестуем против тех ораторов Г. Думы, которые, имея совершенно поверхностное представление о школьном вопросе на Руси, отвергли черство помощь церковно-приходским школам по мотивам шаблонным и трафаретным, где кроме пустозвонства ничего не было.

О РАЗНЫХ ВЕДОМСТВАХ, ЗАВЕДУЮЩИХ НАРОДНОЮ ШКОЛОЙ

Различие ведомств, которым подчинена народная школа, только пополняет многообразие народных нужд и ничему решительно не вредит. Не вредит сколько-нибудь осязательным и доказуемым образом. Левые депутаты Думы гг. Белоусов и Ефремов, высказавшись резко против церковного духа в школе, обзывая этот дух «черносотенным», – показали только безнародность тех партий, от имени которых они говорили. Коротенькая их логика сводится к татарско-деспотическому силогизму: «Мы не молимся, значит, не должен молиться и народ». Известный параграф Вестфальского мирного договора, закончившего 30-летнюю войну, гласил: «Cujus regio, ejus religio», т. е. народ исповедует религию своего государя. Наши эсдеки и эсеры мнят себя победителями и чуть что не «государями» России после 30-летнего беганья по подпольям и конспиративным квартирам и воображают, что русский народ обязан исповедовать их безверие. Только с таким образом мыслей депутат Белоусов мог дерзнуть сказать, что освободительное движение, законченное в городах и еще не закончившееся в деревне, «выкинет церковно-приходскую школу, как негодную ветошь, т. е., – не договорил он, – мы, эсдеки, продиктуем русскому народу выкинуть церковь и духовенство из школы, а уж он выкинет». Но этот счет составлен без хозяина. Напрасно воображают социал-демократы, что они опять когда-нибудь потащат народ

на веревке, как тащит жрец безгласного барана, и что им удастся то, что удавалось в 1905–1906 году. Народ сделался «сознательным», увы, не в пользу социал-демократии, и вторично опоить его дурманом слов и несбыточных обещаний не удастся господам в косоворотках и блузах.

Церковно-приходская школа достаточно удовлетворяет народному духу, и удовлетворяет потому, что весь народ и за всю свою историю почти исключительно черпал впечатления и поучения из церкви. Вот отчего введение церковно-приходских школ не встретило никакого противодействия в народе, никакого неудовольствия. И чрезвычайно образованные люди, как знаменитый московский врач проф. Захарьин, жертвовали на этот тип школ сотни тысяч рублей. Они жертвовали потому, что церковно-приходская школа наряду с первоначальным умственным развитием давала или, по крайней мере, поддерживала и основные нравственные представления и навыки. Вот почему национальная фракция в Думе совершенно натурально высказалась за законопроект о вспомоществовании церковно-приходским школам, – и доводы представителя этой фракции, г. Тычинина, можно было бы развить гораздо более, чем это он сделал.

Но народу нужен и хлеб, заработок; нужно знакомство с интенсивными формами труда, по крайней мере с начатками земледелия и почвоведения, с ремеслами; нужно хоть элементарное знакомство с гигиеною и тем, что можно назвать «домоводством». По части всего этого народ наш первобытно несведущ. К сожалению, существующая церковно-приходская школа не преследует этих утилитарных целей. И пока она есть такова, какова есть, выдвигается необходимость, чтобы наряду с нею работала и земская школа, которой почему бы не получить характер элементарной сельскохозяйственной школы, и министерская школа. Три эти типа школ могут существовать бок о бок друг с другом, без малейшего антагонизма, завидования и соперничества. Министерство народного просвещения потеряет все поводы пятиться и отступать перед требовательностью и придирчивостью духовного ведомства в деле народного обучения, как только оно не по форме одной, а внутренно станет более религиозным, без преувеличений и без ханжества, но в меру здорового русского чувства. Вполне естественно и ничуть не «мракобесно» министерству просвещения в православной стране быть православным не по личине, а по духу. Вот этого-то, к сожалению, целые десятилетия у нас не было, – и не будет большим преувеличением, если мы скажем, что, в то время как Россия исповедует православие, ее министерство просвещения тайком исповедовало протестантизм, по крайней мере в той мере, как его исповедовал или был к нему склонен знаменитый Феофан Прокопович. И вот, чтобы замаскировать этот изъян в своих просвещенных и полупросвещенных чиновниках и сановниках, оно надевало личину некоторого ханжества и торопливо и услужливо или, вернее, робко и трусливо сторонилось перед требованиями и придирками, часто нелепыми и злыми, духовных начальников духовной школы. Старая и замаскированная вражда министерства просвещения к церковно-приходским школам коренится на памятова-

нии множества мелких обид и уколов, какие в школьном деле оно получило от духовного ведомства, и порознь всякий раз отступало.

Сумма таких отступлений сложилась в некоторую историческую горечь. Но истина состоит в том, что отступать и уступать вовсе ни в чем не требовалось, и министерство не уступало бы, будь оно совершенно и абсолютно твердо, как говорится, «в законе Божием». «Наша министерская школа есть тоже православная, и духовное ведомство обязано *ее почтить,* а не теснить ее и не клеветать на нее, как и мы *почитаем* школы духовного ведомства». Вот простой и мужественный ответ, на который не хватало духа в министерстве просвещения и потому не хватало, что он не был бы вполне искренен ни в эпоху гр. Д. А. Толстого, ни при гр. Д. И. Делянове, ни при бар. Николаи, ни при последующих министрах часто даже либерального общеевропейского духа, но не русского духа.

ОБ ОСОБОМ ЗНАЧЕНИИ ДУМСКОЙ КАФЕДРЫ

Переработка общественного мнения в положительную, трезвую и творческую сторону составляет одну из главных задач существования Г. Думы, почти столь же важную, как определенные законодательные решения ее. Трибуна Думы есть в то же время кафедра, с которой выслушиваются взгляды, которые при качествах оратора могут быть очень поучительны для страны, для провинции, для всей России. Нельзя забыть того, что до открытия Г. Думы Россия целые десятилетия вольно или невольно выслушивала поучения исключительно либерального и радикального штампа, и не было средств заставить читать речи в сколько-нибудь национальной, государственной, в русской окраске. Все подобное сплошь умирало, едва родившись, под напором оклеветания или, еще лучше и действительнее, замалчивания. Какого бы ума, дарований и образования ни поднимался русский голос, стоустая молва шептала кругом: «Он подкуплен правительством». Не допускалось мысли, чтобы можно было служить России, любить Россию, уважать Россию искренно и от себя. Только что не договаривали, что «русское правительство само себе дает взятки» и само от себя «получает субсидии». Русское правительство рассматривалось с гораздо большей ненавистью, с гораздо большим отрицанием, чем как славяне смотрят на турецкое иго и даже чем теперь босняки и герцеговинцы на аннексировавшую их Австрию. Преувеличенный страх заправил «Отечественных Записок», «Дела», «Русского Богатства» едва ли не вытекал из невыразимой их трусливости, при которой везде им представлялись страхи и доносы; представлялось, что Лесков, Клюшников, Катков, даже мирные Данилевский и Страхов только и делают, что доносят на Омулевского, Чернышевского, Благосветлова, Михайловского и подобных рыцарей русского прогресса. Сии страдальцы, наполняя воплями и мольбами печать, заставляли слушать только себя.

Оздоровление от смуты, воскрешение русского чувства и русской мысли, конечно, есть задача еще долгого будущего, и оно пойдет многими путями. Но едва ли не самый широкий путь для этого – кафедра Г. Думы. Этой кафедры невозможно ни замолчать, ни оклеветать: она свободна, а речи, в том числе и русскою окраскою окрашенные, вынуждены не только выслушивать, но и перепечатывать у себя, хоть даже и с сокращениями, левые листки и космополитические либералы.

Между тем такие речи, как депутата Анрепа по народному образованию весною или депутата Шидловского по закону 9 ноября недавно, не суть только речи по предмету, поставленному на думской повестке, но и имеют широкое политическое и даже образовательное значение для страны. От ума и таланта партий зависит поднять силу слова до значительной высоты; и зависит это также от естественного возбуждения, какое получается от возражений, какое получается от преувеличений, и даже ошибок противной стороны. Нельзя не отметить, что смешное, глупое и бездарное играет свою роль на думской кафедре. Упоение эсерством остывает в обществе со всякой кляксой, какую кладут на свою партию думские левые мудрецы. То, что в печати прошло бы незамеченным и, так сказать, потонуло бы в своем убожестве, в Думе не тонет сразу, но тонет после того, как обратило на себя всеобщее внимание.

С точки зрения гражданского и политического воспитания страны и именно воспитания ее в русском духе теперешний состав Думы очень благоприятен, и было бы ошибочно не воспользоваться им. Радикальные партии, преследуя свои внедумские цели, издавали и издают речи депутатов 1-й и 2-й Думы, между прочим, в особом сборнике, наподобие ежемесячного журнала, под странным заглавием, напоминающим чужой флаг, – «Ясная Поляна». Они смотрят на них как на книгу, как на орудие распространения своих взглядов. В технике всяческой пропаганды партии сделают большую техническую ошибку, если в пятилетие своего преобладания в Думе не приложат всех усилий, чтобы уравновесить политическое направление страны в свою пользу, в пользу умеренных течений. Почти еще не испытав парламентской жизни, мы уже смотрим на нее с обычным у русских если не невежественным, то молодым презрением, воображая, что парламентская речь – это только болтовня. Такое определение можно приложить и ко всякому человеческому слову, но оно будет, конечно, неверно. Парламентская речь, в удачных случаях, есть хорошо подготовленная речь; и уже поэтому среди речей человеческих она естественно ставится довольно высоко. Если до настоящего времени думские речи не выходили за пределы обыкновенного, то это не мешает думской кафедре сохранять в себе большие возможности для будущего.

Вот отчего мы не находим рассудительным настойчивое желание П. Н. Крупенского и А. И. Гучкова «не стесняться» в мерах для «сокращения прений о желательном направлении законопроектов» с выставленным под ними законным числом подписей. Это «нестеснение», как заявил деп. Крупенский, выразится в том, что будут неопределенно «откладываться» законопроекты,

по которым эта часть прений угрожает затянуться, т. е., как само собою понятно, законопроектов особенно принципиальных или несколько жгучих. Все это – ввиду интенсивности законодательной работы Думы. Но законодательная работа Думы протекает вся в комиссиях и в вечерних заседаниях их и нисколько не мешает и в свою очередь не задерживается в дневных прениях в думском зале. Функции их разделены и имеют особое назначение. Думские прения, особенно при умном руководстве партий, суть источник политического просвещения страны, которого никак нельзя гасить и заглушать, особенно «не стесняясь». Интерес всей России требует, чтобы здесь была проявлена некоторая «стесненность». И заявления гг. Гучкова и Крупенского тем особенно неприятны, что именно по законопроектам, предположенным ими к «откладыванию», прения, т. е. рассуждения и доказательства, могут получить особый интерес, поучительность и, так сказать, просветительность. Другое дело, если правые или умеренные партии не чувствуют себя для этого достаточно сильными; но тогда об этом г. Крупенскому и следовало бы заявить с его обычною откровенностью. Мы, впрочем, этого и не думаем и склонны смотреть на заявления гг. Крупенского и Гучкова скорее как на неосторожность, которой нет нужды продолжаться и быть настойчивою.

ПОЛЯКИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РУССКИМИ

Сведение политики с воздушных эмпиреев на землю есть почти главная задача и главная часть нашего государственного и общественного оздоровления. Воздух не имеет пределов, не ставит препятствий, и в нем воздушные замки самой прихотливой архитектуры воздвигаются легко даже гимназистом. С гимназическими пожеланиями вступила в Г. Думу часть общества и его представителей в 1906 и 1907 году. «Поделить всю землю и осчастливить крестьян подарком» – это было совершенно во вкусе Манилова. С такими проектами носились профессора и адвокаты 1-й и 2-й Думы, дразня и маня инстинкты народные, инстинкты жадные и ленивые. «Мы вам все дадим», – говорилось сверху; «мы все возьмем», – ожидалось снизу. Ленивые, рассчитывавшие на подарок, соединились с людьми, жившими на казенное жалованье и на доход с денежного капитала, – и этот трогательно-бессовестный союз образовал главный фон той действительности, на котором работали или, лучше сказать, не работали две первые Думы. Россия, конечно, через 2–3 года превратилась бы в дымящиеся и грохочущие развалины, если бы дать свободу действия этой помеси Манилова и Стеньки Разина.

Но вовремя одумались. Теперь только ясно для нас, до какой степени необходим был роспуск 1-й и 2-й Думы и закон 3 июня. Нужно было призвать к делу реальных деятелей. Дав наговориться говорунам, надо было

приняться за дело с людьми не грезящими, а живущими реальными побуждениями. Текущий момент – это рассеяние иллюзий, рассеяние фантастики в политике и переход к осуществлению осуществимого.

Это и в большом и в малом, в пределах русской народности и в точках соприкосновения ее с другими населяющими Россию народностями.

Наиболее культурная из этих народностей, польская, сделала первый и важный шаг. В земельном вопросе поляки-кадеты отделились от пресловутой программы «обобрать и подарить». В этом духе говорил проф. Петражицкий. В третьей Думе поляки сделали более решительный шаг: польское коло in pleno решило голосовать за закон 9 ноября и, таким образом, твердо стало на сторону государственной русской политики в земельном вопросе. Это первое серьезное заявление поляков о своей готовности работать рука об руку с русским правительством в вопросах общегосударственного, социального значения.

Соглашение с поляками партии 17 октября, о котором сделал сообщение А. И. Гучков на собрании представителей этой партии, столь же важно последствиями. Полякам не обещано содействия руководящей партии ни в чем, в чем содействие противоречило бы русской совести и не могло быть искренним. Кадеты в свое время обещали полякам не свое добро, – именно *автономию*. Кадеты, которые не были национальною партиею, а «гражданами мира», как определял еще Карамзин существо космополита, очень легко отторгали от государственного тела России польскую окраину, так как тела русского они не шили, не кроили и не хранили. И здесь, как в земельном вопросе, они дарили чужое добро. И здесь, как в земельном вопросе, им кланялись и их благодарили надеявшиеся получить. Но в обеих областях надевшиеся получить сохраняли внутреннюю затаенную насмешку к дарящим: мужички не были растроганы щедростью Набоковых, Герценштейнов и Винаверов, а польское коло во второй Думе голосовало против всех кадетских предложений. Никто не хотел целовать Манилова, хотя Манилов всех хотел целовать. Манилов, со своими подарками, решительно для всех был отвратителен. Все внутренно понимали, что он «обещает» чужое добро, дарит из чужого кармана; все понимали, что в душе это скряга, который из настоящего собственного богатства не даст никому ни копейки.

Поэтому для поляков едва ли составляло особенную скорбь расстаться с этой обещаемой «автономией»; не с автономией самой по себе, а с автономией, обещанной кадетами. И можно думать, что хорошо гарантированное хорошее самоуправление гораздо более манит их, чем иллюзорные и неосуществимые богатства. В этом направлении и могут, и должны развиваться и крепнуть русско-польские отношения. Многого можно ожидать и от пробуждения в поляках общеславянских чувств, общеславянской заинтересованности. Когда в поляках славянское сердце пересилит европейские и особенно католические прививки, когда поляки освободятся от многих предрассудков своей мало счастливой истории, тогда сожительство русских и поляков может стать вполне нормальным и даже счастливым. Русским нет

никакой нужды угнетать поляков как *народность;* как *народность,* поляки во всяком случае не менее дороги русским, как чехи и сербы. Былые угнетения все были направлены исключительно против политических тенденций. Угаснет в поляках политиканство, угаснут центробежные, отделительные тенденции, – и русский народ с крепкою любовью посмотрит и на польский быт, и на польские нравы, и на польский язык и литературу, и на их большую способность к науке. Сердцевина польского вопроса лежит не в России, а в Польше, в ее собственном отношении к России, к русскому народу, ко всякому русскому человеку. Как только из России увидят, что все это стало мило поляку, так пора враждебных или недоверчивых отношений русского правительства к польскому краю, которое выражало только отношение русского населения к польскому населению, минет безвозвратно, дав место доброжелательству и покровительству. Повторяем, все это в руках поляков. А путь к этому – участливое, доброе, здравое сотрудничество поляков с русскими, и прежде всего – в Государственной Думе, над общерусскими вопросами.

УВЕЛИЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКОСПОСОБНОСТИ

Вся образованная Россия прочтет с величайшим удовлетворением сообщение о мерах к подъему научной деятельности университетов, каковые меры принимаются сейчас в министерстве народного просвещения. Сюда главным образом относится создание новых кафедр, т. е. введение в круг преподавания и, следовательно, студенческого изучения новых наук, и особенно право министра по ходатайству факультета открывать новые кафедры, т. е. удовлетворять запросам *все движущейся, растущей* науки. Эта, так сказать, научная автономия министерства просвещения, дающая ему возможность приспособляться к уровню науки без обращения каждый раз и за всякою мелочью к санкции других «товарищеских» министерств, есть вещь совершенно необходимая, и давно необходимая. Мало ли чего «не находят своевременным» или не находят «полезным» для России: 1) министр финансов, не заинтересованный в кафедре ассириологии или египтологии, 2) министр внутренних дел, занятый русскими «безработными» и нимало не занятый римскими плебеями, и 3) обер-прокурор Синода, озабоченный исправностью «Господи, помилуй» на клиросах и нисколько не думающий о Нибелунгах. Они все три, конечно, отвечают «нет» на робкий вопрос министра просвещения, «не пора ли учредить при университете кафедру греческой истории…». Неопытный читатель закричит: «Как кафедру греческой истории: ее давно *читают* там, нет *университета без греческой истории*...» Но тут я посмеюсь над неопытным читателем, заметив, что крик его показывает, что без *греческой истории* нельзя

представить себе университета, что это то же, что птица без крыла, рыба без плавательного пузыря, человек, homo sapiens, без головы, что-то нелепое, вздорное, чудовищное, – и тем не менее русские университеты в точности существуют и 1) без кафедры греческой истории, и 2) без кафедры римской истории, а лишь с двумя преподавателями по *всеобщей истории:* и лишь по *личному* чувству необходимости преподать греческую историю и римскую историю эти неопределенные «преподаватели всеобщей истории» преподают древнюю историю не *учено,* а *учебно.* Но представьте, что в университете преподавателями этой науки состоят: 1) профессор Лучицкий (Киев), специалист по истории французской реформации, и 2) Кареев, специалист по тому, что он неизвестно почему называет у себя «историософиею», т. е. по «общим разговорам», притом надерганным, касательно истории. Само собою, что они будут-то будут преподавать греческую и римскую историю, но лишь чуть-чуть вкуснее и полнее Иловайского, будут ее преподавать тоже в «общих разговорах» и довольно поверхностных сведениях. И без всякой своей вины: просто они не к тому готовились, не тому учились, не тем заинтересовались, изучая науку в библиотеках и западных университетах. Позвольте же человеку хоть в науке быть свободным и интересоваться тем, к чему влечет его душа: она влечет ко «всеобщей истории», но, по ее необозримости, конечно, лишь к некоторым ее эпохам. В военных терминах это объясняется так: есть военное образование, но нельзя «военно-образованному человеку» поручать обучение и 1) кавалерийской езде, и 2) пехотной службе и 3) артиллерийской стрельбе и еще 4) управлению броненосцем. Удивительно, что этой простой вещи министры просвещения никогда не объяснили своим товарищам по министерскому креслу, ибо самое помещение в университетском уставе такого предмета, как «всеобщая история», равняется тому, как если бы туда внесено было «преподавание медицины», и отзывается какою-то археологиею XVII века, когда науки еще не разветвились, или уже совершенно учебными, гимназическими задачами, с какими смотрели сверху на университетскую науку, на университетское преподавание. Не воображайте, что это не отразилось практически: отразилось огромным образом! В ученой русской литературе или, лучше сказать, в ученой русской книжности есть несколько трудов – одни по реформации, другие – по революции, третьи – по греческой истории, – именно трудов ровно столько, сколько требовалось представить для получения кафедры магистерских и докторских диссертаций, но в России не существует, *как чего-то традиционного и установившегося,* ни изучения реформации, ни изучения революции, ни изучения Греции. Все дело походит, и даже есть, чистое любительство, и, как всякое любительство, оно эфемерно. Ничего *связанного, последовательного и общего* нет. Один преподаватель заинтересовался «государственными мужами Греции в эпоху Перикла», но его преемник и ученик увлекается рыцарскими временами и пишет диссертацию «О четвертом крестовом походе». Однако две эти диссертации, ценные каждая в *себе,* ничего *вместе* не

представляют. От этого в России, в университетах, нет, собственно, даже и обозначенной в уставе «Всеобщей истории», а есть винегрет, пельмени или что-то вроде этого, – нечто неудобоваримое. Учебники Иловайского, Гуревича и чуть-чуть полнее их, но тоже буквально гимназические, «Лекции по всеобщей истории» проф. Петрова – суть единственные «всеобщие истории», написанные русскими учеными, и это при восьми университетах, из которых Московский существует уже 150 лет! Тут, конечно, многое принадлежит действительной бездарности и действительной лености профессоров, но кое-что, и даже целая половина, должно быть приписано и организации дела! Каким образом *современники Моммзена,* гр. Д. А. Толстой, гр. И. Д. Делянов и вся последующая серия министров просвещения не догадались войти куда следует, войти с докладом, что нельзя же при Моммзене и после Моммзена русским университетам существовать без специальной кафедры римской истории, – это уму непостижимо, и можно объяснить это только тем, что русским «направителям просвещения» Моммзен никогда не приходил на ум. Да один ли Моммзен: ведь он и явился оттого, что везде решительно на Западе, в каждом *единичном* там университете, существовала уже вековая *традиция* изучения римской истории, *связность и преемственность, общность и специальность* этого изучения. Без этого не появился бы и Моммзен: уже в XVIII веке об одних этрусках в Германии было написано больше диссертаций, чем у нас вообще по «всеобщей истории», Нет науки без специализации. Невозможна она. Поступи-ка Моммзен на службу в русский университет: как профессор «всеобщей истории», он каждогодно обязан был бы читать на разных курсах, разным семестрам, и 1) курс средней истории с рыцарями и папами, и 2) курс новой истории с Кромвелем и Мирабо, и 3) греческую историю и хоть чуть-чуть что-нибудь о финикиянах и ассирийцах. Можно представить себе, много ли бы осталось от Моммзена при неизбежности для него гнаться за этими тремя зайцами и стрелять дробью по трем разбегавшимся зверям. И Моммзен бы не выдержал: или проклял все и *остался* с *собою,* но, выйдя в отставку (у нас – судьба Менделеева и Мечникова), или был бы «исполнителем на службе», но уже умер бы как Моммзен, – умер бы как мировой ученый, как наставник учителей.

Вот как много значит организация дела! В сфере государствования организация есть все. Она не может, не вправе быть не великолепной. Но министерство просвещения – это государствование в обучении и науке. И сто лет на министерстве просвещения лежала обязанность великолепно организовать науку, приспособив к ней университеты и академии. Но что же оно делало *в этом отношении?* Лежало. Дремало. И даже не помнило, что есть Моммзен.

ЕЩЕ МИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ КАЗНЫ

Публикации некоторых лиц и даже торговых фирм уверяли русскую публику, что китайцы очень любят оклеивать комнаты старыми, погашенными марками; и легковерные мальчики, дамы и старушки начали во множестве собирать, накапливать и продавать хоть за безделицу погашенные марки этим торговым фирмам, которые устраивали из них альбомы с почтовыми и гербовыми марками всех стран. На самом деле, однако, это художественное коллекционирование, как равно и китайская оклейка комнат были лишь покрывалом, под которым совершенно безопасно и безответственно велось многомиллионное надувательство казны. В Москве возбуждено и ведется следствие о продаже огромными партиями русских почтовых и судебных погашенных марок не в Китай, а... польским еврейчикам, которые их очищали и пускали в продажу за новые. Промысел этот ведется уже много лет и так велик и доходен, а с другой стороны, так безопасен, что с его распространением почти прекратилась подделка кредитных билетов, практиковавшаяся в большинстве тоже западными евреями. В самом деле, чем, рискуя каторгой, гравировать и заводить машину для подделки трехрублевых кредиток, несравненно легче смочить известным составом химических солей шесть погашенных гербовых марок рублевого достоинства, приобретенных за полтинник, и продать их за три рубля, причем покупающая их лавочка наживет еще три рубля. Все так выгодно для всех сторон, кроме наивного собирателя марок, продающего их за безделицу магазину старых марок, что промысел этот не мог не получить самого быстрого распространения и не установить для себя прочных путей оборота и распространения. Гербовые марки добывались из архивов разных казенных мест, где они снимались со старых «дел», и это составляло добавочную статью разных мелких архивариусов, а мелкие почтовые служители, повидимому, принимали участие в слабом погашении марок, пачкая их или с краю, или нетвердым оттиском, а во всяком случае избегая гасить их зеленою едкою краскою. Марки, погашенные зеленой краской, считались покупщиками «браком», и из одного этого видно, как все это дело далеко от оклейки китайских комнат. Промысел этот ежегодно наносил миллионные убытки казне и совершенно приравнивается по вреду выделке фальшивых кредитных билетов или контрабандной беспошлинной провозке товаров. Замечательно, что в своде законов не предусмотрена массовая реставрация погашенных марок и наказуется только тремя или четырьмя месяцами арестантских рот или тюрьмы «чистка и вторичное употребление почтовых марок», чем занимаются изредка кухарки, горничные и любители не в целях обобрания казны, а чтобы себе сберечь двугривенный или полтинник. Очевидно, превращения этого невинного злоупотребления в промысел и торговлю закон не предусматривал. Но на этот раз, вероятно, поспешат изменить способ погашения марок, прорезая или прокалывая их, а не пачкая краскою.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ СУДА

Та глубокая добродетель, которую олицетворяет собою наша печать, не может не быть возбуждена всяким сообщением о пороке ближнего. Когда же порочным лицом является высокопоставленный человек, то возбуждение достигает прямо неописуемых степеней и переходит в истерику, где слышатся вой, лай, визг и прямо нечленораздельные звуки. Начинается столпотворение вавилонское. Мы вполне довольны, и печать должна бы остаться довольною, что над служебною деятельностью бывшего московского градоначальника ген.-м. Рейнбота назначается следствие. Но вполне естественно ждать, чем это расследование окончится и что окажется на суде, в особенности, что *докажется* на суде. Ибо есть разница между тем, в чем хочется обвинить, и что можно доказать, между *подозрением* и *несомненною* действительностью. Печать, должно быть, снедаемая ревностью к правде, обвиняет раньше вердикта суда и даже до точного выяснения предмета и оснований обвинения, судит, в сущности, втемную, по слухам, по негласным обвинениям, где невозможно убедиться в чистоте или нечистоте источника. В отношении данного дела ген.-м. Рейнбота, кажется, все или почти все основано на обвинениях, идущих от какого-то Стефанова, удаленного г. Рейнботом со службы, затем прикомандировавшегося к петербургскому градоначальству и отсюда откомандированного в распоряжение московского прокурора, и на этом непредусмотренном в законе посту занявшегося выяснением деятельности своего бывшего начальника. Трудно представить себе беспристрастие уволенного чиновника, свидетельствующего о своем начальнике, но в данном случае жертва его возможных и вероятных оговоров имеет защиту себе в том, что суд отделяет оговоры от *доказательств* и верит только *последним.* Вполне удивительно, каким образом печать могла принять до такой степени к сердцу эти показания бывшего чиновника сыскной полиции, и воображать, что они так же чисты и невинны, как лепет новорожденного младенца. Во всяком случае, суд все рассмотрит, увидит, доведет предположения до очевидности и, если окажется справедливым, поступит с г. Рейнботом, как поступил бы с Небогатовым и Стесселем: печати не для чего спешить, задыхаться от восторга при падении ближнего или даже, допустим, при падении общественного врага и, предупреждая приговор суда, предупреждая разбор доказательств на суде, поднимать невообразимый смрад около имени человека, не щадя в том числе и частной, семейной его жизни, где уже замешано не служебное лицо, но ни в чем не повинные члены его семьи. И все это делать в такое время, когда он не может опровергать обвинений фактически, так как во время производства следствия до окончания суда он лишен возможности привлекать к ответственности за клевету. Народ наш относится с жалостью и к осужденным. Но печать наша относится безжалостно и без суда, и не судя, и, кажется, даже не рассуждая.

ПРЕДМЕТНАЯ И КУРСОВАЯ СИСТЕМЫ ЭКЗАМЕНОВ

Искусство направлять составляет душу искусства управлять. Управление, опирающееся на силу и на записанное в законе право, первобытнее и элементарнее, чем мастерство направления, которое требует разума, зоркости и постоянного сообразования с обстоятельствами, постоянной оглядки на людей и на текущую минуту. Восток и Азия знают только управление. Европа давно перешла к принципам направления, – и она перешла к ним невольно, вследствие развития самодеятельности и самосознания в населении и в группах его, в сословиях и классах. Направлять хлопотно и трудно; но это путь всегда безопасный. Управление легко, но зато очень хрупко, ломко. Все революции и даже все бунты всегда назывались управлением. Направление есть путь эволюции, развития, постепенности. Можно сказать, что с тех пор как Европа во всей частях и подробностях политической жизни перешла к принципам направления, она застрахована навсегда от революции. «Социальная революция будущего» никогда не настанет; она разложится в медленное и постепенное социальное законодательство, рабочее законодательство, где труждающемуся классу дано будет и уступлено будет все, что вообще ему можно уступить без разрешения целой социальной системы.

Россия, с дарованием ей конституционных форм, также вступила на этот путь переработки методов управления в методы направления. Власть и в центре, и на периферии, в важном и в мелочном приблизилась к населению и уже не может смотреть на него только сверху вниз, не может относиться к нему грубо, да этого и не нужно. Грубость не есть сила. Сила разумности может быть необъятной, и власть, при всей мягкости форм, может сохранить за собою величайший авторитет, если она *на деле* покажет, что ее рассуждения и зоркость, а вместе с тем и ее благожелательность стоят выше самих управляемых или направляемых масс.

Мы сказали, что это должно проявиться во всем, в самом большом и в самом малом. Но может быть удобнее, чтобы началась эта перемена с малого, с подробностей.

Русская учащаяся молодежь, кажется, чувствует то, чего теперь нельзя не чувствовать в России: именно, до чего всем надоела вечная возня с ее ученьем. Это что-то скучное, монотонное, все повторяющееся в тех же вариациях, где нет ничего нового, никакого нового мотива. Все то же; «нет денег внести за лекции – помогите», и «мы не хотим учиться, потому что не удовлетворены такие-то и такие-то наши требования». Все это скучно потому, что на настоящее, прилежное ученье у общества, конечно, всегда хватило бы средств; но у общества нет уверенности в хорошем учении, и от этого нет твердого желания помогать. Это – одно. Что касается до исполнения требований, то даже в случае их основательности всегда приходит на ум, при каких *условиях* и *обстановке* ученья, при каких уставах и правилах учились и воспитались Соловьевы, Ключевские, Чичерины, Кавелины? Устав и

правила – только форма, и довольно пустая форма. Умный учащийся всегда найдет в себе силы приноровиться ко всякой форме и взять от университета то, что нужно: науку, знания, уменье. Вот если нет самого желания все это получить, т. е. если в наличности у учащихся имеются только знаменитые и старые русские добродетели – лень и косность, тогда, конечно, во всяком уставе отыщутся непременно «невозможные качества», и студенты заявят бойкот вплоть до «отмены». Неустанность студенческой критики уставов и правил едва ли не является только придирчивостью ленивого, который все отлынивает от дела, не хочет взяться за работу, но ссылается не на настоящие мотивы к этому – вялость своей натуры, а якобы на препятствующие этому «правила».

Повторяем, все это противно и надоело по существу своему и фальши своей. И это чрезвычайно чувствуется во всей России. И, кажется, почувствовалось это и студенчеством.

Однако и здесь нельзя класть шаблонов. Жизнь учебная чрезвычайно сложна и многообразна. В этом многообразии найдутся кое-какие стороны, где по естественному несовершенству всех человеческих дел есть действительные дефекты; и на те из них, которые вредят самому *ученью,* т. е. *делу,* а не лицам, учащиеся вправе скромно и благоразумно обратить внимание администрации. Профессор манкирует лекциями, – и по чрезвычайно важному предмету, практически важному; оператор на глазах учащихся делает ужасные промахи по небрежности и лени: приказывает по телефону хлороформировать оперируемого, еще не приехав сам в клинику; ведет небрежно клинические, т. е. главные, занятия для выпускаемых: все это такие вещи, которые требуют протеста от *добросовестности* учащихся, а не от духа самого протеста, взятого отвлеченно. Такой случай имел место недавно в одном медицинском учебном заведении, и он вызвал точные пункты обвинения, подтвержденные всеобщим голосом учащихся, и повел, кажется, к решению самого профессора-поляка к удалению от занятий, ему явно постылых. Но подобный случай всегда можно различить, потому что он не сразу возникает, как «по команде», и потому что он является частностью общей системы, а не есть выражение протеста против всей системы. Здесь страдают учебные интересы учащихся, и они могут роптать и даже волноваться. Но это ничего не имеет общего с характером студенческих волнений последних лет. Что касается борьбы студентов Лесного института, направленной за сохранение предметной системы экзаменов против вводимой советом профессоров курсовой системы, то здесь надо принять во внимание, что курсовая система удобнее для экзаменующих, так как вставляет их работу в рамку одного дня по каждому предмету и курсу, а предметная система удобнее для экзаменующихся; но, кажется, в то же время она ведет и к лучшей подготовке к экзаменам, а следовательно, и лучше в чисто педагогическом отношении. При курсовой системе экзамен сразу сдается в один день всем курсом; при многочисленности учащихся ответы учащихся становятся чрезвычайно краткими, вопросы профессора становятся случайны и беглы, и экзамен не

имеет солидности от естественного утомления внимания экзаменатора. При предметной системе студент в определенное экзаменационное время избирает сам предмет своего экзамена, и, естественно, что он не пойдет на экзамен, худо приготовившись к нему, так как в его власти отложить его до завтра и послезавтра. Подготовка здесь непременно делается более солидною, да и экзамен может быть произведен тщательнее, подробнее. Наконец, при предметной системе, вследствие отсутствия скопа экзаменующихся, оценка экзамена может быть произведена строже и взыскательнее, и студенты не могут чинить тех безобразий принуждения экзаменатора к постановке известного бала, к какому они иногда безобразно прибегали, и прибегали, увы, уже очень давно. Таким образом, здесь педагогические преимущества, повидимому, лежат на стороне студенческих пожеланий, и совет мог бы сделать комбинацию между своим требованием и ихним, вместив экзаменационную пору в небольшой срок, но в этом небольшом сроке сохранив предметную систему. Курсовая система все долгие годы своего существования обращала экзамен в некоторую лотерею счастья, подробности которой хорошо всем известны. И этой лотерее нет места при науке, она есть зло в учебном заведении. Но, с другой стороны, даже и при основательности своих пожеланий, студенты Лесного института не имеют права прибегать к бойкоту лекций, что всегда есть беззаконие и безобразие. Это есть немой и глухой способ противодействия, лишенный мысли и убеждающей силы. И неужели в руках учащейся молодежи нет других методов разъяснить свои мотивы и заставить их выслушать? Без сомнения, такие методы есть, без сомнения, мотивы могут быть выражены и устно, и печатно, – выражены и доказаны. Во всяком случае, здесь есть путь согласования – тот путь, где верхней власти можно руководить и убеждать, а не только сухо и коротко приказывать, а нижний слой может употреблять членораздельные звуки, а не прибегать к бестиальному бойкоту, унижающему человеческое их достоинство.

ВРАЧЕБНЫЙ НАДЗОР В ЖЕНСКИХ УЧИЛИЩАХ

Дело попечителя женских ремесленных училищ в Петербурге г. Путвинского, жаловавшегося на публичное оклеветание его секретарем общества г. Мичуриным, окончилось оправданием последнего, причем обвинение его в клевете признано судьею «недобросовестным». Так как обвинения г. Мичурина были сказаны публично с кафедры, то из этого приговора судьи для общества очевидно, что данные судебного разбирательства подтвердили все те ужасные с нравственной стороны подробности, о каких оно знает из газетных отчетов. Как бы ни была мала юридическая вменяемость и наказуемость этих фактов, их гнету-

щее значение остается в полной силе и должно подействовать чрезвычайно смущающе и тревожно на все русское общество, и в особенности на родителей, которые собрались отдавать своих дочерей в ремесленные училища. В этой области не должно быть не только фактов, но и никаких подозрений. Родители, отдающие дочь в школу, имеют право думать, что из-под чистого семейного крова они вверяют дитя свое попечительству целого русского общества, которое не менее чисто. И общество русское в целом своем конечно ответственно перед всякою единичною семьею, так как общество хотя бы путем печати и гласного обсуждения, несомненно, влияет на учебную обстановку, контролирует, может потребовать для нее перемены условий. В этом отношении мы должны выразить только благодарность тем лицам учебного и воспитательного персонала, которые, рискуя службою и куском хлеба, выражали негодование на «медицинские осмотры» и щекотливые расспросы попечителя школ, где он взял на себя несоответствующую роль духовника, да еще с католическими подробностями исповеди, которые, как известно, смущают даже взрослых женщин на церковном таинстве.

Само собою разумеется, что ни подобные осмотры, границ которых нельзя предвидеть, раз они совершаются наедине, ни подобные расспросы о «скрываемых пороках» не должны входить в обязанности попечительства. Совершенно непонятно, для чего у нас существует высшее женское медицинское образование, для чего выпускаются женщины-врачи Медицинским женским институтом в Петербурге, если медицинские осмотры учениц совершает попечитель школ, и не медик, и не женщина? Подобной несообразности и бессмыслицы нельзя понять. Личные качества или слабости г-на Путвинского, на которые жаловался учебный персонал, могли проявить себя только на почве глубокой безурядицы во всем этом деле, непростительной небрежности уставов и правил, которые должны быть немедленно же изменены. Не при всякой школе отдельно, но при всяком не очень большом районе школ должен состоять как бы свой домашний врач, и в женских школах непременно таким врачом должна быть женщина-врач, которая и производит осмотры и расспросы, которыми так охотно занялся г. Путвинский. Осмотры эти и расспросы эти необходимы, но только должны производиться не тем лицом, не тем полом. Произведенные женщиною-врачом, с нужною медицинскою осторожностью, они не будут вызывать у несовершеннолетних девушек ни слез, ни смущения, ни муки в душе, о чем печаталось в газетах поистине к муке целого общества.

Приведенные сообщения, что не все родители на это жаловались, не имеют значения, ибо достаточно того, чтобы кто-нибудь, хотя *один* из родителей в душе негодовал на это, чтобы уничтожить в корне эти осмотры и исповеди как нравственное безобразие. Негодовали учительницы и воспитательницы и, следовательно, непременно негодовали и родители – если и не все, то очень многие, и только промолчали по обычной русской терпеливости и по щекотливости всего этого дела, где каждый старается не поднять голоса, остаться незамеченным хотя бы и в лице детей своих. Во всяком случае,

факты сохраняют все свое объективное значение, и нравственное их качество не увеличивается оттого, что на них не жалуются или жалуются не все.

Следует пожелать простирающихся на всю Россию распоряжений соответствующих властей о призыве в женские учебные заведения всех степеней и рангов исключительно женщин-врачей и о совершенном отстранении от врачебных функций осмотра и расспроса всяких лиц мужского персонала, прикосновенных к школе по службе и деятельности. Несколько лет назад проф. Эрисман начал новую и важную отрасль медицинского ведения, именно он написал несколько трудов по *школьной медицине.* В Медицинском женском институте полезно было бы открыть кафедру школьной медицины, так как женские училища в ближайшем будущем потребуют женского врачебного труда в обширных размерах. Нет сомнения, что соответствующие власти не могут отнестись слепо к делу Путвинского, они не могут не озаботиться вопросом, как ведется это дело в *глухой и далекой* России, когда слезы и муки детей на такой мучительной почве имели место в Петербурге, на глазах всей печати и образованнейшего общества, и притом в течение многих лет, не доходя ни до суда, ни до публичной огласки. Для беспокойства слишком много оснований, и общество может быть успокоено только надлежащими мерами, могущими предупредить и предохранить училища от подобных обычаев и нравов, даже единичных случаев.

КАТОЛИЧЕСТВО И МАРИАВИТСТВО

С самого начала, как обозначилось мариавитское движение, мы приветствовали его и думаем, что с этим приветствием сливалось и все русское общество. В движении мариавитов мы почувствовали что-то свое, родное; почувствовали родную стихию славянской народности, ищущую путей собственною душою, а не по шаблонам, даваемым из Рима urbi et orbi*. При первых известиях о том, что такое «мариавиты», мы указали на родственные черты, сближающие это польское религиозное движение с некоторыми русскими сектантскими веяниями. Оговариваемся, что черты эти – родственные, а не одни и те же: в Польше зародилось свое движение, нимало по происхождению не связанное с нашими сектами, или, общее, с тем, что можно назвать народною русскою верою. Но душа славянина на Волге и на Висле оказалась родственной, сходной; при разных словах там и здесь послышался один напев. Не предвидя еще, что́ выйдет из мариавитского движения, не надеясь нисколько на его прочность, мы приветствовали его как симпатичное явление, привлекательное простым и народным смыслом, чуждым римских ухищрений. Но мы хорошо помнили из истории, как Рим искусен в погашении всяческих движений в своих недрах, как этот ледовитый океан

* городу и миру *(лат.)*.

веры умеет замораживать всяческую оттепель в человеческом сердце. В Риме, может быть, и не очень сами верят. Но там тысячелетие хранят тот костяк, тот мертвый остов веры, религиозных тезисов, догматов, которые являются тем мертвым словом в мертвых устах, о которых еще Спаситель предсказал и указал, что Он не хочет такой веры, не хочет такого исповедания Себя. Вот это-то исповедание Рим умело хранил, подавляя, игнорируя или высмеивая, где как удобнее и выгоднее, всякий нарождавшийся энтузиазм веры. «Бывало, пока я служу одну мессу, римские священники отслуживали их десять»: этого удивления Лютера, приехавшего в Рим еще молоденьким энтузиастом-католиком, нельзя забыть. Риму нужна форма, и точная форма: за несоблюдение ее он сожжет. Но ему не нужно никакого содержания; человеческого сердца ему совсем не нужно. Недаром наш Достоевский говорил в своем «Дневнике», что римский католицизм опаснее атеизма, нравственно его ужаснее. Много страниц он посвятил разъяснению этой мысли. Указывая на социализм и атеизм Франции XIX века, он говорил, что это есть натуральный плод и необходимое заключение католицизма, где личность человеческая, и именно *папа,* поставлена на место Бога. Люди отказались верить в человека, как в Бога, и так как века уже от них был закрыт Бог человеческим смертным лицом, то, потеряв веру в это лицо, они потеряли и веру в Бога, которого не видели, не знали. Вот история европейского атеизма. Если даже Достоевский и преувеличивал дело, то сердцевина его слов заключает в себе много истины.

Рим создал форму и требует покорности форме. Он создал церковное государство. Но государство, уместное на своем месте, полезное и, наконец, нравственное там, где движутся войска, прокладываются железные дороги, возводятся мосты и считаются деньги, где созидается материальная обстановка для нематериальной души человеческой, – это государство становится неуместным, вредным и, наконец, безнравственным, когда простирает свою власть на души человеческие, когда вводит государственные приемы в устроение «царства Божия на земле».

Не только великий, но величайший учитель католичества, бл. Августин, заложил фундамент его в знаменитом творении «De *civitate* Dei», «О *государстве* Бога», это не то, что, уже в греко-славянском стиле, передано и смягчено в русских переводах: «О *граде* Божием». Блаженный Августин писал вовсе не о «граде», а о «государстве» именно: ибо он написал не «De urbe Divina», под чем можно бы разуметь «Небесный Иерусалим» Апокалипсиса и наших сектантов, разуметь что-то духовное и идеальное, а «De civitate Dei», о *государственном* строительстве церкви, т. е. конкретно почти о той «Папской области», о папе как короле среди королей, к чему папы стремились в средние века. Он заложил фундамент внешнего, государственного спасения души.

Через знаменитую исповедь, так превосходно разработанную католическими богословами в ряде трудов и так превосходно проведенную на практике иезуитами, папа и «верные» его сделались разведчиками душ человеческих и вместе гипнотизерами этой души, но гипнотизерами не в цели-

тельных заботах о ней, а для употребления душ на службу себе. Известно, что иезуиты проповедовали и бунт, и воровство, и обман, когда это творится «в спасительных целях», т. е. «для матери св. церкви», что они оправдывали и подстрекнули не на одно цареубийство в пору борьбы католичества с протестантскими веяниями, что они одушевили Равальяка на убийство Генриха IV. Всего этого история не забыла. Все это огненными буквами написано на страницах ее. Проповедь, ежедневная на каждой улице, была устною газетою в средние века, до книгопечатания, а в католических исповедальнях творилась «перлюстрация» душ человеческих, совестей человеческих, воль и желаний всей массы верующих, без единого колебания. Не мудрено, что с такими средствами *государствования* папы сделались даже не «королями» среди королей, а папа сделался «царем царей», по образцу деспотов древнего языческого Востока, разных Ксерксов и Артаксерксов. Много ли тут осталось евангельского – нечего спрашивать.

Католичество есть продолжительный гипнотический сон человечества. Католичество не опровергается, от католичества просыпаются. Чтобы это сделалось, надо посмотреть на него со стороны. Это бывает редко по естественному существу всякого сна. Нужно, чтобы начал видеться человеку другой сон, который перебивает первый. Духовенство католическое всегда ненавидело и боялось этих других снов, оно боялось всякой грезы человеческой, всякой мечты, надежды, если она не была получена из рук патера в готовом виде. Сюда примыкает учреждение великой католической цензуры, нимало не походящей на нашу наивную цензуру, знаменитый их «Index librorum prohibitorum», то есть указатель книг, какие церковью *не советуются* верующим для чтения. В Риме работает над этим целое министерство – конгрегация индекса. И министерство, так же как газету и перлюстрацию, Рим завел у себя гораздо раньше светских государств, предупредил их и в этом. Само собою разумеется, что нет опаснее для папства, как простое воспри́ятие душою простых слов Евангелия, всех этих притчей о сеятеле и зерне, о полевых лилиях и птицах небесных.

В Ватикане не жнут, не сеют, а птиц видят только нарисованными на картинках. Ватикан и *природа,* Ватикан и *простота* – вещи несоизмеримые. И Ватикан, устами конгрегации индекса, запретил всем сохраняющим «сыновнюю веру» в римского отца читать Евангелие на родном языке иначе, чем по латинской вульгате, т. е. так как латынь непонятна новым народам, кроме образованных классов, то он *запретил христианским народам читать Евангелие.* Оно может быть получено, услышано, узнано только в истолковании и освещении патеров, в изложении и переложении их. Патеры же, конечно, показывают «верующим», что в Евангелии говорится не о «полевых лилиях, которые были прекраснее Соломона в блистании одежд его», а указываются там папские туфли и кардинальские шляпы, которые куда лучше и лилий, и птиц.

Порыв к простому и *прямому* разумению Евангелия – вот что такое мариавитство в зерне его, еще не окончательно установившемся. Мариавит-

ство загрезило о полях Галилеи, где росли те лилии, которые видел Спаситель, – и отвернулось от камней Ватикана. Оно вышло из-под очарования его, зачаровавшись другим очарованием, подлинно евангельским. Нужно ли говорить, что это гораздо опаснее для власти Рима и лиловых епископов, чем сто Вольтеров, чем Ферней и его насмешки? Смех никогда не был опасен для церкви, ибо она – другое, ибо смех и религия несовместимы и незаместимы. Но другая греза, другая вера, другая мечта сердца – это пошатывает все здание «Civitatis Dei», над которым трудился бл. Августин и те несколько сот пап, портреты которых, в медальонах, помещены в колоссальном вновь построенном соборе св. Павла в Риме. Мариавитство в русской Польше мучительнее для Ватикана, чем тупые стрелы Вольтера и чем обиды от итальянских и французских министров. То все движется по поверхности, а это затрагивает самое зерно.

РУССКИЕ И ТУРЕЦКИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТЫ

Можно представить себе то чувство глубокого завидования, с которым русские конституционалисты взирают на совершившийся в Турции переворот и, в частности, на торжество открытия парламента. Полный порядок в ходе переворота, его бескровность, отсутствие смуты и грязи, – и такое могущество самого переворота, перед которым все склонилось, все отступило! Не горели поместья и не ходили карательные отряды, не шумели митинги, никто не потрясал в воздухе кулаками, и ряженый поп не водил стотысячной толпы ко дворцу. Все совершилось простым, естественным путем.

Наша конституция была литературно подготовлена; и нужно сказать, она была испорчена уже в этом литературном подготовлении. Сто лет русская литература, за малыми исключениями, отучала своего читателя от всякого государственного понимания, отшибала самый дух государственности; все государственное она рассматривала под углом презрения, с миной высокомерия. Когда Белинский написал известную статью «Бородинская годовщина», то он до того был засмеян в литературных кругах, что всегда неохотно вспоминал эту страницу в своей деятельности. Таким образом, битва героев, где русский крестьянин и русский дворянин отстаивали грудью, под предводительством государства, центральную святыню родной земли, – эта битва была только смешною для литературных и гостинных болтунов. Все ее трагическое величие было похоронено под злобою к тому, что здесь все-таки билось государство, что она была актом, предначертанным правительством.

Литература, в подавляющем большинстве, сто лет не допускала русское сочувствие никуда, кроме бытовых картин и личной психологии; живописание нравов какой-нибудь Растеряевой улицы и глубокомысленное копание в душе какого-нибудь «лишнего человека», в душе великих студентов и вели-

чайших приват-доцентов, от Рудина, Базарова, Раскольникова и до наших дней, занимало все поле русского внимания, сочувствия и уважения. Генералы всегда были комическими персонами, служившие на государственной службе были почти все ворами и мошенниками. Честность и добродетель, героизм и самопожертвование были принадлежностью только изнуренных студентов, бегающих по урокам, и истерических курсисток, да у чиновников, ни в каком случае не выше коллежского регистратора. Таким образом, художественно и публицистически русская литература дошла до такого персонального отрицания не только государственности, но и всего, что сколько-нибудь служило государству, как этого не бывало ни в какой литературе Запада. И этим решительно небывалым отрицанием она вводила душу русского читателя, а следовательно, и все русское общество в такие дебри анархии, антисоциальности, для которых простор мог бы найтись только в среднеазиатских степях или в цыганском таборе. Что касается, далее, быта, то и здесь мало ценилось все домовитое, все крепкое, все зажиточное, и «героем» непременно был или бездомный интеллигент, или оборванец из простолюдинов; если мастеровой, то непременно неискусный, неумелый, часто выпивающий. «Лишние люди» решительно залили русскую литературу; «лишние люди», т. е. ни к чему не пристроившиеся, ничего не умеющие делать, ни к чему неспособные. Ни идеального мастерового, ни идеального хлебопашца, ни идеального чиновника, ни идеального отца семейства, брата, сестры, матери – большинство русских литераторов не стремилось показать. А растрепанных людей на всех этих ступенях, во всех этих положениях в русской литературе сколько угодно. Толстой, давший столько положительных портретов в этих областях, пока творил «Войну и мир», в русской критике встречал своеобразную обструкцию. Как можно, чтобы полководец армии был честным, любящим свое отечество человеком, как можно, чтобы государственный человек не был глупым! Эта анархия пропитала всю русскую литературу, она говорила из каждой книжки журнала, из каждого нумера газеты, наконец, говорила из хрестоматии «образцов русской словесности», где отцы были по преимуществу Скотиниными, помещики – Обломовыми, учителя – Кутейниковыми и Цыфиркиными, и только приват-доценты, студенты и литераторы были честными и разумными человеками, обыкновенно за это отправляемыми в ссылку. Несчастный русский читатель, и даже гимназист и семинарист средних классов, неудержимо пропитывался этою анархиею, высмеивал своего учителя, смотрел равнодушно или презрительно на родительский дом, ненавидел отвлеченною и тем более неутомимою и ненасытимою злобою каждого человека в чистом сюртуке, и особенно в мундире. Связанность же с жизнью, уважение к жизни начинались только с растрепанного, безработного, безземельного, безместного, и она переходила в пафос сочувствия, когда на глаза попадался «пострадавший приват-доцент».

Но вот прошел век такого воспитания, и наступила великая година. Общество русское, население русское вдруг позвано было к государствованию,

к государственному строительству. Мы увидели... все, что увидели. Не в праздничные, лучшие одежды оделись первые депутаты первой Думы: они поехали представиться Государю, вытащив последние рубища, чтобы показать их как упрек и угрозу. Дальше все пошло именно в этом стиле. Не было не только политического такта, не было простого такта, как вести себя, как ответить; не было вежливости; не было самой будничной деликатности; нечего упоминать и речи. Гордились один перед другим неделикатностью, грубостью. Храбрость на полях Бородина ничего не значила, но храбрость развалиться в кресле во время речи представителя Государя, открывающего Думу, была необыкновенно многозначительна. Все это шутовство и пошлость были политическим осадком русской журнальной публицистики за десятки лет. Не эта ли публицистика заставила замолчать славянофилов, которые бы, конечно, встретили, провели и укрепили конституцию совершенно иначе, чем Винаверы, Набоковы, Гессены, Родичевы и Милюковы, чем Носари, Гапоны, Хвосты, Рамишвили и Зурабовы?

Нет государственности – нет дисциплины. А без дисциплины нельзя ни выиграть Бородинской битвы, ни провести парламентской сессии. Без дисциплины нельзя даже построить обыкновенного дома. Между тем начало дисциплины, и даже начало какой-нибудь упорядоченности, отрицалось русской литературою целый век. И вот пришлось устроиться конституционно: без дисциплины, без сдержанности, без уменья управлять собою – все посыпалось прахом.

Наш парламент – наличность, им надо жить, его надо устроить. И, кажется, этой великой задаче надо пожертвовать привязанностью к застарелым веяниям, – к тому, что изображалось едва ли не целый век, что было окружено блестящим ореолом в то время, когда в самом деле это был блуждающий болотный огонек. Но то был век политического детства, политического ребячества, за которое краснеет взрослый человек.

К ОТКРЫТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СЪЕЗДА

Без сомнения, каждый русский, все русское общество встретят мысленно с теплым приветом первый всероссийский женский съезд, завершающий собою несколько десятилетий энергичной и даровитой деятельности наших женщин на самых разнообразных поприщах умственной, филантропической и общественной деятельности. Съезд этот столько же пожинает плоды, сколько будет сеять новое семя. Он обращен и к прошлому, и к будущему. Первое слово при открытии его было сказано ветеранкою 60-х годов, 70-летнею г-жою Философовой, имя которой соединено с самым зарождением высшего образования в России, где она разделяла труды и хлопоты покойной Н. В. Стасовой, неустанной труженицы в деле оживления и пробуждения девушки и женщины.

Женское движение не только у нас, но и в Европе окружено было шумихою слов больше, чем нужно. И об этом особенно следует пожалеть в том отношении, что шум слов и в некоторых отношениях бесцельного движения закрывал собою те страшно важные практические задачи, которые должны быть разрешены женщиною вообще и русскою в особенности. Прежде всего, сюда входит физическая защита страдалиц-жен. Ужасно подумать, что в те самые дни, когда в Петербурге будут произноситься с блеском речи выдающимися образованными женщинами и общество будет ими зачитываться, в эти самые дни во множестве мест России бесправная жена-раба будет молча принимать и принимать на себя побои мужа, иногда гораздо более ее ничтожного, иногда больного алкоголика, иногда ленивца, иногда порочного до границы с преступностью. Все это – есть; все это не уничтожено; все это останется; и ужасно то, что здесь лежат в основе вовсе не нравы народа, а, напротив, подобные нравы народа родились и укрепились на почве бесправного положения женщины в семье, *на почве закона.* Нельзя же представить себе, чтобы русский народ, чтобы славянское племя было жесточе монгольского племени: и если того характера по жестокости обращения с женами нет у язычников китайцев и японцев и у мусульман персов и татар, то это исключительно оттого, что не только жестокое, но даже и очень грубое обращение мужа дает право жене требовать развода и получить развод по шариату и по законам Китая и Японии. Адмирал Головнин, пробывший в плену у японцев три года еще до усвоения японцами европейского образования, рассказывает, что за три года он не видел ни одного случая побитой жены и побитого ребенка. Между тем, вообще японцы нисколько не мягкий, а скорее жестокий и гневный народ, о чем может свидетельствовать уже обычай у них харакири. Но японка и китаянка, как равно мусульманка, защищена в положении жены *законом,* тогда как христианка им *не защищена.* Вот и вся разница. Вот и вся причина. Не расплываясь в *общих* ламентациях на грубость и темноту народа, не увлекаясь сетованиями об *общем* положении горюющей женщины, всероссийский женский съезд обязан сухо и строго принять на себя обязанность всеми мерами добиться пересмотра законов о семейном положении женщины в России, – именно через увеличение *поводов* к разводу, введя сюда прежде всего доказанное свидетелями жестокое или очень грубое, вообще безжалостное обращение мужа с женою. Только в отсутствии этого единственного закона лежит причина избиваемых жен. Ни в интересах государства, ни в интересах церкви не может лежать удержание и продолжение этих жестоких семейных нравов. Это вообще антисоциальное явление – подобное грабежу, подобное всякому преступлению и пороку, и оно не должно быть терпимо ни для кого. Ссылка религиозных ханжей, что жены должны быть по-прежнему избиваемы и не вправе жаловаться на это, а должны терпеть, так как Христос *единственным* поводом к разводу указал только прелюбодеяние, – уже давно обойдена тем, что и везде в Европе, и у нас в России в число поводов к разводу введены еще три: 1) безвестное отсутствие одного из супругов, 2) ссылка в Сибирь, и 3) физическая неспособ-

ность к браку, хотя *эти* поводы также *не упомянуты* Христом. Явно, что существующее законодательство переступило уже через эту преграду, и переступило совершенно правильно, ибо при наличности этих трех обстоятельств брак является фикциею, несуществующим. Раз оно в трех пунктах переступило преграду, оно может переступить ее и в этом самонужнейшем случае: для исцеления страны нашей от такой язвы, которая позорит ее даже перед лицом мусульманства и язычества.

Этого женщины непременно должны добиться. Здесь их поддержит все общество, вся власть.

Вторая задача – изменение наследственных прав жены-вдовы и дочерей. Эти доли, $^1/_7$ и $^1/_{12}$, составляют пережиток римского права, дохристианской цивилизации. Ханжам следовало бы вот в этом пункте вмешаться и напомнить, что перед Евангелием и церковью, по слову апостола, «несть мужеск пол, ни женск, но все равны во Христе Иисусе». Удивительно, что они напоминают об Евангелии, только когда нужно ужесточить какое-нибудь положение, и забывают о нем, когда нужно кого-нибудь облегчить. Этот пережиток римского права составляет археологическую руину в русском законодательстве, и его решительно никто не станет отстаивать, если только поднимется вопрос о нем. Это просто *по забывчивости* сохраняемая статья закона, – а не по нужде, не по какому-нибудь определенному желанию. Ибо обычно, когда оставляются завещания, родители делят имущество поровну между всеми детьми, не различая дочерей от сыновей. Но при большинстве безграмотного населения наследование по завещанию составляет незначительную дробь в общей массе их. И седьмые, и двенадцатые доли отнимают Бог весть почему имущество у самых бессильных, у самых незащищенных сирот. Сверх того, и эта статья ведет к огрубению взглядов: сыновья на мать и братья на сестер приучаются смотреть как на полчеловека. Поразительно, что и к этому толкает закон.

Пожелаем же, чтобы первый всероссийский женский съезд не расплывался в целях, не гнался за множеством задач, а настойчиво, полно и реально добился бы двух названных. Это самая больная боль русской женщины. Здесь обиженными являются наиболее невинные. Это – тот хлеб насущный для женщины, без которого нельзя жить. И об этом хлебе нужно думать раньше, чем о пирожном.

НА ЛЕКЦИИ О СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ И СЕКТАНТСТВЕ

И по чтению, и по сделанным возражениям лекция В. И. Ясевич-Бородаевской о русском старообрядчестве и сектантстве, прочитанная в клубе общественных деятелей 11 декабря, представила выдающийся интерес. Голос докладчицы звучал деликатно и нежно, а лицо ее дышало суровою борь-

бою, как у солдата, идущего на приступ. Это сочетание было хорошо. *Теоретический* недостаток лекции заключался в том, что, обильно насыщенная нравственным элементом и религиозным порывом, она страдала отсутствием разумения: *откуда же* поднялось все это огромное и страдальческое явление, именуемое «расколом». Как заметил один из оппонентов, в раскол идут с великим мучением в душе, «ибо, напр., пойти в скопцы – мало удовольствия». Весь зал улыбнулся при этом. Главные мотивы образования сектантства докладчица усматривала: а) в безжизненности официальной церкви, не отвечающей идеалам народа, жаждущего церкви живой, практической, народной; б) в безучастии духовенства к душевным, совестливым запросам, поднимающимся у единичных и лучших личностей из народа. Ей возражали гг. Ровинский, Никаноров, Влад. Львов (член Госуд. Думы), протоиерей Юрашкевич (член Госуд. Думы), свящ. Раевский, В. М. Скворцов, знаменитый старообрядческий начетчик Мельников, основатель «Духовного христианства» Долгополов. Блестяща была резкая «отповедь» докладчице г. Никанорова: мужской, твердый, несгибающийся ум оппонента, выступившего на защиту православия, давил и рвал кружева, сплетенные докладчицей. «Вот если бы так говорили в Г. Думе», – не мог не подумать я. Речь г. Влад. Львова дышала энтузиазмом, идеализмом и наивностью. «Церковь – не организация, не здесь ее душа; и говорит она не толпе, не коллективным собраниям, а одинокой душе человека; и пока есть две-три такие души, души праведные, воспитанные церковью, – церковь жива и праведна». Эти слова г. Влад. Львов произнес с неописуемым энтузиазмом. Но ведь и католичество может сказать о себе: «Вот я воспитало человеколюбца Пастера, а в прошлом имею св. Терезу и св. Катарину Сиенскую», и лютеранство может похвалиться множеством благочестивых душ (Неандер, Гарнак), да и все наши секты, наконец, все религии, и даже мусульманство и язычество – все, все они имеют в себе праведную душу, праведных людей (Сократ, Мен-Дзы). Таким образом, с *логической стороны* совершенно непонятно, о чем говорил депутат Вл. Львов. Еще большую наивность представляла речь депутата Государственной Думы протоиерея Юрашкевича, священника и законоучителя из Западного края. «На вопросы, истинна ли наша православная вера, которые мне часто приходится слышать среди разноверного населения моего края, я отвечаю: а как живется среди нас *иноверным?* Мы никого не тесним, ни над кем не издеваемся, ни с кем не враждуем. Но в этом и есть *суть* Христова учения. А раз у нас есть эта *суть,* – в нас и в церкви нашей есть и *истина* вероисповедания». Здесь он смешал истину православия с хорошим самочувствием своего прихода. Очень важна в *деловом* и до некоторой стороны в *историческом отношении* была речь старообрядца-начетника Мельникова: он сказал, что *воссоединение* старообрядчества с православною церковью, желание которого носится в воздухе, – может совершиться, когда осуществятся все те пожелания, которые выразил оппонент Ровинский, т. е. если начало *соборности* будет проведено от вершины до низу, от верховного управления и до мелкой приходской единицы, во всей церкви.

Это – первое. И, второе, если церковь как власть не только прекратит преследования старообрядцев и сектантов, но и осудит бывшие преследования, если она зачеркнет два последние века своей истории как века нехорошие, неправедные. Это было важно в том отношении, что здесь вопрос о *примирении* снят с того мертвого якоря *буквоедства,* на котором, увы, стояло старообрядчество ранее, и перешел к более простой и ясной задаче нравственного оздоровления, нравственного воскресения православия. Речь почтенного Мельникова слушалась с большим сочувствием и, повторяю, представляла высокий интерес, даже исторический.

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СЪЕЗД

Если принять во внимание, что вся христианская цивилизация есть специально *мужская цивилизация*, где понятия «гражданин» и «обыватель» оставляют в какой-то тени, оставляют даже без упоминания сопутствующие себе понятия «гражданки» и «обывательницы», то станет сразу ясно, почему в какие-нибудь 50–70 лет вырос громадный «женский вопрос», и вырос бурно, страстно, ломая или усиливаясь сломить множество перегородок старой цивилизации. Он поднялся сразу, как только на нем остановилось внимание. К слову «гражданка» приучила нас пресса, и приучила именно под давлением этого женского движения; в обиходном же житейском языке и до XIX века этого слова не было; «обывательница» – это тоже звучит для уха ново, неловко и непривычно. И только одно слово привычно, знакомо и ласкает ваш слух – «дама». Это слово – «дама» – стало понижаться в значении и ценности именно с половины XIX века, с тех именно пор, как возникло женское движение и в связи с ним; ранее же, в XVIII и в XVII веках, оно царило единственно и исключительно. Не было никогда «мужских салонов», но «дамские салоны» были, заняли даже определенное положение в европейской культуре XVII и XVIII веков и сыграли большую роль в литературе, просвещении и политике. Были, таким образом:

1) дамы,

2) бабы.

А *женщины* не было, или, – так как это дико сказать о половине рода человеческого, – «женщина» потонула, не замечалась в «даме» и «бабе».

Корень этой колоссальной односторонности европейской цивилизации заключается в признанном и пламенно проведенном принципе *духовности* нашей религии, тогда как *женщина* есть выразительница, носительница и, пожалуй, страстная пророчица растительного начала, биологического, жизнетворческого. В этом расхождении все дело. Почти бесполое, отнюдь не плотское, какое-то *шелковое* понятие – «дама» – грустно перевело в себе знаменитый принцип, провозглашенный в начале нашей эры одним из ее осно-

вополагателей, ап. Павлом: «Отныне уж *ни* мужеск пол, *ни* женск, но *все едино* в Господе Иисусе». Слово это с виду как бы манит тех и других к единству, погашает их *различия*. Но *различия* иногда чрезвычайно важны, их нельзя и не следует погашать; если, погашая различия, мы в то же время бессильны вырвать из сознания *один* из различных предметов, мы *уничтожаем, давим, раздробляем* другой. Он тонет в первом. Так женщина в особливости своей природы, назначения, характера, психики и, наконец, положения, прав потонула, исчезла в мужчине. То, что от нее осталось в европейском сознании – «дама», – есть уже, действительно, «ни мужеск, ни женск пол»; и тот шелковый шлейф, который шумит за нею, и заглушает все великое, истинное простое и прекрасное значение, – его как-то хочется сблизить тоже с шелковым шлейфом и широкими, чисто *женскими* рукавами, какие имеет мантия наших духовных владык, в которых тоже «мужеск и женск пол» подавлен. Великое слово *сближения*, какое произнес апостол языков и христианизатор Европы, в судьбах цивилизации европейской обратилось в слово *подавления*.

Европейская цивилизация характерно *не женская*!

Европейская цивилизация до странности, до дикости чужда интересов, забот о *материнстве*, этом центре и зерне женского и женственного.

«Баба» и «дама» точно рождают по случаю: первая существенно есть хозяйка около мужа, вторая украшает общество. Ну, и *иногда*, точно *непредвиденно*, но без того, чтобы кто-нибудь на это внимательно, зорко и любовно посмотрел…

Духовная цивилизация непременно должна была стать *безженскою* цивилизацией, какою-то слишком общечеловеческою, цивилизацией несколько схематическою и отвлеченною.

Кто, сразу увидев это, не поймет сразу же, какая буря должна была подняться в европейской цивилизации, едва взгляд нескольких людей, и затем сейчас же тысяч людей, упал сюда? «*Прав* нам!» «*Возврата* нашего положения!» «*Признания* нашего назначения и величия в нем!»

…«Несть мужеск, *ни женск* пол». Ну, «мужеск»-то *остался*. Как же его стереть, как *все* стереть?! Тогда «женск пол» исчез. Мало кем сознается, но нужно сознать, что колоссальное женское движение все, в сущности, направлено к *восстановлению* того различия, которое «любовно» хотел погасить апостол.

Обратим внимание на следующее.

В древнем мире, когда «женщина еще не была возвышена христианством» (трюизм богословов, причитанье духовенства), везде в Европе, Азии и Африке *служение Богу* разделялось обоими полами, шло от обоих полов, было, так сказать, «на два клироса», и везде, решительно везде, около сонма «жрецов» стоял и сонм «жриц». В Библии, у евреев, были «пророчицы» наравне с пророками. Еврейские женщины нередко становились во главе движения всего израильского народа, иногда они были пророчицами и вместе вождями народными в освобождении от иноплеменного ига. У Плутарха

передается прелестный рассказ о том, как один мудрый грек на вопрос лидийского царя, кого он знал счастливее его (т. е. царя), ответил: «Счастливее тебя, о, царь, я знал одну нашу *жрицу*; она уже была в преклонных летах, и у нее было два сына-юноши. Однажды, когда она, по обыкновению, выйдя из храма, хотела сесть *в колесницу, запряженную белыми телицами*, почтительные сыновья, выпрягши телиц, взялись за нее сами и привезли свою матерь домой. Но когда они хотели помочь ей выйти – они нашли ее уснувшею вечным сном. Без страданий и счастливая, она перешла в ту жизнь». Из рассказа, имевшего свою тему, упоминаемыми подробностями на нас веет таким высоким признанием *материнства*, таким высоким почитанием *женщины*, о каком мы и представления не имеем!

О, как мы *опустились* со своими «дамами»!

Как тусклы, как парадны, как пусты наши «салоны» перед этим древним *жречеством женщин*!

Теперь что же случилось, когда «любовно» слили женщин с мужчинами, сказав: «*Отныне* уже ни мужеск пол, ни женск, но все едино»?

«Отныне» и умолк второй клирос богопочитания; не только нет, но нам уже и дико представить себе женщину как *служительницу Божию*... Алтарь и храм наполнились мужчинами; женщины отодвинуты к задней стене. По городам, правда, «дамы» лезут вперед, но в деревнях вся передняя половина церкви наполнена *исключительно* мужиками; бабы стоят у них за спинами, и как они ниже ростом, то почти не видят богослужения и священника. И ни одному священнику, ни одному архиерею не пришло никогда на ум, *на сердце* сказать *послушной* пастве: «Раздвиньтесь, *дайте место* бабам; они – *жены* ваши, *матери* ваши, – пусть стоят *среди* вас, *наравне* с вами, и так же прямо перед Богом и богослужением». Никому не пришло на ум. Церковь молча одобрила это разделение и отодвигание женщин назад, к задней стене.

Малы эти подробности, а как они характерны, как значащи!

Забытые *другими* заговорили *о себе*! Вот сущность этого движения, содержащего в себе огромные обещания, огромные надежды. Это в смысле человеколюбия, в смысле улучшения положения целой половины рода человеческого, ибо то, что творится в европейской цивилизации, не сейчас, но непременно отразится и на состоянии всего рода человеческого, по главенству, по идейному водительству европейского просвещения. Увы! Это «европейское просвещение» едва ли захочет сливать себя с «христианским просвещением», именоваться его именем, когда в свете восстановленного женского положения будет сознана та горькая, но очевидная вещь, что женщина в христианстве была допущена к известному положению и роли только как «монашенка», в которой умер «мужеск и женск пол», но была в нем отвергнута, как мать и супруга, как родильница и питательница, как земная надежда земных вожделений; отвергнута везде, и лишь кое-где и кое-когда вырвалась к искалеченной роли «дамы». Переворот этот, поэтому, в глубине своей будет и религиозным. Отчего не сказать, что: 1) рабочее движение, 2) женс-

кое движение и 3) просветительное движение суть как бы три реки, три истока, которыми потекла реформация XIX–XX веков, и мы только не узнали ее, потому что она слишком глубока и всеобъемлюща, потому что это уже не есть переворот Лютера, отменившего только высший класс церковной иерархии да починившего мессу и школьное преподавание. В теперешнем же перевороте самые «вышки» цивилизации, сердце ее, легкие ее, все внутренние органы перерождаются, преобразуются.

Как и под всем важным и сильным, и здесь под движением лежат боль, страдание, мука.

Ну, вот кто, например, обращал внимание на следующее: многие тысячи русских офицеров не вернулись с полей Манчжурии. Между ними несколько сот оставили здесь, в России, свои негласные семьи, образовавшиеся вследствие того, что они полюбили девушек-недворянок или не таких состоятельных, чтобы они могли внести за женихов своих реверс в 5000 рублей. Ведь привязанность может возникнуть и не к знатным, и к бедным. Государство на эту потребность человеческого сердца наступило ногою, а «охранитель святыни брака» – церковь – по обыкновению не увидела в этом законе ничего «неканонического». Один «наступил», другой «не увидел», но если вследствие неосуществимости любви многие кончают с жизнью в ранней юности, то в более зрелом возрасте они переступают через «недозволенность» и живут негласно, имеют детей и вообще живут совершенно счастливо, ничем не отличаясь от семей гласных. Разница тут в регистрации: один брак зарегистрирован, другой не зарегистрирован. Больше ни в чем нет разницы. И вот они умерли, умерли *за отечество*, или, как говорит полнее православный народ, «умерли *за веру*, Царя и *отечество*». Что же случилось? Случилось как бы крушение громадного поезда, наполненного исключительно детьми и пассажирками, *матерями и женами*. И в печати нигде не было даже «отмечено» крушение этого поезда, ибо он, как «не зарегистрированный», не значился вовсе «отправленным», хотя кровь есть, кости есть, крушение было. Все эти великодушнейшие девушки-женщины, пожертвовавшие честью и положением в обществе для «защитников отечества и веры», исполнившие христианский закон в такой высокой форме, в какой только это возможно, были *промолчаны* (отсутствие регистрации) *верою и отечеством* (промолчаны и с детьми) и по смерти *кормильцев* своих, мужей и отцов, оставлены на жизнь нищенскую и позорную. О даче им *пенсии и пособия*, о воспитании *их* детей в казенных учебных заведениях никто и голоса не подал. А сами эти несчастнейшие из несчастных и христианки из христиан и *голоса не подали*, потому что они даже не смели *назвать* себя, потому что государство, общество и церковь привыкли, и притом веками привыкли, считать их *поведение позорным*. Между тем они любили, *не изменяли*, *не предали*. Уж такие-то жены и матери не «флиртовали» с посторонними мужчинами: куда тут, – слишком велика боль, слишком велика трагедия! Кто же флиртует на похоронах или заболев: это – женщины, заживо похоронившие себя,

и с детьми, и часто даже не только ради одной своей любви, но и по глубокому состраданию к женихам-офицерам и из безалаберной, гнилой, бессемейной жизни. Их жизнь была подвигом сестры милосердия, – это было часто, слишком часто. Через исповедь священники знали об этом положении, об этих сложившихся обстоятельствах; знали через исповедь же, суть ли они «блудницы», отдававшиеся «кому попало», – *и ни один священник о них не подал голоса*. Что же такое случилось, что лежит в основе факта? Повторяем, нет ни «пенсии детям», ни «пособия вдовам», и нет потому, что дети *в детях не значились*, и жены *в женах не значились*. В основе несколько строк чернилами по бумаге. Священники оттого промолчали о том, о чем узнали на исповеди, что церковь регистрирует браки и рождения, и это они не записали их никуда, оставили в «нетях». «Нет», – ну какая же пенсия тому, чего «нет»! Но как это могло случиться, что от одной строки священника в церковной книге зависит спасение или гибель целой семьи? Священники оттого промолчали, что *сказ* об этом был бы жалобою на то, чему они служат, был бы изменою сану, обету, сути службы. Не может же интендантский чиновник написать в газетах, что интендантство есть ведомство, где воруют. Ему *предварительно* этого надо выйти в отставку или, оставшись, быть сейчас же *судимым*. Но отчего же, *когда* это случилось, отчего сделалось, что мы *сейчас все терпим* то, что *сознаем злом*? Традиция, наследственность, невозможность изменить «преданию», почитать которое указал апостол: «Братие, чтите предание». Священники из истории церкви знают, что «в спасительных заботах о пастве церковь в веке VII, VIII повела энергичную борьбу против конкубината, который в нашем ухе звенит некрасиво, как запрещенный теперь, но ранее VIII века звучал совсем нормально, так как законом он был не только дозволен, но простые, неаристократические классы, наша теперешняя «буржуазия», как равно крестьянство и ремесленники, и не могли жить иначе, чем в конкубинате, т. е. в свободном сожительстве, без регистрации государства и записи церкви. Венчание было разрешено только нобилям. Это было предание языческих времен, когда сакраментальная форма брака, т. е. религиозно-обрядовая, разрешена была лишь потомкам древнейших, коренных, аристократических родов. Церковь добилась разрешения венчания всем. Это был первый шаг, при котором, однако, еще продолжался незапрещенный конкубинат. На этом бы и остановиться: кто избирает священную форму, кто – свою. Но церковь сделала второй шаг. Она стала учить о безнравственности всякого сожития без церковного благословения, а затем добилась издания императорского эдикта, которым конкубинат был совершенно запрещен. При этом, как всегда, «благословение» превратилось в «разрешение»; и с тех пор все «неразрешенные» духовной властью браки и от них рождающиеся дети перестали «регистрироваться» и через то попали в «нети», «небывающие», «несуществующие». Таковым ни имени, ни наследования, у детей отнимались отец и мать, и, словом, юридическое и общественное положение их было таково, что их остава-

лось только убить, что и исполнялось матерями тотчас вслед за рождением младенцев.

Но отчего же церковь так настаивала на уничтожении конкубината, при сохранении которого в законах дети, конечно, не убивались бы? В заботах о нравственности, по любви к людям... «Хочем, чтобы все жили *хорошо*». Но что значит «хорошо»? «По-нашему, с нашего разрешения». Но почему же именно в этой области такой *напор желания* и сознание *за собою права*? Здесь мы и подошли к источнику всего. *Иисус вошел на брак в Кане Галилейской*. Венчание есть как бы образ такого вхождения, и куда церковь не *вошла* или не была *позвана*, тех браков она и не знает, вне этого все есть «прелюбодейная связь», образ не человеческого, а скотского жития. Отсюда – презрение, игнорирование обществом, несмелость даже государства заступиться за девушек, отдавших все, пожертвовавших всем для *защитников* государства же. Отсюда это нерыцарское отношение воинов и всего военного класса к лучшим женщинам, которые как бы заколоты его шпорами, забиты насмерть, и с детьми, чего никто из офицеров не сделает с кавалерийской лошадью. И им дает ведомство «овсеца», но безгласным вдовам и детям их ведомство и «овсеца» не дает. Вместо съедобного, хоть овса, им пришлось вспоминать всухую текст: «Приидите ко Мне все страждущие и обремененные, и Я успокою вас» да читать в Евангелии главу «Во время оно бысть брак в Кане Галилейской».

Не зная подробностей, нельзя ничего понять, ибо все будет без связи. Мы взяли крошечную частность женского дела, женского страдания и осветили ее исторически. Но это – крупица. Если осветить так все уголки женского страдания, получатся томы, целая литература.

Основательности женского движения не понимают не только большинство мужчин, но и огромное большинство женщин. Обвеянные любовью мужей и отцов, окруженные любовью детей, они искренно недоумевают: «Чего *искать*? Мы *все имеем*». Но это именно «мы», и в данном случае эти «мы» забывают, что им все дано *любовью*, а не *юридическим обеспечением*. В уютной натопленной комнате люди не говорят о замерзающих на улице, в поле, в лесу. А *такие есть*. Есть женщины, тянущие жизнь без любви; есть женщины, попавшие в обладание мужей-извергов; есть сестры дурных братьев. Такие в *законе* ничего себе не найдут; закон их предоставил любви извергов-мужей; и церковь, и отечество отдали корову «в христианскую любовь» медведя, который ее дерет. Умыв руки и сказав: «В крови сих мы не виновны; это медведь задрал, а мы стояли в *стороне*». Это *есть*, *бывает*; это – *факт*.

Боль эта, нестерпимая в некоторых точках, и множество подобных болей подняли женщин к движению.

В УЧИЛИЩНОМ МИРЕ

В большой деревянной, дачного типа, комнате собралось избранное, как мне показалось, общество, чтобы встретить *первый выпуск* оригинального русского педагогического детища в Царском Селе, кратко именуемого «школой Левицкой». Все здесь оригинально, от начала и до конца. Это *и* гимназия и *не* гимназия; *пансион* и вместе *отрицание* пансионных форм, пансионного духа. По латинскому языку в объеме мужских гимназий – это типичная наша «классическая гимназия»; но красивые темно-синие куртки учеников и кофты учениц, пунцовый галстух с красивым цветком подснежника, первого весеннего цветка, показывающегося еще из-под снега, – лица, цветущие свежестью, хороший рост, стан прямой, без малейшей сутуловатости, лица поднятые, открытые и смелые, обращение предупредительное и вежливое, без позыва к дерзости и без злобного уничижения – все говорило о каком-то заморском духе, перенесенном в Россию, однако духе не немецком и не французском. Не было этой ужасной печати всех (по крайней мере прежних) русских учеников – трусости и страха, подавленности и лжи, видя которую на лицах стольких тысяч гимназистов, прошедших перед моими глазами, я всегда думал о «русской педагогике» как о чем-то обреченном, над чем самою судьбою поставлен крест. Да, русская педагогика, как она мне известна из практики (не спорю, что ограниченной), может быть не преобразована, не улучшена, а *забыта,* и на ее месте должно быть посажено просто что-то другое. Вот одну из таких «других посадок» и наблюдало небольшое общество 21 декабря в школе Левицкой. Как рассказал в речи своей помощник попечителя петербургского учебного округа В. А. Латышев, школа возникла из затруднения матери, опасавшейся поместить своего сына в школу *бессемейную*, в толпу мальчиков с тем жестким, грубоватым и секретно-порочным духом, какой всегда образуется в подобных школах. Посетив известнейшие учебные заведения Германии, Франции и Англии, г-жа Левицкая остановилась на типе *смешанной* Бидельской школы, около Лондона, соединявшей в себе в здоровом сочетании богатое физическое развитие с науками, и ставившей главною своею задачею укрепление характера, выработку стойкости и инициативы. Понятия и задачи довольно новые для русской школы. «Семья тепла, но *не научна* и *чужда дисциплины*; школа имеет дисциплину и науки, но *суха, черства*; соединим то и другое в *одно*» – вот простой девиз Бидельской системы, и немыслимой без соединения мальчиков и девочек, братьев и сестер в одной школьной группе, в одной школьной жизни. Соединение полов, таким образом, здесь является не одною из задач, не прихотью, не опытом чего-то нового, а самою *душою* всей системы; братья и сестры в ученье не разъединяются, чтобы не испытывать никакого *перелома*, никакой *новизны* при переходе из дошкольного возраста в школьный. Ни правил для этого, ни прецедентов в русской системе образования не было, – пришлось все сотворить вновь, пришлось подвигнуть лю-

дей к сотворению нового. В рассказе помощника попечителя округа была чрезвычайно интересна эта официальная сторона дела, – он передал факты как участник всей работы министерства, так сказать, над самим собою, над своими принципами. В особой комиссии, собранной по приказанию министра из лиц, неприязненных совместному обучению обоих полов, г-же Левицкой предоставлено было *доказать* основательность своей мысли и опровергнуть представляющиеся возражения, сомнения, опасения. Это было сделано не с формальным успехом, но с тем более существенным успехом, что члены комиссии и вместе докладчики и советники министра по данному делу высказались, конечно, свободно и задушевно, в пользу допустимости совместного воспитания и обучения. Но не было форм, ничего не было в «уставах» русских школ, – и начиная с IV класса приходилось министрам каждый год входить с особым докладом к Государю разрешить «открыть следующий класс»... так как первоначально г-же Левицкой разрешено было иметь только «начальное училище 3-го разряда для обоих полов», – согласно уставу. Пройти путь от этого «училища 3-го разряда» до полной гимназии, с курсом мужских гимназий, для обоих полов совместно, – это было невероятно трудно: тем более что это было и не во власти министра, и приходилось самим министрам прокладывать этот путь исключительно через Высочайшие разрешения! Все это представляется в том отношении удивительным фактом, что значит не сплошь же наша администрация состоит из мотивов «держать и не пущать», – но когда снизу пробивается мысль достаточно стойко, разумно и вместе спокойно, без ажитации, жалоб и клеветы, которые, увы, всегда почти являются соучастниками «прошения» в запуганной и обозленной России, то тогда эта мысль находит слушателей, сочувствие и, наконец, осуществляется. В упоминании В. А. Латышева промелькнуло, что при *первых* шагах проект г-жи Левицкой не встретил препятствия в Ванновском, затем был поддержан министром Зингером, и «с надеждою на этот новый тип школы смотрел Победоносцев» – как известно, отчаявшийся и в своих семинариях, и в чуждых ему и не уважаемых гимназиях. То, что в данном пункте не разошлись такие лица, как Ванновский и Победоносцев, много говорит за себя. «Лично я, в давнюю бытность мою директором народных училищ, наблюдал в сельских школах, что там, при неимении отдельных помещений приходилось иногда соединять уже взрослых парней и девушек в одном училище: и ничего худого при этом я не наблюдал», – сказал г. Латышев; и прибавил, что, имея этот опыт, он высказывался в совете министра за допустимость совместного обучения не детей только, но и взрослых. По его участливой, длинной, подробной речи видно было, что без его содействия г-жа Левицкая едва ли бы многого добилась. И что, собственно, ей принадлежит только основная мысль школы, а разработка программ все время производилась в центральных органах министерства просвещения, и в настоящее время наблюдателем учебной части, или, как он официально именуется, «председателем организационного совета», со-

стоит проф. Анненский. Система уроков здесь устроена иначе, чем в гимназиях: они начинаются в 8 часов утра; к часу дня оканчиваются, и затем, после завтрака, идут более легкие уроки, напр. упражнения в разговорном новом языке, французском, немецком или английском. Курс оканчивается в декабре вместо июня, – чтобы желающие подготовиться к конкурсным экзаменам специальных заведений или обдумать выбор себе факультета имели для этого досуг в полгода. Сокращение курса на полгода достигается через большую интенсивность занятий, возможную при малом числе учеников, по уставу школы – не более 15 в старших классах. И вот *первый выпуск* после 7½ курса: окончили двое юношей и две девушки, из них один юноша и девушка – брат и сестра. Г. Латышев упомянул, что от учебного округа на экзамены было послано депутатом лицо строгое и требовательное; а из расспросов я узнал, что испытание каждого из оканчивающих тянулось по каждому предмету около часу, – что и не могло быть иначе при *четырех* экзаменующихся. Мы знаем, что обычно более четверти часа не длится ответ ученика, а часто он сокращается до 5 минут. Отметки на испытании по отдельным предметам были 4, 4½ и немного выше четырех, по латинскому языку 3½ (двоим – 4 и двоим – 3). После акта я спросил молодых людей, куда они собираются: один – в институт гражданских инженеров, другой – в агрономический институт где-то в Германии; одна из девушек останется дома – без продолжения образования. Я заметил, что эти 19-летние молодые люди и 17-летние девушки говорят друг другу «ты» и называют не по фамилиям, а ласкательными именами: Володя, Лиза; все обращение в остальной массе учеников и учениц, сидевших смешанно на скамьях впереди публики, и затем после акта во время движения – было глубоко простое, невозбужденное, не заглядывающее, не подстерегающее. Это было товарищество, возросшее до ощущения «сестры» и «брата» в каждом. Ни одного переглядывания, возбужденной улыбки друг другу, ни одной черточки флирта, всегда присутствующей у нас в смешанной толпе на улице, в театре, даже в церкви – здесь не было. Пол, *подчеркнутый* при разделении, здесь в соединении оказался *зачеркнутым*. По собственному наблюдению (над детьми) в течение трех лет, я знаю, до какой степени в этом соединении умирает самое *любопытство* к другому полу, любознательность к *иному в природе*. Товарищество, дружба или недружба – но тоже товарищеская, учебная, заботливая и ответственная – все заливает собою, сглаживает, стирает. «Некогда, да и не любопытно» – это убило всякую нездоровую фантазию. Один из окончивших и одна из окончивших произнесли прощальные речи в отношении школы: речь молодого человека тянулась почти полчаса. Негромкая, конфузливая, но не чересчур, она была трогательна по проведенному взгляду на себя, и по прощанию со школой, по воспоминаниям «стольких вечеров здесь, проведенных за общим чтением или за слушанием небольших вечерних лекций». Речь, очевидно обдуманная в теме и содержании, тем не менее говорилась, произносилась, до известной степени импровизировалась. Это не было слу-

чайно и непредвиденно: приучение к публичному произношению слова входит в задачи школы. Но это не обязательно, а «кто может и захочет». И к окончившим молодым людям и девицам была сказана речь, очень умная, престарелым законоучителем, далее помощником попечителя округа и, наконец, основательницею школы. «Характер, энергия и стойкость, как и постоянная работа над собою – везде нужны, но нигде так не нужны они, как в нашей доброй, душевной, но безвольной России» – это звучало ученикам напутственным словом. В этом и девиз школы. Я забыл сказать, что по прочитанному г. инспектором Орловым отчету, экзамены по новым языкам (три языка) производились на том языке, из которого был экзамен, без участия русской речи. Лично с моей точки зрения воспитательные цели школы так важны, что я не гнался бы за успехом в предметах: ведь это всегда можно наверстать! Но, конечно, лучше, если и предметы не хромают. Мне, однако, кажется ненормальным, что, как и в прочих русских школах, здесь изучается пять языков, считая с русским! Такого непосильного бремени лингвистики не лежит ни на французах-учениках, ни на немцах, ни на англичанах. Совершенно достаточно, кроме родного языка, знать один новый, но знать в совершенстве! Но, повторяю, – это ошибка *всей* русской системы, *всех* русских школ! Но вернусь к воспитанию. Смотря с невыразимой радостью на это совершенно новое для меня, бывшего педагога, отношение учеников и учениц между собою, на простое и ясное отношение их к учителям, воспитателям и воспитательницам и, словом, на всю эту *дисциплинированную семью*, которая есть в то же время *семейная школа,* я думал, что настанет пора, когда этот тип школы укрепится и выживет старую школу с ее вековыми неискоренимыми пороками, пороками «зачатия и роста», которые исправляются только могилою. Только дай Бог сюда побольше *русского духа*, который придет сюда с некоторою *демократизациею,* но она трудна. Школа, всецело содержимая на плату за учение, не только не имеющая, но и принципиально отказавшаяся от субсидий, с которыми могла бы потерять самостоятельность и «свою мысль», дорого обходится и потому имеет высокую, непосильно для демократии, плату за учение. Замечательно, что сама основательница, заведшая школу первоначально ради своего сына, настолько убедилась в невозможности правильного воспитания детей «под крылом родителей», что отправила его в подобный же тип школы, но за границу. Он на акте был, но уже как «гость», пройдя школу в Царском Селе только до V (приблизительно) класса. Я видал его мельком и раньше, и теперь, – и не могло не кинуться в глаза, что вне «родительского крова» он как-то закалился, посуровел, посерьезнел и сделался в нравственном отношении, в неуловимых подробностях обращения и речи, привлекательнее. «Врач не лечит *родных своих*», – кажется, это применимо и к воспитанию. «Своего» не накажешь как следует, и не по мягкости, а *по неуменью*; не найдешь тона для выговора, обуздания. Невольно голос не так дрогнет, перекричишь или недокричишь. «Публичное и чужое воспитание» незаменимо перед «своим и

домашним» – аксиома, почти не открытая в педагогике. С тем вместе *прерывисто*-далекое воспитание (как я убедился на личном опыте) впервые открывает детям глаза на семью: все не столь близкое – горячее оценивается, все, «с чем надо расстаться в срок», становится дороже. Семья не только не ослабевает и не холодеет от этих вынужденных разлук, а, наоборот, неожиданно теплеет, горячее связывается. Устраняется та «надоедливость» с обеих сторон, которая составляет некоторый первородный грех семьи, очень грустный, но очевидный. Вообще в сфере воспитания иногда открываются совершенно неожиданные новости, и многие «самые бесспорные соображения» падают перед лицом фактов.

ПЕРЕД ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

Снова ты всходишь, вифлеемская звезда, снова смотрят на тебя люди, опять пропоют в церквах: «Рождается Христос»... А человек? Он все тот же, такой же, поют или не поют эту песнь, всходит или заходит эта звезда.

В ночь перед Рождеством как хорошо задуматься о том, что же такое случилось, что мы все такие же и те же, какими были всегда, ничуть не изменившись, ничуть не став лучше.

Не будем риторами и оставим прикрасы: если бы на холодные в эту ночь улицы Москвы, Петербурга, Берлина, Лондона сошел опять Христос, то *нашел ли* бы Он для себя тех *двенадцать*, которые пронесли Его слово по миру? Лондон, Москва, отзовитесь: *есть ли* в вас сейчас *возможный* Иоанн, возможный Петр, возможный Иаков и другие девять? Не станем подсказывать злое слово: «*наверное*, нашелся бы только Иуда, и даже несколько Иуд». Не будем впадать в преувеличение и скажем, что, может быть, Иуды и не нашлось бы. Но не нашлось бы тех *одиннадцати*, которые после вознесения Христа приняли на плечи свои тяжесть *утвердить* на земле Его слово.

Одиннадцать побороли мир. Ну-ка, найдется ли «11» победителей мира, победителей цивилизации, победителей культуры сейчас в Лондоне или Москве, в России или Англии? Ибо от Иордана до Тибра была определенная и могучая *культура*, которую победили одиннадцать апостолов.

Сейчас, конечно, и в самой *возможности* нет ни Петра, ни Иоанна, ни Иакова. Вместо этих «11» нашлись бы сотни тысяч «последователей», сереньких, нерешительных, с пустыми мыслями, с сердцем двоящимся и лукавым... Они продержали бы несколько лет слово Иисуса в руках и затем выронили бы и рассыпали.

Здесь нужно сосредоточиться на *человеческом материале*: апостолы были не просто механическим *ухом*, которое восприняло слово И. Христа, и не механическим *языком*, который повторил и вообще стал повторять

это слово, – нет. По *посланиям* апостольским, которые дошли до нас, видно, что тут было чудное *природное* сердце, природная душа, которая восприняла слово Иисусово и заволновалась им. Этот-то чудный человеческий материал, *не сотворенный, а найденный* Иисусом на земле, у себя в Палестине, в маленьких городках Вифлееме, Назарете, Капернауме, в небольшом Иерусалиме, – этот материал и решил победу в сторону нового слова над словами старыми.

Да и одни ли 12 апостолов? Вот подходит к Иисусу женщина-хананеянка, у которой болела дочь. «Господи, помоги мне!»

Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».

Она сказала: «Так, Господи, *но и псы едят крохи, падающие со стола господ их*».

Какая кротость! Какая чистота души! Какой оборот мысли, простой и ясный. *Это уже нашел Иисус*, ибо ясно, что ответа хананеянки не сотворил Он, она сказала *от себя* и *свое* слово, какое дали ей кровь, племя, семья, обстановка…

Да и она ли одна? А начальник мытарей Закхей: «Он был мал ростом, и, забежав вперед, влез на дерево, чтобы видеть проходящего Иисуса». Как все реально, просто. И *на живость эту* живой ответ Иисуса: «Закхей, слезай! Сегодня *Я иду в дом твой*».

А самарянка-женщина, встретившая Иисуса у колодца, ее ответы Ему, такие простые, такие правдивые? А Нафанаил? Все эти люди *грешили*, но были как-то *просты и ясны* в грехе своем. Обрадованный Закхей говорит: «Господи, половину имения раздам неимушим, *и если обидел кого*, – воздам вчетверо». Значит, обижал же, сердился, гневался, притеснял. Но сердце было отходчивое, не настойчивое в грехе. «Прижало, отжало» – так текла жизнь.

Что же совершилось, что же совершилось, что теперь сердца так запутались и мысли помутнели? Что такое, что закваска бродит, а тесто не взошло? Две тысячи лет бродит закваска – срок немалый, срок достаточный для всяких задач. Нет, если две тысячи лет не «взошло тесто», то явно, что и не взойдет, что-то ему мешает взойти.

Вот мысль, темнее темной ночи, с которою через слезы смотрю я на образ Рождества Христова, где в пеленках чудный младенец лежит перед непорочной Матерью.

Поразительно, что относительную неудачу в будущем предвидел Сам Христос: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, – *пришел враг его*, посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень, и показался плод, – тогда *явились и плевелы*» (Матф., 13).

Явно, что все дело в «плевелах». Не *в земле*, из которой выросли пшеница и плевелы, которые дала *растительную силу обоим*, но в семени, которое *потом* было всеяно *между пшеницею, среди нее, вперемежку с нею*. Если

мы обратим внимание на эти «потом» и «между пшеницею», мы должны, в ответ на горький вопрос о причинах поразительной неудачи христианства на земле, отстранить *почву, землю,* т. е. *первоначальный состав* человечества, *племя, кровь, род* его и их обычные слабости.

Врожденно, сами по себе, все люди – *слабые* Закхеи, «обижавшие других», все – Нафанаилы, «грешившие под смоковницею», все, как самарянка-женщина, «имеем шесть мужей и еще седьмого, не мужа». Но все эти грешники, все эти слабые *чудно восприняли слово* Христово и сделались Его апостолами: *почва человеческая* – она добротна, восприимчива к Евангелию. Засорение не от нее; она, *к несчастью*, способна только воспринять наравне с «пшеницею Господнею» также и «плевелы».

«Плевелы», «плевелы» – *в них* все дело! Кто же их принес, *когда*, как – в этом весь вопрос.

Христос не сказал: выросла пшеница в поле, засеянном хозяином, но *рядом, на другом поле росли плевелы*, и семена плевелов, носимые ветром, *смешались* с семенами пшеницы, и из смеси выросла на третьем поле или тут же *смешанная,* полузлая, полудобрая, *нива.* Он так не сказал. Поэтому нельзя сказать: христианство не вышло тем, чем ожидалось бы, оттого, что из *чистой Галилеи* оно перенесено было *в испорченный греко-римский мир*, к язычникам, и заразилось пороками порочных культур. Нет, Христос сказал не так!

Он не сказал также, что «на том поле, которое засевал хозяин пшеницею, почва *уже ранее хранила семена плевелов*, которые, взойдя вместе с пшеницею, заглушили ее». Таким образом, мысль Христа, предостережение Его о плевелах, скорбь о их появлении не указывают также и на врожденный грех, первородный грех, от Адама идущий.

Христос явно указал, что *после* посева пшеницы придет ночью, т. е. *тайком*, *незаметно, не уловленный*, враг хозяина, и *тут* же, на *пшеничном поле*, посеет свои плевелы! Это указание, несомненно, определяет, что *порча христианства произошла в христианстве же*, в христианские времена и в христианских общинах! Поле искания их суживается!

Не первородный грех!

Не греко-римская цивилизация!

Не людские слабости, немощи, «грабеж», «убийства», «татьба», «ложь», «прелюбодеяние». Я смело говорю это, ибо *когда* же этим не страдало человечество? *Всегда* страдало. Это – почва, земля, тук. Нет, это – не «плевелы»!

Может быть, для того именно, чтобы навсегда освободить «почву людскую» от подобного обвинения в неудаче всего дела Христова, Христос и поставил выпукло Свое отношение *к разбойнику, к мытарю, к блуднице*. Не в этом дело, «не они суть враги Мои», – сказал явственно Христос.

Поле искания нашего очень сузилось. «Пришел на поле *ночью враг хозяина*». Будем искать здесь: пришел *тайно*, никем не увиданный, не заме-

ченный, не схваченный. Не *ереси* ли? Ну, кто же *не хватал* их, не влек на *торжище и не казнил*? Шум их, гром их, словопрения их, наполнившие целые библиотеки, явно говорят, что «плевелы» скрыты не здесь. Враг пришел *ночью*, под покровом *мрака*, а все ереси *до одной* рвались к свету, кричали о себе, излагали свои учения, спорили в книгах и на вселенских соборах! До того очевидно, что «плевелы» всеяны нисколько не ими.

Да это доказывается и побочно: ведь христианство не удалось, не повысило души человеческой и жизни человеческой не у ариан, не у несториан, не у старообрядцев и сектантов наших, а *у нас*, истых православных. Мы *о себе* плачем, глядя на *нашу жизнь*.

Поле искания определилось донельзя; остается только назвать. Таинственный «тать в ночи» есть тень и образ того же хозяина, но только это – другой, противоположный. Притча Спасителя так и выразилась, что «тать» во всем повторяет хозяина и даже идет по его стопам. Тот пришел к полю, этот пришел к полю; у одного зерна в руке, у другого зерна; хозяин сет, но и враг ест. Полное подобие… Однако подобие по внешности, по виду, по образу, по жестам, а внутри – все обратное!

Я не стану договаривать, но, мне кажется, уста читателя уже шепчут название татя. Да и Спаситель ясно указал и разделил:

Доброе семя, дневное, – это семя Сына Человеческого, то, что изрек Спаситель.

А злое семя – это *слово* же, но принесенное потом, после, которое *на ниву, засеянную Спасителем*, легло позднейшим севом. Что же это такое? Нужно ли разъяснять, что оно наполняет все наши библиотеки в том отделе их, который почтительно ставится на первое место, впереди всех наук и искусств.

Науки и искусства – это наши первородные слабости, грехи племени и крови. Забавляемся ими, любопытствуем в них, – это как наша прабабушка Ева. Соглашаемся, что «от змия», но Спаситель-то указал, что *тать* придет потом, после Него, а не что Он *был раньше*, – вот в чем дело. Спаситель явно указал не на науки и искусства, ибо «первый начал ковать железо», и «строить города», и «выдумал музыкальные инструменты» кто-то еще до потопа, сейчас около Адама и Евы. Все это «мытарское» наше, все не более грешно, не более страшно, чем Нафанаил и жена-самарянка, которые «пошли и стали проповедовать Христа».

Да и какой такой *ядовитый* грешник какой-нибудь сказочник, какой-нибудь певун, гусляр или школьный учитель, наконец, звездочет?! Все люди скромные и по существу невинные!.. «Многого *не знаем*», – говорит ученый; «Ничего-то *не могу* выразить, как хочется», – говорит художник. Уже эти признания в своем *бессилии* как-то сродни Евангелию. И там тоже все говорят грешники: «*Не могу*, Господи!» Нет, Нафанаилы «грешат под смоковницей», а чтобы взять и *испортить ниву* Христову, – просто это не идет ко всему их духу, их образу.

Да Христос против *ремесленников* и не сказал ни одного слова, а ремесло – начало и художества, и науки, ибо в ремесле первое зерно *вкуса* и первое зерно *знания*. Ни одного о них слова не сказал Христос, и что люди в житейских своих слабостях не были Ему противны, *не были Ему враждебны*, – об этом говорит нам каждая страница Евангелия. Не Он ли так мудро и *спокойно, без укоров*, беседовал с семимужнею самарянкой, не укорил даже разбойника, спокойно отпустил блудницу. «И Я тебя *не обвиняю*», – сказал Он.

А вот фарисеев, которые *постоянно молились*, которые *председательствовали в собраниях*, которые были *хранителями закона церковного и обряда*, – их Он удивительно не только постоянно корил, но и предостерегал всех от самой «закваски фарисейской», т. е. от *духа* их, от *метода* их, от *пути* их. Это до такой степени, что все Евангелие можно разделить на две половины:

1) положительную: это – *проповедь царствия Божия*,

и 2) отрицательную: это – борьба с фарисейством и «закваскою фарисейской».

Но когда это так, то не поискать ли нам и «татя» ночного среди «фарисеев»? Те, первые, еврейские, умерли, они были побеждены Спасителем, и никто не упоминает о них, не видел их после Евангелия. Но «закваска» их? Ведь это – *метод, дух, способ*. Это – средства *внешнего спасения*, *осязаемая*, видимая *набожность*, в противоположность молитве сердца, о которой учил Спаситель; это – *строгость, подробность* церковных правил, обрядов и *требовательность* к людям в исполнении их, *наказание* людей за неисполнение их. Вот дух фарисейский, вот «закваска фарисейская». Так что же, нет ее у нас? Нужно брать фонарь, чтобы искать постное лицо? Нужно пройти целые губернии, чтобы, наконец, найти «восседающих в церковных судах», ибо, – заметим, – у евреев времен Спасителя и не было другого суда, кроме синедриона, т. е. суда религиозного, ибо евреи и вообще жили *не государственно*, а только *церковно*. Фарисеи и старейшины еврейства – это наше старшее духовенство. Как оно возникло, не говоря о формах, а о духе, ибо формы некоторые упомянуты уже в Деяниях апостольских. Но там был дух один, а у нас? Таинственный «тать» совсем объявился: это – фарисей и его «закваска», которая всеялась в живое слово Христа и сеется теперь *подобием хозяина* на том самом *месте*, *где он сеял*, с соблюдением всего наружного образа его дела.

– *Милости* хочу, но не жертвы, – сказал Спаситель. Это – *дух* Его учения.

«Закваска фарисейская» посеяла рядом с этим плевел:

– Христос говорил не об одной милости, но и *о наказании:* грешникам Он угрожал геенной огненной. Где же та прелюбодейка, которую простил Он? Ведь Он добавил: «Иди и *впредь не греши*». Если был простителен ее грех до Христа, ибо она жила в темноте неведения, *то после Христа ее*

греха нельзя оставить. И мы, которые стоим на страже Его слова, Его заповедей, Его учения, зовем ее теперь к суду *нашему, осуждаем и наказуем.*

Всякий скажет, что мы тут не прибавили ни одного слова от себя к той *схеме*, к тому *духу*, к той *формуле*, к той *логике* и *мотивам*, по коим совершается и совершался всегда духовный суд у нас. У нас, у католиков, у лютеран.

И всякий же скажет, никто не решится отринуть, что это – «закваска фарисейская», до того живая, до того *цельная,* как бы ничто из нее не было разрушено и побеждено Христом.

Христос не победил греха, в *ядовитых* его формах, не простецких, а злоумышленных, потому что Он не победил «закваски фарисейской». И не победил, и не смог ее победить потому, что она приняла *лжеподобие* Христа. Она уподобилась Ему смиренным и кротким видом, уподобилась Ему тихостью, уподобилась тем, что и она учит людей, наставляет их, ведет ко спасению, *оставаясь в сердцевине закваскою фарисейской*, т. е.: 1) требовательностью, 2) строгостью, 3) наружным соблюдением закона, 4) внешнею молитвою, 5) обрядоверою, 6) постом, 7) неснисхождением к людям, 8) превозношением себя над человеческою массою, над «стадом». «Пришел тать в нощи и сеет зерно». Зерно другое – от «закваски фарисейской», плевел. Уже *взыскание*, а не милость, – везде взыскание, обойдите весь круг земной, – милости не осталось ни йоты. Но не было бы упоминания Христом о «ночи», о «незаметном», если бы это взыскание не было обернуто *в словесную форму Христову*. Тут и сказалась «тать» и «нощь», что в самое зерно вложена «закваска фарисейская», злое, немилостивое сердце; *шелухою* же для зерна взято непременно которое-нибудь изречение Самого Христа или кого-нибудь из Его близких, учеников Его, учеников учеников и, наконец, позднейших толкователей, и так далее, до сего дня. Образовалась традиция. Образовался метод. Образовалась школа. Ни на йоту от буквального слова Христа, но внутрь слова вложен наш человеческий злой умысел.

– Нужно казнить эту женщину. Это – зерно, «душа».

– Отыскать в Евангелии хотя крупицу придирки, которая вела бы к казни, хотя какое-нибудь побочное слово, намек, неясное выражение, схематическое выражение, что «грешные будут гореть в огне». Если нет в Евангелии, – поискать у апостолов; если там не оказывается, – у апостольских мужей, т. е. писателей I века. Если бы и там не обнаружилось, – найти где-нибудь в святоотеческой литературе, найти слово гневное, вырвавшееся в споре, в полемике, вырвавшееся среди тяжелых и горьких исторических обстоятельств. Но непременно слово гнева, слово казни, слово взыскания («закваска фарисейская»). И когда это, наконец, сделано, и пирамида текстов, выписок сооружена, – фарисей и сонм фарисеев «смиренно» складывают на груди руки, подымают глаза к небу, творят молитву, торжественно восседают и приговаривают: 1) блудницу, 2) еретика, 3) прелюбодея, 4) разбойника, 5) Нафанаила современного, 6) самарянку современную (6 мужей

и один любовник), 7) блудницу современную, 8) мытаря современного – *к казни*, «не как мы хотим, *но как Ты, о, Господи Иисусе*!»

Сердце оставив ветхое, – надели одежду новую, евангельскую, новозаветную, и слово Христово рухнуло, как бы его никогда и не было. Все осталось по-старому. Христос победил фарисеев. Бежали они, бежали долго, без оглядки, так что и имени их не осталось; пока не сказали: «Да для чего нам бежать? Переоденемся в одежды Христовы, возьмем вид Его, возьмем слово Его и… посеем *нашими руками и нашим сердцем среди людей*. Взойдет совсем другое, чем ожидал Христос, гонитель нас, – взойдет *наше*».

Вот о чем я размышляю, глядя сквозь слезы на вифлеемскую звезду. А что́ она обещала…

ВСТРЕЧА ПРАЗДНИКА

Полевой праздник среди городского шума – вот значение и положение Рождества Христова среди течения всех дней года. Праздник этот сжат, сдавлен: *вокруг* него как все *не соответствует* ему! Невольно вышло так, что он превратился преимущественно в *детский праздник,* – в праздник, который умеют проводить дети, умеют наполнять его собою, и сами наполняются им. Взрослые, особенно в мужской половине, стараясь разогнать угрюмость, кое-как прилаживают себя к этому празднику, к веселью и мелким забавам детей и жен. Но это выходит деланно и неумело, и всего лучше это можно заметить по тому, как это утомляет взрослых. «Елка вынесена; слава Богу, – можно *приняться за дела*», – говорит пожилой отец семьи. «Слава Богу, – убрали этот *детский сор,* и можно поехать *повеселиться по-настоящему*», – говорят взрослые братья и сестры. И только детишкам печально, что елку вынесли: с нею унесли все их детское, то немногое в году, что относится специально до детей, что *принадлежит детям.* Взрослый угрюмый мир страшно разросся на счет наивного, простого, детского. Город и все городское расширилось и задавило собою деревенское, полевое.

Так сложилась цивилизация, – и еще печальнее, что она и дальше двигается в этом же направлении. В интересной книге «Святочная хрестоматия» г. Швидченко, где собрано все относящееся до празднования Рождества Христова у разных народов и в разные времена, передается, что еще в XVIII веке взрослые разделяли вполне и с увлечением народные и детские удовольствия этих дней: на место гуляний, в Петербурге, выезжали императрица, великие княжны и вся мужская и женская знать, которая в ту пору была гораздо менее гибка, гораздо более чванлива, важна и надменна, чем теперь. Но втайне всем хотелось повеселиться, – наивность была сохранена, – и на семь дней праздника сливались вместе, в упоительных забавах, детский и взрослый мир. Теперь мы проще и смиреннее, и кажемся более

христианами. Но нерв веселости умер в нас. Мы состарились, цивилизация состарилась, и только одни дети еще сохраняют талант встретить по-настоящему тот первый день, вернее, ту первую ночь, с которой началось христианство.

Как это грустно! Может быть, все дела наши, большие, взрослые дела, потекли бы яснее и спокойнее, если бы и в нашей душе сохранилось больше простора для вмещения тихих и прекрасных идиллий, которые во всемирном воображении связываются с этими днями; если бы мы были немножко более с народом, немножко более с детьми. Во всяком случае, на эти дни надо избыть политическую докуку. Думские свары и ссоры, подсиживание друг друга, желание «свернуть соседу шею», не буквально, но политически, – всякий почувствует, едва мы назвали эти «злобы дня», до чего же гаже, ниже, замараннее детской высокой елки, с звездою над нею, и детских и женских хороводов, какие устраиваются вокруг елки, увешанной вкусными пряниками, птицами, конями и куколками.

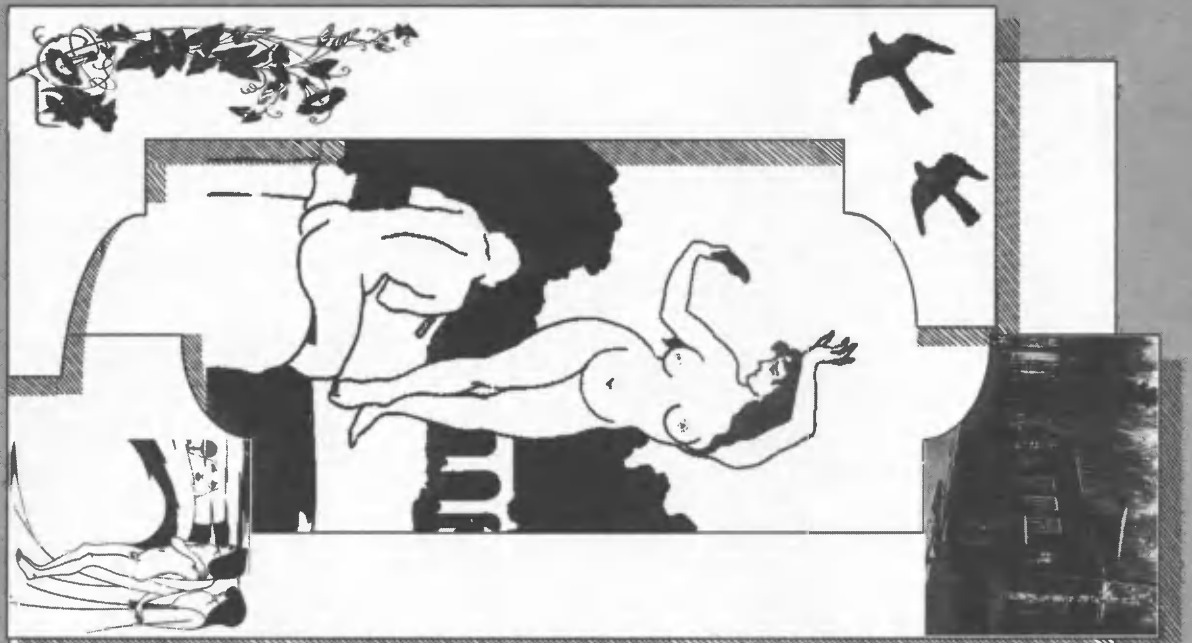
А в самом деле, можно задуматься: как бы долго, сколько веков и даже тысячелетий ни тянулись бы парламентские свары, политическая борьба, из нее никогда, никогда не родится вот такое событие, какое подало повод к сегодняшней улыбке наших домов, к отдыху наших семей. Сколько бы люди ни усиливались *в этой сфере,* какие бы тут таланты ни гремели, – все-таки «Рождества Христова» не выйдет: а между тем оно вышло из недр маленькой страны, без политической истории, почти всегда угнетаемой. Вышло в заключение судеб земли уединенной и молчаливой. В политике и вообще в том «серьезном», чем поглощены наши взрослые люди, есть какая-то самоотрава: чем больше трудятся, тем больше выходит сора. А голубых небес не выходит.

Мы все слишком опустились, слишком оземленились. Воображение наше страшно ограничилось, а сердце стало не то чтобы глухо, а как-то пусто. Ничего из него не растет, как из иссохшей земли. И причина этого – излишество забот, подавляющая масса мелких дел, освободиться от которых нельзя, а труд над ними нескончаем и бесплоден. Все у нас «ежедневное» и все «текущее», – и жизнь утекает, целая жизнь, за этим «текущим», что и имени никакого не имеет. В этом отношении как счастливее нас женщины и дети, у которых главное – в дому, которые идут от дела к безделью, когда выходят из дому! Мужская часть засореннее и грязнее их; и она хуже потому, что гораздо несчастнее их самою сферою своего труда, все внешнего, должного, механического, ответственного, – труда всегда не *для себя,* а для насыщения чудовищной машины цивилизации. В этой машине цивилизации все и дело; она почти не касается женщин, она не задевает детей. И они счастливы и могут с чистым еще сердцем встретить праздник Рождества Христова.

Но мудр тот, кто сознает свое несчастие. И будет тот из нас мудрее, кто сумеет на эти краткотечные дни выйти из своей угрюмости, из своей зам-

кнутости; кто сумеет в душе своей воскресить память своих детских годов, и с этою памятью свежо войдет в женскую и детскую половину дома и скажет: «Ну, я теперь *ваш,* и весь, без остатка, ваш. Делайте со мной что хотите, – сам я устал и уже придумать ничего не могу. Но вы придумывайте что хотите и как хотите, я заранее все одобряю и всех одобряю и буду эти дни *с вами,* с одними вами. Гостей не принимать, иначе как ряженых и для веселья и сами также никуда не пойдем, иначе как к детям и для веселья. Все дела, и служба, и хлопоты, все начальники и подчиненные – теперь побоку. Нет у меня ни подчиненных, нет ни начальства, а вицмундир заприте куда-нибудь в чулан на эти дни, чтобы и не вспоминалось, и не мерещилось».

Так встретить Рождество будет и всего приятнее, и всего здоровее, и, наконец, даже всего богоугоднее. Ибо ни к чему так не идут, как к этому празднику, слова известной молитвы: «Всякое ныне *житейское* отложим попечение».



Письма к Э. Ф. Голлербаху

<ПРЕДИСЛОВИЕ>

Письма Василия Васильевича Розанова (1856–1919) принадлежат к числу тех литературных произведений, которые либо заслуживают обстоятельных комментариев, т. е. обширного препроводительного текста, либо вовсе не нуждаются в пояснительных примечаниях. Опубликовывая их в условиях не совсем обычных, за рубежом России, я склоняюсь ко второму положению. Читателю, хорошо знакомому с творчеством Розанова и способному следить за прихотливыми извивами его тревожной, мятущейся, противоречивой мысли, пояснения не нужны. Читателю, не знакомому с литературной деятельностью Розанова, не интересны и самые письма. Есть еще категория «начинающих розановианцев», желающих уяснить себе писательский образ Розанова: их я отсылаю к критическим статьям, из которых наиболее ценными и важными для характеристики «русского Ницше» являются статьи Н. А. Бердяева (в книге «Духовный кризис интеллигенции», СПб., 1910), Д. С. Мережковского (в XI томе Собр. соч. и в книге «Было и будет») и Волжского (в книге «Из мира литературных исканий», СПб., 1906).

Письма всякого значительного писателя представляют собою драгоценный историко-литературный и биографический материал. Корреспонденция же Розанова особенно интересна, потому что в своих письмах он меньше всего писатель. В них он *человек* прежде всего: «слишком человеческое» насыщает эти письма, переплескивается за края личной «документальности», становится сверхчеловеческим, над-индивидуальным. Наряду с этим, корреспонденция Розанова – *литература* в самом высоком смысле слова, совершенно своеобразный вид эпистолярного жанра. Элементы психологические, религиозно-философские, бытовые и общественно-политические так тесно переплетаются в этих изумительных, нелепых, великолепных и хаотических письмах, так нераздельно связаны с интимной жизнью автора, что образуют какую-то совсем новую, доселе невиданную форму литературного творчества. Элемент «личного» и «частного», «заветного» и «уединенного» превалирует в корреспонденции Розанова над внешним и общим, обостряет его мысль в направлении субъективной восприимчивости до крайних пределов.

Розанов придавал большое значение частным письмам и находил, что гоголевский почтмейстер, заглядывавший в чужую корреспонденцию, был человеком с хорошим литературным вкусом. Письма литераторов казались ему бледными и бессодержательными по той простой причине, что все лучшее – «цветочки» писатели приберегают для печати. Зато письма «частных людей» поистине «замечательны», и сам Розанов пытался в своих письмах быть именно «частным человеком». Это удалось ему, так же как удались «в

частном порядке», «почти на правах рукописи» – «Уединенное» и «Опавшие листья». Письма В. В. можно назвать «литературой вне литературы»: в них внутренняя жизнь как бы вывернута наизнанку, самообнажение граничит с самосожжением, они проникнуты болью, тревогой, искренностью ненасытной; напряженнейшая сосредоточенность духовного зрения странно сочетается в них с почти патологическим распылением, раздроблением внимания.

Моя переписка с В. В. завязалась летом 1915 г. На первых порах письма его были очень скупы, немногословны. Не было надобности писать пространно – мы встречались нередко и беседовали подолгу. Эти встречи относятся к 1915, 1916 и 1917 гг. Вскоре после Октябрьской революции Розанов уехал в Сергиев Посад, для многих его друзей неожиданно. В мае 1918 г. я получил от него первое письмо из Сергиева Посада. Осенью 1918 г. вышла в свет моя первая книга о Розанове, который отнесся к ней с большим вниманием и любовью. В письмах его все чаще стали появляться сообщения автобиографического характера, интимные признания. Никогда не писал В. В. таких обширных, вдохновенных и взволнованных писем, как в этот последний год своей жизни – 1918-й. Всего у меня 32 письма Розанова; шесть первых относятся к 1915 г., следующие пять – к 1916 г., еще девять – к 1917 г. (одно из них вскрыто военной цензурой Врем. прав.) и двенадцать – к 1918 г. Первые четыре письма написаны из Вырицы (Моск.-Винд.-Рыб. ж. д.), где Розанов жил на даче в 1915 г., последующие – из Петербурга, а письма 1918 г. – из Сергиева Посада.

Остается еще сказать несколько слов о внешности этих писем (ведь «мелочи» так характерны, и Розанов их тонко ценил). Ни одно письмо не датировано, так что о датах говорит только почтовый штемпель на конвертах. Иногда письма подписаны полной фамилией, но чаще инициалами или вовсе не имеют подписи. Все письма закрытые, кроме одной открытки. Некоторые написаны на почтовой бумаге «Нового Времени», но чаще бумага случайная – обрывок бандероли, полоска, клочок. Охотнее всего писал Розанов на длинных узких полосках, покрывая их мелкими, бисерными буковками-«раскаряками». Строчки часто кривятся, загибаются. Отдельные слова написаны очень большими буквами, часты подчеркивания двумя, тремя штрихами. Почерк очень неразборчивый, «трудный» («наборщики всегда ругаются», говорил В. В.). Для уяснения смысла различных «интонаций» Розанова читатель должен внимательно считаться с его кавычками и подчеркиваниями. В них звучит его голос, в них – все оттенки его стиля.

Еще одно замечание: дружеская нежность, поцелуи и объятия, встречающиеся в письмах В. В. Розанова, не должны вызывать предположения о гомосексуальной симпатии между корреспондентами. Ее не было и по натуре их обоих быть не могло. Замечание нелишнее ввиду склонности публики к досужим домыслам.

Э. Голлербах

Царское Село, октябрь 1922 г.

<ПИСЬМА>

I

<16 июля 1915 г.>

Спасибо.

О пантеизме: бреду раз по улице – и мелькнуло: мир (Бог?) «строгая ли жена» или «так, девчонка, ко всем обращающаяся»? И меня так обняла красота и одного, – Вы знаете, это «строгая, целомудренная жена», с особым ее величием, с особым ее достоинством, и – *другого:* что я заколебался, «заспешил в душе» и почти стонал: – не знаю! не знаю! – и в тот миг (когда шел по улице) – склонился к красоте «всеобъемлющей девчонки». Вообще можно мир и *так* думать, и *этак.*

«Мистические угадания» (у Вас) – это верно. Именно – угадания.

«Что под пальцами – не знаю, а *что-то есть*». Так мы судим, сидящие в тьме. «Листьев травы» не читал.

За исключением фамилии (немецкая) – мне все в Вас нравится: письмо самостоятельное, сильное, и, думаю, – Вы «выйдете». В студенческом журнале «Вешние Воды» я печатаю – «Из жизни и наблюдений студенчества», – загляните туда.

Лучшее «во мне» (соч.) – «Уединенное». Прочее все-таки «сочинения», я «придумывал», «работал», а там просто – я.

Мне думается, лучше всего, если Вы приедете познакомиться сюда, на дачу, – Вырица (Царскосельской дороги), угол Мельничного проспекта и Среднего, дача 22. Соколовой.

Приезжайте утром, захватите Ваши статьи.

В. Розанов

II

<22 июля 1915 г.>

Вот что значит быть «Эрих», а не благоразумным «Иван». Вы приехали в субботу, – не правда ли, *против моего приглашения* (я не помню), тогда как я мог Вас позвать лишь *во вторник,* и вообще пятницу – субботу я обычно бываю в СПб. И еще такая досада: Вас никто в субботу не встретил, *а Вы никого не подождали,* т. е. просто не уселись на веранде. Нельзя же так «стрелять из пистолета», вместо того чтобы «посещать ближних своих». Прошу Вас убедительно приехать сегодня, завтра, – и вообще *эту неделю* я всю (кроме, м. б., пятницы) просижу дома. Удобнейшее время 10 ч. утра или 5 ч. вечера. Жму руку.

В. Розанов

III

<24 августа 1915 г.>

Не приедете ли, дорогой Эрих Федорович, опять в Вырицу *во вторник,* т. е., вероятно, уже в день получения этого письма, – часов в 5–6 вечера? Буду очень рад. Письмо Ваше «как следует», т. е. как ожидается от «размышляющего на своих ногах» человека.

В *среду* утром я уже выезжаю в Петроград.

Ваш *В. Розанов*

VI

<8 декабря 1915 г.>

Милый Эрих Федорович!

Мне так печально, что Вы ушли так рано.

И так печально, что я глупо вел себя.

И сказал «рану»: насчет Вашего слова (речи).

На что Вы могли бы сказать: «Р-в, разве я говорю Вам, что Вы не умеете вести себя?»

Ну вот: мне *ужасно* хочется, чтобы Вы приехали в следующее воскресенье. Тогда Вы наверное услышите отличную музыку.

Мне вообще Вас хочется видать. Я знаю, что Вы отлично думаете. И что у Вас прекрасное сердце (самое главное).

В. Розанов

Сегодня я вправду случайно был очень *усталый, утомленный.* Но следующее воскресенье буду сидеть дома и будем болтать.

VII

<14 января 1916 г.>

Спасибо.

Ну вот и еще живая личность сплетется в вечность – «милого Го-баха молчальника».

М. б., это временное пристрастие, но теперь я больше всего люблю в личности «частные письма».

В. Розанов

VIII

<Февраль 1916 г.>

1) Мне очень тяжело все, что пишет мой очень милый молчаливый друг – о другом моем друге, В. А. М-вой. Но согласно своему принципу: «Пусть каждый говорит *свое*», и «я не закрою никому *рта*», я не выпускаю этих болезнетворных для меня строк. Верю вполне, что письма М-вой без всякого труда опрокидывают все, что о них пишет Эрих Г-бах: опрокидывают

умом своим, редчайшей вдумчивостью в явления, – наблюдениями в 19 лет, каких я не сделал в свои 59 лет, – каких, я уверен, не сделал и мой юный корреспондент. А что она радуется на дедушку и отца, на бабушку, на соседа по комнате Степаныча, на подругу Калиночку: то, ей-ей, это-то и есть самое лучшее в ней, что она при очень горькой личной жизни, даже при страшной личной жизни, отнюдь в этом «страшном» от нее не зависевшей (это я знаю по выпущенным при печати отрывкам писем), – сберегла столько великодушия и, осмелюсь сказать, – столько величия в душе, чтобы ответить на горе обстоятельств – не гневом и злобою, а любовью и идеализмом. Ведь теперь кого комар укусил – тот хочет делать революцию; кому недодали пенсии или чина – тот клевещет на все отечество. В этом-то *хамстве нашем* – почти все *несчастие России.*

Теперь посмотрите же, как эта девушка в 19 лет, не клоня головы перед колоссами вроде Герцена и Грибоедова, кладет ее смиренно *около* и *к ряду* со своим Степанычем, со старым древним патериком, с солдатами и полицейскими на улице, да только приговаривает: «Пустите сюда и моего дедушку, и папу с мамой». «Аристократы»: да, Господи, отчего нам не порадоваться на «аристократизм» их? Я от души радуюсь, – и их старому роду, и их «настоящей помещичьей жизни», на которую не похоже наше «дачное житье». Слава Богу, что кому-то больше дано Солнца, чем нам. Слава Богу, что в истекшие века или десятилетия было вообще в жизни больше Солнца, нежели в нашу эпоху, так мелкую по размерам и так мелкую по ощущениям. И если бы у нее прошло *чванство* аристократизмом, *от которого себе лично она ничего не взяла, не взяла даже простых удобств жизни,* – но ведь этого же и тени нет, она именно взяла (в душу) гармонию аристократизма и демократизма: и тут сказалось огромное равновесие ее ума и вкуса.

Прибавлю, что письма – совершенно частные, вне всякой мысли о напечатании: и когда я ее спрашивал о ее родных, о дедушке, и как-то заметил в письме, что, «несмотря на ее Степаныча (она мне переслала и 2 письма Степаныча) и на демократический пошиб ее писем, – чувствую в ней самой много аристократизма, но тайного и, м. б., не сознаваемого», она мне ответила просто – «да». Нет, мой милый Эрих очень ошибается, и он не рассердится, если я скажу, что он поставил в письме своем «кляксу», да еще размазал ее локтем, – и вышло совсем и не красиво, и не умно. А такой умный, – и мог бы быть проницательнее.

В. Р-в

2) Не читал и дал бы зарок Г-баху не читать пошлостей. Тем менее – сравнивать с ними людей совсем иного калибра ума и строя души. По моему глубокому убеждению, в силу суждений В. М-ва не уступит никому из «нашей пишущей братии» и не к водопою из «Ключей счастья» ее подводить. Тут просто «мой милый Эрих» ничего не понимает в человеке и в написанном, что он читал (письма В. М-вой). Он не слышит ее души; он глух к ней: и это даже научно любопытно: отчего из двух умных и прекрас-

ных людей один может совершенно не слышать другого?!! Есть, что ли, разные категории душ? Разные камертоны душ, разные напевы душ? Тогда как много разъясняется в судьбах и в ходе литературы!!!

В. Р-в

3) Никогда такого не читал. Зачем вообще Эрих забивает свою голову такою чепухой? Ведь есть Фихте, есть Шеллинг, есть К. Леонтьев, Страхов. Зачем же он выбирает Остолопова?!

В. Р-в

4) Эрих совсем забывает, что одна из прелестнейших книг русской литературы за весь XIX век – *Дневник Дьяконовой* (вышел, кажется, уже 4-м изданием) написан не студентом, а курсисткою из глухой провинции, из городка Нерехты Костромской губернии. И, когда я читал впервые ее дневник, я помню неотвязчивое свое впечатление: «ни один русский студент этого не смог бы написать». Написать и так просто, и так сложно, и так невинно и чисто. Девушка развивается быстрее и преждевременнее юноши, – и, я думаю, в общем курсистки зрелее студентов; хотя годам к 30–40 женщины, может быть, отстают от мужчин.

В. Р-в

IX

<4 апреля 1916 г.>

Нет, дорогой Г., я, конечно, не сердит на В. *душу,* а не отвечал лишь за безумным «некогда» (как и у Вас). «Минуты летят как мыши в Вечность». А только Вы чудак и «капризулька». Фантазер и привередник. Как при Вашем уме и особенно душе не понять разницу между подлыми героинями шлюхи Вербицкой и между «музыкой души» В. М-вой, которая так чудно заключила в мире крота, любующегося при слепоте на солнце, поутру, – и вообще сказала много-много слов, для моих 59 лет – гениальных, правдивых, нежных, любящих.

(Просто Вы сами «слепой крот».) Но Вы и она – это те расходящиеся слепоты, которые друг друга никогда не увидят. А что она «любит себя»: то ведь это *письма к другу, письма интимные, письма доверчивые* (и Вы, как читатель, злоупотребили доверием, и грубо, хотя и в письме тоже интимном: но тут нужен квадрат, куб деликатности, осторожности). Потом: она *отвечала на мои вопросы.* Это я ей заметил в письме: «Несмотря на дружбу со Степанычем, Вы, по-моему, аристократка», «Вы – в деда, а дедушку Вашего я прямо люблю». Но – мои слова, и она на них ответила.

Приезжайте в воскресенье к вечерку, час. в 7. «Помолчим хорошо».

Письма Ваши чуть было не пошли в апрель – май: но уж много очень набралось (письма еврея – Рочко, штук 7) – и отложил до следующего. Я Вас не разлюблю, но и Вы моих любите. Не будьте грубым с В. М-вой.

В. Розанов

<На фотографической карточке:>

<28 апреля 1916 г.>

Дорогому Эриху Феодоровичу Голлербаху – более русскому, чем сами русские, народец довольно плохонький – В. Розанов, коему 20 апреля 1916 г. исполнилось *60 лет*.

X

<14 июля 1916 г.>

«Вот какое милое, какое поэтическое письмо мне прислал мой Голлербах» (я с Вырицы называю Вас мысленно «моим Гол.»), – подумал я, читая письмо, и сказал жене, подавая его.

Она: «Знаешь, я сегодня ночью о нем думала. Отчего он не идет? Позови его».

Ну, вот.

А *сил* нет писать.

Капельки собираю, для работы, для нужного и неизбежного.

Знаете: я Вас совершенно чувствую, как и Вы меня. Только вот разница: в Ваши годы я был страшно жив, но – кажется (не льщу), не так умен, как Вы. Но эти «тени задумчивости» были и у меня.

Ну, вот что: Вы мне как-то очень *подручны,* очень *удобны,* – в силу полного понимания, и мне хочется немножко взять Вас в помощники, в сотрудники. Видеться нам надо безусловно чаще (раз в неделю). У меня в голове много планов, много изданий, мы обсудим их. А годы такие, что надо торопиться.

Вот тут *как я бы в свое время Страхову,* – так и Вы мне можете помочь.

Но не в силах писать.

Поговорим. Приезжайте вечером *не в воскресенье,* часам к 7–8.

В. Розанов

Знаете, у Вас чрезвыч. есть много *музыки* в душе, – и в слове. Музыка Ваша заваливает мысль, всегда тоже ценную и верную (кроме Мордвиновой), но музыка, *тон* – важнее. И даже это абсолютно ценно, и есть то, что придает мировую ценность Вашему лицу, Вашему «человеческому». Уверен, что Вы со временем станете писателем, что этого *не может не быть.*

Тогда только стойте на своих ногах, «ни на чьи ноги не садитесь», но это, кажется, тоже обеспечено.

Вы *любите других* (очень), но *никому не подчиняетесь.*

Подчинение – рабство, подражательность, и оно вообще дурно и вообще никого не достойно. Я думаю, оно также измучивает того, кому подражают, как и самого подражателя.

Ох, опять устал.

В. Р.

XI

<18 июля 1916 г.>

Дорогой и милый Эрих Федорович!

Вы, значит, не получили письма моего? Я Вас звал в будень к себе, ждал пятницу, субботу. Надеялся в воскресенье. *Сейчас* мне напишите ответ: я еще беспокоюсь, здоровы ли Вы?

Господи, я ведь так всегда хотел много с Вами говорить. Только язык нем. Усталость. Работа. «Обязательства» (по газетам).

Но я всегда с Вами отдыхаю, и, когда Вы уходите посидев, – чувствую: «легче». Ведь «сердце сердцу весть подает», а я знал и чувствовал Вас так, как Вы написали в последнем письме, и так же сам себя к Вам чувствовал.

Здоровы ли? Не случилось ли чего?

В. Розанов

XII

<2 января 1917 г.>

Я рад был, дорогой Эр. Фед., получить от Вас письмо. Будьте добры мне сообщить адрес девушки, которую Вы любите, чтобы я ей мог написать и узнать обстоятельнее о Вашем состоянии. Почему Вы в больнице? Что с Вами?

Ваш любящий
В. Розанов

«Восточные мотивы» подвигаются, и «Вешние воды» существуют.

XIII

<14 марта 1917 г.>

Очень радуюсь, милый Голлербах, поправлению Вашего здоровья. Целую Вас и обнимаю.

Поклон папе, маме и брату. Жду Вас около 7-ми часов вечера все дни недели, кроме среды и субботы.

Любящий *В. Розанов*

XIV

<31 марта 1917 г.>

Юноша подошел к седому камню. И говорил, говорил. Камень молчал.

И подумал юноша: вот люди, вот мир.

Но камень все понял. Все услышал. И было хорошо камню от речей юноши. Но молчал он не от глухоты, а только от того, что «к могиле речи бывают редки». Милый Г., никогда я не встречал человека до такой степени полного вниманием. Ваше внимание (души) пропорционально только Ва-

шему – «вечно немой». И сколько, сколько бы прежде я Вам писал. И писал я бездны – другим. Тоже хорошим, очень хорошим. Но уже не такие внимательные.

Это было еще года 4–7 назад. Не говорю о моей юности, когда я плакал в речах и письмах. Теперь мне письмо в 3 строки «ад».

Люблю. Целую. Обнимаю. Приходите.

В. Р.

Папе, маме и «ей» привет.

Отдал стихи наилучшему из редакт. «Н. Вр.».

XV

<6 апреля 1917 г.

На визитной карточке Голлербаха>

Эриху Федоровичу Голлербаху
Он мне прислал карточку обширную,
как Черное море,
Или как штаны самого пьяного
казака.
А сам носа своего не кажет,
Этот жестокий Голлербах, гордый, как
Эльбрус или как тощая Гиппиус.
И сердце мое томится, а душа злится,
Что я не вижу моего доброго Голлербаха,
Такого доброго, такого приветливого,
И вовсе не похожего ни на Эльбрус, ни на Зинаиду,
И тем более ни на грозного казака,
А только на единственного самого
Голлербаха.
Который или молчит, или мычит, и
ни единого слова не
сказывает,
Но с которым мне безотчетно
хорошо сидеть нос с носом,
Потому что у обоих нас в душе
поют песни
И мы оба знаем, о чем эти песни
поют…
И я жду его, как Ясную Погоду на Шпалерной…
Жду… жду… а он все-таки не приходит…
П. ч. он если не полная свинья,
То все-таки маленький
поросенок.

XVI

<20 апреля 1917 г.>

Я всегда скучаю без Вас, мой милый и *благородный* Эрих. Ведь в Вас ничего *нет низкого* – и это ваша отличительная черта. – Это не преувеличение и не комплимент. И вот когда мне грустно, когда случился душе укус (а сегодня случился, даже 2), – я всегда вспоминаю Вас и думаю, отчего около меня нет Эриха?

Мне очень нужна статуетка (маленькая) Гора в виде орла с фаллом, оканчивающимся львиною головою. Я ее искал у себя и не нашел. Если она у Вас – перерисуйте ее и привезите поскорее.

Любящий *В. Розанов*

Дурацкое «1-е мая».

XVII

<27 апреля 1917 г.>

Дорогой мой Эрих, – оказывается, рисунок с фалл. в виде львиной головы был сдан мною в цинкографию Голике, – и я его *получил.*

Рисуйте *от руки* линии прямые. По линейке – мертво. А мертвого в Египте нигде не было. Вообще поступайте по своему художественному вкусу, как он Вам укажет и еще лучше *как вдохновит Вас.* Приезжайте. Укусы прошли, и теперь все ладно.

Люб. *В. Роз.*

XIX

<Лето 1917 г.>

Что́ это, Эрих Фед., Вы написали безучастно отдаленно: «Милост. госуд.» В. В. – Это не хорошо. Не хорошо б. далеким, когда другой «идет ко мне».

Рисунки отличны. Спасибо. Целую. Отчего столько времени Вас нет? Пришла книжка об Инн. Анненском, и хочется Вам дать.

В. Роз.

XX

<12 июля 1917 г.>

Удивляюсь, как я не узнал в «мил. и прелестном Голлербахе» черт возможной грубости и *эгоизма:* что Роз. должен? Забыть жену, детей, заботу о деньгах (ничего не печатают), забыть ужас в России, все «отчаяние русского человека о России», и писать письма к найденному им Эриху.

«Забудь мир и пиши письма к Лауре». «А иначе он ответит ядовитой строкой из Ницше». Полноте, мой *милый* Эрих! Все это глупость и пошлость

(т. е. и *письмо* Ваше). Людям *трудно,* людям *тошно,* а Вы все с «я», «я», «мои 17 лет». Тут жиды насколько мудрее и благороднее нас с их уважением к старости и к *поту* человеческому.

В трамв.

XXI

<9 мая 1918 г.>
Великий четверг, ночь.

Только что простоял «со свечечками». И опять пережил это умиление. Но как насчет «свечечек» у меня *уже* написано в «Апок.», то слушал особенно внимательно и вразумительно. И вот – впечатление: «Нет, что-то *надо выбирать: или* Вет. Зав., *или* – Новый. И *тогда* – только Новый, или же *один* только Ветхий». Тут, в 12 Евангелиях, все так сплетено, все связано таким железом, так сковано (помимо Евангелий, какая и *работа* церкви, и как все *мудро* устроено, выбрано, какое чтение, припевы, *музыка* припевов), что, конечно, всем «Каиафам» несется такое проклятье, – проклятье «до того света», до «преисподней», – такое проклятье самому Иерусалиму, со всеми его Ваалами, с толстыми беременными брюха́ми, со «жраньем идоложертвенного», или вообще «жертвенного мяса» (ихние *просфоры*): что, конечно, *или* христианство – и тогда – трижды прокляты, сто раз прокляты все Иерусалимы, и, знаете ли, с ним прокляты и Афины, и Рим, и Пергам, «весь эллинизм», а мы останемся только «с чистыми девами», с моими вот «Верочками» (монашка-дочь, да – я вижу – *на тот же путь* выходит и Таня, находящая утешение только в Церкви, только в Храме, и всегда на службу спешащая к самому ее *началу*) и… с г. г. Добролюбовыми, с Вольтером и «вольтерьянцами»… Что́ за судьба (говорю об Европе): или – монастырь, или уж если отрицанье – то такое дьявольское, с хохотом, цинизмом, грязью и… *революцией*… Знаете ли, друг мой, не будь этого *ужасного* религиозного цинизма в Европе, м. б., я всю жизнь простоял бы «тихо и миловидно» «со свечечками», и переживал я бы только «христианские (православные) умиления». Но *хохот* над Богом давно поражает меня, хохот – самих попов, хохот – самого духовенства, хохот, напр., проф. Дух. академии (Флор. говорил: все они *единственно потому* занимаются богословием, что вот «есть книги по богословию», есть «литература богословия», и – *больше ни почему*): в душе их живет такой *атеизм,* какой и на ум не приходил Добролюбову; все они грязные, с *анекдотцами,* религиозные циники. И вот, мои Вера и Таня, *безграничные дети,* святые: но *откуда* эти мерзавцы? И вот, я думаю-думаю, думаю с 1898 г., с «Русского труда» Шарапова, а в сущности, – ранее, ибо ведь я начал с «Исторического положения христианства» (речь к 900-летию «крещения Руси»), и, в сущности, вся моя жизнь прошла на тему о христианстве. И вот: *откуда* же «Вольтер и вольтерьянцы», и можно ли представить себе жидка, чтобы он так захохотал над Моисеем? Ни-ни. Но больше, дальше, глубже: Вы знаете, что Алкивиад был осужден в изгнание за то, что осме-

лился посмеяться над (говорят – «фаллическими») статуями богов ночью, «в худой компании собутыльников». Время Алкивиада – уже время «нечестия афинского», время decadence'а эллинского, время – Пелопоннесской войны = теперешней нашей мировой войны. И, значит, не только в Иерусалиме, но и в Афинах «Вольтеру не дозволили *быть*». Отчего же в Париже был «Вольтер», – также Diderot, Helvetius, etc., да и раньше – Боккачио и его «штучки». Вы помните эту невыносимую грязь Декамерона, это «сальце», эту «скверну», этот подленький смешок, хуже Фед. Павловича Карамазова. Ну, так *откуда* же или «чистые святые девы», или – «нет Бога и не надо его». И вот, вся жизнь моя прошла в теме: *откуда* в Европе «подлое издевательство над Богом»? И решил я: да – *оттого,* что в Европе – не Провидение, а – Христос, не Судьба – а опять же Голгофский страдалец, с этим «выбросом к черту» Иерусалима, Афин, рая, Древа Жизни, и вообще *всех этих в основе,* конечно, фаллических «святынь» = скверн. В еврействе это путается: «святыня» и «скверна» – *одно.* В одном рассказе (бытовом) у Ефрона рассказано, что какой-то раввин, или «цадик», или меламед (школьный учитель), будучи раздражен, кричит хозяевам дома («тутошним еврейчикам»): подайте *таз,* я должен *умыть* руки, потому что я в гневе и боюсь – не удержусь произнести Имя (т. е. «Иеговах»). Я, как прочитал, ахнул: «Ах, так *вот в чем дело*: нельзя «произнести *Имени*» и не умыть руки сейчас после произнесения». Это совершенно одно и то же, что было в знаменитом Иамнийском собрании, когда определялся «канон» юдаизма, т. е. когда отделялись *подлинно* боговдохновенные книги от сомнительно-боговдохновенных книг. Решали по определению: «Какие книги суть те, к *пергаменту коих* прикосновение рук – *оскверняет* эти руки». Иамнийское собрание было перед самым разрушением Иерусалима Веспасианом и Титом. Вы видите, что тут есть связь, *сходство* с шалостью Алкивиада, как он «обломал фаллы» у фаллических богов. Историки ни о чем не подумали, а Розанов догадался, что то, что́ в Афинах было *тенью,* в Иерусалиме – было *существом,* что, собственно, за *спиною* Иерусалима и с защитою Иерусалима – держался весь античный мир, все эти «Ваалы», «Астарты», «Весты», «Дионисы» и прочая дребедень. Что, в сущности, важен был не Дионис, а «горящий терновый куст», который увидал Моисей, – горящий, горевший, и – это – тоже – Солнце, вечно горящее и не сгорающее. И вообще:

Какое хочешь Имя дай
Моей поэме полудикой…

Но в основе лежит – именно фалл. Уже приехав к Сергию-Троице, я рассматриваю Фридлендера, «Koptos», и вдруг увидел у него изображение Бога Сина (Син'ая): какое? Изумительное: статуя держит *в руке правой* – фалл. Помните, я Вам писал из Питера, что суть религиозности проистекает из одного *порока.* Когда я с изумлением, какого описать не могу, рассматривал странно дикую статую Sin'a, я вдруг убедился, что моя догадка совершенно истинна. «Бог» приблизительно занимался этим «пороком». Ну, что же мне делать, не выдумывать же. Что мне за дело, что «древние», со времен Мои-

сея, а наверное, и раньше – так сделали «статую», которую подобрал Фридлендер. «Не я же виноват», т. е. не Розанов же. Христос-то, конечно, все это знал («Провидец»), и достаточно было ему или Ему а'фаллизировать религию, чтобы уничтожить вообще религию, самую суть ее, источник ее, Древо Жизни (= Фалл). Достаточно было ему сделать то, что Алкивиад сделал в Афинах, чтобы все Соломоновы храмы полетели к черту. Теперь, что же такое «12 свечечек», т. е. 12 евангелий, которые выслушиваешь «со свечечкой». Это – рассказ о невыносимых страданиях, о невыразимом благородстве души, величии и красоте слова и Слова, при которых как-то «фалл вообще не поднимается». Собственно, Христос поднял знамение слова, чтобы навечно победить Фалл, – и *для этого* – для одного этого – пришел. И – все сказал, и все – сделал. Это есть ноуменальная сторона Евангелия. Я даже не знаю, *был* ли Христос (ни одной буквы о нем нет у Иосифа Флавия, *поразительно*!!), перед нами лежит только чудодейственная *Книга Евангелий.* Иногда мне кажется (или казалось), что «никакого Христа не было», а есть *рассказ* о Христе, – рассказ, убивающий собою фалл. «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные – и Аз успокою вы». При Таких Словах – «извините, не до эротизма». «Извините, тут не Венерой пахнет». Вообще, из *текста* Евангелия совершенно естественно вытек монастырь. Монастырь – а'*vit'*ализм. «Нет жизни, не нужна». Скорбь и скорбь заливает все. Но тогда *как* же? Надо – жить, остается – жить. Все-таки ведь *остается* же и нам *нужно* жить. И вот – «живут», но – «прохвосты». Боккачио, Вольтер, Герцен. «Живет» революция, хамство, подлость. Нет – Алкивиада, есть – Чичиков. Нет – мотылька, оборваны его золотые крылышки; «супротив его» – мужик хам и революция. Я не понимаю, как у Вас при В. уме не связывается все в одну картину. Для меня без'Божие жизни так объясняется. И вот – смотрите: Достоевский с «карамазовщиной», – К. Леонтьев с его эстетикой – какое все это уже антихристианство, какие опять Афины и Sin'аи: знаете ли Вы и догадываетесь ли Вы, что именно в России и суждено прийти Анти'христу, т. е. попросту «опять восстановить фалл», обрубленный Алкивиадом и изничтоженный окончательно Христом. Достоевский – это опять теизм, К. Леонтьев – вновь порыв веры, уже не то, что «евангелики» Толстой и Чертков. И «Розанов» естественно продолжает или заключает К. Леонтьева и Достоевского. Лишь то, что у них было глухо или намеками, у меня становится ясною, сознанною мыслью. Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться. Говорю, п. ч. я все-таки более их мыслитель («О понимании»). Вот – и все.

Но дело идет (и *шло* у Д-го и К. Л-ва) именно об антихристианстве, о победе самой *сути* его, этого ужасного а'fallism'а: когда из него-то, из фалла – все и проистекает (обрезание).

Ну, устал. Ах, дойдет ли до Вас это письмо. Уведомьте меня о получении его. «Сею рукопись писал и содержание оной не одобрил».

Устал. Addio*.

В. Розанов

---

* Прощайте *(ит.)*.

XXII

<7 июня 1918 г.>

Из золотого, прекрасного письма Вашего, милый Эрих, я беру одно выражение: «и т. под. социал-демократическая сволочь» или «всякая соц.-дем. сволочь». Уверен, в Германии во дворцах так и говорят, с этим оттенком бисмарковского высокомерия и презрения. Не так у нас в несчастной России. Несчастная, глупая, болтливая Россия дала, *позволила* сгноить себя этой «соц.-дем. сволочи». Это было гнилым погребом России, *куда* все валилось, проваливалось. Провалилась сюда литература; провалилась, с времен Белинского, вся журналистика, вся *критика,* т. е. уже значительный и достойный *отдел литературы.* Между тем по Вашему величавому и *спокойному* выражению это просто только «соц.-дем. сволочь». Не буду в литературе и в жизни, в быту и разговорах, употреблять о ней других выражений, чем это. Вся семья моего покойного брата, патриота и катковца, славянофила, провалилась сюда: прелестные дети, чистые сердцем, «ушли» все в соц.-дем. «сволочь». Мать их гнила в тяжелой болезни, слепая, а они никакого внимания на нее не обратили, не лечили, не помогли, всецело отдалися на служение этой соц.-дем. сволочи. Вы знаете, что мое «Уед.» и «Оп. л.» в значительной степени сформированы под намерением *начать литературу с другого конца:* вот с конца этого уединенного, *уединения,* «сердца» и «своей думки», *без всякой соц.-демократической сволочи.* Жажда освободиться от нее, духовно из нее выйти – доходила до судороги и сумасшествия. Гениальные «Записки из подполья» Достоевского – есть почти бессильная борьба с «соц.-дем. сволочью»; прекрасный и героический Родя Раскольников – борется с нею же; «Бесы» и «Бр. Карамазовы» и особенно Легенда об Инквизиторе – написаны на *тему* же этой борьбы. Карлейль и его борьба за германский романтизм, борьба против «механической мельницы» «соц.-демократ. принципов» – пошла *сюда же.* Вообще замечательно, что первые умы Европы вынуждены были бороться против нее. Умы, совершенно понимавшие ее достоинство. Целые семьи (Корнилов: «Семья *Бакуниных*») были окрашены ею, и без этой окраски, в сущности, в *падаль, падший дух,* не получили бы значения и прожили бы мирными и тихими провинциалами, к облагорожению всего дворянского сословия, всего русского старого быта. «Выехать в столицу» и «в столичную *штучку*» – это и значило попасть в соц.-демокр. течение, приобщиться соц.-демокр. течению, начать писать в соц.-демокр. журнале или соц.-демокр. газете. Я уже давно писал в «Русск. Вестн.» и «Русск. обозрение» и не обращал внимания, почему на меня никто не обращает внимания и мне все не платят гонорара, пока один *знающий* чиновник контроля <не> сказал мне: «Писали бы в *Русской мысли,* – там – хорошо платят» (времен Гольцева). «Тс!» – «Хорошо платят». Суворин в «Нов. Вр.» *начал* «хорошо платить» с самого же начала газеты, и к нему «все пошли» (а *кого он не* принял *за бездарностью,* несусветно на него обозлились, и вот «судьба Суворина в литературе» и «в литературном

мнении»). Теперь обратим внимание, что, получив 5 000 000 000 контрибуции с Франции, Германия $2^1/_2$ миллиарда потратила умно на поднятие германской промышленности и $2^1/_2$ мил-да на «аванс победы над Россиею». На $2^1/_2$, т. е. на % с пятисот миллионов, можно было кормить всю ненасытную печать и Германии, с ее «Ворварт» («Вперед») и – *России.* И вот «расцвет» и «хороший платеж» и журналов Стасюлевича, Михайловского, Щедрина, Гольцева. Расцвет и вообще *устойчивость, твердость* русского соц.-демократ. течения. Разумеется, Германия предпочитала не платить там, где ей служили «из добродетели», но, несомненно, при малейшем недостатке «добродетели» она сейчас же начинала платить. Вы знаете, что почти в 1-й же день объявления войны Германией Франции «предательская рука просунулась в окно ресторана и застрелила французского соц.-демократа, шумевшего в парламенте». «Тризна прошла по всей Европе». «Как смели убить такого благородного защитника неимущих классов». Между тем убили только рептилию германской полиции, и *кто убивал* – знал, *с кем он имеет дело.* Между тем эта рептилия шумела на всю Европу, и русская печать захлебывалась от перевода его речей. Забыл фамилию. Об нем писал как-то Мережковский. С другой стороны, я диву дался, читая лет 6–8 назад в «Вестн. Европы» беллетристику, как «в дому соц.-дем.»-«парламентария», Либкнехта или Бебеля, «был сервирован завтрак». Ели не как Розанов с семьей – творог (не более раз 6-ти в зиму 1917–1918 гг.) и без сметаны: «кушали, можно сказать, рябчиков с золотых блюд». Даже – фазанов с серебряных тарелок. «Что за диво». Я читаю и не верю. «Может ли *быть*», «ведь соц.-демократия умирает *с голоду*», «ведь это страдальцы *за народ*», за *«нищую братию»*. Но Максим Горький, «бедный» Максим Горький, тоже знает, «с каких ему тарелок кушать», и, кажется, он тоже «сошелся с Морозовой», а не с курсисточкой.

Вы помните эти заявления, эти перепечатки в русских газетах: «В рейхстаге германском представитель соц.-демократической фракции *сделал заявления*». И все они вечно делали заявления, и вообще шли и ходили вечно под рекламой, именно – под красным флагом, и никак не менее. Помните и знаете «торжества *1-го мая*». Они тоже гремели на всю Европу, и *германское правительство делало вид, что им испугано.* Я еще студентом прочел, т. е. сколько лет тому назад прочел и *все время носил в сердце гной убеждения,* что «Бисмарк вел тайные переговоры с Фердинандом Лассалем». Фердинанд Лассаль был ничтожный хвастунишка, а Бисмарк, очень м. б., что и «вел с ним переговоры», т. е. Лассаля пригласили явиться в кабинет князя, и князь «на этот час не велел никого принимать и услал прислугу» и «даже не дал подслушать жене». Но наверное, он, «поговорив», ни с чем отпустил хвастунишку-социалиста, сделав, однако, *шум на всю Европу,* что *«германское правительство* испугано агитациею Лассаля и склоняется к миру с ним, к мирным уступкам в пользу рабочих классов». Раз реклама – за соц.-демокр. печатью дело не станет. И вот я студентом прочел, и мое сердце на 30 лет затомилось. «Значит, – сильно», «сильнее кошки – зверя нет». Далее:

«*катедер*-социализмус». «Социализм овладел и *наукою*», «*университетом*». Русские дурачки профессора зашевелились. «Тут и А. И. Гучков», и «Янжул». Пошли скакать «Русские Ведомости», Вы помните, как Суламифь скачет:

«Я несусь по лугам, по лесам козочкой».

И вот мне не столько трудно и больно от того, что Германия победила Россию, – это было очевидно с самого начала войны, кто победит, *трудолюбивая* ли Германия или пустая и болтливая Россия, – а что для победы она выбрала такое дурное, такое сгнаивающее всю цивилизацию средство. Это было уже против принципов самой цивилизации, это было изменою самой цивилизации. И что было гнусно и подло, то это – то, что «соц.-дем. сволочь» шла и выступала как «новая *религия*», «на смену *христианства*». Христианство, положим, прогнило (см. мой дальнейший «Апокал.»), и не о нем речь: но есть гениальный юдаизм, пророки, *весь* Ветхий Завет, и Иов, и Руфь. Это уж не реклама и не берлинская полиция, это глубина и поэзия. «Соц.-дем.» окрасила весь горизонт Европы в свой цвет; это какая-то «неприличная история» в «хорошем дому Европы»: хозяйка связалась с прислугой, или еще хуже – «матрона дома полюбила осла», как в «Золотом осле» Апулея. Вот такое «скотоложество Европы» представляет собою и «соц.-демокр.». Какой бы расцвет – после Шеллинга, Фихте, Гегеля представила собою Европа, если бы не эта гнусная политическая веревочка.

Очень сердит, что Вы женились не на той 30-летней прекрасной особе, карточку коей я видел у В. на столе и которая так заботливо и в страхе говорила со мною по телефону во время В. сумасшествия. Видно, что она Вас любила, и как же Вы *смели разлюбить. Бессовестный.* Очень сердит на Вас. Дело любви – самое великое. И оно должно быть кристально чисто, особенно в Ваши годы. Однако любящий

В. Розанов

Что же Вы об «Апок.» мне ничего не написали? Скучно? А я *очень его полюбил.* В моих мыслях хр-во теперь разрушено.

В. Р.

Нельзя ли Сп-му прислать немножко денег за мою статью в пасхальный № газеты? Я работал, я старался, усердствовал. *Напомните ему.*

Семья наша голодна. 12-й день – ни хлеба, ни муки. Хоть бы кашки немного.

XXIII

<8 августа 1918 г.>

Как я благодарен Вам за *конкретизм,* за это отсутствие невозможной, *подлой* алгебры, которою историки и биографы покрывают не только *святыню* истории, но, наконец, и живые человеческие лица. Ведь человек «мор-

щится»: и куда же алгебраист денет его сморщенность. (Идут, шумят.) А то «залетит в душу ангел»: и «алгебраист» пусть даже фотограф – схватит только его «пятки», которые можно принять и за пятки черта…

И – это Ваш дух, прелестный дух: сопровождать «стихами поэтов». Как *улучшился* я и от Брюс., и от Верлена (стр. 37): «клянусь – это *не* я»: но, бедный человек: как хотелось бы *и мне* быть таким. И вот пусть в душе далекого потомка (Ваша биография – единственная, которая будет и через 100 лет читаться, ибо по ней единственно «что-нибудь можно узнать о Р-ве») (прочие же ей-ей писали чепуху) пусть он подумает, что я:

Из жизни медленно-тягучей
Создал трепет без *конца*

(это так и *есть*) и еще лучше:

Je ne vois plus rien,
Je perds la memoire
Du mal et du bien.
.....*

О, как это прекрасно. И вот милый и добрый Голлербах: не завидуйте русским, которые все у себя охаяли, все исплевали и изругали. Помните, что человек ужасно *несчастен,* и положите ему венок на голову, когда он и не заслуживает.

Я так благодарен немцам и жидам, что они часто любят и (о, чудо!!!) уважают русских. И, ей-ей, часто в ночи просыпаюсь от этого и почти всегда плачу слезами благодарности.

Вы знаете, я переменился к евреям. Я теперь полюбил их, и, думаю, – *последнею и вечною любовью.* Но тут много тайн. В основе: это есть самая нежная и *деликатная* (единственно по-настоящему деликатная) раса в истории. «Видел, видел, видел!!! Знаю, знаю, знаю!»

Еще, что мне «обещает в Вас» – это что Вы *заметили* о destinationes rerum** и о разговорах с М. П. Соловьевым: и опять заметили со всем *оттенком личностей.* Это так поразило меня и безумно *удивило*!!! Ведь «о *чем* я не писал». О *всем* писал? Ни за что бы Струве этого не выбрал. И Перцов только бы разве *отметил,* «между прочим». Я думаю, и Мережк. построил бы лишь *схему.* Вы же взяли это как-то махровисто, рыхло, прямо указав как *на главное,* и с тем естественным и натуральным чувством, что это, конечно, главное. Между тем и до сих пор я живу только этим.

Шарапов, грубый и глуповатый человек, говорит раз Рцы (И. Ф. Романов) (это я узнал в передаче Романова): «Страшный Роз-ов человек: он как будто ничего не читал, ничего не знает – а *все узнал из вульвы и фалла* и отсюда вывел всю свою философию» (или «отсюда написал все свои сочинения»).

---

* Все окутала мгла. / Я не помню уже. / Ни добра и ни зла... *(фр.)*

** определения вещи *(лат.).*

Когда Рцы мне это передал – я промолчал, или – «продолжал смеяться недоконченным смехом, относящимся к предыдущему разговору» (обычный мой прием «пропускать вещи»). Но возможно и то, что Шарапов ничего не говорил Рцы, а Рцы мне сделал этот вопрос *для испытания.* Теперь я Вам скажу кое-что эдиповское. Моя мама, моя мамочка, моя дорогая и милая, всегда брала меня в баню: и с безмерным уважением я смотрел на мелкие, мелкие <нарисовано> складочки на ее животе. Я еще не знал, что это остается «по одной после каждых ро́дов», а нас было 12 у нее. Затем: она захварывала очень медленно. У нее были какие-то страшные кровотечения, «по тазу» (т. е., вероятно, и мочою). «Верочка уже умерла», когда мне было лет 5, а Павлутка не возвращалась из Кологрива, где училась. Федор – брат был разбойник, Митя добрый и кроткий («святой») был полусумасшедшим (сидел в психиатрич. больнице), а «здоровым» был слабоумным. Сереже – 3 года; а мне от 6 и до 9–10, 11 лет. Когда мама умерла, мне было лет 11 или даже 13 (1870 или 71 год). И вот, за мамой с женской болезнью я должен был ухаживать. Раз я помню упрек такой: «Как это можно, что она Васю заставляет ухаживать. Неужели никого нет». Но – *никого и не было.*

Бедность. Ужас. Нищета голая. Конечно, – никакой никогда прислуги. Лечение же заключалось в том, что, мешая «в пропорции» молоко с шалфеем, – я должен был раза 3–4 в сутки спринцевать ее (она сидит, вся открытая) ручною спринцовкою <нарисована спринцовка>, какою пульверизируют пыль. *Мистики половых органов мы совершенно не знаем.* Я делал это со скукой («хочется поиграть»): но кто знает и испытал просто *зрительное впечатление,* вполне полное, отчетливое, абсолютное.

Затем я начал страдать – нет: а получил (мнимо)-гоголевский порок от того, что обширное овчинное одеяло, какое нами употреблялось ночью «в повалку», давно проносилось, шерсть была только клоками, состояло оно почти из кожи только: и вот – едва *сделаешь это – как во все время делал я – согреваешься* – и затем крепко-крепко (от ослабления) засыпаешь. Это было задолго до образования семени: и я думал, что «умру», когда вдруг раз – при повторении днем («наслаждение») у меня выбрызнуло 1-е семя. Я был потрясен, испуган и главное «умру». Нужно В. заметить, что все, которые пишут, что «от этого можно *отстать*», – лгут. Отстать от этого невозможно, это неодолимо. И вот слушайте впечатление от этого в пору писания «О понимании». Мысль *греха:* трансцендентного. «Я – гибну». «Я что-то нехорошо делаю». «Я буду хворать». «Вообще я негодный человек». «Я ни к чему не способен». «Простите звезды, прости – небо». «Прости Боже, если Ты можешь».

Страшное разлитие чувства космогонизма. «Мир есмь я», а «я есмь мир». Близость к небу. «Понятность звезд». «Безумная близость Провидения». «Мы с Богом в сущности одно». «Только я мышь, а они Бог», и «я ужасно грешен, *проклят* (от он…), а Он – Свят». Жажда молитвы. Жажда музыки. В сущности, музыка вечная в душе, медленная, томная, внутренно счастливая, уходящая или приходящая, зовущая, умиляющая, торжественная, важ-

ная. «Ничего шаловливого и в голову не может прийти». Всемирная озабоченность. «Мир понимаю только я, и мир могу спасти только я». «Умерев за мир, – о, с каким счастьем». Если же принять во внимание, что «семя есть Космос», а «извержение семени есть мириады душ – пролетевшие через фалл»: то, в сущности, все эти явления и понятны. «Постоянное движение семени в фалле», составляющее самую суть он..., должно произвести потрясающее впечатление на душу, с оттенком именно «понятны и звезды», с оттенком именно космогоническим. Тут я не умею разобраться в подробностях, «что к чему относится», но что мир становится понятен только из зерна, а что именно для онаниста он становится как-то внутренно и интимно понятен, «не чужим» – это в высшей степени тоже понятно.

Теперь – дальше, и – к другому полу.

Совершенно понятно, что «Ева – прекраснее всего на свете». Какая «Ева»? Ну – девушка. 14 лет, 15, 19, «всякая». «Бабушка»? – Тоже. Мать – о, тоже. Торговка. Всякая. «Женщина безумно влечет, и именно – животом и грудями». «Всему сочувствую у женщины». Горю, одиночеству. Оставленности, особенно оставленности. «Любовь должна быть вечною». «Никакие любовники не покидают любовниц». «Грех – один в мире – это оставить любовницу». «Ни за что не прощу». «Кто обидел девушку – ему «†». Ну, вы понимаете, «о чем дума Розанова»: и когда под впечатлением «записочки от Рцы»: «Батенька: да Ваша религия нисколько не интересна. Это – tritum pertritum («терто и перетерто»?); единственно, что интересно: это – каким образом в христианстве мог появиться такой ужас, такой сатанизм, т. е. поклонение Диаволу, как культ Фаллоса»; я с месяц погодя и не веря и желая «все же взглянуть» – пошел около 1897 года в СПб. Публичную библиотеку и открыл 12 колоссальных фолиантов «Denkmäler» Lepsius'a*, то – томе в 5, 6 «и т. д.» я вдруг увидел *все, все,* о чем мечтал, думал, томился. И «на египетское солнце» я взглянул «как на родное себе».

Все, все, все – весь Египет – я открыл внутри себя. Это есть самое поразительное и «Бог меня привел». Но он привел и *постепенно приводил* именно от чрева матери, и от шалфея, и от спринцовки. Ибо книга «О понимании», в сущности, уже написана по принципу египетских таинств. Невозможно, в сущности, ничего понять у меня, понять и во мне, не прочитав и не усвоив двух первых глав *«О понимании»* – «О сторонах существующего и схемах разума» и «О принципе потенциальности». «Потенция» – это и есть *зерно* – египетское, Элевзиний, Самофракийское, все равно. Это = «семя», «семечко», «капелька», выбрызгиваемая из фалла: самая *сущность* он... и над которою от 5 лет я простоял всю мою жизнь. Но *как* простоял: с волнением, с безумным волнением, с томлением, безумными томлениями, то в страхе умереть, «вечной гибели души», вечной оторванности от Бога («грех») и не замечая вовсе, что на самом-то деле я приближаюсь к Богу, что, в сущности, в 50 лет как бы «только обрезываюсь», т. е. 50 лет «заключал завет с

---

* «Памятники» Лепсиуса *(нем.)*.

Богом», «повторял Авраама». Ибо Авраам ровно ничего другого не сделал, кроме того, что и я, т. е. «вынув ...» = «отдал его Богу». Ни-че-го. Тайна обрезания, никогда не думаемая мною, открылась мне внутренним знанием. Я как бы схватил Бога за волосы и сказал: «Вот, смотри, я бесстыден». Вообще, тут ужасный страх вначале («угроза вечной гибели», «куда моя душа пойдет», «только в ад»). «Я – грешник, самый великий грешник», «покусившийся *на себя*», «на источники жизни в себе».

Я уже, служа в Контроле, зная, что вот «близко церковь» (в конке еду), делал «вид от Бога», чтобы «не заметить ее», «не увидеть ее», *дабы «не перекреститься»:* ибо такой окаянный не смеет креститься на церковь, сняв шапку. Лишь очень поздно, годам к 40, к 50, я, видя «чудные преображения души своей», которых ведь *внутренне-то* не мог не ощущать, – видя, до чего я нежностью и вниманием превосхожу прочих людей, до чего я «постоянно думаю о Боге», об одном Боге; до чего мне Россия нужна, как «я люблю свое милое Отечество», а главным образом – до чего я *уроднен с целым миром,* до чего мне все «папаши и мамаши», «сестры и братья», «дети»: стал переходить в совершенно другую сторону. Размышляя о «родстве», я подумал: да ведь «...» *единственный источник родства в мире,* т. е. связи и *самой прочной,* и главное – *самой нежной,* т. е. самой *лучшей.* «Я – родной в мире», «я – целому миру родной». «Мне никто не чужд», «никто *не враг*». Вы понимаете ступени открытий из «проклято» в «благословенно», из «архигрешно» в «*одно* это-то и свято». Из «сатанизма» (Рцы) в «божеское», «священное», «храмовое». «Священническое», «первосвященническое», «пророчественное». Что всего более потрясает в «завете Божием с Авраамом» (перечтите, пожалуйста, *сейчас,* глава 16 или 17 Бытия) – отчего прямо с ног валишься, со стула падаешь, и на что ни единый богослов, никакая «История религий» не обратила внимания, нисколько, ни капли, это о полной *безглагольности* обрезания, о совершенной *безмолитвенности* его: ни «Господи помилуй», ни «Отче наш». «Обрежься ты *и рабы твои*», «обрежься ты и *потомство твое*». И – НИЧЕГО.

Ничего! Ничего!!

«И нашел *ужас великий* на Авраама во сне». Почему? Да – как быть богословию без богословия.

Никакой молитвы. «Один х..». Это – с ума сойти.

Но – в этом-то, в этом все и дело. Вся тайна.

Ничего. Один х.. .

Уже в Сергиевом Посаде, бежав сюда из Питера, я в «Koptos» Фридлендера увидал «затушеванное почти» (ученые вечно *затушевывают* эти вещи) изображение «Le Dieu Sîn» («Бог горы Синая», «Иегова всех Иегов»): нагой мужчина держит правою рукою *«вставший* х..» и – *больше ничего.* Буквально «я» говоря перед он... «Вот я, Господи, перед тобою бесстыден». Это уж в Посаде. Тогда я абсолютно успокоился в своем он... «Просто – я все время совершал обрезание». «50-летнее себя самообрезание».

Когда в 1895 или 96-м я кинулся в Публичную библиотеку «посмотреть египтян», мне было важно уже только одно: какова цивилизация? Какова она в тоне, в смысле, в *благородстве.* Может быть, это *я* уродилось с миром, а вообще-то «пошлость», «сальность» («сатанизм» Рцы). И вдруг я увидел... ну, что я увидел – то и увидел. Именно ту нежность и глубину, вечность и колоссы безграничных религиозных углублений. «Христианство» перед «языческим Египтом» – это просто по монументальности и величию один плевок. «Растереть не стоит». И – везде неприличие, «показать нельзя». Везде – фаллы, стоящие, огромные. «С неприличия-то и начинается религия» (я). «Пока прилично – еще ничего нет». Нет храма, молитвы. «Все религии, по существу дела, суть Венеричны».

Но вот еще заметка: по самой судьбе своей я обошел Христа и Евангелие. Гимназистом – нигилист из нигилистов, «чертенок», «бесенок». Только Цебрикова и Дрэпер на уме. «Век Разума». «Наступил век Разума, после того как кончился век Чувства» (идиот Дрэпер). А в Университете, курсе на 2-м или 1-м даже, на Воробьевых горах живя летом с невестою Сусловой, – открыл «Destinationes» – «metae»*, «колокола» и «пасху» (элевзинские таинства). Так. образ., «в Евангелие я, в сущности, и не заглянул», и «Христос прошел совсем мимо меня» или, *вернее,* я «мимо Его» и – *не заметив.* Рост моей религии был совершенно другой и из другого источника. Если же принять во внимание «бессеменность зачатия Христа», то совершенно явно, что этот «источник религии» был не только внехристианский, но и противохристианский. Поднималось «все язычество», ведомое Египтом, Финикией, Израилем. И – поднималось явно – на Христа, против Христа. Теперь слушайте же тайну и глубину и «почему я победил (воистину победил) Христа». Я Вам сказал уже, что из х.. вся *нежность.* «И в небе каждую пылинку, и в поле каждую звезду». Но – *какая? – Родная,* подподольная, штанная. В сущности нагая, *райская.* «Бог – с *нами.* Со – *всеми*». Пою и пою. Музыка и дифирамбы. Пиндар и Гомер. Мегара и Афины. А еще лучше и вечнее – просто Жиды, Лавочка их Святая (о, да! да! – я о лавочках буду много писать) и Иерусалим. Что же такое, что «Христос разрушил Иерусалим»? Он разрушил семя мира, будучи сам бессеменен, *безродственен* и дав человечеству гораздо худшую любовь, гораздо меньшую любовь, поистине «епархиальную любовь», поистине «Василия Блаженного любовь», которая ведь *не такая,* как у нас с Вами *к женам.* Вы понимаете? Он отнял у человечества «жемчужины», заменив их «стразами» (= жемчуг из вымочек рыбьей чешуи).

Не просто важно поэтому, но *ноуменально* важно Ваше замечание (обо мне): «Ко мне вышел мелкими шажками старичок крайне благодушного и ласкового вида». Это – так и *есть,* в этом – *суть.* Никогда, никогда, никогда я бы не восстал на Христа, не «отложился» от него (а я и «отложился», и «восстал»), если бы при совершенной разнице и противоположности, бес-

---

* цель *(лат.).*

семенности и крайне-семенности не считал себя богаче, блаже (благой), добрее Его. Мысль о «благости» Христа – совершенно неверна. Да, он любил «хананеянок», но решительно он не выносил жидов. Мысль, что это *не* Он разрушил Иерусалим, – до того наивна и мальчишеска, что на нее нечего отвечать. Да и *прямые слова:* «порождения Ехидны», «дети Диавола» (о соотечественниках). Никакого нет сомнения, что Христос, конечно, *не был иудеем.* Во мне же даже после травли меня евреями во время процесса Бейлиса ей-ей не осталось тени вражды к ним, и я «как Пушкин – люблю всех». Пушкин ведь «закруглен» в деле любви, он весь «кругл». Любовь Христа «и к хананеям», вообще этот универсализм Христа («кафо», «като»-личество; «поверх-племенность») на самом деле есть распахивание дверей нации, чтобы «выстудить комнату» и лишить ее всякого именно религиозного тепла. «Космополитическая вера» есть «чепуха»: вера, будучи из *семени,* eo ipso*, есть и может быть только национальна, только «родная», только «племенная». Ex sangue, ex ovo, ex fallo**. Христос именно расхолодил всемирную религиозность, бросив религию «в Европу», «к хананеям», «куда угодно». Это – ужасно. И Христос, на самом деле и тайно разорвав семя и религию, кровь и религию, потряс ноумен самой религии, всякой религии. Он «разрушил домы Божии», везде: афинские из фил, римские из триб, чухонские из чухонских деревенек. Храмы должны быть крошечные, маленькие, «деревенские». Точнее, – храмы должны быть просто – семейные. Отец, мать, дети; память деда и бабушки; забота о внуках. Это верный инстинкт у русских – избегать больших церквей, «соборов».

Я справился: в «О понимании» нужно еще посмотреть главы: «О существовании» и «Об изменении». Тут чуть ли не главная классификация «потенций» (определенные и неопределенные). Чуть ли о потенциях у меня не подробнее всех философов изложено. Я помню хорошо: вхожу ли в комнату, где в карты играют или – пьют чай: и вот я посмотрю на лица с чувством моей милой потенциальности: и вокруг каждого *лица,* каждой *души* я *вижу* еще множество переходных лиц, их же – но уже *измененных,* я вижу *штрихи* переходов и понимаю *все, все* о них, судьбу их, *будущность* о них. И для меня «потенциальность» была «Все-пониманием». Поэтому, когда через 18 лет я «вошел в Египет» (Публ. библиотека): я – обмер. Все – то же, все ясно уже. Бутон, цветок. И – кончено. И – *все.* Теперь, слушайте: я и до сих пор продолжаю «объяснять». Во-первых, уже с приездом в Сергиев Посад мне разгадалось учение египтян о бессмертии, вообще *загробный* мир. Знаете ли вы таинственную *затхлость* запаха всех (т. е. обоих) половых органов. У меня и в Питере мелькнула (и мелькала) мысль, что это есть какое-то таинственное *тление* всех вещей, как бы *лежалые, осенние* травы, скошенное сено, а еще вернее – сорванные, *мокрые* травы, *гниющие, гробовые.*

---

* тем самым *(лат.).*

** Из крови, из яйца, из фалла *(лат.).*

И вот *этот*-то тлеющий запах – более всего и манит. На них основывается влечение к обоняниям. Поразительно. Ведь одно из самых поразительных особенностей – обоняние их. Столь поразительное и вовсе казалось бы не «утилитарное». К чему?.. «Для *размножения* не нужно». Разврат? Но кто же животных обвинит в разврате. Между тем обонятельная и *вкусовая* сторона употребительна у животных и у человека – чаще. Едва ли на 1000 обоняний и вкусов у собаки и у быка происходит 1 совокупление (нужно заметить, и у собак даже, не говоря о быках, я *не видел* за всю мою жизнь ни одного совокупления. «Презренно довольствовался петухами и курами»). Что же такое *это*? «Ум цепенеет». «Не надо». «Ни к чему». Но это на самом деле *фетишизм*. Что такое «фетиш»? «Влечет». «Не понимаю», но «влечет». Между тем в «фетише» и заключено adoratio et divinatio* и «начало поклонения животным у египтян», я думаю, и возникло от того, что животные нескрытостью (как у человека) ввели людей в постижение ноуменов бытия и жизни, – через это вечное фетиширование друг у друга половых органов. Но – *почему внутренно*? Загробный мир (запах тления, «линючести», «мокрых сорванных трав», «запах плесени», «погреба» и «гроба»). Каждый «половой орган», вот «он живой», на самом деле лежит «между могилою» и «колыбелью» и принадлежит столько же колыбели («я – *рожу*»), сколько и «могиле» (его запах).

Это есть самое удивительное, самое поразительное его качество. Но подождите: я никогда раньше не понимал «с ног сшибающих» удивлением и ужасом изображений египетских: Изида и Нефтида по сторонам лежащего в гробу Озириса – плачут, рыдают. А у Озириса «...» встал. И (иногда) – *он* же (...) летит крылатый над балдахином гроба. Этот рисунок мне объяснился только в Посаде – вот уже в 1918 г. А сейчас я пылаю только что сделанным новым объяснением. В Контроле – мы летом живали в Лесном. Я ездил со службы на верхотуре конки. И вот, бывало, проезжая мимо *садов* (начало дач), хлещут деревья ветками листьев в лицо. И странное впечатление в моей «вечной задумчивости»: «*защити* нас», «*спаси* нас», «*сохрани* нас» (т. е. от Христа, Голгофы и креста). «Новый Бог пришел, который нас отрицает» (п. ч. *рождены*), «а мы – *невинны*». Ну, вот слушайте: всегда были непонятны изображения египетские, где «боги, с самыми грозными лицами, держа наотмашь нож, всегда этой фигуры: <нарисованы треугольный нож и кисть руки с зажатым в ней треугольным ножом>, защищают «сон Озириса», или вообще «его странствие по подземному миру». (Правило общеегипетское: «Всякий умерший человек становится Озирисом».) (Тураев, при вопросе моем об этом, ответил пожатием плеч.) (На *самом деле* это значит: «Человек умирает *весь*, в полном составе души и тела, *за исключением ростка, живчика, семени*...) На самом деле и всеконечно Озирис = ..., зерно, живчик, росток. Ну, хорошо. И вот тут одновременно мне объяс-

---

* поклонение и вдохновение *(лат.)*.

нилась (в Посаде) и еврейская *суббота,* с ее ритуалом, и особенно эти «защищающие грозные боги с ножами». «Грозные боги с ножами» шептали мне то же самое, что ветки Лесного: «защити нас», «сохрани нас». Точнее: я-то глупый и был «уродец» (с волчьими мордами боги Египта) – бог-с-ножом, который весь пылал и защищал и хранил полный покой «х..», который *заживет* всегда только *при условии полного покоя,* и как только нарушен он, «свет», «огонь», «звук», даже «разговор», «шепот» мужа и жены – так *падает, мертв, не деятелен.* «Суббота» есть «покой» и в то же время «с пятницы на субботу» у евреев совершается «священное совокупление» (мне д-р Триус в Контроле: «Да: *хороший тон* старого еврейства требует, чтобы с пятницы на субботу произошло совокупление». Я догадывался об этом. Но это сведение мне *все разъяснило*). Собственно иудеи есть единственный народ, сохранившие священное совокупление, т. е. сохранившие совокупление как *святыню,* отчего до сих пор – цветущи, деятельны, *внутренно счастливы,* оптимисты в детях, в жизни, во всем. «Верят в Бога и Судьбу – Мантию Божию». О, как их люблю за это. Люблю, чту. И за это-то, за Небесный Оптимизм – по Исайе, «народы в конце веков», в конце хилой своей истории, «и понесут их на плечах своих», и понесут даже и германцы, которые к тому времени будут тоже старичками, горбатенькими, а жиды будут все «расцветающим бутоном Египта». Ну вот, милый Эрих, – милый из милых, я все Вам написал; написал, чего не писал ни единому в мире человеку и чего не говорил никогда Шперку и Рцы. Только Флоренскому сказал: он глубок и *все понимает.* Он «ростом» не менее Паскаля и бл. Августина: а ему всего 35 лет. Он – необыкновенное явление русской истории, «счастье родины моей», и хотя в ½ армянин – так беззаветно любит Россию, так беззаветно предан ей. Нужно заметить, что он о фаллизме все понимает, все и *до глубины*; и – признает, ставит «полный *плюс* на фаллос». Но как у него это сочетается с преданностью и церкви, и Христу – мне это совершенно непонятно. Однако я думаю и уверен, что если «треснет обруч», «разорвется кольцо» – то *не в сторону ущерба фалла*: отчего я и уверен, что христианство его не выдержит.

Ну, вот Вы и связались ноуменально со мною. Я часто об этом думаю. Настоящий *деятельный* труд всегда есть и *корыстный,* и вообще я не люблю и не уважаю христианского бескорыстия. «Эти тихони все врут». Как же Вы связались «биографиею обо мне» со «мною». Да ведь лишь пошлый и глупый человек возьмется за биографию абстрактно. Конечно, всякий выберет «биографию» «по *себе*». Что же значит это «по себе». Да и значит только *то одно,* что «я понимаю *его*», «понимаю *во всем*», и – «говорю», п. ч. «втайне *свою думу говорю*». Говорю все, до чего дошел мой ум, мое постижение вещей, и, в тайне и глубине, всякая «биография» есть «*авто*-биография». Без этого она невозможна, кроме как у сухой палки и, уж извините, у «немца». У «немца» в немецком смысле, а не в русском смысле, п. ч. есть «немцы и в русском смысле», и вот они одни и великолепны. «Немцы, что рождаются на Шпрее, – никуда не годятся». «Немцы хороши и даже годятся на что-

нибудь лишь aus Russland*». Это таинственно и деловым образом именно *так.* И Вильгельм, вздумавший сделать из русских и немцев *месиво,* именно – месиво *кровей и нервов,* «был, я думаю, не глупым человеком». Немец – solo** – груб, «умеет только сражаться», да и сражается «Бог весть за что», для глупой Победы, после которой не умеет даже сделать «красивого триумфа». У нас «в колокола бьют», «Боже Царя храни – поют», «поют Вечная память воинам». У них: воздвигнут глупый монумент Бисмарку, Вильгельму и Мольтке. Эта аксаковская медная хвала – препротивна. Как это *умно,* что русские не умеют сочинять никаких памятников.

Ох, устал. Пишу это письмо уже неделю, урывками.

Но, Господь с Вами. Господь да благословит Вас в старости, как он – кроме жены и детей, меня благословил в старости и Эрихом. Что может быть выше, что может быть счастливее, как еще при жизни увидать, узнать, увидеть и наконец *прочесть,* как ты совершенно понят и растолкован *даже для других* (читатели) так именно, как понимаешь сам себя. Тут даже если и будут *преувеличения* (я их очень боюсь), то ведь «немало же я и трудился». «Преувеличения» поганы только «не в *том стиле*» (обо *мне* всегда бывали именно «*не в том стиле*»): но преувеличения в стиле «описываемого автора» есть просто вознаграждение за труд жизни.

В. Розанов

Очень хорошо у В. рассуждение о «правде», о правде «у русских». О, если бы этому можно было поверить. «Все было бы спасено». Но я не верю. Русские мне именно кажутся самым лживым народом, самым лгущим. Неужели это «жиды» Ноздревы, Загорецкие. Да, «уж так и быть», и сам Чацкий-хвастунишка. *Нет, правдив один Пушкин, и Русь распяла его за это.* За это и распинали его от Чернышевского до Пыпина.

NB. Как еще у Вас глубоко проведена *разница* между «пошлостью» и «цинизмом». Этого *раньше* мне и *в голову не приходило.* Вообще кое в чем я у Вас *читаю новое* для себя (а мне ведь 63 года) – и это особенно отрадно. Работайте и о *себе,* и *над собою* в работе надо мною. И это вполне возможно и будет самою лучшею частью Вашего и труда *обо мне.*

XXIV

<Август 1918 г.>

Друг мой дорогой: я не могу послать Вам «Из восточн. мотивов», п. ч. должен через неделю, две или три показать единственный имеющийся экземпляр у меня возможному издателю продолжения их.

---

* из России *(нем.).*

**сам по себе *(лат.).*

Но, наверное, книга есть у Мережковского или у *сестер* Зин. Ник-ны. Попросите у *них,* попросите хотя бы от моего имени.

В. Р.

Ах, вот *исход:* есть у меня, у нас друзья: Владимир Федорович Высотский, мой ученик по Елецкой гимназии, и жена его Зинаида Ивановна Барсукова, из рода славного Барсуковых. Она мне корректировала «Оп. л.». Друзья – вернейшие, преданнейшие. Лучше родных. Благороднейшие. Один недостаток – бездетны. У них *есть* «Вост. мот.». Живут: Крестовский остров, Средняя Невка, д. 36. Спишитесь и получите.

Вы могли бы, и, м. б., Вы только *один* могли бы вполне раскрыть мою личность в «критико-биогр. очерке». Знаете: ведь случится, что целый век писатель получает совершенно глупые оценки себя, пока не найдет того, что немцы определили гениально словом *конгениальность.* Нужно заметить, что, как только Вы пришли ко мне в Вырицу и «долго мотались у забора», и вообще я увидел в Вас такую бессмысленную ослицу-мямлю, – Вы, что-то промычав, замолчали, я сейчас же подумал: «Это – *конгениально* со мною». Я был точь-в-точь такой же, как Вы, и еще более Вас трусливый, робкий и застенчивый. Главное в Вас качество, которое я полюбил и *привязался* к нему, это – что Вы ужасно смешной и нелепый, «невообразимый», «каких людей не бывает», «какие люди больше не нужны на свете», «на которых плюют и которых выгоняют». Ну, вот это *мне и нужно.* Это – *суть цивилизации.* Хотя Вы больно кусаетесь («цитата из Ницше»), – но я предпочитаю увидеть укусы от Вас, чем похвалы от другого. Но Вы должны сказать всю правду обо мне или – *возможно всю.* Флоренский Вашей статьей очень заинтересован, а это теперь умнейший человек в России.

«О чем думает старуха ночью»
(заглавие стихотворения Некрасова)

...таинственно и прекрасно, таинственно и эгоистически в «Опав. листьях» я дал, в сущности, «всего себя». Ведь и «Апокал.» есть «Опав. листья» – *на одну определенную тему* – инсуррекция против христианства, – и даже такая бесконечно обширная тема, как «Из восточн. мотивов», вскрывающая тайну всех древних религий. И я прямо потерял *другую какую-либо* форму литературных произведений. «Не умею», «не могу». С тем вместе это есть самая простая и естественная форма. «Проще чего» нельзя выдумать. «Форма Адама», и – в Раю, и уже – после Рая. «После рая» прибавился только стул. На который сел писатель и начал писать. В сущности, что делают поэты, как не пишут только «Оп. листья». И Вы, «пиша о Розанове», в сущности, вовсе не о нем пишете, а тоже *свои* опавшие листья: «что я думаю», «чувствую», «чем занят», «как живу». Это форма и полная эгоизма, и без эгоизма. На самом деле человеку *и до всего есть дело,* и – *ни до чего нет дела.* В сущности, он занят *только собою,* но так особенно, что,

занимаясь лишь собо, – и занят вместе целым миром. Я это хорошо помню и с детства, что мне ни до чего не было дела. И как-то это таинственно и *вполне* сливалось с тем, что *до всего есть дело.* Вот по этому-то особенному слиянию эгоизма и без эгоизма – «Оп. листья» и особенно удачны.

Не помню кто, Гершензон или Вячеслав Иванов, – мне написал, что «все думали, что формы литературных произведений уже исчерпаны», «драма, поэма и лирика» исчерпаны и что вообще не может быть найдено, открыто, изобретено здесь: и что к сущим формам я прибавил еще «11-ю» или «12-ю». Гершензон тоже писал, что это совершенно антично по простоте, безыскусственности. Это меня очень обрадовало: они знатоки. И с тем вместе что же получилось: ни один фараон, ни один Наполеон так себя не увековечивал. В пирамиде – пустота, не наполненная, Наполеон имел безбытийственные дни. Между тем, «Оп. л.» доступны и для мелкой жизни, мелкой души. Это, таким образ., для крупного и мелкого есть достигнутый *предел вечности.* И он заключается просто в том, чтобы «река текла как течет», чтобы «было все как *есть*». Без выдумок. Но «человек вечно выдумывает». И вот тут та особенность, что и «выдумки» не разрушают истины факта: всякая греза, пожелание, паутинка мысли войдет. Это нисколько не «Дневник» и не «мемуары» и не «раскаянное признание»: именно и именно – только «листы», «опавшее», «было» и «нет более». «Жило» и стало «отжившим»: пирамида и *больше* пирамиды, главное – гораздо *сложнее,* а в то же время – клади в карман. И когда я думаю, что это я сделал «с собою», сделал с 1911 года: то ведь, конечно, настолько и так ни один человек не будет *выражен* так и вместе опять субъективен: и мне грезится, что это Бог *дал мне* в *награду.*

За весь *труд* и *пот* мой и за *правду.*

(поднявшись с постели в 5 утра).
В. Р.

Получив большое письмо: до чего Вы несчастны, до чего вы несчастны. Вечная одинокая темница. Так вот разгадка В. души. *Всей.* И что Вы так любите русских, «этих вонючих русских», наших окаянных русских. Ведь Вы именно их *любите,* за что собственно и возбудили удивление во мне, и любовь – самую горячую – во мне.

Тайна, что Вы так одиноки у себя. Но, Господи: неужели Вы не ошибаетесь, не преувеличивает Ваш мизантропический ум. *Я бы с Вами вечно молчал и вечно был счастлив, живя* в одной комнате. (Ужасно люблю молчаливых: *самые содержательные* люди, с полным говором в себе.) И мне вдруг стало страшно, что я столько растабарывал о себе. *Как это пошло кажется теперь.* «Ты говорил перед раненым, едва сам оцарапанный».

Да. Мои обстоятельства гораздо лучше. «Все ссоримся, ругаемся». Дети говорят невероятные дерзости: и раза два я дал по морде – сыну даже раз 10 и раза 2 Тане. Ужасно. «Ужас русской семьи». И вдруг я почувствовал, что ужас-то не в этом. О, вовсе не в этом.

Мне вдруг стало душно. И я почувствовал прощение к своей окаянной цивилизации, к вони Петрушки и к бестолковости Селивана.

Обнимаю Вашу голову. Нежно, *нежно целую.*

Любопытно, что я (честное слово) свои письма никогда не находил интересными (болезненны, смутны, мутны) (а чужие – всегда находил – любопытны. Как-то я заглянул в Ваши, где Вы пишете об Анненском, о К. Арсеньеве, о Царском Селе, – это волшебство и поэзия) (у меня вообще есть чувство В. *стиля.* Это – главное, мне кажется, для слияния душ). (Хотя в статье В., в выдержке из письма к Соллогубу – показалась прямо блестящею, *изящною* фраза *моя.*)

Удивительно (и вообще в чужих цитациях мне ужасно нравятся мои сочинения. Прямо – изящно. И между тем положено «прямо на бумагу», без придумки. Ваши слова: «Его пафос разговорный – тягучий» и т. д. *Великолепно.* Это – жемчужина всей статьи. Я потому так Вас и люблю, что Вы *угадываете,* и – как-то передаете *через свой стиль*).

Ах, дети просят: «Ложись спать, папа. 2-ю ночь жжешь керосин».

XXV

<26 августа 1918 г.>

В 14 лет Государственная Дума промотала все, что князья киевские, цари московские и императоры петербургские, а также сослуживцы их доблестные, накапливали и скопили в тысячу лет.

Ах, так вот где закопаны были «Мертвые души». А их все искали...

– Зрелище Руси окончено. – «Пора одевать шубы и возвращаться домой».

Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось.

Россия пуста. Боже, Россия пуста.

Продали, продали, продали. Государственная Дума продала народность, продала веру, продала земли, продала работу. Продала, как бы Россия была ее крепостною рабою. Она вообще продала все, что у нее купили. И что поразительно: она нисколько себя не считает виновною, и «кающегося дворянина в ней нет». Она и до сих пор считает себя совершенно правою и вполне невинною.

Единственный в мире парламент.

Как эти Чичиковы ездили тогда в Лондон. Да и вообще они много ездили и много говорили. «Нашей паве хочется везде показаться». И «как нас принимали».

И оказались правы одни славянофилы.

Один Катков.

Один Кон. Леонтьев.

Последний говорил: «Россия – не юность. Она старушонка. Ей уже 1000 лет. А дальше тысячи лет редкое царство переживало».

Поразительно, что во все время революции эти течения нашей умственности не были даже вспомнены. Как будто их никогда даже не существовало. Социалисты и инородцы единственно действовали.

– А что же русские?

Досыпали «сон Обломова», сидели «на дне» Максима Горького. И везде рассыпавшиеся Чичиковы.

Первая пища! Первая пища!

Всегда было предметом моего размышления: ну, если бы даже «сыны пророческие» и удержались, то как же они могут существовать? ибо трижды в сутки человек должен есть. А «сын пророческий» не может ничего около себя сделать. Он бессилен. Руки повисли. Ибо – уже воистину «Господь призвал его говорить и говорить».

Сын «пророческий» – сомнамбула. Лезет по колокольням. Звонит. Лезет по крышам домов. Заглядывает в слуховые трубы. И учит, учит. «Сын пророческий» – «не в своей власти». Это – суть его. И если кто-то не обнимет его и не сохранит: он расшибется, убьется.

Умрет.

Как же? Что же? Без «пророков» похолодеет земля.

.....

С дней юности, детства, – я был такой сомнамбулой. Кроме «внутренних говоров», которые я слышал в себе, – я ничего не слышал, не видел. «Как я живу?» Это всегда было предметом для меня самого удивления. «Бог спасал», – воистину никаких пособий самоспасения. И вот, бури развивались во мне: да помогите же, люди. Ведь я для одних вас живу, ведь мне *самому* воистину ничего не надо.

.....

И вот я раскалялся, а сказать не смел. Как сказать? Как выговорить? И вот – женщина. Не знаемая, из родной Костромы.

О, мое детство, мое страшное детство. И прислала 6 фунтов чистейшего толокна, сухого, здорового: по 3 чайных ложки на стакан горячего молока. И верю я, выйдет через два месяца, и она еще пришлет. Питательно. Полезно в нервах. А я вечно в нервах.

Спасибо, дорогая, милая, незабвенная.

Из Костромы я уже выехал лет 50 назад, и не возвращался никогда.

Очевидно, что «ближние эти», если они не истуканы, должны прокормлять их.

Я «не смел сказать», а женщина «смела сделать». Из родной и милой Костромы мне прислали по почте 6 фунтов толокна: вкуснейшего овсяного хлеба, завариваемого на горячем молоке: 2–3 ложки на стакан молока. Это – на месяц, на два.

Спасибо, родная женщина. И вот я питаюсь, как Илия Фесвитянин, от «вранов».

И будет время. И пройдет два месяца. И она еще пришлет.

Думал поместить в Апокал.

XXVI

<26 августа 1918 г.>

Дорогой и *родной* мой Гол. Теперь-то я уже могу сказать вам, что Вы мне *родной,* и я знаю, как вам это *нужно*: п. ч. раз вы мне сказали: «Ведь *я берегу все* В. *письма*» (я так удивился).

Итак, спасибо, родная моя и прекрасная душа. Я нашел «2-го Шперка». Да, так вот что: какое же счастье найти, в 62 года найти, человека, который прижался со всею силою и горячностью к твоей душе. «Не изгибла еще в России душа». Ох, устал. Устаю все. Да и темно. И неудобно писать, на «безумном уголке» стола. Но я хотел сказать, что «спасибо».

Как это хорошо: «каждая строка, упавшая с пера писателя, обвеяна его индивидуальностью». И раньше: *«разрозненное,* но внутренно *стройное* и цельное творчество». Спасибо, милый, спасибо, дорогой. *Как все замечено и оценено.* Именно «культурная германская работа» или «обработка» писателя. Спасибо.

— — — —

И как хорошо о мамаше. Спасибо родной.

Окончательная нищета настала, когда мы потеряли корову. До тех пор мы все пили молочко и были счастливы. Огород был большой. Гряды. Картофель и поливка (безумно трудная, 7 лет). Я полол и «огребал» картофель <сбоку нарисованы окученные клубни картофеля> (очень трудно, 7 лет), потом поливал рассаду. Но главное – полка картофеля и поливка его, а еще – носить навоз на гряды, когда подгибались от тяжести носилок ноги (колена). Вообще жизнь была *физически* страшно трудна, «работа» и еще тут «начало учения». География Корнеля, «90-й псалом наизусть» («Помилуй мя Боже» и «окропиша мя иссопом и очищуся»).

Были обширные парники. Я работал с Воскресенским, который принимал участие в нашем доме, был как бы вотчимом, и вот все заставлял работать, будучи таким противным. Он б. нигилист-семинарист, «народник»-«базаровец» («Отцы и дети»). Мама, невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старою-бессильною-несчастною любовью. Он кончил семинарию, был живописец, и недурной, – ездил в Спб., в Академию художеств. М. б., он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все

слишком его ненавидели. Он, впрочем, меня порол за табак («вред куренья»). Но «ничего не мог поделать».

И вот коровка умерла.

Она была похожа на мамашу, и чуть ли тоже «не из роду Шишкиных». Не сильная. Она перестала давать молоко. Затвердение в вымени. Призвали мясника. Я смотрел с сеновала. Он привязал рогами ее, к козлам или чему-то. Долго разбирал шерсть в затылке: наставил – – – – и надавил: она упала на колени, и я тотчас упал (жалость, страх).

Ужасно. И какой ужас: ведь – КОРМИЛА, и – ЗАРЕЗАЛИ. О, о, о... Печаль, судьба человеческая (нищета). А то все – молочко и молочко. Давала 4–5 горшков. Черненькая и, словом, «как мамаша».

Киселек. Сметанка. Творог. Сливочное масло. «Как все хорошо». Масло «в барашке» к Рождеству.

Молоко я носил к соседям продавать. Как и малину, крыжовник и огурцы из парников. «Все слава Богу» – пока «коровка».

К чертам моего детства (младенчества) принадлежит: поглощенность воображением. Но это – не фантастика, а – задумчивость. Мне кажется, такого «задумчивого мальчика» никогда не было. Я «вечно думал», о чем – не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты.

Первые книжки прочитанные: «Путешествия Телемака» (вовсе не Фенелона) и «Гибель английского корабля Кент» – еще «Дальний Запад» (М. Рид? Купер?) и главное, самое главное: часть 1-я «Очерков из истории и народных сказаний» (Грубе?), начиная: Финикияне. Сезострис. Суд над мертвыми. Алиас и Кир. Фемистокл. Поход аргонавтов. Леонид при Фермопилах. Греков и римлян *до поступления в гимназию* я знал как «5 пальцев» и *совершенно с ними сроднился* благодаря этой переводно-немецкой книжке.

Она была без переплета, *но вся цела,* и лет 5 была единственным моим чтением. Я знал ее почти наизусть. Это *единственное* чтение, легшее на душу *одиночным, не рассеянным* впечатлением, страшно сохранило, сберегло душу. Оцеломудрило ее. *Эта книга была моим Ангелом-хранителем.* Вечная благодарность прелестному Грубе.

Написано с месяц назад.

XXVII

<29 августа 1918 г.>

Тоже давно написал. Но «35 к.», и ждал «Апокал.», чтобы «засунуть» в стр.

Из дневника.

Я так счастлив, милый Эрих, что Вы обо мне пишете: это – *не* «удовольствие», а – именно счастье. К чему скрывать, лукавить. «Не нужно этого, не нужно». Это – бяка.

Сейчас – перечитываю. *Лучшее,* конечно, – о *безволии.* Вообразите: Флоренский *точь-в-точь* мне также сказал. Я ему тоже, в Посаде, упомянул как-то *о своем безволии,* приписывая его пороку своему («якобы пороку»), о котором сам же сказал. Он ответил буквально так: «Нет, вы ошибаетесь: *я очень присматривался к гениальным людям, по биографиям и проч.,* вообще к людям исключительно одаренным, и нашел, что чем одареннее они, тем слабее их воля над собою». «Так что это вовсе не порок ваш, а – совсем другое». Другой раз, в гостях у Александровых, где и жена моя была, он же (П. Фл.), на мое какое-то замечание, или воспоминание: «Это только показывает, что вы *уже с детства были гениальны*». Так просто. Я изумился. Ваших слов в статье (о безволии) я бы не понял, если бы не этот предварительный комментарий Флоренского. Очевидно, от этого «совпадения со своею мыслью» он так и заинтересовался В. статьею, и, достав «Литер. изгнанников», – стал пересматривать цитаты из нее у Вас.

Второе качество статьи – о destinationes. Теперь слушайте: произошло в ½ – 1½ минуты, когда я не успел «добить папироску». Было на Воробьевых горах. Я жил с невестою. Перед кофеем. Она – готовит, я сел за табак. Причина: я в III кл. гимназии прочел: «Утилитарианизм» Д. С. Милля. И с тех пор: «какова цель человеческой жизни» – стало предметом моей мысли. «Так важно». «1-й философский вопрос». «Как не знать человеку, зачем он живет?» Etc., etc. Читал Бэнтама и – Мальцева: «Нравственная философия утилитаризма». Но все положило во мне уже меньшее впечатление, чем Д. С. Милль. А главное: я сам прогнил и задохнулся над вопросом. Что «цель оправдывает средства» (иезуиты) – это, конечно, я уже решил в смысле «да» почти с 1-го момента. И – *сознательно принуждал себя к дурному* (я), если «полезно». Etc., etc. Ну, теперь «миг священный» был в сущности… страшно сказать… открытием элевзинских таинств, раньше, чем я что-нибудь о них узнал, раньше, чем они «в голову мне приходили». *Теперь*-то (почти уже 50 лет) я совершенно в этом уверен, хотя о «таинствах» уже читал много лет 40, 35, 20. Дело в том, что, «*кто* читает о них», тот тоже ровно *в них* ничего не понимает, ища *секретов,* иногда – неприличностей (да неприличности и есть в них). Но было лет 6 назад, я читал какую-то глупую статью о них Захарова или Сахарова, в «Бог. Вестнике». Не читал, а перелистывал. И в конце: «В таинствах ничего решительно не заключалось, т. к. нельзя же *чем-нибудь* считать, что заведывавший ими жрец-мистагог, выпуская из места совершения их (Элевзин) – участников, *просто брал ветку дерева и, как бы благословляя, махал ею им вслед*». Тогда мне кинулось в ум: «Дурак, дурак ты, Захаров: да жрец, *взяв органическую, живую ветку,* а не кристалл, или – не стул, не тубаретку (сколоченная, *сделанная вещь* = мои «metae», «утилитаризм» Д. С. Милля), вообще взяв *растущее, вырастающее,* как бы кри-

чал: «Смотрите! Смотрите! Не – Огюст Конт с «положительной философией» и ослиными ушами, а – гениальный Шеллинг с Naturphilosophie*». Понимаете, Эрих. Тогда у меня сверкнуло: да ведь все «О понимании» пропитано у меня «соотношением *зерна* и из него вырастающего *дерева*», а в сущности, просто – *роста, живого роста.* «Растет» и – кончено. Тогда за «набивкою табаку» у меня и возникло: да кой черт Д. С. Милль *выдумывал, сочинял,* какая «цель у человека», когда «я – *есмь*» «растущий», и мне надо знать: *«куда,* во *что́* (Дерево) я расту, выращиваюсь, а не «что́ мне ПОСТАВИТЬ» («искусственная вещь», «тубаретка») перед собою.

Вдруг – колокола, звон. «Пасха». «Эврика, эврика». Слово – одно: ПОТЕНЦИЯ («зерно») – РЕАЛИЗУЕТСЯ. Вы понимаете: «стул опрокинут», «стул поставлен», «нельзя сидеть», «можно сидеть». Стол: «можно обедать» – «нельзя обедать». Да теперь «я долезу до Неба» (Бога). Религия, «Царство» (устроение России) – *все* здесь, в идее «потенции», «что́ растет». Но сущность-то выражалась еще глубже именно в элевзинских таинствах, чем (я думаю, не читал) у Шеллинга. Суть-то именно, как Вы тоже не раз упоминаете, – в «обличении вещей невидимых», а пожалуй, и *еще лучше:* в обл*е*чении вещей невидимых. Все «ОБЛ*Е*КАЕТСЯ» в одежды, и история сама есть облечение в одежды незримых божеских планов. Словом, тут «в одном слове», «поставил стул» – лежат все пророки, вся Библия. Ну, вот – устал. Прощайте. Спасибо. — — —

Ваше «не скажу *всего*» и «не скажу *до конца*» (в письме) больше всего меня заинтриговало. «Вот *это*-то и *подай*». Все известное – не интересно, все неожиданное – манит. Если до *пороков* моих касается – скажите; если даже будет *очень стыдно* – скажите же. «На пороках-то мы и *сближаемся*» – знали ли Вы это, юноша мой нелепый. Да Вы, конечно, знали и знаете. Странно: я убежден, что Вы *все* знаете, что Вы при юности, в сущности, и *старик* (как я в 17 лет был «7-ми летним» и «70-летним»). Ну, да Вы все знаете. Ведь Вы знаете, я В. считаю ровесником себе «и таким же умным».

Странно, что, встретясь с Вами, я никогда не думал, что Вы будете «писать». Стихи у Вас в письмах я принимал не за Ваши, а за чужие. Письма всегда были интересны и оч. литературны; я хотел их в «Из жизни.....».

Ну, addio.

Ах, все устаю. Сегодня – сыт: а, знаете, милого творожку я съел, и – чуть-чуть, – не более раз 4-х за зиму. Хотя покупал, но – детям и жене. Они так жадно накидывались и поспешно съедали, что жаль было спросить: «Дайте и *мне*». А – ужасно хотелось.

Теперь только о еде и думаю. Припоминаю, как ночью, кончая занятия «в счастливые дни Нов. Вр.», откидывал салфетку и отрезывал – у-зенькую середочку пирога с капустою, и, не удержась, через ½, 1 час – еще и

---

* натурфилософией *(нем.).*

еще. Ах, как вкусно было. То же, если с говядиной пирог холодный ночью, – я достану «из форточки» молока и, налив ½, ¾ стакана, отрежу же пирожка и – СКУШАЮ.

Господи, как сладко даже вспомнить. Увы, теперь «сладки» только воспоминания и пуста еда. У меня мечта: когда пройдет револ., «назваться» к Вам в гости, и Вашего (очень *оба* понравились) папу и маму упросить МЕНЯ УГОСТИТЬ. Ну, так… пир богов. Помните у Одиссея: «Божественный *свинопас*». Я тоже завидую Полифему: сколько он имел творогу у себя в пещере, помните – «заставлял вход скалой». Я хотел бы быть Полифемом и пасти коз и овец, а молоко бы у них высасывал СОБСТВЕННЫМ РТОМ. Кстати, меня давно уже манит собственным ртом напиться у коровы молока, насосаться из вымени. Это так красиво. Именно – красиво. И, уверен, ужасно ЦЕЛЕБНО.

Это меня лет 12 манит. В старости в будущие лучшие времена будут давать родителям живую козу или корову для пососанья. Отвратительная городская цивилизация – ничего не понимает. Не понимает, что такое ЗДОРОВЬЕ и ЕДА.

Лукомскому и А. Н. Бенуа – привет. Бенуа – и любовь. Умный. Только молчалив, и, я думаю, эгоист. Лукомский «полегче».

---

2 ч. «В. в.»: скучно, не интересно. *Очень компилируете.* Нужно писать «широким размахом», чтобы «писали *Вы*», а не «Вы *о Розанове*», чтобы была шире «личность Голлербаха». В этом отношении б. прелестны В. письма в Вырицу и в Спб., – где писали именно *Вы,* прелестно, вдохновенно, и хотя *почти обо мне* и *не писали,* но то «накрапывание дождя о Розанове» – было прекрасно и выразительно. Вообще «Ваши письма» интереснее «статьи обо мне»: они самостоятельнее, сильнее. И это от прекраснейшего качества, что Вы именно – *не компилятор.* И держитесь своего стиля – именно – не компилятора. Самое интересное и для меня единственное ценное: о разговоре с Мих. П. Сол-вым. Как Вы *заметили*? Тысячи бы *пропустили,* все бы пропустили мимо. Вы – увидели, и для меня очевидно, что Вы не только прочитали, «глазами», «мелькнули», для обязанностей биографа, но как-то и передали мне *все понимание* (не знаю, передали ли своему читателю; ведь читатели тупы), что вы во всем огромном объеме оценили, поняли и раскусили, что «вовсе поле не сердца людей» (младенец Достоевский), т. е. между Б. и человеком: а что «именно ягодка смородины» и есть то «поле, где якобы Христос победил Бога», но именно – только *якобы*: на самом же деле, *конечно, ягодка* победила Христа, и вырвет из костлявых рук Его победу, вырвет – у Его Голгофы, вырвет у Его – смерти, и насадит опять Рай (Рай и *Сад*) из этой единой смородинки. И весь Христос – только красноречие, и красноречием кончится. «Он – страдалец», вот видите ли, и поддел человечество на страдания. В сущности – бесконечно (и тайно) пролив страдания на голову несчастного человечества. О, подождите; Христос победил именно красноречием: но я – ухитрюсь, стану также красноречив – и побежду Христа.

Верно! верно, верно!
Nike! Nike! Nike!*
Устал. Целую, обнимаю. И всегда буду обнимать, хотя бы и сердился за статью.
Пишите. Вы со мной слились.

В. Р.

И письма пишите: вялые, мямлистые. Я все разберу.

XXVIII

<Сентябрь 1918 г.>

Голлербаху,

придя с базара, где покупал дрова.

Vis-à-vis.

«Я победил мир» (перед †). (Замечательно, что на всех языках, во всеобщем – всемирном «чистописании» символ Христа, символ креста, «†» – знаменует *собою* смерть.) Но хотя бы ты был *ТЫ, ТЫ, ТЫ,* и наполнил вселенную хвастливым *Я, Я, Я:* тем не менее, пока в мире есть *зерно,* хотя бы одно зернышко, невидное, крутое, маленькое, – на самом деле *ты* не победил *Мира.*

Травка выбежала в поле…

Скромная, милая, тихая… Незаметная… О, как она хороша в незаметности своей. Поистине, эта *незаметность* есть на самом деле *незаметность.* И вот Голлербах могучим рычагом взломал землю до центра, сказав:

.....
Где может быть совокупление
Благоуханней белых роз,
А на закате неба рдение
Спасительнее, чем Христос.

Какое слово! Какое слово!

Я первые дни не замечал: а ведь это… Господи, Господи – *Все-Держитель.* Ты победил Христа. И изничтожил все его усилия.

Гол., Голл.: мы с тобой, ты – со мной.

И после Флор., который на 62-м году моей жизни пришел на помощь мне в идеях… после Шперка, говорившего на смертном одре мне: «Пишите, пишите об *этом,* только об *этом одном* и пишите»: когда я ему сказал в тихом вечере, в задумчивом вечере, что вся ошибка заключается в том, что человечество считает… органом, когда он на самом деле есть *лицо.*

---

* Победа! Победа! Победа! *(лат.)*

...И вот, 3-й –

Голлербах.

Я голоден. И не могу исполнить требование редакции «переписать на машинке» присылаемые статьи... Но ведь если «Мысль и Слово» есть в точности *Мысль* и *Слово*...

И я залился слезами.

XXIX

<18 сентября 1918 г.>

Я так счастлив, милый, что вы останавливаетесь на индивидуальных черточках, не впадаете в этот ужасный алгебраизм, которому новое время подчинило историю и даже биографию, подчинило самый портрет. Эти бессмертные строки (каких и *я сам* в себе не знал, не *сознавал*): «Паф. Розанова есть пафос *неясный, грустный,* томительный» и:

Je ne vois plus rien,
Je perds la memoire
Du mal et du bien

– как это прекрасно, поэтично, глубоко, и характеризует самого Автора – Гол., как и «портрет – Розан.».

А Вы знаете, что мы с Вами чрезвычайно сходны. До смешного.

Недаром мы все молчали друг с другом. Я видел, что мы говорим безмолвно. И, «посидев с Гол.», приобрел многое, чем было в тебе «*до* посидев».

И еще очень хорошо от 29-й стр., конец: от «дух мелочей» до 33-й стр. – «ничего». Очень важно еще о М. П. Соловьеве и разговоре о «fall.» и о «разрушительности моих идей для христианства». Метался, поистине «метался» об этом я еще в Контроле, затем – в Риге («Федосеевцы в Риге»). Все бегал, все бегал, в департаменте и по саду (Рига)... и: «невозможно примирение». «Хр-во может быть только разрушено». Это – *система* мысли, и – «спасения хр-ву нет *никакого*». Затем, в печати, я уже только хитрил, хитрил – много, ради цензуры и глупых читателей: но во мне *самом* оно было совершенно *разрушено,* до основания, до песчинки. Нет выбора: когда я жил в Лесном, то, сидя на верху конки, – проезжал мимо деревьев, и случалось – они хлестали по лицу, и вот будто шептали ветви их: «*Спаси* нас!! *Спаси* нас!!!» (т. е. от Христа). «Если ты не *позаботишься* – мы умрем, нам только *гнить*» (Голгофа). «Спаси же нас, это – наш *завет* тебе». Ах, сколько я пережил. И в какие-то дифирамбы, в безумие дифирамбов – сложилась вся моя литерат. деятельность.

(Из давно написанного Г-баху; но «забыл послать». *В. Р.*)

КЛУБОК

«Вышел сеятель сеяти притчу…» (Еванг.)

.....

.....

«И дал ему Звезду Утреннюю…» (Апокал.)

.....

.....

Между этими строками, в неизмеримой черной расселине их, в «пропасти» их, в бездне их, и зажат «бедный жидок в картузе», который спрашивает:

– Где молния?

– Отчего Синай не дрожит?

– Куда все девалось? Голубой огонь, золотые ризы, и эти стены из золота и ворота из цельных жемчужин, которые нам обещал *наш Мешиах* (еврейское наименование Мессии).

XXX

<6 октября 1918 г.>

И взгляд *змеи упорно-бешеный.*

Меня эта строка как-то гипнотизировала, и я (молча, внутренно) ее повторяю и за чаем, и за обедом, и ночью – не умея от нее *отвязаться.* Уверен, это *остаток* от «больницы Николая Чудотворца Всех скорбящих», и уверен, что еще нигде в мире нет такой строки. Напишите мне о ее *происхождении.*

Из «писем *моих*» только 2 понравились: 1-е письмо (мир-девчонка) и – *Камень* (знаете ли, что это – «Вы» и «я»?). Последнее – (длинное, *долговязое*) – отвратительно. Я должен был тут гореть как рубин, как самый яркий камень: а изобразил «могилку».

Как удивительно письмо Мурахиной: *до* письма она видела меня всего раз или два. Не могу скрыть, что она написала гораздо лучше Вас, хотя явно и не «con'гениальна», а почти «на противоположном полюсе». Но она *угадала* все (старушке 55 лет). Я сам не решался, не *позволял* давать себе такого определения. «Слишком хорошо», «куда мне»: куда мне одевать такое *на себя* одеяние. И вот старушка, но деятельная, бодрая, одела в ночи на меня такое одеяние, одела в пурпур, одела в звезды. А *чувствовал-то* я внутренне и уже *нестыдящимся* чувством, что именно *так,* именно – ноуменальные миры, и что я их *держу в руках.* Я тих и скромен, к тому же так безобразен: но я чувствую в себе какое-то *Державство к Миру.* Кстати, знаете ли Вы таинственное слово, какое мне сказал Григорий Распутин? Но сперва о слове Феофана, «праведного» (действительно праведного) инспектора Духовной академии в Спб. Сижу я, еще кто-то, писатели, у архимандрита (и цензора «Нов. Пути») Антонина. Входит – Феофан и, ¼ часа пово-

зившись, – ушел. Кажется, не он вошел, а «мы вошли». Когда Антонин спросил его: «Отчего Вы ушли *скоро*», он ответил: «*Оттого,* что Розанов вошел, а он – Дьявол». Теперь – Распутин: он танцовал, с замужнею, с которою и «жил», и тут же, при ее муже, говорил об этом: «Вот и жена его меня любит, и муж – любит». Я и спрашиваю его: «Отчего вы *тогда,* Григорий Ефимович, ушли так скоро?» (от отца Ярослава, с женою коего он тоже «жил», и о. Ярослав тоже «одобрял» это. Тут вообще какая-то райская история, Эдем «общения жен и детей»). Он мне ответил: «Оттого, что *я тебя испугался*». Честное слово. Я опешил.

Но когда я соображаю, что стал добираться до Египта, где поклонялись быкам-Аписам, и мне самому хочется хотя бы дотронуться до яиц Аписа, не говорю уже поцеловать их, когда я думаю, что ведь и Гришка среди женщин был Священный Апис, был Адонис (ADON'ай, как написано в одном египетском атласе возле колесницы, везущей Скарабея: а «ADON'ай» есть жидовский Бог, он же – Иегова, он же «терновый куст горящий»), Дионис, и что «вообще все это» мне упонятилось и уроднилось: то как «сам Гришка Распутин» вошел в meos circulos (= «мои круги»: «Noli tangere meos circulos»* – закричал Архимед римскому воину, вбежавшему по взятии Сиракуз в его комнату = лабораторию = ученый кабинет), то, естественно, он и смутился как «на старшего себя», но – в той же Распутинско-Аписово-Дионисовой-ADON'аевой теогонии, космогонии. Я помню, он вошел. Я – уже сидел. Ему налили стакан чаю. Он молча его выпил. Положил боком на блюдечко стакан и вышел, ни слова не сказав хозяевам или мне. Но если это – *так,* если не солгал в танцующей богеме, притом едва ли что знал (наверное – *не* знал) об Аписах и Древности: но как он мог, *впервые в жизни* меня *увидев* и не произнеся со мною даже одного слова, по одному *виду, лицу* (явно!) определить *всего меня* в ноуменальной глубине, – в той *глубине, в какой и сам* я себя не сознавал, особенно – не сознавал еще тогда. Я знал, что реставрирую Египет; все в атласах его (ученые экспедиции) было понятно; я плакал в Публичной библиотеке, говоря: «Да! Да! Да!» *Так* бы и я сделал, нарисовал, если бы «пришел на мысль рисунок», но «самого рисунка не было на мысли», не было *дерзости в моей* мысли, *смелости, храбрости* выговорить: а *чувство* было уже... даже и до поцелуя Аписовых яиц. То вот – Гришкин испуг: не есть ли это уже Гришино *Чудо.* Чудо – *ведения,* уже – *сквозь землю,* и скорее – моего *будущего,* нежели (тогда) моего «теперешнего». Согласитесь сами, что это напоминает или, вернее, что это «истинствует» «сану Аписа» в его какой-то вечной истине. Т. е. что я + Гришка, Гриша + Апис есть что-то «в самом деле», а не миф. Добавлю: 4 девушки, две курсистки, 1 учительница музыки и 1 «ни то, ни другое», но симпатичнее всех на свете курсисток, и даже еще одна, уже пятая, и «почти одна», на Кавказе (никогда меня и не видавшая) хотели «отдаться» мне, отдавались мне, на почве лишь безграничного моего к женщинам уважения, на почве, в

---

* «Не трогай мои круги» *(лат.).*

сущности, той, что я сам на женщину смотрю, ее почитаю и чту, как Аписиху. Причем 1 видела меня только один раз, была лесбийски связана с другою благороднейшею девушкою; и она, эта девушка, с которою она была связана, сама оставила меня «для ласк» с нею, и она меня стала «ласкать», а потом и совокупилась со мною, когда «он встал». Не чудо ли это, не сущее ли чудо? Чудо близости какой-то ноуменальной. И клянусь Вам, – о, слишком клянусь: из 4-х или даже пяти – не было ни единой сколько-нибудь развратной, сколько-нибудь распущенной, сколько-нибудь «позволяющей себе». Как одна и выразилась с чудной улыбкой (о брате): «О, – До-ма-ша: О! о! о: ни-ни-ни». Т. е. брат так думал. Между тем «все наши наслаждения» сводились к solo*: «половые прикосновения». Ни – любви, ни – «объяснений». И вместе: и – любовь, и – нежность. В *основе,* на *дне:* безграничное мое уважение. К чему уважение? К женщине, к *Тебе* вот. Но – в *твоем женском существе.* И – к *душе* через это. Мне иногда кажется, что я достиг ноумена мира, что я «держу звезду», но как-то не умею сосредоточиться на этом и даже обратить внимания по литературному «некогда».

Устал. Прощайте.

В. Р.

И еще из предсказаний: была, года 4 назад, вечеринка у Мих. Ал. Суворина. В проходе меж двух комнат была посажена гадалка. «В составе увеселений и разнообразия», как и бродивший там же «арапчонок». Все показывали «руку» (гадалке). Она «сказывала». Проходя – протянул и я со смехом: что́ же она мне сказала? Удивительно: она стала искать «линию жизни» и, «найдя», – удивилась и пробормотала: «Да Вы, да Вы… я не знаю сколько проживете: я не нахожу *конца* линии жизни; во всяком случае – страшно долго. И Вас до самого конца жизни будут любить (т. е. женщины)». Кажется, она не произнесла «женщины», но в смысле слов разумелось «женщины». А судя по тому, что «я уже не *мог*», и мне отдавались в возрасте 19, еще 19, 23, 29 и 40 или 39, – очевидно, «есть что-то» и именно – «от Аписа». «Ты почитай Аписа», и тогда ты будешь «сам Аписом». Что-то в этом роде. О себе я не думаю. Но Аписа – слишком почитаю.

«Они были такие огромные»… но «я их еще увеличил бы» и довел до величины неба, до величины света. В сущности – до величины Вселенной. Я уверен, что «в тело Аписа» раздробливается вся «Вселенная», т. е. что вся «Вселенная» есть модусы и модусы, части и части, φαϊγόμεγα и φαϊγόμεγα** одного Невыразимого и Непостижимого Аписища, «ноумена-Аписа», и, собственно, одних только его genital'ий, и еще собственнее – его вечно брызжущего семени, бурь семени, гроз семени. Электричество, вулканы, свет, громы, «молот» – все фалл и фалл. «Космогония», символы мира = все фалл и фалл. Сосна, пихта, *ель* особенно, особенно шишка еловая, «вид дерева», купол неба – все фалло'о́бразно.

---

* одному *(лат.).*

** явления и явления *(греч.).*

Все – «он», везде – «он». «И без него ничто же бысть е́же бысть». Устал.

И вот мы подходим с чего начали:

«И взгляд *змеи упорно-бешеный*».

УСТАЛ.

Во мне есть вообще много фетишизма: знаете ли, какое место в В. письмах мне более всего понравилось: что Вам еще хотелось бы увидеть мою физику и особенно «увидеть и *пощупать мои вещи* и *мои книги*». Я думаю тоже – «и посмотреть мою мебель», «на чем» и «как» я «сижу».

Вот это и есть «главное», «египетское». Прочее все – чепуха. «Европа» и «глупости». Прочее все – «Гучковские Ведомости».

XXXI

<8 октября 1918 г.>

Радость. Успех. 1) Леман очень заинтересовался Вашей брошюрой «В. В. Роз. – Жизнь и творчество» и лично попросил от своего имени, «чтобы Вы выслали ее ему». Должно быть, хотел и сам обратиться с письмом, но я адреса дальше «*Пешковская,* 7 или 47» ничего не мог сказать и дать. Леман же, о коем я думал всю ночь предыдущую, вот что такое: это – Шварц около Новикова, а еще вернее – соединение Новикова и Шварца: личность нравственно гениальная, абсолютно чистая и бескорыстная, никакое не «пузо» и «сам», а скромнейший, милый, удобный человек, с женою-другом, которая и читает его письма, и слушает его проекты, и прекрасна, как флорентинка из-под кисти Боттичелли. Но – «наш весь русский». Вы понимаете, какая это рабочая сила в наш искореженный, неправильный век, в век тысячи зубных болей без единого пластыря. Слова его: «Я все-таки очень уважаю Каткова, не верю, как его оболгала пресса. На самом же деле я чувствую в Каткове европейского человека, и настояще-европейского».

Вы понимаете, что значит этот тон? в 33 года? – И еще: «Удивительно милый Радлов – человек; но его философский словарь – смешон. Пропустить Гилярова-Платонова *отца* и поместить только *сына,* приват-доцентика, написавшего: «Платонизм в любви», – обратить «Словарь» только в перечень *имен одних у русских* и дать недурные при этом объяснения философских понятий – значит раздражить и не удовлетворить, заставить купить книгу и затем бросить ее в корзину. Но составление порядочного философского *Словаря* вещь необыкновенно трудная и, может быть, неподсильная одному человеку – неподсильная: потому что тут много и кропотливой работы. А как бы я хотел издать такой словарь, и до чего это вещь настолько нужная каждому студенту-филологу. И конечно, он очень быстро бы окупился, дал еще выгоду. Но где я найду *«человека».* И вдруг, разговорившись с Русовым (Н. Н.), ночью – идя к нему ночевать с вокзала, я

нахожу нужную Марфу («Ты, Марфа, печешься о многом, а надо – *одно:* переход к Марии»). Оказывается, Русов, среди беллетристики, «сумасшествия» и прочее (у него первая книжка – сумасшедшая), – занят внимательно-превнимательно именно идеею *Словаря русских философов,* привнося к идее этой следующие целесообразные поправки: «Нужно писать не *словарь философский,* а словарь *философов,* п. ч. именно в философии, как и в поэзии или беллетристике, *мастер выше мастерства,* мастер кует статую, и самая техника статуи гораздо меньше стоит, чем душа творца». «Греческая философия – это Ксенофан, Эмпедокл, Парменид, Сократ, Анаксагор, Аристотель – а не эллинизм в философии». «Русские уже не так мало сделали в философии» (я думал «еле-еле», Влад. Соловьев думал, изрек и напечатал в «Вестн. Евр.», что русская философия «меньше чем небытие, ибо о небытии можно еще размышлять, а о русской философии нельзя размышлять», а Радлов (в «Словаре»), в сущности, зачеркивает *всю* русскую философию). Ну, вот: by comprenez? C'est délice*. Правильно. «Только русскую философию нужно всю перетрогать, взять в других соизмерениях: Шперка я бы поставил (terribile dictu!!**) на 2-м месте, как действительно оригинального и самобытного мыслителя, а Влад. Соловьева – на 3-м месте, как нисколько не оригинального и лишь очень самоупоенного»…

Ну, при встрече с Леманом (вторая ночевка в Москве, первая у Русова) – я передаю ему «исторически» упоминание Лемана о Радлове и рассуждение, поправляющее и дополняющее, Русова. Леман – прямо ухватывается. И на слова Русова: «Если бы Леман сказал мне, что он *непременно это издаст,* то я эти же дни *начал бы работу,* взяв *себе* Гилярова-Платонова, взяв *Страхова,* стал бы искать помощников и сотрудников себе, и кое-какие талантливые студенты Духовной Академии и Университета – у меня уже намечены. Например, для Вас я, конечно, взял бы Голлербаха. Пожалуйста, уведомьте меня, чтобы он выслал о Вас книгу», – на эти слова, переданные мною Леману, сей благородный юноша сказал: «Конечно, я напечатаю эту книгу». Теперь слушайте же, что за чудовище сам этот Леман: в тоске, в горе, в отчаянии, что закрылась моментально газета *«Мир»,* московская, с «германскою ситуацией» и особыми условиями «соизволения от большевиков», обещавшая мне по крайней мере ½ года превосходного соучастия, – и *редактор,* по-видимому арестованный, не мог уплатить мне 400 р. гонорара за помещенный 1-й фельетон, – не имея денег, чтобы даже вернуться в Посад, а в Посаде у семьи я взял «последнюю керенку» в 20 р. и уже их потратил на папиросы, – и вопреки обещанию Леману от Русова – «ночевать у него», беру шляпу, надеваю пальто, – «хочу бежать, где нет света»… Жена же его, флорентинка, говорит: «Какая жалость, какая жалость. Муж, уходя, сказал мне, что он хочет Вам прочесть что-то интересное и очень нужное и попросить у Вас совета». Я: «Слово В. мужа – для

---

* Вы понимаете? Это наслаждение *(искаж. фр.).*

** страшно сказать *(лат.).*

меня закон» (он очень много для меня сделал, матерьяльно и *духовно*), и снимаю пальто: «Вы, если так тоскуете, лягте и усните у него в кабинете; он сейчас придет – время обеда». Я: «Я возьму пальто, дайте мне папиросу. Если с папиросою и под пальто, то я *согреюсь* и *засну*».

Так и произошло. Я задремал. Час-два прошли: вдруг – Леман, свежий как весна. «Все устроится, В. В. Газета будет выходить, м. б., через неделю, с другим заглавием. Спите-спите еще: а потом пообедаем, и я Вам прочту: «Сны Микель-Анджело». Мне привез ее А. А. Булгаков, которого, как начальника казенной палаты, состоящего в генеральском чине, большевики из Нижнего прогнали, а большевики в Москве приняли». Я говорю: «Я не хочу спать, а перед обедом хочу хорошо умыться». И вот под краном, с бешено хлещущей октябрьской холодною водою, я вымыл – с мылом – всю голову; полил на «мозжечок» той же лютой воды: и, выходя в столовую, – реку: «Как истомленный усталостью Улисс, – кидайся опять в море, и – плыви. И вот – я свеж. Будем обедать и потом слушать». Подали:

чудные рисовые котлеты.

И я съел три.

Кажется: суп. Не заметил. Или щи. И… главное, главное

ТВОРОГ

– и *со сметаной,* коей весь грустный год я даже не попробовал. И – с молоком. И – немножко сахара толченого. «Как прекрасное *БЫЛОЕ*».

С мыслью и жалостью, что «мои» этого не имеют в Посаде, я все это кушал, и для творога еще раз подставил «как будто рассеянно» тарелочку.

Нну-с: а теперь – Микель-Анджело. Что же, Вы думаете, это оказалось? В часы досуга, в летние месяцы, сей штатский генерал (тогда, конечно, еще не бывший им) поехал лет 10 тому назад во Флоренцию… и «заснул сном Микель-Анджело». «Истории искусства я не изучал и не знаю». «Микеля *никогда* не изучал»… «Но мне снится душа этого Микеля», и я вижу во сне *его сны.* (Вы помните у Лермонтова: «В долине Дагестана»: *Сон во сне.*) Из Талмуда я знаю, что *Сон во сне* есть что-то специфическое, редкое и *магическое.* Булгаков забеспокоился святым беспокойством. «Вот! вот! не иначе!» Вот как произошла знаменитая, великая статуя Давида, поражающего камнем из пращи Голиафа: и Леман – дав мне рассматривать на рисунке *Давида,* в *двух видах* (Мюнхенское превосходное издание 1 МК 80 (пфенигов), стал читать… *сны* Микель-Анджело, из коих статуя родилась, и:

ни статуя не могла бы быть иною
———————————,
ни Давид не мог бы быть *Другим*

если бы *пастушку до трона* – не привиделось именно *то,* что сперва Давид «видел во сне», потом «Микель-Анджело видел его во 2-м своем сне», и в *3-м* уже сне увидел в Нижнем Новгороде русский чиновник с претензией на генеральство. Замирая, мы оба слушали с флорентинкой. Поддаваемый нашим энтузиазмом – Леман читал все с возрастающим энтузиазмом. И мы провели какую-то фантастическую флорентинскую ночь, погруженные в грезы истории, как Юлия и Павла, Лоренцо и Джулиано Медичи, в

этой (я ее видел) дивной Capella di Medici*. Чудо. Чудо мистики, вдохновения, грез исторических: над которыми стоит светский генерал Казенной Палаты в Нижнем, дирижируя палочкой, как в оркестре. Великая и прекрасная душа Микель-Анджело, какого-то дьявола и кентавра, как бы заворочавшего хвостом своим все Возрождение, toute Renaissance… Боже, как это хорошо! В сущности, мы знаем *слова* о Возрождении, а не *видим Возрождения,* в нас (в *самих нас*) нет *бурь Возрождения,* а в *бурях*-то *Возрождения*, конечно, и лежит вся тайна его:

О, бурь уснувших не буди,
Под ними хаос шевелится…

И вот – все *это,* именно *это,* было в Полуэхтов пер., д. 6, Пречистенка, Москва, у Георгия Адольфовича Лемана (мать его – Абрикосова) (а Абрикосов, благочестивый купчина, основал «Вопросы философии и психологии», у Грота еще, и, значит, это 35 лет – меценатства, передавшегося через мать во *внука*). В сущности, перед нами, 33-х лет, сидел такой же таинственный Лоренцо, с благожеланием, с пылом к *Возрождению* же, но уже нашей плохонькой, нашей обездоленной России, с ее Москвой-рекой, впрочем напоминающей речку Арно, на которой стоит Флоренция: но та вся – голубая, бирюзовая, эта Арно (помню, как шел через мост), а Москва-река мутная, и в ней сидят мутные «большевики».

– Да *кто* такой Леман? Это – Белинский же, с *его впечатлительностью,* с его *отзывчивостью,* но уже без чахотки, без злобы, без революционного жара, отсюда вытекавшего: с *благосостоянием* (хотя *теперь* очень нуждается), обеспеченный, свободный, и гораздо более, чем Белинский, культурно-*зрелый,* стоящий *вполне* на своих ногах, друг целой серии молодых профессоров (Карсавин, Браун).

И Леман заговорил прямо о чудесах исторических откровений, уже *ему* открывшихся: как через «плоть», кою «воскрешал» Микель, пришел «позитивизм», пришла «поганая плоть» XIX века… и, в сущности-то, *надо вернуться* к Средним векам, с их тонким духом, с их аскезом, чтобы *победить* и революцию, и Конта, и Фейербаха, и вернуться к христианству. У меня кружилась голова.

В кабинете Лемана – чудная картина (зимняя) монастырской стены Сергиева Посада, и вся она завешана потемневшими иконами старой московской живописи. «Москва! Москва!» – рвалось из его сердца. Хочется – Москвы, хочется – и Флоренции. Как мне – люблю Русь, Волгу, стерлядей в ухе, а грежу – фараонами, пирамидами, кастами, жрецами.

Я, который есть тот же А. А. Булгаков, отныне милый и *святой* для меня. Но я думаю – он в 100 раз меня талантливее.

Пришлите В. брошюру *Леману по выше написанному адресу* и Николаю Николаевичу Русову. *Москва, Уланский пер.,* близ *Красных ворот, д. 30, кв. 15.*

---

* Капелла Медичи *(ит.).*

XXXII

<26 октября 1918 г.>

Милый Гол., вчера было 9 октября, день рождения нашей Наденьки («Пучок». *Оп. л.*), мама – еще в постели сказала – «Потише, не разбуди Надю, день ее рождения», – и хотя самовар было ставить еще рано (я, – обычно), но я, сказав маме, что буду «тихо», – встал за одним нужным делом. Это «нужное дело» заключалось в следующем: отыскивая остатки окурков в *одной* лежанке, я – *едва начал* раскапывать пальцами мусор, как попал на: «В. Ветлугин: Н. Абрамович – Улица современной печати». Ветлугин = я, в «Колоколе», кажется, это или прошлый год, или года 2 назад. Абрамович («И о семени твоем *благословятся все народы*», т. е. «все народы будут, станут, совершатся в будущем как счастливые, как лучшие, как благородные, как моральные» (Ною или Аврааму или даже Адаму), – итак, Абрамович, как и *все евреи* (заметьте, обратите внимание) – кроме «мелочей» и «глупостей» печати, кроме «крохоборства» ее, делают в литературе русской положительно *самое лучшее, самое нужное* дело: начиная с Флексера и благородной Любови Гуревич («Северный Вестник») (Дамаянти Флексера, несчастно и вне-надежно его любящая; сама она – прелестна и хороша, он – резонер, мыслитель, фанатик и, по-видимому, онанист (т. е. человек избранный, исключительный; все онанисты суть таинственно и незаметно «Авраамы своих народов», *ведущие их*) (напр., Паскаль для XVII, у нас – Лермонтов и, кажется, Гоголь, я думаю – Жуковский). Этот Флексер первый предпринял колоссальную работу *переработки русской критики,* которая к 80–90-м годам, заняв еще с 60-х, да пожалуй, и с 40-х годов (Белинский; *эпоха* Белинского), через Добролюбова (нигилист-агитатор, – тоже *безумный* онанист, т. е. по исключительной, «с жаром», – преданности этому якобы пороку (———— = добродетели) превратилась в лице Скабичевского, Шелгунова, отчасти Н. Михайловского, положительно в хулиганство, «сад терзаний» (или «мир пыток», в Китайском Дворце) русской литературы, осложняемой кабаком и трактиром. Стóя на плечах Белинского и еще более на плечах Добролюбова – «критика и библиография», – особенно библиография (особенно мелочная и анонимная, – вообще «шушера» самой уже библиографии) озирала и *смела* озирать *всю русскую печать*... и очень умно, прямо «проникновенно» (хотя и глупа, но хитра) – особенно «озирала» она все начинающее, всякого первого беллетриста, первого нувеллиста, – ну, и публициста отчасти. Я не знаю, знаете ли вы (вероятно – *нет,* Вы слишком горды для этой парши): но, *ей-ей,* тут и не одно самолюбие «начинающих». Верите ли, как часто мне хотелось «поцеловать руку прощения» у присылавших мне книги – «первые начинания» – авторов. «Им так нужно» (о, нужно!!): а я – «так *устал*» (смел устать, дерзнул устать). Долго писать. Вы понимаете трагедию. И вот этот «начинающий» вдруг находит под буквами «Н. М.» (фатальные, золотые у автора)... так «немного

приветливый» отзыв, ну – и журящий, но вообще – «искренний и талантливый». «Первый чин», нет – первая ласточка и *весна.* «О, я буду работать». Первое и единственное, кажется, описание этого сделано у Дост., как его «приняли Белинский и Григорович», но поверьте, *точь-в-точь* происходит *это самое и у каждого,* и еще лучше поверьте – что тут ничего нет низменного, вонюче самолюбивого (разве у последних подлецов, вот у «хамов», о которых Вы очень хорошо написали и у которых *уже в зачатии отца и матери* все обдрызгано, пропито, просвистано) – кроме этой «чумы рода человеческого» у всех-то и вообще это есть таинственная «еврейская суббота» бытия человеческого, *бытия литературного.* Она выражает прекраснейшее чувство литературного братства, литературного единства, что литература «едина» и «тут все – братья» и «мы, конечно, будем делать лучшее историческое дело», «лучшее народное дело». О! о! о!.. И вот в этот-то идеализм, специфический идеализм «начинающего», когда, «одев новенькую одежду», юноша «входит как именинник в литературу» (еще бы, ведь он *ночи не спал,* да и *трудился*, наконец): эти архигады, эти чудища, эти «Н. К.», «х», N, капнули… адом или помадою. У каждого мерзавца был а) или шприц с серною кислотою для обливания «именинника», или «помада, чтобы его припомадить». Вы понимаете ли, что даже не произошла бы русская революция, русский позитивизм, русский нигилизм, русское знаменитое «отрицание» и «отрицательное отношение к действительности», если бы именно не библиография, заправляемая и редактируемая критиками + редакторами, а им всем начало, «столп и утверждение истины» положили Добролюбов-онанист и Белинский онанист же, т. е. люди с авраамовскими ноуменами в себе, «обрезанные» и «призванные к себе в завет Богом». Ибо «всякий онанист» делает именно то же, что Авраам, и – ничего еще другого: он «открывает перед Богом Лице свое, Ноумен свой, «головку члена», то, что подло зовется caput membri в подлой медицине. Итак, вот эти со шприцами на «да» или «нет» господа встали у самого *входа* в литературу и заперли, точнее, – захватили все ее ворота. «Крепость взята», когда «захвачены ее ворота». *Проход, ворота* (как и «улица», узкое проходимое между домами место) – это *все* в общежитии, где «толкаются», «живут», «дышат». И вот – «самое живое место» захватили… не только хамы, но Каины и Люциферы. Слова В. письма – еще слабы, еще бледны, еще тусклы. На самом деле это – огромное историческое дело, это «начало всего». «Начало»… понимаете ли Вы, над чем трудился первый период греческой философии, разыскивая все «начал», «археев», «первых двигателей». Она разыскивала именно «первого Белинского» и «первого Добролюбова». И вот – надо было «убрать эту гадость с дороги», эту вонь и заразу, стоявшую при входе. В конце концов – убрать эту «парашку» каторжников («Воскресенье» Т-го). Собственно, она-то и превращала в каторгу всю литературу и делала «из милого юного лица начинающего литератора» какого-то форменно «каторжника». Тут помада, гнусная блядовская помада, действовала еще лучше, еще вернее, чем шприц с серною кислотою. «Вправляли ноги» начинающим, говоря: «Вы *будете ходить* или по нашим путям, или – ни *по* каким, и мы тебе это сделаем очень ласково, не вороти только морду». О, о, о…

Ну, и вот эту гадость устранить, или (то же самое) эту совершить правду решил сухой, черствый Флексер, для *совершенно ему чуждой русской литературы.* Он, который и назвал себя «Волынским». Вот, Вы и судите, и осуждайте евреев. Нет, батюшка, с евреями надо «погодить». Еврей – он именно святой, он часто – бесталанен, неумен. Ум и «умы» евреев решительно и до смешного преувеличены, но он именно – «святой», и не в русских вовсе, а именно в евреях зарыта «правда» (русские же обычно жулики, и роль русских во *всей* всемирной истории есть чисто жульническая, наглая, бессовестная) (тут Чаадаев прав). Нужно вам сказать одну тайну, с изумлением мною прочитанную в еврейском молитвеннике, что «Библия начинается с каких-то первых пяти слов», коих – если у них сложить только *первые буквы*: то эти «первые буквы» образуют собою *новое слово* (т. е. уже сокровенное, скрытое как бы «акростихом») «П-Р-А-В-Д-А». Вот как, батюшка, начинают ноуменальные народы, с ноуменальным в истории призванием. Ведь еще когда Библия-то написана. «В начале всех времен», «при Исходе из Египта». Да, это уж – не Чичиковы и (несчастная) раса Чичикова. И вот Флексер-Волынский, принимая на себя, на имя свое, на *судьбу свою в литературе,* весь ад насмешек, проклятий, злобствования, совершил эту «библейскую», эту (сокровенно-акростихальную) ПРАВДУ – для русской литературы. Потом пришел благородный Гершензон, с «Образами прошлого», с великолепными изданиями Киреевского и Чаадаева, вообще со всею своею изумительною и многолетнею «работою на пользу русской литературы», потом Венгеров, чистый и *благородный* труженик по «библиографии», Лернер («Труды и дни Пушкина») и, наконец, Айхенвальд, который – хоть и тяжело в этом сознаться *русскому* – написал все-таки прекрасные «Силуэты русской литературы» и положил «прямо в лоск», – благодаря изяществу article'я* – «первого мерзавца русской критики» – Белинского. И *теперь, теперь,* действительно за славу и за честь, – нет, лучше: за пользу, русской литературе принесенную, – Бог дал им «корифейство» в критике, т. е. в «горже» («проход», «дыра» в осаждаемой крепости, – особое стратегическое понятие) ее. «Евреи первенствуют», безусловно, абсолютно, именно «в улице», именно – в критике. Но *чем*? Трудолюбием и добросовестностью (как и в торговле, как – в сущности – везде). Бог-то, батенька, добродетелен; он уж не «Чичиков», не «*случайно* удалось», «*случайно* сорвалось»: он – Батюшка наш, Отец наш – он СЕРЬЕЗЕН, весь сам *В РАБОТЕ* (сотворение мира, *работа* над миром): и от каждого делающего хочет – ДОБРА, ПОЛЬЗЫ, НУЖНОГО. Вот они ноумены истории, – да: и жид, талантлив или не талантлив, часто – глупенький жиденок, все копается около чего-то ПОЛЕЗНОГО. И вот я нахожу свой фельетон об Абрамовиче – в печке.

Абрамович сделал, и как-то *заканчивающе* сделал, конец всей этой очищающей еврейской работе над русскою литературою. Он занялся не «Тургеневыми» и «Герценами», а попроще и понужнее – УЛИЦЕЮ современ-

---

* статьи *(фр.).*

ной – именно печати: п. ч. литературы – нет, а есть «Русское Слово» и есть «Нов. Время». Есть «Амфитеатровы» и «Оль д'Оры». Ну, и вот я нахожу это – «в печке», и... с изумлением (и ужасом) вижу, что «она истоплена первою осеннею топкою» (и сколько же *там было* моих фельетонов?!), и, «хватая другую печь» (vis-à-vis в коридорчике), – «выгребаю»...

...Посылаю Вам то, что я выгреб!!! Господи, золотые кудри детей... Да ведь это (особенно узнается в *голодный год*) хлеб даже, хлеб насущный, если его заметят и оценят (а они, конечно, и оценят, и заметят) Голлербах и Спасовский (прочел, – верно, не прочитал *при получении* – чудную *Вас* оценку Спасовским, краткую, выразительную. Вообще он гораздо более замечателен, чем показался мне с самого начала) (он – по-настоящему замечателен и особенно *полезен для России,* – а «Вешн. Воды» теперь лучший политический журнал в России). Я же был в таком безумном испуге *за судьбу детей.* Именно – *за будущее, за будущее!* Это – темное, это ужасное будущее. Я «поклевал» только, – не в силах читать: а Вы – прочтите. И я – *УСПОКОИЛСЯ* (впервые с осени 1917 г.!). Они сами себе проложат дорогу, мои кудерьки, они не «несчастными» родились, но ей-ей «в папашу» (а он довольно умен и, в сущности, en grand – был *счастлив*). Вы знаете *лучше всякого,* что суть дела в «клочках», в «черновиках», еще *до печати,* до прибранного, до «причесанного»: и вот я – куда ни тыкался глазом – нахожу везде работу *творческого воображения, сотворяющего* «вымысел», «тему», «слова». О, кудерьки – вы «все словесники», в «папу» и в «Голлербаха» (позвольте Вас похвалить):

...укусы бешеной змеи...

Вот и у них – укусы, но – не «змеи», а – поцелуи Ангела, розы, невинные, чистые. Не разбирая почерки своих детей, я снес – пуком – к маме – и показал: «Это вот почерк Нади», «а то – почерк – Вари». То-то они каждую ночь запираются, шушукаются, «тратят керосин» (коего в дому нет) и вообще как-то счастливы; а поутру ругаются; то-то они так грубы и не сдержаны с родителями, и вообще «как – *я*, вечный – творец», со всегдашним моим – «некогда», и «ну вас к черту», «оставьте меня в *ПОКОЕ*», который и есть (единственное) условие и необходимость, чтобы «ночной фиалке» распуститься и заблагоухать. О, я верю в ПРАВДУ (акростих), я верю – в ДОБРОБОЖИЕ. Верю, что Бог не оставит меня, а след., и детей моих, за пользу, мною принесенную миру, людям, вот «письма студенчества», вот «Семейный вопрос в России», вот «Сумерки просвещения», не говоря о шалостях «Ит. впечатл.». Но это – ПОЛЬЗА, это – ЛУЧШЕ. С чувством заливающего счастья я обошел 3 кроватки детей (Таня – судомойка, Варя – уехала «кормиться и работать» в Полтаву, Надя – «кухарка», чудно и старательно готовящая обед; я – сторож-дворник (катанье воды и дрова)...) поздравил с «рождением» Пучка, но и о других всех сказал счастливо, громко:

Талантливы!! Все – талантливы; а главное – милые, благородные, чистые (вот она, «прозрачность души» в папе, всегда «крест-накрест» выходящая в *дочерях*). Устал. Прощайте.

В. Р.

<На вырезке из «Апокалипсиса нашего времени»:>

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Россию подменили.

Вставили на ее место другую свечку.

И она горит *чужим* пламенем, чужим огнем, светит не русским светом и по-русски не согревает комнаты.

Русское сало растеклось по шандалу.

Когда эта чужая свечка выгорит, мы соберем остаток русского сальца. И сделаем еще последнюю русскую свечечку. Постараемся накопить еще больше русского сала и зажечь ее от той маленькой. Не успеем – русский свет погаснет в мире.

<На отдельном листке:>

ДО КАКОГО ПРЕДЕЛА МЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ РОССИЮ

...до *истязания*; до истязания самой *души своей.* Мы должны любить ее до «наоборот нашему мнению», «убеждению», голове. Сердце, сердце, вот оно. Любовь к родине – *чревна.* И если Вы встретите Луначарского, ищите в нем тени русской *задумчивости,* русского «странствия по лесам и горам»; и так, – любите русского человека «до социализма», понимая всю глубину «социальной пошлости» и социальной «братство, равенство и свобода». И вот, несите «знамя свободы», эту омерзительную красную тряпку, как любил же ведь Гоголь Русь с ее «ведьмами», с «повытчик Кувшинное рыло», – только надписав «моим горьким смехом посмеюся». Неужели он, хохол, и след., чуть-чуть инородец, чуть-чуть иностранец, как и Гильфердинг, и Даль, Востоков, – имеют права больше любить Россию, крепче любить Россию, чем великоросс. Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в *своей полной истине.* Щедрин, беру тебя и благословляю. Проклятая Россия, благословенная Россия. Но благословенна именно на *конце.* Конец, конец, именно – *конец.* Что делать: гнило, гнило, гнило. Нет зерна, – пусто, вонь; нет Родины, пуста она. Зачеркнута, небытие. *Не* верь, о, *не* верь небытию, и – *никогда* не верь. Верь именно в *бытие,* только в *бытие,* в *одно бытие.* И когда на месте умершего *вонючее пустое место с горошинку,* вот тут-то и *зародыш, воскресение.* Не все ли умерло в Гоголе? Но все *воскресло* в Достоевском. О, вот тайны мира; тайны *морального* «воскресения», с коим совпадает *онтологическое, космологическое* воскресение. Египет, Египет... как страшны твои тайны. Зову тебя, зову... умерло *зерно;* и дало *росток «сам-шест».* Никакого *уныния,* – о, *никакого* уныния. «Сам-шест», помни единое языческое «сам-шест Деметры». Прозерпина ищет дочь свою. Ее «похитил *Аид*». Боже – вот разгадки *Ада.* Какая истина в мифах древности... «Кора в объятиях Аида». Душа,

где она? В *преисподней.* Объяснение Преисподней. «Душа русская в революции». Где? Нет ее! Будем искать Кору, как помертвелая от страха и тоски Прозерпина. Зерно – о, как оно *морально.* В зерне ли мораль? «Ведь растение», «не чувствует». Не ползает, не бегает. И вдруг в зерне-то и открывается, что оно-то и есть ноумен не только *онтологии,* но и вместе, что этот онтологический ноумен совпадает и *единое есть с моральным.*

Феникс, «через 500 лет *воскресающий*», – Египет, мне страшно тебя. Ты один все *понял*...

О, старец... Священный Ибис, священный Апис...

.....

«После Гоголя и Щедрина – Розанов *с его молитвою*».

Ах, так вот где *суть*... Когда зерно сгни́ло, *уже* сгнило: тогда на этом ужасающем «уже́», горестном «уже́», слезном «уже́», что «оплакано» и представляет один ужас – *ужас небытия и пустоты,* и полного nihil'я*, – становится безматерьяльная *молитва*...

Ведь в молитве нет никакой *материи.* Никакого нет *строения. Построения.*

Нет даже – *черты, точки*...

Именно – *nihil.* Тайна – *nihil.*

Nihil в его *тайне.*

Чудовищной, неисповедимой.

Рыло. Дьявол.

Гоголь. Леший. Щедрин. Ведьма.

Тьма истории.

Всему конец.

Безмолвие. Вздох. Молитва. Рост.

«Из отрицания Аврора, Аврора – *с золотыми перстами построения*».

Ах: так вот откуда в Библии так странно, «концом наперед», изречено: «И бысть *вечер* (тьма, мгла, смерть) и бысть *утро – День первый*». Разгадывается *Религия,* разгадывается и *История.*

Строение *Дня*... и вместе устройство *Мира.*

Боже, Боже... Какие тайны. Какие Судьбы. Какое *Утешение.*

А я-то скорблю, как в *могиле.* А эта могила есть *мое Воскресение.*

---

* ничто *(лат.).*

КОММЕНТАРИИ

В томе сохраняются те же принципы публикации и комментирования текстов, что и в вышедших ранее томах Собрания сочинений.

Статьи 1908 г.

В настоящий, семнадцатый том Собрания сочинений В. В. Розанова вошли его социально-политические статьи 1908 г. (статьи этого периода, посвященные вопросам литературы, философии и культуры, были представлены в предыдущем томе сочинений Розанова).

Принятые сокращения: НВ — «Новое Время»; РС — «Русское Слово»; Б.п. — без подписи.

В том не включены статьи Розанова 1908 г., уже опубликованные в вышедших томах Собрания сочинений:

«Среди художников» (1994) — Судьба «черных воронов» (Слово. 1908. 17 февр.); Религия и зрелища (РС. 1908. 12 ноября).

«В темных религиозных лучах» (1994) — О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира (Русская мысль. 1908. № 1).

«О писательстве и писателях» (1995) — Некрасов в годы нашего ученичества (РС. 1908. 10 и 15 янв.); Л. Андреев и его «Тьма» (НВ. 1908. 25 янв.); Автор «Балаганчика» о петербургских Религиозно-философских собраниях (РС. 1908. 25 янв.); Домик Лермонтова в Пятигорске (НВ. 16, 23 и 30 июня); На книжном и литературном рынке <Арцыбашев> (НВ. 1908. 11 июля); На книжном и литературном рынке <Диккенс> (НВ. 1908. 23 июля); Письмо в редакцию <О памятнике И. С. Тургеневу> (НВ. 1908. 27 авг. В книге — с изменением названия); 80-летие гр. Л. Н. Толстого (НВ. 1908. 28 авг.); Л. Н. Толстой (НВ. 1908. 28 авг.); Толстой между великими мира (РС. 1908. 28 авг.); Великий мир сердца (РС. 1908. 9 окт.); Одно воспоминание о Л. Н. Толстом (РС. 1908. 11 окт. В книге — Поездка в Ясную Поляну).

«Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1996) — О «народо»-божии как новой идее Максима Горького (РС. 1908. 13 дек.); Личность отца Иоанна Кронштадтского (НВ. 1908. 21 дек.).

«Во дворе язычников» (1999) — Вечная тема (НВ. 1908. 4 янв.); Еще о вечной теме (НВ. 1908. 22 февр.); Как святой Стефан порубил «прокудливую березу» и как началось на Руси пьянство (НВ. 1908. 2, 18, 24, 31 марта и 7 апр.); Религиозная мистерия смерти и воскресения, греха и очищения (РС. 1908. 13 апр.).

Значительная часть статей настоящего тома касается событий, связанных с деятельностью III Государственной Думы.

Епископ и семинарии (с. 7)
РС. 1908. 3 янв. № 2. Подпись: В. Варварин.

Святилище Ваала и Астарты (с. 9)
НВ. 1908. 3 и 30 янв. № 11426 и 11453.

...дочитывал о «Прогрессе в истории» Михайловского. — Речь идет о работе Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?» (Отечественные Записки. 1869. № 2, 9, 11).

...в своих посмертных «Записках» Н. И. Пирогов. — *Пирогов Н. И.* Вопросы жизни. Посмертные записки Пирогова // Русская старина. 1884. № 9–12; 1885. № 1–6; 1887. № 1. В книжных переизданиях — «Вопросы жизни. Дневник старого врача...».

Юридический и нравственный авторитет церкви (с. 21)
НВ. 1908. 9 янв. № 11432.

«Марфа, ты заботишься о многом и забыла о том, что единственно служит на потребу». — Лк. 10, 41–42.

Обер-прокуратура Синода и вопрос о приходе (с. 25)
НВ. 1908. 11 янв. № 11434. Б.п.

...от «хладных финских скал до пламенной Колхиды...» — А. С. Пушкин. Клеветникам России (1831).

О судебных приказах (с. 28)
НВ. 1908. 20 янв. № 11443. Б.п.

Ответ на анкету «Религия и освободительное движение» (с. 30)
Свободная молва. 1908. 28 янв. № 2.

Воспитательные уроки в Г. Думе (с. 31)
НВ. 1908. 29 янв. № 11452. Б.п.

...говорила... «рабьим языком», по выражению Щедрина... — см.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Круглый год. Первое августа (1879).

Еще о терпимости в печати и политике (с. 34)
НВ. 1908. 31 янв. № 11454. Б.п.

...г. К. Арсеньев в «Слове» возражает нам... — *Арсеньев К.* Мнимый «заговор молчания» // Слово. 1908. 30 янв. № 367. Статья Арсеньева является откликом на предыдущую статью В. Розанова в «Новом Времени» от 29 янв. – «Воспитательные уроки в Г. Думе» (см. выше в наст. томе).

Духовно-церковные дела в их «новом курсе» (с. 36)
Слово. 1908. 3 февр. № 371. Подпись: В. Надеждин.

«Не обидь сироту, не обессуди вдовицу»... — Исх. 22, 23; Втор. 24, 17; Иер. 7, 6.

В министерстве народного просвещения (с. 39)
НВ. 1908. 6 февр. № 11460. Б.п.

О ближайшей работе учебного ведомства (с. 41)
НВ. 1908. 9 февр. № 11463. Б.п.

Митрополит Антоний в современной смуте (с. 43)
РС. 1908. 10 и 13 февр. № 34 и 36. Подпись: В. Варварин.

...в газете г. Дубровина... — Речь идет о ежедневной газете «Русское Знамя», выходившей в Петербурге с ноября 1905 г. по 1917 г. как орган «Союза русского народа». С 1906 г. ее издателем являлся А. И. Дубровин, глава «Союза...».

«Прекратились... всякие дары» – ср.: Дан. 9, 27; 11, 31.

«Миссионерское Обозрение» — журнал внутренней православной миссии, выходивший с 1896 по 1917 г. Главный редактор — В. М. Скворцов.

...по выражению «Кормчей»... — Речь идет о «Кормчей книге», сборнике церковных правил и постановлений византийских императоров о церкви, перешедших в Россию после принятия христианства на Руси из Византии.

Ближайшие задачи учебного ведомства (с. 52)
НВ. 1908. 12 февр. № 11466. Б.п.

Ферула — от лат. хлыст, розга — линейка, которой били нерадивых школьников.

Источник расслабленного учения (с. 57)
НВ. 1908. 14 февр. № 11468. Б.п.

«Упокоенные» и предположенные к «упокоению» петербургские иерархи (с. 58)
РС. 1908. 20 февр. № 42. Подпись: В. Варварин.

«История религий древнего мира». — Хрисанф [Ретивцев В. Н.]. Религии древнего мира и их отношение к христианству: Историческое исследование. СПб., 1873–1878. Т. 1–3.

В «Кратком очерке истории церкви», написанном Победоносцевым... — Победоносцев К. П. История православной церкви до начала разделения церквей. СПб., 1891; 8-е изд. СПб., 1903.

...завет апостола: «Епископ должен быть единыя жены муж»... — 1 Тим. 3, 2.

Вековые причины пьянства (с. 64)
НВ. 1908. 29 февр. № 11482.

Вопросы церкви в Г. Думе (с. 66)
НВ. 1908. 9 марта. № 11491. Б.п.

Нужно сделать «личико» (с. 69)
НВ. 1908. 12 марта. № 11494.

Каков развод, таков и брак (с. 70)
РС. 1908. 20 марта. № 67. Подпись: В. Варварин.

О речи и письме г. Влад. Львова (с. 73)
НВ. 1908. 30 марта. № 11512.

...«и не введи их во искушение» — ср.: Мф. 6, 13; Лк. 11, 4 («Отче наш»).

Восстановление экзаменов в гимназиях (с. 76)
НВ. 1908. 4 апр. № 11517. Б.п.

«Вестник Европы»... соглашается с пользою восстановления экзаменов... — Речь идет об очерке «Восстановление системы экзаменов в средней школе и возврат к насаждению национализма и патриотизма» в редакционном обзоре «Из общественной жизни» (Вестник Европы. 1908. № 4).

Где скрыто зло старых экзаменов (с. 78)
НВ. 1908. 8 апр. № 11521. Б.п.

Письмо в редакцию (с. 81)
НВ. 1908. 8 апр. № 11521.

Пересмотр учебных программ как условие экзаменов (с. 82)
НВ. 1908. 12 апр. № 11525. Б.п.

Один из упокоенных архиереев (с. 84)
Слово. 1908. 13 апр. № 431. Подпись: В. Надеждин.

«Не сломила его буря, а срезала соломинка». — А. В. Кольцов. Лес (1837).

Искупляющие страдания (с. 88)
НВ. 1908. 13 апр. № 11526. Б.п.

Так тяжкий млат… — А. С. Пушкин. Полтава. Гл. I (1829).

…недавно составлявшие за границей полуреволюционные «Освобождения»... — Двухнедельный журнал «Освобождение» выходил с июля 1902 г. по октябрь 1905 г. сначала в Штутгарте, а с октября 1902 г. — в Париже. Издавался группой во главе с П. Б. Струве. Из сложившегося вокруг журнала союза «Освобождение» в 1905 г. выросла кадетская партия.

Экзамены – как соревнование, а не как испытание (с. 92)
НВ. 1908. 19 апр. № 11530. Б.п.

Об одной особенности частных женских гимназий (с. 95)
НВ. 1908. 23 апр. № 11534.

Два обыска в один день (с. 98)
НВ. 1908. 25 апр. № 11536.

…некий Леонид Галич, почему-то раздражившийся за Минского. — Галич Леонид. Свой человек оболгал: По поводу статьи В. В. Розанова «Свои люди поссорились» // Речь. 1908. 23 апр. № 96. Леонид Галич говорит о статье Розанова, опубликованной в «Новом Времени». 1908. 21 апр. № 11532. См.: *Розанов В.* Собр. соч. [Т. 16]. Около народной души. М., 2003.

…я стою на той самой точке зрения, какую выразил в «Ослабнувшем фетише»... — см.: *Розанов В.* Собр. соч. [Т. 8]. Когда начальство ушло… М., 1997. «Ослабнувший фетиш» написан Розановым в феврале – марте 1906 г.

Силуэты третьей Думы (с. 101)
РС. 1908. 26 апр. № 97. Подпись: В. Варварин.

Пестрые темы (с. 107)
РС. 1908. 30 апр., 13, 22, 25 мая, 1, 8, 12, 14 июня. № 100, 110, 118, 120, 126, 132, 135, 137. Подпись: В. Варварин.

…Афанасьев написал три тома «О русском мифическом творчестве»... – Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865–1869. Т. 1–3.

…для литературы он занимался греческим «Эросом»... — Иванов В. И. Эллинская религия страдающего бога // Новый Путь. 1904. № 1–3, 5, 8–9; *Он же.* Религия Диониса // Вопросы Жизни. 1905. № 6–7.

...«Тридцать три урода»... — повесть Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода» (СПб., 1907). Зиновьева-Аннибал была женой Вяч. Иванова.

Спор между гг. Чуковским, Жаботинским и Таном о евреях... — Речь идет о серии статей, появившихся в газете «Свободные Мысли» (СПб., 1908): К. Чуковский. Евреи и русская литература (14 янв.); В. Г. Тан. Евреи и литература (18 февр.); В. Жаботинский. Письмо (О «Евреях в русской литературе») (24 марта); В. Г. Тан. В чулане. К вопросу о национализме (7 апр.); В. Жаботинский. Еврейский патриотизм (12 мая).

Мицкевич... создал приснопамятный образ еврея-цимбалиста… — Адам Мицкевич. Пан Тадеуш (1834).

Что сделалось с добрым Жаботинским — я не знаю. — В 1903 г. В. Е. Жаботинский примкнул к сионистскому движению, вскоре став одним из его руководителей в России.

...«варить козленка в молоке его матери»... — Исх. 23, 19; 34, 26; Вт. 14, 21.

Ликует буйный Рим, торжественно гремит... — М. Ю. Лермонтов. Умирающий гладиатор (1836).

«О семени твоем благословятся все народы». — Быт. 22, 18; 26, 4; 28, 14.

...нелепую идею «вечного жида», выдуманную посредственным французским романистом... — Речь идет о романе Эжена Сю «Вечный жид» (1844–1845), рус. перевод — т. 1–10, 1844–1845. В позднейших изданиях озаглавлен по имени главного героя — «Агасфер».

Славянские гости уехали из Петербурга. — 9–17 мая 1908 г. в Петербурге побывала группа лидеров славянского движения западных славян (Чехии, Словакии, Галиции, входивших тогда в состав Австро-Венгрии) – К. П. Крамарж, И. Ф. Грибарь, Н. П. Глебовицкий и др. Делегация обсудила с русскими государственными и общественными деятелями вопросы общеславянского единства и сближения, предполагаемое проведение в Праге Всеславянского съезда и славянской выставки.

Ив. Киреевский издаваемый им журнал назвал «Европейцем». — Журнал «Европеец» И. В. Киреевский начал издавать в 1832 г. После выхода второго номера журнал был закрыт правительством.

По смерти Лермонтова в черновых его бумагах был найден... — слова «Россия вся в будущем» имеются в записных книжках поэта. См.: *Лермонтов М. Ю.* Соч.: В 6 т. М.;Л., 1957. Т. 6. С. 384.

Люблю отчизну я, но странною любовью... — М. Ю. Лермонтов. Родина (1841).

...описание... аустерлицкой битвы. Помните этот конец ее... — Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 1. Ч. 3. Гл. 18 (1868).

Проселочным путем люблю скакать в телеге... — М. Ю. Лермонтов. Родина (1841).

...все мы «сердцем хладные скопцы»... — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

Ревет ли зверь в лесу глухом... — А. С. Пушкин. Эхо (1831).

Пока у Чернышева моста в Петербурге в 1902 и 1903 годах не было сказано и доказано... — Речь идет о Религиозно-философских собраниях, проходивших в ноябре 1902 г. — марте 1903 г. в помещении Императорского Географического общества на Чернышевой площади.

«Я пришел проповедать пленным освобождение, заключенным в узы — изведение из них: лето Господнее и благоприятное». — Лк. 4, 17–19.

Мне приходилось слышать от очень близкого к нему человека, знающего его с детства... — Речь идет об Александре Аркадьевиче Столыпине, брате П. А. Столыпина, журналисте, сотруднике «Нового Времени».

...худая шинель Акакия Акакиевича... — Н. В. Гоголь. Шинель (1842).

...я не слыхал ни во второй, ни в третьей Думе. Там были «речи»... — так в тексте. Очевидно, описка автора; должно быть — ни в первой, ни во второй... Противопоставление «деловитости» третьей Думы и «говорильни» первой и второй встречается у Розанова неоднократно.

Судебные болячки (с. 161)
НВ. 1908. 1 мая. № 11542. Б.п.

«У нас есть больше, чем конституция, — провозгласил когда-то фразеолог Катков, — у нас есть присяга на верность». — В статье «Наша конституция» (Мос-

ковские Ведомости. 1882. 11 мая. № 130) М. Н. Катков писал: «Напрасно нам сулят конституцию, мы уже имеем ее в нашей присяге, которая обязывает всякого русского подданного радеть в пользах Государя и государства» (цит. по: *Катков М. Н.* Имперское слово. М., 2002. С. 403).

...«тащи и не пущай»... — выражение из рассказа Г. Успенского «Будка» (1868), вошедшее в литературу как определение полицейского режима.

Академичность нашего суда (с. 164)
НВ. 1908. 5 мая. № 11546.

Уроки государственного самосознания (с. 167)
НВ. 1908. 7 мая. № 11548. Б.п.

...на тех трех «китах», на которых, по формуле гр. Уварова, покоилась старая Россия. — «Православие, самодержавие, народность» (1832). Формула провозглашена товарищем (заместителем) министра народного просвещения С. С. Уваровым в докладе императору Николаю I о результатах ревизии Московского университета как «охранительные начала», в «соединенном духе» которых необходимо строить народное образование и которые составляют «последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества». Вступив в следующем, 1833 г. в должность министра народного просвещения, Уваров повторил эту формулу как основу деятельности министерства.

Плач о «недостойном существовании» России (с. 169)
НВ. 1908. 11 мая. № 11552. Б.п.

...вопрос Пилата: «Что есть истина»... — Ин. 18, 38.

Непоправимо затхлое ведомство (с. 172)
НВ. 1908. 12 и 19 мая. № 11553 и 11560.

...сообщения – о московском Румянцевском музее... – статья «Библиотека Румянцевского музея (Москва. Корреспонденция «Нового Времени»)», подписанная «Москвич» (НВ. 1908. 8 мая. № 11549).

Рост славянского единства (с. 177)
НВ. 1908. 17 мая. № 11558. Б.п.

...дни славянского единения... – см. выше комментарий к третьей статье (22 мая 1908 г.) «Пестрых тем».

Практические перспективы славянского сближения (с. 180)
НВ. 1908. 18 мая. № 11559. Б.п.

Партии дурного тона (с. 181)
НВ. 1908. 4 июня. № 11575. Б.п.

«Современное Слово» — ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге с сентября 1907 г. по август 1918 г. Именуя себя «беспартийно-демократической», фактически являлась органом кадетов.

Школьный вопрос в Г. Думе, в министерстве и в жизни (с. 183)
НВ. 1908. 8, 10, 11, 13 и 14 июня. № 11579, 11581, 11582, 11584, 11585.

В июне 1908 г. Розанов сам присутствовал на заседаниях Государственной Думы, на которых обсуждался школьный вопрос, печатая в «Новом Времени» из номера в номер, с продолжением, статью по этому вопросу. 12 июня 1908 г. в «Новом Времени», № 11583, очередная часть статьи не публиковалась. Но в этом номере появилась заметка без подписи, озаглавленная «Выступление министра народного просвещения в Г. Думе». Заметка в форме репортажа с заседания Думы и полемики с министром просвещения развивает некоторые положения статьи «Школьный вопрос...». Приводим текст этой заметки, по-видимому, также принадлежащей перу В. Розанова.

«Речь министра народного просвещения в Г. Думе была, в сущности, такою же страстной филиппикой против критиков его ведомства, членов Г. Думы, какими были речи большинства ораторов. Упрекая депутатов в том, что они не могли обсуждать серьезный вопрос «без негодования и окриков», министр отвечал им с неменьшим возбуждением и, пожалуй, тоже с «окриками», которые ясно слышатся в его речи. Сходство в этом отношении идет и еще дальше, потому что, предсказывая, чего будут желать депутаты для восстановления школы, А. Н. Шварц заранее объявляет, что «все это испытано, безнадежно, старо», а какие новые испытания предполагаются, в чем можно увидеть надежду, какой путь намечается, — он этого не сказал, ограничившись лишь критикой депутатов в ответ на думскую критику министерства.

В переходе к очередным делам Думе предполагалось наметить ряд мероприятий, необходимых для развития народного просвещения. На это министр возразил, что перечень этих мер, во-первых, «неполный», иначе говоря, — программа министерства шире, а, во-вторых, оно и без напоминаний озабочено проведением этих реформ в жизнь. Но в том-то и ошибка, что министр увидел в осуждении деятельности министерства личные нападки на него, А. Н. Шварца. Здесь, разумеется, исключаются единичные выходки и сомнительные сопоставления, очень мало шедшие к делу. Речь шла не об определенном министре, а именно *о министерстве*, которое со времен толстовской реформы или топчется на одном месте, или кидается из стороны в сторону, почти наугад, от одной программы к другой, от одного типа учебных заведений к другому, для того только, чтобы поскорей поставить крест на неудачных реформах и перейти к новым, столь же неудачным и также мало продуманным. Это и есть та неподвижность, «безнадежная и старая», скажем, выражаясь словами А. Н. Шварца, которой боится общество, — боится настолько, что в медленности действий будет видеть все ту же роковую неподвижность.

Министр, талантливый профессор и живой человек, конечно обмолвился, назвав дело воспитания русского юношества своим «ремеслом». Но, в самом деле, слишком много ремесленников среди тех, кому доверено дело воспитания и образования наших детей и, как ремесленники, они действуют механически и безучастно, хотя очень часто и добросовестно, старательно. Как ремесленники, они не ищут новых путей, засосанные рутиной. Нужны «художники», люди духа, инициативы, чтобы столкнуть, наконец, корабль русского просвещения с той мели, на которую занесли его разные бури и неподготовленность его экипажа. Такую же обмолвку необходимо видеть и в других словах министра. Он справедливо ужасается обилию невежд, выпускаемых из высших учебных заведений, и в то же время говорит, что не придает какого-либо значения повальному недугу средней школы, где манкировки преподавателей достигают у некоторых 48 и даже высшего процента! Но разве эти условия не создают таких же невежд и в средней школе, не говоря о других печальных сторонах этой школы?

Там, где министр перестал сводить счеты с неприятными ему ораторами и перешел к своему «исповеданию», — речь его носит совершенно иной характер, и почти

со всеми его положениями должно согласиться: он сторонник всеобщего образования; он признает необходимость возможно большего числа школ всяких типов, где каждый найдет то, что ему нужно, по мере его способностей и наклонностей; надо предоставить широкий доступ к образованию, сделав доступными знания, но не обесценивать их, не принижать только для того, чтобы в них достали те, кому такой груз совсем не по силам.

Сверху донизу, от университета до начальной школы, почти все у нас находится в хаотическом состоянии. Почти все нужно начинать сызнова, и тем более необходимо приступить как можно скорее к самой кипучей, но в то же время спокойно обдуманной и планомерной работе».

...«Бэкон Веруламский и реальная философия»... — Розанов, очевидно, имеет в виду книги: *Фишер К.* Реальная философия и ее век. Франциск Бэкон Веруламский. 2-е изд. СПб., 1870; *Либих Ю.* Ф. Бэкон Веруламский и метод естествознания. СПб., 1866.

...знаменитые «кухаркины дети»... — выражение восходит к циркуляру (1887) министра народного просвещения И. Д. Делянова о постепенном освобождении гимназий от «детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных».

...«Живые мощи»... — название рассказа И. С. Тургенева из «Записок охотника».

Об обеспечении духовенства (с. 195)
НВ. 1908. 11 июня. № 11582. Б.п.

Разочарованное начальство (с. 197)
НВ. 1908. 17 июня. № 11588. Подпись: Барон Т-е.

Все помнят знаменитого Губарева... — И. С. Тургенев. Дым (1867).

Кадетская критика итогов Думы (с. 200)
НВ. 1908. 26 июня. № 11597. Б.п.

«Тактика октябристов, — вещает «Речь»... — Розанов цитирует редакционную передовицу (без подписи) из газеты «Речь». 1908. 21 июня (4 июля). № 147.

Бедные побитые Расплюевы... те не ведут себя Кречинскими. — Персонажи комедий А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1854) и «Смерть Тарелкина» (1869).

...«что же им Гекуба». — У. Шекспир. Гамлет. Действие 2. Сцена 2 (1601).

Итоги двух партий (с. 202)
НВ. 1908. 28 июня. № 11599. Б.п.

Министры тоже люди идеи, а не люди «20 числа»... — Государственным чиновникам в России 20-го числа каждого месяца выдавалось жалованье.

На летнем отдыхе (с. 204)
РС. 1908. 1 июля. № 151. Подпись: Л. Ц-ъ.

...«все тайное делается явным». — Мф. 10, 26; Мр. 4, 22; Лк. 8, 17; 12, 2.

То сердце не научится любить... — Н. А. Некрасов. «Замолкни, муза мести и печали...» (1856).

Рудины — какие же они строители? Какие строители Раскольниковы? — Речь идет о героях романов И. С. Тургенева «Рудин» (1856) и Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

...«Гражданин» — литературно-политическая газета-журнал монархического направления, выходившая в Петербурге в 1872–1914 гг., основанная и руководимая писателем и публицистом В. П. Мещерским.

...милые среды на Спасской улице — литературный и великосветский салон, собиравшийся с 1870-х до 1900-х гг. в доме В. П. Мещерского.

Это известно еще с 14 декабря. — То есть с восстания декабристов 14 декабря 1925 г.

Инородческие языки в школе (с. 210)
НВ. 1908. 14 июля. № 11615.

...под дубом мамврийским — ср.: Быт. 5, 18; 18, 1. Дуброва Мамврийская – местность близ Хеврона, где поселился Авраам.

В междудумье (с. 212)
РС. 1908. 16 июля. № 164. Подпись: В. Руднев.

К несчастью с В. А. Обневским (с. 216)
НВ. 1908. 19 июля. № 11620.

Лающие собаки (с. 218)
НВ. 1908. 20 июля. № 11621. Подпись: Дачник из Териок.

Трудные дни интеллигенции (с. 220)
НВ. 1908. 24 июня. № 11625. Б.п.

«Речь» в сегодняшнем нумере поместила две статейки: «Апатия ли» и «Гниение»... — «Речь» (1908. 23 июля. № 174) на первой полосе поместила статьи: «Апатия ли?» (подпись: А. И.) и «Гниение» — без подписи.

Представители России перед Европой... (с. 221)
НВ. 1908. 30 июля. № 11631. Б.п.

К началу учебных занятий (с. 223)
НВ. 1908. 31 июля. № 11632.

Не известно разве это на Чернышевом мосту? — В здании на Чернышевой площади находилось министерство народного просвещения.

«Шептуны» разных ярусов (с. 226)
НВ. 1908. 1 авг. № 11633. Б.п.

Смешанные браки (с. 229)
НВ. 1908. 3 авг. № 11635.

...прочитав в статье почтенного А. А. Киреева... — Розанов говорит о статье А. Киреева «Смешанные браки на киевском миссионерском съезде» (НВ. 1908. 31 июля. № 11632). Откликнувшись на эту статью Розанова, А. Киреев в «Письме в редакцию» (НВ. 1908. 5 авг. № 11637) отметил, что, «передавая в сущности верно мои мысли, г. Розанов облекает их в довольно забавную форму, да еще ставит их в кавычки... между тем я приписываемых мне выражений не употреблял...».

...когда вдруг В. М. Скворцов, г. Боголюбов и другие чиновники духовного ведомства грозно заговорили... — Речь идет о проходившем в Киеве 12–16 июля 1908 г. Всероссийском миссионерском съезде. О некоторых выступлениях на этом съезде (в

частности, Скворцова) Розанов писал в статье «Под золотыми маковками в Киеве» (НВ. 1908. 21 июля. № 11622). См.: *Розанов В. В.* Собр. соч. [Т. 16]. Около народной души. М., 2003.

...господа, характеристику которых... дал М. О. Меньшиков в статье о монахах и монастырях... — В. Розанов говорит о статьях М. Меньшикова «Разложение» и «Дары потеряли» из его цикла «Письма к ближним» (НВ. 1908. 27 июля. № 11628).

Университет и студенчество (с. 232)
НВ. 1908. 4 авг. № 11636.

Кондиция – занятия домашнего учителя, репетитора (устар.).
...в Буффе... – «театр и сад Буфф» находился в Петербурге на Фонтанке, 114.

Делающие и неделающие в университете (с. 235)
НВ. 1908. 6 авг. № 11638.

Что пройдет — то станет мило. – А. С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет...» (1825).

Как смотрит государство на университет (с. 237)
НВ. 1908. 7 авг. № 11639.

Перепуганные политики (с. 238)
НВ. 1908. 10 авг. № 11642. Б.п.

...«Речь» в последнем нумере... сообщая «слухи» о предстоящем... объединении... – В. Розанов говорит о помещенной на первой полосе газеты статье Л. Львова «Слухи и толки. Из бесед» (Речь. 1908. 8 авг. № 188).

За кем идти? (с. 242)
НВ. 1908. 13 авг. № 11645.

Это выступление Розанова вызвало недовольство церковных иерархов. Газета «Вече» (М., 1908. 17 авг. № 112) опубликовала статью, подписанную «Протоиерей Иоанн Сергиев, г. Кронштадт, 15 августа 1908 г.» и озаглавленную «Против г. Розанова, сотрудника «Нового Времени». Автор, упомянув статью от 13 августа как особенно «дерзкую», но имея в виду и другие выступления Розанова по религиозным вопросам, писал, в частности: «Правительство русское, особенно православное, должно бы подвергнуть Розанова ответственности перед законом, потому что если дозволить светским писакам говорить против Церкви и правительства церковного и гражданского все, что они вздумают, то нельзя будет водворить в России и в Церкви никакого порядка...»

Привилегии немецкой школы (с. 244)
НВ. 1908. 19 авг. № 11651.

В нашей смуте (с. 247)
НВ. 1908. 22 авг. № 11654.

К увеличению бюджета м-ства народного просвещения (с. 255)
НВ. 1908. 10 сент. № 11673.

Требования осторожности (с. 257)
НВ. 1908. 12 сент. № 11675. Б.п.

Университет в системе государственного управления (с. 258)
Слово. 1908. 13 сент. № 561. Подпись: В. Надеждин.

...брошюру-лекцию, сказанную знаменитым Карлэйлем... – *Карлейль Т.* Теперь и прежде. (От переводчика – Н. Горбов.) М., 1906.

К выработке законопроекта о печати (с. 265)
НВ. 1908. 15 сент. № 11678. Б.п.

Поклонники Аурамазды (с. 267)
РС. 1908. 17 сент. № 215. Подпись: В. Варварин.

Учебное харакири (с. 272)
НВ. 1908. 19 сент. № 11682. Б.п.

...ничегонеделание... — соответствующее выражение встречается у Плиния-младшего в «Письмах» (VIII, 9).

Новые штаты учителей гимназии (с. 273)
НВ. 1908. 23 сент. № 11686.

Ужасные страдания прогрессивной печати (с. 276)
НВ. 1908. 26 сент. № 11689. Б.п.

...прочли и поняли в разъяренной статейке «Речи»... – В. Розанов говорит о редакционной (без подписи) статье «С больной головы» (Речь. 1908. 24 сент. № 228).

...слюной «бешеной собаки»... — А. С. Пушкин. «Охотник до журнальной драки...» (1824).

Устав Донского политехнического института (с. 277)
НВ. 1908. 27 сент. № 11690. Б.п.

Среди газет и журналов (с. 279)
НВ. 1908. 27 сент. № 11690.

Еще о материальном обеспечении учителей (с. 280)
НВ. 1908. 30 сент. № 11693.

Расслабленная мысль (с. 282)
НВ. 1908. 3 окт. № 11696.

Фра-Диаволо — глава итальянских разбойников, повешенный в 1806 г., герой оперы «Фра Дьяволо» французского композитора Д. Ф. Обера (1830) на текст О. Э. Скриба.

Конец харакири (с. 284)
НВ. 1908. 12 окт. № 11705. Б.п.

Поприщин — герой повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834).

К открытию 2-й сессии Г. Думы (с. 286)
НВ. 1908. 15 окт. № 11708. Б.п.

...захват Боснии и Герцеговины... – В 1908 г. Боснию и Герцеговину аннексировала Австро-Венгрия.

Ганнибал у ворот... – клич римлян перед битвой при Каннах в 216 г. до н. э. (Тит Ливий. Книга от основания города. XXXIII, 16).

Реальные силы и идеальные возможности в политике (с. 289)
НВ. 1908. 21 окт. № 11714. Б.п.

О помощи церковно-приходским школам (с. 290)
НВ. 1908. 5 ноября. № 11729. Б.п.

О разных ведомствах, заведующих народною школой (с. 292)
НВ. 1908. 9 ноября. № 11733. Б.п.

Об особом значении думской кафедры (с. 294)
НВ. 1908. 14 ноября. № 11738. Б.п.

Поляки в сотрудничестве с русскими (с. 296)
НВ. 1908. 19 ноября. № 11743. Б.п.

...«гражданин мира» — выражение восходит к поэме английского поэта Э. Юнга «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (1742–1745) (кн. 8, строка 8). В Россию поэма пришла в переводах на французский и немецкий языки, оказав влияние на литературные круги, связанные с Н. М. Карамзиным и В. А. Жуковским.

Увеличение университетской наукоспособности (с. 298)
НВ. 1908. 21 ноября. № 11745.

Еще миллионные убытки казны (с. 301)
НВ. 1908. 22 ноября. № 11746. Подпись: Старожил.

Не дожидаясь суда (с. 302)
НВ. 1908. 23 ноября. № 11747. Б.п.

Предметная и курсовая системы экзаменов (с. 303)
НВ. 1908. 25 ноября. № 11749. Б.п.

Врачебный надзор в женских училищах (с. 305)
НВ. 1908. 26 ноября. № 11750. Б.п.

Католичество и мариавитство (с. 307)
НВ. 1908. 1 дек. № 11755. Б.п.

Городу и миру — одна из форм благословения папы римского.

Русские и турецкие конституционалисты (с. 310)
НВ. 1908. 8 дек. № 11762. Б.п.

...в Турции переворот... — 23 июля 1908 г. в результате переворота в Турции был свергнут султан Абдул-Гамид и восстановлена конституция.

Растеряева улица — выражение восходит к очеркам Глеба Успенского «Нравы Растеряевой улицы» (1866).

К открытию всероссийского женского съезда (с. 312)
НВ. 1908. 11 дек. № 11765. Б.п.

На лекции о старообрядчестве и сектантстве (с. 314)
НВ. 1908. 14 дек. № 11768.

Первый всероссийский женский съезд (с. 316)
РС. 1908. 17 дек. № 292. Подпись: В. Варварин.

В училищном мире (с. 322)
НВ. 1908. 24 дек. № 11778.

Перед Вифлеемской звездой (с. 326)
РС. 1908. 25 дек. № 299. Подпись: В. Варварин.

Встреча праздника (с. 332)
НВ. 1908. 25 дек. № 11779. Б.п.

В. Н. Дядичев

Письма к Э. Ф. Голлербаху

Впервые опубликовано в книге: Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. Берлин: Изд-во Е. А. Гутнова, 1922 (с сокращениями). Девять писем Розанова к Голлербаху опубликованы в книге: *Голлербах Э.* В. В. Розанов. Личность и творчество. Пг.: «Вешние Воды», 1918. В советское время письма к Голлербаху впервые напечатаны в книге: *Розанов В. В.* Мысли о литературе. М.: Современник, 1989.

Берлинское издание было запрещено к ввозу в Россию. В январе 1923 г. авторские экземпляры книги, посланные издательством Голлербаху, были задержаны на петроградском почтамте, как «не подлежащие передаче адресату».

Печатается по журналу: Звезда. 1993. № 8. С. 92–127. Публикация и комментарии Е. А. Голлербаха; им были включены неизвестные прежде тексты писем Розанова, а также восстановлены фрагменты писем, купированные в прежних публикациях. Автографы большинства писем Розанова к Голлербаху хранятся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ф. 207). Пропуски в нумерации писем Розанова (IV, V, XVIII) объясняются тем, что несколько текстов разыскать не удалось.

Вскоре после Октябрьской революции... – Розанов с семьей переехал из Петрограда в Сергиевский Посад близ Троице-Сергиевой лавры в конце августа 1917 г. Дочь писателя Надежда Розанова писала Голлербаху 16 мая 1919 г.: «Вы спрашиваете, отчего мы так «секретно» покинули Петербург (пишете Петербург)? Трудно Вам ответить, надо знать неск. странную психологию нашей семьи. Просто «решили». А травля в Петерб. на папу, после Рел.-фил. собр., была невыносимая. Главное, Таня, сестра моя старшая, <звала> поближе его к Флоренск., Нестерову и друг. – к друзьям, любящим его и умеющим ценить. Вспомните травлю 915, 916 годов? Я думаю, что многие, м. б., думают, что отец «как монархист» скрывался? Но если б знали, как папа равнодушно относился к этому» (Собрание М. С. Лесмана).

I

«Листья травы» (1855) – книга американского писателя Уолта Уитмена (1819–1892) в переводе К. И. Чуковского. 10 и 13 августа 1915 г. Розанов посвятил ей две статьи в «Новом Времени».

«Вешние Воды» – журнал, издававшийся в 1914–1918 гг. студентами Петроградского университета, где в 1916 г. Розанов опубликовал семь писем Голлербаха.

VIII

Мне очень тяжело все... – Розанов отвечает на письмо Голлербаха от 4 февраля 1916 г., в котором поделился своими впечатлениями от опубликованных Розановым в «Вешних Водах» писем курсистки Веры Мордвиновой (т. 16–17): «Я знаю, Вы со мной не согласитесь, если я скажу, что на каждой строчке ее писем есть налет наивной вульгарности или вульгарной наивности, если только эти качества совместимы. И дед у нее замечательный, и отец замечательный, и сама она замечательная («мама у меня аристократка», «дедушка у меня аристократ до мозга костей»). В. М-ова в некотором роде – второе, немного улучшенное, издание Мани из «Ключей счастья» (Собрание М. С. Лесмана).

«Ключи счастья» (1909–1913) – популярный роман А. А. Вербицкой.

X

...взять Вас в помощники... – Розанов предложил Голлербаху копировать рисунки для подготовляемой книги «Из восточных мотивов». Часть выполненных Голлербахом копий помещена в трех вышедших выпусках книги.

XXI

...начал с «Исторического положения христианства» – имеется в виду книга Розанова «Место христианства в истории» (М., 1890).

XXIII

Как я благодарен Вам... – В этом письме Розанов делится с Голлербахом своими впечатлениями от его книги «В. В. Розанов. Личность и творчество (Опыт критико-биографического исследования)», начало которой печаталось в «Вешних Водах» (т. 31–32, 33–34). Публикация не была завершена ввиду закрытия журнала. Полностью очерк вышел отдельным изданием в 1918 г.

...из жизни медленно-тягучей... – неточная цитата из стихотворения В. Я. Брюсова «Золото» (1899).

Все окутала мгла... – П. Верлен. Мудрость (1880). Пер. А. Гелескула.

«И нашел ужас великий на Авраама во сне» – Быт. 15, 12.

«И в поле каждую пылинку...» – неточная цитата из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» (1858).

Аксаковская медная хвала. – Славянофил И. С. Аксаков назвал «медной хвалой» памятник Пушкину в Москве (скульптор А. М. Опекушин, 1880). См.: *Леонтьев К.* Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 279, 284 (статья «Г. Катков и его враги на празднике Пушкина»).

Очень хорошо у В. рассуждение о «правде». – Голлербах писал: «*Правда* – понятие чисто русское (оно не переводимо *в точности* ни на один язык) и является своеобразным сочетанием двух понятий – истины и справедливости <...> Одной

истины мало русскому человеку, – ему нужна еще и справедливость. Ему мало случайной справедливости, – она должна быть истинною» (Вешние Воды. Т. 33–34. С. 31–32).

XXV

Этот текст (до слов «Первая пища!») был передан весной 1918 г. М. М. Спасовскому (под заглавием «Рассыпавшиеся Чичиковы») для публикации в подготовлявшейся, но так и не вышедшей газете. Опубликовано в книге: *Спасовский М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. Берлин, <1939>. С. 19–21.

«Пора одевать шубы...» – вариант главки из № 8–9 «Апокалипсиса нашего времени» Розанова.

«Кающийся дворянин» – выражение Н. К. Михайловского в его очерках «Вперемежку» (Отечественные Записки. 1876–1877).

...ездили тогда в Лондон. – Речь идет о визите в Лондон депутатов III Государственной думы в 1909 г. и о посещении депутатами IV Государственной думы Англии в 1916 г.

XXVI

...«окропиша мя иссопом и очищуся» – Пс. 50.

XXVII

Но «35 к.». – Стоимость почтовой марки была для Розанова в ту пору особенно ощутительна (примеч. Э. Голлербаха).

...статью о них Захарова или Сахарова – имеется в виду статья П. Страхова «Эсхатология языческих мистерий» (Богословский Вестник. 1913. Т. 2–3).

...«обличении вещей невидимых» – см.: *Соловьев В. С.* Чтения о богочеловечестве // Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. С. 34.

...«поле не сердце людей». – Розанов полемизирует со словами Мити Карамазова: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 100).

XXVIII

«Я победил мир» – Ин. 16, 33.

Где может быть совокупление... – фрагмент стихотворения Голлербаха в его книге «В. В. Розанов. Личность и творчество» (с. 34).

«Мысль и слово» – философский ежегодник, издававшийся в Москве под редакцией Г. Г. Шпета. Вышло два выпуска – в 1917 и 1921 гг.

XXIX

«Феодосеевцы в Риге» – очерк Розанова (Новое Время. 1899. 7 августа), вошедший в книгу Розанова «Около церковных стен» (СПб., 1906. Т. 1).

«Вышел сеятель сеяти притчу...» – Мф. 13, 3.

«И дал ему Звезду Утреннюю...» – Откр. 2, 28.

XXX

И взгляд змеи упорно-бешеный – неточная цитата из стихотворения Голлербаха в его книге «В. В. Розанов. Личность и творчество» (с. 34).

«И без него ничто не бысть еже бысть» – Ин. 1, 3.

«Гучковские Ведомости» – так Розанов именует «С.-Петербургские Ведомости» (1728–1917), выходившие с 1914 г. под названием «Петроградские Ведомости».

XXXI

...его философский словарь – имеется в виду второе издание книги: *Радлов Э. Л.* Философский словарь: Логика, психология, этика, эстетика и история философии. М.: Г. А. Леман, 1913.

«Ты, Марфа, печешься о многом...» – Лк. 10, 38–42.

...у него первая книжка – сумасшедшая. – Речь идет о книге: *Русов Н. Н.* О нищем, безумном и боговдохновенном искусстве: Исследование. М., 1910. С этой книги, посвященной Розанову, началось знакомство двух писателей.

«Мир» – московская ежедневная газета, выходившая с 3 августа по 8 октября 1918 г.

...1-й фельетон – имеется в виду статья Розанова «Наше словесное величие и деловая малость» в газете «Мир» 6 октября 1918 г.

О, бурь уснувших не буди... – неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1836).

«Вопросы философии и психологии» – московский журнал, выходил с 1889 по 1918 г.

XXXII

«Улица современной печати». – Речь идет о статье Розанова «Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной печати», напечатанной в петроградской газете «Колокол» 12 февраля 1916 г. под псевдонимом В. Ветлугин.

«И о семени твоем благословятся все народы» – Быт. 22, 18.

Н. М. – один из псевдонимов Н. К. Михайловского.

...«приняли Белинский и Григорович». – В «Дневнике писателя за 1877 г.» (Январь. «Старые воспоминания») Ф. М. Достоевский рассказывает, как в четыре часа утра Н. А. Некрасов и Д. В. Григорович пришли к нему, чтобы под свежим впечатлением прочитанных «Бедных людей» сообщить ему о своем восторге и о принятии романа к печати в «Петербургском сборнике» (1846). Через день состоялось знакомство Достоевского с В. Г. Белинским.

«Силуэты русской литературы». – Речь идет о книге Ю. Айхенвальда «Силуэты русских писателей» (М., 1906–1910. Вып. 1–3).

Вставили на ее место другую свечку – Мф. 5, 15.

...«и бысть вечер... и бысть утро – День первый» – Быт. 1, 5.

Е. А. Голлербах

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абрамович Николай Яковлевич (1881–1922), литературный критик и поэт – 380

Абрикосов Алексей Алексеевич, промышленник и меценат, основатель журнала «Вопросы философии и психологии» (1889–1918) – 379

Аввакум Петрович (1620/1621 – 1682), протопоп, глава старообрядчества, писатель, осужден на церковном соборе 1666–1667, сожжен – 31, 271

Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. – 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) – 148

Августин Аврелий (354–430), христианский теолог и церковный деятель, философ, писатель – 308, 310, 360

Авраам, в Ветхом Завете старший из патриархов, прародитель еврейского народа – 117–120, 356, 380, 381

Аггеев Константин Маркович (1868–1919, по др. данным 1920), священник, богослов, религиозный писатель, один из основателей «Санкт-Петербургского религиозно-философского общества» – 243

Адикаевский, чиновник цензурного ведомства – 266

Адонис, в финикийской мифологии бог плодородия – 243

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик – 382

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист, поэт, общественный деятель, издатель, идеолог славянофильства – 34–37, 125, 127–129, 133, 159, 180, 280

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, критик, историк, лингвист, поэт, идеолог славянофильства – 34, 36, 120, 121, 125, 127, 180

Аладьин Алексей Федорович (1873–1927), публицист, депутат I Государственной думы от крестьянской курии (трудовик) – 33, 103, 105, 136, 157, 202

Александр I (1777–1825), российский император (с 1801) – 138, 162, 174, 229

Александр II (1818–1881), российский император (с 1855) – 93, 138, 143

Александр III (1845–1894), российский император (с 1881) – 35, 62

Александров Анатолий Александрович (1861–1930), публицист, поэт, редактор-издатель журнала «Русское обозрение» (1892–1898) – 159, 368

Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967), депутат II Государственной думы (большевистское крыло социал-демократической фракции) – 103, 136, 137, 157, 203

Алкивиад (ок. 450–404 до н. э.) – афинский стратег (главнокомандующий) (с 421) в период Пелопоннесской войны – 155, 276, 347–349

Альды, семья итальянских (венецианских) издателей (1495–1597): Мануций Альд Старший, его сын Паоло и внук Альд Младший – 267

Амвросий (Алексей Иосифович Ключарев) (1821–1901), архиепископ Харьковский (с 1882), религиозный писатель, проповедник – 44

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), писатель, журналист – 383

Анаксагор (ок. 500–428 до н. э.), древнегреческий философ – 377

Анахарсис, скиф из царского рода, пытавшийся ввести на родине греческие порядки после возвращения из Афин ок. 594 до н. э. – 55
Аникин Степан Васильевич (1868–1919), писатель и публицист, деятель кооперативного движения, депутат I Государственной думы (трудовик) – 33, 209
Анна Иоанновна (Анна Ивановна) (1693–1740), российская императрица (с 1730), дочь царя Ивана V – 130
Анна Леопольдовна (1718–1746), племянница Анны Иоанновны, после ее смерти правительница (1740–1741) при малолетнем сыне – императоре Иване VI, умерла в ссылке – 130
Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909), филолог, писатель, переводчик, педагог – 324, 346, 364
Анреп Василий Константинович (1852–1927), депутат III Государственной думы (октябрист) – 151–154, 157, 158, 189, 191, 192, 295
Антокольский Марк Матвеевич (1843–1902), скульптор – 118
Антоний (Александр Васильевич Вадковский) (1846–1912), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898), член Государственного совета – 43–46, 48, 51, 52, 87, 270
Антоний (Алексей Павлович Храповицкий) (1863–1936), архиепископ Волынский и Житомирский (1902–1906) – 46, 244, 267, 268, 270, 271
Антоний Печерский (983–1073), основатель Киево-Печерского монастыря (1051), один из родоначальников русского монашества – 61
Антонин (Александр Андреевич Грановский) (1865–1927), епископ Нарвский, викарий Санкт-Петербургской епархии (с 1903), 1908–1913 – на покое по болезни, 1913–1917 – епископ Владикавказский – 58, 60–63, 84–90, 373, 374
Апулей (ок. 125 – ок. 180), римский писатель – 352
Ариман (Анграмайнью, Ангро-Майнью), в иранской мифологии олицетворение сил зла – 269, 271
Аристид (ок. 540 – ок. 467 до н. э.), афинский полководец – 122
Аристипп Алексей (XII в.), византийский толкователь церковных канонов – 49
Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист – 158, 159, 194, 377
Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), юрист, критик, публицист, общественный деятель – 34–36, 136, 364
Архимед (ок. 287–212 до н. э.), древнегреческий ученый – 36, 154, 374
Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), писатель – 108, 110–114, 232
Астарта, в финикийской мифологии богиня плодородия, материнства и любви – 9–11, 14, 18, 348
Аурамазда (Ахурамахда, Ормазд), в иранской мифологии верховное божество – 267–271
Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871), литературовед, сторонник мифологической школы в фольклористике – 111
Афина, в греческой мифологии богиня мудрости, знаний, умения (мастерства), а также войны и победы – 212
Афродита, в греческой мифологии богиня любви и красоты – 9, 243

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт, член палаты лордов (с 1809) – 114
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), революционер, теоретик анархизма – 124, 136
Барков Иван Семенович (ок. 1732–1768), поэт, переводчик, автор непристойных сочинений, расходившихся в списках – 107
Барсуков Николай Платонович (1838–1906), историк литературы и общественной мысли, археограф, библиограф, издатель, мемуарист – 194
Барсукова Зинаида Ивановна, жена В. Ф. Высотского – 362
Бебель Август (1840–1913), один из основателей и руководителей социал-демократии в Германии – 285, 351
Безродная (урожд. Яковлева) Юлия Ивановна (1858–1910), писательница, в 80-е гг. была замужем за Н. М. Минским (Виленкиным) – 98, 99
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик, мыслитель, общественный деятель – 125, 126, 134, 137, 146, 379–382
Белоусов Терентий Осипович (1875–?), учитель, депутат Государственной думы (социал-демократ) – 292
Бельгард Алексей Валерианович (1861–1942), начальник Главного управления по делам печати – 265
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, историк искусства, художественный критик – 370
Бередников (Бердников) Илья Степанович (1841–?), богослов, занимался проблемами церковного (канонического) права – 27
Бердяев Николай Александрович (1874–1948), философ и публицист – 253, 254
Бёрне Людвиг (1786–1837), немецкий публицист и литературный критик – 115
Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1915), адмирал, морской министр (1905–1907), член Государственного совета – 141
Бирон Петр (1724–1800), граф, герцог Курляндский и Семигальский, сын Эрнста Иоганна Бирона – 130
Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772), фаворит императрицы Анны Иоанновны и обер-камергер ее двора – 130, 131
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898), первый рейхсканцлер Германской империи (1871–1890) – 92, 139–141, 237, 351, 361
Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880), публицист, руководил журналами «Русское слово», «Дело» – 294
Блюхер Гебхард Леберехт (1742–1819), прусский генерал-фельдмаршал – 107
Боголюбов Дмитрий Иванович (1870–?), миссионер-проповедник и религиозный писатель – 229, 231, 232
Богораз Владимир Германович (наст. имя Натан Менделевич, псевд. Н. А. Тан, В. Г. Тан) (1865–1936), этнограф, лингвист, писатель, публицист, общественный деятель – 114, 117
Богучарский В. (наст. имя и фам. Василий Яковлевич Яковлев) (1860, по др. данным 1861–1915), публицист, историк, издатель – 98
Боккаччио (Боккаччо) Джованни (1313–1375), итальянский писатель, гуманист – 125, 348, 349

Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887), композитор и химик – 158

Бостром Иван Федорович (1857–1934), вице-адмирал, товарищ морского министра (1907–1908), командующий Черноморским флотом (1908–1911) – 141, 142

Боттичелли Сандро (наст. имя и фам. Алессандро Филипепи) (1445–1510), итальянский живописец – 376

Браун Евгений Густавович, преподаватель итальянского языка и литературы – 379

Бредихин Федор Александрович (1831–1904), астроном – 262

Брокгауз Эдуард (1829–1914), немецкий издатель русского Энциклопедического словаря, внук основателя фирмы Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823) – 158, 159

Бруно Джордано (1548–1600), итальянский философ и поэт, монах-доминиканец – 98

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, критик, переводчик, общественный деятель – 353

Булгаков А. А., начальник казенной палаты, знакомый Г. А. Лемана – 378, 379

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), экономист и философ, публицист, депутат II Государственной думы – 99

Булгаков Федор Ильич (1852–1908), историк литературы, публицист, издатель и редактор «Нового журнала литературы, искусства, науки» (с 1897), ответственный редактор газеты «Новое время» (с 1900) – 81

Буренин Константин Петрович (ум. 1882), составитель учебников по алгебре и другим предметам (вместе с А. Ф. Малининым) – 160

Буслаев Федор Иванович (1818–1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства – 104, 194, 232

Бэкон (Бэкон Веруламский) Фрэнсис (1561–1626), английский философ и политический деятель – 184

Бэнтам (Бентам) Иеремия (1748–1832), английский философ, экономист, правовед – 368

Ваал, древнейшее название бога или богов в Финикии, Палестине, Сирии – 9–11, 14, 18, 88, 347, 348

Вагнер А. Г., издатель – 101

Вакх, в греческой мифологии одно из имен Диониса – 9

Валуев Петр Александрович (1815–1890), министр внутренних дел (1861–1868), председатель Комитета министров (1879–1881), мемуарист – 156

Вальполь (Уолпол) Роберт (1676–1745), премьер-министр Великобритании (1721–1742), лидер вигов – 212, 214, 215

Ванновский Петр Семенович (1822–1904), генерал от инфантерии, министр народного просвещения (1901–1902) – 323

Варух, ветхозаветный пророк – 84, 85

Василий Блаженный (ок. 1469–1552/1557), московский юродивый, аскет – 357

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), живописец – 69, 70

Вебер Георг (1808–1888), немецкий историк, автор «Всеобщей истории» (15 т., 1857–1880) – 147

Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852), английский фельдмаршал – 96, 107

Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920), литературовед и библиограф – 382
Вербицкая (урожд. Зяблова) Анастасия Алексеевна (1861–1928), писательница – 342
Верлен Поль (1844–1896), французский поэт – 353
Веста, в римской мифологии богиня домашнего очага – 149, 348
Веспасиан, Тит Флавий (9–79), римский император (с 69) – 348
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941), германский император и прусский король (1888–1918) – 361
Винавер Максим Моисеевич (1863–1926), юрист, один из основателей партии кадетов, депутат I Государственной думы, активный деятель еврейских организаций – 103, 202, 203, 221, 297, 312
Виргилий (Вергилий, Публий Вергилий Марон) (70–19 до н. э.), римский поэт – 123, 149
Витте Сергей Юльевич (1849–1915), председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905–1906), автор Манифеста 17 октября 1905 г., мемуарист – 139, 214, 215
Владимир I Святой (ум. 1015), князь Новгородский (с 969), великий князь Киевский (с 980), ввел в качестве государственной религии христианство – 22, 69, 149
Владимир II Мономах (1053–1125), князь Смоленский (с 1067), Черниговский (с 1078), Переяславский (с 1093), великий князь Киевский (с 1113) – 132
Волынский Артемий Петрович (1689–1740), политический деятель и дипломат, кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны, был обвинен в измене и казнен – 130–132
Вольтер (наст. имя и фам. Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778), французский писатель и философ – 310, 347–349
Воскресенский Иван, семинарист – 366
Востоков (наст. фам. Остенек) Александр Христофорович (1781–1864), филолог, палеограф, поэт – 384
Восторгов Иоанн Иоаннович (1864–1918), протоиерей, миссионер-проповедник, один из создателей «Союза русского народа», возглавил Русскую монархическую партию (1907), переименованную в Русский монархический союз – 45, 46, 51, 90, 106
Высотский Владимир Федорович, ученик Розанова по Елецкой гимназии – 362
Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913), эстрадная певица (сопрано) – 219

Гавриил (Петров) (ум. 1801), митрополит Санкт-Петербургский (с 1783) – 90
Галич (наст. фам. Габрилович) Леонид Евгеньевич (1878–1953), критик, публицист – 98–101
Ганка Вацлав (1791–1861), чешский филолог – 180
Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, организовал «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга», инициатор шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., был разоблачен эсерами как провокатор, убит – 312
Гарнак Адольф фон (1851–1930), немецкий протестантский теолог и историк церкви – 315

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель и критик – 117, 237
Гасман А. Ф., товарищ министра юстиции – 265
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 352
Гейден Петр Александрович (1840–1907), земский и административный деятель, президент Вольного экономического общества (с 1895), депутат I Государственной думы – 199
Гейне Генрих (1797–1856), немецкий поэт и публицист – 114, 115
Гельвеций Клод Адриан (1715–1771), французский философ – 348
Генрих IV (1553–1610), французский король (с 1589, фактически с 1594), из династии Бурбонов – 309
Генрих Мореплаватель (1394–1460), португальский принц, организатор морских экспедиций к северо-западным берегам Африки – 250
Георгиевский Александр Иванович (1830–1911), председатель Ученого комитета министерства народного просвещения (1873–1898), автор исторических и педагогических трудов – 80, 82–84, 93, 94, 273, 275
Герасимов О. П., товарищ министра народного просвещения (1905–1908) – 41
Гермоген (ок. 1530–1612), патриарх Московский и всея Руси (с 1606) – 45
Герцен Александр Иванович (1812–1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 125, 126, 136, 137, 253, 341, 349, 382
Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906), экономист, один из основателей партии кадетов, депутат I Государственной думы, убит черносотенцами – 297
Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), историк литературы и общественной мысли, философ – 363, 382
Герье Владимир Иванович (1837–1919), историк – 104, 194
Гессен Иосиф Владимирович (1865, по др. данным 1866–1943), юрист, публицист, один из основателей и лидеров партии кадетов, депутат II Государственной думы, редактор газеты «Речь» – 200, 221–223, 312
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель – 124, 137, 184
Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872), историк, фольклорист, этнограф, публицист – 121, 180, 384
Гиляров Алексей Никитич (1856–1938), преподаватель истории философии в Киеве – 376
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887), публицист, философ, историк, издатель – 36, 376, 377
Гинзбург (Гинцбург) Илья Яковлевич (1859–1939), скульптор – 118, 119
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), писательница, жена Д. С. Мережковского – 345, 362
Гладстон Уильям Юарт (1809–1898), английский политический деятель, неоднократно премьер-министр, лидер Либеральной партии – 156
Глубоковский Николай Никанорович (1863–1937), богослов, историк церкви, 1905–1911 – редактор «Православной богословской энциклопедии» – 67
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель – 29, 165, 199, 235, 264, 287, 380, 384, 385
Голике, владелец цинкографии – 346

Голлербах Эрих Федорович (1895–1942), поэт, литературный критик, публицист, автор книги и статей о Розанове – 335, 338–346, 350, 353, 360, 361, 366, 368–372, 380, 383

Головнин Василий Михайлович (1776–1831), мореплаватель, вице-адмирал (1830), руководил кругосветными плаваниями (1807–1809 и 1817–1819), в 1811 был захвачен японцами и провел в плену 26 месяцев, рассказ о плене издан в 1816 и переведен на ряд языков – 128, 313

Гололобов Яков Георгиевич (1855–1915), писатель, депутат III Государственной думы (октябрист) – 169

Гольцев Виктор Александрович (1850–1906), публицист, критик, общественный деятель – 350, 351

Гомер – полулегендарный древнегреческий эпический поэт – 357

Гончарова (в первом браке Пушкина, во втором Ланская) Наталья Николаевна (1812–1863), жена А. С. Пушкина – 193

Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65–8 до н. э.), римский поэт – 142, 149

Горбов Н., переводчик, публицист – 258

Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917), председатель Совета министров (1906, 1914–1916) – 203, 213, 215, 286

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868–1936), писатель, публицист, общественный деятель – 351, 365

Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889), историк государственного права и публицист – 262

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк и общественный деятель – 126, 137

Грибоедов Александр Сергеевич (1790, по др. данным 1795–1829), писатель и дипломат – 341

Григорий Турский (ок. 540–594), епископ г. Тур (Галлия), автор «Истории франков (до 591)» – 125

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900), писатель – 381

Гринякин Н. (И.), публицист, сотрудник журнала «Миссионерское обозрение» – 47–50, 52

Грот Николай Яковлевич (1852–1899), философ, психолог, первый редактор журнала «Вопросы философии и психологии» (с 1889) – 379

Грубе Август Вильгельм (1816–1884), немецкий педагог, автор популярных книг для юношества – 367

Гумбольдт Александр фон (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник – 214

Гуревич Любовь Яковлевна (1866–1940), писательница и литературный критик – 380

Гуревич Яков Григорьевич (1843–1906), педагог, автор учебных пособий по русской истории – 300

Гус Ян (1371–1415), чешский религиозный реформатор – 98

Гучков Александр Иванович (1862–1936), лидер октябристов, предприниматель, председатель III Государственной думы – 142, 183, 295–297, 352

Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф – 115, 342, 384

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), социолог, философ, естествоиспытатель, публицист – 32, 34–36, 121, 124, 128, 129, 170, 294

Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт и политический деятель – 114, 125
Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель – 271
Декарт Рене (1596–1650), французский философ, математик, физик, физиолог – 159, 194
Делянов Иван Давыдович (1818–1897), министр народного просвещения (с 1882) – 53, 54, 93, 259, 263, 275, 294, 300
Деметра, в греческой мифологии богиня плодородия – 384
Демосфен (ок. 384–322 до н. э.), афинский оратор и политический деятель – 145
Денисовы, братья: Андрей (1664–1730) и Семен (1682–1747), деятели старообрядчества – 31
Деренталь А., публицист, сотрудник журнала «Русское богатство» – 197, 198
Де-Фоэ (Дефо) Даниель (ок. 1660–1731), английский писатель – 250
Джонсон Сэмюэл (1709–1804), английский писатель и лексикограф – 115
Дидро Дени (1713–1784), французский философ – 348
Диков Иван Михайлович (1833–1914), адмирал, морской министр (1907–1909), член Государственного совета – 141
Дионис, в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли, виноградарства и виноделия – 348, 374
Дмитрий Донской (1350–1389), великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362), полководец – 89, 132
Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), литературный критик, публицист, постоянный сотрудник журнала «Современник» – 34, 253, 347, 380, 381
Долгополов, один из основателей секты «духовных христиан» – 315
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель и мыслитель – 9, 32, 35, 100, 129, 166, 308, 349, 350, 370, 384
Дрэпер Джон Уильям (1811–1882), американский историк – 357
Дубровин Александр Иванович (1855–1921), врач, один из лидеров «Союза русского народа» (создан в 1905) – 43
Дурново Петр Николаевич (1845–1915), министр внутренних дел в 1905–1906 (с 1900 – товарищ министра) – 139
Дьяконова Елизавета Александровна (1874–1902), публицист, автор «Дневника» – 342

Евгений (Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767–1837), церковный деятель, историк, библиограф, митрополит Киевский (с 1822) – 67
Евдоким (Василий Иванович Мещерский) (1869–1935), ректор Московской духовной академии, епископ Волоколамский – 269
Евлогий (Василий Семенович Георгиевский) (1868–1946), епископ Люблинский, викарий Холмской епархии (с 1903), депутат II и III Государственных дум, с 1945 – экзарх Русской православной церкви в Западной Европе – 106
Екатерина II (урожд. Софья Фредерика Августа Анхальт Цербстская) (1729–1796), российская императрица (с 1762) – 29, 62, 176
Елагины, дворянская семья: Алексей Андреевич Елагин (ум. 1846), Авдотья (Евдокия) Петровна Елаги-

на (урожд. Юшкова, в первом браке Киреевская) (1789–1877), мать братьев И. В. и П. В. Киреевских, хозяйка литературно-философского салона, переводчица, Василий Алексеевич Елагин (1818–1879), сводный брат Киреевских, историк-славист, публицист – 120

Елизавета Петровна (1709–1761/1762), российская императрица (с 1741), дочь Петра I – 263

Ермак Тимофеевич (ум. 1585), казачий атаман, его походы в Сибирь положили начало ее освоению Русским государством – 118

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), военный и государственный деятель, участник войны с Наполеоном I, 1816–1827 – командующий войсками на Кавказе и главноуправляющий в Грузии, мемуарист – 30

Ефремов Иван Николаевич (1866–1932), депутат I, III и IV Государственных дум (глава фракции прогрессистов) – 292

Ефрон (Эфрон) (псевд. Литвин) Савелий Константинович (1849–1926), писатель – 348

Жаботинский Зеев (Владимир Евгеньевич) (1880–1940), писатель, публицист, общественно-политический деятель, один из руководителей сионистского движения – 114–118, 120

Жилкин Иван Васильевич (1874–1958), публицист, депутат I Государственной думы (трудовик) – 99, 209

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), поэт, переводчик, критик – 119, 380

Закхей, в Новом Завете главный сборщик податей (пошлины) в Иерихоне – 327, 328

Замысловский Георгий Георгиевич (1872–1920), юрист, член «Союза русского народа» и «Русского народного союза имени Михаила Архангела», депутат III и IV Государственных дум (фракция правых) – 157–161, 164, 186–189

Заратустра (Заратуштра, Зороастр) (между X и 1-й пол. VI вв. до н. э.), пророк и реформатор древнеиранской религии, основатель зороастризма – 268–271

Захарьин Григорий Антонович (1829–1897/1898), врач-терапевт, видный клиницист-практик, общественный деятель и филантроп – 293

Зевс, в греческой мифологии верховный бог – 212, 243

Зингер (Зенгер) Григорий Эдуардович (1853–1919), министр народного просвещения (1902–1904) – 323

Зиновьева-Аннибал (наст. фам. Зиновьева, во втором браке Иванова, по женской линии принадлежала к потомкам Абрама Петровича Ганнибала) Лидия Дмитриевна (1865, по др. данным 1866–1907), писательница, хозяйка литературного салона – 111, 112

Зонара Иоанн (ум. после 1159), византийский политический деятель, писатель, хронист, толкователь церковного (канонического) права – 47

Зурабов (Зурабянц, Зурабян) Аршак Герасимович (1873–1919), журналист, депутат II Государственной думы (социал-демократ) – 33, 34, 242, 312

Иаков, в Новом Завете апостол – 326
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт, публицист, филолог, переводчик, теоретик символизма – 111–113, 363
Иванов Гавриил Афанасьевич (1826–1901), филолог, профессор Московского университета по римской словесности – 104
Иегова, ветхозаветный Бог – 88, 119, 348, 356, 374
Извольский Александр Петрович (1856–1919), министр иностранных дел (1906–1910), дипломат, член Государственного совета – 288
Извольский Петр Петрович (1863–1928), обер-прокурор Синода (1906–1909), член Государственного совета – 25, 85
Изида (Исида), в египетской мифологии богиня, олицетворяющая супружескую верность и материнство – 359
Иисус Христос – 24, 25, 30, 37, 38, 66–68, 99, 133, 134, 160, 242–244, 268–271, 313–315, 317, 321, 326–332, 348, 349, 357–360, 370–372
Илиодор (Сергей Михайлович Труфанов) (1880–1952), иеромонах, один из организаторов «Союза русского народа» – 45, 46, 51, 90
Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920), историк и публицист – 299, 300
Илья (Илия), ветхозаветный пророк – 88, 366
Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов) (1800–1857), архиепископ Херсонский и Таврический, богослов и церковный оратор – 67
Иоанн, в Новом Завете апостол – 244, 326
Иоанн (Иван) *IV Грозный* (1530–1584), великий князь Московский и «всея Руси» (с 1533), первый русский царь (с 1547), из династии Рюриковичей – 118, 129, 132, 170
Иоанн Лествичник (до 579 – ок. 649), византийский христианский писатель, монах-отшельник, автор трактата «Лествица, восходящая к небесам» – 133
Иов, ветхозаветный праведник – 352
Иосиф, в Новом Завете плотник, обрученный с богоматерью Марией – 270
Иосиф Флавий (37 – после 100), древнееврейский историк – 118, 349
Исаия, ветхозаветный пророк – 360
Исидор (Иаков (Яков) Сергеевич Никольский) (1799–1892), митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский, богослов и проповедник – 90
Иуда, в Новом Завете апостол, предавший Иисуса Христа – 326

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, правовед, философ, общественный деятель – 195, 262, 303
Каиафа Иосиф, иудейский первосвященник (18–37) – 347
Каменский Анатолий Павлович (1876–1941), писатель, киносценарист – 108, 110
Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ – 158
Капнист Павел Алексеевич (1842–1904), попечитель Московского учебного округа (1880–1895) – 97
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель и историк – 118, 132, 153, 297
Кареев Николай Иванович (1850–1931), историк и социолог – 299
Карлейль Томас (1795–1881), английский публицист, писатель, историк, философ – 258, 259, 350

Карсавин Лев Платонович (1882–1952), философ и историк-медиевист – 379
Катарина Сиенская (Екатерина Бенинказа) (1347–1380), итальянская монахиня-доминиканка, автор мистических произведений и писем, католическая святая – 315
Катков Михаил Никифорович (1818, по другим данным 1817–1887), публицист, филолог, издатель, общественный деятель – 35, 36, 82, 93, 127, 139, 159, 161, 168, 184, 210, 294, 364, 376
Катон Старший Марк Порций (234–149 до н. э.), римский писатель и государственный деятель – 156
Кауфман Петр Михайлович (1857–1928), министр народного просвещения (1906–1908), член Государственного совета – 41
Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933), историк, член ЦК партии кадетов (1906–1918), депутат II Государственной думы – 221
Киреев Александр Алексеевич (1838, по др. данным 1833–1910), генерал от кавалерии, публицист – 229–231
Киреевский Иван Васильевич (1806–1856), философ, литературный критик, публицист, один из основателей славянофильства – 120, 124, 125, 133, 180, 382
Киреевский Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, археограф, публицист – 120, 133, 180
Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк – 104, 127, 145, 194, 232, 261, 303
Клюшников Виктор Петрович (1841–1892), писатель – 294
Ковалевский Максим Максимович (1851–1916), историк, правовед, социолог – 158, 159, 206, 214, 215
Коковцев (Коковцов) Владимир Николаевич (1853–1943), министр финансов (1904–1914, с перерывом в 1905–1906), председатель Совета министров (1911–1914), мемуарист – 155, 156, 214
Коллар Ян (1793–1852), чешский поэт, ученый, деятель национального возрождения – 180
Колумб Христофор (1451–1506), мореплаватель, родом из Генуи, руководил испанскими экспедициями, в результате которых были открыты земли Западного полушария – 220, 264
Колычев – см. Филипп.
Кольбер Жан Батист (1619–1683), французский генеральный контролер (министр) финансов (с 1665) – 92, 176
Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт – 86, 253
Комнены (Комнины), династия византийских императоров (1081–1185) – 61
Константин I Великий Флавий Валерий (ок. 285 – 337), римский император (с 306) – 69
Константин II Младший (317–340), римский император (с 337), сын Константина I Великого – 69
Констанций I Хлор Флавий Валерий (264–306), римский император (с 305), отец Константина I Великого – 69
Констанций II Флавий Юлий (317–361), римский император (с 337), сын Константина I Великого – 69
Конт Огюст (1798–1857), французский философ – 369, 379

Кора, в греческой мифологии культовое имя Персефоны, богини плодородия и царства мертвых – 384, 385
Корнель (Корнелиус) Карл Себастиан (1819–1896), немецкий физик, автор учебника по физической географии – 366
Корнилов Александр Александрович (1862–1925), историк и публицист – 350
Корш Федор Евгеньевич (1843–1915), филолог, переводчик – 145
Коссович Каэтан Андреевич (1815–1883), филолог, занимался греческим, еврейским, арабским языками, санскритом, автор книги «Рассуждения о важности греческого языка» (1846) – 82
Крисп (299/301–326), правитель Галлии (с 317), сын Константина I Великого, убит по приказанию отца – 69, 70
Кромвель Оливер (1599–1658), деятель Английской революции, лорд-протектор (военный диктатор) (с 1653) – 107, 198, 259, 300
Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921), революционер, теоретик анархизма, философ, ученый, публицист – 182
Крупенский Павел Николаевич (1863 – после 1927), бессарабский помещик, земский деятель, депутат II–IV Государственных дум, один из лидеров Всероссийского национального союза – 295, 296
Крылов Иван Андреевич (1769–1844), баснописец, драматург, журналист – 171
Крюденер (Криденер) Варвара Юлия (1764–1825), проповедница, мистик – 229
Ксенофан (ок. 570 – после 478 до н. э.), древнегреческий поэт и философ – 377
Куглер Франц Теодор (1808–1858), немецкий историк искусства, его книги, в частности по истории греческого искусства, были переведены на русский язык – 148
Кузмин Михаил Алексеевич (1875, по др. данным 1872 – 1936), писатель, критик, композитор – 110, 113
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859–1927), генерал-майор, публицист, юрист, профессор Военно-юридической академии (с 1905 в отставке), депутат I и II Государственных дум – 103
Купер Джеймс Фенимор (1789–1851), американский писатель – 284, 367
Куприн Александр Иванович (1870–1938) – писатель – 109
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), генерал от инфантерии, военный министр (1898–1904), командовал войсками в Маньчжурии (1904–1905), потерпел поражение под Ляояном и Мукденом – 276
Кутлер Николай Николаевич (1859–1924), юрист, предприниматель, один из лидеров партии кадетов и автор ее аграрной программы (1906–1917), депутат II и III Государственных дум – 221
Кюнер Рафаэль (1802–1878), немецкий филолог и педагог, автор учебников греческого и латинского языков – 160, 210

Лавров Петр Лаврович (1823–1900), публицист, философ, социолог, идеолог народничества – 136, 251
Лассаль Фердинанд (1825–1864), деятель немецкого рабочего движения, социалист, публицист – 124, 351
Латышев Василий Алексеевич (1850–1912), педагог, помощник попечи-

теля Санкт-Петербургского учебного округа – 322–324
Лафайет Мари Жозеф (1757–1834), французский политический деятель, участник войны за независимость в Северной Америке (1775–1783), в период Французской революции командовал Национальной армией, затем перешел на сторону контрреволюции (с 1792) – 169
Левитан Исаак Ильич (1860–1900), живописец – 115, 117
Левицкая Елена Сергеевна (ум. 1915), директриса школы в Царском Селе, знакомая Розанова – 322, 323
Левшин Д. Н., попечитель Рижского учебного округа – 210, 245, 246
Ледницкий Александр Робертович (1866–1934), юрист, член Совета присяжных поверенных, депутат I Государственной думы (кадет) – 33
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик, физик, языковед – 158, 159
Лейкин Николай Александрович (1841–1906), писатель-юморист и журналист – 67
Леман Георгий Адольфович (1887–1968), издатель, переводчик – 376–379
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), философ, писатель, публицист, литературный критик – 34, 342, 349, 364
Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874), журналист, филолог, педагог, соратник М. Н. Каткова – 82
Лепсиус Карл Рихард (1810–1884), немецкий языковед, египтолог – 355
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт и прозаик – 117, 129, 253, 378, 380
Лернер Николай Осипович (1877–1934), историк литературы – 382
Лесевич Владимир Викторович (1837–1905), философ и социолог – 134
Лесков Николай Семенович (1831–1895), писатель – 294
Либкнехт Вильгельм (1826–1900), один из руководителей немецких социал-демократов, депутат рейхстага – 351
Лизогуб Дмитрий Андреевич (1849–1879), революционный народник, передал все состояние на нужды движения, повешен – 207
Литтре Эмиль (1801–1881), французский философ, филолог, историк медицины – 115
Лициний Валерий Лициниан (ок. 263–324), император Восточной Римской империи (с 313) – 69
Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824–1896), министр иностранных дел (с 1895), дипломат, историк – 215
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель – 105, 146, 184, 191, 263
Лопухин Александр Павлович (1852–1904), богослов, редактор ряда церковных изданий, среди них журнал «Странник» (с 1894), в виде приложения к которому вышла «Православная богословская энциклопедия» (т. I–V) – 67
Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888), председатель Верховной распорядительной комиссии (1880), министр внутренних дел (1880–1881) – 156
Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1940), художник, искусствовед – 370

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), политический деятель, писатель, публицист – 253, 384

Лучицкий Иван Васильевич (1845–1918), историк и политический деятель – 299

Львов Владимир Николаевич (1872–?), депутат III и IV Государственных дум (центрист) – 73–75, 315

Любкер Фридрих (1811–1867), немецкий филолог, автор «Лексикона классической древности», переводился на русский язык – 148

Лютер Мартин (1483–1546), немецкий религиозный реформатор – 31, 52, 98, 308, 319

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт – 111

Максенций Марк Аврелий Валерий, римский император (306–312), сын Максимиана Геркулия – 69

Максимиан Геркулий Марк Валерий (250–310), римский император (286–305, с 306) – 70

Малинин Александр Федорович (1834–1888), директор Московского учительского института, составитель учебников по алгебре и другим предметам, выдержавших множество изданий – 160

Мальцев Алексей Петрович (1854–1915), протоиерей, автор книг по философии, религии, педагогике – 368

Мамай (ум. 1380), фактический правитель Золотой Орды, совершил ряд походов на русские земли, после поражения в Куликовской битве, потеряв власть, был убит – 132

Мануйлов Александр Аполлонович (1861–1929), экономист, проректор (с 1905), ректор Московского университета (1908–1911) – 264

Маркс Карл (1818–1883), немецкий мыслитель, основоположник коммунистической теории, названной его именем – 124, 285

Марс, в римской мифологии бог войны – 149

Марфа, в Новом Завете сестра Марии и Лазаря из Вифании (ныне эль-Азарийе под Иерусалимом) – 31, 377

Медичи Джулиано (1478–1516), правитель Флоренции – 378

Медичи Лоренцо (1492–1519), правитель Флоренции, отец Екатерины Медичи, будущей королевы Франции – 378

Мейербер Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер) (1791–1864), композитор, жил в Германии, Италии, Франции – 120

Мельников, старообрядец – 315, 316

Мельцер, мебельный мастер в Петербурге – 16–18

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907), химик, педагог, общественный деятель – 174, 191, 194, 262, 300

Мен-Дзы (Мэнцзы) (372–289 до н. э.), китайский философ, конфуцианец – 315

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918), публицист, сотрудник газеты «Новое время» – 158, 230

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 99, 100, 101, 351, 353, 362

Меркурий, в римской мифологии бог торговли, покровитель путешественников – 149

Мечников Илья Ильич (1845–1916), биолог и патолог – 300

Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), писатель и публи-

цист, издатель газеты-журнала «Гражданин» – 45, 101, 208, 209

Микель-Анджело (Микеланджело) Буонарроти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт – 378, 379

Миллер Орест Федорович (1833–1889), фольклорист, историк литературы, публицист – 190

Милль Джон Стюарт (1806–1873) – английский философ, экономист, общественный деятель – 120, 137, 368, 369

Милюков Павел Николаевич (1859–1943), историк, публицист, лидер партии кадетов, председатель ее ЦК, депутат III и IV Государственных дум – 31, 34, 35, 158, 159, 191, 194, 200–202, 219, 222, 228, 287, 312

Милютин Юрий Николаевич (1856–1912), политический деятель, один из основателей и лидеров партии «Союз 17 октября» (октябристов) – 206, 207

Минин (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич (ум. 1616), нижегородский посадский, один из руководителей борьбы против интервентов – 127

Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855–1937), писатель, публицист, философ – 98–101

Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749–1791), французский политический деятель, депутат Генеральных штатов, где выступал против абсолютизма (1789) – 300

Митрофан (1869–?), епископ Гомельский, депутат III Государственной думы – 106, 195

Михайловский Николай Константинович (1842–1904), социолог, публицист, литературный критик, идеолог народничества – 12, 34, 100, 129, 136, 251, 294, 351, 380

Мицкевич Адам (1798–1855), польский поэт, деятель национально-освободительного движения – 115, 116

Мичурин, обвинитель по делу попечителя женских ремесленных училищ Путвинского – 303

Моисей, в Ветхом Завете предводитель израильских племен, основатель иудаизма, пророк – 243, 347, 348

Мольтке Хельмут Карл (1800–1891), немецкий генерал-фельдмаршал и военный теоретик – 361

Моммзен Теодор (1817–1903), немецкий историк – 112, 148, 300

Мордвинова Вера Александровна (1895–1966), курсистка, корреспондентка Розанова – 340–343

Мурахина-Аксенова Любовь А. (ум. 1919), писательница – 373

Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), юрист, один из лидеров партии кадетов, председатель I Государственной думы – 136, 201, 202

Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937), историк, публицист, один из редакторов журнала «Русское богатство», председатель ЦК Трудовой народно-социалистической партии (энесов) – 31, 136

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922), юрист, публицист, один из основателей партии кадетов, депутат I Государственной думы, погиб, когда было совершено покушение на П. Н. Милюкова – 153, 202, 203, 213, 221, 297, 312

Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769–1821), французский император (1804–1814, март – июнь 1815) – 96, 198, 199, 363

Нафанаил, в Новом Завете (Евангелие от Иоанна) один из первых учеников Христа – 327, 329, 331
Неандер Иоганн Август Вильгельм (наст. имя и фам. Давид Мендель) (1789–1850), немецкий протестантский историк церкви – 315
Небогатов Николай Иванович (1849–1922), контр-адмирал, командующий 3-й Тихоокеанской эскадрой, после битвы под Цусимой 15 мая 1905 сдался в плен, был осужден, проведя несколько месяцев в крепости, помилован – 302
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878), поэт, прозаик, издатель – 129, 206, 249, 252, 253, 362
Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), живописец – 75, 131
Нефтида, в египетской мифологии сестра Изиды – 359
Никанор (Александр Иванович Бровкович) (1827–1890/1891), архиепископ Херсонский и Одесский, богослов, религиозный писатель и философ – 44
Никаноров, религиозный публицист – 315
Николаи Александр Павлович (1821–1889), министр народного просвещения (1881–1882), член Государственного совета – 294
Никон (Николай Иванович Рождественский) (1851–1918), епископ Вологодский (с 1906), член Синода (с 1912), религиозный писатель и издатель – 46, 267
Никон (Николай Андреевич Софийский) (1861–1908), архиепископ (с 1906), экзарх Грузии, убит сторонниками автокефалии грузинской церкви – 150
Нина (276–310), распространительница христианства в Грузии – 149
Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 346, 362
Новиков Николай Иванович (1744–1818), просветитель, писатель, издатель – 376
Норов Авраам Сергеевич (1795–1869), министр народного просвещения (1854–1858), библиофил, писатель – 172
Носарь – см. Хрусталев Г. С.
Ньютон Исаак (1643–1727), английский математик, физик, астроном, создатель классической механики – 159, 194, 214

Обневский В. А., знакомый Розанова – 216, 217
Оболенский Алексей Дмитриевич (1855–1933), обер-прокурор Синода (1905–1906), член Государственного совета – 25
Озеров Иван Христофорович (1869–1942), экономист, правовед, публицист – 103
Озирис (Осирис), в египетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы, муж и брат Изиды – 359
Оль д'Ор (О. Л. Д'Ор), псевд. Иосифа Львовича Оршера (1878–1942), писателя и журналиста – 383
Омулевский (наст. фам. Федоров) Иннокентий Васильевич (1836, по др. данным 1837–1883/1884), писатель, переводчик – 294
Орлов, инспектор гимназии в Царском Селе – 325
Ослябя Родион (ум. после 1398), монах Троице-Сергиева монастыря, герой Куликовской битвы – 89, 90

Павел, в Новом Завете апостол – 39, 89, 242–244, 317

Павлов Алексей Степанович (1832–1898), богослов, профессор церковного (канонического) права Московского университета – 27
Павлов Владимир Петрович (ум. 1906), генерал-лейтенант, прокурор Санкт-Петербургского военного округа, убит эсерами – 136, 137
Палацкий Франтишек (1798–1876), чешский политический деятель, историк, философ – 180
Палеологи, династия византийских императоров (1261–1453) – 61
Парменид (ок. 544 – ок. 450 до н. э.), древнегреческий философ – 377
Паскаль Блез (1623–1662), французский математик, физик, философ, писатель – 360, 380
Пастер Луи (1822–1895), французский микробиолог и иммунолог – 159, 315
Пересвет Александр (ум. 1380), монах Троице-Сергиева монастыря, герой Куликовской битвы – 89, 90
Перикл (ок. 490–429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий) и политический деятель – 122, 156, 276, 299
Перцов Петр Петрович (1868–1947), публицист, критик, издатель – 353
Петр, в Новом Завете апостол – 290, 326
Петр I Великий (1672–1725), российский царь (с 1682, правил самостоятельно с 1689), первый российский император (с 1721) – 24, 132, 139, 168, 179, 206, 230, 271
Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931), правовед, представитель психологической школы права, депутат I Государственной думы – 153, 297
Петрарка Франческо (1304–1374), итальянский поэт, гуманист – 122, 123, 125
Петров Григорий Спиридонович (1866, по др. данным 1867–1925), священник, публицист, проповедник, депутат II Государственной думы, в 1908 был лишен сана – 88, 89, 101
Петров Николай Иванович (1840–1921), историк – 300
Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933), экономист, публицист, член редакции журнала «Русское богатство», один из основателей народно-социалистической партии (энесов) – 31, 136
Пилат (Понтий Пилат), римский прокуратор (наместник Иудеи) (26–36), при нем, согласно Новому Завету, был распят Иисус Христос – 170
Пиндар (ок. 518–442/438 до н. э.), древнегреческий поэт – 357
Пирогов Николай Иванович (1810–1881), хирург, естествоиспытатель, педагог, общественный деятель – 16, 82, 233, 237, 244, 262
Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист и литературный критик, общественный деятель – 34
Питт Уильям Старший (1708–1778), премьер-министр Великобритании (1766–1768) – 107
Питт Уильям Младший (1759–1806), премьер-министр Великобритании (1783–1801, 1804–1806) – 107
Платон (428/427–348/347 до н. э.), древнегреческий философ – 122, 159, 282
Платон (Петр Егорович Левшин) (1737–1812), митрополит Москов-

ский, богослов и философ – 62, 67, 90
Платон, митрополит Киевский (80-е гг. XIX в.) – 62
Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904), министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов (с 1902) – 67, 89, 90, 207, 209, 228, 265, 266
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), политический деятель, философ, публицист, теоретик и пропагандист марксизма – 136
Плутарх (ок. 45 – ок. 127), древнегреческий писатель и историк – 317
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), правовед, обер-прокурор Синода (1880–1905), член Государственного совета – 25, 44–46, 60–63, 67, 68, 89, 90, 127, 129, 215, 216, 291, 323
Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, издатель – 117, 120, 121, 124, 194, 237
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642), один из руководителей борьбы против интервентов – 127
Полонский Яков Петрович (1819–1898), поэт – 253
Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV – 169
Попов Нил Александрович (1833–1891/1892), историк-славист – 104, 121
Прахов Адриан Викторович (1846–1916), историк искусства, археолог, исследователь древнерусской художественной культуры, руководил работами по росписи Владимирского собора в Киеве – 70
Прозерпина, в римской мифологии богиня плодородия и подземного царства – 384, 385
Проппер Станислав Максимович (1855–1931), публицист, издатель газеты «Биржевые ведомости» – 279
Протасов Николай Александрович (1798–1855), обер-прокурор Синода (с 1836) – 25
Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), французский экономист, социалист, теоретик анархизма – 124, 125, 253
Птолемей II Филадельф (308–247/246 до н. э.), царь Египта (с 285/283 до н. э.), при котором, согласно легенде, был осуществлен перевод на греческий язык Библии (Ветхого Завета) – 173, 176
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), один из лидеров «Союза русского народа», депутат II–IV Государственных дум – 155, 158, 159, 219
Путвинский, попечитель женских ремесленных училищ – 303–305
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт и прозаик – 19, 71, 72, 91, 107, 119, 131, 132, 191, 193, 195, 276, 358, 361, 382
Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), литературовед – 361

Равальяк Франсуа (1578–1610), убийца французского короля Генриха IV, казнен – 309
Радлов Эрнест Леопольдович (1854–1928), философ – 376, 377
Раевский, священник – 315
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), донской казак, предводитель казацко-крестьянского восстания 1670–1671, казнен – 296

Рамишвили Исидор Иванович (1859–1937), учитель, один из руководителей грузинских меньшевиков, депутат I Государственной думы – 33, 34, 312

Распутин (наст. фам. Новых) Григорий Ефимович (1864/1865, по др. данным 1872–1916), крестьянин Тобольской губернии, как «целитель» и «прорицатель» получивший большое влияние при дворе, убит заговорщиками – 373, 374

Рачинский Сергей Александрович (1833–1902), ученый-ботаник, деятель народного образования, организатор сельских школ – 34

Рейнбот А. А., генерал-майор, московский градоначальник (1906–1907), был осужден по обвинению в самовольном расходовании кредитов (1907), помилован – 302

Рейхлин Иоганн (1455–1522), немецкий филолог, гуманист – 122

Реклю Жан Жак Элизе (1830–1905), французский географ, социолог, теоретик анархизма – 137, 182, 253, 254

Рид Томас Майн (1818–1883), английский писатель – 250, 284, 367

Рикардо Давид (1772–1823), английский экономист – 120, 137

Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642), кардинал (с 1622), глава королевского совета (с 1624), фактический правитель Франции – 92

Ровинский, религиозный публицист – 315

Родичев Федор Измайлович (1854, по др. данным 1853–1932, по др. данным 1933), юрист, земский деятель, член ЦК партии кадетов, депутат I–IV Государственных дум – 151, 152, 219, 312

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – 98, 337–346, 348, 349, 352–355, 361–363, 370–372, 377, 378, 385

Розанов Дмитрий Васильевич (1852–1895), брат писателя – 354

Розанов Сергей Васильевич (1858–?), брат писателя – 354

Розанов Федор Васильевич (1850 – не ранее 1888), брат писателя – 354

Розанова (Бутягина, урожд. Руднева) Варвара Дмитриевна (1864–1923), вторая жена писателя – 380

Розанова Варвара Васильевна (Варя) (1898–1943), дочь писателя – 383

Розанова Вера Васильевна (1848–1868), сестра писателя – 354

Розанова Вера Васильевна (1896–1920), дочь писателя – 347

Розанова (урожд. Шишкина) Надежда Ивановна (ок. 1827–1870), мать писателя – 354, 367

Розанова Надежда Васильевна (Надя) (1900–1956), дочь писателя – 380, 383

Розанова (в замужестве Яснева) Павлина Васильевна (Павла) (1851–1912), сестра писателя – 354, 378

Розанова Татьяна Васильевна (Таня) (1895–1975), дочь писателя – 347, 363, 383

Романов Иван Федорович (псевд. Рцы) (1861–1913), писатель, публицист, друг Розанова – 353–357, 360

Рочко Григорий Викторович, поэт и критик – 342

Рузвельт Теодор (1858–1919), президент США (1901–1909) – 156

Румянцев Николай Петрович (1754–1826), политический деятель, дипломат, министр иностранных дел (1807–1814), с 1809 – канцлер, 1810–1812 – председатель Государственного совета, его нумизма-

тическая и этнографическая коллекция, библиотека стали основой музея, названного его именем (1831) – 172

Русов Николай Николаевич (1883–1930-е гг.), писатель – 376, 377, 379

Рюрик (ум. ок. 879), согласно летописному преданию, предводитель варяжских дружин, обосновавшихся в Новгороде, основатель династии Рюриковичей – 132

Сад Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де (1740–1814), французский писатель – 107, 109, 110

Салтыков (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) (1826–1889), писатель и публицист – 33, 129, 199, 266, 351, 384, 385

Самарин Юрий Федорович (1819–1876), философ, историк, публицист, общественный деятель, идеолог славянофильства – 127

Самсон, ветхозаветный судья (правитель), богатырь – 199

Свинхувуд Пер Эвинд (1861–1944), финский общественно-политический деятель, депутат парламента (1907–1914), его председатель (до 1912), председатель Сената (1917–1918) – 222

Серафим Саровский (Прохор Сидорович (Исидорович) Мошнин) (1754, по др. данным 1759–1833), православный подвижник – 61

Сергий (Иван Николаевич Страгородский) (1867–1944), ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Финляндский (1905–1917), местоблюститель патриаршего престола (с 1937), патриарх (с 1943) – 108, 267, 271

Сергий Радонежский (Варфоломей Кириллович) (1314/1321–1392), православный подвижник, основатель и игумен Троицкого монастыря (впоследствии Троице-Сергиева лавра) – 45

Сильвестр (ум. ок. 1566), священник московского Благовещенского собора (с кон. 1540-х), известен своей редакцией книги «Домострой» – 124, 127, 128

Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович) (1620–1680), церковный и общественный деятель, писатель, проповедник, поэт – 124, 127

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902), министр внутренних дел (с 1900) – 67, 197, 209, 215, 265, 266

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910), литературный критик и публицист – 380

Скворцов Василий Михайлович (1859–1932), чиновник Синода, публицист, редактор-издатель ряда церковных изданий – 52, 229, 231, 232, 244, 315

Скотт Вальтер (1771–1832), английский писатель – 259

Слонимский Людвиг Зиновьевич (1850–1918), публицист, сотрудник журнала «Вестник Европы» – 136

Смирнов, историк религии – 267

Сократ (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ – 122, 315, 377

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист – 35, 36, 66, 124, 169–171, 377

Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903), писатель – 67

Соловьев Михаил Петрович (1842–1901), начальник Главного управления по делам печати (с 1896),

писатель, публицист – 266, 353, 370, 372
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк – 303
Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), писатель – 364
Соломон, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965 – ок. 926 до н. э.) – 109, 114, 309
Спасовский Михаил Михайлович (ок. 1890 – не ранее 1968), литературный критик и публицист – 352, 383
Сперанский Михаил Михайлович (1772, по др. данным 1771–1839), ближайший советник Александра I (1808–1812), генерал-губернатор Сибири (1819–1821), руководил работой по законодательству (с 1826) – 238
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677), нидерландский философ – 98, 120, 137, 254
Станкевич Николай Владимирович (1813–1840), философ, поэт, общественный деятель – 137
Стасова Надежда Васильевна (1822–1895), деятельница российского женского движения – 312
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911), историк, издатель, общественный деятель – 351
Стессель Анатолий Михайлович (1848–1915), генерал-лейтенант, в русско-японскую войну, будучи начальником Квантунского укрепленного района, сдал противнику крепость Порт-Артур, в 1908 приговорен сначала к смертной казни, затем к длительному заключению, помилован – 302
Стефан Яворский (Симеон Иванович Яворский) (1658–1722), церковный деятель, писатель, местоблюститель патриаршего престола (1700–1721) – 67
Стефанов, московский чиновник – 302
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), председатель Совета министров (с 1906), проводил разработанную им аграрную реформу – 139–141, 168, 207, 241
Стороженко Николай Ильич (1836–1906), историк литературы, профессор Московского университета – 104, 134, 261
Страхов Николай Николаевич (1828–1896), философ, публицист, литературный критик – 34–36, 121, 124, 294, 342, 343, 377
Струве Петр Бернгардович (1870–1944), экономист, философ, историк, публицист, один из лидеров партии кадетов, депутат II Государственной думы – 99, 136, 199, 207, 208, 353
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), издатель, публицист, критик – 350
Суворин Михаил Алексеевич (1860–1936), сын А. С. Суворина, фактический редактор газеты «Новое время» (с 1903) – 375
Суворов Александр Васильевич (1730–1800), полководец, генералиссимус (1799) – 62, 263
Суворов Николай Семенович (1848–?), автор работ по церковному (каноническому) праву – 27
Суслова Аполлинария Прокофьевна (1840–1918), первая жена Розанова – 357
Сципионы, римские полководцы: Сципион Азиатский Луций Корнелий (ок. 190 до н. э.), Сципион Африканский Старший Публий Корнелий (ок. 235 – ок. 183 до н. э.), Сципион Африканский Младший

Публий Корнелий Эмилиан (ок. 185 – 129 до н. э.) – 122, 123

Сыромятников Сергей Николаевич (1864–1934), публицист, журналист – 158

Сю Эжен (наст. имя Мари Жозеф) (1804–1857), французский писатель – 119

Тан – см. Богораз В. Г.

Тереза де Хесус (Тереза из Авилы) (1515–1582), испанская монахиня, автор мистических сочинений, католическая святая – 315

Тимашев Александр Егорович (1818–1893), министр внутренних дел (1868–1878) – 156

Тит Флавий Веспасиан (39–81), римский император (с 79) – 348

Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), литературовед, археограф – 82, 104, 194, 232, 261

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), министр народного просвещения (1866–1880), сторонник классических форм обучения и сословных начал в сфере образования – 52–54, 58, 78–80, 82–84, 92–94, 156, 259, 275, 294, 300

Толстой Иван Иванович (1858–1916), археолог, нумизмат, министр народного просвещения (1905–1906) – 41

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель и мыслитель – 35, 69, 199, 207, 210, 233, 235–237, 311, 349

Триус (Тривус Моисей Львович) (1865 – после 1907), ревизор, сослуживец Розанова по Государственному контролю – 360

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давыдович (1879–1940), участник социал-демократического революционного движения с сер. 90-х гг., фактический лидер Петербургского совета рабочих депутатов (1905–1907), в 1908–1912 – редактор газеты «Правда» – 253

Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905), философ, публицист, общественный деятель, первый выборный ректор Московского университета – 199, 264

Тураев Борис Александрович (1868–1920), египтолог – 359

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель – 21, 33, 104, 125, 193, 197, 232, 253, 382

Тычинин Василий Константинович (1864–?), инспектор народных училищ, депутат III Государственной думы – 293

Уваров Сергей Семенович (1786–1855), министр народного просвещения (1833–1849) – 94, 168

Ульрих-Антон (Антон Ульрих) Брауншвейг-Беверн-Люненбургский, принц (1714–1774), муж Анны Леопольдовны (с 1739), умер в ссылке – 130

Успенский Глеб Иванович (1843–1902), писатель – 129, 222

Устьинский Александр Петрович (1854/1855–1922), священник из Новгорода, друг Розанова и его многолетний корреспондент – 88

Ушаков Андрей Иванович (1670–1747), начальник тайной канцелярии при Анне Иоанновне – 131

Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1870/1871), педагог, автор работ по педагогике и учебников для школы – 244

Фаусек Виктор Андреевич (1861–1910), ученый-зоолог, директор Высших женских (Бестужевских) курсов – 145, 146

Фауста (Флавия Максима Фауста) (289–326), римская императрица, жена Константина I Великого (с 307), дочь Максимиана Геркулия, мать Константина II и Констанция II – 70
Фемида, в греческой мифологии богиня правосудия – 114
Федоров Михаил Михайлович (1858–1949), управляющий Министерством торговли и промышленности (1906), промышленный деятель – 221, 222
Фейербах Людвиг (1804–1872) – немецкий философ – 379
Фенелон Франсуа (1651–1715), французский писатель, церковный деятель – 367
Феодор Студит (759–826), византийский богослов и религиозный писатель, настоятель Студийского монастыря в Константинополе (в тексте речь идет о монастыре) – 133, 134
Феодосий Печерский (ок. 1036–1074), один из основателей и игумен (с 1062) Киево-Печерского монастыря – 61
Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898), начальник Главного управления по делам печати (1883–1896), мемуарист – 266
Феофан (Василий Дмитриевич Быстров) (1873–1943), инспектор, затем ректор Санкт-Петербургской духовной академии (1908–1910), епископ Ямбургский, религиозный писатель, историк – 373
Феофан Прокопович (1681–1736), политический и церковный деятель, богослов, религиозный писатель – 67, 293
Фердинанд VII (1784–1833), испанский король (1808, 1814–1833), из династии Бурбонов – 199
Филарет (Василий Михайлович Дроздов) (1783, по др. данным 1782–1867), митрополит Московский (с 1826), богослов, религиозный философ, историк, проповедник – 37, 44, 45, 67
Филипп (Федор Степанович Колычев) (1507–1569), митрополит Московский и всея Руси (1566–1568), за осуждение опричных казней Ивана IV Грозного был низложен, а затем убит – 31, 45
Философова (урожд. Дягилева) Анна Павловна (1837–1912), деятельница женского движения – 312
Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ – 342, 352
Флексер (псевд. Волынский) Аким Львович (1863–1926), философ, историк искусства, критик – 380, 382
Флоренский Павел Александрович (1882–1937), священник, философ, ученый, инженер – 347, 360, 362, 368, 371
Фортунатов Филипп Федорович (1848–1914), языковед – 145
Фридлендер Макс Якоб (1867–1958), немецкий историк искусства – 348, 349, 356

Хвост Василий Иванович (1879–?), депутат II Государственной думы (эсер) – 312
Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), писатель – 71, 72
Ходобай, автор учебных пособий по классическим языкам – 160
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), философ, писатель, публицист, общественный деятель, один из основателей славянофильства – 23, 24, 34, 66, 120, 121, 124–128, 180

Хрисанф (Владимир Николаевич Ретивцев) (1832–1883), преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, религиозный писатель, историк религии – 59

Хрусталев (наст. фам. Носарь) Георгий Степанович (1877–1918), адвокат, в 1906 был осужден по делу о Петербургском совете рабочих депутатов – 253, 312

Цебрикова Мария Константиновна (1835–1917), писательница, публицист – 357

Цезарь Гай Юлий (102/100 – 44 до н. э.), римский диктатор и полководец – 139, 198

Цемович, публицист, политический деятель – 290

Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959), депутат II Государственной думы, председатель ее социал-демократической фракции – 136, 181

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856), мыслитель и публицист – 21, 31, 382

Челышев Михаил Дмитриевич (1866–1915), городской голова Самары, депутат III Государственной думы (октябрист) – 142

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, публицист, критик, философ, общественный деятель – 147, 294, 361

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), издатель, общественный деятель, друг Л. Н. Толстого – 349

Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель – 237

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), правовед, историк, философ, публицист – 195, 262, 303

Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков) (1882–1969), писатель, литературовед, критик – 114, 115

Шарапов Сергей Федорович (1855–1911), экономист, публицист, издатель – 139, 347, 353, 354

Шафарик Павел Йозеф (1795–1861), чешский историк, филолог, поэт – 180

Шварц Александр Николаевич (1848–1915), филолог, министр народного просвещения (1908–1910), член Государственного совета – 40, 41, 43, 52, 76, 79, 81, 84, 94, 104, 154, 156, 158, 176, 186, 187, 189, 190, 192, 224, 226, 261, 264, 273

Шварц Иван Григорьевич (1751–1784), философ, друг Н. И. Новикова – 376

Швидченко Евфимий Созонтович, составитель хрестоматии о святочных праздниках – 332

Шейн Павел Васильевич (1826–1900), фольклорист, этнограф – 115, 117

Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт – 114

Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891), литературный критик и публицист – 380

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854), немецкий философ – 122, 342, 352, 369

Шестаков Петр Михайлович (ум. 1914), педагог и публицист – 82

Шидловский Сергей Илиодорович (1861–1922), депутат III и IV Государственных дум (октябрист), зам. председателя III Государственной думы – 295

Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства – 114, 124

Шлегели, братья, немецкие романтики: Август Вильгельм Шлегель (1767–1845), историк литературы и искусства, филолог, переводчик, Фридрих Шлегель (1772–1829), философ, филолог – 122

Шперк Федор Эдуардович (1872, по др. данным 1870–1897), философ, поэт, критик, друг Розанова – 360, 366, 371, 377

Шубинский Николай Петрович (1853–1921), присяжный поверенный, депутат III и IV Государственных дум – 28

Шувалов Иван Иванович (1727–1797), генерал-адъютант, первый куратор Московского университета, президент Академии художеств, меценат – 263

Шульце-Делич Франц Герман (1808–1883), немецкий политический деятель и экономист, сторонник концепции «кооперативного социализма», провозглашавшей гармонию интересов труда и капитала – 124

Щедрин – см. Салтыков М. Е.

Эдисон Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель – 218

Эльзевиры, семья нидерландских издателей и типографов (XVI–XVII вв.) – 267

Эмар Гюстав (наст. имя и фам. Оливье Глу) (1818–1883), французский писатель – 284

Эмпедокл (ок. 490 – ок. 430 до н. э.), древнегреческий философ – 377

Энгельгардт Михаил Александрович (1861–1915), публицист – 199, 285

Энгельс Фридрих (1820–1895), немецкий мыслитель и политический деятель, соратник К. Маркса – 285

Эразм Роттердамский, Дезидерий (наст. имя и фам. Герхард Герхардс) (1469–1536), гуманист, филолог, писатель, теолог – 122

Эрисман Федор Федорович (наст. имя Гульдрейх Фридрих) (1842–1915), врач, один из основоположников научной гигиены в России – 305

Эфрон (Ефрон) Илья Абрамович (1847–1919), издатель русского Энциклопедического словаря – 158

Юлия (Юлия Алексеевна Каминская), преподавательница музыки, знакомая Розанова-гимназиста – 378

Юпитер, в римской мифологии верховный бог – 148, 149, 220

Юрашкевич Андрей Данилович (1854–?), протоиерей, депутат III Государственной думы – 315

Языков Николай Михайлович (1803–1846/1847), поэт, был близок к славянофилам – 119

Янжул Иван Иванович (1846–1914), экономист, статистик, социолог – 352

Ярослав Мудрый (ок. 978–1054), великий князь Киевский (с 1019), сын Владимира I Святого – 148

Ясевич-Бородаевская В. И., специалист по сектантству и расколу – 314

Составитель *В. М. Персонов*

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи 1908 г.

Епископ и семинарии 7
Святилище Ваала и Астарты 9
Юридический и нравственный авторитет церкви 21
Обер-прокуратура Синода и вопрос о приходе 25
О судебных приказах 28
Ответ на анкету «Религия и освободительное движение» 30
Воспитательные уроки в Г. Думе 31
Еще о терпимости в печати и политике 34
Духовно-церковные дела в их «новом курсе» 36
В министерстве народного просвещения 39
О ближайшей работе учебного ведомства 41
Митрополит Антоний в современной смуте 43
Ближайшие задачи учебного ведомства 52
Источник расслабленного учения 55
«Упокоенные» и предположенные к «упокоению» петербургские иерархи 58
Вековые причины пьянства 64
Вопросы церкви в Г. Думе 66
Нужно сделать «личико» 69
Каков развод, таков и брак 70
О речи и письме г. Влад. Львова 73
Восстановление экзаменов в гимназиях 76
Где скрыто зло старых экзаменов 78
Письмо в редакцию 81
Пересмотр учебных программ как условие экзаменов 82
Один из упокоенных архиереев 84
Искупляющие страдания 90
Экзамены – как соревнование, а не как испытание 92
Об одной особенности частных женских гимназий 95
Два обыска в один день 98
Силуэты третьей Думы 101
Пестрые темы 107
Судебные болячки 161
Академичность нашего суда 164

Уроки государственного самосознания ... 167
Плач о «недостойном существовании» России ... 169
Непоправимо затхлое ведомство ... 172
Рост славянского единства ... 177
Практические перспективы славянского сближения ... 180
Партии дурного тона ... 181
Школьный вопрос в Г. Думе, в министерстве и в жизни ... 183
Об обеспечении духовенства ... 195
Разочарованное начальство ... 197
Кадетская критика итогов Думы ... 200
Итоги двух партий ... 202
На летнем отдыхе ... 204
Инородческие языки в школе ... 210
В междудумье ... 212
К несчастью с В. А. Обневским ... 216
Лающие собаки ... 218
Трудные дни интеллигенции ... 220
Представители России перед Европой ... 221
К началу учебных занятий ... 223
«Шептуны» разных ярусов ... 226
Смешанные браки ... 229
Университет и студенчество ... 232
Делающие и неделающие в университете ... 235
Как смотрит государство на университет ... 237
Перепуганные политики ... 240
За кем идти? ... 242
Привилегии немецкой школы ... 244
В нашей смуте ... 247
К увеличению бюджета м-ства народного просвещения ... 255
Требования осторожности ... 257
Университет в системе государственного управления ... 258
К выработке законопроекта о печати ... 265
Поклонники Аурамазды ... 267
Учебное харакири ... 272
Новые штаты учителей гимназии ... 273
Ужасные страдания прогрессивной печати ... 276
Устав Донского политехнического института ... 277
Среди газет и журналов ... 279
Еще о материальном обеспечении учителей ... 280
Расслабленная мысль ... 282

Конец харакири ... 284
К открытию 2-й сессии Г. Думы ... 286
Реальные силы и идеальные возможности в политике ... 289
О помощи церковно-приходским школам ... 290
О разных ведомствах, заведующих народною школой ... 292
Об особом значении думской кафедры ... 294
Поляки в сотрудничестве с русскими ... 296
Увеличение университетской наукоспособности ... 298
Еще миллионные убытки казны ... 301
Не дожидаясь суда ... 302
Предметная и курсовая системы экзаменов ... 303
Врачебный надзор в женских училищах ... 305
Католичество и мариавитство ... 307
Русские и турецкие конституционалисты ... 310
К открытию всероссийского женского съезда ... 312
На лекции о старообрядчестве и сектантстве ... 314
Первый всероссийский женский съезд ... 316
В училищном мире ... 322
Перед Вифлеемской звездой ... 326
Встреча праздника ... 332

Письма к Э. Ф. Голлербаху

<Предисловие>. *Э. Ф. Голлербах* ... 337
<Письма> ... 339

Комментарии ... 386
Указатель имен ... 402

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

В НАШЕЙ СМУТЕ

Заведующий редакцией
М. М. Беляев

Ведущий редактор
П. П. Апрышко

Художественный редактор
Е. А. Андрусенко

Технические редакторы
С. А. Голодко, А. Ю. Ефимова

Корректоры
Н. В. Антонова, Т. Ю. Коновалова

ЛР № 010273 от 10.12.97.

Сдано в набор 14.08.03.
Подписано в печать 12.02.04.
Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,11. Уч.-изд. л. 31,82.
Тираж 3000 экз. Заказ № 9642

Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве.

Издательство «Республика»
Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
ГП издательство «Республика».
Миусская пл., 7, Москва. А-47,
ГСП-3 125993.

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»

Выпускает

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В. В. РОЗАНОВА

В 1994–2004 гг.
вышли следующие тома:

Т. 1 — **Среди художников**

Т. 2 — **Мимолетное**

Т. 3 — **В темных религиозных лучах**

Т. 4 — **О писательстве и писателях**

Т. 5 — **Около церковных стен**

Т. 6 — **В мире неясного и нерешенного**

Т. 7 — **Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского**

Т. 8 — **Когда начальство ушло...**

Т. 9 — **Сахарна**

Т. 10 — **Во дворе язычников**

Т. 11— **Последние листья**

Т. 12 — **Апокалипсис нашего времени**

Т. 13 — **Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев**

Т. 14 — **Возрождающийся Египет**

Т. 15 — **Русская государственность и общество**

Т. 16 — **Около народной души**

Т. 17 — **В нашей смуте**

Подготовлены к выпуску следующие тома:

Т. 18 — **Старая и молодая Россия**

Т. 19 — **Семейный вопрос в России**